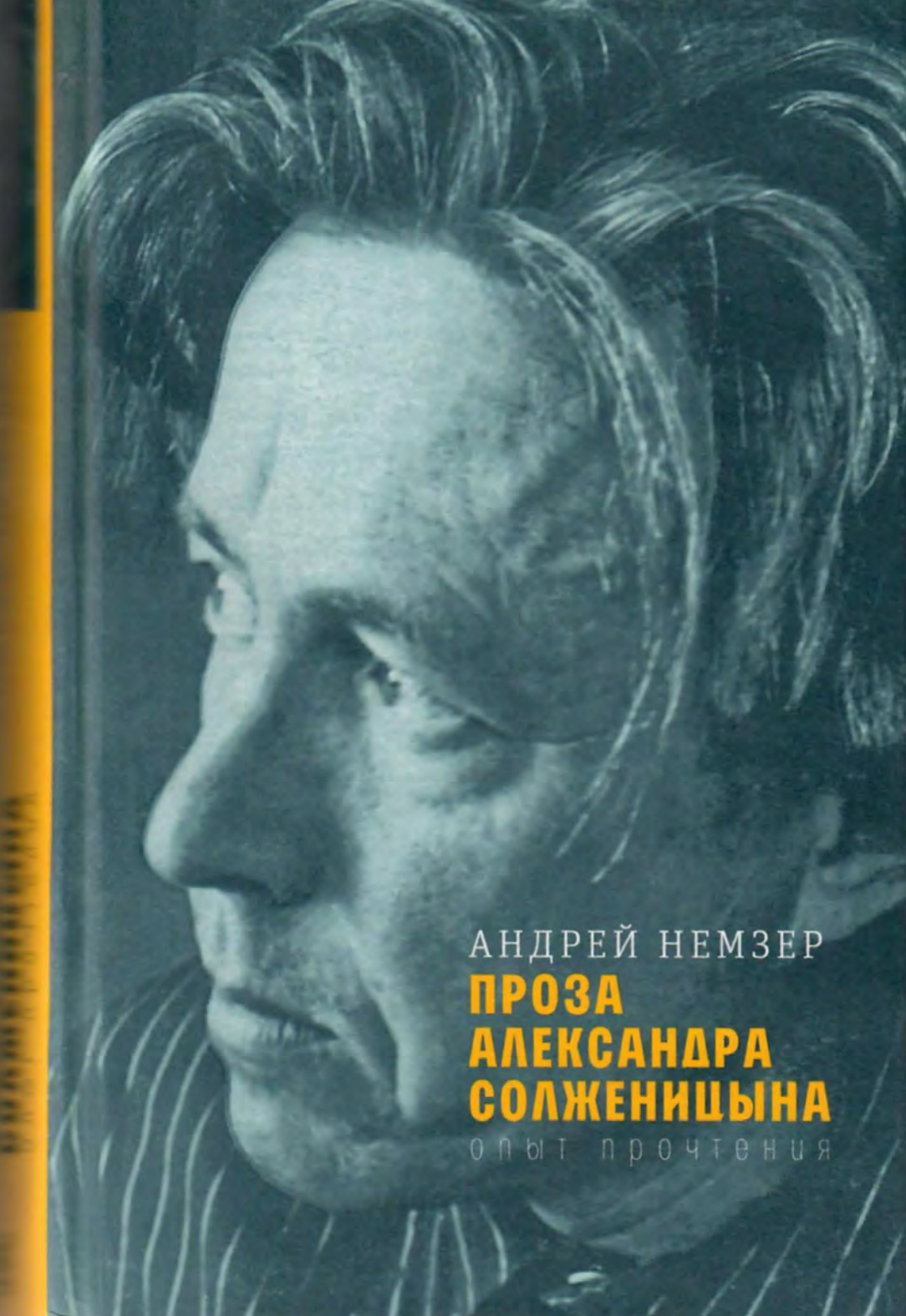


АНДРЕЙ НЕМЗЕР

ПРОЗА АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

опыт прочтения

К 100-летию со дня рождения
Александра Исаевича
Солженицына

Серия «Диалог»

АНДРЕЙ НЕМЗЕР

ПРОЗА АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

опыт прочтения

Москва
2019

УДК 821.161.1.0
ББК 84(2=411.2)6
Н50

оформление и макет
Валерий Калныньш

Немзер, А. С.
Н50 Проза Александра Солженицына : Опыт прочтения / Андрей Семенович Немзер. — М.: Время, 2019. — 640 с. — (Диалог).

ISBN 978-5-9691-1803-4

При глубинном смысловом единстве проза Александра Солженицына (1918—2008) отличается удивительным поэтическим разнообразием. Это почувствовали в начале 1960-х годов читатели первых опубликованных рассказов нежданно явившегося великого, по-настоящему нового писателя: за «Одним днем Ивана Денисовича» последовали решительно несхожие с ним «Случай на станции Кочетовка» и «Матрёнин двор». Всякий раз новые художественные решения были явлены романом «В круге первом» и повестью «Раковый корпус», «крохотками» и «опытом художественного исследования» «Архипелаг ГУЛАГ». Даже каждый из четырех Узлов «повествованья в отмеренных сроках» строится по своим, особым, поэтическим законам. В книге А. С. Немзера, выходящей к столетию Александра Солженицына, предпринята попытка «медленного чтения» ряда его сочинений, истолкования их жанрового, композиционного, стилистического своеобразия, специфики солженицынского осмысления истории и человеческой личности. Особое внимание уделено диалогу с большой литературной традицией, который писатель вел на протяжении всего своего творческого пути.

Андрей Немзер — историк литературы, ординарный профессор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики.

ISBN: 978-5-9691-1803-4

ББК 84(2=411.2)6

© Немзер А. С., 2019
© «Время», 2019

ОТ АВТОРА

Предлежащую книгу составили работы о нескольких сочинениях нашего великого соотечественника и — совсем недавно — современника Александра Исаевича Солженицына (11 декабря 1918 — 3 августа 2008). Перечитывать Солженицына (как и Шекспира, Сервантеса, Мольера, Гёте, Вальтера Скотта, Пушкина, Тютчева, Диккенса, Гончарова, Лермонтова, А. К. Толстого, Тургенева, Фета, Некрасова, Достоевского, Островского, Л. Н. Толстого, Чехова, Томаса Манна, Блока, Ходасевича, Пастернака, Мандельштама, Булгакова, Цветаеву...) — счастье. Счастьем этим я и хочу поделиться с теми, кому близко такое отношение к литературе. Подзаголовок — «Опыт прочтения» — следует понимать буквально.

В первой части книги речь идет о тех произведениях, Солженицына, что писались в 1950—1960-е годы и принесли автору всемирное признание, знаком которого стала Нобелевская премия (1970). Это «Один день Ивана Денисовича» («Новый мир». 1962. № 11) и «Два рассказа» («Случай на станции Кречетовка» и «Матрёнин двор»; «Новый мир». 1963. № 1), появление которых радикально изменило литературную ситуацию в СССР и мощно сказалось на всем дальнейшем ходе российской истории. Это — роман «В круге первом», начатый еще в ссылке, видевшийся автору завершенным еще до того, как были написаны «Щ-854» (будущий

«Один день...») и «Не стоит село без праведника» (будущий «Матрёнин двор»), претерпевший тактически обусловленные изменения, прочитанный благодаря самиздату и тамиздату в «ослабленной» версии, восстановленный в 1968 году, но представленный читателям в своем истинном виде лишь десять лет спустя — в двух инициальных томах двадцатитомного Собрания сочинений Солженицына, которое писатель смог выстроить, лишь оказавшись в изгнании. Это — повесть «Раковый корпус» (закончена в 1967-м), за публикацию которой в отечестве писатель боролся страстно, но тщетно («Раковый корпус» широко ходил в самиздате, на Западе повесть была опубликована в 1968 году).

Работы об этих произведениях были написаны мной в 2012—2018 гг. Единственное исключение — статья «Рождество и Воскресение. О романе “В круге первом”» (1990), с которой начались мои солженицынские штудии. Хотя статья несколько сокращена, в ней видны «зерна» двух помещенных далее работ о романе. Надеюсь, снисходительный читатель извинит мне эти перекличк, как и присутствие в главе о трех рассказах некоторых мотивов, подробно прописанных в главе о «Матрёнином дворе».

Во второй части книги републикуется без существенных изменений монография о «Красном Колесе» (первое издание — М.: Время, 2010), выросшая из сопроводительных статей к четырем Узлам «повествованья в отмеренных сроках», окончательная редакция которого печаталась в Собрании сочинений, замысленном и выстроенным автором[1].

Читатель может упрекнуть меня за неполноту материала — и будет формально прав. Можно даже сказать, что книга получилась без начала, конца и вершины. Здесь нет глав, специально посвященных неоконченной повести «Люби революцию» (писалась в 1948 г. в марфинской шарашке, попытка продолжения была предпринята десятью годами позже), «двучастным расска-

зам» (1993—1998), повести «Адлиг Швенкиттен» (1998) и «опыту художественного исследования» «Архипелаг ГУЛАГ». Хочется верить, что следы моих размышлении и об этих сочинениях, и о рассказах конца 1950-х — начала 1960-х годов («Правая кисть», «Для пользы дела», «Захар Калита», «Как жаль», «Пасхальныи крестныи ход»), и о «крохотках», пьесах, публицистике Солженицына сказались при анализе и интерпретации трех дебютных рассказов, романа, повести и «Красного Колеса». Мне кажется, что отсутствующие в качестве прямых объектов анализа тексты все же в книге работают, упоминания о них (пусть беглые) позволяют увидеть объемнее те сочинения, о которых говорится подробно. И наоборот: пристально прочитанные сочинения бросают свои свет на оставшиеся в тени.

Что же до «опыта художественного исследования», то здесь считаю должным процитировать главку из Пятого Дополнения — «Невидимки» — «очерков литературнои жизни», посвященную Мире Геннадьевне Петровои, главному и любимому «литературному собеседнику» Солженицына в 60-е годы, незаурядному текстологу, историку и ценителю словесности[2]:

> ...изо всех моих книг к единственной она не прикоснулась сотрудничеством, — я её не прикоснул, и не просилась она: к «Архипелагу». В том жёстком самодвижении нашей истории и её неленивым рукам было не к чему прикоснуться. И когда все три тома я принёс ей на пять дней прочесть — она, единственно только об этой книге, не сказала мне ни слова. Потому что на книга сделалась сама — не в мастерских искусства, не вспоминая ни единого завета его, не соотносясь ни с единым правилом.
>
> (XXVIII, 494)

Эти строки «Телёнка» обожгли меня при первом чтении. Буквально вошли в душу. Потому даже в лекциях я «Архипелаг» цитирую довольно обильно, но почти не

комментирую. Нет, я вовсе не считаю, что литературоведам заказано анализировать «опыт художественного исследования», — об этой книге уже написаны глубокие работы, и, надо надеяться, число их будет прирастать. У меня пока не получается. Хотя все, что я писал о Солженицыне и говорил о нем на занятиях со студентами, просвечено сердцевинным, по моему разумению, поэтическим тезисом «Архипелага» (Часть четвертая. «Душа и колючая проволока». Глава 1. «Восхождение» — почти точный центр повествования в семи частях):

Согнутой моей, едва не подломившейся спиной дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт: *как* человек становится злым и *как* — добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащён был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями — она проходит через каждое человеческое сердце — и черезо все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискоренённый уголок зла.

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются *со злом в человеке* (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им *носителей* зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра), — само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство.

(V, 495—496)

Приведя одну цитату, чувствую, что здесь необходима и другая — из зачина Нобелевской лекции:

...вся иррациональность искусства, его ослепительные извивы, непредсказуемые находки, его сотрясающее воздействие на людей, — слишком волшебны, чтоб исчерпать их мировоззрением художника, замыслом его или работой его недостойных пальцев.

Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не было у нас искусства. Ещё в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, которых не успели разглядеть. И не успели спросить: з а ч е м нам этот дар? как обращаться с ним?

И ошибались, и ошибутся все предсказатели, что искусство разложится, изживёт свои формы, умрёт. Умрём — мы, а оно останется. И еще поймём ли мы до нашей гибели все стороны и все назначенья его?

Не всё — называется. Иное влечёт дальше слов. Искусство растепляет даже захоложенную, затемнённую душу к высокому духовному опыту. Посредством искусства иногда посылаются нам, смутно, коротко, — такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению.

Как то маленькое зеркальце сказок: в него глянешь и увидишь — не себя, — увидишь на миг Недоступное, куда не доскакать, не долететь. И только душа занывает...[3]

Для меня эти фрагменты «опыта художественного исследования» и Нобелевской лекции неразрывно связаны. Почему? Ответом (разумеется, приблизительным) мне видится эта книга — книга о писателе, неуклонно верившем в единство Правды и Поэзии, а потому — в будущее искусства, в частности — русской литературы.

Низко кланяюсь всем, у кого я учился думать: о Солженицыне, о словесности, о назначении и смысле искусства, о нашем прошлом, настоящем и будущем, о жизни и смерти, — ушедшим и здравствующим, близким по сей день и исчезнувшим (или почти исчезнувшим) из поля моего зрения, старшим, сверстникам и младшим. Поименный список получился бы и огром-

ным, и наверняка неполным, но без сжатого обойтись не могу.

Александр Исаевич и Наталия Дмитриевна Солженицыны читали первоначальные варианты статей об Узлах «Красного Колеса». (Статья об «Апреле Семнадцатого» была завершена уже после смерти Александра Исаевича; с ней работала только Наталия Дмитриевна, заинтересованно относившаяся и к другим моим работам.) Их доброжелательные и точные замечания я по мере разумения стремился учесть при доработке статей и складывании книги. Не могу найти правильных слов, чтобы выразить переполнявшее при всех наших беседах и навсегда оставшееся со мной чувство восхищенной благодарности великому писателю и его первому редактору — благодарности за мудрые и стимулирующие мысль советы, снисходительность к моим промахам, бесценное доверие.

В последние годы я посильно участвовал в подготовке альманахов «Солженицынские тетради: Материалы и исследования» (М.: Русский путь; на сегодня вышло пять книг, шестая — в работе) и солженицынских семинарах, проходящих в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына, что прямо сказалось в моих штудиях. Приношу искреннюю благодарность докладчикам (чьи выступления не пропустил), авторам «Тетрадей», сотрудникам отдела по изучению наследия А. И. Солженицына (множества эти пересекаются) и — с особым чувством — Г. А. Тюриной.

Я признателен студентам нескольких потоков бакалаврской программы «Филология» НИУ Высшая школа экономики, с которыми *медленно читал* рассказ «Матрёнин двор» (вводный курс «Ключевые тексты русской литературы») и/или обсуждал прозу Солженицына (заключительный этап курса «История русской литературы»). Сердечно благодарю выпускницу бакалавриата (ныне — магистрантку) Н. А. Бересневу, автора замечательных — никак по уровню своему не студенческих! —

исследований, посвященных рассказу «Случай на станции Кочетовка» и поэме «Дороженька». Надеюсь на продолжение нашей совместной работы.

Меня глубоко тронула теплота, с которой руководители издательства «Время» откликнулись на предложение издать еще одну — уже девятую по счету — мою книгу. Большое спасибо А. М. Гладковой и Б. Н. Пастернаку.

Наконец, книга эта просто не сложилась бы, не ощущай я поддержки, веры в осмысленность моих занятий, сочувствия, проще говоря — любви. И потому всем сердцем благодарю мою жену Яну, дочерей Аню, Машу и Лизу, сына жены Сережу, Г. А. Антипову и Н. Н. Зубкова, Е. А. Кантор-Казовскую, Т. Ю. Кибирова, Л. Н. Киселеву (по ее настоянию я в далеком уже 2001 году прочел свой первый солженицынский спецкурс — в Тартуском университете, но дело далеко не только в этом), В. А. Мильчину, О. В. и К. М. Поливановых, Л. И. Соболева, С. И. Чупринина, Е. Я. и А. Д. Шмелевых.

Август 2018

Примечания

[1] Сколько возможно, тексты цитируются по этому изданию: *Солженицын Александр.* Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2006 — ... (на сегодня выпущен 21 том). Номера томов (римская цифра) и страниц (цифра арабская) даются в тексте, в скобках. В главах этой книги, посвященных расска-

зам, роману «В круге первом», повести «Раковый корпус», номера томов, в которых помещены эти тексты (соответственно I, II, III), опускаются (указываются только страницы). О системе отсылок в монографии о «Красном Колесе» см. в «Предварительных замечаниях» ко второй части книги. В цитатах сохраняются особенности авторской орфографии и пунктуации, о них см.: *Солженицын Александр.* Публицистика. Т. 3. С. 524—539. Все шрифтовые выделения в цитатах (курсив, разрядка, прописные буквы) принадлежат Солженицыну. В иных — немногочисленных — случаях дается помета: «курсив мой».

[2] Тщанием М. Г. Петровой подготовлено удивительное издание: *Солженицын Александр.* В Круге первом: Роман. М.: Наука, 2006 (серия «Литературные памятники»).

[3] *Солженицын Александр.* Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1995. Т. 1. С. 8—9.

Часть первая

РАССКАЗЫ. РОМАН. ПОВЕСТЬ

Глава I

ВСЯ ПРАВДА

Три дебютных рассказа

Это случилось 17 ноября 1962 года. К подписчикам пришла очередная книжка «Нового мира». Одиннадцатый номер журнала открывала подборка лирики Эдуардаса Межелайтиса. За ней следовала повесть «Один день Ивана Денисовича». Имя автора абсолютному большинству читателей было неизвестно, а потому ничего обещать не могло. Ясность вносила заметка «Вместо предисловия» за подписью главного редактора самого свободного из выходящих в стране журналов поэта А. Т. Твардовского: «Жизненный материал, положенный в основу повести А. Солженицына, необычен в советской литературе. Он несет в себе отзвук тех болезненных явлений в нашем развитии, связанных с периодом развенчанного и отвергнутого партией культа личности, которые по времени хотя и отстоят от нас не так уж далеко, представляются нам далеким прошлым <...> Читатель не найдет в повести А. Солженицына всеобъемлющего изображения того исторического периода, который, в частности, отмечен горькой памятью тридцать седьмого года. Содержание “Одного дня”, естественно, ограничено и временем, и местом действия, и кругозором главного героя повести. Но один день из

жизни лагерного заключенного Ивана Денисовича Шухова под пером А. Солженицына, впервые выступающего в литературе, вырастает в картину, наделенную необычайной живостью и верностью правде человеческих характеров. Многих людей, обрисованных здесь в трагическом качестве “зэков”, читатель может представить себе и в иной обстановке — на фронте или на стройках послевоенных лет. Это те же люди, волею обстоятельств поставленные в особые, крайние условия жестоких физических и моральных испытаний»[1].

В заметке Твардовского ощутимы и тактические изворотливость советского редактора (кандидата в члены ЦК единственной в стране всевластной партии), и напряженные внутренние противоречия истинного поэта (автора «Василия Тёркина»). Но важны нам сейчас не они, а тот простой смысл, который Твардовский хотел донести до любого человека, открывающего книжку «Нового мира», — напечатана *та самая* «повесть о лагерях», вести о которой клубились несколько последних месяцев не только в литературных кругах столицы. Дело — за вами, читайте.

Немногим ранее (19 сентября) Л. К. Чуковская спросила Анну Ахматову, «читала ли она “Один день з/к”[2] и что о нем думает».

— Думаю?.. Эту повесть о-бя-зан про-чи-тать и выучить наизусть — *каждый гражданин* изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза.

Она выговорила свою резолюцию медленно, внятно, чуть ли не по складам, словно объявляла приговор[3].

Увы, «Один день...» прочитали далеко не все граждане СССР. Но масштаб события поздней осенью 1962 года ощутили весьма многие. Вот как много лет спустя, в совсем иную эпоху (1998), вспоминал о том в личном письме Солженицыну С. С. Аверинцев (в 1962-м — недавний выпускник филфака МГУ; позднее — один из крупнейших русских гуманитариев XX века):

С незабвенным выходом в свет того одиннадцатого новомирского номера жизнь наших смолоду приунывших поколений впервые получила тонус: проснись, гляди-ка, история еще не кончилась! Чего стоило идти по Москве домой из библиотеки, видя у каждого газетного киоска соотечественников, спрашивающих всё один и тот же разошедшийся журнал! Никогда не забуду одного диковинно, по правде говоря, выглядевшего человека, который не умел выговорить название «Новый мир» и спрашивал у киоскёрши: «Ну, это, где вся правда-то написана!» И она понимала, про что он; это надо было видеть, и видеть тогдашними глазами. Тут уж не история словесности — история России[4].

Косноязычный «человек из толпы» словно бы расслышал Ахматову, великого поэта, легитимно наследующего Пушкину, Достоевскому и Толстому. Двести миллионов обязаны прочесть «Один день...» и выучить его наизусть (то есть, прожив с Иваном Денисовичем от подъема до отбоя, сделать его день неотъемлемой частью собственного сознания), ибо в рассказе этом «вся правда». *Вся* — вопреки корыстным и бессовестным указаниям советских критиков на то, что «годы, которые мы называем периодом культа личности, были весьма сложными и противоречивыми», а Иван Денисович не может «претендовать на роль народного типа нашей эпохи»[5]. Вся — вопреки тактически обусловленным замечаниям защитников рассказа (начиная с Твардовского), напоминающих о том, что нельзя объять необъятное[6]. Вся — ибо правда не знает количественных критериев.

Мы понимаем, что *все события*, произошедшие за годы большевистского владычества в России, на шестидесяти шести журнальных страницах описать невозможно. Мы видим воочию, что состоящий из семи частей «Архипелаг ГУЛАГ» обычно укладывается в три объемных тома, а четыре Узла «Красного Колеса» — в десять. Но мы знаем, что задуманные прежде создания «Одного дня...» «опыт художественного исследования» коммунистической тирании и духовного ей сопротив-

ления и роман о революции (ставший «повествованьем в отмеренных сроках») смогли осуществиться, обрести свою художественную, религиозно-этическую, историософскую полноту вследствие того, что их автором был написан рассказ об одном дне одного зэка[7].

В «очерках литературной жизни» Солженицын рассказывает о том, как редактор отдела прозы «Нового мира» А. С. Берзер представила Твардовскому сверхрискованную рукопись неведомого автора: «“лагерь глазами мужика, очень народная вещь”. <...> в шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского». Чуть ниже Солженицын пишет: «...верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв. Так и сбылось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его доконная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома, да и пораньше» (XXVIII, 23)[8].

В интервью для Би-би-си к двадцатилетию рассказа (1982) Солженицын подчеркивал, что для появления «Одного дня...» в советской печати «нужно было стечение невероятных обстоятельств и исключительных личностей. Совершенно ясно: если бы не было Твардовского как главного редактора — нет, повесть эта не была бы напечатана <...> И если бы не было Хрущёва в тот момент — тоже не была бы напечатана. Больше: если бы Хрущёв именно в этот момент не атаковал бы Сталина ещё один раз — тоже бы не была напечатана. Напечатание моей повести в Советском Союзе, в 62-м году, подобно явлению против физических законов, как если б, например, предметы стали подниматься от земли кверху или холодные камни стали бы сами нагреваться, накаляться до огня <... > Да, и Твардовский, и Хрущёв, и момент — все должны были собраться вместе»[9].

Всё так. Но для того, чтобы Твардовский и Хрущёв не остались равнодушными к Ивану Денисовичу, нуж-

но было, чтобы они его *увидели*. Нужно было представить в «Новый мир» именно эту «очень народную вещь». А прежде того — ее написать.

Если искать в истории русской литературы дебюты, поэтическая мощь которых сопоставима с «Одним днём...», то на ум сразу приходят «Бедные люди» и «Детство»[10]. Аналогия соблазнительная, но с большим изъяном. Достоевский и Толстой не только написали, но и увидели напечатанными свои шедевры, не досягнув двадцати пяти лет. Солженицыну в 1959 году, когда был написан рассказ «Щ-854», исполнилось сорок. И в отличие от великих предшественников он не был начинающим. В марфинской шарашке (1948—1950) писалась повесть «Люби революцию» (первоначально — «История одного дивизиона»; осталась неоконченной); в Экибастузском особом лагере устно сочинялась огромная повесть в стихах «Дороженька» (1950—1953; начата в 1947)[11]; там же и в ссылке (1953—1954) сложилась драматическая трилогия — «Пир победителей» — «Декабристы без декабря» («Пленники») — «Республика труда» («Олень и шалашовка»). К исходу пятидесятых был завершен роман «В круге первом» (начат еще в ссылке; позднее перерабатывался). При всех несомненных тематических, жанровых и стилистических различиях все эти вещи (исключая, и то не в полной мере, трагедию «Пленники») строятся на отчетливо автобиографической основе. Их герои (вплоть до протагониста романа «В круге первом») — *ровесники* революции, интеллигенты, семейными узами связанные с исчезнувшим докатастрофным миром, но сформированные миром новым. «Суммировав» ранние сочинения Солженицына, мы получаем своего рода «роман воспитания»: иллюзии отрочества и юности (любовь к революции и надежда на ее скорое торжество в мировом масштабе); проигнорированные или оправданные «исторической целесообразностью», но запавшие в память столкновения с советским злом; «странности» начального этапа войны; фронтовые будни, заставляющие все более трезво оце-

нивать советскую действительность; арест, следствие и низвержение в лагерную бездну. Как это свойственно весьма многим начинающим авторам, Солженицын писал о себе, своих заблуждениях и прозрениях, своей судьбе. «Щ-854» был рассказом о другом.

В интервью Н. А. Струве (март 1976) писатель вспоминал: «Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником, и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём <...> достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё». Гениальная догадка вспыхнула на «месте действия», когда «было безумно об этом думать. А потом прошли годы. Я писал роман, болел, умирал от рака. И вот уже <...> в 59-м году, однажды я думаю: кажется, я уже мог бы сейчас эту идею применить. Семь лет она лежала так просто. Попробую-ка я написать один день одного зэка. Сел — и как полилось! Со страшным напряжением[12]». Работа над рассказом заняла сорок два дня — с 18 мая по 30 июня.

В другом интервью Солженицын относил замысел не к 1952, а к 1950 году[13] — допустимо предположить, что мысль о рассказе приходила к каторжанину не раз. Существенно, однако, что в обоих случаях сильное композиционное решение («один день») подразумевает особого рода героя. В 1982 году об этом говорится подробнее: «Ивана Денисовича я с самого начала так понимал, что не должен он быть такой, как вот я, и не какой-нибудь развитой особенно, это должен быть самый рядовой лагерник. Мне Твардовский потом говорил: если бы я поставил героем, например, Цезаря Марковича, ну там какого-нибудь интеллигента, устроенного в конторе, то четверти цены бы той не было. Нет. Он должен быть самый средний солдат этого ГУЛАГа, тот, на кого всё сыпется»[14].

Дело, однако, не сводится к тому, что в герои «полного» повествования о лагере не может быть взят «при-

вилегированный» зэк. Каковы бы ни были личные человеческие качества того или иного «конторщика», жизнь их устроена существенно иначе, чем у вкалывающего *на общих* большинства. Но ведь замысел «Одного дня...» возник у выпускника университетского физмата, бывшего офицера, бывшего шарашечника, не оставляющего мысли о писательстве, когда он носилки таскал! Как таскают их однобригадники Ивана Денисовича — бывший «начальник» Фетюков и бывший кавторанг Буйновский. «Не придурок» — условие для выбора героя *необходимое,* однако счесть его и *достаточным* было бы серьезной ошибкой. «Странным образом, героя я взял — фамилию и наружность — своего солдата из батареи, вовсе не зэка, он никогда в лагере не сидел <... > А биографию я уже брал от других и все события жизни еще от третьих, от четвёртых». Шухов, по свидетельству его создателя, «образ собирательный»[15], но это вовсе не означает «безликий» или «усредненный». Ощутимая с первых строк и становящаяся по мере движения рассказа все более ясной индивидуальность героя сложно соотнесена с его «анкетными данными». Шухов — разменявший пятый десяток русский крестьянин (мужик), что до войны из своей деревни Темгенёво не выбирался, на фронте был рядовым, а в лагерях мается без малого восемь лет.

Возраст героя упоминается дважды. В первый раз: «Шухов же сорок лет землю топчет...» (37), но, похоже, во внутренней речи героя возраст естественно округлился. Ниже говорится, что бригадир, называющий Шухова и Кильдигса «ребятами», «был не старше их» (43). Бригадиру, согласно его рассказу, в 1930-м было двадцать два года (62), следовательно, родился он в 1908-м, в начале 1951-го (время действия) ему 42 года. Не так уж важно, родился Иван Денисович в 1908-м или в 1911-м, — он должен помнить дореволюционную жизнь (хотя бы смутно) и точно помнит, как «по-без-колхозов» ели в деревне «мясо — ломтями здоровыми» (40) и какой у него был мерин, в колхозе быстро сгинувший (74). Он знает,

что живет под чужой властью — жестокой, жадной, глупой. Хоть в деревне, хоть на фронте, хоть в лагере.

Не на каторге Шухов усвоил: «для людей делаешь — качество дай, для начальника делаешь — дай показуху» (21). И в размышлениях его о том, как идет теперь жизнь в родной деревне, искреннее недоумение (мужики «живут дома, работают на стороне») не отменяет верного взгляда на суть происходящего — «видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили, но люди не теряются: в обход идут и тем живы» (36, 37). Передавая думки шагающего на объект Шухова, Солженицын играет на тонких семантических различиях близких глаголов: «жизни их не поймешь», «никак не внять», «и не понять никак» и, наконец, «этого он не может принять» (36). Главное про свою и других обычных людей жизнь Шухов отлично понимает (если что и меняется в ней, то либо для видимости, либо к худшему), «вникать» в придумки начальства ему незачем (коли есть у тебя «добрые руки», то «верную работу» найдешь), а вот «принять» этот извращенный мир Иван Денисович не может. Потому что, кроме страшного социального опыта загнанного в колхоз мужика, солдата-окруженца, вырвавшегося из плена, чтобы быть назначенным в «шпионы», доходящего в Усть-Ижме зэка, пронумерованного каторжанина, есть у Шухова и иной опыт — опыт свободного человека, просто и твердо различающего добро и зло, умеющего и любящего работать, изначально расположенного к другим и понимающего, что люди — разные, не теряющего собственного достоинства.

Это Шухов-то? Шухов, что, *закосив* две миски, ждет, когда помбригадира дозволит ему из одной кашу выскрести. Бежит занимать Цезарю очередь за посылкой. Почтительно благодарит Татарина, когда тот милостиво его «прощает» — не загоняет в карцер, а велит всего лишь пол вымыть. Ломает перед надзирателями шапку, а то и за угол прячется, чтоб на глаза не попасться. Сгоняет в столовой с места двух доходяг. Выцыганивает поднос, который был обещан другому. Покрикивает за

работой на подносчиков и костыляет в спину заленившегося (обессилевшего) Фетюкова. Вместе со всей толпой зэков готов разорвать не поспевшего к выходу из рабочей зоны молдавана, забыв, что совсем недавно точно так же и ровно за то же готовы были расправиться с ним и Сенькой Клевшиным. Не разделяет праведный гнев кавторанга на разводе. Посмеивается над непонятно лопочущими москвичами. Не благодарит Господа, когда исполнилось по его молитве — не заметил надзиратель спрятанную в рукавице ножёвку. Хуже того, объясняет Алёшке: «сколько ни молись, а сроку не скинут» (111). «От работы лошади дохнут» (26). «Особый — и пусть он особый, номера тебе мешают, что ль? Они не весят, номера» (53). «Двести грамм жизнью правят» (48). Это ведь все тоже мудрость Ивана Денисовича. И разве не страшен его ответ на вопрос, что и вопросом-то для Шухова быть перестал: «Кто арестанту главный враг? Другой арестант» (85).

Кто сказал «а», должен сказать «б», то есть: «Подохни ты сегодня, а я завтра»! (107). Но мысль Шухова идет совсем в другую сторону: «Если б зэки друг с другом не сучились, не имело б над ними силы начальство» (85). А бесчеловечное «правило» вспоминается именно в том эпизоде, где приобыкший к лагерю мужик пожалел «богатого», но бестолкового умника-москвича. «Не заработать ещё от Цезаря хотел, а пожалел от души». *Трижды* звучит это слово, отменяющее норму «зверохитрого племени». Ох, не случаен здесь этот эпитет! Как не случайно, что здесь же Иван Денисович называет месяц «волчьим солнышком» — и выходит из первых греться на донимавший его весь день мороз (107). Зачем? А он первым после поверки вскочит в барак, чтобы сберечь беспризорную посылку (еду!) соседа.

«Если б зэки друг с другом не сучились...» В усталом вздохе разом слышны недоверие к прекраснодушной мечте и глубинное знание о том, что в этой же несбыточной мечте — отвечная правда. Сходное двоящееся чувство завладевает Шуховым и раньше (сцена строитель-

ства): «Безотказный этот Алёшка, о чём его ни попроси. Каб все на свете такие были, и Шухов бы был такой. Если человек просит — отчего не пособить? Это верно у них» (73).

«У них» — у баптистов. О том, что Алёшка верующий, получил за то двадцать пять лет, а лагерь с него «как с гуся вода» (38), мы уже знаем. Спор Алёшки с Шуховым впереди. Но ведь верно ведет себя не только уповающий на Бога Алёшка. Как Иван Денисович пожалел Цезаря даже и без его просьбы, так Сенька Клевшин дожидается Шухова, пока тот заначивает свой мастерок (решает «личную проблему»). «Никогда Клевшин в беде не бросит. Отвечать — так вместе» (76).

Шухов, Алёшка, Сенька Клевшин и многие другие зэки в лагерном аду остаются людьми, сохраняют высокие (или просто нормальные?) душевные свойства — способность сострадать другому и понимать его, верность национальному чувству (особенно выразительно явленная «братьями»-эстонцами), трудовую этику (понимаемую Кильдигсом, кавторангом, Павлом весьма по-разному, но во всех «изводах» вызывающую уважение), глубинное неприятие наличествующего — долгие-долгие годы — бесчеловечного уклада. (Комический бунт ратующего на разводе за законность кавторанга, без сомнения, противопоставлен печально-ироничной трезвости Шухова и других опытных зэков, но оттого единство нравственного чувства глубоко различных персонажей не исчезает; к «шакалу» Фетюкову брезгливо относится не только привыкший начальствовать кавторанг, но и — в большей части рассказа — Иван Денисович.) Наше сочувствие отменно ориентирующемуся в лагерном пространстве бригадиру Тюрину и наивно лезущему на рожон кавторангу, замкнутым друг на друга «братьям»-эстонцам и не устающему смеяться над советской глупостью Кильдигсу, глухому бедолаге Клевшину и «удачнику» Цезарю, терпеливцу Алёшке и плутоватому Гопчику обусловлено не только тем, что они лишены свободы, оторваны от родных, обречены на голод,

холод, унижения, изнурительный (и часто бессмысленный) труд, провоцируются всем лагерным (и не только!) порядком на расчеловечивание. Десятнику Дэру, Хромому, Шкуропатенке, старшему бараку («вот еще сволочь старшая» (106)), стукачу Пантелееву и еще много кому мы *не* сочувствуем. Ибо всех насельников лагеря видим глазами Шухова, которому крепко запомнились слова его первого бригадира, Кузёмина:

> Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто подыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к *куму* ходит стучать.
>
> Насчёт кума — это, конечно, он загнул. Те-то себя сберегают. Только береженье их — на чужой крови.
>
> (15)

Наставление Кузёмина возникает в самом начале рассказа. И хотя правила «старого лагерного волка» сразу прирастают усмешливой и грустной оговоркой, суть их остается в силе. Позже мы узнаем, сколь опасен соблазн санчасти (останься заболевающий Шухов в зоне «на свой страх», попал бы он в БУР, где едва ли бы перемогся). Узнаем, что «шакал» может вызвать сострадание: вопреки презрению к Фетюкову, приступы которого вспыхивают у Шухова весь день, увидев вечером побитого «за миски» собригадника, Иван Денисович думает: «Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить» (103). Узнаем: «береженье на чужой крови» теперь чревато кровавым возмездием, что Шухова удивляет («Такого в бытовых не было. Да и здесь-то не было» (53), но не страшит, хотя знает он, что мстители зарезали и «работягу невинного — место, что ль, спутали». Кто застрахует Ивана Денисовича или иного честного работягу (да хоть бы и «придурка») от подобной ошибки? Но — в отличие от Фетюкова — Шухов этой опасностью не встревожен. И к убитым жалости не испытывает, словно бы принимая формулировку Павла: режут «нэ людын, а стукачив». Всё же *словно бы:* прямо ничего подобного в думках Шухо-

ва не отмечается, но ведь и спора он не затевает. Может, и есть у него какое-то сомнение (у автора оно, безусловно, есть!), но важнее ощущение черты, здесь и сейчас отделяющей людей от нелюди. Жизнь (в том числе — лагерная) не укладывается в сколь угодно проверенные правила, но и не может обойтись без ясного различения добра и зла. Считай Иван Денисович, что все зэки волки, не смог бы он (а за ним мы) различать неповторимые лица тех, кто его окружают. Шухов — различает. И видит за лицами — судьбы, из которых по ходу рассказа, словно бы сама собой, складывается трагическая история пореволюционной России.

За ужином Иван Денисович, которому вроде бы ни до чего сейчас нет дела, все же замечает высокого старика Ю-81. И тут же невольно припоминает: «Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчётно, сколько власть советская стоит, и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали». Так мы узнаем и о неизменности советской системы, и о духовном сопротивлении несломленного человека, выделяющегося среди «пригорбленных» лагерников сохранившейся «прямизной спины». «Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что не много выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нём, не примирится: трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а — на тряпочку стираную» (98—99).

Вслушивается Шухов в медленный рассказ бригадира Тюрина, в который вместились коллективизация (высылка кулацких семей, исключение из нормальной жизни кулацких детей), кировский поток, ликвидация тех, на ком долго держался режим, в ходе Большого террора («Перекрестился я и говорю: “Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь”» (62—64)).

Судьбы Павла и Гопчика — свидетельства украинского сопротивления большевикам. Судьбы Киль-

дигса, торгующего табаком прижимистого латыша, «братьев»-эстонцев — свидетельства «зачистки» аннексированных балтийских государств. Узник Бухенвальда Сенька Клевшин представительствует за военнопленных, которым удалось выжить в нацистских лагерях, «бывший Герой Советского Союза», залезший на столб, чтобы разглядеть показания термометра, — за офицеров, освободивших Россию и Европу, но не успевших стать декабристами, кавторанг — за тех, кому досталось во время войны иметь дело с союзниками, теперь назначенными отвечными лютыми врагами[16], Цезарь — за космополитическую интеллигенцию... «Один день...» втягивает в себя не только шуховскую десятку, не только историю закрепощенного советского крестьянства (беглые, к случаям всплывающие, воспоминания Ивана Денисовича и письма из деревни Темгенёво), но — повторим и подчеркнем — всю подсоветскую историю.

Увидели бы мы эту историю в такой полноте и достоверности, избери Солженицын другого героя? Нет, не увидели бы. Как не видят Шухова с миской каши в руках Цезарь Маркович и (ровно так же!) «двадцатилетник, каторжанин по приговору, жилистый старик» — похоже, убежденный противник режима — Х-123, спорящие о фильме Эйзенштейна «Иван Грозный». У каждого из них своя мысль и стоящая за ней картина мира. Как и у кавторанга, мучительно обживающегося в лагере. Как у латышей, эстонцев, украинцев и других «националов» (они попали в абсолютно чужое пространство и, естественно держась друг за друга, столь же естественно по возможности игнорируют все здешнее). Как у «шакала» Фетюкова, тщащегося выжить любой ценой. Как у бригадира Тюрина, что в «доброй душе» (62) может, почти не обращая внимания на слушателей, рассказать «как не о себе» (63). На самом деле — именно о себе, давая себе редкий роздых от многолетней — заставляющей выть по-волчьи — бригадирской колотьбы. Как у Сеньки Клевшина, у которого отбит слух (что, раз-

умеется, не случайная деталь, а скрытый символ), возвращающийся к нему лишь в экстремальной ситуации (когда прибегающих последними на построение Шухова и Клевшина встречает остервенелое улюлюканье пяти сотен зэков (76)). Как у Алёшки, отрешившегося от всего мирского, до конца вверившегося Богу. Конечно, все они (кто больше, кто меньше) временами *видят* Шухова (Цезарь вовсе не плохо относится к услужливому Денисычу), но иначе, чем заглавный герой рассказа каждого из них. Конечно, каждый из второстепенных персонажей «Одного дня...» мог бы стать протагонистом другого рассказа, но именно что *другого* — рисующего отдельную человеческую судьбу и, возможно, стоящую за ней историю конкретной социальной, национальной, возрастной группы. Но никак не общую нашу историю.

Мужицкая неприметность Шухова органически сопряжена с его *приметливостью* — основанной на долгом (не только лагерном) опыте, трезвой, часто усмешливой, но основанной на уважении к другим (совсем не похожим на Ивана Денисовича!) людям, на скрытом знании о великой ценности всякого человека, покуда теплится в нем что-то человеческое. Благодаря Шухову мы видим живых людей, а не нумерованных рабов. И каждое живое человеческое лицо становится обвинением той системе, которая с момента своего возникновения ни во что ставит именно личность человека, его неповторимость, его свободу.

Уж сам он не знал, хотел он воли или нет. Поначалу-то очень хотел и каждый вечер считал, сколько дней от сроку прошло, сколько осталось. А потом надоело. А потом проясняться стало, что домой таких не пускают, гонят в ссылку. И где ему будет житуха лучше — тут ли, там — неведомо.

Только б то и хотелось ему у Бога попросить, чтобы — домой.

А домой не пустят...

(112)

Эти размышления Шухова навеяны его вечерним спором с благословляющим узническую судьбу Алёшкой. «Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями заглохнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать» (111—112). Иван Денисович не может проникнуться Алёшкиной верой (за что его в нынешние времена кое-кто готов строго корить, как когда-то корили за то, что он в лагере не борется). Но правду Алёшки он слышит. И эта правда парадоксальным образом не противоречит стремлению Ивана Денисовича домой, пусть и «колеблемому» (этот мотив возникает в рассказе и раньше) грустным признанием силы господствующего порядка. Не противоречит, ибо за частными правдами двух несхожих терпеливцев стоит правда общая — предназначенность человека свободе. И совсем не случайно, что дневные раздумья Шухова о «выворотном» законе, о нынешних двадцатипятилетних сроках, о возможности получить новую десятку или ссылку разрешаются неслышным окружающим, но истовым возгласом: «Господи! Своими ногами — да на волю, а?» (51).

Нет, не всуе поминает тут Шухов Господа. И похоже, обращения к Всевышнему (это, вспыхнувшее перед шмоном: «Господи! Спаси! Не дай мне карцера!» (88), вечернее, что подвигло Алёшку на проповедь, — «Слава тебе, Господи, ещё один день прошёл!» (110)) перевешивают забывчивость Денисыча после счастливого завершения обыска («и не помолился еще раз с благодарностью, потому что некогда было, да уже и некстати» (88)) и его тяжелые атеистические аргументы в споре с Алёшкой.

Когда в предпоследнем — знаково выделенном пробелами — абзаце рассказа Иван Денисович засыпает «вполне удоволенный», в его сознании (и перед нами) всплывают удачи прошедшего дня — отрицательные (трижды миновали грозные опасности да еще «и не заболел, перемогся») и положительные (здесь уравнены материальные прибытки — закошенная каша, подработка

у Цезаря, сходно купленный табак и радость работы — «стену Шухов клал весело»). Невозможно не расслышать в этом перечне и венчающем его выводе — «Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый» (114) — горькой иронии. Но невозможно не услышать здесь и другого — благодарности, приятия жизни, незапланированного ответа на то отчаяние (уже забытое Шуховым), что охватило его отнюдь не в самый страшный миг уходящего дня — при задержке в рабочей зоне: «Пропал вечер. Молдаван проклятый. Конвой проклятый. Жизнь проклятая...» (82). Проклятая. Но не только.

И не только набатное обвинение всем палачам и их подручным (от батьки усатого до ссучившихся зэков) звучит в последних строках рассказа, где усмешливое счетно-календарное уточнение (отдельной строкой) вновь усиливает наш ужас, наше сострадание мученикам, нашу выматывающую мысль о неизжитом по сей день прошлом:

> Таких дней в его сроке от звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три.
>
> Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...
>
> (114)

Здесь ведь, кроме иного-прочего, сказано, что Иван Денисович Шухов *победил* всесильную советскую систему. Он пошел своими ногами на волю (всего скорее, как и автор рассказа, в ссылку). Сохранив — порукой чему всё, что мы о герое Солженицына знаем, — чувство человеческого достоинства, уважение и сочувствие к другим людям, трезвый взгляд на жизнь и предлагаемые — бесчеловечные — обстоятельства, «привычку к труду благородную», неодолимую тягу к свободе.

Как один день Шухова намеком открывает нам «дни» других зэков (и всей страны), так его победа («тихая», введенная в повествование под сурдинку, но в финальной — то есть сильно маркированной — позиции) знаменует возможность сбережения души в черном

пространстве постоянного насилия, тотальной лжи, систематичного растления, насаждения волчьих законов. Рассказ «Щ-854» (будущий «Один день Ивана Денисовича») уже содержал в себе ту мысль, что определила строй рассказа «Не стоит село без праведника» (будущий «Матрёнин двор»).

Потому неудивительно, что, едва завершив историю мужика, попавшего в лагерь (писался 18 мая — 30 июня 1959), Солженицын принялся за историю крестьянки, чья жизнь прошла «на воле» (начата на рубеже июля-августа 1959 г., закончена в декабре). Естественно, что именно этот рассказ был предложен редакции «Нового мира», решившейся бороться за публикацию «Одного дня...» (обсуждение прошло 2 января 1962 года и закончилось признанием невозможности публикации). Понятно, почему в ноябре, когда лагерный рассказ получил «высочайшее добро», главный редактор «Нового мира» переменил решение: «Такова была сила общего захвала, общего взлёта, что в тех же днях сказал мне Твардовский: теперь пускаем “Матрёну”! “Матрёну”, от которой журнал в начале года отказался, которая “никогда не может быть напечатана”, — теперь лёгкой рукой он отправлял в набор, даже позабыв о своём отказе тогда» (XXVIII, 32, 46). Удивительно другое: Солженицын счел необходимым срочно написать еще одну вещь и поместить ее *между* «Одним днем...» и «Матрёниным двором»: «Два рассказа» в январской книжке «Нового мира» открывались «Случаем на станции Кречетовка»[17].

Зачем было так спешить? Разбивать гармоническое единство *народных* рассказов историей с иным центральным героем и зримо иной повествовательной стратегией? Дробить читательские впечатления? Был тут риск — и немалый. Солженицын на него пошел. Сказывались тут, разумеется, и причины внешние. Всякий писатель (и тем более тот, кто долгие годы пребывал в вынужденном затворе) хочет представить публике свою последнюю (сейчас родившуюся) вещь. (Но тут ведь новый вопрос встает: почему в победные дни по-

требовалось писать «Случай...»?) Понятно и желание не раствориться для читателей в одной теме — пусть даже народной. (Между тем что-то подобное произошло — несмотря на публикацию «Случая...» и особую значимость в «Матрёнином дворе» линии Игнатьича, кажется, не вполне оцененную первыми восхищенными читателями рассказа.) Наконец, по мемуарам писателя мы знаем, что находившийся в конце 1962 года на вершине славы Солженицын предполагал, что скорее всего официальное признание будет недолгим, что доступ к читателю ему перекроют. Всё так. Но важнее тактики, на наш взгляд, была стратегия. Иначе говоря — внутренняя необходимость произнести именно это *слово.* Не еще одно, а качественно новое и в то же время позволяющее читателю увидеть объемнее рассказы о народном мире, о его продолжающемся в советском мраке бытии, о безвестных (и словно бы обреченных безвестности) праведнике и праведнице.

Как невозможно было Солженицыну выйти из подполья с чем-либо, кроме истории мужика, загнанного в лагерь, так не мог он продолжать выговаривать *всю правду*, обминув трагическую вину своего поколения и социального круга, вину, причастность которой остро чувствовал он сам.

Выше говорилось, что к «Одному дню...» Солженицын пришел далеко не сразу, но после многих опытов воссоздания словом отчетливо автобиографического материала, насыщенных напряженной и горькой рефлексией. В свой звездный час он вернулся к этой — глубоко личной, но очень до многих касающейся — теме. Много проще было остаться *только* апологетом Ивана Денисовича и Матрёны, мудрым и свободным художником, заново открывшим народный мир, во весь голос сказавшим о народном горе. Солженицын легких путей не искал. И читателям своим — проникшимся искренним сочувствием к мученикам лагеря и колхоза — не предлагал. Перед своими сверстниками, теми, кто был причастен к победе над нацизмом, не сгинул в тюрьмах и ла-

герях, дожил до тех вершинных лет, когда человек может и должен обрести свой истинный масштаб, а с ним и ответственность за все происходящее (до пятого десятка), писатель поставил зеркало. В зеркале отразилось лицо помощника коменданта станции Кочетовка.

«Раз-берутся и с вашим Тверикиным. У нас брака не бывает» (209). У следователя, отвечающего на боязливый вопрос, нет ни внешности, ни фамилии, ни характера, ни возраста. Только инстинкт «значительно» хмуриться, осаживая нездоровое любопытство («А почему вы спрашиваете?»). Разбирается с несомненным врагом не он, а могучая, не знающая сбоев система. Неопределенно-личная конструкция уверенной реплики следователя страшно вторит обобщенно-личному восклицанию обреченного: «Ведь э т о г о не и с п р а в и ш ь!!» (207). У лейтенанта, который задержал человека «с такой удивительной улыбкой» (208), есть и лицо, и характер, и возраст, и жизненный путь (короткий), и имя с фамилией. Потому и помнит Вася (Василий Васильевич) Зотов, что разобрался он за несколько дней до октябрьской годовщины не с каким-то безликим Тверикиным, а с Игорем Дементьевичем *Тверитиновым*. Разобрался в меру своей компетенции, предоставив дальнейшее той общности, у которой брака не бывает. Быть не может. По определению.

Потому что Вася Зотов родился и вырос «в лучшей из стран — стране, уже прошедшей все кризисы истории, уже организованной на научных началах разума и общественной справедливости. Это разгружало его голову и совесть от необходимости защищать несчастных и угнетённых, ибо таковых не было». Потому что владеет лейтенантом великое чувство: «вот — м ы, м ы, Семнадцатый и Восемнадцатый годы рождения, — что за грозное-великое нам выпадает?! Но — и мы же готовы к нему. Так несчастно (при том, что выше сказано об удаче со временем и местом рождения! —А. И.) — уже после революции, не захватили её даже детской памятью, не то что участием. А всегда было это ощущение:

предстоящего великого боя, который разрешится только Мировой Революцией, но прежде их поколению надо лечь, всем полечь, готовиться всем погибнуть, и в этом сознании были и счастье, и гордость. *Всему* поколению — лечь не жалко, если по костям его человечество взойдёт к свету и блаженству». Вася Зотов думает и чувствует именно так, хотя цитируется здесь не «Случай на станции Кочетовка», а писавшаяся в 1948 году на марфинской шарашке (спецтюрьме, увековеченной позднее романом «В круге первом») оставшаяся неоконченной повесть с названием «Люби революцию» (XVIII, 254, 257—258). Ее протагонист Глеб Нержин максимально сближен с автором, каким тот был перед Великой войной и в ее начальную пору. Нержинским (то есть своим!) эмоциональным и интеллектуальным складом наделяет Солженицын лейтенанта Зотова[18]. Ибо речь тут идет о самоощущении если не всей новой — советской — интеллигенции, то *лучших* (к чему мы еще вернемся) ее представителей. С оговоркой, что могли они быть и несколько моложе.

Девятнадцатый год рожденья —
Двадцать два в сорок первом году —
Принимаю без возраженья,
Как планиду и как звезду.
Выхожу, двадцатидвухлетний
И совсем некрасивый собой,
В свой решительный и последний,
И предсказанный песней бой.

Поэт, прошедший войну, но, по счастью, избежавший лагеря, моложе Солженицына на полгода. Стихотворение «Сон», инкрустированное цитатами из Маяковского и «Интернационала», было впервые опубликовано в 1956-м[19].

Вспоминает другой фронтовик (он моложе Солженицына на три года с малым) — великий историк (не одной лишь русской литературы) и теоретик культуры.

Как сейчас помню — не помню только, кто их сказал, я или Борька Лахман, — слова: «Тогда никому не придет в голову считать, кто троцкист, а кто бухаринец, а все будут солдаты на фронте». А поскольку всем было ясно, что после испанской войны будет большой фронт, испанскую войну мы переживали как что-то непосредственно наше — я помнил названия сотен пунктов, места сражения Интернациональной бригады. <...> Мы с Борькой даже попробовали пробраться в питерский порт (откуда тогда корабли отправлялись в Испанию), чтобы пролезть в трюм и удрать. Но нас, конечно, поймали и, подвергнув тщательному допросу (бдительность!), все же с миром отпустили[20].

В отличие от Васи Зотова, Лотман в 1937 году знал не только о войне в Испании, но и о Большом терроре. Борька Лахман — сын расстрелянного врага народа, его мать и совершеннолетняя сестра отправлены в ссылку. Эти обстоятельства не колеблют ни отношения к нему Лотмана («лучший друг»), ни их общего *радостного* ожидания большой войны (на ней Лахман погибнет), ни рывка в Испанию. Старший тремя годами персонаж Солженицына обдумывал сходный план, но, сочтя его мальчишеством, действовал иначе — впрочем, столь же наивно и безуспешно (200).

Ко времени создания «Случая на станции Кочетовка» уже были опубликованы (и снискали закономерный успех) повести Юрия Бондарева («Батальоны просят огня», 1957; «Последние залпы», 1959) и Григория Бакланова («Южнее главного удара», 1957; «Пядь земли», 1959). Чем хуже лейтенант Зотов мужественных и трогательных героев «лейтенантской прозы»? Да ничем! Тот же идеализм, то же чувство личной ответственности за общее дело, та же вера в конечное торжество справедливости во всем мире, за которое должно жертвовать собой. Только изображен Вася не в том положении, что персонажи Бакланова и Бондарева, — не в конце много чему научившей вчерашних юнцов войны, а в ее ошеломительном, «невероятном», страшном начале, не на

передовой, а в тылу, лицом к лицу не с реальным врагом, а с обычной жизнью, вдруг оказавшейся совсем не такой, какой виделась она «мальчикам с луны» (так назвал Солженицын первую главу исповедальной поэмы «Дороженька»). Совсем нетрудно представить себе Зотова боевым командиром, выполняющим свой долг так же достойно, как весьма многочисленные его сверстники. И тут же задаться тяжелым вопросом: сколько таких лейтенантов (рожденных революцией, не щадивших себя на войне, с любовью запечатленных в прозе конца 1950-х), окажись они в зотовской ситуации, повели бы себя иначе, чем близорукий помощник военного коменданта станции Кочетовка? И если кому-то из них судьба не подбросила столь страшного искушения, если их нравственные сбои не так дорого стоили, то чья тут заслуга? Разумеется, любое поколение составляют *разные* люди, но типичность Зотова акцентирована весьма жестко — введением в текст рассказа двойника незадачливого героя.

Недавно, по дороге сюда, Зотов прожил два дня в командирском резерве. Там был самодеятельный вечер, и один худощавый бледнолицый лейтенант с распадающимися волосами прочёл свои стихи, никем не проверенные, откровенные. Вася сразу даже не думал, что запомнил, а потом всплыли в нём оттуда строчки. <...> Зотов повторял и перебирал эти слова, как свои:

Наши сёла в огне и в дыму города...
И сверлит и сверлит в исступленьи
Мысль одна: да когда же? когда же?! когда
Остановим мы их наступленье?!

И ещё так, кажется, было:

Если Ленина дело падёт в эти дни —
Для чего мне останется жить?

Тоже и Зотов совсем не хотел уцелеть с тех пор, как началась война. Его маленькая жизнь значила лишь — сколько он сможет помочь Революции. Но как ни просился он на первую линию огня — присох в линейной комендатуре.

(163)

Кто этот «худощавый бледнолицый лейтенант»? Буквально считаные читатели рассказа (самые близкие Солженицыну люди) могли распознать здесь автопортрет. Лишь после публикации «Люби революцию» стало ясно, что заворожившие Зотова стихи принадлежали автобиографическому герою этой неоконченной повести (проще же говоря — ее автору), а планы Зотова отступать хоть на край земли, чтобы «там влиться в какие-то окрепшие части и вернуться с оружием в СССР и в Европу» (163) точно дублируют планы Глеба Нержина (Солженицына осенью 1941 года) (XVIII, 338, 281). Не важно, рассчитывал ли писатель на распознание своих лица и судьбы читателями будущего (вероятно, хоть и не доказуемо). Важно, что он одарил Зотова двойником: если Вася проживает услышанные стихи как свои, то и их автор должен мыслить и действовать по-зотовски. Счет был предъявлен не только поколению (да и иным читателям), но и себе. Позднее мотив этот во всю мощь зазвучит в «Архипелаге»:

Это волчье племя (прямо речь идет о профессиональных палачах, но далеко не только о них. — *А. Н.)* — откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня? не нашей крови?

Чтобы белыми мантиями праведников не шибко переполаскивать, спросим себя каждый: а повернись моя жизнь иначе — палачом таким не стал бы и я?

Это — страшный вопрос, если ответить на него честно.

(IV, 152—153)

Далее в цитируемой главе «Голубые канты» Солженицын подробно и без тени жалости к себе рассказывает

о том, как «расчеловечивали» его даже обычные — не чекистские! — погоны, как крепко связана была нравственная шаткость и с офицерскими привилегиями, и с завороженностью единственно верным учением. Ровно это и сделало Васю Зотова палачом.

Нет нужды перечислять здесь все добрые свойства, которыми наделил Солженицын своего злосчастного двойника. Конечно, убежденность Зотова в том, что «прямой долг его совести» зафиксировать все отмечаемые каждодневно «недостатки» в докладной Наркомату обороны (171) и его мечта проработать «Капитал» (177) должны вызывать у читателя грустную улыбку. Но и эти завихрения не дискредитируют героя: наивность помыслов не отменяет стоящей за ними заботы об общем благе (освоив «первоисточник», Зотов сможет лучше выполнять свои обязанности). Есть у Васи и особенности душевного строя, что, пожалуй, поднимают помощника коменданта над большинством его ровесников. Зотов не только вознамеривается обеспечить продовольствием голодающих одиннадцать дней солдат из команды Дыгина, но и, убедившись в химерности своего замысла, решается отцепить их вагон от «хорошего» эшелона, то есть ради людей нарушает (не без риска) установленные правила (189). Зотов буквально сразу — по «богатому», но «благородно-сдерживаемому голосу» и «симпатичной, душу растворяющей улыбке» — угадывает особенную (и притягательную!) стать Тверитинова (188, 189). Дальше — до роковой реплики — сердечное чувство Зотова к чудаку-окруженцу только усиливается, хотя оснований для недоверия (за которым непреложно должно последовать задержание) тот предоставляет с избытком. Больше того, Зотов угадывает тот мир, с которым связан пришедший просить помощи артист. Глядя на фотографии семьи Тверитинова (как прежде проникаясь его голосом и улыбкой), помощник коменданта переносится в то духовно-смысловое пространство, от которого сохранились при советской власти немногие осколки. «И вообще, все они в семье были какие-то от-

борные. Самому Зотову никогда не приходилось бывать в таких семьях, но мелкие засечки памяти то в Третьяковской галерее, то в театре, то при чтении незаметно сложились в понятие, что такие семьи есть. Их умным уютом пахнуло на Зотова с двух этих снимков» (196). Милосердное расставание с Дыгиным и первая реакция на странного (еще не назвавшегося) посетителя не случайно происходят одновременно. В эти мгновения мы твердо убеждаемся: у Васи Зотова есть сердце. Но, как выяснится дальше, слабое, не способное защитить Васю от власти очков и не снимаемой в служебном помещении «зеленой фуражки» (Солженицын предполагал дать рассказу такое название).

Всем Зотов хорош, но нет у него тех простых и взаимосвязанных свойств, которыми держится и побеждает Иван Денисович: способности видеть окружающий мир и самых разных людей такими, каковы они есть, естественного и твердого различения добра и зла, доверия к собственной душе.

«Ошибка» Зотова не только бесчеловечна, но и торжествующе *глупа.* Забыть прежнее название Сталинграда мог человек, равнодушный к советским переименованиям, живущий своей жизнью, но никак не шпион. Но глупость эта совершенно закономерна. Зотов воистину не видит той реальности, что наседает на него со всех сторон. Он не заметил в 37-м Большого террора. Он изумлен трагедией лета 41-го (как тут не вспомнить простое суждение Ивана Денисовича: «к войне не приготовились...» (112)). Он не верит рассказам о том, что творилось в брошенной властью Москве в середине октября (163). Он не задается вопросами, почему голодают одиннадцать дней Дыгин и его подчиненные, почему окруженцы бросились набивать котелки и гимнастерки не им предназначенной мукой (и не думает, что мешки на открытых платформах под проливным дождем размокнут и мука не достанется никому), почему вообще столько народу оказалось в окружении. Он не понимает, «почему Сталин не издаст указа — таких Само-

руковых расстреливать тут же, в двух шагах от ларька, при стечении народа» (187). Не хочет понять, что жирующее на беде ворье — Саморуков, Чичишев, беложавая и гладкая заведующая столовой, от которой Вася дал деру, ее «мордатый кобель» (178) — плоть от плоти лучшего в истории государства, которое прямо заинтересовано в том, чтобы подвластные ему обычные люди жили по лагерным законам — как можно хуже, подвергаясь унижениям, враждуя друг с другом. Он досадует на окружающих — рабочих людей, которые «жили как будто и ещё чем-то другим, кроме новостей с фронта, — вот они копали картошку, доили коров, пилили дрова, обмазывали стёкла. И по времени они говорили об этом и занимались этим гораздо больше, чем делами на фронте» (164). Он пропускает мимо ушей житейское правило тети Фроси: «Бедных, Валюша, я всегда жалею, богатый — пощады не проси!» (165), из которого (как и из предшествующего разговора об эвакуированных-«выковыренных») прямо следует, что в государстве победивших рабочих и крестьян сохранились богатые («мордатые») и *ненавидящие* их бедняки. Зотов замещает эту страшную реальность иной — вымечтанной, свободной от любых несправедливостей, если сталкивающейся с «временными трудностями» (катастрофой 41-го), то обусловленными происками врагов, последышей проклятого прошлого. Этот прекрасный новый мир должно защищать. И якобы прозревший (вернувший утраченную было бдительность), а на самом деле ослепленный химерой Зотов бросается на защиту любимой продолжающейся Революции. Он выполняет свой долг. Превозмогая прежние «ошибочные» чувства. Мучаясь от необходимости обманывать — пусть коварного врага. И скрыто надеясь, что кому положено наверняка разберутся в этой истории. Он ведь не окончательный приговор Тверитинову выносит — просто направляет его к профессионалам. У которых «брака не бывает».

Завершив рассказ, автор написал своему доброму приятелю Леониду Власову: «...во мне вдруг с настойчиво-

стью стал биться сюжет, рассказанный тобою. Он представился мне так ярко, и с такой важной очевидностью выступила его моральная сторона, которая тебе, как человеку совестливому, давно представлялась, но во многих спит еще и сейчас, и надо ее разбудить, — что я просто н е м о г с собой бороться, не мог избрать уже никакую другую тему. В самой редакции («Нового мира». — *А. Н.*) я уже проверил действие рассказа на людях старшего и нашего поколения: у всех поголовно герой рассказа Зотов вызывает симпатию и сочувствие. Кроме того, каждый и у себя находит какого-то заглохшего червячка, который все же шевелится и время от времени тревожит воспоминанием»[21].

Прототип Зотова понял, почему Солженицын не мог утаить от России его горькую историю. Понял, ибо не переставал думать о том, что он совершил на станции Кочетовка в начале ноября 41-го года. Понял, ибо раскаялся — потому и поведал Солженицыну о своем падении. Рассказ не только напоминал многим об их грехах, так или иначе сходных с зотовским, но и торил дорогу к раскаянию, преодолению собственного (у каждого — своего) темного былого. В рассказе не только вершился суд над юнцами в очках и зеленых фуражках — не менее сильно звучала в нем тема надежды на нравственное возрождение двойников бедного — вызывающего симпатию и сочувствие — солженицынского героя.

«Зотову невольно пришлось оглянуться и ещё раз — последний раз в жизни — увидеть при тусклом фонаре это лицо, отчаянное лицо Лира в гробовом помещении» (207). Кто *так* видит обреченного небытию Тверитинова? Тот Зотов, что слыхом не слыхал о персонажах Ибсена и Чехова и всем пьесам на свете предпочитает горьковские? Тот Зотов, что суетливо, боясь правду сказать, спешит вырваться из поля зрения задержанного? Тот Зотов, что сейчас примется писать утвержденными словами смертоносную сопроводиловку («Настоящим направляю вам задержанного...»)? Нет. Какой-то другой. Прочитавший великую трагедию Шекспира и странно

связавший ее со своим случаем. Слышащий в голосе Тверитинова гул колокола. Тот, о котором сказано в финале рассказа: «Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека...» (209).

В «Одном дне...» доминирует не собственно прямая речь заглавного героя. В «Матрёнином дворе» звучит голос рассказчика, который должен в читательском восприятии максимально сближаться с реальным автором. Повествование «Случая...» ведется словно бы от лица автора безличного и всеведающего (обилие диалогов с минимальными ремарками, короткие экскурсы в сознание второстепенных персонажей), но иногда нам слышится голос *тогдашнего* Зотова, а иногда — кого-то другого, ненавязчиво, но с ощутимой печальной иронией оценивающего мысли, чувства и поступки помощника военного коменданта. Памятуя о двойничестве молодого Зотова и стихотворца-лейтенанта, дозволительно расслышать в этих оценочных суждениях голос не только автора, но и повзрослевшего героя. Пробел между разговором Зотова с энкаведешником и концовкой рассказа вмещает в себя двадцать один год — время трудных раздумий Зотова, в конце концов позволивших ему вернуться к своей человеческой сути. «Случай» обусловил падение близорукого лейтенанта, но тот же самый «случай» стал отправным пунктом его духовного роста.

И здесь невозможно не вспомнить зачин великого рассказа «После бала»: «Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя расскажу»[22]. Среда свою работу по развращению человека выполняла и за без малого сорок лет до «Случая на станции Кочетовка» (рассказ Толстого написан в 1903 году), и за век до описанных Солженицыным событий (примерно в эту пору разворачивается история Ивана Васильевича), хотя и не так успешно, как в насквозь идеологизированном СССР. Человеку всегда нелегко давалось различение доб-

ра и зла. Но случай, выпавший симпатичному, веселому, влюбленному (не только в красавицу Вареньку, но и в безоблачно ласковую жизнь) Ивану Васильевичу, заставил его по-новому увидеть мир и отказаться от той участи, на которую, вроде бы, обрекала его среда. Иван Васильевич никого не обрек на смерть. Да и меньших обид никому не причинил. Он только увидел, как татарина гонят сквозь строй, братцы не милосердуют, а отец его возлюбленной бесстрастно руководит экзекуцией и мордует малорослого солдата, нанесшего недостаточно сильный удар. Увидел, ощутил ужас, смешанный с неодолимым физиологическим отвращением, и понял, что ничего не понимает.

Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было — дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», — думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался — и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но никогда не служил и никуда, как видите, не годился.

— Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились, — сказал один из нас. — Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было[23].

Иван Васильевич не говорит прямо, *что* он в конце концов понял. Понял же он, что, когда кого-то бьют (судят, проклинают, обижают, изгоняют, убивают), удары эти наносишь и *ты*. Обрушиваются же они и *на тебя*. Уход Ивана Васильевича от среды (отнюдь не аффектированный, не в затвор он удалился — историю свою рассказывает в интеллигентном обществе) помог жить достойнее (лучше, ближе к естественной норме) не только ему, но и, как следует из реплики собеседника, весьма многим. Причиной тому — случай. Внешне совсем иной, чем настигший Васю Зотова на станции Кочетовка, но глубинно с ним схожий. Вновь скажем: Солженицын на-

писал рассказ не только о тяжелых грехах обычных советских людей, но и о пути к их искуплению.

Именно после «Случая на станции Кочетовка» задумавшийся о своем бытии читатель должен был узнать историю о том, как прошедший войну и лагерь сын Революции смог увидеть не примечаемую никем праведницу, злосчастья которой неотделимы от страшной беды, обрушившейся на всю Россию в XX столетии.

«Матрёнин двор» — рассказ не только о Матрёне, но и об Игнатьиче. Рассказчик появляется прежде героини — в зачине, прямой смысл которого обнаружится ближе к концу повествования. Читатель понимает немногое: «на сто восемьдесят четвертом километре от Москвы по ветке, что идёт к Мурому и Казани» (116), произошло что-то страшное, заставляющее машинистов сбавлять ход поезда «почти как бы до ощупи». Это таинственное событие каким-то образом (опять-таки пока совершенно непонятным) связано с кем-то, возникающим в последнем — всего из двух слов состоящем — абзаце загадочной вступительной миниатюры:

> Только машинисты знали и помнили, отчего это всё.
> Да я.
>
> (116)

Поэтическая природа рассказа обнаруживается уже в «увертюре» (составляющие ее четыре абзаца последовательно укорачиваются, текст мягко ритмизован и суггестивен, финальное «я» акцентирует лиризм) — раньше, чем мы узнаем, кого обозначает местоимение первого лица единственного числа. Но уже в самом начале 1-й части это «я» нам открывается: если действие приурочено к лету 1956 года, а рассказчик «задержался с возвратом годиков на десять», то понятно, что говорит с нами вышедший на свободу узник, до заключения прошедший войну (демобилизация проходила в середине 40-х). Позже — не прямо, мягкими, но внятными намеками — нам дадут понять: рассказчик (Игнатьич), бывший

воин и заключенный, не только учитель математики (об этом говорится прямо), но и *писатель*. Это открытие подготовлено как лирическим зачином, так и странным (лишенным житейских мотивировок) стремлением одинокого рассказчика в «нутряную» Россию, о котором говорится с примечательной оговоркой — «если такая где-то была, жила» (116). Медленное, трудное, показавшееся в инфернальном Торфопродукте безнадежным движение к настоящей (не советской) России завершается ее обретением. Россия сохранилась в когда-то крепком, основательном, строенном на большую семью, а ныне истлевающем доме, где живет одинокая больная старуха — Матрёна. Это разом и та Россия, которую искал Игнатьич, и *не совсем та*. И хотя рассказчику уже полюбились и Матрёнин двор, и его странная хозяйка, истинного обретения России еще не происходит. На протяжении по-прежнему неспешно и без ощутимых событий движущегося повествования 1-й части мы (вместе с Игнатьичем) все больше узнаем о тяжелой (не только сейчас) жизни Матрёны, все больше проникаемся приязнью к обездоленной, но терпеливой, незлобивой, сердечной одинокой женщине, но (как и рассказчик) почти не соприкасаемся с ее внутренним миром, не предполагаем, что у Матрёны есть сокровенное прошлое, определившее ее судьбу и властное по сей день. Меж тем словно бы раздробленные печальные зарисовки складываются в нечто большее, чем простая хроника нескольких месяцев. Символичен финал 1-й части: услышав романсы Глинки (резко противопоставленные русским песням в исполнении Шаляпина), Матрёна утирает слезы и говорит: «А вот это — по-нашему...» (130). В крестьянском мире господствуют те же волнения и страсти, радости и печали, надежды и разочарования, что мы привыкли открывать в высоком искусстве. И здесь в судьбы людские властно вторгается большая история. И здесь случаются трагические ошибки, разрешающиеся долгие годы спустя катастрофами. И здесь рядом с грехом обретается праведность, рядом со смирением — гордыня, рядом

с сознанием вины и жаждой ее искупления — чернота мстительности и самоутверждения.

Все это мы узнаем во 2-й части, где — после замедленной бессобытийной хроники — практически одновременно взрываются два взаимосвязанных сюжета. Старый — история любви Матрёны, исчезновения («временной смерти») Фаддея на войне, злосчастной измены Матрёны мертвому жениху, его возвращения. И новый — разрушение дома, закончившееся гибелью героини под колесами поезда (что недаром так страшил Матрёну прежде). Соединение этих сюжетов (отложенное мщение Фаддея) происходит в сознании рассказчика на исходе 2-й части:

> И вдруг в притёмке у входных дверей, на пороге, я вообразил себе чёрного молодого Фаддея с занесённым топором:
>
> «Если б то не брат мой родной — порубал бы я вас обоих!»
>
> Сорок лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак, — а ударила-таки...
>
> (142)

В 3-й части повествование вновь меняется: очерковые тенденции 1-й части (сочетание жесткой фактографичности и лирики) и сюжетные части 2-й (сходящиеся трагические новеллы) не исчезают вовсе. Есть в 3-й части жуткие бытовые зарисовки (вырожденные ритуалы оплакивания и поминок), и завершение истории «отрубленной» горницы, и новая вспышка сюжета потенциального (разговор о судьбе мужа Матрёны, исчезнувшего не на Первой мировой — как его брат, а на Второй; сюжет этот мерцал уже в 1-й части, но теперь обретает истинно трагическое звучание). Но все это подчинено неотвязному, постепенно усиливающемуся и яснеющему стремлению рассказчика понять, кем же была Матрёна для окружающих, для него самого, для мира. Разгадка — окончательное открытие Матрёны — звучит в финальных строках, наконец-то позволяющих понять таинственную концовку зачина.

Вдумаемся: почему о катастрофе на сто восемьдесят четвертом километре, кроме профессионально озабоченных машинистов, помнит только рассказчик? Да иные односельчане не жаловали Матрёну, золовка отзывается о ней с «презрительным сожалением» (147) (однако помнит же), но нет у нас оснований сомневаться в том, что по-настоящему горюют о смерти Матрёны по крайней мере трое — вторая («подменная») Матрёна, взятая Фаддеем в жены за имя (и для вымещения обиды), Маша, с которой Матрёна долгие годы дружила (и ее желание прихватить якобы завещанную «вязанку» тут ничего не меняет), бедная Кира, и прежде заботившаяся о приемной матери... Неужели Солженицын забывает об их чувствах (им же запечатленных) и хочет возвысить Игнатьича над горемычными бабами?

Разумеется, нет. Будь Игнатьич просто одним из страстотерпцев русского XX века, пусть и сердечно полюбившим хозяйку, у которой нашел приют, невозможен был бы ни финал «увертюры», ни весь рассказ, каким мы его знаем (получился бы другой). Но Игнатьич «писал своё в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков» (132) — в тот самый вечер, когда Матрёна поведала ему о том, что было с ней в незапамятное «мирное время». Некоторые детали повествования заставляют предположить, что и в то время, когда кончилась жизнь Матрёны, Игнатьич писал (после выезда трактора со двора и до «первого часа ночи», когда он тревожно очнулся, услышал громкие голоса, а затем «резкий стук» в ворота (138)). Это сильные, но далеко не единственные свидетельства того, что рассказчик «Матрёнина двора» — писатель. Литературность (вовсе не противоречащая ни фотографической точности в обрисовке советской жизни, ни публицистическим нотам) пронизывает весь рассказ, органично обрамленный взаимосоотнесенными стихотворениями в прозе.

Только писатель может угадать скрытую суть другого человека, достроить его судьбу и личность, увидеть лицо при свете истории и вечности и запечатлеть открывшее-

ся в слове, что крепче меди. Потому столь важное место в «Матрёнином дворе» занимает *большая история* России, трагический излом которой совпадает с роковым поворотом судеб Матрёны и ее избранника:

...Война германская началась. Взяли Фаддея на войну.

Она уронила это — и вспыхнул передо мной голубой, белый и жёлтый июль четырнадцатого года: ещё мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; её, румяную, обнявшую сноп. И — песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь, да и не споёшь при механизмах.

(133)

Все остальное — вплоть до садистического разрушения дома и катастрофы на переезде — следствия, ломающие уклад, несущие нищету и вражду, корежащие людские души. Кроме тех, что — вопреки войнам, революции, колхозному рабству, бесправию, нищете, разливу лжи и цинизма, постоянному презрению власти к человеку — сохраняются. И тем самым сохраняют Россию, которую в начале рассказа ищет одинокий рассказчик.

Она есть, но увидеть ее и сделать зримой для других может лишь писатель, включенный в большую традицию, владеющий тем «великим, могучим, правдивым и свободным» языком, о котором (и которым) «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах <... > родины»[24] писал тот, кто не знал, что «можно по-русски составить» чудовищный «Торфопродукт» (117). Пожалуй, ни одно сочинение Солженицына не может сравниться с «Матрёниным двором» по богатству реминисценций русской словесности — фольклора (сказки, былины, причитания, пословицы) и классики (Державин, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев — представленный отнюдь не только хрестоматийным стихотворением в прозе, Некрасов, Толстой, Лесков...), то бьющих

в глаза, то прикровенных, то гадательных, то, возможно, лишь грезящихся читателю[25]. Для того чтобы рассказать о Матрёне и России, сохранить их в памяти народа, необходимо было воскресить русскую словесность, ее поэтический строй, ее языковой размах, сюжеты, ключевые топосы, устойчивые конфликты и ситуации, символику... Восстановление истинной литературы и одоление конечности бытия погибшей Матрёны (много лет убиваемой России) суть задачи неразрывные. О русской праведнице может поведать только русский писатель. Но и русским писателем можно стать, лишь разглядев в замордованной советской реальности Матрёну. Потому-то и предшествует истории Матрёны появление «я» — того рассказчика, что — вопреки нашим знаниям о свойствах литературы — *должен* отождествляться с автором. Вернувшимся из лагерного небытия, чтобы утвердить бытие России.

Вчитаемся в последние слова рассказа:

> Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.
>
> Ни город.
>
> Ни вся земля наша.

(148)

Пословица эта, как многие иные, может пониматься двояко. Применительно к рассказанной истории первый ее смысл: раз праведница погибла, то ни селу, ни земле нашей не устоять. Смысл второй: нет такого села (города, страны), где не нашлось бы праведника, хотя его зачастую не видят — как не видели тальновцы (а до поры и Игнатьич) праведности Матрёны.

Представляется, что второе значение пословицы, не отменяя первого вовсе, все же весьма важно и для рассказа о горемычной (лишь однажды согрешившей) Матрёне, и для рассказа об «Одном дне...», и для «Случая на станции Кочетовка», где, напомним, речь идет не об одном лишь преступлении, но и о раскаянии, и для ждущего

своего часа романа «В круге первом», и для еще не написанных повести «Раковый корпус», «опыта художественного исследования» «Архипелаг ГУЛАГ», «повествованья в отмеренных сроках» «Красное Колесо». Прошедший сквозь войну, тюрьму, лагерь, грозивший смертью недуг, Солженицын видел бездны зла. Не понаслышке знал и его силу, и его умение соблазнять, и его извращенную притягательность. Знал, что в иных случаях и изначально чистый душой, мужественный, добрый человек устоять не может, что десятилетия террора и растления даром не проходят, что путь к нравственному возрождению хоть одного человека, хоть всего народа тернист и чреват новыми соблазнами. Но не менее твердо знал и другое: правда о мире, истории, людях не сводится к каталогу преступлений и предательств, а дело писателя — к отрешенно констатирующему (или злорадному, или пафосно обличительному) складированию всевозможных мерзостей, от которых, увы, не свободна любая душа. Солженицын верил в своих любимых героев — от Ивана Денисовича и Матрёны до тех персонажей «Красного Колеса», что и в гибельном апреле 1917 года сохраняют человеческое достоинство, не поддаются клубящимся вокруг химерам, не впадают в отчаяние. И не меньше верил он в то дело, которому посвятил жизнь.

Напомним финал Нобелевской лекции Солженицына:

...в борьбе с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает! — зримо, неопровержимо для всех! Против многого в мире может выстоять ложь, — но только не против искусства.

А едва развеяна будет ложь, — отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падёт.

Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру в его раскалённый час. Не отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспечной жизни, — но выйти на бой!

В русском языке излюблены пословицы о *правде.*

Они настойчиво выражают немалый тяжелый народный опыт, и иногда поразительно:

Вот на таком мнимо-фантастическом сохранении масс и энергий основана и моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мира[26].

Призыв этот обращен не только к собратьям по цеху, но и к нам, к читателям. Наш долг — расслышать *всю правду* — как это случилось больше полувека назад, когда были напечатаны «Один день Ивана Денисовича» и «Два рассказа», когда с нами (и с теми, кто раньше или позже ушел, и с теми, кто тогда еще не родился!) заговорил, в нашу жизнь вошел великий писатель — Александр Солженицын.

Примечания

1 Цит. по: Слово пробивает себе дорогу: Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне. 1962—1974. М.: Русский путь, 1998. С. 15—16.

2 Рассказ Солженицына первоначально назывался «Щ-854». По настоянию редакции «Нового мира» были изменены название (совершенно в советских условиях невозможное) и жанровое определение («для весу»); новое заглавье автор внутренне принял, но об уступке с «повестью» сожалел (XXVIII, 26—27) Ахматова и Чуковская читали машинопись еще не опубликованного рассказа с «промежуточным» заголовком.

3 *Чуковская Лидия.* Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Согласие, 1997. Т. 2. С. 512; о последовавшей вскоре встрече Ахматовой и Солженицына см.: Там же. С. 532—533; ср. также: *Солженицын Александр.* Анна Ахматова // Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2016. <Вып.> 5. С. 7—16.

4 Цит. по: *Сараскина Л. И.* Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 498.

[5] Из статьи Н. Сергованцева «Трагедия одиночества и “сплошной быт”» («Октябрь». 1963. № 4); цит. по: «Ивану Денисовичу» полвека: Юбилейный сборник. 1962—2012. М.: Русский путь, 2012. С. 129, 132.

[6] Ясное представление о «Борьбе за “Ивана Денисовича” (1962—1965)» дает соответствующий раздел указанной выше книги. См. также: *Сараскина Л. И.* Солженицын и медиа в пространстве советской и постсоветской культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2014. С. 63—123. Весьма впечатляют и резко неприязненные отклики на рассказ «простых читателей», в том числе — без сомнения искренние; см.: «Дорогой Иван Денисович!..»: Письма читателей. 1962—1964. М.: Русский путь, 2012. Составитель этого интереснейшего издания Г. А. Тюрина указывает: «Количественные пропорции положительных и отрицательных отзывов выдержаны (в сборнике. — *А. Н.*) в соответствии с содержимым единиц хранения в архивных фондах».

[7] То же, на наш взгляд, должно сказать и об иных сочинениях Солженицына, будь то родившиеся в 1960-х рассказы и повесть «Раковый корпус» или казавшийся писателю на исходе 1950-х законченным роман «В круге первом».

[8] 12 декабря 1961 в дневнике Твардовского появляется запись: «Сильнейшее впечатление последних дней — рукопись А. Рязанского (Солонжицына), с которым встречусь сегодня». — *Твардовский Александр.* Новомирский дневник: В 2 т. М.: ПРОЗАиК, 2009. Т. 1. С. 68; «А. Рязанский» — псевдоним, значившийся в рукописи; фамилию писателя Твардовский расслышал неточно.

[9] *Солженицын Александр.* Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1997. Т. 3. С. 25.

[10] Сопоставление силы «общественного резонанса» просто невозможно. В XIX веке не было ни чудовищных катастроф, что обрушились на Россию в первой половине XX столетия, ни огромной читательской аудитории.

[11] Эти сочинения (как и лирические стихотворения 1946—1952 гг.) см.: *Солженицын Александр.* Собр. соч.: В 30 т. М., 2016. Т. 18 (= Раннее).

[12] *Солженицын Александр.* Публицистика. Т. 2. С. 424.

[13] Там же. Т. 3. С. 21.

[14] Там же. С. 23.

[15] Там же.

[16] Это яркий (но далеко не единственный в рассказе!) знак идущей холодной войны, превращение которой в «горячую» не удивило бы героев Солженицына.

[17] Работа над «Случаем...» шла в то время, когда набирался 11-й номер «Нового мира». По слову автора, рассказ писался «прямо для журнала, в первый раз в жизни» (XXVIII, 46). Уже 17 ноября редактор получил новую вещь, а на следующий день обсуждал ее с автором; см.: *Твардовский Александр.* Новомирский дневник. Т. 1. С. 127, 131. Замена в заголовке реального топонима придуманным «созвучным» была произведена для отвода незапланированных (не нужных автору!) ассоциаций с фамилией одного из самых одиозных советских литераторов, ярого сталиниста и противника «Нового мира», тогдашнего главного редактора журнала «Октябрь». Вот и пришлось Солженицыну временно обратить обычную домашнюю птицу (кочет — петух) в хищную.

[18] Закономерно, что в рассказ из оставленной повести перенесен ряд сильных деталей, характеризующих как психологическое состояние героев (Нержина и Зотова), так и историческую атмосферу. Важные параллели отмечены в комментариях В. В. Радзишевского к тому XVIII Собрания сочинений.

[19] *Слуцкий Борис.* Собр. соч.: В 3 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 1. С. 97.

[20] *Лотман Ю. М.* Не-мемуары // *Лотман Ю. М.* Воспитание души. СПб.: Искусство — СПб, 2003. С. 11. («Не-мемуары» диктовались уже смертельно больным ученым в декабре 1992 — марте 1993 гг.) Нелишним кажется здесь сообщить, что 29 февраля 1962 г. «доктор филолог. наук, проф. Ю. Лотман, чл. КПСС с 1942 г.» направил в Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства глубокий и проникновенный отзыв об «Одном дне Ивана Денисовича», заканчивающийся утверждением: «...присуждение повести А. Солженицына Ленинской премии будет глубоко верным

и в литературном, и в политическом отношении шагом». — Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2012. <Вып.> 1. С. 326—328.

21 Цит. по: *Решетовская Наталья.* Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Советская Россия, 1990. С. 107. Разрядка дана автором книги.

22 *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 20 т. М.: Художественная литература, 1964. Т. 14. С. 7.

23 Там же. С. 16—17.

24 *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1982. Т. 10. С. 172.

25 Подробнее см. далее в главе II этой книги («Русская словесность на Матрёнином дворе»).

26 *Солженицын Александр.* Публицистика. Т. 1. С. 24—25.

Глава II

РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ НА МАТРЁНИНОМ ДВОРЕ

В августе 1963 года, выступая на сессии Руководящего совета Европейского сообщества писателей, А. Т. Твардовский заметил: «душевный мир» героини рассказа «Матрёнин двор» «наделен таким качеством, что мы с ней беседуем, как с Анной Карениной». Суждение это глубоко тронуло Солженицына, вскоре написавшего Твардовскому: «Нечего и говорить, что абзац Вашей речи, относящийся к Матрёне, много для меня значит. Вы указали на самую суть — на женщину любящую и страдающую, тогда как вся критика рыскала всё время поверху, сравнивая тальновский колхоз и соседние»[1]. Разумеется, Твардовский не намеревался отменить или приглушить социальное звучание солженицынского рассказа, но стремился выявить (как видим, в полном согласии с автором) его глубинную суть, сложно соотнесенную как с общей трагедией русского XX века, так и с вечной проблематикой (в русской же огласовке). В этой связи сравнение Матрёны с Анной Карениной оказывалось не патетичным комплиментом автору, но точным указанием на смысловое ядро текста (истории «женщины любящей и страдающей») и включенность рассказа в большую литературную традицию. Не рискуя реконструировать в деталях ход мысли Твардовского, позволю себе предположить, что на аналогию Матрёна — Анна его навела не

только тема злосчастной любви (ее сюжетные и психологические изводы у Толстого и Солженицына как раз не схожи), но и особая значимость проходящих сквозь оба текста «железнодорожных» мотивов, готовящих гибель героинь под колесами поезда.

Фактически достоверная история гибели Матрёны Захаровой, свидетелем которой был ее постоялец А. И. Солженицын, превращаясь в историю жизни, любви и смерти Матрёны Григорьевой[2], обретает отчетливо символические черты. В немалой мере тому споспешествует нарративная структура текста: память о незамеченной праведнице дано сохранить только повествователю, исключительность позиции которого резко заявлена еще до начала собственно истории. Первой (означенной цифрой 1) главке предшествует короткая «увертюра» — совершенно загадочная при первом чтении (ясно из нее немного — «на сто восемьдесят четвёртом километре от Москвы по ветке, что ведет к Мурому и Казани», произошло какое-то незаурядное, скорее всего — страшное, событие) и сигнализирующая о своей значимости композиционным (графическим) строем. Инициальный фрагмент состоит из четырех последовательно сжимающихся абзацев: в первом (обрисовка странной железнодорожной ситуации и недоуменной реакции на нее случайных свидетелей, пассажиров замедляющих ход поездов) — пять строк; во втором (разрешение ситуации — ясно, что вновь набирающим скорость поездам ныне ничего не грозит) — две (два предложения, девять слов); в третьем (намек на разгадку) — одна (сложноподчиненное предложение, с изъяснительным придаточным, которое, однако, не изъясняет, но усугубляет таинственность; восемь слов); в четвертом — строка, равная неполному предложению из двух слов — сочинительного союза и личного местоимения (подлежащего):

> Только машинисты знали и помнили, отчего это всё.
> Да я.
>
> (116)

Так вводится тема особой связи рассказчика (о котором читатель пока ничего не знает) и какого-то, еще неведомого, происшествия, метонимически предваряющая тему особого отношения рассказчика к героине (еще не появившейся, но названной в заголовке). По мере движения рассказа тема эта постоянно усиливается:

Но я уже видел, что жребий мой был — поселиться в этой темноватой избе... (встреча, определившая не только ближайшее будущее рассказчика, но и самое рождение рассказа — *А. Н.*).

(119)

Так привыкла Матрёна ко мне, а я к ней, и жили мы запросто. <...>

А я тоже видел Матрёну сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не бередил её прошлого, да и не подозревал, чтоб там было что искать[3].

(130)

Так в тот вечер (после визита Фаддея и исповеди героини. — *А. Н.)* открылась мне Матрёна сполна.

(135)

И только тут — из этих неодобрительных отзывов золовки — выплыл передо мною образ Матрёны, какой я не понимал её, даже живя с нею бок о бок.

(147)

Это — посмертное и последнее — открытие Матрёны (готовящее обобщающий *пословичный* финал рассказа) объясняет означенный последней строкой зачина исключительный характер памяти рассказчика. Хотя золовка погибшей праведницы отзывается о ней неприязненно, у нас нет оснований предполагать, что эти чувства разделяют *все*, кто знал Матрёну[4]. Напротив, в рассказе говорится сперва об искренних чувствах «второй» Матрёны,

а затем — о еще большем горевании Киры: «И совсем уж не обрядно — простым рыданием нашего века, не бедного ими, рыдала злосчастная Матрёнина приёмная дочь» (143,144), заметим, и прежде благодарно заботившаяся о второй матери. И надо обладать поистине барским высокомерием, чтобы поставить под сомнение переживания Маши, хотя та сразу после смерти подруги напоминает Игнатьичу о вязаночке, которую Матрёна прочила Таньке (Машиной дочери или внучке). Получается, что по крайней мере три женщины оплакивают ушедшую отнюдь не ритуально. Почему же рассказчик утверждает: помнили «это всё» (трагедию на переезде) только машинисты (впрочем, лишь «с добрых полгода после того» и по понятным — профессиональным — причинам) «да я»? Говорится здесь, конечно, не о достоинствах рассказчика, якобы возвышающегося над любившими Матрёну бабами, но об устройстве человеческой памяти. Тут уместно будет привести удивительные (хоть и не вошедшие в цитатный фонд) строки великого поэта:

Как нам, читатель, сказать: к сожаленью иль к счастью,
что наше
Горе земное нена́долго? Здесь разумею я горе
Сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,
<...>
Есть, правда, много избранных
Душ на свете, в которых святая печаль, как свеча пред
иконой,
Ярко горит, пока догорит; но она и для них уж
Все не та под конец, какою была при начале,
Полная, чистая; много, много иного, чужого
Между утратою нашей и нами уже протеснилось;
Вот, наконец, и всю изменяемость здешнего в самой
Нашей печали мы видим... итак, скажу: к сожаленью,
Наше горе земное нена́долго[5].

По-настоящему сохранить память и об ушедшем, и о своей печали по ушедшему дано только художнику,

запечатлевающему преходящее в неподвластных времени формах искусства. В нашем случае — в слове.

Рассказчик «Матрёнина двора» не просто свидетель последних месяцев жизни героини, посвященный в ее предысторию, но *писатель*. Все автобиографические мотивы вводятся в рассказ исподволь[6], но и в рамках избранной повествовательной стратегии писательство Игнатьича спрятано с особым тщанием (что, на мой взгляд, не ослабляет, но усиливает звучание этого мотива). Первый намек вмонтирован в тот — чуть обособленный — фрагмент бытоописательной части первой главки, что посвящен доставшимся Игнатьичу «соседям» — «Кроме Матрёны и меня жили в избе ещё: кошка, мыши и тараканы» (120). В этом контексте возникает уточняющее (с семантикой времени) придаточное предложение, посвященное бдениям Игнатьича: «По ночам, когда Матрёна уже спала, а я занимался за столом, — редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далёкий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой» (121). Глагол «заниматься» вроде бы указывает на профессиональную деятельность Игнатьича (школьному учителю естественно заниматься проверкой тетрадей, составлением контрольных, подготовкой к урокам), однако второе упоминание о занятиях резко меняет смысловой рисунок: «Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и *писал своё* в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков, — Матрёна вдруг из тёмного своего угла сказала...» (132. Курсив мой. — *А. Н.)*. «Писать своё» может никак не преподаватель математики, но писатель. Очевидное мотивное родство (ночь и ночные звуки — подробнее об этом будет сказано ниже) и синтаксическое тождество (одинаковые по семантике придаточные, вводимые союзом «когда») двух фрагментов заставляет признать их смысловое единство. Не менее важно, что Игнатьич «писал своё» в тот самый вечер, когда ему суждено было узнать о судьбе Матрёны (то есть сделать первый шаг на пути к будущему рассказу). Кажется, сходно обстояло дело и в роковой для Матрёны день:

...За окнами уже совсем стемнело. Я тоже (бессознательное самоотождествление рассказчика с убежавшей «за всеми» Матрёной. — *А. Н.)* влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении.

Прошёл час, другой. И третий. Матрёна не возвращалась, но я не удивлялся: проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше.

И ещё прошёл час. И ещё <...>

Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрёна не возвращалась.

(138)

Игнатьич, несомненно, не спал — он придумал объяснение отсутствию Матрёны, обратил внимание на непривычную тишину и повышенную активность бегающих под обоями мышей, не включил (то есть сознательно не стал включать!) приёмник. От чего же он в таком случае очнулся? В странное забытье, позволившее не тревожиться о пропаже Матрёны, его должна была ввергнуть без помех идущая работа над «своим», но не проверка домашних заданий. Игнатьич «пишет своё», не зная, что в это время происходит то, что станет для него по-настоящему «своим», не отпускающим, требующим спасения от забвения — воплощения в слове. Этот парадокс сопряжен с постепенным приближением рассказчика к личности, судьбе, тайне Матрёны, с первой встречи ему полюбившейся, но долго не открывающейся вполне. Формально Игнатьича невозможно укорить как за равнодушие к Матрёне в ее последние часы, так и за запоздалое понимание ее сути, но для него самого эти ошибки крепко связаны и совокупно отзываются чувством вины. Потому и возникает в концовке рассказа местоимение первого лица, относящееся не только к тальновцам и проглядевшим других Матрён читателям, но и к рассказчику (в его обыденной ипостаси):

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.
Ни вся земля наша.

(148)

Таким образом финал *дописанного* (одолевшего, казалось бы, неизбежное забвение) рассказа перекликается с его зачином: поведать о русской праведнице (и тем самым сохранить ее праведность) дано только русскому писателю.

Отсюда неожиданная литературность рассказа, заявленная уже таинственной «увертюрой», строй и композиционная роль которой совершенно несхожи с начальными фрагментами других рассказов Солженицына конца 1950 — начала 1960-х гг. Читатель «Одного дня Ивана Денисовича» сразу же вводится в какое-то неведомое, но, без сомнения, страшное пространство: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака» (15). Никаких предисловий и подводок здесь быть не может, лагерные реалии возникают раньше, чем прямое указание на место действия, фамилию главного героя мы узнаем до того, как он както себя проявит. Тот же прием немедленного погружения в реальность (конкретные черты которой будут представлены позднее) употреблен в рассказах «Случай на станции Кочетовка» и «Для пользы дела», закономерно открывающихся репликами еще не названных персонажей: «Алё, это диспетчер?»; «...Ну, кто тут меня?.. Здравствуйте, ребятки! Кого еще не видела — здравствуйте, здравствуйте!» (159, 210). Отождествить Ивана Денисовича с автором «Одного дня...» мог только очень простодушный читатель. Читатель, сколь угодно изощренный (посвященный в тонкости литературной теории, прекрасно знающий о дистанции меж собственно автором и нарратором), должен был угадать в рассказчике «Матрёнина двора» *писателя* (насколько это в принципе возможно — близкого реальному автору). Писатель этот предстает законным наследником той великой литературы, что некогда открыла (как теперь Игнатьич — Матрё-

ну) особую стать русского мира, русского человека и русской истории.

Путь Игнатьича к пониманию Матрёны не менее важен, чем открывающаяся в финале человеческая суть героини. Металитературность «Матрёнина двора» (кроме прочего, это рассказ о том, как складывался рассказ) глубоко укоренена в национальной литературной традиции (начиная с «Бедной Лизы», «Евгения Онегина» и «Мертвых душ»). Рассказываться такая история может только на том языке, что был — во всем своем разнообразии — сформирован традицией, но оказался в новой социальной реальности чужим, погребенным в прошлом, дозволенным в хрестоматиях, но ненужным для современной литературы. Солженицын сложным образом восстанавливает этот язык в правах — отсюда густота и значимость литературных реминисценций, поразному корреспондирующих со своими источниками, явленных с разной мерой отчетливости (иные должны распознаваться читателем, иные — одаривать беглыми ассоциациями), но неотъемлемо входящих в поэтическую ткань рассказа. Некоторые отсылки к русской классике прежде не фиксировались, другие были отмечены исследователями, но получили неполные или неточные истолкования, что, на мой взгляд, связано с установкой на интерпретацию отдельных реминисценций, складывающихся у Солженицына в сложную систему, ориентированную на «целое» русской словесности.

Характерный пример находим в интересной работе американского слависта. Совершенно верно указав на значимость восклицания рассказчика «Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое» (117), исследователь делает сноску: «Тургенев, возможно, является величайшим стилистом русской прозы. Ссылка на Тургенева — единственного русского писателя, упомянутого в рассказе, — имеет, однако, более глубокий смысл. “Матрёнин двор” в определенных чертах — открытой форме, использовании повествователя-наблюдателя и косвенной критике социальных поряд-

ков — напоминает тургеневские рассказы из “Записок охотника”»[7]. Оставив в стороне оговорки (понятие «открытая форма» крайне неопределенно; отождествление позиций тургеневского и солженицынского рассказчика сомнительно; критика социальных порядков, кстати достаточно прямая, присуща всей русской дореволюционной деревенской прозе, от Григоровича до Бунина), укажу на два серьезных (и, на мой взгляд, взаимосвязанных) заблуждения автора. Во-первых, Тургенев не единственный упомянутый в рассказе писатель. Во-вторых, болезненно реагируя на уродливый неологизм, рассказчик напоминает читателю не столько о «Записках охотника» (отсылки к этой книге появятся в рассказе позже), сколько о другом, не менее хрестоматийном, сочинении их автора.

Первый пункт в известной мере опровергается самим Р. Л. Джексоном. Исследователь замечает, что «тусклое зеркало» похоже «на предмет из произведений Гоголя», тут же в сноске указывает реминисценцию «Шинели» (не давая ей, однако, какого-либо объяснения), сравнивает Матрёну с целой вереницей персонажей русской литературы XIX в., характеризуя «мотив железной дороги и несчастного случая на ней», утверждает, что здесь «Солженицын следует традиции Толстого и Достоевского», у которых «железная дорога служит символом капиталистического обезображивания русской жизни»[8]. Правда, в этих случаях (как и в ряде других, не отмеченных Р. Л. Джексоном) имена писателей не называются, однако две литераторских фамилии прямо введены в текст. Грубая плакатная красавица «постоянно *протягивала мне Белинского, Панфёрова* и еще стопу каких-то книг» (121. Курсив мой. — *А. Н.*). За именами канонизированного при советской власти критика и официозного прозаика, разрабатывавшего крестьянско-колхозную тематику, скрывается более значимое для рассказа имя поэта, писавшего: «Эх! эх! придет ли времечко <…> Когда мужик не Блюхера / И не милорда глупого — / Белинского и Гоголя / С базара понесет»[9]. Закурсивленный

мной фрагмент солженицынского текста укладывается в две строки трехстопного ямба с мужским и дактилическим окончаниями — основной размер поэмы «Кому на Руси жить хорошо» — метрическая цитата поддерживает цитату тематическую, актуализирует собственно некрасовскую семантику бытовой детали, таким образом подготавливая появление других некрасовских реминисценций.

Примерно так же обстоит дело и с Тургеневым. Советскому («торфопродуктному») косноязычию противопоставлено не стилистическое мастерство Тургенева, но его мистически окрашенное (в известной мере — квазирелигиозное, заменяющее веру) отношение к русскому языку, увековеченное одноименным стихотворением в прозе. Напомню это тургеневское credo, хрестоматийная известность которого (по крайней мере — в пору «Матрёнина двора») не отменяет его смысловой сложности. «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу»[10]. Живое бытие русского языка для Тургенева не отменяет печального (подводящего к отчаянию) современного (начало 1880-х гг.) состояния России, но предполагает преодоление сегодняшних бед в будущем. Язык — залог величия народа, пребывающего отнюдь не в идеальном положении. При этом апология *народного* языка строится с опорой на великие *литературные* свершения. Определения, которыми наделен русский язык, восходят к «Песни о вещем Олеге», где они характеризуют боговдохновенное слово кудесника: «Волхвы не боятся могучих владык, / А княжеский дар им не нужен; / Правдив и свободен их вещий язык /И с волей небесною дружен»[11] (эпитет «могучий» Тургенев отбирает у властителя). Мистическая связь «язык (слово) — народ (страна)» возникает в концовке главы V первого тома «Мертвых душ»:

«...но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, как метко сказанное русское слово»[12]. Гимн русскому слову (стимулированный непристойным речением встретившегося Чичикову мужика) предваряет центральную композиционно и поворотную в смысловой перспективе главу VI (история «умершего», но способного воскреснуть Плюшкина), за которой (зачин главы VII) следует авторское размышление о писательских судьбах, завершающееся пророчеством о новом слове (= новой — преображенной — реальности).

Тургеневский русский язык есть одновременно язык народа и язык величайших национальных писателей, язык всей русской словесности, строящий обыденную речь, фольклор, высокую литературу. Такое понимание языка, восходящее к немецкой философско-литературной традиции конца XVIII — начала XIX вв., подразумевает сложное взаимопроникновение национального и универсального начал. В «своем» открывается «всеобщее», что позволяет увидеть неестественность обычно воспринимаемого как норма социокультурного антагонизма, осознать русскую культуру в ее надсословном единстве. Эта установка обнаруживается у Тургенева уже в «Записках охотника», где рассказчику равно важны истории дворянские и крестьянские: первые оказываются при зримом универсализме обусловленными русским контекстом («Гамлет Щигровского уезда»), вторые при столь же очевидных русскости и социальной детерминированности — общечеловеческими (хотя Тургенев и вычеркнул из первоначального текста «Хоря и Калиныча» сравнение героев с Гёте и Шиллером[13], прикровенная аналогия остается работающей; ср. также явно байронический характер Бирюка, романтический подтекст «Певцов» или «Бежина луга»).

Солженицын закономерно маркирует отсылки к Тургеневу и Некрасову. Именно с этими писателями традиционно (и вполне обоснованно) связывается открытие личностного начала (и соответственно права на слож-

ные чувства и трагическую судьбу) в человеке из народа (прежде всего — крестьянине). Если универсализм Тургенева подразумевает синтез жизненных наблюдений и литературных традиций (европейской и русской), то у Некрасова место западной составляющей занимает национальный фольклор, сложно соотнесенный с господской литературой (всего нагляднее — в «Кому на Руси жить хорошо», но отнюдь не только там). Цитируя «Русский язык» и «Сельскую ярмонку», Солженицын сигнализирует читателю о менее явном присутствии в рассказе не только других сочинений Тургенева и Некрасова, но и иных русских фольклорных и литературных текстов — столь же известных, привычных, вошедших в культурно-языковую память. При этом отсылки к народной словесности и классике постоянно перемежаются, а один и тот же элемент солженицынского рассказа зачастую может (должен) прочитываться трояко — фактографически, фольклорно и литературно. С этой тройственностью мы сталкиваемся уже в заголовке.

Мы не знаем, как нарек бы Солженицын героиню рассказа, если б его мильцевская хозяйка звалась не Матрёной, а, скажем, Евдокией, Фёклой, Маврой или Анастасией. Факт тот, что сохраненное в рассказе имя прототипа для русского читателя — имя, прежде всего, некрасовское. Решив отыскать счастливицу, мужики слышат: «У нас такой не водится, / А есть в селе Клину: / Корова холмогорская, / Не баба! доброумнее/ И глаже — бабы нет. / Спросите вы Корчагину / Матрёну Тимофееву...». Героиня «Крестьянки» (название посвященного ей законченного повествования внутри «Кому на Руси жить хорошо», несомненно, символично) в изрядной мере соответствует и своей славе, и своему имени (в его начальном, римском значении): «Матрёна Тимофеевна / Осанистая женщина, / Широкая и плотная, / Лет тридцати осьми. / Красива, волос с проседью, / Глаза большие строгие, / Ресницы богатейшие, / Сурова и смугла». Подробно поведав о доставшихся ей истинном счастье и таком же горе, Матрёна говорит: «Что дальше?

Домом правлю я, / Ращу детей... На радость ли? / Вам тоже надо знать. / Пять сыновей! Крестьянские порядки нескончаемы, / Уж взяли одного», вновь вспоминает все выпавшие ей страшные испытания и пересказывает притчу о навсегда затерянных «ключах от счастья женского»[14]. Любящая и любимая мужем, сумевшая спасти его от солдатчины, многодетная некрасовская Матрёна, разумеется, несопоставимо счастливее своей одинокой тезки, но ее судьба так же искорежена крепостным правом (и его следствиями), как судьба солженицынской героини — Первой мировой войной и дальнейшей страшной историей русского XX века. Обе они были сотворены для другой — лучшей — жизни.

Отсветы некрасовской поэзии (точнее — трагической апологии русской крестьянки) вспыхивают в рассказе не один раз. Упомянутое выше замечание о «грубой плакатной красавице» подготовлено первым описанием интерьера избы «с двумя яркими рублёвыми плакатами о книжной торговле и об урожае» (119—120). Некрасовская семантика этой детали раскрывается не сразу, но позднее — по введении цитаты (121). Если плакат о книжной торговле представлен достаточно конкретно, то об изобразительном ряде второго («урожайного») формально не сказано ничего. Между тем некрасовский подтекст первого плаката метонимически переходит ко второму, что обнаруживается, однако, несколько позднее. Сбор урожая — кульминация крестьянского года. В «Крестьянке» мужики встречаются с исполненной достоинства рачительной хозяйкой Матрёной Тимофеевной в пору жатвы. Завершение жатвы возникает в предсмертном видении другой некрасовской героини — Дарьи («Мороз, Красный нос»): «В сверкающий иней одета / Стоит, холодеет она, / И снится ей жаркое лето — / Не вся еще рожь свезена». Это высший миг былого (невозможного после смерти мужа, но когда-то — сущего) счастья крестьянки, красота, сила и суровое достоинство которой описаны в до дыр зацитированной главе IV первой части поэмы: «Есть

женщины в русских селеньях...». Самая известная строка этой величальной главки — «Коня на скаку остановит»[15] — развернута в эпизод «Матрёнина двора»: «Конь был военный у нас, Волчок, здоровый <... > он стихово́й какой-то попался. Раз с испугу сани понёс в озеро, мужики отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила» (127). Этот случай вспоминает, рассказывая о гибели Матрёны, Маша: «Что́ она там (на переезде, при обрыве троса. — *А. Н.*) подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то её чуть в озеро не сшиб, под прорубь» (140). Последние действия Матрёны показывают, что отнюдь не так сильны были ее устойчивые страхи, упомянутые вслед за историей об укрощении коня: «Боялась она пожара, боялась *молоньи́*, а больше всего почему-то — поезда» (128), что в следующем далее описании Матрёны напоминает сказочное (угадывается — огнедышащее) чудовище. Если в первой главке двустрочная некрасовская формула по отношению к Матрёне скорректирована, то в третьей она полностью восстанавливается в правах: смысловая сцепка «поезд — огонь» заставляет отождествить Матрёну на переезде с ее литературным прообразом, о котором сказано: «В горящую избу войдет». «Конскому» эпизоду предшествует рассказ о незаурядной физической силе молодой Матрёны (частично, несмотря на недуги, сохранившейся и в старости): «Все мешки мои были, по пять пудов тижелью не считала»; ср. у Некрасова: «Я видывал, как она косит: / Что взмах — то готова копна»[16].

Сближение солженицынской Матрёны не только с ее тезкой[17], но и с Дарьей соотносится с возникающей в воображении Игнатьича (ср. видение Дарьи) картиной последних счастливых дней нынешней одинокой старухи: «...и вспыхнул передо мной голубой, белый и жёлтый июль четырнадцатого года: ещё мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; её, румяную, обнявшую сноп. И песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь, да

и не споёшь при механизмах» (133). Но ведь только что-то подобное этой некрасовской картине и могло быть запечатлено на «урожайном» плакате. Даже если изображены там не молодые колхозники (идеологически правильные заместители по-разному утративших свою счастливую стать Фаддея и Матрёны), а еще более правильные механизмы (при которых не споешь), сельское торжество остается сельским торжеством, а яркие краски рублевых плакатов воспроизводят (пусть вульгарно) великолепное цветение истинной крестьянской жизни (той, что оборвалась в июле четырнадцатого). Сходным образом «грубая плакатная красавица» заменяет Матрёну, какой она могла (должна была) быть. Здесь одинаково важны и пародийность, и двойничество как таковое.

Понятно, что, описывая книжный плакат в Матрёниной избе, Солженицын саркастически откликается на просветительские грезы Некрасова и других народных заступников. Книги Белинского, Гоголя и поставленного в ряд с ними официального борзописца присутствуют в доме Матрёны как бессмысленные детали призванной украсить беспросветную жизнь картинки, а их прообразы не сделали крестьян свободными и счастливыми. Вдумчивый истолкователь рассказа видит в книжном плакате страшный символ: «...“советское” (читай — лживое) проникло внутрь Матрёниного дома»[18]. Проблема, однако, в том, что пошлые картинки не являются советским изобретением, а Некрасов, наивно мечтавший заменить «Белинским и Гоголем» аляповатые настенные украшения и такого же рода книжки, в то же время признавал их светлую роль в крестьянском бытии. Если во второй главе первой части «Кому на Руси жить хорошо» о лубочных картинках поэт говорит с презрением (а об их покупателях, мужиках, — с печалью), то в главе третьей («Пьяная ночь») он вынужден изменить интонацию. Накупив сыну картиночек, Яким Нагой «сам не меньше мальчика / Любил на них глядеть». Когда вспыхнул пожар, мужик, позабыв о накопленном за всю жизнь капитале (тридцати пяти серебряных рублях): «Скорей

бы взять целковые, / А он сперва картиночки / Стал со стены срывать; / Жена его тем временем / С иконами возилася, / А тут изба и рухнула — / Так оплошал Яким! / Слились в комок целковики, / За тот комок дают ему / Одиннадцать рублей... / «Ой брат Яким, недешево / Картинки обошлись! / Зато и в избу новую / Повесил их небось?» // — Повесил — есть и новые, — / Сказал Яким — и смолк»[19].

Солженицын, безусловно, помнил и этот «картиночный» эпизод — он (с легким изменением) цитируется в третьей главке рассказа, когда избу готовят к прощально-поминальной церемонии. «И вот всю толпу фикусов, которых Матрёна так любила, что, проснувшись когда-то ночью в дыму, не избу бросилась спасать, а валить фикусы на пол (не задохнулись бы от дыму), — фикусы вынесли из избы <...> Сняли со стены праздные плакаты» (142). Для интеллигентного читателя фикус — такой же символ дешевой безвкусицы (мещанства), как и аляповатые картинки. Матрёна относилась к ним иначе. И это не знак ее дурного вкуса, бескультурья (об эстетической чуткости Матрёны говорится в словно бы необязательной музыкальной концовке первой главки) — это то же, что у Якима Нагого, инстинктивное стремление к красоте, пусть, с точки зрения читателя и даже рассказчика, ложной. Когда удрученному смертью Матрёны Игнатьичу кажется, что портрет по-гоголевски зловеще оживает («Разрисованная красно-жёлтая баба с книжного плаката радостно улыбалась» (141)), мы имеем дело с его реакцией — реакцией человека книжной (господской) культуры. Матрёна фальши и зла в ярко намалеванной красавице не видела (как и Игнатьич — покуда Матрёна была жива).

Принять миропонимание Матрёны *полностью* Игнатьич (и стоящий за ним автор) не может. Как не могли, искренне и глубоко сострадая крестьянину, видя в нем носителя высоких ценностей, признавая его духовную сложность, *вполне* отождествиться с ним ни Тургенев, ни Некрасов, ни Толстой (разве что в упрощающих

интерпретациях, включая ленинскую). Матрёна — вопреки Р. Л. Джексону — не «русская икона», а человек со *своей* судьбой и *своим* характером. Праведность ее (так поздно открывшаяся рассказчику) не безгрешность и не поведенческая образцовость.

Потому и имя героини рассказа двоится — в точном соответствии с народной традицией. Исходно высокое, римско-материнское, имя это может наделяться иной семантикой — игровой, иронической, даже чуть солоноватой, хоть и добродушно окрашенной (матрёшка, ядрёна Матрёна, тётя Мотя). Таковы бедные, но щедрые (похоже — бессемейные и веселые) три Матрёны из песни солдата («Пир на весь мир»): «Только трех Матрён / Да Луку с Петром / Помяну добром. / У Луки с Петром / Табачку нюхнем, / А у трех Матрён / Провиант найдем. // У первой Матрёны / Груздочки ядрены, / Матрёна вторая / Несет каравая, / У третьей водицы попью из ковша: / Вода ключевая, а мера — душа!»[20]. Три Матрёны являют собой тип крестьянки, резко отличный от их тезки Тимофеевны и сходной с ней Дарьи, о которой сказано: «Она улыбается редко... / Ей некогда лясы точить, / У ней не решится соседка / Ухвата, горшка попросить; // Не жалок ей нищий убогий — / Вольно ж без работы гулять»[21]. Солженицынская Матрёна похожа и на эпических героинь Некрасова (такой она была задумана), и на трех бабенок (старушек? молодок?), что привечают бедолагу-солдата (а также пушкинских сватов и много кого еще); ср.: «Я мирился с этим (бедной деревенской едой. — *А. Н.*) <...> Мне дороже была эта улыбка её кругловатого (матрешечного. — *А. Н.*) лица...» (123).

Такое смысловое двоение, разумеется, присутствует и в заголовке, причем семантическая многомерность простейшего словосочетания (образованное от женского имени притяжательное прилагательное + существительное) открывается по мере прочтения рассказа. При первом знакомстве с текстом название (предложенное Твардовским и принятое Солженицыным вместо первоначального «Не стоит село без праведника») смотрится

таинственно (ср. загадочность «увертюры»): и имя героини, и ее двор возникнут почти тремя страницами позже (119). Рассказ расшифровывает заглавье, выявляя его парадоксальность: двор изначально *не* Матрёнин (она пришла сюда после замужества); он *не* стал Матрёниным, хотя к тому был предназначен (замужество оказалось ошибочным и злосчастным); Матрёне выпадает участь хозяйки того, что «строено было давно и добротно, на большую семью» (119)[22]; дом, в котором «многое было под одной связью» (119), разрывается на части; в конце рассказа уже нет не только Матрёны, но и ее двора: «Избу Матрёны до весны забили, и я переселился...», дом на время становится нежилым, а дальнейшая его судьба неведома. Тождество двоящихся, гибнущих, но живых в памяти писателя (и его читателей) Матрёны и *ее* двора подразумевает тождество Матрёны и России (матери), заставляющее вспомнить последнюю из песен героя поэмы о поисках русского счастливца, превращающихся в поиски русского праведника: «Ты и убогая, / Ты и обильная, / Ты и могучая, / Ты и бессильная, / Матушка Русь! // В рабстве спасенное / Сердце свободное — / Золото, золото / Сердце народное»[23].

В начале рассказа (фактографически точно и символично датированном летом 1956 года — временем прихода относительной свободы) Игнатьич надеется отыскать Россию — «если такая где-то была, жила» (116). Восходящая к традиционному сказочному зачину формула в предложенных реальных обстоятельствах если не жестко указывает, то намекает на сомнительность успеха. Географическая Россия, расположенная «по сю сторону Уральского хребта» (116), став теперь досягаемой, не равна России искомой (истинной)[24]. Красота являет себя только в единстве природы и поэтического слова. Появляющийся в «увертюре» словно бы случайно топоним Муром ассоциируется с песенными лесами[25], такими же, как упоминаемые ниже — некогда «дремучие, непрохожие», но теперь сведенные «под корень» (116, 117). Местечко Высокое Поле *веселит* душу идеальной

гармонией фонетики, семантики и денотата (чарующего среднерусского пейзажа). Внутренняя речь присевшего в рощице рассказчика — «...только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше» — инструментована с ориентацией на знакомые строки (прежде всего — «Знакомым шумом шорох их вершин...»[26]), но стиховая певучесть разбивается о грубую реальность, выраженную образцово-суровой прозой: «Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снедь мешками из областного города» (117).

Если в Высоком Поле поэзия противоречит реальности, то в Торфопродукте господствует вывернутая, отрицательная, гармония. Антимир рождает антиязык, неведомый Тургеневу. Некогда живой (перестоявший революцию) лес вытеснен лесом давно мертвым — торфом. Смысловая связка «вырубаемый лес — железная дорога» отсылает к наиболее мрачным страницам «Анны Карениной» — романа о *переворотившейся* жизни. Гротескный диалог официального объявления и двух выцарапанных «с меланхолическим остроумием» надписей, по сути, сводится к зловещему пророчеству, начертанному при входе в ад[27]. Торфопродукт с его дымом (фабричной трубы и паровозиков на узкоколейке), какофонией (свист паровозиков и угадываемая надрывающаяся радиола), серо-бурой окраской (торфяные плиты и брикеты), бараками (лагерные ассоциации), пьяными (блатарями, чертями), «подпыривающими» не только «друг друга» (117, 118) и есть ад в миниатюре[28]. Противопоставляется ему (как и другому аналогу ада — лагерю) не взыскуемая Россия (мечта), но недавно оставленное пространство ссылки, чужое, но сопряженное с вечностью: «А ведь там, откуда я приехал, мог я жить в глинобитной хатке, глядящей в пустыню. Там дул такой свежий ветер ночами и только звёздный свод распахивался над головой» (118).

Это пространство — безлюдное, поднебесное, свободное от мирского шума (и обычных человеческих

чувств) — сходно с тем, что предстает в последних стихах поэта-изгнанника: «Выхожу один я на дорогу; / Сквозь туман кремнистый путь блестит; / Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, / И звезда с звездою говорит»; «И вот в пустыне я живу, / Как птицы, даром Божьей пищи; // Завет Предвечного храня, / Мне тварь покорна здесь земная; / И звезды слушают меня, / Лучами радостно играя»[29]. «Я» предсмертной лермонтовской лирики не обретает покоя в пустыне изгнания («Что же мне так больно и так трудно...»; пророк почему-то вновь и вновь попадает в «шумный град»). Незадолго до стихов о ночной божественной пустыне были написаны стихи о пустыне (долине) в «полдневный жар», где место чаемого блаженного бытия меж смертью и жизнью занято «мертвым сном»[30]. Прохлада и зной лермонтовского Востока[31], простирающегося от Кавказа до Аравии («Спор»), взаимозаменяемы, ибо неразрывно связаны с меняющей обличья, то влекущей, то страшащей, но не знающей альтернативы смертью. Приязнь к земному бытию и «здешнее» (пусть недолгое) освобождение от тревоги и рефлексии связаны со «странною любовью» к отчизне — огромной, незнакомой, обрекающей странника на долгое одиночество, но вдруг сжимающейся в обыкновенную, обозримую и почти осязаемую деревню (или двор?) — с полным гумном и избой, покрытой соломой[32]. Этот «малый» мир «нутряной России» (России по-лермонтовски большой, а потому позволяющий «затесаться и затеряться» в ней) ищет солженицынский рассказчик.

И находит, услышав русскую речь, — ту, что слышали Лермонтов[33] и Тургенев. Эпизод с молочницей, с одной стороны, возвращает нас к тургеневскому стихотворению в прозе (есть язык — есть народ), с другой — отсылает к эпизоду испытания героя волшебной сказки потенциальным дарителем на границе «мира мертвых» (часто — «леса»). Досягнув пограничного локуса (избушки Бабы Яги) герой должен доказать свою «мертвость» — скрыть идущий от него «русский дух»

(= дух живого человека), заговорить со страшной хозяйкой (на ее языке, что в сказке не манифестируется), вкусить чужую пищу (питье)[34] — и тем самым добиться помощи Яги. Солженицын эту ситуацию частью воспроизводит, частью инвертирует. Рассказчик (человек из другого мира — зауральского, лагерно-ссылочного, «дальнего») пьет молоко, но не начинает говорить на каком-то особом языке[35], а его *слышит*. В словах молочницы «Пей, пей с душою желадной. Ты, потай, приезжий?» живет единство звука (отмечена умильность интонации), смысла (скорее угадываемого, чем отчетливо внятного[36]) и мира, который наделил собеседницу рассказчика таким языком. (Ср. выше о названии Высокое Поле.)

Об этом мире рассказчик узнает от молочницы (ср. в сказках утренние напутствия Яги-помощницы Ивануцаревичу). Она по-прежнему «напевает умильно» на *своем* языке, но в рассказе прямая речь заменена косвенной — повествователь овладевает языком собеседницы:

> И узнал, что не всё вокруг торфоразработки, что есть за полотном железной дороги — бугор, а за бугром — деревня, и деревня эта — Та́льново, испокон она здесь, ещё когда была барыня-«цыганка» и кругом лес лихой стоял. А дальше целый край идёт деревень: Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирово — всё поглуше, от железной дороги подале, к озёрам.
>
> Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию.
>
> (118)

Уже зачинное «и» (фольклорное и/или старокнижное) контрастирует с выморочным словарем оставляемого адского пространства («торфоразработки» — неологизм, неизвестный Тургеневу; «полотно железной дороги» — оксюморон, ставший стертым клише). Как и герой волшебной сказки, рассказчик обретает возмож-

ность пересечь границу, но в отличие от фольклорного прообраза он движется не из своего пространства в чужое[37], а из чужого — в свое (некогда утраченное). Он не вынужденно скрывает свой «русский дух», а возвращается в его пристанище. На ту же смысловую инверсию архаической пространственной оппозиции указывает деталь ландшафта («бугор»), отсылающая к общеизвестному фрагменту литературного памятника, традиционно почитаемого первым и основополагающим текстом отечественной словесности: «О Русьская земле! уже за шеломянем еси!»[38].

Пространство, в которое попадает рассказчик, один исследователь описывает как сказочное, а другой — как исконно русское (оба, разумеется, говорят о постигшей мир Матрёны порче)[39]. Не оспаривая значения первопроходческих работ (стимулировавших и мои соображения), замечу, что в первой невольно игнорируется бинарность сказочного пространства (оппозиция «свое — чужое» снимается, в то время как Солженицын ее трансформирует), а во второй «русское» (тоже невольно) приравнивается, условно говоря, к «идиллическому». Между тем Солженицын вовсе не склонен видеть в старой России (при всей любви к ней и полном неприятии революции, неизбежно ведущей к «советчине») страну всеобщего счастья, покоя и благоденствия.

Не обращаясь к анализу эволюции исторических воззрений Солженицына, приведу несколько примеров из «Матрёнина двора», свидетельствующих о печальной трезвости отношения писателя к прошлому. «Но потому, должно быть, пришла она (неудобная для стряпни русская печь. — *А. Н.*) *к* нашим предкам из самого каменного века, что, протопленная раз на досветьи, весь день хранит в себе тёплыми корм и пойло для скота, пищу и воду для человека. И спать тепло» (122). «Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста» (124). «Своего рода политика» (143), которую рассказчик слышит в плачах над покойницей, — неотъемлемая особенность жанра причитаний, сложившегося задолго

до бедствий XX века. Да и «д о б р о м нашим, народным или моим» стал «странно» называть «язык имущество наше» (145) не после (вследствие) революции — заданное по миротворении Создателем единство материального и духовного («И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма» — Быт 1,31; в церковнославянском тексте — «добро зело») распалось с грехопадением (началом земной истории). Злосчастья Матрёны (и Фаддея!) начались со вступления *царской* (барской) России в Первую мировую войну — в этой связи «Матрёнин двор» должно рассматривать как смысловое зерно «Красного Колеса», первое воплощение в слове солженицынской версии трагедии XX века.

Праведников мало было всегда. Любые бедствования могут исказить человеческую сущность. Любые, а не только новейшие, как бы жестоки они ни были. Игнатьич недоуменно выслушивает Машу, пекущуюся сразу после смерти Матрёны о вязанке для Таньки; он с болью и презрением говорит о своекорыстии Матрёниных сестер (кстати, эпизод этот подан в *фольклорной* тональности: «Слетелись три сестры Матрёны, захватили избу, козу и печь, заперли сундук её на замок...» (143))[40]; еще яростнее обличается Фаддей, который после смерти сына и некогда любимой им женщины (для рассказчика — случившихся по вине старика) захвачен одной думой — «спасти брёвна горницы от огня и от козней Матрёниных сестёр» (145). Читатель не может не разделить чувств Игнатьича. Но строй рассказа (включенность текста в большую традицию) заставляет нас осторожнее отнестись к жадности персонажей, «...в Черустях, чтобы получить и удержать участок земли (вечная крестьянская мечта. — *А. Н.*), надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне Матрёнина горница. А другого нечего было и поставить, неоткуда лесу взять» (135). Как неоткуда взять (живучи среди лесов и полей) торфа или сена для козы — только украсть. Что и вынуждены делать тальновские бабы. Жадность Маши, сестер Матрёны, Фаддея столь же вы-

нужденная, не вчера в крестьянские души вошедшая[41] и могущая вызывать не только изумленное отторжение, презрение, гнев, но и сострадание. Как тут не вспомнить про щи, которые хлебала баба, схоронившая единственного сына:

> И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет назад девятимесячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом — и прожила целое лето в городе! <...> — Татьяна! — промолвила она. — Помилуй! Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи!
>
> — Вася мой помер, — тихо проговорила баба, и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам. — Значит, и мой пришел конец; с живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посоленные[42].

Разница меж тургеневской вдовой и солженицынскими персонажами велика[43] — как меж царской и подсоветской Россией. Но есть и общность — они живут в одной стране.

В эту страну, о судьбе, укладе, красоте, праведности, бедах, грехах и трагедиях которой можно и должно говорить на языке Тургенева (русской литературы), и попадает рассказчик. Это его страна, в которой испокон было (и по сей день сохранилось) много всякого. Перечень деревень с полупонятными, но ласковыми старинными названиями — добрая вариация печального (и совершенно в каждой позиции ясного) топонимического ряда из некрасовской поэмы о поисках счастья и обретении России. Той России, что способна выстоять, — как конда, «боровая (не болотная) сосна, крепкая, мелкослойная и смолистая, растущая на сухом месте», одарившая русский язык прилагательным «кондовый» — «крепкий, плотный и здоровый, не трухлявый»[44]. Солженицын вводит в текст оборот «кондовая Россия» демонстративно-полемически. Определение и определяемое обрекались на гибель вместе: «Товарищ, винтовку держи, не

трусь! / Пальнем-ка пулей в Святую Русь — // В кондовую, / В избяную, / В толстозадую»[45]. Когда угроза сбылась, поэтический эпитет был перемещен в ернический регистр — всерьез использовать подобные слова могут только нелепые и сомнительные персонажи из «бывших»:

— Ах, — сказал Лоханкин проникновенно, — ведь в конце концов кто знает? Может быть, так надо. Может быть, в этом (порке, которой хотели подвергнуть обитатели «Вороньей слободки» своего «интеллигентного» соседа. — *А. Н.*) великая сермяжная правда.

— Сермяжная? — задумчиво повторил Бендер. — Она же посконная, домотканая и кондовая?[46]

Солженицын возвращает слову «кондовый» высокое значение, отнятое у него Блоком и авторами «Золотого теленка»[47].

Так рассказчик попадает (возвращается) в мир, жизнь которого по-прежнему отражается в многоголосом русском языке и воспринимается при свете многоголосой же русской словесности; «сказка» и «идиллия» (чаемая или обреченная гибели) входят в его состав наряду с другими жанрами, топосами, традиционными стилистическими блоками, сюжетными ходами, психологическими типами, идеологическими комплексами. За натуралистическим (повернутым к быту) продолжением разговора с молочницей (характерно появление закурсивленного автором глагола «воспитывать» в непривычном значении, архаизм превратился в неловкое просторечие) следует выдержанный в тех же бытовых тонах рассказ о тщетных поисках жилья (дважды употреблено неуместное для идиллического пространства слово «квартирант»), переходящий в лирическую зарисовку — описанную вариацию строфы «Отрывков из путешествия Онегина» и «Родины». Возможно, лермонтовские обертоны этого пейзажа скрыто мотивируют решающий поворот сюжета первой главы: «Ну, разве что

к Матрёне зайдём, — сказала моя проводница, уже уставая от меня. — Только у неё не так уборно, в запущи она живёт» (119); ср.: «...и стал требовать казенную квартиру. К которой избе не подъедем — занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. “Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!” — закричал я. “Есть еще одна фатера, — отвечал десятник, почесывая затылок: — только вашему благородию не понравится, там нечисто”»[48]. Мотивная близость фрагментов (фактура[49], развитие действия, состояние и поведение персонажей) так же очевидна, как различие их сюжетных функций (Печорина ждет очередное опасное приключение, Игнатьича — временный покой), но завершает Солженицын эпизод осмотра жилища лермонтовской темой судьбы: «Но я уже видел, что жребий мой был — поселиться в этой темноватой избе...» (119).

Память о двупланности «Тамани»[50] вновь актуализирует сказочную семантику недавно описанной приграничной встречи. Так и далее: проводница управляется с «завёрткой», «нехитрой затеей против скота и чужого человека» (119) — так Иван-царевич обращается с избушкой на курьих ножках, доказывая ей, что он не чужой, а свой. Впервые Игнатьич застает Матрёну в позиции Бабы Яги[51]: «Когда я вошёл в избу, она лежала на русской печи, тут же, у входа, накрытая неопределённым тёмным тряпьём, таким безценным в жизни рабочего человека» (119). Но не менее важна другая мягко введенная аналогия:

> Я отправился по этой тропинке (ведущей к оврагу на краю сада. — *А. Н.*); дошел до пасеки. Рядом с ней стоял плетеный сарайчик, так называемый амшаник, куда ставят улья на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмостки, и на них, прикрытая одеялом, какая-то маленькая фигура <...> Я приблизился — и остолбенел от удивления. Передо мной лежало живое человеческое существо, но что это было такое?

Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать, только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос <...> Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое — но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу — силится... силится и не может расплыться улыбка[52].

Черная немочь обошлась с Лукерьей страшнее, чем с Матрёной — та не утратила способности улыбаться. Не стала она «живыми мощами», только лицо у нее «жёлтое» и глаза «замутнённые». И не всегда лежит ничком (как при первом разговоре с Игнатьичем) — недуг томит по три дня, а потом отступает. Да и прожила Матрёна в неустанных трудах больше шестидесяти лет, а не умерла молодой, как несколько лет промучившаяся Лукерья. Но сходство (на которое и намекает близость мизансцен) важнее различий. Лукерья и Матрёна были созданы для иной жизни — счастливой и полной любви. Любовь сгубила Лукерью — она оступилась (как оказалось — насмерть), услышав в соловьином пении зов жениха. Любовь к Фаддею, которой «согрешившая» Матрёна осталась верна и долгие годы спустя, заставляет ее не только отдать горницу, но и погибнуть на переезде. Мучения Лукерьи и Матрёны не отняли у них добрых чувств и благодарной памяти о минувших светлых днях. Они сумели сберечь свои души, красота которых светит сквозь нынешние скорбные обличья. Тургеневский рассказчик с ужасом понимает: «Эта мумия—Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певица!»[53] Похожую на *такую* Лукерью, истинную Матрёну Игнатьич увидит зимним вечером. От первых слов недужной старухи о дальнем прошлом преобразится ее лицо, а с ним и обветшалая изба:

Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом заставленной фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на мои тетради — а по всей комнате глазам, оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. И из него выступала Матрёна. И щёки её померещились мне не жёлтыми, как всегда, а тоже с розовинкой.

Я невольно оглянулся. Этот старый серый изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зелёную шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, ещё не потемневшими тогда, струганными брёвнами и весёлым смолистым запахом.

(132—133)

А чуть позже прошлое предстанет рассказчику как въяве — он увидит «июль четырнадцатого года». Выше говорилось о связи ее фактуры и семантики с поэмами Некрасова, но выводит рассказчика на некрасовскую линию описанная Тургеневым метаморфоза Лукерьи. И она же мотивирует присутствие в вечернем (открывающем прошлое) эпизоде обертонов Гоголя[54] и оказавшейся пророческой «баллады с тенденцией» («Порой веселой мая...»)[55]. Наконец, зря что ли корили Матрёну за «рабское» смирение советские и пост(анти)советские публицисты? Странно только, что не вспомнили эпиграф к «Живым мощам»: «Край родной долготерпенья — / Край ты русского народа!»[56].

Тургеневская Лукерья и некрасовские крестьянки (Дарья и Матрёны) — важнейшие литературные прототипы солженицынской героини, но сквозь них просвечивают другие (разные, но в том или ином схожие) русские женщины — хозяйка леса Яга, сказочные «младшие сестры» (долго страдающие, но обретающие счастье), жена Добрыни Никитича (о чем ниже), лесная дева Феврония, гоголевская старосветская помещица, Настя из лесковского «Жития одной бабы» (тут важны трансформированные и рекомбинированные мотивы злосчастья семейной жизни, смерти младенца и черной немочи)[57], Анна Каренина[58].

В этом «едином и тесном» ассоциативно-поэтическом ряду (кажется уместным, использовать здесь метафорический термин Ю. Н. Тынянова) значимое место отведено той героине нашего культурного пантеона, чьи имя, образ и сюжет крепко встроены в миф о русском поэте. «Может, кому из деревни, кто побогаче, изба Матрёны и не казалась доброжилой, нам же с ней в ту осень и зиму вполне была хороша: от дождей она ещё не протекала и ветрами студёными выдувало из неё печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда дул ветер с прохудившейся стороны» (120). В деревенском доме, худо защищающем от непогоды (на что сетовать недавнему зэку неловко), при слабом свете (что отмечено позднее, в эпизоде исповеди Матрёны), под угадываемое (хоть и неназванное) завывание дважды помянутого ветра обретаются равно одинокие изгнанник (писатель) и старуха с голосом, «как у бабушек в сказках» (122)[59]. Эта вариация «Зимнего вечера» будет продолжена во второй главе, где просторечное словцо Матрёны занимает позицию смысловой рифмы и обретает пушкинскую окраску: «Но в тот же день началась мятель — *дуель*, по-Матрёниному» (136). Горницу не могли вывезти из Тальнова две недели — похоже, *дуель* случилась в день пушкинской дуэли (или близ него)[60].

«Пушкинизация» фрагментов текста, посвященных однообразной осенне-зимней жизни в тальновской избе и февральской непогоде (задержке с перевозом горницы), открывает и усиливает смыслообразующий пушкинский подтекст описаний ночных (поздневечерних) бдений Игнатьича. Сперва о них говорится обобщенно: «По ночам, когда Матрёна уже спала...» (121), затем — в двух сюжетно сильных позициях — перед исповедью Матрёны и в первые часы после ее гибели (рассказчику еще не открывшейся). По сути, описывается повторяющаяся (неизменная) ситуация: ночь, тьма (или полутьма), странные звуки, связанные с нечеловеческим таинственным миром и движением времени. «Редкое

быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далёкий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой» (121); «...писал своё (именно здесь рассказчик показывает себя писателем. — *А. Н.*)... под шорох тараканов и постук ходиков» (132) — мыши не названы (о них читатель и так помнит), но введен новый значимый звук; «...я заметил, что очень уж, как никогда, развозились мыши: всё нахальней, всё шумней они бегали под обоями, скребли и попискивали» (138). Резко возросшую активность мышей можно объяснить двояко: рационально (из-за катастрофы прекратилось движение поездов, воцарилась непривычная тишина, в которой любой звук становится более ощутимым, чем обычно) и мистически (мыши почуяли гибель хозяйки и его неизбежное следствие — конец дома)[61]. Хотя рассказчик погружен в себя[62], он фиксирует движение времени: «Прошёл час, другой. И третий» (138) — ясно, что Игнатьич не на циферблат смотрит (это действие человека озабоченного), а в забытьи слышит бой ходиков.

Три взаимодополняющих эпизода воссоздают атмосферу «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы»: «Мне не спится, нет огня; / Всюду мрак и сон докучный. / Ход часов лишь однозвучный / Раздается близ меня. / Парки бабье лепетанье, / Спящей ночи трепетанье, / Жизни мышья беготня... / Что тревожишь ты меня? / Что ты значишь, скучный шепот? / Укоризна или ропот / Мной утраченного дня? / От меня чего ты хочешь? / Ты зовешь или пророчишь? / Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу...»[63] Солженицын, разумеется, не стремится буквально повторить Пушкина. Он говорит о вечной связи: ночь — поэзия — воспоминания и предчувствия — инобытие, вдруг вмешивающееся в жизнь, окликающее человека на непонятном ему языке, — неостановимый ход времени — смерть[64]. Аккуратно сближая рассказчика с Пушкиным[65], а Матрёну — с Ариной Родионовной, Солженицын акцентирует две важнейших взаимосвязанных темы «Матрёнина дво-

ра» — тему памяти (сохранения в слове того, что ушло, — погибшего человека, утраченных ценностей, истинного русского мира)[66] и тему единства многообразной и эволюционирующей русской словесности, смысловым центром и воплощением которой мыслится Пушкин.

«Матрёнин двор» не только продолжает русскую литературу, но и буквально ее возрождает. Солженицын поминает (возвращает из небытия) Матрёну вместе с безымянными сказителями и национальными классиками, а история жизни и смерти невидимой праведницы доказывает, что якобы переведенный на «торфопродукт» русский язык по-прежнему остается «великим, могучим, правдивым и свободным».

Дать исчерпывающий список реминисценций русской литературы в «Матрёнином дворе» — задача едва выполнимая. Оборотной стороной их густоты и разнообразия (не присущих прочей малой прозе Солженицына[67]) оказывается их неуловимость и/или случайность. Солженицыну чаще важны не столько обязательные для распознавания отсылки к конкретным текстам (хотя есть и такие случаи), сколько напоминание об общем — едином — языке русской словесности, органично сочетающей национальное и универсальное (всемирное) начала. Это сопряжение особенно ярко выступает в финалах всех трех глав.

Первая — условно говоря, очерковая, портретирующая Матрёну, какой ее видел чуть со стороны рассказчик, — завершается музыкальным эпизодом. Матрёна неприязненно реагирует на шаляпинское исполнение «русских песен» («Чудно́ поют, не по-нашему <...> Не. Не так. Ладу не нашего. И голосом балует»), но растепляется до слез от «камерных романсов Глинки», то есть музыки, принадлежащей высокой культуре, музыке, в которой европейский лад позволяет выявиться национальному духу: «А вот это — по-нашему... — прошептала она» (130).

Душевная тонкость Матрёны, ее эстетическая чуткость и бессознательная включенность в мировую куль-

туру обнаруживаются таким же образом, как у персонажей «Певцов». Жиздринский рядчик, подобно Шаляпину (не только в восприятии Матрёны), «балует голосом», а возникающий в сознании читателя контраст его «высочайшего фальцета» и легендарного шаляпинского баса убеждает в сходстве исполнительских стилей тургеневского персонажа и прославленного артиста: оба работают на краях вокального диапазона, выходят за пределы привычного звукового поля.

...Он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным стараньем, умолкал, и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, занозистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны; знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодование. Это был русский tenore di gracia, ténor léger. Пел он веселую плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания были следующие:

Распашу я, молода-молоденька,
Землицы маленько:
Я посею, молода-молоденька,
Цветика аленька[68].

В пении рядчика Тургенев отмечает формальную «русскость» (Шаляпин в рассказе Солженицына поет не «Блоху» или арию Бориса, но «русские песни») при близости (если не тождестве) манеры с ее западными версиями (амплуа называются по-французски и по-итальянски), артистическую (противоестественную) изощренность (утеху знатоков, рационально оценивающих одоление трудностей), невнятность (переходящую в бессмысленность) с трудом распознаваемых слов, существующих отдельно от мелодии (ср. первую реакцию

Матрёны). Восхищает рядчик квалифицированных слушателей мастерством — действительно незаурядным, хотя искушенный рассказчик говорит о нем с чуть приметной иронией.

Яков Турок поет совершенно иначе:

> Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. (Прежде описанному искусству управления своими органами противопоставлено небесное наитие. — *А. Н.*) <...> За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебаньем, за вторым — третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролегала», — пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос (голос рядчика для рассказчика не нов, так поют мастера во Франции и Италии. — *А. Н.)*: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более — он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся[69].

Наряду с собственно пением описываются психологические перемены, происходящие с поющим, его вхождение в песню и подчинение ей. Мелодия и голос создают многомерный (тщательно прописанный Тургеневым) смысл в единстве с поэтическим словом, представлен-

ным одной — но выразительной и опять-таки многозначной — строкой. (Вмонтированной в тождественное песни Якова повествование, а не обособленной графически, как фиоритуристый куплет рядчика.) Слушатели не дивятся певцу, но переживают то же, что он сам. (Несомненно, по замыслу Тургенева, то же должно происходить с читателем его рассказа.) Песня освобождает всех слушателей (включая признавшего поражение рядчика) от их жизненных ролей — слезы поднимаются к глазам и у рассказчика, и у всех посетителей кабака, «жена целовальника плакала, припав грудью к окну». Такие же слезы не может сдержать Матрёна после романсов Глинки, заражаясь их жизненным содержанием, для которого равно важны скромное («камерное») искусство и чувства поющих «по-нашему», то есть растворяющих себя в пении, им живущих. Велик соблазн предположить, что среди услышанных Матрёной романсов был и «Я помню чудное мгновенье...».

Замордованная жизнью Матрёна так же духовно чутка, как тоже никак не избалованные судьбой (опустившиеся или, напротив, выбившиеся в люди) судьи кабацкого состязания. У Тургенева история о светлом единении в песне (духовной высоте русского мира) нагружена двумя мрачными «эпилогами». Поздним вечером рассказчик, заглянув в окно кабака, видит: «все было пьяно — начиная с Якова». Покидая деревню с «говорящим» названием Колотовка, он слышит перекличку двух мальчиков. Один неустанно кричит «звонким голосом» «с упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог», другой едва слышно произносит «Чего-о-о-о-о?».

— Иди сюда, черт леши-и-и-й!

— Заче-е-е-ем? <...>

— А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-и-т[70].

Послесловия не перечеркивают слова (песни Якова). Страдальческая жизнь и гибель Матрёны не отменяют

«пелены слёз в неярких ...глазах», причастности старой крестьянки миру Глинки и Тургенева[71].

Вторую главу — рассказ о жизни, любви и смерти Матрёны — завершает нежданно случившееся (как оказалось, не отмененное, а отложенное) отмщение изменившей невесте:

> И вдруг в притёмке у входных дверей, на пороге, я вообразил себе чёрного молодого Фаддея с занесенным топором:
>
> «Если б то не брат мой родной — порубал бы я вас обоих!»
>
> Сорок лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак, — а ударила-таки...
>
> (142)

При всей жизненности истории Матрёны и Фаддея она точно совпадает с архаическим фольклорным сюжетом «муж на свадьбе жены», используемым в эпических песнях и сказках многих народов. В русском фольклоре это история о «неудачной женитьбе» Алеши Поповича. Отъезжая на подвиги, Добрыня Никитич завещает жене ждать его три года (шесть, девять, двенадцать лет); коли муж не вернется, жена вольна оставаться вдовой или выйти замуж: «Хоть за князя поди, хоть за боярина, / Хоть за русского могучего богатыря, / А только не ходи за брата моего названого, / За смелого за Алешу Поповича»[72]. Часто запрет мотивируется иначе (например, насмешливым нравом Алеши) или не мотивируется вовсе. Добрыня не успевает вернуться к сроку, либо жена получает весть о смерти мужа (иногда ее сознательно вымышляет Алеша, погубивший Добрыню, иногда доносит молва). Жена Добрыни идет замуж за Алешу (в некоторых вариантах — по настоянию князя Владимира), переодетый и изменивший внешность Добрыня появляется на пиру, жена узнает его (обычно по брошенному в ее чашу кольцу), оповещает о том всех пирующих, Добрыня вершит расправу над Алешей (иногда укорив, но простив жену и сосватавших ее от живого мужа князя и княгиню).

Примечательно, что в одном из наиболее известных вариантов былины (впервые опубликован в «Русских песнях, собранных П. Н. Рыбниковым»; выше цитировался именно этот текст) запрет на брак с Алешей (даже в случае смерти Добрыни!) связан с побратимством богатырей. В другой версии, напротив, их особые отношения спасают Алешу от смерти: «Хватил тут Добрыня Алёшу за желты кудри, / Ударил Алёшу о сыру землю: / — Кабы был, Алёша, не крестовый брат, / Придал бы тебе скоро смёртыньку»[73]. Так или иначе, но побратимство может оказываться значимым мотивом. Солженицыну могли быть известны оба цитированных выше текста — вариант, впервые опубликованный в «Онежских былинах, записанных А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г.», не менее хрестоматиен, чем рыбниковский. В «Матрёнином дворе» сюжетные версии парадоксально совмещаются: Фаддей не убил родного брата[74], а инородную для былины казнь провинившейся невесты (никак не жены!) свершил много лет спустя — и не своими руками.

О том, что Солженицын соотносил историю Матрёны с былинной, свидетельствует еще одна перекличка рассказа с рыбниковским вариантом, где трижды описывается «пустое» и быстро бегущее время ждущей мужа Настасьи Никуличны: «Как день за днем, будто дождь дожит, / Неделя за неделей, как трава растет, / А год за годом, как река бежит. / Прошло тому времени да три году, / Не бывал Добрыня из чиста поля»[75]. Ср. сперва о годах Первой мировой, а потом — о времени замужества Матрёны: «Да. Да... Понимаю... Облетали листья, падал снег — и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция. И другая революция. И весь свет перевернулся» (133). (Социальный катаклизм, сломавший судьбу России, так же парадоксально вписан в вечный кругооборот природно-крестьянского бытия, как роковая ошибка Матрёны.) «И шли года, как плыла вода... В сорок первом не взяли на войну Фаддея из-за

слепоты, зато Ефима взяли» (135). Вновь страшные события нежданно входят в вечное течение жизни, вновь (хоть и по-другому) Матрёна теряет мужа — теперь нелюбимого, но навсегда.

Былина высвечивает *русскость* истории, случившейся в XX веке, но ее *всеобщий* сюжет открывает большую перспективу — подобно Добрыне, в последний миг успели попасть домой хитроумный Одиссей и бедный певец Ашик-Кериб, о котором русскому читателю рассказал Лермонтов. Только Матрёну жизнь не одарила тем счастьем, что в конце концов обрели Пенелопа, Настасья Никулична и Магуль-Мегери. Русский XX век жестоко поправил фольклорную схему, хотя и оставил ее распознаваемой.

Третью главу — поминовение Матрёны (сперва фальшивое, потом — истинное) — заключает пословица о праведнике, без которого «не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша» (148).

Пословица эта, как и свойственно паремийным текстам, может читаться двояко. Первый план: если нет праведника, то селу (городу, стране, миру) устоять не удастся. Ясно (и не раз отмечалось), что прочитанная так (и только так) пословица отсылает к истории Содома, о спасении которого Авраам тщетно молил Господа: в городе не нашлось и десяти праведников (Быт 18, 20-33). Но ударение в пословице можно поставить и иначе: нет такого села (города, страны), в котором не нашлось бы праведника, хотя его зачастую не видят — как не видели тальновцы (да и Игнатьич) праведности Матрёны.

Так понимал пословицу Лесков, предпославший ее (в церковнославянской огласовке) своему циклу рассказов о «хороших людях». В предисловии (появившемся впервые при рассказе «Однодум», 1879) Лесков рассказал, как удручили злые порицания, которые «один большой русский писатель», собираясь умереть уже «в сорок восьмой раз», низвергал на все вокруг: «По-вашему, небось, надо хороших писать, а я, брат, что вижу, то и пишу, а вижу я одни гадости <... > что же

мне делать, когда я ни в своей, ни в твоей душе ничего, кроме мерзости, не вижу...». Автор будущих рассказов о праведниках не мог принять воззрений собрата по литераторскому цеху (его прототип — А. Ф. Писемский, действительно «большой русский писатель» с явной склонностью к мизантропии):

«Как, — думал я, — неужто в самом деле ни в моей, ни в его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто все доброе и хорошее, что когда-либо заметил художественный глаз других писателей — одна выдумка и вздор? (Этот вопрос очень важен для обсуждаемой литературности «Матрёнина двора»! — *А. Н.*) Это не только грустно, это страшно. Если без трех праведных, по народному верованию, не стоит не один город, то как же устоять целой земле с одною дрянью, которая живет в моей и твоей душе, мой читатель?»

Мне это было и ужасно, и несносно, и пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число трех праведных, без которых «несть граду стояния»...

Лесков таких праведников нашел (куда больше, чем трех), хотя и завершил предисловие усмешливой оговоркой: «Праведны они, думаю себе, или неправедны, — все это надо собрать и потом разобрать: что тут возвышается над чертой простой нравственности и потому “Господу свято”»[76].

Я не знаю, прочел ли Солженицын к августу 1959 года (время работы над рассказом) лесковское предисловие к «праведническому» циклу, но его смысл автору «Матрёнина двора», безусловно, был близок. Память о Матрёне (как и о лесковских героях, тоже оставивших землю) должна быть сбережена для того, чтобы мы умели видеть окрест себя не одну лишь дрянь (которой с избытком было и в 1959 году), но и неприметных праведников. Для того чтобы мы и наши дети говорили (думали) на живом языке сказок, былин, Пушкина, Гоголя,

Лермонтова, Тургенева, Некрасова, Лескова, а не «торфопродукта». Для того чтобы не постигла участь Содома и Гоморры «всю землю нашу». Между прочим, кроме русского смысла в этих словах есть и смысл буквальный — всемирный.

Примечания

1 Фрагмент письма Твардовскому см.: *Решетовская Наталья.* Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Советская Россия, 1990. С. 139.

2 Замена одной нейтральной фамилии на другую была, видимо, внутренне необходима автору (читатели некомментированных изданий рассказа ее просто не могут воспринять), несомненно поэтически достраивающему жизненный сюжет. Реальная Матрёна могла рассказать Солженицыну о своей первой любви, обусловившей ее особые отношения с Фаддеем, но фантастическая атмосфера, окутывающая исповедь Матрёны, возникающий в ней символический (и много раз отзывающийся в других фрагментах текста) мотив топора, размышления о ходе времени и обусловленном им психологическом состоянии героини, решившейся на замужество, безусловно, домыслены Игнатьичем (литературным двойником автора). О значении поэтического достраивания реальности у Солженицына см. в главе «Жизнь и Поэзия в романе “В круге первом”».

3 Это зачин второй главки — Игнатьич прожил в Тальнове примерно пять месяцев (крещенский эпизод описан ранее). Конструкция «а я тоже...», формально указывая на симметрию в отношениях персонажей, на самом деле свидетельствует об ином. Матрёна не тревожит Игнатьича расспросами, потому что печальное его прошлое угадывает сама; Игнатьич, кое-что зная о былом Матрёны, пока не склонен размышлять о ее судьбе и личности.

4 Ср. после рассказа о неукротимой жадности Фаддея: «Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой

не один» (145). «Такой не один», однако, не означает, что *других* не было вовсе.

[5] *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Языки славянских культур, 2009. Т. 4. С. 170.

[6] Сперва читатель узнает об одиночестве рассказчика («никто меня не ждал и не звал») и о том, что он «задержался с возвратом (в Россию. — *А. Н.)* годиков на десять» (116), — названный срок отсутствия персонажа в сочетании с точной датировкой действия («летом 1956 года») указывает не только на лагерь (тюрьму), но и на войну, с которой возвращались в 1945—1947 гг. (отсюда неопределенность временной конструкции). Позже о военном и лагерном опыте говорится определенно, но не акцентировано, словно бы к случаю: «...ещё лагерная телогрейка на ногах...»; «Ел я дважды в сутки, как на фронте»; «И когда невскоре я сам сказал ей, что много провёл в тюрьме...» (важна не столько информация об Игнатьиче, сколько понимающая реакция Матрёны); «Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжёлые годы»; «Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях» (122; 123; 130; 137; 138). Подчеркну, что речь здесь идет о собственно тексте рассказа, изначально писавшегося в стол. Контекст публикации, последовавшей через два месяца после триумфа «Одного дня Ивана Денисовича», несомненно, придал автобиографическим мотивам большую определенность. О жизненном пути прежде никому неизвестного автора лагерной повести читатель был проинформирован заметкой П. Косолапова «Имя новое в нашей литературе» («Московский комсомолец». 1962. 28 ноября); см.: «Ивану Денисовичу» полвека: Юбилейный сборник. 1962—2012. М.: Русский путь, 2012. С. 39—40.

[7] *Джексон Роберт Луис.* «Матрёнин двор»: Сотворение русской иконы // Солженицын: Мыслитель, историк, художник: Западная критика. 1974—2008. М.: Русский путь, 2010. С. 547 (перевод Б. А. Ерхова).

[8] Там же. С. 551, 552, 553. Последнее наблюдение серьезно колеблет главную мысль статьи, согласно которой Солженицын ищет идеал в дореволюционном прошлом. Меж тем для Солженицына злосчастья России (олицетворением ко-

торой можно счесть Матрёну) начались задолго до революции, что и обусловливает его обращение к классике, запечатлевшей не только красоту русского человека, но и его трагедию.

9 *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч.: В 15 т. Л.: Наука, 1982. Т. 5. С. 35. Реминисценция отмечена: *Лекманов О. А.* «От железной дороге подале, к озерам...» (о том, как устроено пространство в рассказе А. И. Солженицына «Матрёнин двор») // Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск: Водолей, 2000. С. 331; ср. также комментарии В. В. Радзишевского (598—599).

10 *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1982. Т. 10. С. 172. Немаловажно, что, начиная с прижизненной публикации «Стихотворений в прозе» (1882), «Русский язык» замыкает предназначенный автором для печати цикл, следуя прямо за трагическо-скептической «Молитвой».

11 *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1977. Т. 2. С. 100; подробнее о пушкинском плане «Русского языка» см.: *Немзер А.* «Песнь о вещем Олеге и ее следствия // Acta Slavica Estonica IV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, IX. Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон. Тарту: University of Tartu Press, 2013. С. 290. Следует отметить, что для «Песни о вещем Олеге» равно значимы сопряженные темы провидения (явленная сюжетно) и памяти (прямо обнаруживающаяся в финальных строках, но организующая повествовательную структуру текста).

12 *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М.: Наука, 2012. Т. 7. Кн. 1. С. 103.

13 См. *Тургенев И. С.* Указ. соч. Т. 3. С. 447.

14 *Некрасов Н А.* Указ. соч. С. 119, 126—127,186—187.

15 *Некрасов Н. А.* Указ. соч. Т.4. С. 105, 80, 81.

16 Там же. С. 80.

17 Укажу на еще одну частную, но потому показательную перекличку в историях двух Матрён. «Уж будто не колачивал?» / Замялась Тимофеевна: / — Раз только, — тихим голосом / Промолвила она» *(Некрасов Н. А.* Указ. соч. Т. 5. С. 138); Фи-

липп единственный раз побил жену из-за того, что та не сразу дала башмаки его сестре (золовке Матрёны). Ср.: «Меня сам ни разику не бил <...> То есть был-таки раз — я с золовкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил» (134).

18 *Лекманов О. А.* Указ. соч. С. 331.

19 *Некрасов Н. А.* Указ. соч. Т. 5. С. 46.

20 Там же. С. 221. Некрасов использовал народные прибаутки, записанные им еще в середине 1840-х гг. (Там же. С. 681—682; комментарий О. Б. Алексеевой); скорее всего, знал он и восходящий к сходным фольклорным источникам пушкинский набросок (1833; впервые опубликован в «анненковском» издании, 1855), где доминирует тема доброй памяти: «Сват Иван, как пить мы станем, / Непременно уж помянем / Трех Матрён, Луку с Петром, / Да Пахомовну потом». — *Пушкин А. С.* Указ. соч. Т. 3. С. 240.

21 *Некрасов Н. А.* Указ. соч. Т. 4. С. 81.

22 Ср. также словосочетание «безпритульная Матрёна» (135) — формально неверное (изба у Матрёны есть, говорится о ней в той же фразе!), но точное по существу.

23 *Некрасов Н. А.* Указ. соч. Т. 5. С. 233—234.

24 Ср. написанное в «вечной ссылке» стихотворение «Россия?» (1951): «Есть много России в России, / В России несхожих Россий. <...> Среди соплеменников диких / России я не нахожу... <...> В двухсотмиллионном массиве, / О, как ты хрупка и тонка, / Единственная Россия, / Неслышимая пока!..» (XVIII, 235—237).

25 И более скрыто — со старым богатырем, премудрой лесной девой и дорожкой, навсегда уводящей миленького.

26 *Пушкин А. С.* Указ. соч. Т. 3. С. 314 («...Вновь я посетил...»).

27 Эта общеизвестная строка служит названием 91-й главы «дантовского» романа «В круге первом» (арест и первые Лубянские впечатления Володина) (II, 654).

28 Как Высокое Поле — миниатюрный рай, в котором можно обитать лишь человеку до грехопадения (не обремененному заботой о пище). Описывая оба локуса, Солженицын использует уменьшительные суффиксы, обретающие прямо противоположные значения; ср.: «местечко», «ложки», «взгорки», «плотинка», «рощица» — с одной стороны (117)

и «узкоколейка», «паровозики» — с другой; зловеще окрашены и странноватые глагольные формы со значением неполного действия — «пображивать», «подпыривать» (117), ориентированные на песенный фольклор и его имитации, где они обычно несут иную семантику.

29 *Лермонтов М. Ю.* Соч.: В 6 т. М., Л.: Издательство Академии наук СССР, 1954. Т. 2. С. 208, 212.

30 Там же. С. 197.

31 Ср. ту же мнимую антитезу у Солженицына; прежде воспоминаний о свежем ветре и звёздном своде в рассказе говорится о «пыльной горячей пустыне» (116).

32 *Лермонтов М. Ю.* Указ. соч. С. 177.

33 Лермонтовский «говор пьяных мужичков» в Торфопродукте не слышен (как и вообще человеческая речь). Там гремят другие (механические) звуки, а пьяные — вопреки требованиям жизнеподобия — даже не сквернословят и песен не горланят. Но слово им не будет предоставлено и дальше. Тальновский пейзаж (предвестье встречи с Матрёной) описан скорее в тональности «Отрывков из путешествия Онегина», чем чуть более сочного финала «Родины». «Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. (Вновь знакомые по пейзажу Высокого Поля деминутивы. — *А. Н.).* Милей этого места мне не приглянулось во всей деревне; две-три ивы, избушка перекособоченная, а по пруду плавали утки, и выходили на берег гуси, отряхиваясь» (118); ср.: «Иные нужны мне картины: / Люблю песчаный косогор, / Перед избушкой две рябины, / Калитку, сломанный забор, / На небе серенькие тучи, / Перед гумном соломы кучи — / Да пруд под сенью ив густых, / Раздолье уток молодых...» Откровенно цитируя Пушкина, Солженицын опускает последние восемь строк, не менее памятные, чем первые: «Теперь мила мне балалайка / Да пьяный топот трепака / Перед порогом кабака. / Мой идеал теперь — хозяйка, / Мои желания — покой, */Да щей горшок, да сам большой» (Пушкин А. С.* Указ. соч. Т. 5. С. 174). «Недоцитата» (слово М. В. Безродного) возникает здесь по двум причинам. Во-первых, рассказчик не найдет (и не надеется найти) в Тальнове «хозяйку» и дом, в котором будет

«хозяином»; силой вещей он так же далек от «самодостаточности» (свободы) бытия, как и Матрёна. (Курсивом у Пушкина дана переведенная в четырехстопный ямб — и тоже «недоцитированная» — строка «Сатиры V. На человеческие злонравия вообще. Сатир и Периерг»: «Щей горшок, да сам большой, хозяин я дома». — *Кантемир Антиох.* Собр. стихотворений. Л.: Советский писатель, 1956. С. 137.) Во-вторых же, Солженицын слишком хорошо помнит пьяных Торфопродукта, чтобы включить их в поэтический мир. Описанные в рассказе празднества и застолья практически бессловесны (сестры, навестившие Матрёну в Крещенский вечер — сразу после случившейся с ней беды, пропажи котелка с освященной водой, — лишь пляшут да называют Матрёну «лёлька или нянька»; перед перевозом горницы громкая похвальба выпивающих сливается со стуком стаканов и звяканьем бутылки — собственно слова в текст не введены) или оркестрированы пустыми и фальшивыми словами (на поминках звучат ритуализованные молитвы, знаточеская болтовня «золовкина мужа» о церковной службе и его же «патриотическая» демагогия).

34 Подробнее см.: *Пропп В. Я.* Морфология / Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998. С. 151—163.

35 Ср. точно воспроизводящий сказочную модель, но пародийно окрашенный эпизод «Ночи перед Рождеством». Попавшие в Петербург (аналог «инишного царства») запорожцы и Вакула демонстрируют друг другу свою языковую компетентность: «Что ж, земляк, — сказал, приосанясь, запорожец и желая, что он может говорить и по-русски. — Што балшой город?

Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком; притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык. “Губерния знатная! — отвечал он равнодушно, — нечего сказать, домы балшущие, картины висят скрозь важные. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция”». —*Гоголь Н. В.* Указ. соч. Т. 1. С. 176.

36 В языковом плане это наиболее выразительное место рассказа. За рамки литературной нормы выходят и фонетика

(диссимиляция в слове «желадный», видимо обусловленная гиперкоррекцией: «желадный» вместо «желанный» по аналогии с «медный» при неверном «менный»), и лексика (загадочное без обращения к словарю слово «потай»), и фразеологизм, не поддающийся пословной расшифровке («с душою желадной»), и передающая разговорную интонацию пунктуация (наречие «потай», то есть «тайно», обособлено запятыми). В дальнейшем народная речь подается не столь густо, хотя первые реплики Матрёны тоже лингвистически маркированы: «...держит два-дни и тридни, так что ни встать, ни подать я вам не приспею» (заметим, впрочем, городское обращение на «вы», потом из речи Матрёны ушедшее, — «Прости, Игнатьич»); «Не умемши, не варёмши — как утрафишь» (119, 137, 120).

37 Сказочный лес (и его аналоги) — загробный мир. Герой отправляется туда, дабы, одержав победу (освободив или похитив невесту, добыв волшебный предмет), ликвидировать временное повреждение в мире живых, где с его возвращением (воцарением-свадьбой) восстанавливается гармония, нарушенная в начале сказки вредительством потусторонних сил.

38 Слово о полку Игореве. Л.: Советский писатель, 1985. С. 24. Этот призвук «Слова...» в «Матрёнином дворе», судя по всему, расслышал замечательный поэт и автор проницательных работ об обсуждаемой формуле («Между шеломянем и Соломоном? К вопросу о связи между “Задонщиной” и “Словом о полку Игореве”») и прозе Солженицына («Великолепное будущее России», «Поэзия и правда у Солженицына» и др.). На игре с многозначностью предлога «за» (с которой связана трансформация оборота из «Слова...» в «Задонщине») строятся «Вариации для бояна», насыщенные реминисценциями раннего Солженицына («Не заутрени звон, а об рельс «подъем»; «Помнишь ли землю за русским бугром?») и развивающие тему извращения языка (изнасилования России). Соблазнительно предположить в этой связи присутствие автора «Матрёнина двора» в закурсивленной мною строке финала: «О, Русская земля, ты уже за бугром! / *Не моим бы надо об этом пером*, / но ка-

ким уж есть, таким и помянем / ошалелую землю — только добром! — / нашу серую землю за шеломянем». — *Лосев Лев.* Солженицын и Бродский как соседи. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С. 7; ср.: Там же. С. 8—13, 283—378.

[39] *Джексон Р. Л.* Указ. соч. С. 550—551; *Лекманов О. А.* Указ. соч. С. 329—330. Отмечу не зафиксированный коллегами (хотя работающий на их концепцию) фольклорный подтекст еще одной топографической детали; конструкция «...подале, к озёрам» вызывает ассоциации с легендой о граде Китеже, ушедшем под воду и так сохранившем в годину бедствий русскую святость.

[40] Кроме синтаксического параллелизма (что чуть ниже отзовется в плаче сестер), очевидна близость «захватчиц» сестрам-вредительницам из сюжетов того типа, что представлены в сказках «Финист — ясный сокол», «Аленький цветочек» или пушкинской о царе Салтане. Сказочные мотивы, однако, последовательно корректируются: сестры не старшие, а младшие; их не две, а три (то есть вместе с Матрёной — четыре; зловеще переосмысливается фольклорная «троичность»); завидуют и вредят они не счастливице, а героине, уже безжалостно обделенной судьбой; грех, за который много лет спустя расплачивается Матрёна, совершен не по сестринскому наущению (рассказывая о замужестве, Матрёна вовсе не упоминает свою родню); злобное торжество в конце концов добившихся своего сестер прямо противоположно счастливым сказочным финалам, часто включающим мотив прощения злодеек (ср. посмертную неприязнь близких к одинокой и за гробом героине).

[41] Между прочим, Ефим сватает Матрёну летом 1917 года — то есть в ту самую пору, когда мужики, не дожидаясь декретов, бросились на господские земли. А для того «рук у них (Григорьевых, потерявших мать и полагавших погибшим старшего сына. — *А. Н.*) не хватало».

[42] *Тургенев И. С.* Указ. соч. Т. 10. С. 152.

[43] Впрочем, так ли далеко отстоит от осиротевшей Татьяны Маша, у которой осталась Танька?

[44] *Даль Владимир.* Толковый словарь живого великорусского языка: <В 4 т.>. М.: Русский язык, 1979. Т. 2. С. 150 (факсимильное издание).

[45] *Блок Александр.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Наука, 1999. Т. 5. С. 12. В поэме «Двенадцать» призыв этот «карнавально» исполняется убийством Катьки — «толстоморденькой». Эти ассоциации не могли не возникнуть в рассказе, где Россию символизируют разрушаемая изба и женщина, погибшая (убитая) на железной дороге (ср. эту же проекцию России в соответствующем стихотворении Блока).

[46] *Ильф И., Петров Е.* Собр. соч.: В 5 т. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1961. Т. 2. С. 156. Отсылка к этому эпизоду «Золотого теленка» открывает 66-ю главу романа «В круге первом»: «Дружбу Нержина с дворником Спиридоном Рубин и Сологдин благодушно называли “хождением в народ” и поисками той самой великой сермяжной правды, которую ещё до Нержина тщетно искали Гоголь, Некрасов, Герцен, славянофилы, народники, Достоевский, Лев Толстой и, наконец, оболганный Васисуалий Лоханкин» (II, 482).

[47] Или двумя романными персонажами?

[48] *Лермонтов М. Ю.* Указ. соч. Т. 6. С. 250.

[49] Не только пути к цели, но и (правда, в меньшей мере) обочинного местоположения и интерьера «фатер». Любопытно, что в первом описании избы Матрёны не упоминаются иконы (119), о них речь заходит ниже: «Был святой угол в чистой избе, и иконка Николая Угодника в кухоньке» (129); ср. «На стене ни одного образа — дурной знак!» — *Лермонтов М. Ю.* Указ. соч. С. 251.

[50] Чертыхание Печорина позволяет десятнику отвести его в место «нечистое» — отнюдь не в смысле санитарии (или комфорта), как подумалось странствующему офицеру. И даже не в смысле полицейском: «честные контрабандисты», безусловно, наделены демоническими чертами, новелла строится на двойных мотивировках, ирония повествователя — устойчивая примета как фантастической прозы, так и ее изводов, якобы дающих чудесным собы-

тиям разумное истолкование. О двуплановости «Тамани» см.: *Лотман Ю. М.* Три заметки о Пушкине. *1. «Когда же черт возьмет тебя»* // Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: Искусство-СПБ., 1995. С. 341; ср. также: *Жолковский А. К.* Семиотика «Тамани» // Жолковский А. К. Очные ставки с властителем: Статьи о русской литературе. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. С. 139—145.

[51] Это мерцающее уподобление будет возникать и ниже:

«— Доброе утро, Матрёна Васильевна.

И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки. Они начинались каким-то низким тёплым мурчанием, как у бабушек в сказках:

— М-м-мм... также и вам.

И немного погодя:

— А завтрак вам приспе-ел» (122).

Трудно не вспомнить здесь эпизоды пробуждения Ивана-царевича в избушке Яги. Сходство Матрёны с «лесной хозяйкой» приметно и в рассказе о ее походах за торфом и по ягоды (124).

[52] *Тургенев И. С.* Указ. соч. Т. 3. С. 327—328.

[53] Там же. С. 328.

[54] Игра света и цвета в темной комнате, вероятно, пришла из видения пана Данилы («Страшная месть»): «...и опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом <...> тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты; и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет и мелькают на стене знаки». Это колдун мучает душу пани Катерины (ср. власть Фаддея над Матрёной). Преображение дома напоминает другое видение — Левка в «Майской ночи»: «С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда: старинный господский дом, опрокинувшись вниз, был виден в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери.

Сквозь чистые стекла мелькала позолота <...> “Вот как мало надо полагаться на людские толки, — подумал он про себя. — Дом новехонький; краски живы, как будто сегодня он выкрашен”». По-другому (без фантастической огласовки) этот мотив проведен в главе VI «Мертвых душ», рассказе о былом (веселом, многолюдном, деятельном) бытии оскудевшего и захламленного дома Плюшкина. — *Гоголь Н. В.* Указ. соч. Т. 1. С. 196, 130; Т. 7. Кн. 1. С. 112. Гоголевские реминисценции появляются в двух тревожных и загадочных (коли не сказать — мистических) эпизодах «Матрёнина двора». «Пальто из железнодорожной шинели», построенное портным-горбуном, получилось таким славным, «какого за шесть десятков лет Матрёна не нашивала» (128). Верно указав на отсылку к «Шинели», Р. Л. Джексон не обратил внимания на то, что эта удача Матрёны как и прочие — с трудом выхлопотанная пенсия, деньги, которые стала она получать от постояльца и школы, купленные на них новые телогрейка и валенки, возможность сделать похоронную заначку) предвещает ее страшный конец. Точь-в-точь как сбывшаяся мечта Акакия Акакиевича. Или неожиданный уход в лес кошечки («Старосветские помещики»), верно понятый ее хозяйкой как знак скорой смерти, — ср. в «Матрёнином дворе» исчезновение колченогой кошки, случившееся между демонтажем горницы и гибелью Матрёны (136). В этом контексте похищение котелка со святой водой видится «гоголизированно» — бесовской проказой.

55 «В то лето... ходили мы с ним в рощу сидеть, — прошептала она. — Тут роща была, где теперь конный двор, вырубили её...» (133); ср.: «Она ж к нему: «Что будет / С кустами медвежины, / Где каждым утром будит / Нас рокот соловьиный?» // «Кусты те вырвать надо / Со всеми их корнями, / Индеек здесь, о лада, / Хотят кормить червями». — *Толстой А. К.* Полн. собр. стихотворений и поэм. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2004. С. 221. Напомню о соловьином пении в «Живых мощах».

56 *Тургенев И. С.* Указ. соч. Т. 3. С. 326; ср.: *Тютчев Ф. И.* Полн. собр. стихотворений. Л.: Советский писатель, 1987. С. 191.

Тютчевскую межстрочную запятую Тургенев заменил на тире.

[57] Ср. восторженную оценку первой части повести, впервые прочитанной будущим автором «Матрёнина двора» в тюрьме (1945 или 1946): *Солженицын Александр.* Из «Литературной коллекции». Николай Лесков // Солженицынские тетради. <Вып.> 1. С. 17; ср. также: *Мелентьева И. Е.* Солженицын читает Лескова // Там же. С. 118—134. Своей приязнью к повести Лескова Солженицын наделил Веру Воротынцеву, для которой «живыми спутниками» остаются «пронзительно обречённые Варвара и Настя из “Жития одной бабы” — “беда у нас смирному да сиротливому”» (XIV, 128; «Март Семнадцатого», гл. 556). Трудно, однако, предположить, что Вера (все же библиограф, а не историк литературы) могла отыскать всеми забытую раннюю повесть Лескова, опубликованную в 1863 году («Библиотека для чтения», № 7) и впервые переизданную Б. М. Эйхенбаумом: *Лесков Н. С.* Избр. соч. М.; Л.: Academia, 1931. Видимо, Солженицын читал в тюрьме этот однотомник, в котором вслед за «Житием одной бабы» помещен столь дорогой героине «Марта...» рассказ Лескова «Тупейный художник».

[58] Эта параллель подробно описана и внятно истолкована Р. Л. Джексоном; см. примеч. 8.

[59] Так метонимически замещаются сказки, которые в поэтическом источнике были превращены в песни.

[60] М. В. Захарова погибла 21 февраля, что отделено от 8 февраля (27 января по старому стилю) тринадцатью днями. Солженицын всегда был склонен примечать символичность дат и их совпадений. Ср. приведенный в «очерках литературной жизни» его разговор с Твардовским 10 февраля 1970 года: «А. Т.! Тут какая-то мистика в датах. Вчера был день моего ареста, даже 25-летие. — (Да покрупней: 9 февраля нового стиля умер Достоевский.) — Сегодня — день смерти Пушкина, и тоже столетие с третью. — (А завтра, 11-го, разорвут Грибоедова.) — И в эти же дни вас («Новый мир». — *А. Н.*) разгромили...» (XXVIII, 276).

[61] Так же двояко (по законам романтической фантастики) мотивировано бегство колченогой кошки.

[62] Ср. сходное состояние в часы, предшествующие рассказу Матрёны о ее прошлом: «Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал её...» (132).

[63] *Пушкин А. С.* Указ. соч. Т. 3. С. 186. Для первого (обобщенного) «мышиного» эпизода, вероятно, значимо и стихотворение единственного относительно дозволенного в сталинскую эпоху русского модерниста: «В нашем доме мыши поселились / И живут, и живут! / К нам привыкли, ходят, расхрабрились, / Видны там и тут. <...> Свалят банку, след оставят в тесте, / Их проказ не счесть... / Но так мило знать, что с нами вместе / Жизнь другая есть» («Мыши»). — *Брюсов Валерий.* Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1961. С. 147, 148. Ср. о шорохе соседей и двойников мышей — тараканов: «...в нём не было ничего злого, в нём не было лжи. Шуршание их — была их жизнь» (121). О знакомстве Солженицына с поэзией Брюсова свидетельствует его вариация «Каменщика» в одноименном лагерном стихотворении (позднее отозвавшаяся в «Одном дне Ивана Денисовича»: «Вот — я каменщик. Как у поэта сложено, / Я из камня дикого кладу тюрьму. / Но вокруг — не город: Зона. Огорожено. / В чистом небе коршун реет настороженно. / Ветер по степи... И нет в степи прохожего, / Чтоб спросить меня: кладу — к о м у?» (XVIII, 229); ср.: «— Каменщик, каменщик в фартуке белом, / Что ты там строишь? кому? / — Эй, не мешай нам, мы заняты делом, / Строим мы, строим тюрьму» (*Брюсов Валерий.* Указ. соч. С. 212).

[64] Это сцепление мотивов характеризует большую традицию «ночной» (надгробной) поэзии, сложно претворенную Пушкиным в «Стихах, сочиненных ночью...». Закономерно, что в описание поминок включена инвертированная цитата из едва ли не самого известного русского стихотворения о неожиданной смерти и общей нашей обреченности: «Столы, составленные в один длинный, захватывали и то место, где утром стоял гроб» (146); ср.: «Где стол был яств, там гроб

стоит». В той же оде «На смерть К. Мещерского» поэт задает отчаянные и безответные вопросы: «Здесь персть твоя, а духа нет. / Где ж он? — Он там; — Где там? — Не знаем. / Мы только плачем и взываем: / О горе нам, рожденным в свет!» О том же (и даже со сходными синтаксическими конструкциями, с той же напряженной антитетичностью) «строго» говорит, унимая «вторую» Матрёну, старуха, «намного старше здесь всех старух и как будто даже Матрёне чужая вовсе»: «— Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру—не знаю» (144). Начинается же ода с того звука, что раздавался в ночи, когда Игнатьич «писал своё»: «Глагол времен! металла звон! / Твой страшный глас меня смущает, / Зовет меня, зовет твой стон, / Зовет, — и к гробу приближает». —*Державин Г. Р.* Соч. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2002. С. 124, 125.

65 Все пушкинские реминисценции прикровенны, фамилия поэта не произносится (ср. называние Тургенева; бросающаяся в глаза «литературная» цитата из Некрасова примыкает к первой картине ночного — поэтического — бытия Игнатьича) — как и имя рассказчика, называемого только по отчеству. Невозможно предположить, чтобы Солженицын не задумывался о том, что он тезка Пушкина.

66 В этой связи перестает казаться случайной реминисценция «...Вновь я посетил...» в раздумьях рассказчика о Высоком Поле (см. примеч. 26). В стихотворении Пушкина речь идет о единстве природного и человеческого миров, о победе над временем (и конечностью человеческого бытия), о глубинной связи памяти и бессмертия. Первым свидетельством об одолении смерти становятся строки об умершей Арине: «Вот опальный домик, / Где жил я с бедной нянею моей. / Уже старушки нет — уж за стеною / Не слышу я шагов ее тяжелых, / Ни кропотливого ее дозора». Пушкинское «не слышу» опровергается следующими далее строками, «весомая» лексика которых заставляет нас ощутить присутствие умершей в длящейся без нее жизни. Выше говорилось, что «трех Матрён» Некрасов поминает вслед за Пушкиным. Стоит добавить, что той же народной прибауткой начинается откровенно игровой (сооруженный в паре

с Вяземским) гостинец старшему другу (всеобщему, а не только адресантов, пестуну, наставнику, учителю), поэту, чьи самые проникновенные строки посвящены светлой силе воспоминания, побеждающего смерть, — Жуковскому. Шуточный характер стихов, где причудливо перемешаны имена разномастных персонажей (живых и ушедших, друзей и недругов, великих мира сего и безвестных) не отменяет его внутреннего серьезного смысла: «Надо помянуть, непременно помянуть надо: / Трех Матрён / Да Луку с Петром; / Помянуть надо и тех, которые, например: / Бывшего поэта Панцербитера, / Нашего прихода честного пресвитера, / Купца Риттера, / Резанова, славного русского кондитера, / Всех православных христиан города Санкт-Питера, / Да покойника Юпитера» (эти строки записаны рукой Вяземского). — *Пушкин А. С.* Указ. соч. Т. 3. С. 313, 366.

67 Широта литературных горизонтов романа «В круге первом» обусловлена, во-первых, его жанровой — металитературной — природой (роман о романе), во-вторых, обилием героев-интеллектуалов, а в-третьих, объемом. Эти особенности романной прозы Солженицыны будут явлены и романной составляющей «Красного Колеса».

68 *Тургенев И. С.* Указ. соч. Т. 3. С. 219.

69 Там же. С. 221—222.

70 Там же. С. 224, 225.

71 «Певцы» — рассказ о русских людях и русских бедах, но строится он с опорой на европейскую традицию. Противопоставляя рядчика и Якова, Тургенев отсылает к не одно десятилетие кипевшему спору об итальянском и немецком вокальном искусстве, шире — об итальянской и немецкой музыке. Первая воспринималась как образец виртуозности и чистой красоты, вторая мыслилась серьезной, духовной, строгой. (Потому «немец пришел бы... в негодование» от пения рядчика.) Разумеется, Тургенев мог набрести на кабацкий турнир во Мценском (или ином) уезде, но и новелла Гофмана «Состязание певцов» (входит в роман «Серапионовы братья») была ему знакома. И конечно писатель понимал, что и средневековая фантастическая история

Гофмана, и общеевропейский спор о немецкой и итальянской музыке хорошо известны большинству его просвещенных современников — потенциальным читателям «Записок охотников».

[72] Добрыня Никитич и Алеша Попович. М.: Наука, 1974. С. 230.

[73] Там же. С. 271.

[74] Его увела из мира живых вторая война с германцами, как когда-то Фаддея — первая. Тогдашняя «временная/мнимая смерть» старшего брата отзывается в рассказе пропажей без вести брата младшего. О сомнительном (погиб или сумел устроиться в чужом — мертвом — мире?) положении младшего брата читатель узнает раньше, чем о том, что прежде та же участь выпала брату старшему.

[75] Там же. С. 230.

[76] *Лесков Н. С.* Полн. собр. соч. <В 36 т>. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902. Т. 3. С. 73—75.

Глава III

РОЖДЕСТВО И ВОСКРЕСЕНИЕ

О романе «В круге первом»

Среди бесчисленных споров, что ведут между собой герои романа «В круге первом», есть один, на первый взгляд не самый впечатляющий и памятный, но, несомненно, весьма важный для внимательного читателя. Сологдин и Нержин толкуют о том, как следует постигать историю, как открыть тайную логику, скрывающуюся в хаосе громоздящихся фактов:

— Будь же достоин своей... исчислительной науки. Примени способ узловых точек. Как исследуется всякое неведомое явление? Как нащупывается всякая неначерченная кривая? Сплошь? Или по особым точкам?

— Уже ясно! — торопил Нержин, он не любил размазываний. — Мы ищем точки разрыва, точки возврата, экстремальные и наконец нолевые. И кривая — вся в наших руках.

(184)

Герои рассуждают о будущей, покуда лишь чаемой, книге Нержина о русской революции — сегодняшний читатель, расслышав явную подсказку в тематике разговора и словах «узловые точки», вспоминает о «Красном Колесе» и его «отмеренных сроках». Читатель прав —

и все же не до конца: «методологический» эпизод нужен Солженицыну не только для того, чтобы еще раз зазвучала в романе автобиографическая нота. Писатель дает нам ключ, без которого трудно войти в его мир, без которого не понять ни одного дня мужика в лагере, ни нескольких недель онкологической палаты, ни трех рождественских суток марфинской шарашки.

В последнем случае дело не только в «отмеренности сроков», не только в том, что Солженицын вослед Достоевскому предельно концентрирует действие, сжимая события, разговоры, нравственные повороты в жесткие хронологические промежутки, делает самое время словно бы перенасыщенным, сверхтяжелым, заставляет нас ощутить весомость и плотность каждого убегающего мгновения. Дело еще и в особой отмеченности тех дней, которым посвящен роман «В круге первом». Да, все заняты привычным: заключенные инженеры продумывают схемы шифратора, эмгебешники бдительно следят за соблюдением «режима», генералы и полковники обманывают министра и строят друг другу козни, жены арестантов вымаливают свидания, а Сталин грезит о мировом господстве. Да, люди остаются людьми с их нравственными муками, нежданными озарениями, порывами и провалами, обретениями и утратами, но все же три дня (с субботнего вечера до середины вторника) маленькой тюрьмы и огромной страны — дни особые, освещенные тайным светом, временами беспокоящим начальство и радующим тех, в ком жива душа, но, по большей части, — скрытым. Светом Рождества.

Слово это возникает на первых же страницах романа как бы походя. Так, заурядное обстоятельство времени, дурацкая помеха, встающая на пути дипломата Иннокентия Володина, решившегося резко поменять не только свою судьбу, но и судьбу человечества. Мы еще не знаем, что задумал совершить этот преуспевающий чиновник, кажущийся «состоятельным молодым бездельником», а уже слышим, как авторский монолог плавно переходит в его раздраженную внутреннюю речь:

И даже сегодня, в канун западного Рождества (все посольства уже два дня как стихли, не звонят), в их министерстве всё равно будет ночное сидение.

А у *тех* пойдут теперь на две недели каникулы. Доверчивые младенцы. Ослы длинноухие!

(14)

Через несколько страниц мы убедимся, что Володин не так уж далек от истины. Его звонок в американское посольство окажется бессмысленным. Предупреждение о том, что советский агент должен на днях получить «важные технологические детали производства атомной бомбы» (17), дойдет до сидящих на прослушивании эмгебешников, обожжет не способных ни во что вмешаться читателей и оставит вполне равнодушным американского атташе, явно празднующего сочельник. Сытость, лень, мягкий диван, сигаретные затяжки, женский смех — вот атмосфера посольства, резко контрастирующая с той, что окружает Володина: телефонная трубка плавится в его руках, а пол будки — горит под ногами, обыденнейшие предметы становятся дьявольскими, привычные метафоры едва ли не материализуются. Володин совершает подвиг — американцы справляют Рождество.

Западное Рождество вспоминает Володин во время своего трагикомического «путешествия в Россию» — поездки со свояченицей Кларой за город: «...всё небо в рекламах, все улицы — в заторе машин, душатся в магазинах, подарки — каждый каждому. И на какой-нибудь захудалой, затёртой витринке — ясли и Иосиф с ослом» (309). Фабульно разговор с Кларой предшествует роковому звонку (более того — во многом мотивирует решение Володина), но открывается он читателю лишь в середине романа, когда уже известно, что звонок в посольство был, что ищейки идут по следу, что техническую задачу отлова Володина суждено выполнять марфинским зэкам... И читатель, уже нагруженный всей этой информацией, просто не может не

соотнести идиллическую картину с завязкой романа. Счастливое западное Рождество оказывается лишь торжеством сытости и самоуспокоенности. Это Рождество без яслей с младенцем и Иосифа с ослом, это Рождество, ставшее *только* празднеством, а не поминовением величайшего события в духовной истории человечества[1].

Бытовая прелесть Рождества конечно же не отрицается Солженицыным: уютно празднуют его немцы на шарашке; борются за елку русские зэки (а один из них, Хоробров, даже требует, чтоб достояла елка непременно до православного Рождества); мучается (разрешать — не разрешать) из-за елки полковник Клементьев; внимательно присматриваются к чужому празднику служители охраны (копится компромат). Радость одних и раздражение других опутывают праздник, который словно бы и не равен себе в вывернутых тюремных условиях, в атеистической стране, где вдруг могут заспорить, «25 декабря какого именно года родился Христос» (399). И кажется, что действительно даже те, кто помнит о Рождестве, словно бы обходятся без Христа. Так, немцы, собравшиеся вокруг сосновой веточки и пригласившие к себе Рубина, не могут забыть, что он «еврей и коммунист» (24), не могут не потолковать о речи Геббельса в рождественский сочельник 44-го года. Бывший эсэсовец Рейнгольд Зиммель по-прежнему ненавидит Рубина, остальные немцы, отдавая должное доброте и душевной расположенности своего гостя, все же не верят его агитационным речам, а сам Рубин прекрасно знает, что обманывает их, ибо «в сложный наш век истина социализма пробивается порою кружным, искажённым путем» (27). Рождественский уют прекрасен, но он не дает людям сил на то, чтобы стать до конца людьми, выйти из привычных ролей, осознать всечеловеческое братство как единственный идеал. Возможен ли этот идеал в сегодняшнем мире — мире, отравленном ядом тоталитаризма, взаимной ненависти и эгоистического самодовольства? Возможно ли Рождество в соседстве

с атомной бомбой? Именно здесь, в этом вопросе скрыт нервный центр романа, и ответ на него дается писателю очень нелегко.

В памятном «загородном» разговоре Володина с Кларой картина западного Рождества была антитезисом. Тезисом было иное Рождество — русская заброшенная деревня, жители которой и не ведают, почему она носит такое имя. Деревня с убогими домами, разрушенной и опоганенной церковью, редкими жителями. Разоренная, обездоленная Россия, которую «представлял» (в качестве дипломата), но «не представлял» Володин, столкнулась с шумным и вроде бы празднующим Рождество Западом. Празднующим, несмотря на то, что нет на земле подлинного мира, что создана уже атомная бомба, сулящая гибель всему живому, не разбирающая своих и чужих.

«Значит, у них там — хорошо? <...> Лучше?» — спрашивает Клара. «Лучше, — кивнул Иннокентий. — Но не хорошо» (300). Это разные вещи. Да и как может быть хорошо, когда где-то все еще плохо? Чужая печаль — не чужая, а чужая беда всегда станет твоей бедой. И вовсе не американцев собирался облагодетельствовать своим звонком Володин («Они дождутся-таки сплошной коллективизации фермеров! Они заслужили...» (606)) — не было бы его отчаянной попытки изменить ход истории без затерянной деревни, которую случайно забыли переименовать.

Ты не дал украсть бомбы Преобразователю Мира, Кузнецу Счастья? — значит, ты не дал её Родине!

А зачем она — Родине? Зачем она — деревне Рождество? Той подслеповатой карлице? той старухе с задушенным цыплёнком? тому залатанному одноногому мужику?

<...>

Им нужны дороги, ткани, доски, стёкла, им верните молоко, хлеб, ещё, может быть, колокольный звон — но зачем им атомная бомба?

(609)

Атомная бомба нужна только Сталину, продумывающему план Третьей мировой. «Начать можно будет, как атомных бомб наделаем и прочистим тыл хорошенько» (160), — размышляет Император Земли, незадолго до этого пообещавший своему верному министру:

Скоро будет много-вам-работы, Абакумов. Будым йищё один раз такое мероприятие проводить, как в тридцать седьмом. Весь мир — против нас. Война давно неизбежна. С сорок четвёртого года неизбежна. А перед ба́ль-шой войной ба́ль-шая нужна и чистка.

<...>

...А во время войны пойдём вперёд — там Йи-вропу начнём сажать!

(148—149)

Ненависть к миру, мечта о бомбе, о безоглядном сокрушении «чужого» неотрывна у Сталина от ненависти к России, уже им уничтоженной. Сталин убежден, «что вся Россия — придумана (удивительно, что иностранцы верят в её существование)» (158).

Солженицынский Сталин мечтает о полной унификации пространства (пока еще его страшащего) и отмене времени. Старческий ужас небытия превращается в страсть к тотальному небытию, к упразднению любого движения, любого разнообразия, любой жизни. Потому и тянутся жадные руки диктатора к сгустку смерти — атомной бомбе.

И не за американцев пугается дядюшка Володина, застрявший в Твери чудак Авенир, услышав от племянника, что бомба у Сталина может появиться, — за себя: «Но если сделают — пропали мы, Инок. Никогда нам свободы не видать» (444)[2].

Ровесник Сталина, надеющийся пропустить Самого на тот свет первым, тверской дядюшка Авенир самим скромным существованием своим—житьем по совести, крепкой памятливостью, удивительной способностью трезво и просто глядеть на мир — опровергает мрачную

утопию «кремлевского затворника». Россия не выдумана, она не пустое пространство, поставляющее плановую продукцию и полки́ для мировой бойни; Россия существует, хочет свободы, помнит свою историю. Как бы ни крушили церкви, как бы ни ломали алтари, как бы ни унижали человека голодом, репрессиями, страхом, одуряющим («от гимна до гимна») радио — люди остаются людьми, Россия — Россией, Рождество — Рождеством.

Дядюшка Авенир не говорит с племянником о Боге. Вряд ли для него даже важно, что разгон Учредительного собрания происходил в святочные дни (хоть и, думается, не случайно автор бегло ввел этот мотив в его речь). Он говорит, о «безбожнике» Герцене и герценовских проклятых вопросах: «*...где границы патриотизма*? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое её правительство? Пособлять ему и дальше губить народ?» (441). Но почему-то вопросы эти становятся ответом на то смятение, которое охватило Иннокентия близ деревни Рождество, когда уязвила его великая боль открывшейся вдруг России. Там Володин недоумевал и мучился, чертя обломанной палочкой: «Вот видишь — круг? Это — отечество. Это первый круг. А вот — второй. — Он захватил шире. — Это — человечество. И кажется, что первый входит во второй? Нич-чего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже — колючая проволока с пулемётами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества — нет. А только отечества, отечества, и разные у всех...» (313).

Ни вопросы Володина, ни вопросы Герцена, прозвучавшие для героя ответами, не означают, однако, превосходства человечества над отечеством. Ибо понятия эти в философско-художественной системе Солженицына отнюдь не противопоставлены. Писатель совершенно закономерно пришел к чеканному тезису «Нобелевской лекции»: «Нации — это богатство человечества, это обобщённые личности его; самая малая из них несёт свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла»[3]. Но ведь именно-то душу России, тайну ее

и уничтожает, по Солженицыну, Сталин. Это ему, Пахану, выгодно отделить успешно уничтожаемое (почти уничтоженное) отечество от человечества, которое в свой черед дождется еще уничтожения. Это ему надобно заменить Рождество Христово собственным днем рождения (за три дня до начала романного действия был отмечен 70-летний юбилей Хозяина, и гротескная тень этого кощунственного празднества несколько раз возникает на солженицынских страницах). Это он, отменивший мир человеческий за ненадобностью, пытается «договориться» с Богом, восстанавливая Церковь.

Сталин может затевать торг с Господом именно потому, что, во-первых, он, подобно бесам, верует, но трепещет (боится наказания), а во-вторых, твердо убежден: остальным людям до Бога никак не досягнуть, их вера уже уничтожена.

Сталин может (к соблазну следующих поколений) восстанавливать формы старой России, играть словами и регалиями, званиями и обычаями именно потому, что видит лишь «форму» этих слов, регалий, обычаев и твердо убежден: никакой России нет и быть не может. А пустоту, заполнившую шестую часть суши, можно обряжать как угодно, ибо ни колокольный звон, ни офицерские погоны, ни раздельное обучение не вернут подлинной веры, чести, культуры. И Сталин до какой-то степени прав: жена подполковника МВД Емина, вальяжная красавица с толстыми белыми косами может ласково пропеть:

— ...Мы и куличи на Пасху пекём,так что такого?
<...>
— Так то муж! А мы с мамой — что? бабы!

(228)

Дальше Солженицын уточнит: «Она <...> была, действительно, похожа на деревенскую бабу, но в исполнении Эммы Цесарской» (228).

Сытому миру ряженых годится атрибутика старой жизни; на истошные крики зэка-коммуниста Рубина

о том, что в СССР нет нового господствующего класса, ответом может служить обрисовка и «кустодиевской» подполковницы, и семейства прокурора Макарыгина, и быта Володина до того, как герой начал задумываться. «Новые господа», у которых, «как во всех благонастроенных домах», хранятся пластинки с записями «речей Отца и Друга», но которые, «как все нормальные люди <...> их никогда не слушали» (464), так же похожи на дореволюционную интеллигенцию, как сталинские отношения с Богом на живую человеческую веру. Маскарад сытых палачей не возвращает, а забивает память о прошлой России, которую хранит странноватый тверской дядюшка, которую хранила в старинных шкатулках его сестра — мать Володина, вдова героя Гражданской войны, удачливо разогнавшего некогда Учредительное собрание.

Эту-то Россию медленно открывает для себя Володин — собственно говоря, вся володинская линия романа есть неспешное обоснование того необратимого и, коли судить рационально, *бесполезного* поступка, который совершает он в первой главе. Обретя отечество, Володин обрел человечество. Первый круг сомкнулся со вторым.

Но в том-то и заключается трагическая ирония солженицынского романа, что обретение истины, обретение собственного лица (во время памятной прогулки Володин становится в глазах Клары похожим на Есенина, то есть на поэта, предельно, до эмблематичности ясно выражающего русский душевный строй) не дает герою счастья. Напротив, низвергает его в бездну. «В круге первом»... — володинские рассуждения об отечестве и человечестве заставляют расслышать в привычном названии романа многоголосую музыку; «в круге первом» — это, вопреки прямому истолкованию (шарашка — аналог лимба, в котором Данте поместил души языческих мудрецов и поэтов), должно означать «в России». Но дантовская символика вовсе не исчезает, круговая структура ада, обрисованная великим флорентий-

цем, накладывается на пространство романа. И первый круг оказывается не только лимбом шарашки, не только Россией, не постигнув которой, не обретешь и человечества, своей христианской сути, но и *первым* по времени кругом гулаговского ада, в который шагнул Володин.

«Повинуясь правилам уличного движения (словно бы случайно, но тут-то и действует дьявольская ирония реальности. — *А. Н.*), автомобиль обогнул всю сверкающую Лубянскую площадь, *словно делая прощальный круг* (курсив мой. — *А. Н.*) и давая Иннокентию возможность увидеть в последний раз этот мир и неумолимую высоту слившихся зданий Старой и Новой Лубянок, где предстояло ему окончить жизнь» (657). Прощальный круг бытия — первый круг небытия, окончательность которого дважды зафиксирована писателем. Дело даже не в том, что преступление Иннокентия обрекает его на небытие (формально Сталин не вернул еще смертной казни), — дело в том, что, как названа одна из глав романа, «бездна зовёт назад», и судьбы всех уже хорошо знакомых читателю обитателей марфинской шарашки, не совершавших поступков, мало-мальски схожих с володинским, суть судьбы навечно обреченных. И глава об аресте Володина не случайно названа самой известной строкой из «Божественной комедии» — «Да оставит надежду входящий». И совершенно не случайно акцентируется наше внимание на архитектурных громадах Лубянки — ведь уже в третьей главе, где речь идет о прибытии новичков на шарашку, Рубин цитирует Данте, перемежая его строки шутливым комментарием:

Высокий замок предо мной возник...

...посмотрите, какие здесь старинные своды!

(23)

Темница — замок — ад — это достаточно устойчивая аналогия (в романе возникают отсылки не только к Данте, но и к заведомо несерьезному сочинению об

«игрушечной тюрьме» — «Графу Монте-Кристо»[4]), но Солженицыну важно актуализировать давний образ, прочертить символическую (строящуюся на цитатах из Данте) линию от обитателей шарашки к Володину. Заключенный Рубин помог ввергнуть в ад еще недавно свободного Володина.

Прибывающим на шарашку из лагеря, тем, кто прошел и *первый круг* ареста, и все прочие круги гулаговской преисподней, она может показаться раем. Но шарашка не рай, а лишь первый (в другом смысле) круг ада, откуда дорога, как правило, ведет обратно, в бездну.

То, что марфинская шарашка (главная сценическая площадка романа) расположена в бывшей семинарии (по некоторым рассыпанным в тексте намекам и неосведомленный читатель может заметить соотнесенность тюрьмы с храмом), заставляет нас еще раз вспомнить о разрушенной церкви в Рождестве, о разрушаемом бомбой тоталитаризма Рождестве. Храм надобно не только разрушить — сделать тюрьмой; Россию надобно не только уничтожить — превратить в тюрьму, навязать ненависть к ней каждому, кто ненавидит тюрьму, кто жаждет свободы для человечества или хотя бы для себя[5].

Путь Володина к России (а значит, к поступку, а значит, к катастрофе) — путь одинокого. Случайные озарения (материнский архив, выезд на простор, беседа с тверским дядюшкой) меняют чиновного гедониста, — возмездие за грехи отцов обрушивается на Иннокентия, словно бы и не по своей воле пошедшего на битву с чудовищем.

Совершенно иной путь дан другому — главному — герою романа, Глебу Нержину. Всерьез задумавшийся о судьбе отечества еще до тюрьмы, Нержин в Марфине попадает в кипение философских споров и, двигаясь от одного интеллектуального искушения к другому, преодолевая один соблазн (материальный, духовный ли) за другим, медленно выковывает свою душу — душу русского писателя. Становление Нержина немыслимо вне тех диалогов о России и человечестве, что велись во вре-

мя его марфинского заключения и сконцентрировались вновь в рождественские дни 1949 года, дни, следующие за юбилеем Сталина, дни, в один из которых родился и сам Нержин.

То, что Нержин родился именно 25 декабря, специально не педалируется, но в математически стройном романе, где едва ли не каждая деталь играет символическими бликами, это, разумеется, не случайность. Нержин не отождествляется с Христом, но, видимо, в большей степени, чем другие персонажи, близок к обретению сути человеческой (по Солженицыну, это значит — христианской).

Воспитание Нержина связано прежде всего с двумя его ближайшими друзьями — Рубиным и Сологдиным. В этих героях читатель поначалу видит воплощение двух извечных для российской интеллигенции начал — западнического и почвенного. Рубин — еврей, Сологдин — российский дворянин; Рубин радостно переходит с языка на язык, Сологдин страстно до комизма борется с «птичьим языком» (использованием любых иноязычных по происхождению слов, якобы всегда «непонятных» и «избыточных») во имя Языка Предельной Ясности; Рубин — убежденный марксист; Сологдин — последовательный противник социалистических идей в любом из их обличий; Рубин — демократ, Сологдин — аристократ не токмо по происхождению, но и по убеждению... Антитезы эти можно длить долго, то воспаряя в сферу идей, то сосредоточиваясь на внешних различиях (библейский брюнет Рубин и схожий с Александром Невским белокурый Сологдин), но, нагнетая и нагнетая их, заставляя друзей в конце концов перед отбытием Нержина на этап окончательно рассориться, писатель пускает читателя по ложному следу. В финале романа Рубин и Сологдин оказываются в схожих позициях: оба остаются на шарашке, оба выполняют сверхважное задание (Рубин «ловит» Володина с перспективой дальнейшего развития науки «фоноскопии», которую гебешные мордовороты быстро приспособят к делу[6], Сологдин

конструирует идеальный шифратор, который так нужен Сталину и Абакумову), оба пытаются спасти Нержина от этапа и получают отказ. Это уравнивание полярных героев вовсе не авторская прихоть. Оно готовилось исподволь. Достаточно напомнить хотя бы об одинаково ироничном отношении Сологдина и Рубина к дружбе Нержина с дворником Спиридоном, которую они «благодушно называли “хождением в народ” и поисками той самой великой сермяжной правды, которую еще до Нержина тщетно искали Гоголь, Некрасов, Герцен, славянофилы, народники, Достоевский, Лев Толстой и, наконец, оболганный Васисуалий Лоханкин.

Сами же Рубин и Сологдин не искали этой сермяжной правды, ибо обладали Абсолютной прозрачной истиной» (482).

Абсолютной и прозрачной бывает только идеология, игнорирующая реальность, плоть бытия, кипение жизни, которая всегда причудливее и мощнее, страшнее и краше любой наперед заданной схемы. Мысль Солженицына антиидеологична, об этом стоит помнить, не только когда он изображает безграмотного лектора, шаманствующего над четвертой главой Краткого курса и в конце концов нежданно-негаданно произносящего верное слово о себе и своей деятельности. На вопрос девушки из четвертого ряда, почему все прекрасно понимающие буржуазные социологи «пишут в своих книгах наоборот», — лектор отвечает: «Потому что им невыгодно говорить иначе! Им за это платят ба́ль-шие деньги!» (636). С лектором все было бы понятно и без специального издевательского разъяснения. Но и лектор, и его вывернутое признание нужны Солженицыну как раз для того, чтобы подчеркнуть: всякая Абсолютная прозрачная истина, монополия на которую узурпирована идеологом, куда более серьезным, чем дурак лектор, это своего рода забрало, за которым скрывается человек, быть может и не верящий в свой Абсолют, либо находящийся с ним в конфликте.

Именно здесь и проходит черта, разделяющая Рубина и Сологдина: Солженицын не только уподобил, прирав-

нял друг другу героев-идеологов, но и вновь развел их, ибо кроме «двух истребительных разноименных потенциалов» (508) есть у героев характеры, судьбы, души.

Дискредитация Рубина внятна читателю уже с первых глав: симпатичный, добрый, остроумный человек подчинен дурной идеологической абстракции, которая рано или поздно его обязательно сожрет. Азарт комсомольской юности, поэзия слов «надо» и «срочно», мифологизированное представление о социализме застят герою свет божий: все, что не укладывается в «предвечные» схемы, заданные Марксом и Лениным, почитается как бы несуществующим, в крайнем случае — досадной оплошностью истории. Абстракция — идеал Рубина, кристаллическая структура понятнее и дороже ему неоднородной, аморфной истории бытия. Поэтому надобна ему универсальная языковая закономерность (в духе Марра), поэтому колдует он над проектом Гражданских храмов (дистиллированной религии коллективизма, религии, в которой нет места *личности*), поэтому так азартен он в фоноскопических изысканиях (найти однозначное соответствие между голосом и человеком, закодировать некодируемое), поэтому схема общественного развития для него важнее любых фактов. Рубин вовсе не любит Сталина с Абакумовым, но готов отрешиться от их реального бытия и прозреть сквозь «мерзкую плоть» идеалы своей молодости. Идеологическая слепота героя подтверждается в романе неоднократно; если Рубин все еще полагает, что он оказался в тюрьме в силу случайных затемнений хода истории, то тюремщики его вполне обоснованно видят в бородатом германисте врага. Языковые универсалии и Гражданские храмы действительно враждебны тому новому идеологическому укладу, что созидается Сталиным. Восстановление «приручeнной» церкви, борьба с космополитизмом и удар по марризму в языкознании, то есть создание химерных форм, как уже писалось, глубоко враждебных былой реальности русской церкви, культуры и языка, не просто не совпадают с идеалами Рубина, но должны его — ев-

рея, полиглота (то есть космополита), убежденного атеиста — уничтожить.

«Прекрасное гордое слово (космополит. — *А. Н.*), объединявшее мир, слово, которым венчали гениев самой широкой души — Данте, Гёте, Байрона, — это слово в газетёнке слиняло, сморщилось, зашипело и стало значить — *жид*» (524—525). Это не Рубин думает, а майор Ройтман, и стоит ли нам доверять этому лицемерному приспособленцу? Просто припекло мерзавца — вот и цепляется за высокие слова. (Много ли думал майор до злосчастной кампании о Гёте и Байроне?) А то, что муки Ройтмана разворачиваются в ту же ночь с воскресенья на понедельник, что и страдания Рубина, истомленного болью в сердце, воспоминаниями и ссорой с Соломиным, казалось бы, жестко свидетельствует: начальник и зэк друг друга стоят. Недаром они вместе ловят Володина. Недаром оба евреи. Недаром оба мучаются оттого, что система их — верных служителей — отвергает. Двойники.

Но как полярность, а затем и двойничество Соломина — Рубина выдерживали прочность до времени, так до времени держится и двойничество бывшего и нынешнего майоров (одно и то же звание — характерная деталь). Все совпадает — и все не так. Потому что даже герой-идеолог не меряется только идеологией. У него есть еще душа, которую «выковывает себе каждый сам, год от году» (485).

Душа Рубина грешная, но живая. И сколько бы ни мечтал он об языковых универсалиях, а любит-то конкретные языки. И сколько бы ни верил он в «объективную» справедливость процесса, но и на миг не может увидеть в Шишкине-Мышкине союзника и стать стукачом. Рубин не умеет связать воедино свое раскаяние (воспоминания о почти невольном предательстве, первой слабости перед «органами» и еще более страшные — о коллективизации, уничтожении людей) и день сегодняшний, но в муках его живет не только оставленность (и уж ни в коей мере не «отставленность» —

бескорыстие героя подчеркивается неоднократно), но и подлинное прозрение. Рубин — грешник, но тьма не поглотила души его до конца. Человеческое обаяние не индульгенция, но свидетельство тех борений, которые постоянно переживает мечущийся между абстракциями и реальностью, между злом и добром нескладный трагикомический герой. Потому и сходство его с Ройтманом — приблизительное, бликующее, ненавязчивое...

Чёрт приходил к Ивану Федоровичу Карамазову. Смердяков не нанес бы своего удара без умных речей Ивана. Большинство читателей уверено, что именно на Иване лежит тяжелейший карамазовский грех. Непонятно только, почему Алеша трижды говорит Ивану: «Убил отца не ты». Нет, Иван Федорович не чёрт и не Смердяков. И Рубин — не Ройтман. (Кстати, тоже не представленный закоренелым злодеем.)

Как и Сологдин не Яконов.

Между тем эта параллель лишь кажется неожиданной. Солженицын же проводит ее гораздо жестче и последовательней, чем предыдущую. Уже первое появление Сологдина на страницах романа смонтировано (почти кинематографически) с фигурой осанистого полковника. 25-я глава повествует о том, как Яконов после разноса у Абакумова провел ночь на мертвых камнях разрушенной церкви Никиты Мученика. Глава кончается синтаксически выразительной конструкцией: за сверхкоротким абзацем, состоящим из одного слова — «Светало», — следует изумительная картина зимнего утра: «Торжественная очищенность была в приморо женном воздухе...» (174). Следующая глава начинается сходно:

> Светало.
> Шедрый царственный иней опушил столбы зоны...
>
> (175)

Сологдин и Яконов — потомки «игрою счастия обиженных родов» — встречают один и тот же торжествен-

ный, царственный, опушенный инеем рассвет; один — на месте храма, превращенного в тюрьму, другой — на месте храма, обращенного в строительную площадку для возведения архитектурного монстра серого цвета, должного увековечить кошмар сталинского мрака. Оба героя изначально глубоко враждебны новой власти и лишь готовы приспособиться к ней, продать свой дар математика за сходную цену. Оба героя сложным образом связаны со стихией Древней Руси. Сологдин до 69-й главы («Под закрытым забралом») выступает в обличье Александра Невского, с тем чтобы вдруг обрушиться и на святого благоверного князя, и на православие: «... все народы, имевшие несчастье быть православными, поплатились несколькими веками рабства! <...> православная церковь не могла противостоять государству! Безбожный народ был беззащитен! И получилась косопузая страна. Страна рабов!» (506). Яконов вроде не испытывает симпатий к католицизму, напротив, он хвалит древнюю православную церковь и митрополита Кирилла за откровенный сервилизм, поход на поклон к татарскому хану за охранной грамотой для духовенства, то есть как раз за то, что ставит в вину союзнику Батыя и противнику Запада Александру Невскому Сологдин. Однако зацикленность героев на ситуации компромисса и желание обосновать ее исторически здесь важнее оттенков: в конечном счете не только Яконов, по слову его былой возлюбленной Агнии, оказался «митрополитом Кириллом», но и Сологдин отдал ненавистным хозяевам проект шифратора.

«Зачем тебе погибать? Для кого? Для безбожного, потерянного, развращённого народа?» (570) — это не только внутренняя речь Сологдина, но и потенциальная внутренняя речь Яконова. Герои начали свой диалог не столько словами, сколько взглядами, меж которых «металась разряды безумной частоты» (569). Яконов и Сологдин поняли друг друга и сошлись в одиночестве цинизма.

Сологдин предает ведь не только «косопузую страну» (506), но и Запад, которому, впрочем, уже тоже произнес

приговор: «И никогда уже Франция не поднимется! Разве только с помощью Римской церкви!» (477). И вновь совпадение с Яконовым, который, наблюдая «из качалки» за шахматной партией Восток — Запад, был душою за Запад, но твердо знал, что победит Советский Союз.

«Здесь был общий мировой закон: побеждает тот, кто жесточе. В этом, к сожалению, вся история и все пророки» (566). Этот «мировой закон» в сознании Яконова легко ассоциируется с «ходячей фразой» — «все люди — сволочи». Дьявольская ирония соединяет образы полковника и арестанта, и уже не различишь, где тут искушение Великого инквизитора (мечта о силе, отождествляемой с католицизмом — «чудо, тайна, авторитет»), где демоническая греза о миллионе, которую Сологдин позаимствовал у «подростка», а тот у Ротшильда и Скупого рыцаря (вновь рыцарь!), а где бытовой «западный цинизм» («Дом мой! Мой дом — моя крепость! Как мудры англичане, первые понявшие эту истину» (564), — думает Яконов в той же главе). Чудовищная амальгама играет бесконечными оттенками, и бездна — уже не ГУЛАГа, но нравственного падения — зовет назад.

И все же: Сологдин — не Яконов. Хотя бы потому, что не ему доверены наиболее циничные аргументы; хотя бы потому, что он зэк сегодняшний, а не зэк бывший и будущий; хотя бы потому, что и вправду страшен, черен, безжалостен третий грядущий срок; хотя бы потому, что есть у Сологдина дар, есть азарт исследователя, есть сердечное чувство к жене (не к сытому дому, не к благолепному уюту!), пусть и отяжеленное изменой; есть дружба с Нержиным.

И нет никакой уверенности в том, что русскость Сологдина только маскировка, только игра, — слишком истово следовал он Языку Предельной Ясности, слишком рьяно спорил с Рубиным. Как ни сгущаются темные краски (деяние опровергает помыслы) вокруг Сологдина, читатель не может забыть его изначальной светоносности[7]. И очень мощным аргументом в защиту героя пред-

ставляется его фамилия, в которой отчетливо слышится отголосок фамилии автора. Более того, назвав автобиографического героя нейтрально — Нержин, Солженицын как бы разделил звуковое обличье своей фамилии: Солженицын = Сологдин + Нержин[8], тем самым бросив автобиографический блик и на дискредитированного персонажа.

Вглядываясь в фигуры Рубина и Сологдина, читатель осознает всю губительную мощь идеологизированного тоталитарного государства, которое может либо растворить в себе человека (случай Рубина), либо вытолкнуть его в одиночество цинизма, прикрытого другой выдуманной идеологией (случай Сологдина). Трагедия (как довольно часто бывает у Солженицына, инкрустированная комическими мотивами) этих персонажей в их напряженной активности, в их внутренней приверженности к идеологической четкости, в их гипертрофированном интеллектуализме, неразрывно связанном с инстинктом самосохранения. И Сологдин, и Рубин не в состоянии сделать шаг из своей сферы (или, на Языке Предельной Ясности, — «ошария»); для того и другого дворник Спиридон — лишь немой объект, а не совопросник, для того и другого Россия — абстракция, что не исключает ни проклятий Сологдина, ни патриотизма Рубина.

Между тем и Россия, и дворник Спиридон существуют, и Нержин обращается к ним не ради поиска «сермяжной правды», но ради самого общения. Его влечет живой человек с непривычным взглядом на реальность, с особенной и неповторимой судьбой, каждый поворот которой оказывается для Нержина неожиданностью. Нержинское «хождение в народ» началось до общения со Спиридоном — была война, был лагерь, были человеческие судьбы и была естественность схождения с мужиками, недоступная барам прошлого века. Не только умственный поиск, но и прежде всего обыденность поколебали прежнюю, довоенную очевидность («Не было и никакой Руси, а — Советский Союз...» (483)). Народ

сохранил свою особенность, но утратил «кондовое сермяжное преимущество». Общаясь с солдатами и зэками, разговаривая со Спиридоном, Нержин все больше понимает, что «оставалось — быть самим собой» (485), что «надо стараться закалить, отгранить себе такую душу, чтобы стать *человеком*. И через то — крупицей своего народа»[9] (485).

Старая традиционная вера в народ и сохраняется, и меняется, рядом с восхищением мерцает ирония, словно бы делает автор себе и любимому герою скидку на обстоятельства места и времени. «С такою душой человек обычно не преуспевает в жизни, в должностях, в богатстве (мир маскарадных «мертвых душ» мы наблюдали в романе достаточно, его не заметить способен только Рубин. — *А. Н.)*. И вот почему *народ* преимущественно располагается не на верхах общества» (485).

Спиридон, несомненно, сумел сохранить душу в своих бесконечных злоключениях. Его сказочная по форме история жизни, а заодно и России, куда достовернее, чем суконным языком квазинауки писанная другая история человека и страны — биография Сталина. Полярность этих автобиографий (Солженицын настойчиво подчеркивает сталинское авторство известной всей стране коричневой книжицы, следуя, впрочем, за логикой титульного ее листа) лучше многого объясняет, кому принадлежит власть в стране рабочих и крестьян. И у Спиридона то неволей, а то и в охотку укреплявшего эту власть (а мог бы укреплять и другую), есть все основания в сердцах послать на три веселых буквы «всех сеятелей разумного-доброго-вечного» (494), не разбираясь особо в идеологических тонкостях.

Этот природный скептицизм крестьянина, осознавшего, что сеяли рожь, а выросла лебеда, казалось бы, ведет к абсолютному фатализму, к растворению в не только непознаваемом, но и бессмысленном потоке, где все одно и все всего стоит, где нет ни добра, ни зла, а только течение. И мы готовы уже (разумеется, с должными поправками) вспомнить о Платоне Каратаеве и подивить-

ся, как это Солженицын пошел на такой явный повтор классического сюжета о барине и мужике (ведь уговорил же он нас, что Нержин не барин). Тем паче что эпизод с немецким фатером, сумевшим понять через свою беду горесть Спиридона, вроде бы уверил нас в каратаевской незлобивости окончательно (толстовские мотивы здесь действительно отчетливы). И вроде бы отгорожен Спиридон от политики и идеологии и не думает о них:

> Его родиной была — семья.
> Его религией была — семья.
> И социализмом тоже была семья.
>
> (493)

И вроде бы можно убаюкаться этими ритмичными строками (а там желающий скажет: вот и Яконов ведь борется за свой дом), как вдруг складывающаяся на протяжении трех глав картина рушится. И на вопрос скептика Нержина «Это мыслимо разве — человеку на земле разобраться: кто прав? кто виноват?» (499) (вновь и вновь возникает — теперь в словах героя — толстовская мысль, толстовский взгляд на мир) скептик Спиридон отвечает «с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. — *Я* тебе скажу: волкодав — прав, а людоед — нет!» (499). И никакого скептицизма не остается в помине, и никакой «органичной жизни», и никакого Платона Каратаева.

Строго говоря, не остается вовсе ничего. Потому что, повторив поразившую Нержина пословицу (а разве могли бы мы жить без нее, без разящей ясности, которая сильнее и глубже любых честных и продуманных построений!), Спиридон дальше развивает апокалипсический сюжет: кличет на семью свою и «еще мильён людей», но — с «Отцом Усатым и всем заведением их» (499) самолет с хорошо знакомой читателям романа атомной бомбой. Что делать Нержину с измученным мужиком и его отчаянным «А ну! ну! кидай! рушь!!» (499)?

Втолковывать ему, что после бомбы не будет и страдающего «по лагерях, по колхозах, по лесхозах» (499) народу? Или, поверив пословице, принять за ней и атомное проклятье?

Пушкинский мужик Архип в «Дубровском» пожалел кошку, но весело глядел на горящих в доме чиновников. Про русский бунт за последние два века говорено-переговорено. А ведь истовый крик Спиридона — тот самый бунт, а что оружием становится не дреколье, а чужая бомба, так, во-первых, пойди-ка с рогатиной на сталинскую махину, а во-вторых, бунтует-то Спиридон теоретически. Но оттого, что бунт вершится на словах, не менее страшно. До какого же отчаянья нужно довести ко всему пригодного, мастеровитого, душевно крепкого человека, если ему не жаль уже ни себя, ни близких, ни земли. Или вправду нет никакой России, а только сплошные лагеря, колхозы, лесхозы — тюрьма, гибель которой спасет человечество?

Разговор со Спиридоном — это не откровение, а еще одно искушение на пути Нержина. Искушение не исчезает оттого, что в роли искушающего, отчаявшегося (вспомним, что крайняя степень отчаяния — самоубийство — есть тягчайший грех) выступает один из самых дорогих автору героев. Спиридон не судится тем судом, что Рубин и Сологдин, но от этого отчаянье его не становится истиной и не может быть до конца разделено ни Нержиным, ни автором.

Антитезой страшному бунту Спиридона предстает в романе замысел Герасимовича, идея заговора «техно-элиты», своего рода потенциальных декабристов[10]. Герасимович, в отличие от Рубина и Сологдина, не играет в игры с враждебной системой и мало озабочен собственным «я». Он подчинен другой, внезапно озарившей его идее: «техно-элита» — единственный наследник ушедшей Руси (мысль эта пронзает героя после рассказа о легендарной картине Корина «Русь уходящая»), и, следовательно, ей принадлежит будущее. Надежда на военный переворот (и снова звучит мотив атомной бомбы)

оказывается будущий писатель. Нержинская поглощенность писательским делом (а для Солженицына, как некогда для Гоголя, труд историка неотделим от труда писателя) скрыто мотивирует все его поведение. Он уходит с шарашки не потому, что вообще стыдно на шарашке оставаться (остается же такой обаятельный и дорогой автору персонаж, как Потапов); не потому, что работа «на Пахана» противоречит его убеждениям (это прожект Сологдина и решение Герасимовича); не потому, что его тяготит элитарность и оторванность от народа (мы знаем, что Нержин отнюдь не мифологизирует народ, а к друзьям по шарашке относится с истинной душевной приязнью, достаточно вспомнить его «лицейский» тост «за дружбу, расцветающую в тюремных склепах» (404)[11]. Нержин уходит в лагерь потому, что убежден: там ему легче будет продолжать свое катакомбное писательство. То писательство, ради которого он живет, может быть до конца и не отдавая себе в этом отчета.

Писательство, дело художника — не страсть, не досужее занятие, не следствие выбора, это — поручение. Дар можно промотать, фальсифицировать, как поступает популярный беллетрист Галахов (его книги есть в шарашечной библиотеке; его читает соседка жены Нержина по общежитию, аспирантка из Венгрии, наконец, мы видим его на макарыгинской вечеринке[12]). Дар можно противопоставить реальности — это судьба художника Кондрашёва-Иванова, идущего в своих талантливых картинах мимо обыденности — к рыцарскому идеалу (несомненно, линия Кондрашёва-Иванова связана и с линией Сологдина: рыцарство, католицизм, неведомая, «не-левитановская» Россия, замок святого Грааля, и с линией Герасимовича: художник — потомок декабриста; в свою очередь, через фигуру живописца прорисовывается странное родство Сологдина и Герасимовича). Если Галахов однозначно высмеян (хотя упоминание о его растраченном таланте отнюдь не этикетно), то к Кондрашёву-Иванову автор относится сложнее. Конечно, картины его — подлинное искусство, а шутка

о сходстве его метода с социалистическим реализмом остается шуткой. Но все же разрыв идеала и действительности, на котором настаивает художник, не может удовлетворить Солженицына.

Авторское заверение: «...и сама “шарашка Марфино” и почти все обитатели её списаны с натуры», — не скромная констатация, но credo писателя. Только полная реальность мировидения делает зримым идеал, никогда не уходящий из мира. Поэтому тяга к натуре (а в исторических сочинениях — к документу) — характернейшая черта прозы Солженицына. Поэтому писателем может стать лишь напряженный свидетель, каким и предстает в романе Нержин.

Портретность, натурность солженицынской прозы не уплощает ее, но углубляет. Полнота знания о человеке дает возможность увидеть его *тайну*, оторвать от той идеологической маски, которыми столь щедро одаривает своих сынов XX век. Постоянные противоречия «натуры» и идеологической роли раздирают героев Солженицына; и, хотя ансамбль философских споров писатель выстраивает с железной логикой математика, обретаемая симметрия постоянно рушится то под ударами неистребимой стихии комического, то благодаря нисхождению автора в глубь души того или иного героя. Архитектоника постоянно поверяется психологическим анализом. Ни одно высказывание любого из героев не может быть воспринято как афоризм, сентенция в чистом виде — всегда действуют авторские оговорки, либо выраженные прямо, либо заложенные в целостной обрисовке характера. Солженицын щедро дарит героям свои мысли (аналогий с публицистикой можно найти множество, причем в речах самых разных, в том числе и малоприятных персонажей), прекрасно понимая и не забывая дать понять читателю, что мысль меняется в зависимости от контекста, характера говорящего, его состояния и т. п.

Текучесть внутреннего мира персонажей странным образом соотносится с катастрофически стремитель-

ным развитием сюжета, спрессованностью времени, головокружительными перипетиями. Пластичность, наглядность мира вещного готова перейти грань реальности и заблистать символами. Ориентация на внекнижную действительность не противоречит наплыву литературных и историко-культурных ассоциаций (цитатный план в романе не только количественно широк, но и всегда семантически нагружен). Солженицын ощущает себя законным наследником русской классической традиции и потому словно бы стремится совместить в едином свободном дыхании — Толстого и Гоголя, Достоевского и Замятина, Пушкина и Есенина. Его книги должны доказать, что Россия не погибла, что, пережив сталинский ад, страна наша осталась живой, а душа ее, словесность ее — свободной.

Ради этого живет Нержин. Ради этого спускается он снова в бездну. И когда горят его рукописи, мы не можем забыть о том, что хоть и читаем книгу человека, прошедшего ад, многих и многих книг прочесть нам не дано. Они сгорели. Погибли. Не были написаны. За них — погибших, неведомых миру — писателей должен писать главный герой романа, за них пишет сам Солженицын.

В булгаковском романе слова «рукописи не горят» произносит дьявол — Солженицын не верит в Воландов спецхран. Он знал и знает — горят (поэтому и сравнение в авторской преамбуле с «Мастером и Маргаритой» не лишено полемичности)[13]. Нетленными они могут стать, лишь если Бог сохранит писателя, полностью подчинившего себя тому Слову, что властно звучит в его душе и вмещает весь мир. Писательство становится вновь — как для Гоголя — делом спасения отечества. Спасение же отечества, первым вошедшего в адские крути, есть и спасение человечества.

Почти в строгом центре романа, финале 52-й главы (в двухтомных изданиях главой этой закрывается первая книга), жена Нержина, уже решившаяся от него отречься, готова изменить герою. Неожиданно она сообщает своему поклоннику Щагову, что муж ее жив и си-

дит в тюрьме. После прерывистой беседы, внезапного исчезновения Щагова и его стремительного возвращения звучат выделенные разрядкой слова: «Выпьем — з а в о с к р е с е н и е м ё р т в ы х!» (373). Так в роман, действие которого разыгрывается в западное Рождество, входит тема Пасхи, праздника Воскресения.

Воскресение Нержина — и воскресение Слова, воскресение Культуры, воскресение России... Капитан Щагов не думал о том, что таится за его скромным тостом. Писатель, прошедший путем своего любимого героя, — думал. Он знал, что душа человека, России, человечества, одаренного почти две тысячи лет назад Благодатью, не может пребывать в смерти. Как знал Гоголь, завершивший первый том «Мертвых душ» словами надежды и восторга. Как знал Достоевский, завершивший «Братьев Карамазовых» клятвой мальчиков над могилой Илюшечки. Как знал Пастернак, завершивший «Доктора Живаго» стихами о близящемся Вокресении Христовом.

Примечания

1 Легко протянуть от этого эпизода смысловые нити к солженицынской публицистике, особенно послероссийской, к его настойчивым упрекам Западу — упрекам в бездуховности, внутренней расслабленности, все той же сытости.

2 Здесь не место переходить в область конкретной политики и ловить писателя на фактах (дескать, Сталин все-таки Третьей мировой не начал). Заметим, однако, что Солженицын описывает сознание героев конца 40-х годов, у которых ни надежд наших, ни нашего исторического опыта не было, бояться же Сталина с бомбой они имели все основания.

3 *Солженицын Александр.* Публицистика. Т. 1. С. 16. В «Нобелевской лекции» рассуждение о нациях возникает в контексте раздумий писателя о языке и литературе, сберегающих национальную душу. В этой связи нельзя не на-

помнить о вполне вероятном источнике Солженицына — гоголевском рассуждении о русском слове в конце главы V «Мертвых душ»; ср. в особенности: «И всякой народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров Бога, своеобразно отличается каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженьи его часть собственного своего характера». — *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 23 т. М.: Наука, 2012. Т. 7. Кн. 1. С. 103.

4 Другая ироническая отсылка к Дюма — прозвище бывшего чекиста Мамурина — Железная маска. Романтические ужасы могут вызывать лишь смех у обитателей гулаговского лимба.

5 Долгие годы спустя, в совсем иной социально-политической ситуации середины 90-х, Солженицын будет столь же остро переживать это состояние. О том его крохотка «Позор»:

«Какое это мучительное чувство: испытывать позор за свою Родину.

В чьих Она равнодушных или скользких руках, безмысло или корыстно правящих Её жизнь. В каких заносчивых, или коварных, или стёртых лицах видится Она миру. Какое тленное пойло вливают Ей вместо здравой духовной пищи. До какого разора и нищеты доведена народная жизнь, не в силах взняться.

Унизительное чувство, неотстанное. И — не беглое, оно не переменяется легко, как чувства личные, повседневные, от мелькучих обстоятельств. Нет, это — постоянный, неотступный гнёт, с ним просыпаешься, с ним проволакиваешь каждый час дня, с ним роняешься в ночь. И даже через смерть, освобождающую нас от огорчений личных, — от этого Позора не уйти: он так и останется висеть над головами живых, а ты же — их частиц» (I, 563).

6 Дабы не было и малейших сомнений, Солженицын вводит эпизод с Герасимовичем, которому генерал-майор Осколупов предлагает заняться сходной работенкой, только «не по уху, а по глазу». Именно здесь (в отказе Герасимовича) прозвучит словосочетание «ловец человеков».

[7] Здесь легко оспорить: светоносным даже по имени был и Князь Тьмы (Люцифер). Аналогия не то чтобы произвольна; важен аристократизм героя, слитый с самолюбованием («Вот идет граф Сологдин»), а равно его сознательная, с первого появления очевидная тяга к «амбивалентности» и внутренней закрытости. Сам Сологдин в этой связи поминает героев Достоевского, первым из них — Ставрогина. Сопоставление этих героев тоже может дать яркие результаты.

[8] Подобного рода игра с фамилиями в романе не единична, кроме наглядного примера с майорами Шикиным и Мышиным (Шишкин-Мышкин), отметим почти точное анаграммирование фамилии Наделашин в прозвище персонажа — младшина.

[9] И снова нельзя не вспомнить володинские круги: как к человечеству не придешь мимо отечества, так и к отечеству не придешь, забывши о человечестве.

[10] «Декабристская» линия в романе — реликт ранее написанной пьесы «Пленники» (первоначально: «Декабристы без декабря»); см.: *Нива Жорж.* Солженицын. М.: Художественная литература, 1991. С. 55—56.

[11] Как шарашка — «круг первый» — есть соцветие свободных и ищущих умов (хотя Нержин знает недостатки и грехи своих соузников), так и Россия — «круг первый» — есть тайное соцветие лучших умов человечества. Именно здесь, по Солженицыну, должна выковаться будущая великая культура.

[12] Нельзя упустить очередной солженицынский гротеск: Галахов допрашивает свояка — Володина о том, каков советский дипломат. Скоро Володина будет допрашивать реальный следователь. И на сходную тему. Подробнее об этом см. в главе «Жизнь и поэзия в романе “В круге первом”».

[13] Интересные соображения об этом тексте см.: *Лекманов Олег.* О преамбуле к роману А. И. Солженицына «В круге первом» // Замечательное шестидесятилетие: <В 2 т.>. М.: 2017. Т. 1. С. 211—216.

Глава IV

ЖИЗНЬ И ПОЭЗИЯ В РОМАНЕ «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

Сюжетная структура романа «В круге первом» ставит перед читателем (и/или исследователем) два, на поверхностный взгляд, наивных вопроса. Во-первых, непонятно, зачем Солженицын сводит в одном тексте рассказы о шарашке и формально неудавшемся подвиге Володина, обычный, словно бы случайно выбранный фрагмент летописи марфинской спецтюрьмы (промежуток с субботнего вечера по утро вторника так же полно и точно воссоздает бытие насельников гулаговского лимба, как один день — всю лагерную жизнь Ивана Денисовича) и невероятную — детективно-авантюрную — историю, максимально *свое* (автобиографизм романа акцентирован уже посвящением «друзьям по шарашке» (9)[1]) и совершенно *чужое*. Во-вторых, столь же непонятно, кто ведет повествование о безвозвратно сгинувшем в гулаговской бездне Володине, откуда взяты сведения о его нормальной жизни, роковом выборе, чувствах и мыслях. Привычная отсылка ко всезнающему автору здесь едва ли продуктивна.

Не касаясь этой сложной теоретической проблемы в целом (как кажется, позиция всезнающего безличного автора используется в новой и новейшей словесности не так уж часто), обратим внимание на выраженно субъективную (автобиографическую) окраску шарашечных

глав. Разумеется, и здесь описываются не только те события, участником или непосредственным свидетелем которых был Нержин, однако реконструкция душевных состояний других героев, прежде всего Рубина и Сологдина, выглядит совершенно естественной: всех марфинских персонажей романный Нержин хорошо знает. При этом мы не ощущаем какого-либо контраста шарашечных и володинских глав, не видим какого-либо изменения авторской позиции. Неведомый марфинским зекам дипломат (даже фамилии пятерых подозреваемых известны лишь Рубину) так же индивидуально конкретен, как персонажи, имеющие прототипов. С другой стороны, обычные тюремные будни в итоге оказываются поворотными в судьбе главного героя. Дело не в том, что в финале романа Нержин спускается в ад (покидает шарашку)[2], но в добровольности его выбора. Хотя уже субботним вечером Яконов, раздраженный отказом строптивца сменить «артикуляцию» на «математику» («туфту», оставляющую время для писательства, на изматывающий умственный труд), делает в блокноте запись «Нержина — списать» (61), судьба дарует герою шанс (подсовывает искушение) закрепиться «в круге первом» — Рубин предлагает Нержину принять участие в выявлении дипломата, звонившего в американское посольство: «Второй раз за сутки ему предлагали спасение. И второй же раз спасение это не радовало его» (335)[3].

В «разговоре три нуля» особо важны два смысловых обертона. Во-первых, Нержин отказывается признать в неизвестном дипломате «подлого московского стилягу», который «спешит выслужиться перед боссами» (335). Нержин *доверяет* анониму, как доверяет он — преодолевая понятные сомнения — ведущему рискованную игру Руське Доронину, появление которого в конце главы формально обрывает спор друзей, а по существу становится аргументом в защиту загадочного информатора американцев. (Руська сообщает о плане разоблачения стукачей (339), то есть об авантюрном, но далеко не бессмысленном боевом действии против

якобы неодолимой чекистской системы.) Во-вторых, Нержин видит в том, кого Рубин почитает аморальным корыстолюбцем, героя высокой литературы: «Лёвочка! Поэзия и жизнь — да составят у тебя одно. За что ты так на него серчаешь? Это же — твой Алёша Карамазов, он защищает Перекоп» (339). Володин отождествляется не только с двоящимся персонажем «стихотворного этюда» Рубина (237), но и с его прообразом из романа Достоевского. Рубин, который «не был поэтом, но иногда набрасывал стихи задушевные, умные» (237), может почувствовать и передать тайное единство противоборствующих юных идеалистов в прошлом, но не способен распознать (признать) их сегодняшнего наследника. Для него жизнь (воспринимаемая по идеологической — марксистской — схеме) отделена от поэзии. Для Нержина же (и тем более для автора) истинная поэзия неотделима от жизни, в которой поэт прозревает и открывает недоступные обыденному сознанию высшие смыслы. Герой не случайно цитирует строку Жуковского, отнюдь не предполагающую банального приукрашивания действительности: жизнь равна поэзии тогда (и только тогда), когда незваное Вдохновение наводит «животворящий луч» на «все земное». Нержин призывает (тщетно) «не поэта» Рубина мыслить о жизни «поэтически» — это касается и поступка советского дипломата (для которого Рубин сразу находит тривиальное низкое — и неверное! — объяснение), и жизненного выбора самого Нержина. Ранее, узнав об отказе Нержина перейти в Семёрку, Сологдин наставительно замечает: «Ты ведёшь себя не как исчислитель, а как пиит» (179).

Он совершенно прав: Нержин избирает писательскую стезю. А для того, чтобы стать настоящим писателем, чье «слово... — разрушит бетон» (653), ему в равной мере необходимо, нарушая законы здравомыслия, оставить уютную шарашку и разгадать тайну «предателя», открыть в нем человека, ведомого высоким чувством. Предлагая Рубину признать в корыстном стиляге Алёшу Карамазова, Нержин словно бы примеривается

к собственному рассказу об этом человеке, угадывает (пока — неуверенно) в странном дипломате *своего* героя, по внешним параметрам (социальный статус и предыстория) значимо отличного от потенциального автора, но сущностно с ним схожего. Отвергая рубинскую трактовку звонка в американское посольство, Нержин убеждает себя: жизнь и поэзия могут быть едины, а сам он избрал верный (хоть и рискованный, опасный, возможно — самоубийственный) путь.

Между тем для большинства романных персонажей коренное различие жизни и литературы сомнению не подлежит. Любимая поговорка Даши, соседки Нади Нержиной по аспирантскому общежитию, — «жизнь — не роман». Повторенное героиней дважды (352, 355), речение это вынесено в название 49-й главы, близко соседствующей с 47-й («Разговор три нуля»), где всплыла чуть измененная формула Жуковского «Жизнь и Поэзия одно»[4]. Женские истории, представленные в сплотке глав об общежитии на Стромынке, внешне подтверждают правоту Даши. Откликаясь на рассуждения Людочки, намеревающейся обмануть испанского поэта (сымитировать девственность), Оленька «весело» восклицает: «Так героини мировой литературы совершенно зря каялись перед женихами и кончали с собой?» — и слышит в ответ: «Конечно ду-у-ры!» (348). «Книжные» деньги Оленька намерена потратить на «гранатовое, креп-жоржетовое» платье (357). Научная работа занимает почти всех аспиранток много меньше, чем житейские (женские) проблемы.

Впрочем, две стромынских девушки — Муза и венгерка Эржика — воспринимают коллизию «литература и жизнь» иначе. Поэтическое имя (Муза; ср. цитату из Жуковского в устах Нержина) и род занятий (Тургенев, традиционно почитаемый наиболее романтичным и возвышенным из русских классиков) некрасивой интеллигентной аспирантки, истово увлеченной своим делом, наглядно контрастирует с вербовкой чекистов, страшной западней, в которую она попала (346—347). Соответ-

ственно все представления Музы о мире словно бы ставятся под сомнение: верить в любовь, отвергать мещанство, восхищаться русскими литературными героями, которые (в отличие от западноевропейских, озабоченных деньгами и карьерой) ищут «справедливости и добра» (361), — временный (пока жестокие обстоятельства не возьмут за горло) удел «книжных» идеалистов.

Дело, однако, обстоит сложнее. Муза убеждена, что «истинная любовь перешагивает гробовую доску» (353) не только потому, что она начиталась Тургенева (и много кого еще, включая Жуковского), но и потому, что помнит об идиллических отношениях своих пожилых родителей, которые «до сих пор любили друг друга как молодожёны» (346). Она не представляет себе, какие испытания выпадают ныне разлученным возлюбленным. Надя Нержина склоняется к разводу с осужденным мужем, но в романе явлены и другие варианты поведения жен заключенных. Человека можно сломать, принудить к нарушению нормы, но оттого любовь не перестает быть любовью. Вера Музы в лучшие чувства (любящей женщины вообще и Нади — в частности) той же естественной природы, что ее неуступчивость в противоборстве с чекистами: «Как же можно рассуждать о гамлетовском и донкихотском началах в человеке — и всё время помнить, что ты — доносчица...» (352—353). Вопреки литературному миропониманию Музы, демобилизованный капитан Щагов не входит в число «тех неуёмных натур, кто постоянно тычется в поисках всеобщей справедливости» (370). Он действует подобно героям западных романов[5] — планирует выгодную женитьбу без любви, пробивается к возросшему в цене «кандидатскому званию» (371) без особой страсти к науке, всеми силами борется за «свой кусок пирога» (372). Но при этом не сводит себя до амплуа Растиньяка. Порукой тому и мысленные оговорки Щагова[6], и — главное — его реакция на неожиданное признание Нади. Услышав о том, что ее муж отбывает срок, Щагов не бежит от жены зэка (как сперва кажется героине и читателю), но проникается особым

чувством и к «жене солдата», и к самому фронтовику, которому выпала горькая участь. Боевой офицер отлично знает, что в тюрьму многих бывших солдат приводит резонный вопрос: «за что же дрались?» (370). И хотя сам он избрал другой путь, чувство фронтового братства берет верх над карьерными установками. Надина двоящаяся (согревающая и страшащая, чреватая изменой мужу) приязнь к Щагову обусловлена тем «обаянием фронта», что в ее глазах роднит двух капитанов (371). Здесь героиня не ошибается: тост Щагова — «за воскресение мёртвых!» (373) — выражает главное поэтическое чувство Нержина, чувство, что строит его жизнь и воплотится в его будущем романе о буднях шарашки, неизвестном герое и становлении писателя[7].

Резкая метаморфоза Щагова всего сильнее свидетельствует о правоте Музы (и музы) и зыбкости казавшегося неоспоримым присловья Даши. Заметим, что Дашина жизненная трактовка положения и душевного состояния Нади («Он жив, но бросил её!») вполне — при соблазнительной правдоподобности — литературна и отнюдь не соответствует той окружающей персонажей действительности, о которой Даша не может (не хочет) думать. Муза тоже не способна прозреть до конца (сопоставить только что обрушившийся на нее зловещий сюжет с Надиным), но ее отвлеченная, уходящая от простых объяснений *неизвестного*, основанная на доверии к Наде версия происходящего очень близка к истине: «Значит, она жертвует собой во имя его счастья <…> Значит, почему-либо нужно, чтоб она молчала и не выходила замуж!» (354). Еще одним — комическим — опровержением Дашиной уверенности в том, что «жизнь — не роман» выступает ее собственная история с буфетчиком, где героиня скрывает свой высокий социальный статус, невольно воспроизводя полнящийся иронией сюжет «Барышни-крестьянки», что предполагает столь желанную для Даши свадебную развязку[8]. Наконец, достойно внимания, что антироманная сентенция вложена в уста героини *романа*.

«Жизнь — не роман», если роман (или сочинение иного жанра) эту самую жизнь игнорирует, упрощает, сводит к загодя известной схеме[9]. Иными словами, жизнь — не «Избранное» Галахова, которое увлеченно читает венгерская аспирантка. «Эта книга раскрывала перед ней мир высоких, светлых характеров, цельность которых поражала Эржику. Персонажей Галахова никогда не сотрясали сомнения[10] — служить родине или не служить, жертвовать собой или не жертвовать[11]. Сама Эржика по слабому знакомству с языком и обычаями страны ещё не видела таких людей тут, но тем более важно было узнавать их из книг» (347—348). Самообман Эржики коренится не только в вере бывшей подпольщицы в СССР как авангарда человечества, но и в трепетном отношении к словесности. Действительность, в которой есть «моментальные», то есть «временные», дурные черты (348), в сущности, прекрасна, ибо таковой предстает она в сочинениях Галахова, которым надлежит верить больше, чем собственному опыту. Эржика не замечает подмены, которую отлично понимает другой читатель, чья оценка галаховских сочинений введена в повествование раньше:

Еще книга была — «Избранное» известного Галахова. Несколько отличая имя Галахова и чего-то всё-таки ожидая от него, Хоробров уже читал этот том, но прервал с ощущением, что над ним так же издеваются, как когда составляли добровольный список на выходной. Даже Галахов, неплохо умевший писать о любви, давно сполз на эту принятую манеру писать как бы не для людей, а для дурачков, которые жизни не видели и по слабоумию рады любой побрякушке. Всё, что действительно рвало сердца человеческие, отсутствовало в книгах. Если б не началась война — писателям только оставалось перейти на акафисты. Война открыла им доступ к общепонятным чувствам. Но и тут выдували они какие-то небылые конфликты — вроде того, что комсомолец в тылу у врага десятками пускает под откосы эшелоны с боеприпасами, но не состоит на учёте ни в какой первичной организации и день и ночь терза-

ется, подлинный ли он комсомолец, если не платит членских взносов.

(216—217)

Отношение Хороброва к Галахову не только предсказывает и дискредитирует читательскую реакцию Эржики, но и объясняет ее, а заодно и широкую популярность сочинений многократного сталинского лауреата. Галахов вовсе не бездарен. Он хочет выразить «общепонятные чувства». Он явно не случайно предан военной теме, в которой дозволяется сказать чуть больше, чем при разработке иных сюжетов. Он понимает, что новейшая литература не может быть бесконфликтной: если Эржике кажется, что галаховские персонажи никогда не сомневаются, то Хоробров примечает у них мнимые духовные коллизии (комически балансирующие на грани пародии). Полярные по оценке суждения двух читателей (изощренного и простодушного) одинаково свидетельствуют о разрыве жизни и поэзии в галаховских сочинениях, которые заменяют истинную литературу. Так готовится появление самого Галахова, напряженно играющего роль настоящего писателя[12].

Поведение Галахова на вечеринке Макарыгиных точно соответствует типовым представлениям о писателе. Сановный прокурор Словута не ошибается, предполагая, что припоздавший Галахов ничего не рассказывает, потому как придумывает «новый роман». Тремя абзацами ниже сообщается:

Галахов действительно на прошлой неделе задумал писать о заговоре империалистов и борьбе наших дипломатов за мир, причём писать в этот раз не роман, а пьесу — потому что так легче было обойти многие неизвестные ему детали обстановки и одежды. Сейчас ему было как нельзя кстати проинтервьюировать свояка, заодно ища в нём типические черты советского дипломата и вылавливая характерные подробности западной жизни, где должно было происходить всё действие пьесы, но где сам Галахов был лишь мельком, на одном из про-

грессивных конгрессов. Галахов сознавал, что это не вполне хорошо — писать о жизни, которой не знаешь, но последние годы ему казалось, что заграничная жизнь, или седая история, или даже фантазия о лунных жителях легче поддадутся его перу, чем окружающая истинная жизнь, заминированная запретами на каждой тропинке.

(451)

Галахов напрасно надеется, что обращение к «заграничной жизни» избавит его от всегдашних трудностей советского литератора. Сперва Володин озадачивает его сравнением писателей и следователей («Всё вопросы, вопросы, о преступлениях»), потом возражением на реплику о поиске в человеке «достоинств» («Тогда ваша работа противоположна работе совести») и, наконец, замечанием «Ведь у нас (дипломатов. — *А. Н.*) есть что скрывать» (452)[13]. Все высказывания Володина мотивированы его состоянием (звонок в американское посольство — «преступление», связанное с секретной составляющей дипломатической службы и совершенное по велению совести) — все они сводят на нет литературные установки Галахова. Автор, рассчитывавший получить ценную информацию от профессионала, не слышит (и не может услышать), что ему говорят, не видит в собеседнике героя (в обоих — здесь неразрывно связанных — смыслах слова), но испытывает от разговора странное (бессознательное) смущение, смешанное с раздражением.

Володин вовсе не хочет обидеть свояка, задавая ему болезненные вопросы о «военной теме» («Коллизии, трагедии — иначе б откуда вы их брали»[14]), поставленных ей «пределах» и ее фальсификациях, назначении писателя («Ведь писатель — это наставник других людей, ведь так понималось всегда?»), смысле литературных свершений тридцатисемилетнего («Пушкина в это время уже ухлопали») Галахова, ответственности поколения (452—453), но каждая его фраза звучит приговором. Особенно убедительным потому, что Галахов

все сказанное Володиным сам отлично знает. Как знает, что советскому литератору можно лишь «втайне» примериваться к «пушкинскому фраку» и «толстовской рубахе» (453), то есть к роли настоящего писателя (потому не случайно в речи его всплывает пошлая костюмная атрибутика). Галахов в глубине души понимает, что он совсем не такой писатель, какими были Пушкин и Толстой, что он принадлежит *подменной* литературе, той, что может обеспечить славу, но не бессмертие, «взмахи» которого, по страшной догадке героя, «только и были в тех немногих стихах, заучиваемых девушками» (455).

Отказ от бессмертия, совершенный не одним Галаховым, но всем (как ему кажется) литературным цехом, оправдывается необходимостью «влиять на течение жизни сейчас» (455). Но это влияние либо вовсе фиктивно (неотличимо от воздействия газет, транслирующих волю партии), либо ничтожно, когда одаренный и до известной степени стремящийся быть честным литератор (Галахов как раз из таких) соглашается «писать хоть ту четвёртую, восьмую, шестнадцатую, ту, чёрт её подери, тридцать вторую часть правды, которую разрешалось, хоть о поцелуях и природе, — хоть что-нибудь лучше, чем ничего» (455). Традиционная (неразрешимая и плодотворная) антиномия «чистое искусство — общественная польза» в советской ситуации утрачивает смысл: отказ от правды ведет к оскудению (в конечном итоге — смерти) поэзии. Потому Галахов и чувствует, что «его пьесы, его рассказы и его роман умерли у него на глазах ещё прежде, чем автор дожил до тридцати семи лет» (455). Потому (а не только из-за вновь нахлынувшего страха) Володину остается лишь «досказать» («но голосом потерянным и с кислой, кривой улыбкой, когда вот-вот растечётся лицо») единственно потребную его собеседнику банальность (начиненную издевательской двусмысленностью, что тоже едва ли ускользнет от «инженера человеческих душ»):

— А черты нашего дипломата? <...> Ты и сам можешь их себе хорошо представить. Высокая идейность. Высокая принципиальность. Беззаветная преданность нашему делу. Личная глубокая привязанность к товарищу Сталину. Неукоснительное следование инструкциям из Москвы. У некоторых — сильное, у некоторых — слабоватое знание иностранных языков. Ну, и ещё — большая привязанность к телесным удовольствиям. Потому что, как говорят, жизнь даётся нам — один только раз...

(456)

В последней фразе Володин повторяет непрестанно используемые советской пропагандой слова героя романа Николая Островского «Как закалялась сталь» (ч. 2, гл. 3): «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире: борьбе за освобождение человечества». Галахов, как и читатель, должен опознать цитату и воспринять ее как литературную рекомендацию. Именно так должно писать о советских дипломатах, для которых «борьба за освобождение человечества» слилась с «привязанностью к телесным удовольствиям». Финал монолога Володина раскрывает те реальные смыслы, что стоят за произнесенными ранее *правильными* словами, необходимыми для создания *правильного* произведения о советских дипломатах и маскирующими как «эпикурейский» цинизм большинства володинских сослуживцев (и до недавней поры его самого), так и трагедию Володина нынешнего (и, возможно, еще кого-то из его прозревших, но таящихся коллег). Эти персонажи сто́ят своих потенциальных авторов, которым только вредно (что понимает и Галахов) знать, чем же на самом деле заняты и что чувствуют и думают «беззаветно преданные нашему делу» чиновники МИДа.

Как Володин не может раскрыться в разговоре на вечеринке, так его свояк не может угадать в собеседнике героя романа. Причиной тому — измена Галахова писательскому назначению; он существует не в литературе, а в *советской* литературе, озабочен не единством поэзии и правды (бессмертием своего и только своего слова), а соответствием принятым нормам[15], адресует свои сочинения не «брату, другу и сверстнику-читателю», но «прославленному, главному критику Ермилову». Подмене книги, строящейся с учетом реакции надсмотрщика, предшествует подмена представлений о литературе как таковой. Принимаясь за каждую «новую большую вещь», Галахов параллельно сочиняет будущую статью Ермилова, которую погромщик начнет «с каких-нибудь самых святых слов Белинского или Некрасова <...> и выяснится, что Белинский или Герцен горячо засвидетельствуют, что новая книга Галахова выявляет нам его как фигуру антиобщественную, антигуманную, с шаткой философской основой» (456). Останься Галахов писателем, приговор ему был бы вынесен от имени фальсифицированной литературной традиции. Но это значит, что поддавшийся «контраргументам Ермилова» (456) сочинитель отторгается теми самыми классиками, фамилии которых бессовестно прикреплены советскими критиками к потребным для их зловещих игр фантомам. Имя Герцена маркировано — оно вводится не в зачине угадываемой статьи Ермилова, но в обвинительном пассаже, что придает ему особый вес. И это закономерно: одним из важнейших стимулов к душевному перевороту Володина (и его поступку) стали вопросы Герцена, которыми ошеломил благополучного племянника «тверской дядюшка»: «*...где границы патриотизма*? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое её правительство? Пособлять ему и дальше губить народ?» (441). Эти же слова вспоминает Володин в лубянской камере, обретая «второе дыхание» (691, 692). Герцен с Володиным, а не с Галаховым[16].

Для того чтобы понять Володина (увидеть в нем не обычного дипломата или дипломата-предателя), надо

быть *писателем*. Это не дано Рубину, влюбленному в настоящую литературу, иногда заражающемуся чужим поэтическим словом (не случайно в его нравящемся Нержину «перекопском» стихотворении возникает раздвоившийся Алёша Карамазов), но не способному почувствовать поэтичность (непредсказуемость, свободу) в окружающей действительности, которая, с его точки зрения, регулируется (и должна регулироваться) марксистскими законами. Это не дано Галахову, изначально одаренному поэтическим чувством и тягой к бессмертию, но променявшему их на внешне комфортное бытие успешливого советского литератора. Это дано Нержину, буквально ничего не знающему о человеке, позвонившем в американское посольство, но сперва отказывающемуся судить о нем по шаблону, а потом — годы спустя — достроившему личность и судьбу героя, который бесследно сгинул в казематах Лубянки, но — вопреки всему, и в том числе собственным предчувствиям, обрел бессмертие. Воскресение мертвых, за которое предлагает выпить Наде Щагов, это не только возвращение Нержина и других (оставшихся в живых) узников ГУЛАГа, но и сохранение памяти обо всех погибших. И едва ли не в первую очередь о тех, кто был уничтожен «за дело» — тех, кто дерзнул вступить в поединок с коммунистической системой, тщившейся поработить (лишить свободы) все человечество.

В выборе неведомого дипломата Нержин распознает *свой* выбор. Один должен совершить подвиг (пусть без практического результата), другой — сохранить в себе писателя. Бессмертие писателя невозможно без полного подчинения неразрывному единству жизни и поэзии, которое в свою очередь может потребовать самопожертвования. Его и совершает Нержин, расставаясь не только с относительным благополучием существования на шарашке, но и с самым дорогим — сделанными в Марфине набросками книги о революции. Чтобы стать писателем, должно на время оставить собственно писание и утратить материальные плоды своей работы. Стратегия Нер-

жина прямо противопоставлена практике Галахова, которому «всё трудней становилось писать каждую новую хорошую страницу». Галахову требуются идеальные бытовые условия — «иначе он никак не мог писать» (455). Однако ни специально выбранное время («он заставлял себя работать по расписанию»), ни свежий воздух и «восемнадцать градусов Цельсия», ни чистота на столе (вообще-то, споспешествующие литературному труду и упомянутые не только для дискредитации персонажа!) не могут избавить его от *соавторства* с Ермиловым, сделать свободным. Галаховский эпизод — история *умирания* советского писателя, противопоставленная истории *рождения через смерть писателя* настоящего[17], каким станет Нержин, будущий автор романа о шарашке, верности *жизни-поэзии* и *бессмысленном* подвиге прозревшего дипломата.

Тема духовного родства будущего автора (Нержина) и потенциального романного героя (Володина) актуализируется в финале разговора Нержина и Герасимовича. Вера Нержина в «слово», что «разрушит бетон», не встречает понимания у его собеседника, уповающего на действие практическое — военный переворот (по Нержину, невозможный и ненужный). Пытаясь подкрепить свою веру в слово (естественно соотнесенное с тем Словом, что было в Начале, что «исконней бетона»), Нержин говорит:

> ...Здесь — тайна. Как грибы по некой тайне, не с первого и не со второго, а с какого-то дождя — вдруг трогаются всюду. Вчера и поверить было нельзя, что такие не́роды могут вообще расти, — а сегодня они повсюду! Так тронутся в рост и благородные люди, и слово их — разрушит бетон.
>
> — Прежде того понесут ваших благородных кузовами и корзинами — вырванных, срезанных, усечённых...
>
> (653)

Горькая реплика Герасимовича закрывает главу «На задней лестнице», прямо за которой следует глава об аресте Володина «Да оставит надежду входящий». Нер-

жин не говорит Герасимовичу о странном дипломате, решившемся словом помешать черному делу, но, несомненно, помнит о нем (в разговоре с Герасимовичем важное место занимает тема атомной бомбы), этот неизвестный — один из нежданно обнаружившихся благородных людей. Мы знаем, что Володин переменился благодаря *словам*, в которых сохранилась подлинная история его семьи и его страны (письма и архив матери, разговоры с тверским дядюшкой). Он движется по тому же пути, который сознательно избрал Нержин, занятый восстановлением истории, уяснением причин сегодняшних бед — работой над книгой о революции. Нержин полагает, что только этот путь ведет сперва к внутреннему освобождению отдельных личностей, а затем к освобождению России: совершить подвиг, подобный володинскому, способен лишь человек, не только осознающий бедственное положение страны и исходящую от Сталина угрозу человечеству (как, например, Герасимович), но и приобщившийся к истории, увидевший ее трагически искривленный ход и принявший на себя ответственность за грехи родителей, о необходимости искупления которых говорит Володину дядюшка Авенир (447).

Интимный, страстный и побуждающий действовать интерес к новейшей истории России[18] — важная, но далеко не единственная нержинская черта Володина. Обратимся вновь к «разговору три нуля».

— Никуда ты не денешься! — грозно толковал Рубин. — Придётся тебе дать отчёт: по какую сторону баррикады ты стоишь?!

— Вот ещё, мать твою, фанатиков перегрёб, — всю землю нам баррикадами перегородили! — сердился и Нержин. — Вот в этом и ужас! Ты хочешь быть гражданином вселенной, ты хочешь быть ангелом поднебесья — так нет же, за ноги дёргают: *кто не с нами, тот против нас!* Оставьте мне простору! Оставьте простору! — отталкивался Нержин.

(337—338)

Акцентированное повтором слово «простор» отсылает к названию уже знакомой читателю главы «На просторе», где Володин (словно предсказывая Нержина) делится с Кларой своей главной печалью. Значимость его монолога подчеркнута отсылкой к заглавью романа, семантика которого решительно изменяется именно в этой точке повествования (прежде читатель должен был видеть в словосочетании «круг первый» лишь ироническое именование шарашки): «Вот видишь — круг? Это — отечество. Это — первый круг. А вот — второй. — Он захватил шире. — Это — человечество. И кажется, что первый входит во второй? Ничего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже — колючая проволока с пулемётами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества — нет. А только отечества, отечества...» (313). Нержин и Володин хотят быть «гражданами мира» в пору, когда чужеземный эквивалент понятия становится бранной кличкой, — тема разворачивающейся борьбы с космополитизмом проходит сквозь весь роман, начиная с диалога Рубина и Нержина в главе со знаково чужеземным, «вражеским» именем «Хьюги-буги»:

— Слушай, Глебка, в конце концов, ведь я — еврей не больше, чем русский? и не больше русский, чем гражданин мира?

— Хорошо ты сказал. Граждане мира! — это звучит безкровно, чисто.

— То есть космополиты. Нас правильно посадили.

(33)

«Правильно» посадят и Володина — не без помощи Рубина, которому идеологические шоры (вера в «классовую» природу справедливости и необходимость борьбы с империализмом) помешают остаться гражданином мира, а потому и истинным сыном отечества. Напомним, что свою исповедь Володин проговаривает на русском просторе и надиктована она тем скорбным

чувством, что он испытывает при встрече с реальностью неприкрашенной, растоптанной большевиками России.

Спор Нержина и Рубина об информаторе американцев, атомной бомбе и судьбе человечества предсказывает и те политические убеждения Володина, решительно переменившие его судьбу:

— ...Ты согласен получить Хиросиму? На русской земле?

— А по-твоему — воровать бомбу? Бомбу надо морально изолировать, а не воровать.

— Как изолировать?! Идеалистический бред!

— Очень просто: надо верить в ООН! Вам план Баруха предлагали — надо было подписывать! Так нет, Пахану бомба нужна![19]

(339)

Ровно так рассуждает и Володин: «Новое назначение нравилось ему — и пугало. Иннокентий полюбил идею ООН — не Устав, а какой она могла быть при всеобщем компромиссе и доброжелательной критике. Он вполне был и за мировое правительство. Да что другое могло спасти планету?.. Но так шли в ООН шведы, или бирманцы, или эфиопы. А его толкал в спину железный кулак — не для того» (435). Не менее наглядна перекличка с аргументами Нержина в более поздних раздумьях ждущего возмездия Иннокентия:

Если бы объявили (о его звонке в американское посольство. — *А. Н.*) — соотечественники с наслаждением побили бы его камнями! Кто бы понял его? — хорошо, если тысяча человек на двести миллионов. Кто там помнит, что отвергли разумный план Баруха: отказаться от атомной бомбы — и американские будут отданы под интернациональный замок? <...>

Ты не дал украсть бомбы Преобразователю Мира, Кузнецу Счастья? — значит, ты не дал её Родине!

А зачем она — Родине? Зачем она — деревне Рождество?[20]

(609)

Густота мотивных перекличек между володинскими и нержинскими главами знаменует понимание неведомого обреченного героя, который, возрождаясь в слове, окажется похожим на своего будущего автора (Нержина-персонажа, Нержина 1949 года, еще не помышляющего о шарашечно-шпионском романе). Но не только на него.

«Разговор три нуля» закономерно завершается появлением Руськи Доронина, личность и судьба которого тоже дают Нержину-автору материал для реконструкции героя. Сопоставление двух персонажей, вступивших в поединок с системой (отказавшихся от роли шпионов, перешедших на сторону противника), дано прямо: за главой «Насчёт расстрелять» (разоблачение Руськи) следует глава «Князь Курбский», открывающаяся размышлением о «нашей способности к подвигу».

...Тяжелей всего даётся нам подвиг, если он добыт неподготовленным усилием нашей воли (случай Володина. — *А. Н.*). Легче — если был последствием усилия многолетнего, равномерно направленного (случаи Нержина и других опытных заключенных. — *А. Н.*). И с благословенной лёгкостью, если подвиг был нам прирождён: тогда он происходит просто, как вдох и выдох.

Так жил Руська Доронин под всесоюзным розыском — с простотой и детской улыбкой. В его кровь, должно быть, от рождения уже был впрыснут пульс риска, жар авантюры.

Но для чистенького, благополучного Иннокентия недоступно было бы — скрываться под чужим именем, метаться по стране.

(604)

Зримое различие персонажей, однако, не отменяет их родства. Оба все же совершают свои авантюрные подвиги (при этом лихость и опыт Руськи не спасают его от провала — он разоблачен и низвержен в тот же послепраздничный понедельник, что и Володин). Оба наделены детскими чертами — наивностью, жаждой справед-

ливости, жизнелюбием («эпикурейство» Володина до его прозрения не так далеко отстоит от Руськиного желания жить в свое удовольствие). Отмеченное Кларой сходство Володина с вернувшимся в Россию Есениным (305) ассоциируется с *русскостью* и соответствующей имени *русостью* (340) молодого зэка[21]. Наконец, но не в последнюю очередь, оба персонажа — избранники еще одной чистой души, Клары Макарыгиной, что почти полюбила своего зятя (не будь они в свойстве, не вставай меж ними во время путешествия «на просторе» тень Дотнары, наметившиеся взаимопонимание и приязнь непременно бы выросли) и просто — вопреки всему, что внушалось ей с детства, — полюбила «врага народа».

Фигура Клары весьма важна для генезиса романа Нержина. Будущий автор знает не только о любви зэка и лейтенанта МГБ (в этом нет ничего удивительного — ср. отношения самого Нержина и Симочки и Сологдина и Еминой), но и о происхождении (семье, социальном статусе) Клары. И это не простое знание. Когда заходящийся страстью Руська называет старшему другу имя своей возлюбленной, тот совершенно потрясен:

— Тс-с-с... Клара...
— Клара?? Дочь прокурора?!!

(89)

Если дочь прокурора может полюбить заключенного, значит суть человека определяется не одними *социальными обстоятельствами*, значит и выходцы из номенклатуры способны чувствовать, а стало быть, и думать, различать добро и зло, совершать непредсказуемые поступки. Узнав о звонке некоего дипломата в американское посольство, Нержин соотносит его (возможно, сперва бессознательно) с чувством Клары к Доронину, в которое он уже поверил. В дальнейшем он параллельно достраивает судьбы и личности Клары и неизвестного, сводя их в один сюжет. Нержин знает, что его начальник Ройтман живет в построенном зэками доме

у Калужской заставы, где сам он клал паркет. И — хотя прямых указаний в тексте на то нет — должен знать (со слов Ройтмана), что Макарыгины квартируют там же. Это объясняет появление главы «Женщина мыла лестницу», в которой раскрывается особенная стать Клары. При насыщенности шарашки информацией о людях, входящих в это закрытое сообщество, естественно предположить, что Нержину известно и о том, что одна сестра Клары — жена прославленного писателя-лауреата, а другая — дипломата, который отождествляется им с преступным мидовцем.

Все эти мотивировки введены в текст без педалирования и, в принципе, могут быть не замечены даже заинтересованным читателем. На то, что Нержин-персонаж является *скрытым автором* романа «В круге первом», прямых указаний в тексте нет. В окружающей романного Нержина реальности звонить в американское посольство мог и дипломат, не состоящий с Кларой в родстве, но в «нержинском» романе — это Володин, с годами угаданный зэком, который однажды поверил в его благородный порыв, а потом вырвал из небытия, одарил именем и судьбой. И таким образом оживил, оправдал и, кроме прочего, отблагодарил сгинувшего героя, чей «бессмысленный подвиг» помог его писательскому становлению.

Вибрация текста меж *объективным* повествованием (всё происходило именно так, а скрещения судеб возникают в результате игры случая) и повествованием *субъективным* (все эпизоды, происходящие вне шарашки, даны сквозь призму писательского воображения Нержина) вновь заставляет нас вспомнить о сложных отношениях жизни и поэзии, жизни и романа, резко расходящихся в обыденном или идеологизированном сознании и ложной словесности, но единых в том слове, которое стремится наследовать Слову начальному, а потому способно разрушить бетон и воскресить мертвых. Смысловая близость ключевых для романа речений *человека жизни* Щагова и *человека поэзии* Нержина, сложная система мотивных перекличек, насыщенность

текста цитатами и реминисценциями (большая часть которых здесь оставлена за кадром[22]), появление Галахова, работающего над пьесой о борьбе за мир советских дипломатов (то есть негативом читаемой нами книги), настойчиво (но ненавязчиво) свидетельствуют об особой значимости литературной темы в романе Солженицына. «В круге первом» — книга о становлении писателя и своем собственном рождении, книга о том, как слово преодолевает кошмар истории и в конечном счете побеждает смерть, книга, естественно соотносящаяся с другими русскими романами XX века о тождестве творчества и бессмертия — «Даром», «Мастером и Маргаритой», «Пушкиным» и «Доктором Живаго». Приступая к работе над романом о жизни на шарашке и неизвестном герое, Солженицын не читал ни Набокова, ни Булгакова, ни Пастернака (Тынянова если и читал, то отнюдь не в интересующем нас ключе). Тем закономернее и символичнее, что книга, которую великий писатель (тогда — никому не ведомый и не предполагавший скорой встречи с читателем) счел вполне состоявшейся (что не исключало позднейших переработок), оказалась на важнейшей линии движения русской прозы XX века.

В предисловии к *подлинному* (освобожденному от вынужденных искажений и «усовершенному») роману Солженицын писал:

«Судьба современных русских книг: если и выныривают, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским "Мастером" — перья потом доплывали».

Позволю себе дерзкое предположение: автор «В круге первом», отмечая сходство судеб двух книг, намекал и на сходство их сущностей, на их смысловое родство, обусловленное общностью великой традиции, которая и в страшном XX веке сохраняла верность заветной формуле Жуковского «Жизнь и Поэзия одно».

Примечания

[1] Даже если предположить, что в ранних (потаенных) редакциях личный опыт автора был лишь материалом, то уже в предложенном «Новому миру» тексте (несмотря на существенную деформацию смысловой конструкции) автобиографизм оказывался семантически нагруженным: читатели «Одного дня Ивана Денисовича», безусловно, понимали, что автор рассказа прошел сталинские лагеря, соответственно избравший писательскую стезю герой-заключенный (Нержин) просто не мог не ассоциироваться с Солженицыным. Как было показано в главе II «Русская словесность на Матрёнином дворе», автобиографические мотивы отчетливо звучат уже в третьем опубликованном сочинении Солженицына.

[2] «Шарашечная» часть повествования жестко закольцована: она открывается прибытием в Марфино новой партии зэков (буквально первые фразы гл. 3 («Шарашка») — возгласы: «Новички! Новичков привезли!» — 20), а завершается описанием замаскированного воронка, в котором увозят Нержина и других списанных заключенных (716—720). Сама по себе смена контингента — типовая примета «круга первого».

[3] Третий шанс выпадает Нержину буквально перед этапом. Теперь соблазнителем выступает Сологдин: «Ещё не поздно. Дай согласие остаться расчётчиком — и я, может быть, успею тебя оставить. Тут в одну группу <...> Но придётся *вкалывать*, предупреждаю честно» (705). Эпизод этот (почти точно дублирующий предложение Яконова) нужен прежде всего для смысловой симметрии: непримиримые идеологические противники — Рубин и Сологдин — идут на сотрудничество с режимом (хоть и по разным причинам) и, сохраняя приязнь к Нержину (оба пытаются уберечь друга от низвержения в нижние круги лагерного ада), в равной мере не понимают и не принимают его выбора.

[4] Разделяет их глава «Двойник» (в названии ощутимы традиционно литературные семантические обертоны), повествующая о невероятной (достойной приключенческого романа) авантюре Руськи Доронина.

[5] «Собственно, это не было ново для нашей планеты, а только для революционной страны» (370).

[6] Ср.: «...он бы взял его («кусок пирога». —*А. Н.*) иначе, если б талантливых людей у нас не загрызали на полпути <...> несмотря на то что его невеста живёт в праздности, она не очень испорчена» (372).

[7] В двухтомных изданиях романа «В круге первом» (начиная с «вермонтского» Собрания сочинений, 1978) первый том завершается 52-й главой, то есть тостом Щагова. Это середина повествования (пусть не строго формальная — в романе 96 глав), отчетливо маркированная во всех крупных сочинениях Солженицына.

[8] Едва ли случайно Солженицын легким намеком вводит позднее в текст этот пушкинский шедевр. Вечер понедельника Володин собирался провести в театре — на «Акулине», оперетте Т. Н. Хренникова по мотивам последней повести Белкина (о чем, впрочем, герой, кажется, не знает, а читатель специально не информируется) (607). Вместо спектакля о веселом и счастливо завершившемся розыгрыше Володина ждет арест, проведенный с издевательскими чекистскими мистификациями.

[9] Либо — вопреки намерениям автора и самой своей статьи — воспринимается как выдумка или навязанный авторитет, не имеющие отношения к проблемам сегодняшнего читателя. Ср. отношение Клары Макарыгиной к школьному и университетскому курсам «литературы» (291).

[10] Ср. колебания меж гамлетовским и донкихотским началами или просто рефлексию как важнейшую черту большинства главных героев Тургенева, наследием которого занимается Муза. Герои западных (да и некоторых русских) романов, что гонятся за славой, деньгами, карьерой, вовсе не рождаются «прагматиками», но приходят к этой позиции после долгих колебаний, описание (осмысление, истолкование) которых и составляет главный предмет авторского внимания.

[11] Здесь необходимо вспомнить о выборе Володина. Формулы, извращенные советской демагогической практикой, обретают для Володина истинный смысл, а потому роковому решению сопутствуют страх, успокаивающий самообман,

упреки себе за уже совершенный поступок, неведомые персонажам Галахова.

[12] До выхода персонажа на сцену имя Галахова возникает трижды. Кроме рассмотренных эпизодов о читателях «Избранного», известный писатель упоминается в главе «Женщина мыла лестницу» — сообщается о его романе и женитьбе на старшей сестре Клары Макарыгиной. Абзацем выше говорится о браке другой сестры и Володина (289—290). Такое композиционное решение мотивировано не столько необходимостью указать на свойство Галахова, Макарыгиных и Володина и объяснить его присутствие на воскресном вечере в доме прокурора (это можно было сделать и в главе, посвященной празднеству), сколько движением все той же темы «жизнь и поэзия». В отличие от сестры (будущей жены Галахова), упоенно перечитавшей «всю мировую литературу от Гомера до Фаррера» (290), Клара равнодушна к словесности, которая не говорит ей «что-то очень главное о жизни» (291). Своим кошмаром («поломойка и сегодня стоит на их лестнице») она делится не с писателем Галаховым, который вроде бы должен знать про жизнь самое важное, а с младшим зятем, по всем статьям ей чужим, — Володиным (295—296). Клара интуитивно предпочитает мнимого писателя скрытому будущему герою того романа, что воссоздает жизнь и является ее неотменимой частью.

[13] Ср.: «Главная-то работа (о которой знает и не хочет знать Галахов. — *А. Н.*) была вторая, тайная: встречи с зашифрованными личностями, сбор сведений, передача инструкций и выплата денег» (434).

[14] Ср. выше размышления Хороброва.

[15] Ср. вопросы Володина: «...кто ты? Какими идеями ты обогатил наш измученный век?.. Сверх, конечно, тех неоспоримых, которые тебе даёт социалистический реализм» (453).

[16] Несколько иначе роль Галахова (с указанием на его легко узнаваемого прототипа, К. М. Симонова) характеризуется в яркой статье: *Лосев Лев.* Поэзия и правда у Солженицына // Лосев Лев. Солженицын и Бродский как соседи. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С. 310—312. Там же (С. 313—316) справедливо указано на пьесу Симонова

«Чужая тень» (1949) как «источник» облегченного сюжета в «лекарственной» версии романа (так называемый «Круг-87»), предназначавшейся для публикации в «Новом мире», широко ходившей в самиздате, напечатанной на Западе и до 1978 года замещавшей истинный текст.

17 Потому день рождения Нержина и приходится на Рождество, подразумевающее Воскресение. Отметим, что Галахов выводится на сцену именно 25 декабря (Рождество, день рождения Нержина, воскресенье).

18 Этот мотив сложно переплетен со многими другими, предсказывающими будущую книгу Нержина о русской революции и проясняющими ее творческую историю. Очевидно, что во внероманной реальности аналогом книги Нержина выступает заветный труд прототипа главного героя романа «В круге первом»; подробнее см. в главе V этой книги «Колесо в Круге».

19 Сталину бомба еще как нужна. Она и должна сделать Пахана «императором Земли»:

«Начать можно будет, как атомных бомб наделаем...

<...>

Вообще, путь к мировому коммунизму проще всего через Третью Мировую войну: сперва объединить весь мир, а уже там учреждать коммунизм. Иначе — слишком много сложностей» (160).

20 Цитируемая глава называется «Князь Курбский». Возникающая в ней историческая аналогия: «Кто князь Курбский? — изменник. Кто Грозный — родной отец» (609), во-первых, отсылает к активно насаждаемой исторической мифологии 1940-х гг. (фильм С. М. Эйзенштейна, драматическая дилогия А. Н. Толстого, «Ливонская война» И. Л. Сельвинского и др.), демонизирующей «изменника» Курбского, во-вторых, актуализирует тему вынужденной эмиграции (бегства), заставляющей еще раз вспомнить о Герцене, в-третьих, перекликается с темой «мнимых изменников», развернутой в главе «Князь Игорь», что вновь сближает Володина с заключенными шарашки (в том числе с охотящимся за ним Рубиным, инициатором пародийного суда над героем «Слова о полку...»).

[21] Есенинская тема прихотливо связывает Руську, Володина и Нержина. Дабы поддержать репутацию осведомителя, Руська сообщает майору Шикину о принадлежащей Нержину книге Есенина. Не желая возвращать сборник, чекист глумливо спрашивает Нержина, на что «намекается» строками:

Розу белую с чёрной жабой
Я хотел на земле повенчать.

И слышит в ответ: «Очень просто <...> Не пытаться примирять белую розу истины с чёрной жабой злодейства!» (700). Ответ Нержина отсылает и к жизненной трагедии Есенина, и к искупительному подвигу Володина, который многим видится преступлением, и к невольному промаху Руськи, не подумавшему, каким злом может отозваться его затеянная с благородной целью *двойническая* игра.

[22] Легенды о святом Граале, «Фауст» (о финале которого вдохновенно и недоуменно размышляет Рубин), постоянно цитируемый Потаповым «Евгений Онегин», декабристские сюжеты (в их литературном преломлении, в том числе эпилог «Войны и мира»), «Ночь перед Рождеством» Гоголя и рождественские повести Диккенса (ассоциации с которыми вызваны временем действия), шедевры Дюма («Граф Монте-Кристо», читаемый Абрамсоном и Хоробровым, мушкетерская трилогия, введенная мотивом «Железной маски»), восхищающие Сологдина — по весьма специфическим причинам — романы Достоевского, отвергаемая Нержиным и любимая Рубиным проза Хемингуэя, «Молодая гвардия» Фадеева (обсуждение этого бестселлера занимало важное место в ранних редакциях и ушло в подтекст), «Далеко от Москвы» Ажаева и ряд иных сочинений так же плотно и значимо включены в структуру романа, как «Слово о полку Игореве», переписка Грозного с Курбским (и ее трактовки), программное стихотворение Жуковского, «Барышня-крестьянка», речь Тургенева «Гамлет и Дон Кихот», западноевропейский («бальзаковский») «роман карьеры» и поэзия Есенина, о которых — по необходимости бегло — говорилось выше.

Глава V

КОЛЕСО В КРУГЕ

Вопрос о присутствии в первом романе Солженицына его заветной книги, на первый взгляд, решается просто. Отвергнув предложение Веренёва, Нержин, по сути, провоцирует свое скорое изгнание из «первого круга». Главный герой романа предпочитает писательскую стезю (пусть ведущую сейчас в бездну ГУЛАГа) сулящей относительное благополучие, но иссушающей мозг математике; пишет же он книгу о русской революции. О том, что Нержин занят именно этим сюжетом, читатель узнает не сразу. Сперва автор сообщает, что беспорядок на рабочем столе, символизирующий «застывший ураган исследовательской мысли», был «чернухой», а «Нержин *темнил* по вечерам на случай захода начальства» (34). Затем в той же главе Рубин спрашивает друга «Ты — *своим* — занят?» (36). Местоимение указывает на *личный* характер занятий Нержина, но никак их не характеризует: в принципе «своим» может быть не только литературный труд[1]. Слушая Веренёва,

> Нержин думал о тех мелко исписанных листиках, которые так безмятежно было насыщать, обложась бутафорией, под затаённо-любящие взгляды Симочки, под добродушное бормотание Льва. Эти листики были — его первая зрелость.

Конечно, завиднее достичь зрелости в своём исконном предмете. Зачем, кажется, ему головой соваться в эту пасть, откуда и историки-то сами уносят ноги в прожитые безопасные века? Что влечет его разгадать в этом раздутом мрачном великане, кому только ресницею одной пошевельнуть — и отлетит у Нержина голова?

(59—60)

Теперь мы понимаем, что «листики» героя связаны с новейшей историей, но указания на конкретный период еще нет. Читатель, обращающийся к роману впервые, вполне может предположить, что Нержин пишет о собственном недавнем прошлом, о пути своего поколения, двигавшегося от юношеского энтузиастического идеализма через войну к сегодняшнему — лагерному — бытию, то есть нечто вроде повести «Люби революцию». Упоминание «мрачного великана» и исходящей от него смертельной угрозы такой гипотезе не противоречит: для советского государства поколенческая рефлексия «декабристов без декабря» так же опасна и преступна, как постижение большой истории, восстановление оболганной и мифологизированной реальности, которым захвачен Нержин. Точка над і ставится в разговоре Нержина с Сологдиным. Узнав об отказе друга от перехода в криптографическую группу, Сологдин спрашивает: «Но если тебя сейчас отправят в лагерь <...> как же будет с твоей работой по Новому Смутному Времени? (Это значило — по революции.)» (184). Вопрос наконец открывает читателю замысел Нержина и позволяет понять выбор героя. Там, где обыденное сознание видит противоречие (шарашка более благоприятна для творчества, чем лагерь, а Нержин готов ее покинуть), для опытных и непримиримых зэков его нет: разъяснения Нержина принимаются Сологдиным без возражений. На самом деле позиции собеседников далеко не тождественны. Свидетельством тому не только дальнейшее поведение Сологдина (согласие отдать властям шифратор, дабы таким образом выйти из тюрьмы), но и его первая реак-

ция на решение Нержина: «Ты ведёшь себя не как исчислитель, а как пиит» (179).

Нержин и дальше будет вести себя «как пиит», что точно соответствует центральной теме первого солженицынского романа — истории рождения писателя[2]. Эта скрытая тема определяет разработку обеих сюжетных линий романа — собственно нержинской и володинской (поэтически угадываемой Нержиным-персонажем в рождественские дни 1949 года и детально реконструируемой Нержиным-«автором» несколько лет спустя). Очевидно, что для романа о выборе писательской стези (осознании миссии) отнюдь не безразлично, каким сочинением герой-писатель занят[3]. Нержин, пишущий о русской революции, и Нержин, пишущий *нечто*, — качественно разные персонажи; подцензурная и полная редакции «В круге первом» никак не тождественные книги[4]: во второй присутствие будущего «Красного Колеса» гораздо значимее и никак не сводится к указанию на литературный замысел Нержина.

Наставления, которые Сологдин дает Нержину «на дровах», зачастую воспринимаются как конспект эстетики Солженицына. Если так, то возникает вопрос: почему эти суждения доверены не протагонисту, а его наставнику, как показывает дальнейшее повествование — сомнительному? Действительно, «способ узловых точек» (185) соответствует композиционному принципу будущего — составленного из Узлов — «повествованья в отмеренных сроках», только смотрят на эти самые «узловые точки» и «отмеренные сроки» персонаж и автор по-разному. Сологдин радуется, предположив, что Нержин «уже отказался сперва пятнадцать лет читать все книги по заданному вопросу», но для наставляемого им «пиита» решение это — вынужденное: «Отчасти — да, отчасти — где ж я их возьму?» Конкретизация полярных позиций происходит в споре о «тридцати красных томиках». Нержин убежден: «Понять Ленина — это понять половину революции. А где он лучше сказался, чем в своих книгах?» (184). Тут-то негодующий Сологдин

и предлагает «способ узловых точек»: «Охвати жизнь Ленина одним оком, увидь в ней главнейшие перерывы постепенности, крутые смены направлений — и прочти только то, что относится к ним. Как он вёл себя в *эти* мгновения? Тут — весь человек. А остальное тебе совершенно незачем» (185). Иными — чуть раньше прозвучавшими — словами говоря, «первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела! И мысль должна быть — своя!» (184). Нержин (и стоящий за ним Солженицын) вроде бы не отрицает важности «сильной» и «своей» мысли, но у него мысль эта должна вырасти из «материала». Найти «главнейшие перерывы постепенности» в жизни Ленина, конечно, необходимо, но для того потребно проштудировать «тридцать красных томиков <...> от корки до корки» (184). Так и будет позднее строиться (воссоздаваться) личность Ленина (а равно и всех других исторических персонажей — от Николая II до Троцкого) в «Красном Колесе». Здесь равно значимы установка на полноту знания (которая и позволяет найти «узловые точки», иногда многим казавшиеся сомнительными, отнюдь не поворотными) и внимание к *слову* героя, его зафиксированной источниками (сочинениями, эпистолярием, дневниками, мемуарами современников) речи, в которой человек (во всяком случае — «письменный», выделенный из молчаливого большинства) открывается не меньше, а то и больше, чем в своих действиях[5].

Отход Нержина от скептицизма (на сологдинском «языке предельной ясности» — «усугублённого неверия»), разумеется, ведет его к «свету истины», но иной, чем та, о которой говорит Сологдин. Старший герой полагает, что он-то (в отличие от мальчика Нержина) «душевно определился», но знание о «соотношении добра и зла в человеческой жизни» не мешает ему утверждать, что «проституция есть нравственное благо», а «в поединке с Пушкиным был прав Дантес», существовать «под закрытым забралом» и оправдывать отказ от прежде поставленной цели, который лишь «важно строжай-

ше обосновать» (180, 186)[6]. Предлагая Нержину сделать выбор (между добром и злом), Сологдин не понимает, что выбор этот уже сделан, и потому Нержин не соглашается с допускаемой Сологдиным возможностью отказа от цели: «Отказаться сейчас — может быть и навеки отказаться» (186). Цель Нержина — воссоздание истории, для которого необходимо и просто знание, и умение расслышать чужую мысль (не к одной лишь методике научной работы относится тезис Сологдина: «Сперва надо все мысли найти самому — и только потом сверять с книгами»! — 184)[7], и интуиция, связанная с возможностью доверия к человеку вообще. За пилкой дров друзья дважды вспоминают свою первую встречу. Сперва Нержин рассказывает, как, пораженный «иконным ликом» новоприбывшего зэка, тут же ему открылся и в тот же день, «наслушавшись <...> евангельских откровений», закинул «карамазовский» вопросик «что делать с урками?»[8]. Чуть позже Нержин возвращается к давнему эпизоду, так сказать, при свете методологии Сологдина: «Значит, когда я спросил тебя, что делать с урками, я, не предполагая, применил к тебе метод узловых точек?» (181, 185). Это, разумеется, шутка: Нержин не намерен писать биографию Сологдина, «узловую точку» он обрел случайно (и человек, и социум могут раскрыться, в частности, и в самый заурядный момент), да и «узловым» миг узнавания стал не для истории Сологдина, а для истории Нержина, его пребывания «в круге первом».

Ироничная реплика Нержина — один из предложенных автором ключей к поэтике романа. Действие «В круге первом» укладывается в «отмеренный срок» — трое декабрьских суток (с вечера субботы по ранний вечер вторника) 1949 года. Но этот якобы обыкновенный временной промежуток — скрытая «узловая точка» в истории шарашки и ее обитателей (как покидающих «круг первый», так и в нем пока остающихся). Из этой точки видны не только будни спецтюрьмы (впрочем, напоенные особым — рождественским — светом) и ее прошлое,

но и включенность «круга первого» в историю, его связь с иными кругами (адско-гулаговскими и формально *вольными*), его противоречивая роль в созидании (мысленном и действенном) будущего. Временная организация романа максимально близка тому принципу, что будет использован в Узлах «Красного Колеса»[9].

Солженицын приурочивает действие «В круге первом» к середине позднесталинского (послевоенного) периода[10], точно охарактеризованного поэтом, прошедшим войну, но странным образом избежавшим тюрьмы: «Конец сороковых годов — / сорок восьмой, сорок девятый — / был весь какой-то смутный, смятый. / Его я вспомнить не готов. // Не отличался год от года, / как гунн от гунна, гот от гота / во вшивой сумрачной орде. / Не вспомню, ЧТО, КОГДА и ГДЕ. // В том веке я не помню вех, / но вся эпоха в слове “плохо”. / Чертополох переполоха / проткнул забвенья белый снег. // Года, и месяцы, и дни / в плохой период слиплись, сбились, / стеснились, скучились, слепились / в комок. И в том комке — они»[11]. Это время якобы отмененной истории, когда любые события — скрытое военное противоборство с «мировым империализмом», формально передоверенное азиатскому союзнику, идеологическое изничтожение недавнего балканского союзника (и подготовка его устранения), проработочные кампании, разоблачение и уничтожение как рядовых, так и еще недавно сановных «врагов народа» и т. п. — лишены статуса событий. Они не имеют значения ни для кого, кроме очередных жертв, попасть в число которых может буквально каждый — от простого работяги до «всесильного» министра Абакумова. Ожидание собственной гибели разом мучительно страшно и — в силу полной иррациональности происходящего — параллельно «обычной» жизни. Так же, как и ожидание новой войны, приближение которой не подлежит обсуждению или даже называнию. О скорой третьей мировой (что сделает единым земное пространство и окончательно остановит время, превратит его в неизменную вечность) сообщает Абакумову и грезит наеди-

не с собой Сталин: «Начать можно будет, как атомных бомб наделаем...» (160). Об ужасе этой войны говорит Володину, словно подслушавший державного «ровесничка» (438) дядюшка Авенир:

> Но если сделают (атомную бомбу. — *А. Н.)* — пропали мы, Инок. Никогда нам свободы не видать.
>
> <...>
>
> — Да, это будет страшно... У них она не залежится... А без бомбы они на войну не смеют.
>
> (444)

Возникает эта тема в разговорах на шарашке. Но для обычных людей ее словно бы нет. История застыла. Будущее так же мертво, как настоящее.

Рубин, сохранивший настрой тридцатых годов с их интернационализмом и порывом в «последний и решительный бой», не знает, какие политические новости могут послужить перевоспитанию пленных немцев: «Но именно в декабре, кроме советско-китайских переговоров, и то затянувшихся, ну и кроме семидесятилетия Хозяина, ничего положительного как-то не произошло. А рассказывать немцам о процессе Трайчо Костова <...> было и стыдно, и не служило воспитательным целям» (27). Да и ничего «нового» (как-то меняющего положение дел) в этой фальшивой судебной инсценировке не было. Рубину остается тешить себя соображениями об исторической целесообразности происходящего да фиксировать на карте флажками продвижение армии Мао.

Ситуация типологически схожа с описанной в «Октябре Шестнадцатого», когда стали «привычными» война (и на фронтах, где не видно существенных перемен, и в тылу, где ухудшение быта воспринимается как неприятная норма), локальные забастовки, думские порицания правительства, заговоры, общее ощущение, что так дальше продолжаться не может, и столь же общее сознание, что так будет всегда. Солженицын выяв-

ляет огромную скрытую энергию как в мнимой тишине последней имперской осени[12], так и в беспросветной ночи советской зимы. Декабрь Сорок Девятого — Узел российской истории: что-то в ней сдвинулось, если стали возможными два «неприметных» события (с точки зрения здравого смысла, безумных и самоубийственных) — звонок Володина и выбор Нержиным писательской миссии. Об этом говорит Нержин рационалисту Герасимовичу, противопоставляя «слово», что «разрушит бетон», невозможному (во всех смыслах) военному перевороту[13]. «Здесь — тайна. Как грибы по некой тайне, не с первого и не со второго, а с какого-то дождя — вдруг трогаются всюду. Вчера и поверить было нельзя, что такие не́роды могут вообще расти, — а сегодня они повсюду! Так тронутся в рост и благородные люди, и слово их — разрушит бетон» (653).

Диалог Нержина и Герасимовича происходит «на задней лестнице»: «На всех стенах таились, густились невидимые картины крепостного художника» (646). Если выбор места для рискованной беседы мотивирован конспираторскими навыками персонажей (как быстро понимают они сами, довольно сомнительными), то упоминание картин может показаться если не излишней, то проходной, неработающей, деталью. Это не так: творенья Кондрашёва-Иванова имеют прямое отношение и к разговору Нержина с Герасимовичем, и к скрытому присутствию заветного замысла Солженицына в его первом романе.

Картины Кондрашёва вызывают недоумение не только у сановных вертухаев, но и у искренне расположенного к художнику Нержина: «Зачем у вас так часто рыцари и рыцарские принадлежности? Мне кажется, вы переходите меру, хотя, конечно, Мите Сологдину это нравится. Девчёнка из химобороны у вас — рыцарь, медный поднос у вас — рыцарский щит...» В ответ художник произносит страстную речь: «А к о г о не хватает нашему веку? Членов партий? Нет, уважаемый, — не хватает *рыцарей*!! При рыцарях не было концлагерей! И душегу-

бок не было!» (331). Монолог точно соответствует предшествующим экфрасисам работ Кандрашёва, рассказу о его рыцарском служении искусству, его эстетическим суждениям, неотделимым от суждений этических. Кондрашёв захвачен *сильной* и *своей* мыслью — его созданья открывают истинную, как мнится художнику, реальность, которую исказили дурные живописцы (и видимо, такие же деятели, подвизающиеся в других искусствах), заморочив голову неопытным зрителям. «Поймите, публика поддалась Левитану! Вслед за Левитаном мы привыкли считать нашу русскую природу бедненькой, обиженной, скромно-приятной. Но если бы наша природа была только такая, — скажите, откуда бы взялись у нас самосжигатели? стрельцы-бунтари? Пётр Первый? декабристы? народовольцы?» (329). Их-то, «рыцарей», не слишком вдумываясь в различия «сильных» деятелей и в связанные с ними опасности, и хочет воззвать к жизни художник, властно преображая пейзажи, лица, предметы, ставя «над Добром и Злом» «пятиэтажные буквы» (330). Потому и заветная его картина — вырастающий над бездной, парящий «в ореоле невидимого сверх-Солнца сизый замок святого Грааля», что вдруг открылся всаднику-рыцарю (332).

Кондрашёв-Иванов пишет вожделенное обретение духовной вертикали. И даровано оно рыцарю. Солженицын откроет «Красное Колесо» скрыто трагическим мотивом утраты вертикали — юные герои удаляются от нерукотворного чуда, великого Кавказского хребта. Позднее вертикаль (видение гор, звездное небо) будет открываться некоторым персонажам «повествованья в отмеренных сроках» — в их лучшие и/или роковые минуты. Но из мира, ввергнутого в войну, за которой логично последует революция (переворот), вертикаль уходит[14]. И рыцарям не дано ее восстановить. При рыцарях не было лагерей и душегубок, но последние рыцари не смогли спасти от них мир. «Старомосковский» богатырь (рыцарь в русском изводе) Самсонов становится одним из виновников постигшей армию катастрофы,

что в истории получила его имя. В «Октябре Шестнадцатого» Воротынцев слышит от генерала Нечволодова, что революция «у ж е п р и ш л а!».

И стоял против неё готовный рыцарь. Но — не звали его на помощь. Да и сам меч его был в землю врыт, и никакой руки не хватило бы вытащить его.

А если б и вытащить — так сгнил он остриём.

(X, 438)

Эту мизансцену, предсказание Нечволодова, поведанную им историю о несостоявшемся заговоре монархистов, надеявшихся спасти Россию от революции, но не сумевших донести свое слово до Государя, Воротынцев вспоминает в финальной главе «Апреля Семнадцатого», когда победный разлив революции стал бесспорной явью:

Вот тут, позади близко, за этими деревьями, впечатывал Нечволодов: революция у ж е п р и ш л а! Она который год нас разносит — а мы всё не действуем.

Как говорили встарь: богомужественный воин.

(XVI, 558—559)

Не касаясь пока проблемы заговора «верных», отмечу, что на челе «богомужественного воина» лежит печать обреченности. Рыцарь и его бесспорно благородные чаяния анахронистичны, неуместны, а потому и бессильны в той реальности, которая дана людям эпохи мировой войны и революции. Это касается и отчетливо эстетических (с сильным налетом стилизации) монархических проектов Ольды Андозерской, знатока и ценителя средневековой культуры. Потому Воротынцев не может вполне подчиниться наставлениям возлюбленной и почитаемого генерала.

Тот же флер стилизации окутывает картины (и чаяния) Кондрашёва-Иванова. А от стилизации недалеко до игры: недаром рыцарская эстетика импонирует Солог-

дину с его двусмысленным (как выясняется) отношением к России и человеческому долгу, но неизменно афишируемым аристократизмом[15]. При глубокой симпатии к Кондрашёву, частичном признании его безусловно *сильной* и *своей* мысли, Нержин (и стоящий за ним автор) не верят в спасительность рыцарского искусства. Как не верят в аристократов, иные из которых подобны Сологдину, а иные — Яконову[16].

И точно так же не верят они в избранников иного рода, тех, кто владеет точным знанием, способен точно оценить вызовы изменившегося времени, готов ответственно рационализировать жизнь, изломанную долгим лихолетьем (всеобщим помрачением разума). Не кто иной, как Солженицын напишет в «Августе Четырнадцатого»: «Лишь это узкое братство генштабистов да ещё, может быть, кучка инженеров знали, что весь мир и с ним Россия невидимо, неслышимо, незамечаемо перекатились в Новое Время, как бы сменив атмосферу планеты, кислород её, темп горения и все часовые пружины» (VII, 112). Внутренний монолог Воротынцева сплавлен здесь с авторской речью, дума же, которой писатель наделил своего любимого героя, не сводится исключительно к вопросу о правильном ведении войны. Война — во-первых, несчастье (Воротынцев, пройдя Самсоновскую катастрофу, к такому выводу приблизится), а во-вторых — частность. Ибо если война не завершится национальной катастрофой (как случилось в 1917 году), то за ней придет мир, требующий тех самых новых строительных стратегий, что открылись, увы, очень немногим. Об этом в другом эпизоде Первого Узла беседуют инженеры Архангородский и Ободовский. Последний не только разворачивает впечатляющие картины будущего страны, но и утверждает:

...Союз русских инженеров мог бы легко стать одной из ведущих сил России. И поважней, и поплодотворней любой политической партии.

— И принять участие в государственном управлении?

— Да не прямо в государственном, собственно власть нам ни к чему <...>

...Деловые умные люди не властвуют, а созидают и преображают, власть — это мёртвая жаба. Но если власть будет мешать развитию страны — ну, может, пришлось бы её и занять.

(VIII, 440)

Разговор продолжается за обедом, в присутствии революционно настроенных молодых людей, которым равно ненавистны планы промышленного развития России (ведущего к обогащению эксплуататоров) и патриотизм, который «в этой стране <...> сразу становится погромщиной!» На обвинения дочери Архангородский, отнюдь не забывший ни о своем еврействе, ни о зле антисемитизма, отвечает:

— И всё равно... и всё равно... Надо возвыситься... И уметь видеть в России не только «Союз русского народа», а...

Воздуха не хватало или кольнуло, но в паузу легко поддал Ободовский:

— ...а «Союз русских инженеров», например.

Молодые не слышат, Соня Архангородская кричит о «чёрной сотне». И выведенному из себя отцу остается одно — предъявить страшную альтернативу:

Дрожа голосом, двумя ладонями, на рёбра поставленными, Илья Исакович показал:

— С этой стороны — чёрная сотня! С этой стороны — красная сотня! А посредине... — килем корабля ладони сложил, — десяток работников хотят пробиться — нельзя! — Раздвинул и схлопнул ладони: — Раздавят! Расплющат![17]

(VIII, 449)

Так и случилось. Не удалось офицерам-«младотуркам» и «Союзу русских инженеров» вывести Россию из войны, уберечь от революции, обеспечить ее процве-

тание. Вот и пришлось Ободовскому занять позицию в новой власти (оказавшейся хуже старой), ощутить бесплодность своих попыток делать дело и с ужасом признаться, что за два послереволюционных месяца «и весь наш рабочий класс... И весь народ наш... показал себя тоже саранчой» (XVI, 124). А Воротынцеву — уповать на близящийся съезд офицеров: «Сколь бы мало нас ни сплотилось, — ни это правительство, ни Совет не отнимут у нас последнего права: ещё раз побиться» (XVI, 559). Этого — не отнимут. Но и отстоять Россию не дадут.

Не в том дело, что не было в предреволюционной России порядочных, мужественных, умных, смелых, ответственных людей. Были — и не только горячо любимые Солженицыным Воротынцев и Ободовский. Дело в том, что как революции начинаются *не* в результате заговоров, так они заговорами и *не* останавливаются. При общем нестроении шансы «десятка работников» минимальны, а их попытки встать у власти (или близ нее) самоубийственны: либо в прямом смысле, либо в переносном — когда благородный и ведомый лучшими намерениями человек невольно начинает служить черному делу. Даже если происходит смена власти.

Об этом Нержин («Воротынцев 49-го») говорит «на задней лестнице» Герасимовичу («Ободовскому 49-го»), полагающему, что потенциальный «союз русских инженеров» («техно-элита») может «обыкновеннейшим дворцовым переворотом» (650) спасти Россию и мир.

Не рассматривая подробно всех смысловых пересечений этого спора с «Красным Колесом», подчеркну два важных и взаимосвязанных обстоятельства. Герасимовичу возражает историк (и писатель), для которого принципиально значим как трагический опыт вполне конкретной русской революции, так и общая — вседашняя — сложность социального бытия. Для него состоящий «из одних недочётов» проект Герасимовича — «урок нашему физико-математическому надмению: что общественная деятельность — тоже специаль-

ность, да какая! Бесселевой функцией её не опишешь!» (651). Герасимович же, игнорирующий трагическую суть всего исторического процесса вкупе со сравнительно недавним опытом[18], был подвигнут на свой проект рассказом Кодрашёва-Иванова о картине Корина «Русь уходящая», о которой сам рассказчик знает «с чужих слов» (535).

Герасимович увидел картину Корина «резко, как сам написал» (536), но открылось ему то, о чем говорил Кондрашёв, в рассказе которого интерпретация таинственного полотна не менее важна, чем описание запечатленных на нем людей. Сказав о «светящихся старорусских лицах мужиков, пахарей, мастеровых», исчислив других многочисленных и несхожих героев Корина, Герасимович подводит итог: «Самое страшное, что эти люди никак не сгруппированы. Распалась связь времён! <...> Они у х о д я т... Последний раз мы их видим...» (535). Это значит: той Руси-России, что когда-то была, больше нет.

Именно эту идею картины предъявляет Герасимович Бобынину: «На Руси были консерваторы, реформаторы, государственные деятели — их нет». Перечислив прочих «бывших», герой итожит: «...никого, никого их нет. Мохнатая чёрная лапа сгребла их всех за первую дюжину лет. Но один родник просочился черезо всю чуму — это мы, техно-элита. Инженеров и учёных, нас арестовывали и расстреливали всё-таки меньше других. <...> Мы занимались природой, наши братья — обществом. И вот мы остались, а братьев наших нет. Кому ж наследовать неисполненный жребий гуманитарной элиты — не нам ли?» (585).

Недоговоренное Бобынину Герасимович скажет Нержину. Отнюдь (повторю) не случайно в ателье Кодрашёва-Иванова, в присутствии его невидимых в темноте, но сущих (почти как коринская «Уходящая Русь») картин. И столь же закономерно Нержин в этом разговоре с раздражением вспомнит замок святого Грааля и всадника, который будто бы «доскакал и узрел — ерунда! Никто

не доскачет, никто не узрит!» (652). Это не отрицание идеала, но отказ от утопического целеполагания, игнорирующего таинственную суть истории и сложность человеческой личности. Для Герасимовича и Кондрашёва Русь навсегда ушла, история кончилась, связь времен порвалась. Ее невозможно восстановить (вернуть исчезнувшие лица) — уповать надлежит на избранников, что волевым усилием создадут из сегодняшнего «ничего» грандиозное и прекрасное «нечто». То же — с небольшими поправками — можно сказать о двух других героях-идеологах, Сологдине и Рубине. Надежды Герасимовича связаны с «техно-элитой», Кондрашёва — с рыцарством, Рубина — с «настоящими» коммунистами, Сологдина — с аристократами (по происхождению, духу, интеллекту), которые смогут «под закрытым забралом» и, коли потребуется, откинув принципы, перехитрить и одолеть хамов.

Мотив «союза избранников» в романе многообразно варьируется: кроме «рыцарей» и «техно-элиты» это насельники Дантова лимба, с которым сравнивается шарашка, «розенкрейцеры» (шутливое именование математиков, розенкрейцерский соблазн преодолевает Нержин, отказавшись работать с Веренёвым), декабристы (Агния терпеть не может толстовскую Наташу, которая Пьера «не пустит в декабристы»; о невозможности повторить в советских условиях «декабристок» говорит в Лефортове жена Герасимовича; Кондрашёв — потомок декабриста, за которым в Сибирь последовала возлюбленная; в пушкинско-декабристской тональности описывается празднование нержинского дня рождения... (23, 61, 172, 268, 327, 403—404). Эти то сближающиеся, то расходящиеся смысловые отражения братства свободолюбцев и «граждан мира», которых, по слову Нержина, обыгрывающему подлый советский штамп «борьба с космополитизмом», «правильно посадили» (33), дороги Солженицыну, посвятившему роман *«друзьям по шарашке»*. Но удовольствоваться любым подобием (сколь угодно широким

и благородным) «круга первого» писатель не может. Как его герой, фактически провоцирующий свое изгнание из марфинского «почти рая» (719).

Споря с Герасимовичем, Нержин настаивает на необходимости выхода из «круга первого», восстановления порвавшейся связи времен, возвращения тех лиц, что, согласно трактовке Кондрашёвым и Герасимовичем картины Корина, ушли навсегда. Этому восстановлению неуничтожимого прошлого будет посвящена книга Нержина — романный аналог «Красного Колеса». Но Нержин говорит Герасимовичу не о себе или, по крайней мере, не только о себе, он употребляет множественное число: «тронутся в рост <...> благородные люди». Откуда эта уверенность? Разгадку подсказывает ответная — совершенно справедливая — реплика Герасимовича: «Прежде того понесут ваших благородных кузовами и корзинами — вырванных, срезанных, усечённых...» (653). Так заканчивается 90-я глава («На задней лестнице»), в заглавье следующей стоит самая известная дантовская строка — «Да оставит надежды входящий»; речь в ней идет об аресте и первом (никак не в шарашечном смысле!) круге тюремных мытарств Володина.

Что заставило преуспевающего дипломата шагнуть из своего первого — здесь в советско-номенклатурном смысле — круга, пойти «торпедой» на чудовищный советский «линкор» (15)? Простое открытие: не только жизнь, «но и совесть даётся нам один только раз» (434). Что привело его к этому открытию? Проснувшееся *сыновнее* чувство, заставившее обратиться к архиву матери. Дневники мамы и письма ее подруг открыли Володину неведомый мир, неведомый язык, неведомые нравственные ценности: «Они всерьёз писали с больших букв: Истина, Добро и Красота; Добро и Зло; этический императив» (431)[19]. Фотоальбомы, театральные программки, газеты, «стихи неведомых поэтов», «безчисленные книжечки журнальных приложений» явили Иннокентию домашним образом исчезнувшую Россию «последнего предреволюционного десятилетия» (432).

И заставили думать о том, что с ней случилось. И что происходило со страной дальше. И что происходит с ней сейчас. Встреча с тверским дядюшкой довершила воспитание чувств — не столько рассказами о сегодняшней жизни обычных людей и «отмененном» советском прошлом, сохранившемся в развешенных по стенам газетах да дядюшкиной памяти, сколько тремя вопросами. Один задал Иннокентий, выслушав рассказ о расстреле демонстрации, пытавшейся поддержать Учредительное собрание, и разгоне этой самой *учредилки* матросиками с пистолетами и в лентах:

— И мой отец?!

— И твой отец. Великий герой Гражданской войны. И почти в те самые дни, когда мама... уступила ему... Они очень любили лакомиться нежными барышнями из хороших домов. В этом и видели они сласть революции.

(447)

Но дядюшка не только ответил, но и задал два вопроса. Первый, повторяющий Герцена, — обращенный к каждому человеку: «Почему любовь к родине надо распространять и на всякое её правительство? Пособлять и дальше ему губить народ?» (441). Второй — тоже общечеловеческий, но насыщенный для Володина очень конкретным и интимным смыслом: «А ты никогда не ощущал правоту этой истины: грехи родителей падают на детей?.. И от них надо отмываться?» (447). Вопросы слились с еще одним, не заданным дядюшкой, но навеянным разговором с ним: что будет, если «они» все-таки сделают атомную бомбу? Дядя считал, что это невозможно, но коли случится, «никогда нам свободы не видать» (444). Узнав, что бомбу на днях украдут, Володин отвечает на проклятые вопросы звонком в американское посольство, выходит не только из элитного «круга первого», но и из того, что чертил Кларе «на просторе», еще до поездки в Тверь: «Вот видишь — круг? Это — отечество. Это — первый круг. А вот — второй. — Он захва-

тил шире. — Это — человечество. И кажется, что первый входит во второй? Нич-чего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже — колючая проволока с пулемётами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества — нет. А только отечества, отечества, и разные у всех...» (313). И грехи отцов, за которые должно платить. Этой притче о себе предшествует неожиданное признание Володина, напоминающее суждение Кондрашёва о «Руси уходящей», как и оно, варьирующее роковое открытие Гамлета: «Жизнь — распалась» (312). Восстановление связи времен и восстановление единой жизни — две стороны одной задачи.

Нержин-персонаж ничего не знает о человеке, звонившем в американское посольство. О нем знает Нержин — скрытый автор романа «В круге первом», Нержин, поэтически угадавший неизвестного, наделивший его именно такой биографией, такими семейными связями, такими чувствами и думами, увидевший в нем своего «брата». Он делает неведомого дипломата своим ровесником: Нержин празднует тридцатилетие, Володин на Лубянке трижды отвечает на протокольный вопрос: «Год рождения? — Тысяча девятьсот девятнадцатый» (665, 671, 680). Володин буквально «рожден революцией»; о происхождении Нержина в романе не сообщается, но стоящий за героем Солженицын, безусловно, понимал, что мезальянс его родителей (пусть не столь разительный, как у матроса и барышни из хорошей семьи, пусть выросший из истинной любви, а не из большевистской нахрапистой причуды) если не прямо обусловлен бурей 1917 года, то многим ей обязан (этот мотив ощутим в «Апреле Семнадцатого»). Как и Нержин, Володин в 1949 году сирота. Для того чтобы искупить грех отца, потребен не разрывный отказ от него (что может быть передано примерно так: «я не отвечаю за это погубившее мою мать и мою родину чудовище»), но глубокое сыновнее чувство. Не меньшее, чем у тех, кому посчастливилось родиться в достойной семье, а платить доста-

лось только лишь за грехи отечества (от которых, как известно, тоже совсем нетрудно отмахнуться). Приводит же Нержин угаданного (сотворенного) им Володина к провалившемуся, но наделенному огромным духовно-историческим смыслом подвигу *своим* путем — через восстановление связи времен, воссоздание и осмысление истории семьи, слитой с историей страны. Той *продолжающейся* истории, узловую (поворотную) точку которой автор романа «В круге первом» смог разглядеть в застывшем безвременье 1949 года. Весьма вероятно, что благодаря неизвестному, которого должны были выявить узники «круга первого». Пройдя гулаговский ад, Нержин тоже *выявляет* этого неизвестного — воскрешает писательским словом того, кто, казалось бы, бесследно сгинул в бездне. И это не отступление от заветного замысла (книги о русской революции), но внутренне необходимый шаг к его воплощению. Роман «В круге первом» строится на сложном переплетении нержинской (автобиографической) и володинской (созданной писательским воображением) линий, рассказов о том, как люди, «рожденные революцией» и оставшиеся сиротами, историю ищут, восстанавливают и стремятся вывести из якобы предопределенного небытия. Не прихоть автора, спешащего «проговорить всё», но внутренняя логика текста — его смыслообразующая тема и рожденная ею поэтика — обусловливает постоянное появление в романе «В круге первом» ключевых проблем, мотивов, психологических, исторических, философских контраверз и даже (в какой-то мере) героев «Красного Колеса».

И последнее. Уже не о «колесе в круге», но о «круге в колесе».

Пути последнего ночного провожанья часто ложились через Александровский сад.

Как-то Ксенья сказала:

— Здесь я люблю гулять. Во время самой революции тут гуляла.

А уже вот недавно, изменясь голосом:

— Я здесь... мечтала... Смотрела на маленьких детишек, и...

Призналась.

Но ведь и Саня хотел — именно! именно сына!

И открылось говорить о нём — как уже о сущем.

О непременном нашем...

Помолившись в Иверской часовне Божьей Матери о соединении «прочно и навсегда», юная чета вновь идет мимо Александровского сада:

И опять — о том же, о нашем.

Как они будут жить — для него.

Как будут его воспитывать. Вкладывать всё лучшее. Доброе.

<...>

Война, — но от любви, от веры в продолжение жизни — такая крепость!

Есть ли что-нибудь на свете сильнее — линии жизни, просто жизни, как она сцепляется и вяжется от предков к потомкам?

(XVI, 367, 369)

Завершая «Красное Колесо» роковым «Апрелем Семнадцатого», писатель ввел в этот Узел мотив чаемого рождения сына Ксеньи Томчак и Сани Лаженицына. Думаю, здесь позволительно, нарушая литературоведческие приличия, сказать: Солженицын написал о своем будущем рождении. О рождении мальчика, которому не дано будет увидеть отца, у которого будет совсем не такое детство, что грезилось его родителям, которому выпадут все главные злосчастья русского XX века. Этот мальчик впитает то доброе, чем держится могучая линия жизни, и поведает миру историю своей семьи и своей страны — напишет «Красное Колесо». Мне видится здесь отчетливая перекличка с романом о том, как этот (в «Апреле Семнадцатого» еще не родившийся) выросший и много горя изведавший мальчик в непроглядной советской ночи обрел свой путь — покинул «круг первый», чтобы стать писателем.

Примечания

[1] Ср. сходную неопределенность в рассказе «Матрёнин двор»: «По ночам, когда Матрёна уже спала, а я занимался за столом <...> Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал своё в тишине избы...» (I, 121, 132); подробнее в главе II этой книги «Русская словесность на Матрёнином дворе».

[2] Подробнее в главе «Жизнь и поэзия в романе “В круге первом”».

[3] Так судьба булгаковского мастера определяется романом о Понтии Пилате, а Годунов-Чердынцев вполне становится собой не после дебютного сборника стихов или даже биографии Чернышевского, «заместившей» ненаписанную историю отца, но в процессе работы над книгой, которую можно отождествить с самим «Даром». Подобные — обнаруживающиеся в финалах — отождествления истории сочинения (или якобы несочинения) какой-то книги, посвященной жизни героя-автора, с явленным читателю текстом определяют смысловую структуру таких значительных и разных романов конца XX века, как «Ожог» Василия Аксенова, «Время и место» Юрия Трифонова, «Андеграунд, или Герой нашего времени» Владимира Маканина, «Закрытая книга» Андрея Дмитриева. Усматривать здесь исключительно влияние Набокова, на мой взгляд, значит существенно упрощать общее движение новейшей русской литературы. Так в одной из «вставных новелл» романа Дмитриева (измысленных, как и все остальные, героем-рассказчиком, который и претворяет свою и чужие судьбы в «Закрытую книгу») умирающий филолог Плетенев (наделенный распознаваемым сходством с Тыняновым) размышляет о хозяевах страны, что «возомнили себя бессмертными». «Но тут они оплошали. Смерть не род наказания и болезнь не род наказания, скорее род назидания. Они поймут это вполне, когда окажутся в этих больничных садах и в душных, дурно пахнущих, натемно занавешенных палатах... “А ведь сюжет <...> И не случайный ведь, неизбежный сюжет. Кто-нибудь не-

пременно сочинит роман или пьесу на этот сюжет... лучше роман. Пусть не сейчас сочинит, пусть потом... а жаль, что не прочту"». Маловероятно, что реальный Тынянов в предсмертном бреду разглядел будущего «неведомого романиста <...> со шкиперской бородкой» и «веселым и подвижным лицом» и дал ему несколько советов для будущей книги о «болезни как назидании» и неторном пути к выздоровлению. Да и умирал Тынянов от рассеянного склероза, а не в «раковом корпусе», который прямо (для не слишком понятливого читателя) упомянут в этом эпизоде; см.: *Дмитриев Андрей.* Закрытая книга. М., 2000. С. 19—20. Но органичная связь тыняновского романа о бессмертии Пушкина (и всякого поэта) и спасительной силе поэтического слова с прозой Солженицына (отнюдь не одним только «Раковым корпусом») увидена и запечатлена совершенно точно.

4 В предназначенной для подсоветского издания «лекарственной» редакции романа Солженицын был вынужден не только изменить сюжет, но и скрыть страсть Нержина к познанию истории (и существенно ослабить тему прошлого в володинской линии). В результате мотивная система подцензурной версии романа оказалась менее плотной, чем в окончательном тексте, в частности связь нержинской и володинской линии оказалась почти не прописанной, а роль Нержина как «автора» романа (художника, разгадавшего побуждения Володина и воскресившего в слове этого сгинувшего в бездне человека) отменилась вовсе. Я не касаюсь здесь ни вопроса о том, какие смысловые приращения (наряду с очевидными утратами) возникли в редакции «лекарственной», ни тех изменений в тексте, что появились в 1968—1969, а затем и в 1978 гг.: *«...восстанавливая, я кое-что и усовершил: ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят»* (7).

5 Уместно здесь напомнить о той огромной роли, что отведена в «Красном Колесе» несобственно-прямой речи как исторических, так и вымышленных персонажей.

6 Так уже при первом появлении Сологдина обосновываются его дальнейшие метаморфозы. В ночном споре с Ру-

биным Сологдин, отодвинув «забрало», клеймит Александра Невского, не допустившего «рыцарей в Азию, католичество — в Россию», называет «святую Русь» (его прежнее определение) — «косопузой страной» и «страной рабов» и провоцирует решение своего противника (тоже приверженца «сильной» и «своей» мысли) «завтра с раннего утра припасть, принюхаться к следу этого анонима-негодяя, спасти атомную бомбу для Революции». Мотивированный тем же яростным спором (и прямо противоположный по политическому смыслу) выбор Сологдина — «не давать им шифратора! не давать» — окажется временным: рискованно сыграв с Яконовым, инженер соглашается за пять недель (и даже за месяц) сделать «полный эскизный проект с расчётами в объёме технического» (506, 508, 509, 571). Володина, вероятно, схватили бы и без помощи умников из шарашки, но споспешествует его выявлению (аресту, низвержению в ад) взаимная ненависть Сологдина и Рубина, подчиненных *своим* идеям, не желающих слышать друг друга (признавать в противнике человека со *своей* мыслью) и видеть мир в его многомерной сложности, превосходящей любые отвлеченные «правды». Такой мир открывается художнику, и потому Нержину дано не поймать предателя, не подстегнуть рвение в этом (или ином столь же постыдном) деле своего друга, но разгадать тайну человека, звонившего в американское посольство.

[7] Солженицын отлично знал противоположное искушение. В рассказе о юношеском чтении Сани Лаженицына («Август Четырнадцатого») трудно не ощутить автобиографическую ноту: «Он запутался в изобилии истин, он измучился от убедительности каждой из них. Пока было мало книг в руках, Исаакий твёрдо и хорошо себя чувствовал, с седьмого класса он считал себя толстовцем. Но вот дали ему Лаврова с Михайловским — как будто правильно, очень верно! Плеханова дали — опять-таки верно, да гладко, да кругло как! Кропоткин — тоже к сердцу, верно. А распахнул “Вехи” — и задрожал: всё напротив читанному прежде, но — верно! пронзительно верно!» (VII, 27).

[8] Между прочим, не только Нержин поверил в Сологдина (сразу увидел в нем лучшее, осложненное, но не отмененное дальнейшим общением персонажей), но и Сологдин — в Нержина. Хотя был тогда «поражён <...> опрометчивостью» нового знакомца, а в пору основного действия досадует: «Очень дурно, если меня легко прочесть. В лагере надо казаться заурядным» (181). Принципы принципами, но «опрометчивое» признание было взаимным, выросшая из него дружба — истинной. И Сологдин, и Рубин (пожалуй, в еще большей мере) не исчерпываются своими «сильными мыслями» и продолжающими их поступками (сюжетными функциями).

[9] Кажется, это относится и к поэтике в целом: резко педалированная полифония (подробно проговоренные «правды» многочисленных героев-идеологов), постоянная мена стилевых регистров, неожиданные пересечения судеб персонажей, взаимосвязь *частного* и *исторического* планов, не говоря уж о теме рождения писателя (и его книги). Что же касается неизменной приверженности Солженицына к «временной концентрации» повествования, то должно подчеркнуть: прием этот в разных текстах служит решению разных художественных задач. В «Одном дне Ивана Денисовича» важно парадоксальное соединение типичности («Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...») и неповторимости каждого из заурядных дней, внутренней насыщенности якобы бессобытийного времени. Ясно, что не каждодневно Шухову выдавалось столько «удач» (114) и тем более, что эти очень конкретные «удачи» не могли точно повторяться. Другие его дни были насыщены иными «малыми» событиями, но пустых вовсе не было, ибо жизнь не терпит пустоты. В «Матрёнином дворе», где описана вся история отношений героини и рассказчика (немногим больше полугода) существенны смены повествовательного темпоритма, переходы от цикличной мнимой бессобытийности (еще более,

чем в «Одном дне...», ориентированной на фольклор) к убыстрению хода времени в сюжетообразующих фрагментах, причем эти перепады присущи как финальному этапу истории Матрёны, свидетелем которого был Игнатьич, так и всей ее жизни. Ср. «беглые» рассказы Матрёны о ключевых событиях ее судьбы (любовь Фаддея, его уход на войну, замужество, возвращение Фаддея, смерти детей Матрёны, обретение Киры, уход на войну Ефима...) и фольклоризированные характеристики *бессобытийного* времени: «Да. Да... Понимаю... Облетали листья, падал снег — и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег»; «И шли года, как плыла вода...» (I, 133, 135). «Отмеренные сроки» «Ракового корпуса» не только сравнительно с другими вещами растянуты, разделены (значимая временная лакуна между первой и второй частями), но и усложнены параллельным (но лишь с определенного момента!) движением историй двух персонажей — Русанова и Костоглотова: здесь Солженицыну важна в первую очередь процессуальность, фиксация изменений, происходящих (или не происходящих) с героями и стоящей за ними страной (то ли выздоравливающей, то ли довольствующейся паллиативами и самообманом). Временной минимализм рассказов о единичном событии, «случае» мотивирован их сюжетной спецификой. Первое слово в заголовке «Случай на станции Кочетовка», безусловно, семантически нагружено, именно о «случаях» повествуется и в других опытах ранней «короткой» прозы Солженицына (терминологическая традиция подсказывает здесь слово «новелла», писатель, однако, понимал его иначе). Время, в которое укладывается «взрывной» сюжет, здесь сжимается в двое суток («Для пользы дела»), несколько часов («Случай на станции Кочетовка»), примерно полчаса («Правая кисть») или даже несколько минут («Как жаль»).

[10] Восьмилетия, если вести отсчет от победной «тюремной томительной весны», что «стала расплатной весной <...>

поколения» Солженицына (IV, 216). Семилетия — если считать от лета-осени 1946 года, когда с военными и интеллигентскими вольностями было бесповоротно покончено.

[11] *Слуцкий Борис.* Собр. соч.: В 3 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 2. С. 322.

[12] Открывающая второй том Второго Узла (то есть композиционно и даже полиграфически маркированная) 38-я глава начинается словами: «Двадцать пятого октября после полудня...» (X, 9) — до захвата власти большевиками остался ровно год.

[13] Параллель «несостоявшиеся заговоры 1916 года — план Герасимовича» будет рассмотрена ниже.

[14] Подробнее см. в главе «Она уже пришла: “Август Четырнадцатого” (вторая часть предлежащей книги).

[15] Характерно, что, восхищаясь Достоевским, Сологдин вспоминает в первую очередь героев не только таинственно темных, зловещих, но и с выраженной аристократической (барской) статью: «Ставрогин! Свидригайлов! Кириллов! (сверхчеловеку-разночинцу отведено лишь третье место. — *А. Н.*) — что за люди?» (180).

[16] О «двойничестве» этих персонажей см. в главе «Жизнь и Поэзия в романе “В круге первом”. В укоризнах, которые бросает Сологдину Рубин, звучит не только ярость фанатичного коммуниста: «Страна вам плоха! А не вы, богомольцы и прожигатели жизни, довели её до Ходынки, до Цусимы, до Августовских лесов?» (прямая отсылка к будущему Первому Узлу «Красного Колеса»). Что не отменяет частичной правоты в ответной не менее гневной реплике Сологдина: «Ах, уже за Россию вы болеете, убийцы? <...> А не вы её з а р е з а л и в семнадцатом году» (174—175, 563—572, 506).

[17] Выше на вдохновенную речь Ободовского о грядущем освоении северо-востока и подъеме России, население которой может к середине XX века составить «триста пятьдесят миллионов», Архангородский отзывается печальной репликой, готовящей его отчаянное пророчество: «Это в том случае <...> если мы не возьмёмся выпускать друг другу кишки». Необходимо отметить, что диалог отца и дочери

Архангородских слышит Сонина «гимназическая подруга Ксенья» (VIII, 441, 442), то есть литературная ипостась матери Солженицына. Она не произносит ни слова, но ее присутствие в этой сцене принципиально важно: так Солженицын указывает на свою интимную (семейно-домашнюю) причастность былым спорам, которым еще не раз суждено повториться в других исторических контекстах.

[18] Ср. выразительное обобщение в отповеди Нержина: «Да, мерзок наш режим, но откуда вы уверены, что у *вас* получится лучше? А вдруг — хуже? Оттого, что вы хорошо хотите? А может, и до вас хотели хорошо? Сеяли рожь, а выросла лебеда!.. Да чего там наша революция! Вы оглядитесь на... двадцать семь веков! На все эти виражи безмысленной дороги...» (651).

[19] Ср. требования Кондрашёва-Иванова.

Глава VI

ДЕВЯТЬ ЭТЮДОВ К МОНОГРАФИИ О ПОВЕСТИ «РАКОВЫЙ КОРПУС»

По сюжетной организации «Раковый корпус» резко отличается от романа «В круге первом» (написанного раньше, но обретавшего окончательную редакцию по завершении работы над повестью — 1968). Если в романе сцепление историй никогда не видевших друг друга Нержина и Володина строит собственно сюжет, то контрастные линии главных героев повести — Костоглотова и Русанова — идут строго параллельно. Испытывающие взаимную неприязнь персонажи многажды резко спорят, но сюжетного взаимодействия между ними *не* происходит, ни тот ни другой не вмешиваются в жизнь антагониста (так, Русанов, владея «материалом», дважды *не* доносит на Оглоеда, то есть снимает возможный сюжетный ход). Столь же автономно протекают более или менее подробно представленные истории примерно двух десятков персонажей: больных (Поддуев, Дёмка, Вадим, Федерау, Шулубин, Сибгатов, Ахмаджан, Прошка, Азовкин, Ася — единственная из женщин-пациенток, что наделена именем и биографией) и врачей, медсестер, санитарок (Вега, Зоя, Елизавета Анатольевна, Нэля, Мита, Лев Леонидович, Орещенков; Донцова принадлежит обеим группам, по ходу действия перемещается из второй в первую; среди больных преоблада-

ют мужчины, а среди врачей — женщины[1], что, вероятно, мотивировано не только житейской реальностью). И в этих случаях сюжетное взаимодействие отсутствует: персонажи спорят, советуются, выражают друг другу сочувствие, но не влияют на жизнь окружающих. (Ясно, что вмешательства медицинские — операции, облучения, уколы и т. п. — носят иной характер: это не *личные* действия — независимо от чувств врача к пациенту.) Понятное исключение — истории любви (треугольник Костоглотов — Вега — Зоя; история Аси и Дёмки), но и здесь сюжетность ослаблена. Соперничество Веги и Зои обозначено, но не развернуто. Отношения «детей» между знакомством и после(пред)операционным свиданием не описаны; продолжение их любви в принципе возможно, но автором не обещано — как, впрочем, и расставание персонажей.

Повесть Солженицына напоминает цикл рассказов, основанный на единствах места («раковый корпус», расширяющийся в главах о врачах и двух финальных до большого среднеазиатского города) и времени. Истории персонажей разрезаны и — при соблюдении хронологического порядка — перетасованы. Такое построение предвещает, с одной стороны, композицию «Красного Колеса» (особенно в *личных* линиях как вымышленных, так и исторических персонажей), с другой же — «двучастные рассказы» (1993—1998). Согласно записи автора в «Дневнике Р-17» от 8 декабря 1968, зерно «Ракового корпуса» — наметившийся в пору пребывания в ташкентской клинике (1954) замысел рассказа «Два рака» (450; цит. по комментарию В. В. Радзишевского). Если в порядке эксперимента извлечь из повести истории пребывания в больнице Костоглотова и Русанова, мы получим этот «двучастный рассказ». Сходный результат даст другой эксперимент: монтирование вычлененных из повествования главы «Дети» и финальной части главы «Всюду не́чет» даст «двучастный рассказ» о любви пораженных недугом подростков.

Ослабленная сюжетность и связанная с ней центробежность повествования не превращает, однако, «Раковый корпус» в собрание отдельных историй. Поэтическое единство повести обусловлено непрестанным варьированием уже знакомых читателю ситуаций, этических коллизий, мотивов в меняющихся контекстах, неожиданными сопряжениями повествовательных фрагментов (от главы до фразы), зачастую далеко отстоящих друг от друга. Эпизод, характеристика персонажа, реплика, сперва воспринимаемые как служебные или фоновые, по мере продвижения по тексту обретают новые — более сильные — смыслы; сложившиеся представления о персонажах, их проблемах и перспективах, подвергаются корректировке; позднейшие ситуации бросают новый свет на представленные ранее. Для понимания «Ракового корпуса» необходимо одновременно видеть (или, скорее, слышать) *весь* текст. Парадигматика здесь не менее значима, чем синтагматика. Если не более.

В предлежащей работе я пытаюсь показать высокую *внутреннюю связность* солженицынского текста, выявить взаимоотражения эпизодов, коллизий, высказываний персонажей, отнесенных автором к разным фрагментам одной главы (*сцепленность* близко соседствующих элементов текста далеко не всегда бросается в глаза) и/или разным главам, нередко входящим в разные (первую и вторую) части повести. Анализируются, по мере надобности — комментируются и интерпретируются «при свете целого» небольшие фрагменты девяти глав, как отчетливо маркированные (зачин главы «Вообще не рак», то есть всей повести), так и при беглом чтении кажущиеся проходными. Восемь глав были выбраны без умысла — это начальные главы повести. Завершает работу анализ фрагмента последней главы первой части — «Тени расходятся». Как я пытался показать в других работах, «промежуточные финалы» объемных произведений Солженицына (романа

«В круге первом», четырех Узлов «Красного Колеса») по огромной смысловой нагрузке сопоставимы с собственно финалами. Меж тем о вершащем «Раковый корпус» диптихе («Первый день творенья» — «И последний день») подробно говорится при анализе фрагментов первой части.

1. Вообще не рак

Раковый корпус носил и номер «тринадцатый корпус». Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суеверен, но что-то опустилось в нём, когда в направлении ему написали: «тринадцатый корпус» (9).

О том, что Родичев, былой друг и сосед Русанова, на которого тот в 1937 году дал «материал», появился в городе К. и «ре-а-би-ли-тирован» (161), Павел Николаевич узнает в главе с тем же «дурным» номером 13 «И тени тоже». Название русановской главы диалогически подхватывает предшествующее — глава 12-я. «Все страсти возвращаются». Двенадцать — число счастливое: в соответствующей главе речь идет о пробуждении любви Костоглотова к Зое. (Ср. название главы 28-й — «Всюду не́чет», где Костоглотов узнает о весьма вероятных тяжелых последствиях гормонотерапии и происходит свидание Дёмки с обреченной на операцию Асей.) Действие 13-й главы разворачивается в воскресенье — когда же, как не в этот день, подниматься из небытия тем, кто считался мертвыми?

Мотив суеверия возникает как при первом, так и при последнем появлении Русанова (33. «Счастливый конец»):

Когда выезжали из медгородка, Капа отвертела стекло и, выбрасывая что-то мелкое через окно назад, сказала:

— Ну, хоть бы не возвращаться сюда, будь он проклят! Не оборачивайтесь никто.

(388)

Рекомендация противоречит уже свершенным действиям как жены Русанова, так и — еще раньше — его младших беззаботных детей. Вертит головой «гуднувший» на «классового врага» Костоглотова Лаврик.

— Ты — не смей головой вертеть! — испугалась Капитолина Матвеевна.

И правда, машина вильнула.

— Ты не смей головой вертеть! — повторила Майка и звонко смеялась. — А мне можно, мама? — И крутила головку назад то через лево, то через право.

(387)

Счастливый конец дискредитирован заранее. Выздоровление Павла Николаевича мнимо. В предшествующей главе, выслушав благодарность считающего себя выздоровевшим (освободившегося от «несуразных» страхов) Русанова, «Донцова неопределённо кивнула. Не от скромности так, не от смущения, а потому что ничего он не понимал, что говорил. Ещё ожидали его вспышки опухолей во многих железах. И от быстроты процесса зависело — будет ли вообще он жив через год» (381). Проклято отнюдь не здание, в котором пытаются спасти даже Русанова.

2. Образование ума не прибавляет

— ...На какой же ты факультет хочешь?

— Да вот не решил. Но исторический хочется, и на литературный хочется.

— А на технический?

— Не-а.

— Странно. Это в наше время так было. А сейчас ребята все технику любят. А ты — нет?

— Меня... общественная жизнь очень разжигает.

— Общественная?.. Ох, Дёмка, с техникой — спокойней жить. Учись лучше приёмники собирать (26—27).

Сходные диалоги возникают еще дважды. В главе 15 «Каждому своё» Дёмка беседует с Вадимом Зацырко:

— Да я мечтаю в Университет.

— На какой факультет?

— Да или филологический, или исторический.

— А конкурс пройдешь?

— Думаю, что да. Я — никогда не волнуюсь. Спокойный очень.

— Ну и хорошо. И чем же тебе протез будет мешать? И учиться будешь, и работать. Даже ещё усидчивей. В науке больше сделаешь.

— А вообще жизнь?

— А кроме науки — что вообще?

— Ну, там...

— Жениться?

— Да хотя бы...

— Найдё-ошь! На всякое дерево птичка садится...

(173)

Для Вадима личная жизнь сводится к удовлетворению физиологических потребностей. Эту мелкую проблему всегда можно решить. Она не стоит внимания, как и гуманитарные склонности простодушного подростка, на лице которого Вадим не примечает «светлой печати таланта» (219). Поэтому он сворачивает разговор о любви и *не* отговаривает Дёмку от овладевшей им мечты (по Вадиму — бессмысленной).

Пытается это сделать Костоглотов — третий диалог о выборе стези происходит после перенесенной подростком операции. Но тщетно.

Топила, топила ему опухоль жизнь, а он выруливал на своё.

— И в университет?

— Надо постараться.

— На литературный?

— Ага.

— Слушай, Дёмка, я тебе серьёзно: сгубишься. Займись приёмниками — и покойно жить, и подшибать будешь.

— Ну их на фиг, приёмники, — шморгнул Дёмка. — Я правду люблю.

— Так вот приёмники будешь чинить — и правду будешь говорить, дура!

Не сошлись. Толковали и ещё о том о сём. Говорили и об Олеговых делах. Это тоже была в Дёмке совсем не детская черта: интересоваться другими.

(332)

Взрослый интерес к другим той же стати, что страсть Дёмки к «общественной жизни», «правде», гуманитарии (литературе) и его скрытая мечта о настоящей любви. Поэтому следующий за диалогом с Костоглотовым отчетливо плотский эпизод (утешая Асю, Дёмка говорит, что готов жениться на ней, а потом целует ее обреченную, но еще прекрасную грудь (336—337)) не подтверждает циничное суждение Вадима, а его опровергает. Так корректируется и название главы («Всюду не́чет»), и, на поверхностный взгляд, жестко выдержанная в повести антитеза «любовь земная — любовь небесная». Напомню, что при первой встрече с Дёмкой Ася демонстрирует аффектированное — подчеркнуто плотское — жизнелюбие и хвастается (скорее всего — без основания) своим сексуальным опытом:

— А ты — что?.. — полушёпотом спросила Ася, готовая рассмеяться, но с сочувствием. А ты до сих пор не... Лопушок, ты не...?

<...>

— А ты?..

Как под халатом была у неё только сорочка, да грудь, да *душа* (курсив мой. — *А. Н.*), так и под словами она ничего от него не скрывала, она не видела, зачем прятать:

— Фу, да у нас — половина девчёнок!.. (заметим, что далее Ася рассказывает о других! — *А. Н.*) <...> Да чем раньше, тем интересней!.. И чего откладывать? — атомный век!..

(119)

Цитированная глава 10-я называется «Дети» — в главе «Всюду не́чет» акцентирована Дёмкина взрослость, а заклинания Аси — «Ты — последний, кто ещё может увидеть её и поцеловать! Уже никто больше не поцелует!» (336) — вовсе не доказывают, что кто-то уже ее грудь целовал.

Сопряжение мотивов любви и литературы, присутствующее в главах «Каждому своё» и «Всюду не́чет», возникает уже в главе «Дети». Именно Ася дает Дёмке правильный ответ на мучающий его вопрос:

— Ну а правда, как ты думаешь? Для чего... человек живёт? <...>

— Как для чего? Для любви, конечно!

Для любви!.. *«Для любви»* и Толстой (которого Дёмка понять не может. —*А. Н.*) говорил, да в каком смысле?

(118)

Смысл (как бы его ни изворачивали адепты идейности и алчные материалисты) один. И путь к нему указывает истинное знание о человеке, обществе, истории — истинная (искренняя, а не удостоенная сталинских премий) литература. Когда Костоглотов в главе 2, удивляясь Дёмкиной «гуманитарности», оглядывается назад («Это в наше время так было!» — прошедшие страшные годы, по мысли Олега, должны были бы отвратить новое поколение от истории и литературы, строящихся только на лжи), автор, несомненно, еще и указывает на будущее, на *современность* своих первых читателей — 1960-е годы с их наивным «техническим» сциентизмом (ср. линию Вадима Зацырко). Эта тема возникает во внешне необязательном, словно бы с сюжетом не связанном, эпизоде рассказа «Для пользы дела» (1963):

— Конечно, ребятки, не в нашем техникуме, где вы изучаете телевизоры, мне вас агитировать против телевидения, но всё же помните: телевизионная программа — мотылёк, живёт один день, а книга — века́»!

(Ср. восторги «писательницы» Авиеты в 21-й главе «Ракового корпуса»:

В Москву съездишь — как заглянешь на пятьдесят лет вперёд! Ну, во-первых, в Москве все смотрят телевизоры...

<...>

—...Ведь прямо жизнь по Уэллсу: сидят, смотрят телевизоры!

(243)

Полувека не потребовалось — меньше чем через десять лет, так будет и в областном городе)

— Книга? И книга — один день! — возразил взъерошенный Чурсанов в серой рубашке с вывернутым и уже подлатанным воротником.

— Откуда ты взял? — возмутилась Лидия Георгиевна.

— А я в одном дворе с книжным магазином живу. Знаю: их потом складывают и назад увозят. На макулатуру, под нож.

— Так надо ж ещё посмотреть, к а к и е книги увозят.

<...>

(Чурсанов. — *А. Н.*) Прищурился:

— Я и смотрел, пожалуйста, вам скажу. Многие из этих книг в газетах очень хвалили. (Недавно! Вот и Дёмка «положил... прочитывать все книги, получившие сталинскую премию. Таких было в год до сорока...» (109). — *А. Н.*)

Тут и другие стали забивать. Здоровяк с фотоаппаратом через плечо протеснился и объявил:

— Лидия Георгиевна, давайте говорить откровенно. Вы нам на прощанье дали длиннючий список книг. А зачем они нам? Человеку техническому, а таких в нашей стране большинство, надо читать свои специальные журналы, иначе болван будешь, с завода выгонят, и правильно.

— Правильно! — кричали другие. — А спортивные журналы когда читать?

— А «Советский экран»?

— Но поймите, ребята, книга запечатлевает нашего современника! наши свершения! Книга должна нам дать глубины, которых...

— Насчёт классиков дайте скажу! — тянул руку сутулый, почти с горбом, серьёзный мальчик.

— Насчёт сжатости дайте скажу! — ещё кричали.

— Нет, погодите! — смиряла Лидия Георгиевна бунтарей. — Я вам этого так не оставлю! Теперь у нас будет большой актовый зал, устроим диспут, я вытащу на трибуну всех, кто сейчас...

(I, 214—215)

«Большого актового зала» герои рассказа, как известно, не получат. И еще раз убедятся, что литература (в том числе классика) с ее «нравственными нормами», «идеями» и «высокими чувствами» — это одно, а жизнь — другое. Следующая стадия развития советской молодежи запечатлена в рассказе «Пасхальный крестный ход», написанном в пору работы над «Раковым корпусом» (10 апреля 1966):

Крестный ход без молящихся! Крестный ход без крестящихся! Крестный ход в шапках, с папиросами, с транзисторами на груди — первые ряды этой публики, как они втискиваются в ограду, должны ещё обязательно попасть на картину!

<...>

Что ж будет из этих роженых и выращенных главных наших миллионов? К чему просвещённые усилия и обнадёжные предвидения раздумчивых голов? Чего доброго ждём мы от нашего будущего?

Воистину: обернутся когда-нибудь и растопчут нас всех!

И тех, кто натравил их сюда, — тоже растопчут.

(I, 267)

Тем весомее звучат слова из предотъездного (прощального) письма скептика Костоглотова идеалисту Дёмке: «На тебя — надеюсь!» (442). В «Раковом корпу-

се», в отличие от рассказа «Матрёнин двор» и романа «В круге первом», отсутствует «автопортрет» писателя. (Солженицын не зря энергично настаивал на своем *несходстве* с Костоглотовым.) Но намек на возможное появление настоящего писателя (совсем не такого, как московские покровители Авиеты Русановой и она сама) в повести есть. Потому как жизнь *требует* запечатления в слове. Впрочем, прежде всего, Костоглотов просто выполняет просьбу Дёмки: «Нет, ты обязательно пойди (в зоопарк. — *А. Н.*)! Я прошу тебя: пойди! И знаешь что — напиши мне после этого открытку, а? Ну что тебе стоит?.. А мне какая радость будет! Напишешь, кто сейчас из зверей есть, кто самый интересный, а?» (333). Долг платежом красен: именно из-за Дёмки Костоглотов отправился в зоопарк, где увидел не только несчастных жертв и наказанных за свирепство хищников, не только Сталина-тигра и погубленную двойником верховного людоеда макаку-резус, но и «чудо духовности после тяжёлого кровожадия» — антилопу Нильгау, в которой узнал Вегу (426). И понял, что Вега его любит. О чем почти проговорился в письме Дёмке. Не будь обязательства послать открытку с отчетом о зоопарке, может и не решился бы Олег написать двум женщинам, что хоть и по-разному, но возвращали его к жизни — «земной» Зое (чувство к которой стало чисто дружеским) и «небесной» Веге, губы которой он теперь, теряя ее навсегда, целует без разрешения (442—444).

3. Пчёлка

При выписке он (Сибгатов. — *А. Н.*) *руки целовал Людмиле Афанасьевне, а она его только предупреждала: «Будь осторожен, Шараф! Не прыгай, не ударяйся!» Но на такую работу его не взяли, а пришлось опять экспедитором. Экспедитору — как не прыгать из кузова на землю? Как не помочь грузчику и шофёру? Но всё было ничего до одного случая — покатилась с машины бочка и ударила Шарафа как раз в больное место. И на*

месте удара загноилась рана. Она не заживала. И с тех пор Сибгатов стал как цепью прикован к раковому диспансеру (31).

Ср. в главе «Дети»: «И только в футбол — в футбол он изредка бегал с ребятами. И за это одно маленькое удовольствие судьба его наказала: кто-то в суматохе с мячом не нарочно стукнул Дёмку бутсой по голени, Дёмка и внимания не придал, похромал, потом прошло. А осенью нога разбаливалась и разбаливалась, он ещё долго не показывал врачам, потом ногу грели, стало хуже, послали по врачебной эстафете, в областной город и потом сюда» (111).

Оба эпизода вызывают ассоциации с рассказом Толстого «Смерть Ивана Ильича»:

> Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гардины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал, но, как сильный и ловкий человек, удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел — Иван Ильич чувствовал себя все это время особенно веселым и здоровым. <...> когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал, он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика. — Я недаром гимнаст. Другой бы убился, а я чуть ударился вот тут; когда тронешь — больно, но уже проходит; просто синяк[2].

Случайный роковой удар в повести Солженицына получает не Русанов (аналог толстовского грешника — оба профессионально и с удовольствием судят ближних), но персонажи безвинные, душевно чистые и вызывающие глубокое сочувствие автора, — ссыльный (лишенный родины) крымский татарин Шараф Сибгатов и оставшийся без отца, ушедший от «скурвившейся» матери (110) Дёмка. Солженицыну необходимо *присутствие* в его повести рассказа об Иване Ильиче (и других сочи-

нений Толстого), но не *удвоение* толстовского художественного решения. О причинах заболевания Русанова не говорится вовсе. В отличие от Ивана Ильича, Русанов до появления опухоли совершенно доволен своей жизнью; благополучие заботит его больше, чем карьера («...в 1939 году не решился, хотя его звали, надеть чекистскую форму. Жаль, а может быть, по неустойчивой обстановке двух последних лет, и не жаль. Может быть, покой дороже» (157); ср. сжигающее честолюбие Ивана Ильича); приязнь Русанова к жене и детям сохраняется и в «раковом корпусе» (глубокое и постоянное недовольство Ивана Ильича семейной жизнью начинается задолго до случившейся с ним беды, во время болезни он все больше проникается ненавистью к жене и собирающейся замуж дочери). Несовпадения эти объясняются в первую очередь глубоким различием исторических ситуаций, в которых находятся персонажи Толстого и Солженицына, пропастью, разделяющей имперскую и советскую системы, по-разному пестовавших своих верных слуг (по сравнению с «выдвиженцем», любой ценой рвущимся к недополученным благам, и пресыщенный судейский чиновник может показаться «благообразным»). Впрочем, нам не дано знать, как будет относиться Русанов к Капе и детям, когда его настигнет ремиссия. Окрашиваются же в первый больничный вечер его размышления о семье (попытка утешиться) в черные тона: «Но вся дружная образцовая семья Русановых, вся их налаженная жизнь, безупречная квартира — всё это за несколько дней отделилось от него и оказалось п о т у с т о р о н у опухоли. Они живут и будут жить, как бы ни кончилось с отцом. Как бы они теперь ни волновались, ни заботились, ни плакали — опухоль задвигала его как стена, и по эту сторону оставался он один» (21). Когда же болезнь, как кажется обреченному, отступает, Русанов с удовольствием рассказывает Федерау «о квартире, которую он задушевно любил <...> После сорока лет о человеке, чего он заслужил, вполне

можно судить по его квартире. И Павел Николаевич рассказывал, не в один даже приём, как расположена и чем обставлена у него одна комната, и другая, и третья, и каков балкон, и как оборудован. У Павла Николаевича была ясная память, он хорошо помнил о каждом шкафе и диване — где, когда, почём куплен и каковы его достоинства. Тем более подробно рассказывал он соседу о своей ванной комнате, какая плитка на полу уложена и какая по стенам, и о керамических плинтусах, о площадочке для мыла, о закруглении под голову, о горячем кране, о переключении на душ, о приспособлении для полотенец. Всё это были не такие уж мелочи, это составляло быт, бытие, а бытие определяет сознание, и надо, чтобы быт был приятный, хороший, тогда и сознание будет правильное» (318—319). Несчастье настигло Ивана Ильича именно в ту пору, когда он упоенно занимался устройством новой квартиры. Да и «марксистский» финал рассуждений Павла Николаевича принял бы Иван Ильич вполне — даром что, как все государственные служащие Российской империи, исправно говел, исповедовался и причащался.

Все-таки похожи. Прав Костоглотов, когда кроет обличителей «остатков буржуазного сознания»: «И *до* буржуазии жадные были, и *после* буржуазии будут» (343). Не об одной жадности тут речь — о всяком зле. Справедливое осуждение которого необходимо, но не достаточно. Наговорив «почти на *статью»,* Костоглотов «зевнул вслух и пошёл на свою койку. И ещё зевнул. И ещё зевнул.

От усталости ли? от болезни? Или от того, что все эти споры, переспоры, термины, ожесточение и злые глаза внезапно представились ему чавканьем болотным, ни в какое сравнение не идущим с их болезнью, их предстоянием перед смертью?» (347). *Их* — ушибленного во время футбола Дёмки, ударенного бочкой Сибгатова, Вадима, философа-доцента, Костоглотова, Русанова, оступившегося Ивана Ильича...

А хотелось бы коснуться совсем чего-нибудь другого. Незыблемого.

Но где оно такое есть — не знал Олег.

(347)

Тут-то и читает он в письме доктора Кадмина пересказ легенды о Китоврасе, что сломал себе ребро, вняв просьбам вдовы — пощадив ее домик. «И промолвил тогда: “Мягкое слово кость ломит, а жестокое гнев вздвизает”» (348). Глава 29-я, в которой идет спор о жадности, а прежде Русанов корит сына за «доверчивость и наивность» (сбивчивое движение к человечности), и называется «Слово жёсткое (NB! — *А. Н.*), слово мягкое». Жёсткое значит жестокое.

Не в *мягком*, насквозь проникнутом духом милосердия и надежды «Раковом корпусе», но в тайно создаваемом параллельно повести сокрушительно-набатном «Архипелаге...» читаем:

В толщине этой книги уже много было высказано прощений. И возражают мне удивлённо и негодующе: где же предел? Не всех же прощать!

А я — и не всех. Я только — павших. Пока возвышается идол на командной своей высоте и с властительной складкою лба безчувственно и самодовольно коверкает наши жизни — дайте мне камень потяжелее! а ну, перехватим бревно вдесятером да шибанём-ка его!

Но как только он сверзился, упал, и от земного удара первая бороздка сознания прошла по его лицу, — отведите ваши камни!

Он сам возвращается в человечество.

Не лишите его этого божественного пути.

(VI, 384—385)

Но как быть, если в письме доктора Кадмина говорится не только о Китоврасе, но и об убийстве Жука? (348). Если «злой человек сыпнул табака в глаза макаке-

резус»? (424). Если Русанов (и не он один!) *не хочет* выходить на божественный путь? Если Иван Ильич прозревает лишь с приходом смерти?

4. Тревоги больных

Ефрем в своей бинтовой, как броневой, обмотке, с некрутящейся головой, не топал по проходу, не нагонял тоски, а, подмостясь двумя подушками повыше, без отрыву читал книгу, навязанную ему вчера Костоглотовым. Правда, страницы он переворачивал так редко, что можно было подумать — дремлет с книгой (44).

Что Ефрем не дремлет, автор понять дает (на это и указывает оговорочное «можно было подумать»). Что книга на него сильно действует — тоже. Для того перечислены с отрицанием описанные прежде «занятия» Ефрема: статика сменила динамику, отделенность от всех — агрессивную экстравертность. Но какая книга заставила Ефрема изменить поведение (как поймем позже, измениться внутренне), мы все еще не знаем. Как не знаем в главе «Образование ума не прибавляет», когда видим глазами Русанова ее впервые:

Наискось по тёмно-синему переплёту, и такая же по корешку, шла тиснённая золотом и уже потускневшая роспись писателя. Чья это роспись, Павел Николаевич не разобрал, а спрашивать у такого типа не хотелось. <...>

Оглоед угрюмыми глазищами смотрел на книгу и объявил беззастенчиво громко на всю комнату:

— Если б не Дёмка эту книгу в шкафу выбирал, так поверить бы нельзя, что нам её не подкинули. <...>

— По всему городу шарь — пожалуй, нарочно такой не найдёшь. <...> Ефрем! Хватит скулить. Возьми-ка вот книжку почитай.

Ефрем остановился как бык, посмотрел мутно.

— А зачем — читать? Зачем, как все подохнем скоро?

Оглоед шевельнул шрамом:

— Вот потому и торопись, что скоро подохнем. На, на.

(18—19)

Читателю (но не Ефрему и не слышащему разговор Русанову) ясно, что в книге речь идет о жизни и смерти, но не более. Часть аудитории, знакомая с наследием Толстого, разгадывает загадку, увидев название главы 8-й — «Чем люди живы», помещенный в ней перечень рассказов, первый из которых «Труд, смерть и болезнь», а последний — «Ходите в свете, пока есть свет» (92), и процитированный зачин особо захватившей Ефрема истории (93), но имя автора по-прежнему не называется. Важен смысл текста, а не его носитель. Когда Русанов, возмущенный «не нашей моралью», интересуется авторством, Ефрем искренне недоумевает:

...Угибали его куда-то от сути в сторону.

<...>

А что было в фамилии? Что она имела к сути — к их болезням? к их жизни или смерти? Ефрем не имел привычки читать на книгах эту верхнюю фамилию, а если читал, то забывал тут же.

(97)

Потому и путаница с двумя Толстыми — *нашим* и *не нашим* — его совершенно не занимает. Составителю «Азбуки», «Русских книг для чтения», «Круга чтения», «На каждый день» и «Пути жизни» такое отношение к записанным историям и размышлениям пришлось бы по сердцу. (В «очерках литературной жизни» Солженицын замечает: «Толстой перед смертью написал, что это вообще безнравственно: писателю печататься при жизни. Надо, мол, работать только впрок, а напечатают пусть после смерти» (XXVIII, 15). Мысль эту, близко подходящую к идее *авторской анонимности*, Солженицын твердо оспаривает, но внимание к ней представляется показательным.) Одобрил бы Толстой и предпочтение,

которое отдает Ефрем «маленьким рассказикам», — «он бы не стал читать, если бы это был роман» (92). И его применение прочитанного к себе. Не об отношениях мужчин и женщин говорится в «рассказиках», но, прочитав их, Поддуев обнаруживает свой грех:

Хоть везде говорилось «равенство», и Ефрем не возражал, но нутром никогда он женщин за полных людей не считал — кроме первой своей жёнки Амины. И удивился бы он, если б другой мужик стал ему серьёзно доказывать, что плохо он поступает с бабами.

А вот по этой чудной книге так получалось, что Ефрем же во всём и виноват.

(94)

Ср. в разговоре о возможности самопроизвольного исцеления: «Для этого надо, наверно... чистую совесть» (121). «Я — баб много разорил. С детьми бросал... Плакали... У меня не рассосётся» (122). (Русанов здесь закономерно возмущается: «При чём тут совесть? Стыдитесь (пробуждения совести. — *А. Н.*), товарищ Поддуев» (121). «Да это же махровая поповщина, так думать! Начитались вы всякой слякоти, товарищ Поддуев, и разоружились идеологически!» (122). «Не для нашего века. Слишком безформенно, неэнергично» (175), — говорит о переменившей Ефрема книге Вадим Зацырко, верящий, что люди живы «творчеством», и отлично чувствующий себя в одной партии с Русановым. «Не для нашего...», но Толстой понял бы, почему Ефрему вспомнились слова обессилевшего заключенного — «мало́го» (ровесника Вадима): «Ничего. И ты будешь умирать, десятник!» (178). Понял бы и охватившую его безысходную тоску:

Это бы первая жёнка его Амина́ могла бы собирать-присылать (целительную чагу. — *А. Н.*). Туда, за Урал, некому и написать, кроме как только ей. А она напишет: «Подыхай под забором, старый кобель!» И будет права.

Права по тому, как это принято. А вот по этой синей книжечке неправа. По книжечке выходит, что Амина должна его пожалеть, и даже любить, — не как мужа, но как просто страдающего человека. И посылки с трутовицей — слать.

Книга-то получалась очень правильная, если б все сразу стали по ней жить...[3]

(179)

Понять бы Толстой понял, но с печалью сказал бы, что и в его веке часто случалось иначе. Заподозрив жену в измене, Корней Васильев зверски ее избивает (заодно калечит на всю жизнь маленькую дочь) и покидает свой дом. Нищим, опустившимся стариком поднимается он на знакомое крыльцо и отворяет дверь в сени.

— Чего лезешь не спросясь, — окликнул его женский голос из избы. Он узнал ее голос. И вот она сама, сухая, жилистая, морщинистая старуха, высунулась из двери. Корней ждал той молодой красивой Марфы, которая оскорбила его. Он ненавидел ее и хотел укорить, и вдруг вместо нее перед ним была какая-то старуха. — Милостыни — так под окном проси, — пронзительным, скрипучим голосом проговорила она.

— Я не милостыни, — сказал Корней.

— Так чего же ты? Чего еще?

Она вдруг остановилась. И он по лицу ее увидал, что она узнала его.

— Мало ли вас шляется. Ступай, ступай. С Богом.

Корней привалился спиной к стене и, упираясь на клюку, пристально смотрел на нее и с удивлением чувствовал, что у него не было в душе той злобы на нее, которую он столько лет носил в себе, но какая-то умиленная слабость вдруг овладела им.

— Марфа! Помирать будем.

— Ступай, ступай с Богом, — быстро и злобно говорила она.

— Больше ничего не скажешь?

— Нечего мне говорить, — сказала она. — Ступай с Богом. Ступай, ступай. Много вас, чертей, дармоедов, шляется.

Она быстрыми шагами вернулась в избу и захлопнула дверь. <...>

Во всю ночь эту Марфа не могла заснуть и все думала о Корнее. Наутро она надела зипун, накрылась платком и пошла узнавать, где вчерашний старик. Очень скоро она узнала, что старик в Андреевке. Марфа взяла из плетня палку и пошла в Андреевку. Чем дальше она шла, тем все страшнее и страшнее ей становилось. «Попрощаемся с ним, возьмем домой, грех развяжем. Пускай хоть помрет дома при сыне», — думала она. <...>

Когда Марфа вошла в избу и народ расступился, пропуская ее, она под святыми увидала обмытое, убранное, прикрытое полотном мертвое тело, над которым грамотный Филипп Кононыч, подражая дьячкам, читал нараспев славянские слова псалтыря.

Ни простить, ни просить прощенья уже нельзя было. А по строгому, прекрасному, старому лицу Корнея нельзя было понять, прощает ли он, или еще гневается[4].

Другая, чем у Ефрема Поддуева, история? О *претворении* Солженицыным сочинений Толстого см. выше. Про свои грехи Поддуев все понял, мира же в душе обрести не сумел. Потому и пересказывает он «Чем люди живы» не до конца. Потому и добровольно уходит в смерть, которая настигает его на вокзале (224), — ехать бедняге некуда.

Возвращаясь же к исходному пункту (главе 4), должно отметить, что уже здесь Ефрема донимают не те тревоги, что остальных больных.

5. Тревоги врачей

Из-за того, что она терялась с ним, однажды произошла нескладность. Костоглотов сказал:

— А вы не похожи на немку. У вас, наверно, фамилия по мужу?

—Да, — вырвалось у неё.

Почему она так ответила? В то мгновение показалось обидным сказать иначе.

Он больше ничего не спросил.

А Гангарт — её фамилия по отцу, по деду. Они обрусевшие немцы.

А как надо было сказать? — я не замужем? я замужем никогда не была?

Невозможно (63).

Политическая тема (ссылка народов) здесь мерцает слабо. Оборот «обрусевшие немцы» заставляет предположить, что Вера Корнильевна не из ссыльных, что оказалась она в столице среднеазиатской республики (не названном прямо, но распознаваемом Ташкенте) *естественным образом*. (Из дальнейшего следует, что Вера если не родилась здесь, то, по крайней мере, училась в школе.) Напомним, однако, что в начале той же главы «Тревоги врачей» сильно проведен мотив подозрительности по отношению к медикам-инородцам (немцам и евреям, неразличимым для озлобленных и не шибко грамотных представителей «главного народа») — эпизод с шофером МГБ (55). Ср. также в самом начале повести специфический характер вопросов жены Русанова в разговоре со старшей медицинской сестрой:

— Девушка, вы что, так торопитесь?
— Да н-немножко...
— Как вас зовут?
— Мита.
— Странное какое имя. Вы не русская?
— Немка...
— Вы нас ждать заставили.

(12)

Конечно, советская барынька и с русской медсестрой разговаривала бы по-хамски, но всё же несколько не так. Мита, почти не возникающая в повество-

вании, появляется ближе к финалу, в день выписки Русанова. Именно она спешит поделиться с Костоглотовым новостью:

— Говорят, нас всех к концу года распустят! Просто упорно говорят! — Некрасивое лицо её сразу помилело, как только она заговорила об этом слухе.

— А кого — нас? Вас?

То есть, значило — *спецпереселенцев,* нации.

— Да вроде и нас, и вас! Вы не верите? — с опаской ждала она его мнения.

Отвечая на вопрос Костоглотова, лучше ли на родине, куда Мита чает вернуться, чем здесь, она «прошептала»: «Сво-бо-да». Вопросительно-скептическая внутренняя реплика Костоглотова (едва ли автора, но двусмысленность здесь есть): «А верней-то всего — в своём краю надеялась она ещё замуж выйти?» (389) — ничего не меняет[5]. Возможность семейного счастья и домостроительства связана (хоть и не однозначно) с естественным бытием человека — свободой и жизнью на родине. А планирует ли «некрасивая» Мита замужество — бог весть. Красивая Вера Гангарт *не* планирует — по крайней мере, в начале повести, когда она непроизвольно обманывает Костоглотова.

Здесь читатель оповещается о тайне героини. (Почему невозможно признаться в девичестве? Причины могут быть разные. От трагических до фарсовых.) Разгадке (глава 25-я «Вега», *подготовленная* главой 24-й «Переливание крови») предшествует *проговорка* в главе 17-й «Иссык-кульский корень». Вера Корнильевна отвечает на совершенно немедицинский вопрос Костоглотова: «Скажите, как вас в школе звали?» (201). Движение мыслей героя, приведшее к этому вопросу, прямо не описано, но легко реконструируется. Врач находит в тумбочке больного настойку иссык-кульского корня; для него это спасительное средство, для нее — смертельный яд. (Правы оба.) Вера долго уговаривает

Костоглотова так или иначе ликвидировать настойку. В конце концов он соглашается: «Шут с ним, с флаконом, не жалко и отдать, дома у него ещё вдесятеро этого аконитума» (200). Герои направляются во двор, дабы вылить зелье. Костоглотову это кажется забавной игрой — особенно из-за того, что Гангарт идет «вполне серьёзно, как бы делать важное дело. Ему стало смешно» (201). Незаметно выстраивается ассоциативный ряд: игра — детство (когда играют серьезно, играют в идеализированных взрослых) — школьное имя (игровая кличка). Невольно (усмешливостью Костоглотов пытается преодолеть уже овладевшую им любовь — но тщетно) не имеющий значения (реплика Веры) вопрос оказывается самым главным.

> Несколько шагов она прошла молча, чуть пристукивая по плитам. Её газельи тонкие ноги он заметил ещё в первый раз, когда лежал умирающий на полу, а она подошла.
>
> — Вега, — сказала она.
>
> (То есть и это была неправда. Неполная правда. Её так в школе звали, но один только человек. Тот самый развитой рядовой, который с войны не вернулся. Толчком, не зная почему, она вдруг доверила это имя другому.)
>
> (201)

О «развитом рядовом» доктор вспоминает выше — после истории Костоглотова о том, как он из-за приверженности демократии не стал офицером: «У меня один близкий человек, — сказала Гангарт, глядя в одеяло, тоже имел такую судьбу: очень развитой — и рядовой. — Полпаузы, миг молчания, пролетел меж их головами, и она подняла глаза. — Но вы и сегодня таким остались» (191).

Вера Корнильевна говорит о погибшем на войне женихе. Их история досказана в главе, носящей имя героини, где говорится: *«Этот мальчик и придумал звать её Вегой»* (293). В главе «Иссык-кульский корень» Вега *трижды* (хоть и не отдавая себе в том отчета) *сближа-*

ет его с Костоглотовым: отмечает сходство погибшего и выжившего; доверяет Олегу имя, которым одарил ее «мальчик»; отменяет «неправду» о своем замужестве, оброненную в главе «Тревоги врачей». Существенно, что о том разговоре она помнит; отсюда: «...и *это* (как и «то», сказанное раньше; курсив мой. — *А. Н.*) была неправда». Точнее — *тоже* «неполная правда». Что и обращает нас к разговору в «Тревогах врачей». Вера не носит фамилию мужа, она живет с именем, полученным от жениха. Намек на то дается читателям (и Костоглотову!), когда героиня снимает формально обоснованное недоумение собеседника (являющего себя здесь не лучшим образом):

— Вега? В честь звезды? Но Вега — ослепительно белая.

Они остановились.

— А я — не ослепительная, — кивнула она. — Но я — ВЕ-ра ГА-нгарт. Вот и всё.

(201—202)

Это значит: *я была Гангарт и в школе, а мужа у меня нет. Есть мертвый жених. И ты.* Но договорить до конца не только «неприлично». (Ср. внутренний крик Веры после шутливого — или провоцирующего? — предположения Костоглотова о том, что и у нее дома кто-то может яд случайно выпить: «Кто! Кто выпьет дома?.. Она жила одна. Но сказать это было сейчас невозможно, неприлично» (200); реплика дана в скобках.) Вега не только сейчас, но и позже (даже после переливания крови!) не может признаться себе самой, что любит Костоглотова. Как и Костоглотов долго не позволяет себе того же признания. Читатели представляют себе чувства героев раньше и тверже, чем они сами, хотя Солженицын последовательно избегает того, что называется авторским комментарием.

Перекличка глав «Тревоги врачей» и «Иссык-кульский корень» не сводится к коррекции первого диалога (о фамилии) вторым (о детском имени; ср. окон-

нательное открытие Костоглотовым в Веге «девочки его детства» (287) в главе «Переливая кровь»). В обеих описывается первая встреча героев — в «ненастный январский день», когда доктора Гангарт позвали унять неведомого «безобразящего» больного (59). Первая версия мучительно напряженного знакомства (в корпусе нет свободных мест; странный больной резко грубит ищущему решение врачу — всё это в призме воспоминаний Веры) позже «расширяется» и «комментируется» Костоглотовым, кроме прочего, сообщающим:

— Теперь (оформившись в комендатуре. — *А. Н.*) еду... не к вам ещё, в центр. По афишам вижу, что идёт «Спящая красавица».

— Ах вот как! Так вы ещё — по балетам? Ну, знала б — не положила б! Не-ет!

— Вера Корнильевна, это — чудо! Перед смертью последний раз посмотреть балет! Да и без смерти я его в своей вечной ссылке никогда не увижу. Так нет же, чёрт! — заменён спектакль! Вместо «Спящей красавицы» пойдёт «Агу-Балы».

(192)

Взамен свидания со «Спящей красавицей» (скрытая надежда на целящую силу искусства) Костоглотову дана встреча с новой ипостасью героини балета Чайковского, со своей Спящей красавицей, которую умирающий «принц» не может с первого взгляда распознать. История Веги и Костоглотова повторяет сказочный (балетный) сюжет: после переливания крови, в свой счастливый вечер, уже пробужденная к жизни (хоть и не вполне понимающая, что же случилось), героиня ставит пластинку с сюитой из «Спящей красавицы»:

Шло адажио, потом «Появление фей». (Конечно, *не* названы номера третьего акта. Солженицын применяет здесь прием, остроумно названный «недоцитатой»[6]. — *А. Н.*)

Вега слушала, но не за себя. Она хотела представить, как должен был это адажио слушать с балкона оперного театра вымокший под дождём, распираемый болью, обречённый на смерть и никогда не видавший счастья человек.

Она поставила снова то же.

(291)

Психологическая зарисовка обретает символический (мифопоэтический) смысл. Сюжет сказки дается в двух — накладывающихся — вариантах: *рокированном* и *прямом.* В январский вечер умирает (почти мёртв) мужчина, вернуть жизни его должна женщина с небесным именем (Аврора-заря балета, оборачивающаяся звездой Вегой в реальности повествования). Но одновременно формально не свершивший назначенного ему подвига, *не* поцеловавший Спящую красавицу (ср. «И сейчас я без разрешения[7] целую их» (444). Это последняя строка письма Олега возлюбленной. Целует он губы.), сперва «изменивший» (история с Зоей), а потом покинувший заколдованный замок «принц» (бывший зэк, «вечный» ссыльнопоселенец) все же ее пробудил.

Именно сегодня новый законченный смысл приобрела её многолетняя верность.

Почти верность. Можно принять как верность. В главном — верность. (Вспомним «неправду» и «неполную правду» в диалогах с Костоглотовым. — *А. Н.*)

Но именно теперь она ощутила умершего как мальчика, не как сегодняшнего сверстника, не как мужчину — без этой косной тяжести мужской, в которой только и есть пристанище женщине. Он не видел ни всей войны, ни конца её, ни потом многих тяжёлых лет, он остался юношей с незащищёнными чистыми глазами.

Она легла — и не сразу спала, и не тревожилась, что мало сегодня поспит. А когда заснула, то ещё просыпалась, и виделось ей много снов, что-то уж очень много для одной ночи. И некоторые из них совсем были ни к чему, а некоторые она старалась удержать при себе до утра. (До чаемой «окон-

чательной» встречи с Костоглотовым, которая будет отменена «разляпистым голосом»: «Вот этот лохматый <...> — как ночное дежурство, так Зойку, медсестру, тискает!» (299). — *А. Н.*)

Утром проснулась — и улыбалась.

(296—297)

Мотив «Спящей красавицы» поддержан отсылкой к двум другим сочинениям ее автора. «Доносилась эта музыка из парка, Олег слышал её — но и не её, а как будто Четвёртую симфонию Чайковского, звучавшую в нём самом, — неспокойное трудное начало этой симфонии, одну удивительную мелодию из этого начала. Ту мелодию (Олег истолковывал её так), где герой, то ли вернувшись к жизни, то ли быв слепым и вот прозревающий, — как будто нащупывает, скользит рукою по предметам или по дорогому лицу — ощупывает и боится верить своему счастью: что предметы эти вправду есть, что глаза его начинают видеть» (135). Как в доносящейся с танцплощадки музыке (ясно, что совсем не «классической») герой (значимо названный здесь по имени) слышит Четвертую симфонию, так и «сквозь нее» слышит он «Иоланту» («глаза его начинают видеть»). И здесь (как при варьировании сюжета «Спящей красавицы») происходит рокировка мужского и женского персонажей. Обретает зрение (жизнь, свободу) мужчина, но благодаря женщине, пока еще обобщенной. Процитированному фрагменту предшествует перечисление «прав» или «самосущих радостей» (134), обретение которых переживает Костоглотов; последнее (в этом контексте — важнейшее) из них — «право разговаривать с женщинами» (135). С женщинами вообще. Ни о какой конкретной женщине внемлющий музыке Костоглотов не вспоминает. Но женщина — Вечная женственность — здесь скрыто присутствует. Далее эта обобщенная героиня предстает, как и должно быть, в разных обличьях (соперницей Веги оказывается не одна Зоя; притягательная тайна есть почти во всех женщинах,

девушках, девочках, которых видит или вспоминает Костоглотов), но это не отменяет единственности той, что ассоциируется со «спящей красавицей», тайной целительницей Четвертой симфонии, Иолантой. В переливающемся смыслами названии главы 35 — «Первый день творенья» (развернутой вариации начала Четвертой симфонии Чайковского, как его воспринимает Костоглотов) слышен и отголосок арии Водемона, открывающего Иоланте, что есть свет:

Чудный первенец творенья,
Первый миру дар Творца,
Славы Божьей проявленье,
Лучший перл Его венца!
Солнце, небо, звезд сиянье
Наполняют мир земной,
Всю природу и созданья
Несказанной красотой![8]

Продвигаясь по тексту «Ракового корпуса», мы все больше и больше убеждаемся в глубинном родстве (и/то есть предназначенности друг другу) Веги и Олега. Мена мужских/женских ролей при завуалированном использовании традиционных сюжетов лишь один (идущий под сурдинку) обертон этой сюжетно-смысловой линии. На нее работает и мотив волшебного «любовного напитка», тоже введенный трансформированно и прикровенно. Любовь соединяет героев не когда они пьют колдовское зелье, но когда вместе выливают яд (он же целительное средство), когда доктор Гангарт переливает больному кровь — не свою, но женскую («Кровь Ярославцевой, Ирины. Девушки? старушки? студентки? торговки? — Милостыня...» (285) — на самом деле, вопреки *фактам*, Веги. — *А. Н.*). Тристана и Изольду разделяет (до поры) меч, героев Солженицына то, что должно соединять, — постель, «подушечные бастионы», которые, однако, бьют «пулемётами» (430—431), оружием пострашнее меча.

В повести не раз возникают ситуации, свидетельствующие о невозможности соединения Принца и Спящей красавицы, Водемона и Иоланты (между прочим, героиня оперы Чайковского соглашается прозреть ради спасения жизни любимого), Тристана и Изольды...

— Вега! Ве-га! — вполголоса проговорил он, стараясь внушить издали. — Вернись, слышишь? Вернись! Ну обернись!

Но не внушалось. Она не обернулась.

(202)

Это концовка главы 17-й «Иссык-кульский корень». В главе следующей — «И пусть у гробового входа...» — Костоглотов начинает «тискать Зойку» (целует ее в губы). Этим же он, вероятно, занимался в ту самую ночь, когда «горела зелёная шкала» проигрывателя (299) — когда окончательно просыпалась Спящая красавица, вернуть к жизни которую может только поцелуй, только любовь. В день выписки Костоглотов, как ему кажется, «разменял... свою цельную утреннюю душу... В Универмаге... Ещё раньше — пропил с вином. Ещё раньше проел с шашлыком. (Но ведь и вино, и шашлык, и блуждание по улицам дарили настоящую радость. — *А. Н.*)

А ему надо было посмотреть цветущий урюк — и сразу же мчаться к Веге...» (420). Предпоследний рывок (по чудесно расслышанному зову антилопы Нильгау) завершается бегством от «подушечных бастионов». Последний — когда Олег вдруг, вопреки всему своему зэковскому опыту, поверил развеселому армянину-коменданту («...Скоро это всё кончится <...> Как что? Отметки. Ссылка. Ко-мен-дан-ты!» (435)) — тоже. Прижатый в трамвае к беленькой девушке, уверенный, что бесповоротно утратил мужское начало, «понял Олег, что едет к Веге — на муку и обман» (438). Свой обман — ее муку. И отправился на вокзал.

Всё так. Но *фабула* (героям не суждено быть вместе) оказывается слабее *мотивной системы*: Любовь Олега

и Веги — реальность, не зависящая от их *житейских обстоятельств.* Здесь особенно важны два сцепленных поэтических решения Солженицына: писатель наделяет Костоглотова таким знанием о Веге, что легче объяснить *мистически* (обмен мыслями), чем рационально, и неожиданно поворачивает общеизвестную легенду о «мертвом женихе» и его возвращении.

Прощаясь с «раковым корпусом» (в отличие от Русанова Костглотов не боится оглянуться!), герой заглядывается на изменившиеся с приходом весны деревья:

На клёнах уже висели кисти-серёжки. И первый уже цвет был — у алычи, цвет белый, но из-за листов алыча казалась бело-зелёной.

А вот урюка здесь не было ни одного. А он уже, *сказали* (курсив мой. —*А. Н.*), цветёт. Его хорошо смотреть в Старом городе.

В первое утро творения — кто ж способен поступать благорассудно? Все планы ломая, придумал Олег непутёвое: сейчас же, по раннему утру, ехать в Старый город смотреть цветущий урюк.

(406)

Что означает неопределенно-личная форма закурсивленного мной глагола? Кто поведал Олегу о зацветшем урюке? И почему его так влечет именно это дерево?

Ничего в их городе не бывало красивее цветущего урюка. Вдруг захотелось ей сейчас, в обгон весны, непременно увидеть хоть один цветущий урюк — на счастье, за забором где-нибудь, за дувалом, хоть издали, эту воздушную розовость не спутать ни с чем.

Но — рано было для того.

(288)

Не рассказывала доктор Гангарт Костоглотову об урюке. Но он хочет обрести то самое чудо, о котором Вега мечтала в свой счастливый день. И обретает:

И тогда с балкона чайханы он увидел над соседним закрытым двором прозрачный розовый как бы одуванчик, только метров шесть в диаметре, — невесомый воздушный розовый шар. Такого большого и розового он никогда не видел в росте!

Урюк??..

(409—410)

После лицезрения которого, как осознает герой позже, должно было «сразу же мчаться к Веге» (420). (Или *не* должно?) Да и все бесцельно-счастливое путешествие Костоглотова по незнакомому городу отражает возвращение Веги домой после переливания крови. (Только Вега ни в один магазин не зашла (288), а Костоглотов тыркнулся в универмаг (416—420). Как пораженная недугом и не перестающая думать о больных Донцова заглянула — и успешно — в «зеркальный “Гастроном”» (87); примечательно, что безрадостное посещение универмага описано весьма подробно, замедленно, а удачный заход Донцовой — «будут давать ветчинно-рубленную по килограмму в руки» — вместился в два абзаца.) Даже когда Олег замечает, что в чайхане сидят только мужчины и задумывается, не хотят ли они «этим выразить, что их главная жизнь идёт без женщин» (409), он словно откликается на обращенные к нему же размышления Веги об ущербности мировидения прославленного (модного, полузапретного) американского писателя: «Хемингуэевские сверх-мужчины — это существа, не поднявшиеся до человека, мелко плавает Хемингуэй» (292)[9].

Узнав «школьное» имя Веры Гангарт, Олег может уразуметь, что она не замужем, — не более. Да и эту шараду разгадывает он не слету — «Что-то тут не сошлось, но он сейчас не мог понять» (202). После разговора за переливанием крови он узнал в Вере «школьную подругу», понял, как она видит отношения меж мужчинами и женщинами. Но не только деталей — даже общего контура ее судьбы узнать Костоглотову было неоткуда. Их житейское интимное общение прекратилось на следующий день — когда Вере стало известно о ночных свида-

ниях Костоглотова с Зоей. И даже догадалась, почему у ее больного «слабо выражена реакция на гормонотерапию» (316). В главе 27-й «Что кому интересно» Костоглотов разом теряет Зою, смекнувшую, что «колесу игры» катиться некуда, а риск велик, и Вегу, совершенно не понимая, почему та «не хочет на него даже смотреть» (317). Одновременно же соперницы и простят Костоглотова — перед выпиской обе пригласят его переночевать. Что еще раз доказывает: в «Раковом корпусе» оппозиция «любовь земная—любовь небесная» *не абсолютна*. «В том ледяном мире, который отформовал, отштамповал Олегову душу, не было такого явления, такого понятия: “нерасчётливая доброта”. И Олег — просто забыл о такой. И теперь ему чем угодно было легче объяснить это приглашение, чем простой добротой» (396). Зря забыл. Потому как «нерасчетливая доброта» (самим Костоглотовым не раз овладевающая) — часть того, что зовется любовью, того, чем люди живы. Но никакого примирения меж Вегой и Костоглотовым до дня расставания не было; уже получив приглашение, он спрашивает: «А за что вы на меня так долго сердились?» (392) — и не получает ответа.

Так почему же Олег уверенно пишет возлюбленной: «Вы полжизни своей закололи, как ягнёнка, — пощадите вторую!» (444)? Он точно достроил судьбу другого человека — что посильно только художнику (Нержину романа «В круге первом»[10]) и любящему (Костоглотову).

Олега и Вегу разделяет его недуг (обусловленный страшным прошлым с неизничтожимым до конца последействием), но не тень погибшего на войне жениха. Пробудивший Вегу-Аврору Костоглотов не самозванец. Он не вытесняет погибшего, но его замещает. Трансформируется не только сюжет «Спящей красавицы», но и странно накладывающийся на него сюжет «Леноры». Героиня баллады Бюргера и ее переложений Жуковского была наказана (и/или осчастливлена) за *верность* жениху[11]. В повести Солженицына мертвец приходит к невесте, но в ином внешне обличье (он не

погиб на войне, а перенес после нее еще и лагерь), которое для Веги не важно — она узнает своего «развитого рядового». Он пришел не для того, чтобы унести невесту в могилу, а для того, чтобы вернуть ее жизни: «...именно теперь она ощутила умершего как мальчика, не как сегодняшнего сверстника, не как мужчину — без этой косной тяжести мужской, в которой только и есть пристанище женщине» (296). Но и в Костоглотове (вопреки его истории, складу, желаниям, поступкам) Вега видит (любит) такого же мальчика. Она перенесла его в страну детства, где браки не заключаются (там в них можно только играть). Перенесла, чтобы, сохраняя в себе дух этой страны, оба они могли жить в той жизни, что им досталась. Порознь. Потому что детство — в отличие от переливаемой крови — не консервируется. Они отказываются друг от друга ради того будущего, которое оба видят открытым для любимого (любимой): «...будущую себя угадать вам не дано» (444) — пишет Костоглотов Веге в день их не-встречи, в их «последний день».

В окончательном тексте «Ракового корпуса» Солженицын снял два коротких последних абзаца, памятных читателям сам- и тамиздата:

Хорошо лежать. Хорошо.

Только когда дрогнул и тронулся поезд — там, где сердце, или там, где душа, — где-то в главном месте груди — его схватило — и потянуло к оставляемому. И он перекрутился, навалился ничком на шинель, ткнулся лицом зажмуренным в угловатый мешок с буханками.

Поезд шёл —- и сапоги Костоглотова, как мёртвые, побалтывались над проходом носками вниз.

(447)

Далее следовало:

Злой человек насыпал табаку в глаза макаке-резус.

— Просто — так.

(546)

Доводилось слышать, что писатель убрал концовку, дабы отвести возможный (или даже прозвучавший) вопрос читателей: не умирает ли при начале движения Костоглотов — перемогший войну и лагерь, перебарывающий рак, чувствующий, что «ссылка уже колется, как яичная скорлупа» (447)? Представляется, что и при старом варианте финала, вопрос был не правомочен, и при новом у кого-то все равно может возникнуть. Костоглотов, конечно, *не* умирает — не зря Солженицын написал, что сапоги его болтались, *как* мертвые.

Название последней главы «Ракового корпуса» должно читаться *слитно* с названием главы предшествующей, отсылая к общеизвестным строкам и их контексту:

> Клянусь я первым днем творенья,
> Клянусь его последним днем,
> <…>
> Я дам тебе все, все земное —
> Люби меня!..[12]

Клятва Демона — зачин последнего его соблазняющего монолога. За ним следует смерть Тамары от поцелуя. Умерев, она, по «умыслу жестокому», должна соединиться навсегда с алчущим любви Демоном. Демон *замещает* нежданно перешедшего в иной мир жениха Тамары, им же и погубленного[13]. Солженицын и здесь варьирует узнаваемый романтический сюжет (контрастно соотнесенный с историей Спящей красавицы мотивом оживляющего/губящего поцелуя, корреспондирующий и с легендой о приходе мертвого жениха — не только метонимически). Его герой *не* увлекает возлюбленную в свое «небытие». И не проклинает «мечты безумные свои»[14]. Ему просто очень больно покидать «девочку» — женщину, про которую он понял: «Бог посылает» (444). Посылает — но не для соединения.

6. История анализа

— Костоглотов! За двенадцать сеансов рентген сделал вас живым человеком из мертвеца — и как же вы смеете руку заносить на рентген? Вы жалуетесь, что вас в лагере и ссылке не лечили, вами пренебрегали, — и тут же вы жалуетесь, что вас лечат и о вас безпокоятся. Где логика?

— Получается, логики нет, — потряс чёрными кудлами Костоглотов. — Но, может быть, её и не должно быть, Людмила Афанасьевна? Ведь человек же — очень сложное существо, почему он должен быть объяснён логикой? или там экономикой? или физиологией? (72).

Ср. в главе 25-й «Вега» размышления-переживания заглавной героини после ее разговора с Костоглотовым на сеансе переливания крови:

Праздник в том, чтобы почувствовать себя правой. Твои затаённые, твои настойчивые доводы, осмеянные и непризнанные, ниточка твоя, на которой одной ты ещё висишь, — вдруг оказываются тросом стальным, и его надёжность признаёт, уверенно виснет и сам на него такой бывалый, недоверчивый, неподатливый человек.

И, как в вагончике подвесной канатной дороги над немыслимой пропастью человеческого непонимания, они плавно скользят, поверив друг другу.

Это просто восхитило её! Ведь мало знать, что ты — нормальная, не сумасшедшая, но и услышать, что — да, нормальная, не сумасшедшая, и от кого! Хотелось благодарить его, что он так сказал, что он сохранился такой, пройдя провалы жизни.

Благодарить, а пока что оправдываться перед ним — за гормонотерапию. Фридлянда он отвергал, но и гормонотерапию тоже. Здесь было противоречие, но логику спрашивают не с больного, а с врача.

Было здесь противоречие, не было здесь противоречия — а надо было убедить его подчиниться этому лечению!

Невозможно было отдать этого человека — назад опухоли! Всё ярее разгорался у неё азарт: переубедить, переупрямить и вылечить именно этого больного! Но чтобы такого огрызливого упрямца снова и снова убеждать, надо было очень верить самой. А ей самой при его упрёке вдруг прояснилось, что гормонотерапия введена у них в клинике по единой всесоюзной инструкции для широкого класса опухолей и с довольно общей мотивировкой. О том, как оправдала себя гормонотерапия в борьбе именно с семиномой, она не помнила сейчас специальной отдельной научной статьи, а их могла быть не одна, и иностранные тоже. И чтобы доказывать — надо бы все прочесть. Не так много она их вообще успевала читать...

Но теперь-то! — она всё успеет! Теперь она обязательно прочтёт.

(288—289)

Мысли и/или чувства Костоглотова (больного) и Веры Корнильевны (врача) равно противоречивы. В предшествующей главе Вега, выйдя из поля зрения Костоглотова (находясь «за кадром»), слышит его словно бы внутренний монолог: «Сперва меня лишили моей собственной жизни. (Герой имеет в виду годы войны, лагеря, ссылки, которая должна быть «вечной». — *А. Н.*). Теперь лишают и права... продолжить себя. Кому и зачем я теперь буду?.. Худший из уродов! На милость?.. На милостыню?..» (284). В сбивчивой речи тридцатичетырехлетнего, прошедшего тяжелейшие испытания мужчины слышится то же, что будет, рыдая, кричать Дёмке Ася:

Из её опыта только и выходило: незачем теперь жить!

— Ком-му-я-теперь-буду-н-нужна?.. — спотыкалась она безутешно. — Ком-му?..

(335)

Дёмка утешает Асю обещанием взять ее в жены и робкими поцелуями — неумелым, нелепым, неожиданным

для него самого, но истинным признанием в любви. Доктор Гангарт, словно зная об этом еще не случившемся эпизоде, вроде бы должна (да и намеревается) сказать Костоглотову что-то вроде: вы же не глупенькая девочка, будьте взрослым, к жизни надо относиться серьезно (и дальше — в тональности то ли уставшего от бабьих штучек Льва Леонидовича (326), то ли поднимающегося над любовью ради дела Вадима Зацырко). Но говорит она совсем другое:

— Да ведь неправда же!.. Да неужели вы так думаете? Я не поверю, что это думаете *вы!..*

<...>

Должен кто-то думать и иначе! Пусть кучка, горсточка — но иначе! А если *так* — то среди *кого* ж тогда жить? Зачем?.. И можно ли!..

Так лечащий врач возвращает Костоглотова в «страну детства». (Его полет «по сумасшедшей параболе» рифмуется с грезящимся Веге далее движением «в вагончике подвесной канатной дороги над пропастью человеческого непонимания» (285, 289).) Детство, в которое посылает Костоглотова Вега, не то, откуда рвутся во «взрослую жизнь» (вспомним еще раз Асю в главе «Дети»), но особое пространство, напоминающее о мире до грехопадения. Можно ли в него вернуться? Из этой мечты растет большая ветвь *идиллической* словесности — миф о Филемоне и Бавкиде, повесть о старосветских помещиках, солженицынская история четы Кадминых (231—237), счастливых своим соединением после долгих лагерных лет, вдали от родины, в ссылке и бедности. Вега и Олег не дети и не старики, но отринуть безгрешный чистый мир они не хотят и не могут. Потому Костоглотов «узнает» в своем враче «девочку его детства» (287), потому, продолжая мысль Веги, с ужасом вспоминает книги венеролога, после которых «ощущение было... что не хочется даже жить...» (286).

Кажется, гармония достигнута. Отсюда счастливое состояние Веги в главе, несущей интимное имя героини. Но в той музыке, что звучит в душе Веги, слышатся и непредусмотренные ноты. Разумеется, Вера Гангарт и прежде стремилась спасти всякого больного, и впредь будет бороться за каждого, но *этого* ей особенно хочется спасти. Наверно, она и сама бы дошла до мысли о том, что гормонотерапия чревата опасностями, но ее сегодняшние рефлексии (и надежды на лучшее! — «теперь она обязательно прочтёт» все нужные специальные статьи и найдет в них истину) вызваны сетованиями Костоглотова. Доктор открывает в пациенте не столько даже единомышленника, сколько со-чувственника, еще не вполне понимая, что в ней пробуждается любовь, что она вновь становится женщиной.

Этот сюжет был подробно рассмотрен выше. Сейчас же должно подчеркнуть: ключевая для повести Солженицына тема *алогичности* человека, его несводимости к тем или иным объективным *закономерностям*, его внутренней противоречивости, его необъяснимости вводится в «неприятном» разговоре дотошливого пациента и замотанного, но, как кажется, неуклонно блюдущего профессиональные нормы врача. Не о любви или возможности счастья разговаривают Донцова и Костоглотов. О методах борьбы со злокачественной опухолью. О каждодневном деле. В то же время — о жизни и смерти.

7. Право лечить

Но можно ли так? — ставить вопрос о ***праве*** *врача лечить? Если думать так, если сомневаться в каждом научно принятом сегодня методе, не будет ли он позже опорочен или отвергнут, — тогда можно чёрт знает до чего дойти! Ведь смертные случаи описаны даже от аспирина: принял человек свой первый в жизни аспирин и умер!.. Тогда лечить вообще нельзя! Тогда вообще нельзя приносить повседневных благ.*

Этот закон, вероятно, имеет и всеобщий характер: всякий ***делающий*** *всегда порождает и то, и другое — и благо, и зло. Один только — больше блага, другой — больше зла* (83—84).

Глава прямо продолжает предшествующую: речь идет о том, что делала и о чем думала доктор Донцова, одержав победу над упрямцем. (Правда, в самом финале «Истории анализа» донцовская линия сильно перебивается костоглотовской: «Он шёл от неё и думал, что идёт между двумя вечностями. С одной стороны — список обречённых умереть. С другой стороны — в е ч н а я ссылка. Вечная, как звёзды. Как галактики» (76). Вот эти мысли пациента доктору недоступны. Как непонятно ей, почему так запущен недуг бывшего зэка. Как ни объясняй Костоглотов, *где* и *когда* его оперировали, что кругом творилось, *дикости* (63) этой Людмила Афанасьевна уразуметь не может. Как не может принять в расчет костоглотовскую «вечность».) Но не менее тесна связь седьмой главы с пятой («Тревоги врачей»), которая начинается с мрачнейших обертонов коллизии, представленной в «Право лечить»:

Этот Русанов мог причинить «маме» (Донцовой, резко поговорившей с капризным «важным» пациентом. — *А. Н.*) тягучие неприятности. Мудрено голову приставить, а срубить не мудрено.

Да если бы только один Русанов! Это мог сделать любой больной с ожесточённым сердцем. Ведь всякая травля, однажды кликнутая, — она не лежит, она бежит. Это — не след по воде, это борозда по памяти. Можно её потом заглаживать, песочком засыпать, — но крикни опять кто-нибудь хоть спьяну: «бей врачей!» или «бей инженеров!» — и палки уже при руках.

(55)

Так думает Вера Гангарт, тут же вспоминая подобные сюжеты. В частности — свой, с шофером МГБ, который

заподозрил докторшу с «ненашей» фамилией в намерении его отравить.

От «дела врачей» время действия «Ракового корпуса» отделяют всего два года. «Клочки подозрений остались там и сям, проносятся» (55). Как «проносятся», рассказывает в 26-й главе Лев Леонидович, накануне посетивший суд — «пока товарищеский» (298) — над хирургом. Обвинение: через несколько дней после операции («жил, уже играл») умер ребенок. «Восемь месяцев этого несчастного хирурга трепали следствием — как он там эти месяцы оперировал! Теперь на суд приезжают из горздрава, приезжает главный хирург города, а общественный обвинитель — из мединститута, слышите? И фугует: преступно-халатное отношение! Тянут в свидетели родителей — тоже нашли свидетелей! — какое-то там одеяло было перекошено, всякую глупость! А масса, граждане наши, сидят глазеют: вот гады врачи! И среди публики — врачи, и понимаем всю глупость, и видим это затягивание неотвратимое: ведь это нас самих затягивают, сегодня ты, а завтра я! — и молчим» (311). Впечатленный поездкой в Москву, где ощутимее «новые времена», Лев Леонидович «полез выступать», сказал, что случай — «предмет разбирательства *научного*, а никак не судебного», что работа врача «основана на доверии» (311—312)... и сорвал аплодисменты. «Новые» же времена: не автоматическое шлепанье срока (с предшествующим единодушным злобным воем на собрании по месту службы), а «товарищеский суд», прения (хоть и одергивали Льва — «слова лишим»), торжество справедливости: «Отстояли. Весь суд — на пшик, признали, что неправильно велась история болезни» (313). Но ведь запросто — не съезди Лев в Москву, не найдись ему поддержки — все могло сложиться иначе. «И это ещё — русский хирург! А если бы был немец, или, вот скажем, жьжьид, — протянул он мягко и долго “ж”, выставляя губы, — так повесить, чего ждать?..» (312). (По бродившим зимой 1953 года и позже слухам, «врачей-убийц» намеревались казнить именно так. Публично. Вот и па-

циент ракового корпуса П. Н. Русанов *«мечтал* о введении публичных казней для спекулянтов» (131). И надо думать, всей душой принял бы применение этой меры наказания к «убийцам в белых халатах». Как и шофер МГБ, озабоченный национальностью доктора Гангарт.) Ну а новые времена требуют новых форм: широкого привлечения общественности, острых дискуссий, повышения ответственности, развития самокритики... (возвращения к «ленинским нормам»). «И в заключение выступает главный хирург города! И что ж он из всего вывел? что понял? Судить врачей, — говорит, — это *хорошее начинание*, товарищи, очень хорошее!..» (313). 26-я глава и называется «Хорошее начинание».

Примечательно, однако, что Донцова спорит с постоявшим за правду коллегой: «А как с нами, врачами, можно разговаривать иначе? Там салфетку в живот зашили, забыли! Там влили физиологический раствор вместо новокаина! Там гипсом ногу омертвили! Там в дозе ошиблись в десять раз! Иногруппную кровь переливаем! Ожоги делаем! Как с нами разговаривать? Нас за волосы надо таскать, как детей!» (312). Эти самообвинения обусловлены не только тем, что доктор обнаружила у себя (почти? уже вполне?) тот самый страшный недуг, с которым всю профессиональную жизнь борется.

Позднее, в главе «Старый доктор» Донцова жалуется своему учителю:

— ...Но почему такая несправедливость: почему меня, онколога, должна настичь именно онкологическая болезнь, когда я их все знаю, когда представляю все сопутствия, последствия, осложнения?..

— Никакой тут несправедливости нет, — басовостью и отмеренностью очень убеждал его голос. — Напротив, это в высшей степени справедливо. Это самое верное испытание для врача: заболеть по своей специальности.

(В чём же тут справедливо? В чём тут верно? Он рассуждает так потому, что не заболел сам.)

— Вы Паню Фёдорову помните, сестру? Она говорила: «Ой, что это я неласковая с больными стала? Пора мне опять в больнице полежать...»

(353)

Опасения за себя (смогут ли мне помочь? не ошибутся ли те, кому я больше всех доверяю?) слиты с тем, что принес долгий опыт работы, в которой должно следовать легендарному Гиппократову правилу «Не навреди». Должно. Но получается не всегда. И не только из-за того, что работать немногим истинным врачам приходится в варварских советских условиях, рядом с толпой бездельников, неумех, просто случайно попавших в медицину людей. Опасающийся рентгеновской передозировки больной «уязвил» Людмилу Афанасьевну не дикостью и упрямством, а возможной правотой. «Она действительно должна была скоро делать сообщение в обществе рентгенологов на тему: “О поздних лучевых изменениях”. Почти то самое, в чём упрекнул ее Костоглотов» (81). Отсюда размышления Донцовой в главе «Право лечить». Вопреки ситуации возбужденного спора *подтверждаемые* в главе «Хорошее начинание» страстным оппонентом Донцовой (но и высоко ценимым ею коллегой, человеком, которому Людмила Афанасьевна готова доверить жизнь): «Да вы меня убиваете, Людмила Афанасьевна! — пятерню большую, как защищаясь, поднял к голове Лев Леонидович. — Да как можете так говорить — *вы*!? Да здесь вопрос, выходящий даже за медицину! Здесь — борьба за характер всего общества!» (312).

Вот-вот. Борьба за характер всего общества. И даже более того. Право лечить и — право учить, право строить, право вводить новые технологии, право изменять социальные нормы... (Да и право на личное счастье, на любовь, на человеческую жизнь.) Донцова думает: «всякий *делающий* всегда порождает и то, и другое — и благо, и зло» (84). И словно бы в полном с ней единодушии бодро витийствует поэтесса Алла Русанова, осво-

бождая отца от робко пробуждающейся совести (пусть замешанной на животном страхе возмездия): «тот, кто идёт и *сигнализирует*, — это передовой, сознательный человек! Он движим лучшими чувствами к своему обществу, и народ это ценит и понимает. В отдельных случаях такой человек может и ошибиться. *Но не ошибается только тот, кто ничего не делает*, (курсив мой. — *А. Н.*) Обычно же он руководится своим классовым чутьём — а оно никогда не подведёт» (241). Что ж, про такие толкования реальной сложности бытия (изощренные ли, простодушные ли опыты «оправдания зла») все, что требуется, коротко и ясно сказал Нержину (и нам) дворник Спиридон: «волкодав — прав, а людоед — нет!» (II, 499).

8. Чем люди живы

«Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартере. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьёю сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешёвая, и что заработает, то и проест. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та износилась в лохмотья» (93)[15].

В следующем абзаце появляется еще одна цитата из толстовского рассказа — резкий до гротеска, подчеркнуто-грубо телесный портрет барина (противопоставленного Толстым «поджарому» Семёну и «худощавому» Михайле): «как с другого света человек: морда красная, налитая, шея как у быка, весь как из чугуна вылит... С житья такого к а к им гладким не быть, этакого заклёпа и смерть не возьмёт»[16]. Поддуев распознает в барине сходство со многими знакомыми начальниками. «Да и сам Ефрем не начинал ли на такого вытягивать?» (93).

Первые строки рассказа цитируются вновь — после череды ответов на предложенный Ефремом (книжкой) вопрос: «чем люди живы?». Поскольку читать вслух

Ефрему трудно, «он стал перелагать Сибгатову своими словами» (96). Девять страниц (пять главок) толстовского текста (до появления барина) укладываются в четыре фразы. Не упоминаются чудесные обстоятельства. Не говорится о том, что пристыженная мужем Матрёна («...али в тебе Бога нет?!») дает мужикам на ужин последнюю краюшку. Опущен предсонный разговор Семёна с Матрёной («Мы-то даем, да что ж нам никто не даст? Не знал Семён, что сказать. Говорит: “Будет толковать-то”. Повернулся и заснул»[17]). История же барина (для помнящих рассказ Толстого — второго прозрения наказанного ангела) представлена достаточно подробно. Ясно, что именно неожиданная смерть «вечного» хозяина, которого, как казалось Семёну, «долбней не убьешь», проняла баринова двойника, который в свою пору не расслышал предупреждения: «И ты будешь умирать, десятник!» (178). О третьем прозрении ангела Ефрему поведать не удалось. Да и о том, кто такой Михайла и что с ним приключилось, сопалатники Поддуева не узнают. И без того возмущенный «не нашей» моралью Русанов требует ответа по существу: «И чем же там — люди живы?» (97). Тут-то Ефрема и берет настоящая тоска. Раньше, при ответе Русанова на вопрос из книжки, просто «досадно стало, что хиляк вывернулся. Уж где идейность — тут заткнись» (96). Теперь же Ефрему «досаждало, что лысый едва ли не угадал. В книге написано было, что живы люди не заботой о себе, а любовью к другим. Хиляк же (не слышавший конца рассказа! — *А. Н.*) сказал: общественным благом» (97). Только «общественное благо» для него есть благо *своего* класса — теперь именуемого не «господским», а «господствующим», «потомственных пролетариев» (забывших, как к станку подходят), «настоящих коммунистов», «верных сталинцев», «ответственных работников»... И имеет к благу сопалатников Русанова такое же отношение, как затыкающая рты «идейность» к «идеализму». Ответив на вопрос из книжки, материалист-диалектик «выкусил тот самый сладкий хрящик в суставе» курицы (96). Механи-

чески используя «правильные» слова, Русанов (как и любой инфицированный злом) не помнит их изначального смысла и — одновременно — его ненавидит. Потому он и не узнает в своем «общественном благе» той «любви» друг к другу, которой живы люди.

Не менее существенно, однако, что для обитателей онкологической палаты не может быть ясно, почему из истории быкообразного барина следует, что люди живы любовью. (Вновь *недоцитата.*) Вот что остается за кадром:

> И сказал ангел:
>
> — Узнал я, что жив всякий человек не заботой о себе, а любовью.
>
> Не дано было знать матери, чего ее детям для жизни нужно. Не дано было знать богачу, чего ему самому нужно. И не дано знать ни одному человеку — сапоги на живого или босовики ему же на мертвого к вечеру нужны.
>
> Остался я жив, когда был человеком, не тем, что я сам себя сдумал, а тем, что была любовь в прохожем человеке и в жене его и они пожалели и полюбили меня. Остались живы сироты не тем, что обдумали их, а тем, что была любовь в сердце чужой женщины и она пожалела, полюбила их. И живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях.
>
> Знал я прежде, что Бог дал жизнь людям и хочет, чтобы они жили; теперь понял я еще и другое.
>
> Я понял, что Бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтоб они жили заодно, и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно.
>
> Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они *одною* любовью. Кто в любви, тот в Боге и Бог в нем, потому что Бог есть любовь[18].

Почему так? Из опасений цензуры? Возможно. В расчете на памятливость одних читателей и благородный интерес других, что после прочтения «Ракового

корпуса» обратятся к рассказу Толстого? Весьма вероятно. (Кстати, рассказ «Смерть Ивана Ильича», ассоциации с которым возникли уже у первых читателей солженицынской повести, в тексте ее прямо не назван. В отличие от ряда иных сочинений Толстого — кроме «Чем люди живы» и других поздних рассказов, это повесть «Казаки», романы «Война и мир» и «Анна Каренина», воспоминания о брате Николае. Тоже недоцитата.) Из-за того, что Ефрему проще понять мысль о воздаянии за грехи, чем о силе любви, которой он в жизни (почти?) не видел? И так. Но, кажется, и потому еще, что глава «Чем люди живы» следует за главой «Право лечить» и вступает с ней в напряженный (неразрешимый банально) диалог. Можно ли спастись только любовью? Можно ли не вмешиваться в ход жизни вовсе? Ангел был наказан за то, что пожалел мать, оставил ее в живых, с новорожденными девочками. Но когда своеволие ангела было исправлено, а одинокая женщина умерла, ее соседка взяла двойняшек и выкормила их. А что сталось бы, сочти она, что о детях Бог позаботится? Что сталось бы с ангелом (Михайлой), если бы переложили заботу о нем на Бога Семён и Матрёна? В «Августе Четырнадцатого», готовясь к вражеской канонаде, какой-то солдат выкрикивает: «Богу молись, а к берегу гребись!» (VII, 238). Не только ведь для войны сложена была эта — известная Гоголю и записанная Далем — пословица.

9. Глава 21-я. Тени расходятся

— Эротический момент есть и у современных авторов. Он не лишний, — строго возразила Авиета. — В сочетании и с самой передовой идейностью (247).

Героиня, произносящая эту замечательную сентенцию, достойна пристального внимания. Она принципиально отличается от *всех* сколько-то подробно описанных персонажей повести Солженицына. Это авторское

решение было замечено первыми читателями «Ракового корпуса» (точнее — первой его части), принадлежащими литераторской среде. Замечено и осуждено. Как и глава 21-я «Тени расходятся» в целом. Реакции на нее читателей самиздата мне неизвестны, но среди профессионалов разногласий не было.

На удалении эпизода настаивали сотрудники «Нового мира», в том числе энергично боровшиеся за публикацию «Ракового корпуса». Из пятнадцати выступавших на писательском обсуждении первой части повести сочли должным укорить «литературную» главу *восемь* (больше половины). Тут сходились противники Солженицына и его союзники. Возможно, кто-то думал иначе, но мнение свое оставил при себе[19]. Разумеется, оппоненты Солженицына руководствовались разными мотивами — от элементарного страха (взятая в «Раковом корпусе» под защиту статья «Об искренности в литературе» была однозначно осуждена ЦК правящей партии[20], а решения этого органа срока давности не имели и какому-либо обсуждению не подлежали) до заботы (допускаю, что в иных случаях — субъективно честной) о духовной и эстетической высоте повести Солженицына (как выразился Е. Ю. Мальцев, «...все разговоры о литературе мельчат рядом с этой большой темой, поставленной в этой вещи»). Сколь бы, однако, ни различались побуждения и убеждения недоброжелателей 21-й главы, ее смысл и роль в поэтическом целом «Ракового корпуса» ими дружно игнорировались[21].

Отвечая критикам в конце обсуждения, Солженицын не без лукавства с ними «частично» соглашался: «Говорят (о 21-й главе. — *А. Н.*): фельетон. Согласен, — да. Говорят: фарс. Согласен, да. Но вот в чем дело: фельетон-то не мой, фарс-то не мой. <...> Речь Авиеты состоит из цитат из произведений известных ведущих критиков. Говорят: не надо сердиться на литературу. Да, с точки зрения вечности, конечно, не надо. С точки зрения вечности этой главе здесь не место. Но в течение некоторого времени эти цитаты произносились не Авиетой,

глупенькой девчонкой, а людьми уважаемыми, с трибун побольше этой, и в печатном слове. Справедливо ли забыть это? Эти весы между вечностью и современностью очень трудные, сложные. Конечно, в этой главе я откровенно пренебрегаю чашкой вечности, откровенно даю фельетон и фарс. Но говорю: не мой»[22].

Что Авиета шпарит цитатами, конечно, понимали все сколько-то вменяемые литераторы. А вот о том, почему нужны эти цитаты, зачем автору понадобились «фарс» и «фельетон», что за ними стоит, думать они не хотели. Между тем, лишь разобравшись в этих вопросах, допустимо толковать о том, действительно ли Солженицын в финале первой части «Ракового корпуса» пренебрегает «чашкой вечности».

Итак, Авиета принципиально отлична от остальных действующих лиц. Это единственный из сколько-то подробно описанных персонажей, что появляется на сцене *один* раз[23]. Во второй части повести имя ее не упоминается вовсе. Даже в главе «Счастливый конец» сказано, что Капитолина Матвеевна приехала забирать мужа из больницы с младшими детьми, «без старших». При этом отсутствию старшего сына (имя которого в тексте появляется) даны две мотивировки — прямая и скрытая.

Прямая: «...машину привёл Лаврик: он накануне получил права! <...> Лаврик выговорил, что после этого (транспортировки отца домой. — *А. Н.*) повезёт покатать друзей, — и должен был показать, как уверенно водит и без Юрки!» (385). Скрытая: Юра — тот самый «урод», которым должна быть, по пословице, нагружена любая семья[24]. Об этом думает Русанов в первый свой больничный вечер: «Юра — не напористый, растяпа он, как бы не опозорился» — в первой «практической инспекции» молодого работника прокуратуры (21). Об этом через три дня беседует с женой: «...нет в нём русановской жизненной хватки. Ведь вот хорошая юридическая специальность, и хорошо устроили после института, но надо признаться, он не для этой работы. <...> Вероятно, сейчас, в командировке, наделает оши-

бок. Павел Николаевич очень безпокоился. А Капитолина Матвеевна безпокоилась насчёт его женитьбы. Машину водить навязал ему папа (то ли дело Лаврик, уже школьником получивший права; не случайна эта деталь — как и кажущееся родителям сейчас «неудачным» имя их младшего сына. —*А. Н.*), квартиру отдельную добиваться тоже будет папа — но как доглядеть и подправить с его женитьбой, чтоб он не ошибся? Ведь он такой безхитростный, его охмурит какая-нибудь ткачиха с комбината, ну, положим, с ткачихой ему негде встретиться, в таких местах он не бывает, но вот теперь в командировке?» (159).

В обоих случаях Юре противопоставляется Авиета. А вот когда печальные предчувствия родителей сбылись[25] (глава 29-я «Слово жёсткое, слово мягкое») — нет. Коли искать правдоподобия, необъяснимо. Как необъяснимо, почему старшая дочь навестила отца только (и сразу) по приезде из Москвы. Тут не работают психологические или бытовые мотивировки, чтобы выстроить которые не надо быть Солженицыным. Просто больше поэтесса Алла Русанова автору не нужна. Ей в «Раковом корпусе» отведена роль важная, но короткая. На одну сцену. Зато здесь персонаж занимает всю площадку.

«Олегу посчастливилось встретить её в самых дверях клиники. Он посторонился, придерживая для неё дверь, но если б и не посторонился — она с таким порывом шла, чуть наклоняясь вперёд, что, пожалуй, и сшибла бы» (238). «Посчастливилось» не только палатному соседу, но и дочери Русанова. Костоглотов избежал сеанса агрессивной и бессовестной пошлости, то есть чуток нервов сберег, Авиета — отпора, который непременно дал бы ей закоренелый зэк. При столкновении физически она бы доходягу сшибла запросто (может, бросив «извиняюсь»), но в дискуссии пришлось бы поэтессе худо — Костоглотов ее «тактичному» хворому отцу спуску не давал, так уж тем более бы оттянулся на бодрой красотке. Но Солженицыну здесь вовсе не нужен спор, неизбежно переходящий в скандал, — ему необходимо дать Авиете выговориться

без помех. Игнорируя окружающую реальность и тем самым, как убеждена поэтесса, *отменяя* ее. Единичность появления бодрой, пышущей здоровьем, самоуверенной сияющей девицы в раковом корпусе — знак ее *абсолютной чуждости* не только обитателям больничной палаты, но подавляющему большинству населения страны советов. (Да и иных — куда более благоустроенных — стран.) Потому что человеческая жизнь подразумевает страдания, а миропонимание Авиеты — нет.

Она отменяет мрачную больничную атмосферу и вызывающих отвращение у Русанова соседей: «живым движением лба показала ему, что — убожество невыносимое, но надо рассматривать это с юмористической точки зрения» (240). Отменяет русановские страхи: реабилитации и значения не имеют, и не означают, что сажали (и убивали) без оснований («Что-то обязательно там есть, только небольшое» (240)[26]); *сигнализировали* передовые, сознательные люди (241); за ложные показания судить не будут (241). Отменяет ужас бытия и надежды миллионов («Зачем же теперь этих отдалёнников возвращать сюда? Да пересаживать их сейчас в прежнюю жизнь — это болезненный мучительный процесс, это безжалостно прежде всего по отношению к ним самим! А некоторые умерли — и зачем же шевелить тени? Зачем и у родственников возбуждать необоснованные надежды, мстительные чувства?..» (240)). Отменяет даже то, что только что сама признала: «Стыд и позор! Кто-то пустил — и вот вьётся, вьётся... Ну, правда, говорят и “культ личности”, но одновременно говорят и “великий продолжатель”. Так что надо не сбиться, ни туда ни сюда. Вообще, папа, нужно гибко смотреть» (242).

Но до всего этого, ровно таким же образом, отменяет Авиета болезнь отца: «Ну и ничего ужасного! — определила она. — Увеличенная железа и только. <...> Вот, говоришь, стало свободнее. Значит, уколы помогают. <...> А потом ещё меньше станет. А станет в два раза меньше — тебе она и мешать не будет, ты можешь хоть выписаться» (239). Совершенно бессмысленно задаваться вопросом,

искренне ли будущий член ССП порицает словосочетание «культ личности», отвергает возможность наказания стукачей, говорит о скором выздоровлении отца. «Искренность» — понятие не из ее интеллектуального багажа. Оппозиции «правда — ложь» для нее не существует. Она твердо знает одно: «колесо истории» невозможно «повернуть назад». Что на самом деле означает: в мире происходят только внешние изменения. Например, появились телевизоры. Подходит «полная революция быта <...> Абажуры матерчатые, как у нас дома, — это теперь позор, мещанство, только стеклянные!» (243). Родителям имя Авиета казалось (да по отсталости их и сейчас кажется) «красивым», а ныне (еще жива память о борьбе с космополитизмом) оно не годится (159)[27]. (Зато фамилия у русской поэтессы хоть куда!) Ну и, наконец: «...важно не пропускать повороты, какими полна жизнь. Например, говорили: “конфликтов быть не должно”! А теперь говорят: “ложная теория бесконфликтности”. Причём, если б одни говорили по-старому, а другие по-новому, заметно было бы, что что-то изменилось. *А так как все сразу начинают говорить по-новому без перехода — то и незаметно, что поворот* (курсив мой, не удержался. — *А. Н.*). Вот тут не зевай! Самое главное — быть тактичной и отзывчивой к дыханию времени. И не попадёшь под критику...» (245).

Все, что говорит Авиета, Русанов принимает с восторгом. Если сказала, что *выздоровлю, — выздоровлю.* Объяснила, что народ стукачей ценит, значит, так и есть. Тактично пресекла возникшее было желание почитать «чувствительное» (брать в руки «заупокойного» Толстого и боязно, и — после собственных обличений — неловко, но жалость к себе будит какие-то странные чувства) — правильно. (Хоть и попросил Павел Николаевич дочь поискать «чего-нибудь» (246) не из знакомого ряда — «Молодость с нами» (246), однако в дальнейшем, уверовав, что «смерть ему не грозит», обходился «Крокодилом» да «Огоньком» (259). Больше на «чувствительное» не тянуло.)

В общем, вернула дочь папашу на единственно верную дорогу. Дважды за пребывание в больнице Павел Николаевич пренебрег долгом — дважды не заложил Костоглотова. Но как же по-разному!

До посещения Авиеты (глава 19-я «Скорость, близкая свету»):

И не потому, что не хватило дыхательных сил выговорить или бы он боялся мести Оглоеда, — нет. <...> Даже было такое странное чувство, что этот крикун и грубиян <...> в конце концов, взрослый человек, имеет свою судьбу, может не очень счастливую, и пусть живёт как хочет[28].

(222—223)

А вот после (глава 27-я «Что кому интересно»):

...И если б только шло об одном Оглоеде, Павел Николаевич наверно бы шепнул врачам <...> Но Зойке он портить не решался <...> он понял, что даже ничтожная сестра может очень больно досадить, отомстить <...>.

А если Оглоед по дурости отказывается от уколов — так пусть ему и будет хуже. Пусть он хоть и подохнет.

(317—318)

Даже когда во вторую годовщину смерти главного людоеда «Правда» отделалась пустопорожней статьей, явив кощунственное пренебрежение к памяти Отца и Учителя, Русанов не рассиропился, а достойно выдержал удар. То есть сперва поддался: «Даже не опасность, нет, не та опасность, что отсюда росла для оставшихся жить, но — *неблагодарность*! неблагодарность — вот что больше всего сейчас уязвило Русанова — как будто на его собственные личные заслуги, на его собственную безупречность наплевали и растолкли. Если Слава, гремящая в Веках, куцо обгрызлась уже на второй год; если Самого Любимого, Самого Мудрого, того, кому подчинялись все твои прямые руководители и руководители руководителей, — свернули и замяли в двадцать четыре

месяца — так что же остаётся? где же опора? И как же тут выздоравливать?» (266). Но опора нашлась. Не столько в аппетитной закуске, запретной водке (и помыслить о ней Русанов в больнице не смел), неведомой прежде лихой карточной игре, сколько в правиле, которым руководствуется новый сосед Павла Николаевича, одаривший его всеми перечисленными радостями. Правило простое (и Русанову давно известное): «Зачем жить плохо?» — так называется 23-я глава, действие которой происходит ненастным 5 марта. Русанову только кажется, что, поминая Сталина «истинно по-русски», он хранит верность Хозяину, — на самом деле он блестяще сдает экзамен по, как выразилась Авиета, «отзывчивости к дыханию времени» (245). В котором, как помним, по существу ничего не меняется. А внешние изменения принимать надо. Вот и не спорит Русанов, когда Чалый хвалит разрешение абортов (270). Правда, замечает, что торговые мероприятия милейшего сопалатника идут «вразрез» (272), но не плюет в глаза тому самому спекулянту, о публичных казнях которых он еще недавно *мечтал* (131), а продолжает выпивать-закусывать с Максимом Петровичем, который работает, «чтобы всегда с карманом» (273). (А ведь совсем недавно возликовал коммунист Русанов, услышав, как Вадим Зацырко дает отпор кисляю Поддуеву: «А по-нашему: работайте больше! И не в свой карман» (175). И тут же понял, что Вадим — коммунист.) И на откровенное предложение взятки «обиделся» Русанов лирически: «Ну что ты! Ну как ты мог подумать!» (273), что можно понять и как согласие устроить «одного хорошего человечка» без «вступительного взноса». Главное же, что допрежь всех этих «компромиссов», с удовольствием выслушал верный сталинец credo Чалого: «Будем жить! Будем жить, Паша! <...> Кому нравится — пусть дохнет (да хоть бы и Самый Любимый. — *А. Н.*), а мы с тобой будем жить!» (271).

Могут спросить: при чем тут «литературная девушка», если сбивает с панталыку анкетных дел мастера проходимец Чалый? Да при том, что именно она объяс-

нила отцу: бояться нечего (что совести, что мести, что смерти), мы и в «новой» ситуации останемся хозяевами. И была права. Потому как Чалый не за два последних года навострился помидорчики в Караганду гнать, раздавая направо-налево *«бумажки»* (272)[29]. Чалый был и будет заинтересован в Русанове. А Русанов — в Чалом. Кто бы из них формально ни занимал более сильную позицию.

Потому хоть и пытался Русанов в день выписки распрощаться навсегда с больничным знакомцем (не дать ему телефончика), ничего из этой затеи не вышло: резина-то для колес нужна! «Будем звонить! <...> Будем дружить! <...> Будем жить!» — «подбадривал», «кричал Максим, держа руку как “рот фронт”» (387). Эти выкрики вполне соответствовали мажорному настрою Русановых, почувствовавших, что «начинается самая верная и безповоротная весна» (385). Весна, в которую уверовал обреченный кадровик-стукач. Весна, от которой все «тени расходятся». Весна, о скором приходе которой возвестила крупная, стремительно движущаяся, пышущая здоровьем девица в бордовом свитере с «широким белым весёлым зигзагом» (242), что только однажды осчастливила своим посещением раковый корпус.

Об исполнившей свою жуткую миссию в конкретной сфере (судьбе отца) и решающей сходные задачи за кадром Авиете во второй части повести напоминают два бегло упоминаемых персонажа — дочери других пациентов тринадцатого корпуса. Об одной из них говорится (тоже мельком) уже в первой части (глава 9-я «Tumor cordis»): «Во всяком случае надо было посоветоваться с женой, а особенно с дочерью Генриеттой, самой образованной и решительной у них в семье» (105). Не один Русанов переживает «истинный расцвет» в дочери, согревается «в её свете», ждет от нее — лучше встроенной в сегодняшние обстоятельства — умной подсказки и надежной поддержки. Точно те же чувства владеют его соседом — ссыльным немцем Генрихом Федерау[30]. Только, в отличие от Русанова, ему не удастся обсудить

с умницей проблему жизни и смерти (соглашаться ли на операцию — при отсутствии зримых признаков возвращения болезни) — слишком долго добиралось бы до нее даже отцовское письмо, еще дольше и тяжелее поездка «домой» (на место ссылки), а клинике важен не *письмо-, а койкооборот* (106). Федерау на операцию соглашается — надо полагать, сочтя, что «решительная» Генриетта сделала бы такой выбор. И поскольку Федерау последовательно (хоть и не прямыми авторскими оценочными суждениями) противопоставляется Русанову, у читателя возникает ощущение: велика вероятность, что Генрих Якобович выкарабкается.

Антитеза «Русанов — Федерау» поддержана противопоставлением их дочерей, контраст же становится ощутимым («работающим»), когда дается на фоне внешнего сходства. Так с отцами-«коммунистами» (в одном слове спрятаны антонимы). Так с дочерьми, наделенными не только «разумностью и решительностью» (знаем, каковы они у студентки Русановой), но и *похожими* — рифмующимися — именами. Похожими — и принципиально разными.

Генриетта — обычное немецкое имя, в нашем случае знаменующее семейную традицию (дочь Генриха названа по отцу). Авиета — имя внеположенное как русской культуре (его нет в святцах), так и европейской — придуманное. Конечно, не лично П. Н. и К. М. Русановыми, но «коллективным разумом» их сословия — советских малограмотных выдвиженцев, падких до «красивого» и «современного». Авиета ассоциируется с авиацией, которая в начале 30-х, когда у Русановых родилась девочка, являла собой символ сверхпрогресса. Имя Авиация вошло в советский онамастикон — наряду с именем Трактор. Но Авиета звучит еще красивее, так как еще *иностраннее*[31] — как Мариетта, Жоржетта, та же Генриетта. О том, что суффикс «ett» («ет(т)») нагружен не только женской, но и уменьшительной семантикой, Русановы, понятно, не ведают[32], а потому не догадываются, что какой-нибудь умник (любитель «народной

этимологии», они среди литераторов водятся) может поднять их дочь на смех, клича ее птичкой. Так что правильно делает поэтесса, меняя имя: Алла — это для 1955 года еще не банально, *иностранно*, но в меру (вообще-то, это имя — по жившей в IV веке св. Алле — в святцах есть, но нарекали им в России нечасто), ассоциируется (пусть, если по науке, безосновательно) с цветом нашего знамени (вспомним колористику эпизода Авиеты) и нормально сочетается с «идеальной» фамилией. Так сходство выявляет противоположность.

Эта игра продолжена в главе 27-й. Как во всей второй части, Авиета здесь отсутствует. Но поэтессу удачно замещает Вадим — другой представитель «молодой интеллектуальной элиты», яростный спор которого с Шулубиным о назначении науки и ценности человека — смысловое ядро главы, обозначенное ее названием — «Что кому интересно». Этому идеологическому ратоборству предшествует разговор Русанова с Федерау, в ходе которого выясняется, что ссыльная дочь ссыльного (конечно, по «государственной необходимости», но ведь и не без вины же[33]) — студентка. Пусть областного учительского института, но студентка — как и его (ответственного работника) дочь, заканчивающая университет в республиканской столице! «Ну подумайте! <...> она институт кончает! (Обучение в учительских институтах, занимавших позицию между педучилищами и пединститутами, было трех- или двухгодичным. Генриетта учится на втором курсе. — *А. Н.*) Кто мог бы об этом мечтать в царской России. Никаких препятствий, никаких ограничений»[34]. Тихий Федерау возражает. «Без ограничений» стало «с этого года», раньше получившим разрешение комендатуры «институты бумаги возвращали: не прошла, мол, по конкурсу». Форма женского рода последнего глагола ненавязчиво сигнализирует: весьма вероятно, что так было и с Генриеттой. Ее, нынешнюю второкурсницу (поступавшую *до* отмены ограничений, возможно — не один раз) «взяли» потому, что «в баскетбол хорошо играет» (320) — именно за это. Интерес-

на тут нам не столько тема привилегии спортсменов[35], сколько внешнее сходство карьерных дорог двух студенток. Почему сборник стихов Аллы Русановой поставлен в ближайший издательский план? («Но быстрей — не бывает!») Да потому, что Анна Евгеньевна познакомила юное провинциальное дарование с М* и С*, та «прочла им два-три стиха, им обоим понравилось». Ох, не врут глагольные формы. «Вообще, я насмотрелась на их жизнь <...> Лауреаты (М* и С*, по звонкам-запискам которых перекраиваются давным-давно утвержденные издательские планы; ну и приятели, с которыми они «по именам». — *А. Н.*) <...> Всем радостям жизни они открыты, любят выпить, закусить, прокатиться — и всё это в компании» (244). Для которой прямо-таки необходимы новые — здоровые, красивые и без комплексов — девицы. Обычно с литературными амбициями. (Так будущие докторши, вроде преследующей Льва Леонидовича уже дипломированной «хирургини» с «красивым» — тоже! — именем Анжелина, на своей заре стремятся познакомиться с профессорами-медиками, на худой конец — доцентами. У кого-то получается.) Что ж, стихи у них конечно «те еще» (Алла Русанова допускает, что ее могут ругать «по художественной части»; наверно, предупредили девушку), но без «идейных вывихов» и не хуже, чем у других (включая самих М* и С*). Так что вовсе не сдуру восклицает «морально здоровая» (по Русанову) Авиета: «внешние качества у меня для литературы исключительные!» (245). И про «эротический момент у современных авторов» говорит она со знанием дела. О чем и напоминает нам короткая история об умной и целеустремленной ссыльной девушке, которая, козырнув баскетбольными достижениями, сумела пробиться к вожделенному образованию[36].

Другое, на сей раз не контрастное, а почти идеально точное, отражение Авиеты (указание на ее *неединочность* в большом советском мире) открывается читателю в исповеди Шулубина. Прежде он пересказывает Костоглотову учение Френсиса Бэкона об идолах, господ-

ствующих под «небом страха». В числе их — «идолы рынка» (так и называется обсуждаемая глава 26) — «ошибки, опутывающие человека из-за того, что установилось употреблять формулировки, насилующие разум» (366). А затем — поведав о том, как сам нес идолову службу, как, попытавшись спрятаться на тихой должности библиотекаря, совал в печку «генетику! левую эстетику! этику! кибернетику! арифметику!..» (367), — говорит о своем главном «свершении»:

Зато я вырастил семью. И дочь моя, редактор районной газеты, написала такие лирические стихи:

Нет, я не хочу отступаться!
Прощенья просить не умею.
Уж если драться — так драться!
Отец? — и его в шею!

(368)

Солженицын использует здесь стихотворение Н. Н. Топниковой, дочери узника ГУЛАГа Н. Я. Семёнова, цитируемое в «Архипелаге...» (V. 525). Там опущены две первых строки из припомненных Шулубиным и приведен еще один катрен: «Мораль?! Вот придумали люди! / Знать не хочу я об этом! / В жизни шагать я буду / Только с холодным расчётом!» (ср.: III, 533, комментарий В. В. Радзишевского; буква «ё» в последнем слове явно поставлена Солженицыным — у Топниковой невозможное «расчетом» стоит в рифменной позиции). Нелишне заметить, что Топникова равнялась в своем опусе на «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи» (И. В. Сталин), воспринимаемого в оттепель с новым энтузиазмом. Ср.: «А мы — / не Корнеля с каким-то Расином — // отца, — / предложи на старье меняться, — / мы/ и его/ обольем керосином // и в улицы пустим — / для иллюминаций» («Той стороне», 1918); «Мы / тебя доконаем, / мир-романтик! // Вместо вер — / в душе / электричество, /

пар. // Вместо нищих — / всех миров богатство прикарманьте! // Стар — убивать. / На пепельницы черепа́!» («150 000 000», 1920)[37]. Вирши Топниковой встраиваются скорее в 1961-й (когда и были сляпаны), чем в 1955-й. Но Солженицыну, кроме прочего, важно постоянно показывать, как в недавнем прошлом коренится настоящее, время работы над «Раковым корпусом». Стишки дочери Шулубина *замещают* творенья Аллы Русановой. И тут не имеют значения ни точная приуроченность текста ко времени (кто-то и в 1955-м являл *смелость*), *ни личные чувства* строчкогонов. В 1961-м (году XXII съезда) Топникова побивала не узника сталинских лагерей, а «отца вообще». Шулубин хоть и неудачник, но не зэк, от которого должно публично отрекаться. Солженицын избавил нас от знакомства со стихами Аллы Русановой, но дал понять: учует, что «дыханию времени» соответствует словесная расправа с отцом (как, к примеру, с мещанином, а то и сталинистом) — «обольет керосином». Вне зависимости от того, будет ли жив ее физический отец.

Это сегодня продолжает действовать инструкция, согласно которой правда «должна быть сверкающей, увлекательной, оптимистической!», а потому нужно описывать «наше чудесное “завтра”» (247, 248). Завтра могут приказать повысить в правде долю суровости (не поступаясь, конечно, оптимизмом) и поменьше соваться в послезавтра. Алла Русанова и с этим справится. Еще раз доказав, что «роль литературы вообще сильно преувеличивают». Это реплика Вадима. Сперва он вроде бы поддержал Аллу: «А зачем, правда, уныние нагонять» (247), то есть читать Толстого, который писал «не для нашего века» и «слишком безформенно, неэнергично» (175). Но тут же ее одернул: «Литература — чтобы развлечь нас, когда у нас настроение плохое» (247). Если бы Русанов понимал, о чем спорят, он бы сказал, что слова Вадима идут вразрез. И был бы прав! Потому как для Вадима одним миром мазаны Дёмкино «литература — учебник жизни» (коряво, «по-школьному», «по-советски»

выраженная мечта о меняющем мир и просветляющем душу слове) и принесенные Авиетой книжки лауреатов, написанные с такой скуловоротно-«учительной» скукой, что едва ли хоть кому-то могут настроение поднять. Тем более Вадиму, который уже «стал находить, пожалуй, что язык тех речей (сталинских. — *А. Н.*) был пресен, а мысли отнюдь не сжаты, но гораздо короче могли бы быть изложены, и на тот объем их могло бы быть больше» (266). Но если такие мысли о Сталине (которого боготворил Вадимов отец и за которым Вадим числит другие заслуги) лучше держать при себе, то изображающих «учителей жизни» лауреатов, пожалуй, пора послать куда подальше. (Вместе с точно таким же Толстым и всеми прочими, кого проходили в школе. Тратя на то драгоценное время, которое могло быть использовано для углубленного изучения физики, химии и других настоящих наук. Кому что интересно.) Вадим ведь твердо знает о своем поколении: «Мы не роботы. Мы ничего на веру не принимаем» (344)[38], хотя и лепит в той же главе одну советскую пошлость за другой. Вот он и выдает разом Дёмке и Авиете: «Что ж, писатели умней нас, практиков, что ли?» А затем ставит всю литературу на подобающее ей место. Так сказать, у параши. Поскольку далее следует: «Превозносят книги, которые того не заслуживают. Например — “Гаргантюа и Пантагрюэль”. Не читавши, думаешь — это что-то грандиозное. А прочтёшь — одна похабщина, потерянное время» (247).

Как исхитрился геолог обзавестись таким представлением о романе Рабле, понять затруднительно. Читать бурлескную эпопею в подлиннике посильно редким профессионалам. Изданный пятитысячным тиражом в 1929 году перевод В. А. Пяста двадцать пять лет спустя был раритетом[39]. Да и с чего потянуло жестко экономящего время, всегда занятого Вадима на книгу даже не из прошлого, а из невесть какого века? Да еще огромную! И кто в начале 1950-х так уж Рабле «превозносил»? Самое же забавное, что в сочинении мэтра Франсуа «похабщины» («материально-телесного низа» тож), если

угодно, с избытком, но «эротики», почитай, вовсе нет. (Не считать же эротичными философствования Панурга о том, стоит или не стоит ему жениться.)

В общем, Вадим несет стопроцентую ахинею. Без сомнения с чужого голоса. («Мы ничего на веру не принимаем». Кроме того, что принимаем.) Похоже, информатор его спутал роман Рабле с «Декамероном». Меж тем Авиета тут и бровью не ведет, хотя должна бы: на филфаке любого университета проходился курс зарубежной литературы. Но будущий автор сборника стихов, выпущенного столичным издательством, прошла мимо Рабле (он ведь не М* и не С*, из «великого может быть» в «Советский писатель» не позвонит). Хорохорясь друг перед другом, Авиета и Вадим одинаково глубоко равнодушны к литературе — любой. (Как и к жизни других людей, не входящих в их круги.) Изображая фарсовую дискуссию в больничной палате, Солженицын блестяще пародирует будущий (случившийся уже) спор физиков и лириков (циников и демагогов), увы, захвативший и людей совсем иной стати, увековеченный в памятном двусмысленном стихотворении достойного поэта[40].

К счастью, невольно спровоцировавший полемику Дёмка пропускает трескотню старших мимо ушей. Он *не* понимает, почему *искренность* может быть вредна, почему описывать нужно чудесное «завтра», почему значение литературы «сильно преувеличено». Он *не берет на веру* эти комфортные пошлости. Мальчишка морщит «туповатый лоб» (248) — оценка Авиеты совпадает с прежде зафиксированным мнением о Дёмке Вадима («не было светлой печати таланта» (219)). Противостояние «физика» и «лирика» условно и временно, это чувствует Авиета, привыкшая делить людские мысли «на две четкие группы верных и неверных доводов», а потому не понимающая: Вадим «за неё или против»? Конечно за — хоть и вносит, с точки зрения Авиеты, «идейную путаницу» (248). Они *вместе* противопоставлены Дёмке, которого «воспитывают», что называется, «для

порядка», не ставя мальца в грош и не заботясь о том, усвоит ли он их наставления. Не поймет, ему же хуже[41].

Выстроенная Солженицыным антитеза (Дёмка — Авиета с Вадимом) напоминает о поколенческих коллизиях у Достоевского. В «Идиоте» соблазнами современности так или иначе отравлены все молодые люди (от Гани Иволгина до Ипполита), а душевной чистотой, человечностью и истинной любовью к князю Мышкину наделены отрок и отроковица — Коля Иволгин и Вера Лебедева. Младший из братьев Карамазовых причастен к случившейся трагедии (хоть, с любой рациональной точки зрения, и «менее других»); искупление его вины прямо зависит от того, сумеет ли он убедить мальчиков (конечно, не только речью у камня Илюшечки!) сохранить в себе добрые начала, строить по ним предстоящую жизнь: «Господа, милые мои господа, будем все великодушны и смелы, как Илюшечка, умны, смелы и великодушны, как Коля (но который будет гораздо умнее, когда подрастет), и будем такими же стыдливыми, но умненькими и милыми, как Карташов»[42]. Эквивалетом Алешиной речи у камня становится в «Раковом корпусе» обращенное к Дёмке костоглотовское: «Выздоравливай — и будь человек! На тебя — надеюсь!» (442).

Дабы понять *большой смысл* этого доброго пожелания, следует учесть еще одну реплику в проходящем сквозь всю повесть споре о литературе. На Авиетин призыв описывать «наше чудесное “завтра”» (248) откликается Елизавета Анатольевна, не слышавшая ее лекции, зато поневоле слишком хорошо знакомая с «образцами», коим неукоснительно следует литературная девушка (глава 34-я «Потяжелей немного»): «Близко я не знаю книг, какие бы не раздражали. В одних — читателя за дурачка считают. В других — лжи нет, и авторы поэтому очень собой гордятся. Они глубокомысленно исследуют, какой просёлочной дорогой проехал великий поэт в тысяча восемьсот таком-то году, о какой даме упоминает он на странице такой-то. Да может, это им и нелегко было выяснить, но как безопасно! Они выбрали

участь благую! И только до живых, до страдающих сегодня — дела им нет» (401). Безропотная и старательная санитарка, верная жена зэка-повторника, интеллигентная женщина, выброшенная в одночасье в 1935 году из родного города, похоронившая дочь и в одиночестве воспитывающая мальчика сына, говорит не только о дебильной «лакировочной» словесности. (Ей цену знает и Вадим.) Не врачуют душу, а терзают ее интеллигентные, «хорошо написанные» сочинения о прошлом. (Только ли о прошлом? или и о настоящем, но избавленном авторами от каждодневного ужаса реальности? Мелькает тут тень Паустовского.) Перестает помогать классика:«...зачем мне перечитывать “Анну Каренину”? Может быть, мне хватит и этого?..»[43] (*Это* — не только высылка из Ленинграда, о которой только что рассказала Елизавета Анатольевна. *Это* — вся ее жизнь. Не изменившаяся за те два года, что нет Сталина.) И тут — главное: «Где мне о *нас* прочесть, о *нас*? Только через сто лет?» (401).

В отчаянном вопросе Елизаветы Анатольевны слышится и актуальный для 60-х годов обертон. После ареста романа В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба» (февраль 1961 г.; власти считали, что захвачены *все* экземпляры, что роман стал абсолютно недоступен) писатель напряженно боролся за освобождение своей заветной книги. В письме на имя Н. С. Хрущева Гроссман сообщил, что еще до изъятия романа один из литературных начальников сказал ему: «...печатать книгу можно будет через 250 лет». Реакцией на письмо стал вызов Гроссмана к главному партийному идеологу М. А. Суслову, который разъяснил писателю: «Нет, нет, вернуть нельзя. Издадим пятитомник (солгал, не издали; даже после скорой и безвременной кончины Гроссмана. — *А. Н.*), а об этом романе и не думайте. Может быть, он будет издан через двести-триста лет»[44]. Солженицын знал, что сталось с романом Гроссмана: в сентябре 1965-го он предполагал, что та же участь постигнет роман «В круге первом», а потому забрал его из редакции «Нового мира» (XXVIII,

123). Знал он и о том, что «в июле 1962 <...> Суслов вызвал В. Гроссмана по поводу отобранного романа» (XXVIII, 296—297). Весьма вероятно (хоть и не доказуемо строго), что до Солженицына дошла и колоритная деталь рассуждений главного идеолога партии. Но даже если мы имеем дело со случайным совпадением, Елизавета Анатольевна отвечает не только мелкой литературной потаскушке и охотнику до поднимающих настроение книжек, но и всемогущему Суслову, разветвленному цекистско-чекистско-союзписательскому аппарату (организаторам смертоносной травли Пастернака, тайным рецензентам романа Гроссмана, наглым изготовителям-распространителям клеветы о Солженицыне), всем, кто надеется отложить появление свободного и правдивого слова о *нас* (о сегодня, несущем груз вчера) на сто, двести, триста лет. Елизавете Анатольевне нужна *такая* литература. Как и Дёмке, который сейчас еще не может ясно уразуметь, чего же он ждет от книг и в них не находит. Дёмкино «тупое» недоверие к искрометным аргументам поэтессы и «практика» вкупе с его упертой гуманитарностью позволяют надеяться, что мальчик со временем станет *настоящим* читателем. А при наилучшем стечении обстоятельств — писателем. Необходимым для выздоровления страны, которое не может произойти в отсутствие живой литературы.

Поэтому финал первой части двоится. Покидая «раковый корпус», Авиета восклицает: «Ну, отец, борись за здоровье! Борись, лечись, сбрасывай опухоль — и н и о ч ё м не безпокойся! Всё-всё-всё будет отлично!» (248). Слышна тут уверенность в собственном светлом будущем тех, кто без намека на раздумья, как и вчера, игнорирует разлитую в мире боль (чужая же!) и убежден в своей избранности (вообще-то, люди смертны, но ведь когда еще это будет... и будет ли? ученые что-нибудь придумают). Но, прочитав вторую часть повести, мы узнаем, какой «счастливый конец» ждет Русанова, освобожденного дочерью от страхов, сомнений, тяги к «чувствительному». Напористая «философия

оптимизма» погашается авторским сарказмом. Более того: опустошенные и вывернутые слова обретают желанный естественный смысл: *всё будет отлично* — для обычных (пусть, грешных и искореженных жизнью) людей, для ждущей выздоровления страны, для мира. Тогда и в заглавье «Тени расходятся» пробивается добрый смысл: «расходятся» не страшившие Русанова нежданно «воскресшие мертвецы» (выжившие узники ГУЛАГа), а людоеды и упыри, долгие годы загонявшие живых людей и саму Россию в смерть. (Исчезновение Авиеты во второй части может читаться и в таком ключе.) Сбываются мечты Русанова: дети оказываются лучше родителей — это не только о сироте Дёмке (хотя в первую очередь о нем), но и о «безхитростном» (159) Юре Русанове. А в фарсовом литературоведческом суждении Авиеты о сочетании у современных авторов «самой передовой идейности» с «эротическим моментом» (247) обнаруживается не только язвительная и точная характеристика советского литературного быта, но и ключ к поэтической системе «Ракового корпуса». Действительно, «передовая идейность» — утверждение незыблемых человеческих ценностей, осуждение зла в его исторической конкретности, но при свете вечности, разговор о жизни и смерти, надежда на будущее... Действительно, «эротический момент» — да не один, вся повесть — история любви, которой покорны не только Костоглотов и Вега, но и другие герои — от Аси и Дёмки до старичков Кадминых[45].

Значит, «всё отлично»? Не значит. И не только потому, что потери невосполнимы, боль прошлого никогда не уходит совсем, Костоглотову не дано обрести счастья с Вегой, его исцеление возможно, но автором не гарантировано, положение Дёмки не менее проблематично, на несомненную смерть из ракового корпуса уходит не один мерзавец Русанов, но и, скажем, ничем дурным не отмеченный Прошка... Так устроена земная жизнь — так строятся великие книги, включая те, концовки которых можно без иронии и сомнения назвать счастливыми[46].

В «Раковом корпусе» есть и другое: надежды середины 50-х сбылись далеко не полностью. Тоталитарно-идеологическая система власти и неотделимый от нее Архипелаг выстояли и в отсутствие Сталина.

«Раковый корпус» — книга о переходном периоде, о времени, когда колебались весы истории, когда шанс на выздоровление России был больше, чем когда-либо после катастрофы 1917 года. Солженицын, всегда крайне внимательный к фактической точности, сдвинул время действия сравнительно со своим пребыванием в ташкентской больнице на год вперед, ему требовалось ввести в текст сильные приметы ожившей истории — смену Верховного суда, отставку Маленкова, оказавшиеся верными слухи о роспуске ссылки. Ровно через год после описанных в повести событий состоялся XX съезд... «Раковый корпус» писался в другой переходный период — после отстранения Хрущева от власти. «Близко к уверенности можно сказать, что готовился крутой возврат к сталинизму во главе с Железным Шуриком Шелепиным» (XXVIII, 121). 11 сентября 1965-го гебисты взяли (арестовали) архив Солженицына (XXVIII, 124). Но: «...*Железный Шурик*, начавший аппаратное наступление с августа, не сумел свергнуть никого из преемников Хрущева. Были за полгода назначены на XXIII съезд докладчики — но не Шелепин» (XXVIII, 133)[47]. Весы колебались. Не так, как двенадцать и десять лет назад, но колебались. Весной 1966 года Солженицын вплотную приступил к повести о больных раком. 8 декабря 1968-го (повесть уже разошлась в самиздате и напечатана «Посевом») Солженицын занес в «Дневник Р-17» упоминавшуюся выше запись — размышление о судьбе «Ракового корпуса». Здесь читаем: «Надо было создаться отчаянной ситуации после отнятия архива, чтобы в 1966 г. я просто *вынужден* был из тактических соображений, чисто из тактических: сесть за “РК”, сделать открытую вещь, и даже (с поспеху) в два эшелона» (XXVIII, 451)[48].

Нелепо спорить с автором о том, почему он написал (дописал) свое сочинение. Но не получается и вполне по-

верить, что дело сводилось к тактике — необходимости прикрыть зримым для литераторского сообщества сочинением «Ракового корпуса» абсолютно тайную работу над смертельно опасным «Архипелагом...» — книгой, завещанной писателю всеми бесчисленными жертвами советского режима, ради завершения которой надлежало сберечь себя. Функцию прикрытия можно было возложить на «военный роман» «Август Четырнадцатого» — тем более что по завершении «Архипелага...» Солженицын намеревался полностью сосредоточиться на эпопее о революции. И еще: Солженицын настойчиво боролся за открытость «Ракового корпуса» как можно более широкому кругу читателей. И предложение повести редакциям нескольких журналов (вероятность удачи мала, но вдруг!), и циркулирование рукописи в литераторской среде перед «потребовавшимся» писателю обсуждением, кроме прочего, пополняли «самиздатские батальоны» (XXVIII, 154). Борьба за публикацию «Ракового корпуса» в отечестве продолжалась до тех пор, пока оставался на то хоть какой-то шанс. И с романом «В круге первом», и со сплоткой рассказов, которую Солженицын пытался опубликовать в 1965 году, дело обстояло иначе.

Тактика — тактикой, но, работая над «Раковым корпусом», Солженицын решал и стратегическую задачу. Это была та книга о *нас*, которую ждали (уж сколько лет) вместе с Елизаветой Алексеевной все униженные и оскорбленные. Эта была история, самые неприятные герои которой (за единственным исключением) вызывали сострадание. Это было то самое «слово мягкое», что «кость ломит», напоминает, что все мы — люди. Ибо вспомнившиеся Ефрему Поддуеву слова стоящего на краю жизни «мало́го»: «И ты будешь умирать, десятник» (178) — это не только мстительное проклятье, не только констатация общеизвестного (и редко берущегося во внимание) факта, но и воззвание к нашему божественному началу. Это было обращение ко всем — от царя до последнего псаря. Опомниться, подумать о чужих печалях, душевно выпрямиться могут все. Если захо-

тят. Не получилось в 1955—1956-м — попробуем одиннадцать-двенадцать лет спустя.

Да хоть бы и позже. Хоть бы и после того, как писатель со всех трибун был объявлен врагом, а его книги изъяты из обращения. Узнав в октябре 1970-го о награждении Нобелевской премией, Солженицын направляет письмо Суслову, предлагая власти в неприятной для нее ситуации сохранить (обрести) человеческое лицо. Что требует писатель? В первую очередь, немедленно опубликовать «Раковый корпус» (не «В круге первом», не ненапечатанные рассказы, не старые раскаленные пьесы, тем более — не взрывной «Архипелаг...», о котором хозяева еще не знают) и снять наказания со всех, кто преследовался за чтение и обсуждение его книг. Самое важное — издание повести о жизни, смерти, любви, возможности выздоровления. «Если з д е с ь сдвинуть только то, что я предложил <...>, это было бы изменение не только со мной, а — всей литературной обстановки, а там дальше и не только литературной. И хотя сердце рвётся к большему, к чему-то решающему, но историю меняют всё-таки постепеновцы, у кого ткань событий не разрывается. Если б можно плавно менять ситуацию у нас — надо с этим примириться, надо б и делать» (XXVIII, 663, 297).

Не сбылось. «Раковый корпус» не стал на исходе 60-х *открытой* — доступной всем — книгой. С тех пор привычка читать и — соответственно — навыки чтения сильно пошли на убыль. Чему немало споспешествовала неустанная энергичная деятельность поэтессы (песенника, прозаика, драматурга, критика, литературоведа, публициста, детского писателя, фантаста, изготовителя женских романов и крутых детективов и т. д.) Аллы Русановой, равно как ее почтенных покровителей, славных сверстников-союзников (по писательскому союзу) и даровитых учеников. Что ж, как есть, так есть. Читать Солженицына (Шекспира, Сервантеса, Гете, Пушкина, Диккенса, Достоевского, Толстого, Пастернака...) никогда не поздно. Каждому.

* * *

Принято ныне (даже предписано) помещать при статьях ключевые слова. Считается, что такие списки облегчают профессиональное чтение, — сразу видишь, о чем пойдет речь, если не *твое* — времени тратить не будешь. Мне показалось полезным снабдить работу перечнем тех ключевых слов, которые в тексте, к глубокому моему сожалению, отсутствуют либо учтены недостаточно: *аптека, армия, Берия, Бетховен, Восток, газеты, звезды, Ленинград, Лермонтов, месяц, Москва, обезьяны, одежда, погода, письма, Пушкин, социализм, равенство, радио, родина, собаки, счастье...*

Примечания

1 Даже если взять в расчет персонажей-медиков без историй или с историями минимализированными (главврач, Тургун, Халмухамедов, Евгения Устиновна, Анжелина и др.), картина принципиально не изменится.

2 *Толстой Л. Н.* Смерть Ивана Ильича // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М.: Художественная литература», 1964. Т. 12. С. 77, 78.

3 Ср. в «Одном дне Ивана Денисовича»: «Безотказный этот Алёшка, о чём его ни попроси. Каб все на свете такие были, и Шухов бы был такой» (I, 73).

4 *Толстой Л. Н.* Корней Васильев // Толстой Л. Н. Указ. соч. Т. 14. С. 232—233, 235—236.

5 Диалог Костоглотова с Митой несколько корректирует семантику названия главы. В нем начинает слышаться не только жесткий сарказм (тема мнимого выздоровления Русанова), но и надежда, пусть неуверенная и «одернутая» названием главы следующей — 34-й. «Потяжелей немного». «Вибрация» надежды проходит сквозь всю повесть, становясь особенно напряженной в финальных главах. «Боже мой, да ведь пора! Да ведь давно пора, как

же иначе! Человек умирает от опухоли — как же может жить страна, проращённая лагерями и ссылками?» (436). А ведь живет — и через десять с лишком после описанного в повести «переходного» периода, в пору работы над «Раковым корпусом» и «Архипелагом...», в заключительной части которой читаем: «Правители меняются. Архипелаг остаётся.

Он потому остаётся, что этот государственный режим не мог бы стоять без него. Распустивши Архипелаг, он и сам перестал бы *быть*» (VI, 443).

6 *Безродный Михаил*. Конец цитаты. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1996. С. 73. Анализируется стихотворение С. Гандлевского «Устроиться на автобазу...» на фоне блоковского «Грешить бесстыдно, непробудно...».

7 Возможно, здесь реминисценция очень популярной в свое время песни «По росистой луговой...» (1947, музыка М. И. Блантера): «Я в глаза ему смотрю. / — Раз такое положенье, / То уж ладно, — говорю, — / Поцелуй без разрешенья» *(Исаковский М. В.* Стихотворения. М.; Л.: Советский писатель, 1965. С. 288.)

8 http://libretto-oper.ru/tchaikovsky/iolanta. М. И. Чайковский был стихотворцем бесхитростным, а потому простодушно вторил переложению «An die Freude»: «Радость, первенец творенья, / Дочь великого Отца» *(Тютчев Ф. И.* Полн. собр. стихотворений. Л.: Советский писатель, 1987. С. 62).

9 Хемингуэевский обертон размышлений Костоглотова в чайхане был отмечен; см.: *Баранович-Поливанова А. А.* Мелко плавает Хемингуэй // Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2013. <Вып.> 2. С. 177. В той же проницательной работе указаны другие вероятные реминисценции прозы американского писателя в сочинениях Солженицына, в частности — в «Раковом корпусе». «Мужчины без женщин» (Men without women) — заглавный рассказ сборника Хемингуэя (1927).

10 Об этом см в главе «Жизнь и поэзия в романе “В круге первом”».

[11] Примечательно, что во всех трех переложениях баллады Бюргера Жуковский не наделяет жениха именем. Так не только в «Людмиле» и «Светлане», но и в ориентированной на точность «Леноре» (у Бюргера жених Леноры поименован — Вильгельм). Безымянным остается и погибший жених верной Веги.

[12] *Лермонтов М. Ю.* Демон: Восточная повесть // Лермонтов М. Ю. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л.: Советский писатель, 1989. Т. 2. С. 460.

[13] «Властитель Синодала» погибает в стычке с осетинами потому, что «презрел... обычай прадедов своих», не помолился в придорожной часовне: «Его коварною мечтою / Лукавый Демон возмущал: / Он в мыслях, под ночною тьмою, / Уста невесты целовал». Прописная буква в слове «демон» указывает, что речь идет не о каком-то из злых духов вообще, но о герое «восточной повести». Того существеннее, что истории гибели жениха *предшествует* описание пляски Тамары: «И были все ее движенья / Так стройны, полны выраженья, / Так полны милой простоты, / Что если б Демон, пролетая, / В то время на нее взглянул, / То, прежних братий вспоминая, / Он отвернулся б — и вздохнул... (здесь заканчивается главка и начинается следующая, с номером 9. — *А. Н.*) И Демон видел...» — Там же. С. 443, 441—442.

[14] Там же. С. 465.

[15] Ср. *Толстой Л. Н.* Чем люди живы // Толстой Л. Н. Указ соч. Т. 10. С. 252.

[16] Там же. С. 262, 263. Солженицын стягивает цитату: последняя фраза — реплика Матрёны после отъезда барина, концовка главки IV рассказа.

[17] Там же. С. 259, 260.

[18] *Толстой Л. Н.* Чем люди живы. С. 271—272.

[19] О двух редакционных обсуждениях первой части «Ракового корпуса» Солженицын рассказал в «очерках литературной жизни». После первого (18 июня 1966) писатель, уверенный, что повесть принята к печати в любом случае не будет, тактически внес в текст некоторые исправления, в том числе «со вздохом» отсек главу «Тени расходятся». Через неделю правка была сочтена редакцией недостаточной, и автор, не

подписав договора, забрал рукопись, уже широко ходившую в самиздате (XXVIII, 151—155). Негативные суждения о 21-й главе, прозвучавшие на дискуссии в ЦДЛ (16 ноября), см.: Стенограмма расширенного заседания бюро творческого объединения прозы московской писательской организации СП РСФСР // Слово пробивает себе дорогу: Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне. 1962—1974. М.: Русский путь, 1998. С. 248, 258, 260, 261, 266—267, 269, 274, 284, 290. Ср. также: «Познакомился с Солженицыным. Пятнадцать минут разговаривал около магазина в Жуковке. Его “Раковый корпус” прекрасный, кроме конца первой части». — *Самойлов Давид.* Поденные записи: В 2 т. М.: Время, 2002. Т. 2. С. 28 (запись от 27 августа 1966).

20 Статья В. М. Померанцева «Об искренности в литературе» была напечатана в № 12 «Нового мира» за 1953 год (ср. реакцию Донцовой на журнал, который читает Дёмка: «Ой, старый какой, позапрошлого года» (45)). Републикацию статьи см.: Оттепель. 1953—1956: Страницы истории русской советской литературы. Московский рабочий, 1989. С. 17—60. В закрытом постановлении ЦК КПСС «Об ошибках редакции журнала “Новый мир”» (23 июня 1954) таковыми были названы статьи Померанцева, М. А. Лифшица («Дневник Мариэтты Шагинян» — 1954. № 2), Ф. А. Абрамова («Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» — 1954. № 4) и М. А. Щеглова («“Русский лес” Леонида Леонова» — 1954. № 5). Главный редактор журнала был ознакомлен с постановлением 3 августа (этому предшествовали его обращения к партийному руководству); 11 августа состоялось заседание президиума Правления Союза советских писателей, на котором Твардовский был освобожден от занимаемой должности. Здесь А. А. Сурков произнес утвержденный ЦК вердикт: «позиция авторов этих (указанных выше. — *А. Н.*) статей вызывает такое противодействие потому, что авторы эти под видом критики недостатков советской литературы на тридцать седьмом году нашего пути поставили в “Новом мире” под сомнение такие ценности, которые святы для нас, для наших читателей у нас в стране и во всем мире. Вот почему так отвратителен нездоро-

вый мещанский нигилизм авторов названных статей в “Новом мире”»; цит. по: <*Чупринин С. И.*>. Оттепель: Хроника важнейших событий 1953—1956 гг. // Оттепель... С. 440. Подробнее о первом разгроме «Нового мира» см.: *Твардовский Александр.* Дневник: 1950—1959. М.: ПРОЗАиК, 2013. С. 138—146; ср. также записанный Солженицыным рассказ В. Я. Лакшина о событиях лета 1954 г. (XXVIII, 200—201).

21 Здесь необходима оговорка. Противники «литературного эпизода» находились в иной (худшей) позиции, чем сегодняшние читатели повести; они были знакомы лишь с первой частью, то есть не имели возможности судить о целом. Однако профессиональные литераторы должны были понимать: *промежуточный финал* любого сколько-то грамотно выстроенного сочинения не может быть *случайным* или *дополнительным*, не сцепленным с предшествующим повествованием и не намечающим его перспективу. Сомневаться в квалификации Солженицына у московских литераторов, несомненно прочитавших кроме первой части «Ракового корпуса» хотя бы пять опубликованных рассказов, не было и быть не могло.

22 Стенограмма... С. 294.

23 Строго говоря, не единственный: в тексте представлено лишь *одно* посещение Русанова старшим сыном, что, разумеется, тоже не случайно. Это решение автора, однако, жестко обусловлено единичностью визита Авиеты, которому посещение Юры противопоставлено по всем параметрам. Поскольку смысловые оппозиции очевидны, укажу лишь формальные: дети приходят к отцу в первой и второй частях повести; дочь перед походом в больницу была в Москве, сын — в глубинке; эпизод Авиеты разворачивается в палате (на глазах у других больных, двое из которых втягиваются в действие), эпизод Юры — на воздухе и без зрителей. Не будь «Раковый корпус» написан, «поздний» Солженицын вполне мог бы выстроить из такого материала «двучастный рассказ».

24 Такая роль в замечательной семье Ростовых отведена Вере (в «правильном» замужестве — Берг).

25 В командировке Юра и «ошибок» наделал, и, разоблачив нищих канцеляристок, одну из них в кино позвал. Неиз-

вестно еще, что бы вышло, если б она не послала борца за государственные интересы куда подальше, а взяла его в оборот (говоря не по-русановски, а по-человечески: поняла, что хотел-то юноша хорошего, простила, полюбила...).

[26] Ровно так же мыслит Зацырко: «говорили в палате о сосланных нациях, и Вадим, подняв голову от своей геологии, посмотрел на Русанова, пожал плечами и тихо сказал ему одному (как коммунист — коммунисту. —*А. Н.*): “Значит, что-то было. У нас даром не сошлют”» (265).

[27] О единственном выраженном несогласии «жемчужины русановской семьи» с родителями мы узнаем еще до выхода героини на сцену (глава 13-я «И тени тоже»).

[28] И немного далее: «...Русанов поддался заливающему безразличию: пусть Костоглотов; пусть Федерау; пусть Сибгатов. Пусть они все вылечиваются, пусть живут — только б и Павлу Николаевичу остаться в живых.

<...>

Пусть они живут, и Павел Николаевич не будет их расспрашивать и проверять. Но чтоб они его тоже не расспрашивали. Чтоб никто не лез ковыряться в старом прошлом. Что было — то было, оно кануло, и несправедливо теперь выискивать, кто в чём ошибся восемнадцать лет назад» (223). Здесь не только страх и равнодушие. Из этой точки Русанов мог бы двинуться вверх. Но с ним случилось иначе — дочь обнадежила.

[29] Ср.: «Это при Берии за овощи, за фрукты ловили. А сейчас только за промтовары ловят» (446).

[30] Если забыть (на минуту, условно!), что такое «всесильное учение» Маркса-Энгельса-Ленина (и иже с ними) и обусловленная им неизбежно человеконенавистническая практика, а затем использовать фразеологизм «настоящий коммунист» в том значении, которое ему приписывалось (порядочный, мужественный, любящий и хорошо знающий свое дело, бескорыстный человек), то из всех персонажей «Ракового корпуса» точно соответствовать этому определению будет именно тихий, скромный, молчаливый — «безцветный» (319) — механик МТС. Несмотря на

то, что *не* выбросил он партийного билета, который палачи, зачислив во враги, оторвав от родного дома, лишив всех прав, сочли полезным у него не отбирать. «Отметка в комендатуре — отметкой, а членские взносы — взносами. Руководящих постов занимать нельзя, а на рядовых постах должны трудиться образцово» (221). Он и трудится. Как прежде. Разговору о дозволении (приказе — поди-ка не подчинись!) сохранить партбилет предшествует история о совершенном Федерау подвиге на предвоенном трудовом фронте, после которого он «чуть не умер от воспаления мозговой оболочки» (220). Ср. об *отменном* трудолюбии и хозяйственности ссыльных немцев в «Архипелаге...»: «Не зря говорили в прежней России: немец что верба, куда ни ткни, тут и принялся. На шахтах ли, в МТС, в совхозах не могли начальники нахвалиться немцами — лучших работников у них не было. К 50-м годам у немцев были — среди остальных ссыльных, а часто и местных — самые прочные, просторные и чистые дома; самые крупные свиньи; самые молочные коровы. А дочери их росли завидными невестами не только по достатку родителей, но — среди распущенности прилагерного мира — по чистоте и строгости нравов» (VI, 353). Последнее вплотную касается нашего сюжета.

[31] Угрюмый квасной патриотизм советских хозяев жизни (и их постсоветских наследников — новых русских) зачастую (хоть и не всегда) сочетается с завистливым восхищением Западом. Ср.: «...доставали (для Авиеты. — *А. Н.*) вещи с рук, и импортные», «В гостиницах ставят столики низкие — совсем низкие, как у американцев...» (Авиета о московской «революции быта») (242, 243).

[32] Фильм «Соломенная шляпка» будет снят только в далеком 1974 году.

[33] Вспомним реплику Вадима: «Значит, что-то было. У нас даром не сошлют» (265).

[34] Ср. в «Архипелаге...»: «Просмотрим хотя бы хорошо известную всем биографию Ленина. Весной 1887 года его родной брат казнён за покушение на Александра III. <...> И что ж? В том же году осенью Владимир Ульянов поступа-

ет в Казанский императорский университет, да ещё — на юридическое отделение» (VI, 76). Кстати, процитированная здесь глава Части пятой («Каторга») называется «Почему терпели?». А в разбираемой главе «Ракового корпуса» «Кому что интересно» вспыхивает диалог бывшего зэка с геологом-коммунистом: «Вадим Олегу сказал: “Надо было *бороться*. Не понимаю, почему вы там не боролись”. (И это — правильно было. Но не смел ещё Олег рта раскрыть и рассказать, что они таки боролись.)» (321). Многочисленные соприкосновения текстов «Ракового корпуса» и «Архипелага...» могут и должны стать темой отдельной работы.

35 Ср. щебет Аси в главе «Дети»: «А спорт как высоко оплачивается! — везут безплатно, кормят на тридцать рублей в день, гостиницы! А ещё премии! А сколько городов повидаешь!» (116). Тут Солженицын вновь заглядывает в будущее. В годы работы над повестью стимулирование детского и юношеского спорта (предполагающее жесткую селекцию и подкуп *избранников* — как деньгами, так и разного рода преференциями, в том числе приемом в вузы при стремящемся к нулю уровне знаний) приобрело куда большие масштабы, чем в середине 50-х. А дальше — того пуще. Ср. в работе «Как нам обустроить Россию?» (1990): «А вот спорт, да в расчёте на всемирную славу, никак не должен финансироваться государством, но — сколько сами соберут, а рядовое гимнастико-атлетическое развитие даётся в школе» (*Солженицын Александр.* Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1995. Т. 1. С. 562).

36 Может, и не такому убогому. Мог ведь иногда и загнанный в ссылку незаурядный ученый быть допущен к преподаванию в захолустном учительском институте. Мог там оказаться и молодой ученый, по тем или иным причинам не востребованный более престижными вузами. Между прочим, преподавательская карьера одного из крупнейших русских филологов XX века началась в 1950 году в Тартуском учительском институте; см.: *Лотман Ю. М.* Не-

мемуары // Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб.: Искусство — СПб., 2003. С. 43.

37 *Маяковский В. В.* Полн. собр. соч.: В 12 т. М.: Художественная литература, 1939, 1940. Т. 2. С. 37; Т 6. С. 22.

38 Не о поколении он говорит, а о своем узком круге. О молодых и успешных «технарях». Чья «звездная пора» — в жизни и в литературе — в близком будущем героев «Ракового корпуса», оно же совсем недавнее прошлое (да и настоящее) первых читателей повести. А к поколению Вадима (или чуть младшему) принадлежат и красотка-бездельница Алла Русанова (с которой он корректно, но презрительно пикируется), и Зоя (которой он не замечает), и «развязная» (что правда, то правда!) санитарка Нэля, ненужная человечеству (224), и «невредный парень» Ахмаджан, интересующийся, какая «задача поставлена» перед эвенками (218), и — наверняка — кто-то из женщин, управляющихся в колхозном птичнике (323).

39 Сильно выхолощенный пуристами (идеологами, озабоченными нравственностью советских читателей) перевод Н. М. Любимова был выпущен в 1961 г. издательством «Художественная литература», там же в гораздо более близкой оригиналу версии книга была издана в 1966-м, еще какие-то купюры заполнились в издании 1973 г. Но, кажется, не все.

40 Стихотворение «Физики и лирики» было впервые напечатано в «Литературной газете» 13 октября 1959 г. Вызвало множество полемических откликов. Текст см.: *Слуцкий Борис.* Собр. соч.: В 3 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 1. С. 351. О генезисе и контексте «Физиков и лириков» см.: *Слуцкий Борис.* К истории моих стихотворений // Слуцкий Борис. О других и о себе. М.: Вагриус, 2005. С. 189—190.

41 Ситуация близка описанной в «Одном дне Ивана Денисовича». Яростно спорящие об «Иване Грозном» Эйзенштейна апологет эстетики (Цезарь) и хранитель этики («двадцатилетник» Х-123) одинаково не замечают пришедшего с мороза Шухова (I, 60—61); убедительную интерпретацию этой сцены см.: *Архангельский Александр.* О символе

бедном замолвите слово... («Поэзия и правда» в малой прозе Солженицына) // Архангельский Александр. У парадного подъезда: Литературные и культурные ситуации периода гласности (1987—1990). М.: Советский писатель, 1991. С. 257—258.

[42] *Достоевский Ф. М.* Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 15. С. 196. Ср. название главы III Части второй — «Связался со школьниками» (Там же. Т. 14. С. 160). То, что Алешино общение с мальчиками начинается до катастрофы, провиденциального смысла их дружбы не отменяет.

[43] Могут возразить. И чтение Толстого (Пушкина, Чехова) в страшные годы многим помогало держаться, и книги современников, свободные от наглой лжи, холуйства и «науки ненависти», напоминающие о красоте природы, высоких чувствах, реальности человеческого благородства, отличии Добра от Зла, кому-то душу согревали. Знал об этом Солженицын. И в «Раковом корпусе» читаем о чувствах ссыльных Кадминых: «Двухтомник Паустовского в книжный магазин привезли — радость!» (231). Что ж, учтем. Но учтем и тихий крик Елизаветы Анатольевны, персонажа со *своей* судьбой (не такой, как у Кадминых), чьи мысли и чувства не могут (и не должны) в каждой точке дублировать авторские.

[44] *Липкин Семён.* Жизнь и судьба Василия Гроссмана // Липкин Семён. Квадрига: Повесть. Мемуары. М.: Книжный сад, 1997. С. 381.

[45] Даже вздорная рекомендация описывать «завтра» учтена. Выше я пытался показать, как Солженицын не раз *совмещает* время действия повести со временем ее создания, середину 50-х с серединой 60-х.

[46] Воскресение Раскольникова, твердо возвещенное автором, не отменяет ни совершенных им убийств, ни безвременной смерти его матери, которая не смогла жить, зная о преступлении сына. Так и в сочинениях более «добрых» или «простодушных» писателей. В предисловии к «Айвенго» (появившемуся через одиннадцать лет после первого издания романа) автор счел должным ответить читательницам,

укорявшим его за то, что Ревекка не стала женой заглавного героя: «Читателем романов в первую очередь является молодое поколение, и было бы слишком опасно преподносить им *роковую* (курсив мой. — *А. Н.*) доктрину, согласно которой чистота поведения и принципов естественно согласуется или неизменно вознаграждается удовлетворением наших страстей или исполнением наших желаний» (*Скотт Вальтер.* Собр. соч.: В 20 т. М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1962. Т. 8. С. 18). Когда Диккенс (вопреки первоначальному замыслу, вняв дружескому совету) соединил героев «Больших ожиданий», финал романа *не стал* от того менее печальным.

47 Съезд этот (29 марта — 8 апреля 1966) не вынес Шелепина на вершину; он остался членом Политбюро, еще примерно год намеревался взять реванш, но был резко отстранен от рычагов власти (направлен рулить профсоюзами).

48 Цитирую по комментарию В. В. Радзишевского, где обстоятельно прослежена творческая история повести.

Часть вторая

«КРАСНОЕ КОЛЕСО»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

18 ноября 1936 года студент-первокурсник физико-математического факультета Ростовского университета Александр Солженицын решил, что он должен написать большой роман о русской революции. Будущему великому писателю еще не исполнилось восемнадцать лет. Задуманная им книга, обернувшаяся в итоге десятью томами и получившая название «Красное Колесо. Повествованье в отмеренных сроках», была завершена в 1989 году. В 1991-м ее полная версия открылась читателю — в 19—20-м томах двадцатитомного Собрания сочинений Солженицына (Вермонт — Париж, YMCA-Press) был опубликован «Апрель Семнадцатого» с присовокуплением «Конспекта ненаписанных Узлов».

В те полвека с лишком, что разделили замысел и его воплощение, вместились: война; арест, тюрьма и следствие; лагеря и ссылка (которая именовалась «вечной»); одоление смертельного недуга; беспрестанное потаенное писательство (в том числе создание первых редакций романа «В круге первом»); прорыв немоты (публикация в № 11 «Нового мира» за 1962 год рассказа «Один день Ивана Денисовича»); всероссийская слава (хотя в отечестве удалось напечатать еще всего лишь четыре рассказа) и слава всемирная (8 октября 1970 года Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе); противоборство со свирепым и бессовестным партийно-советским государством; напряженная и взрывоопасная работа над «опытом художественного исследования» «Архипелаг ГУЛАГ»; его публикация (первый том увидел свет

в Париже 28 декабря 1973 года), оказавшая огромное воздействие на ход мировой истории в последние десятилетия XX века; изгнание из России (13 февраля 1974 года арестованный накануне писатель был насильственно доставлен в Германию); жизнь на чужбине; многие тома художественных и публицистических сочинений.

По возвращении в Россию (1994) Солженицын продолжал вносить исправления в текст «Красного Колеса» — окончательная его редакция представлена в тридцатитомном Собрании сочинений, которое издательство «Время» открыло публикацией тома «Рассказов и крохоток» (напоминая, что первым услышанным миром и преобразившим мир словом Солженицына был рассказ «Один день Ивана Денисовича») и двух томов «Августа Четырнадцатого», за которыми последовали и три остальных Узла «повествованья в отмеренных сроках». Представление общественности начальных книг Собрания пришлось на 18 ноября 2006 года — со дня, когда ростовский студент различил первые неясные контуры своего заветного труда, прошло ровно семьдесят лет. Все эти годы были временем «Красного Колеса», *все написанное* Солженицыным — от первых литературных опытов, лишь сравнительно недавно ставших достоянием читателя, до «Архипелага...», переведенного на множество языков и хотя бы по названию известного миллионам людей, обретающихся по всей Земле, *все жизненное дело* нашего великого соотечественника (и совсем недавно — современника) существует при свете «повествованья в отмеренных сроках» — трагического эпоса о победе революции над Россией.

Едва ли в истории литературы найдется другой пример столь страстной верности художника своему замыслу, столь неуклонного движения к некогда счастливо угаданной цели. Уже одно это обстоятельство должно было бы заставить читателей отнестись к «Красному Колесу» с особым вниманием. Если мы по-настоящему, а не ритуально ценим «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор», «В круге первом» и «Раковый корпус», «Правую кисть», «Как жаль» и «Пасхальный крестный ход»,

крохотки и «Архипелаг ГУЛАГ», если ищем и находим в этих и других свершениях Солженицына новые и новые (подчас неожиданные) большие смыслы, если видим в их авторе великого писателя (о тех, кто мыслит на сей счет иначе, здесь речь не идет), то, кажется, невозможно игнорировать труд, которому он посвятил всю жизнь.

Увы, возможно. Мы вправе указать на ряд исследований и эссе, в которых глубоко и проницательно характеризуются те или иные эпизоды и персонажи «Красного Колеса», его приемы, авторская позиция, переклички с литературной (исторической, философской, публицистической) традицией, но едва ли кто-то осмелится назвать «Красное Колесо» книгой *прочитанной*. Не осмелится — и будет прав, хотя такое определение не только допустимо, но и естественно (при понятных и отнюдь не этикетных оговорках о неисчерпаемости художественного смысла) в разговоре о «Евгении Онегине», «Мертвых душах», «Войне и мире» или «Братьях Карамазовых».

Здесь не место для выяснения и обсуждения совокупности разнородных причин сложившейся ситуации — это тема для отдельного (трудоемкого и очень нерадостного) исследования. Могу лишь заметить, что, на мой взгляд, Солженицына всегда читали *слишком быстро*. Это относится и к тем сочинениям, что были напечатаны в «Новом мире» (далеко не все читатели могли да и хотели разглядеть за *злободневной* составляющей «Одного дня...», «Матрёнина двора», «Случая на станции Кречетовка», «Для пользы дела» и «Захара-Калиты» глубинную их суть), и к тем, что ходили в самиздате (еще до высылки писателя его *легальной* прозе стал навязываться *самиздатский* статус; с 14 февраля 1974 года, когда Главное управление по охране государственных тайн издало приказ об изъятии произведений Солженицына из библиотек, пять пробившихся в советскую печать рассказов окончательно сравнялись с безусловно запретными сочинениями, уже изданными и издававшимися позднее на Западе). «Красное Колесо» оказалось в особенно тяжелом положении — знакомство с расширенной редакцией «Августа Четырнадца-

того» и «Октябрем Шестнадцатого» (опубликованы в 11—14-м томах Вермонтского собрания в 1983—1984 годах) было для российского читателя делом не только опасным, но и почти недоступным. То, что мне выпало прочесть первые Узлы вскоре по их выходе, считаю удачей, случайной и счастливой. Опубликованный в 1986—1988 годах (тома 15—18-й Вермонтского собрания) «Март Семнадцатого» я добыл уже в новую эпоху. Подчеркну: я был московским гуманитарием, то есть принадлежал кругу, в котором неподцензурные тексты циркулировали гораздо свободнее и активнее, чем в любом ином.

Публикационное наводнение конца 1980-х — начала 90-х годов худо споспешествовало вдумчивому чтению. Одновременно публике стало доступным великое множество сочинений весьма разных авторов и весьма разного качества. Понятное (очень человеческое) желание наверстать упущенное за долгие годы строго дозированного советского рациона и приобщиться разом *ко всему* (позднее трансформировавшееся в равнодушие к любой серьезной словесности), господствующая в обществе установка на «плюрализм любой ценой» и резко ускорившийся бег истории сильно мешали сделать осмысленный выбор. Четыре Узла «Красного Колеса» на протяжении четырех лет печатались в пяти журналах («Август Четырнадцатого» — «Звезда», 1990, № 1—12; «Октябрь Шестнадцатого» — «Наш современник», 1990, № 1—12; «Март Семнадцатого» — «Нева», 1990, № 1—12; «Волга», 1991, № 4—6, 8—10, 12; «Звезда», 1991, № 4—8; «Апрель Семнадцатого» — «Новый мир», 1992, № 3—6; «Звезда», 1993, № 3—6) — требовалась не только добрая воля, но и изрядный запас энергии, чтобы собрать (и тем более проштудировать) эту рассыпанную громаду. К сожалению, и появление репринтного издания «Красного Колеса» (М.: Воениздат, 1993—1997) существенно картины не изменило. «Повествованье в отмеренных сроках» прочли далеко не все, кому его адресовал автор, а слишком многие из тех, кто его все же прочел, сделали это бегло, словно бы заранее зная, что в десяти томах сказано.

Между тем поэтический мир «Красного Колеса» организован совсем не просто, а глубокие, неоднозначные, иногда меж собой конфликтующие размышления Солженицына (о мире и месте в нем человека, общем ходе истории и его трагическом изломе в начале XX века, о России и Европе, мучительной и нерасторжимой связи нашего прошлого и нашего будущего и т. д.) куда как далеки от расхожих и удобных для недобросовестной полемики штампов, которыми они то и дело подменяются. Неспешно и пристально читать «Красное Колесо», следить за движением авторской мысли, фиксировать неожиданные мотивные переклички, что бросают новый свет на понятные эпизоды, всматриваться в лица и разгадывать души множества неповторимых персонажей, вслушиваться в мелодию солженицынской фразы, открывать в тексте, который только что казался тебе знакомым и прозрачным, новые смысловые обертоны — настоящая радость. Недостижимая, как и при общении с другими великими книгами, без достаточно напряженной интеллектуальной и душевной работы.

Книга о «Красном Колесе» (1-е издание — 2010 год) выросла из сопроводительных статей к четырем Узлам, опубликованным в Собрании сочинений. Задача ее — провести читателя по тем лабиринтам солженицынской поэтической мысли, что не отпускали меня долгие годы и не отпускают по сей день. Это именно «опыт прочтения», если угодно — путеводитель по огромному миру «повествованья в отмеренных сроках».

Отсюда ряд особенностей моего сочинения, надеюсь, оправданных поставленной задачей. За кадром остаются многие весьма интересные и требующие тщательного рассмотрения проблемы. Например, вопрос о работе писателя с источниками — официальными документами, газетами, эпистолярием, мемуаристикой, — как известными прежде, так и впервые выводимыми на свет автором «Красного Колеса». Или анализ весьма богатого и своеобразного лексического состава повествования, особенностей его синтаксиса и пунктуации. Или обследование переходов от авторской к несобственно-прямой речи, постоян-

ной и прихотливой смены точек зрения (об этом говорится и меньше, и случайнее, и огрубленнее, чем следовало бы). Да и сюжетосложение, композиция, характерология, система символических лейтмотивов, реминисценции классики и модернистской словесности в монографии, адресованной только профессионалам, описывались и интерпретировались бы более строго и дифференцированно. И вследствие того — суше, чего мне в «опыте прочтения» хотелось избежать. По той же причине я сознательно избегал ссылок на работы коллег, в том числе высоко ценимые и сказавшиеся на моих размышлениях о «Красном Колесе». Не только полемика, но и уточнение позиций (даже сходные наблюдения и выводы, как правило, получают у разных авторов далеко не тождественные огласовки) сильно отвлекают от сути дела — реальности художественного текста и его истолкования. Я предлагаю свой опыт прочтения солженицынского эпоса — о том, как понимают «Красное Колесо» (отдельные его Узлы, сюжетные линии, поэтический строй, историческую и философскую концепцию) другие историки литературы и критики, читатель при желании сможет узнать, обратившись к их трудам, перечисленным в списке литературы[1].

Наконец, но не в последнюю очередь, избранный мной жанр обусловил композицию книги. В пяти главах последовательно, один за другим, анализируются четыре Узла и Конспект ненаписанных Узлов. Мы движемся по тексту «Красного Колеса», наблюдая не только ход истории (объект Солженицына), но и смысловое возрастание самого повествованья. Разумеется, обойтись без возвращений к уже прочитанному было невозможно. Как и без заходов (нечастых, но порой крайне необходимых) в текстовое будущее. Загадка, которой Варсонофьев озадачивает уходящих на фронт Саню и Котю («Август Четырнадцатого»), получает разгадку лишь при второй встрече молодого героя со «звездочётом» («Апрель Семнадцатого»). Это случай особенно яркий и наглядный, но далеко не единственный. Не избегая повторов вовсе (истолкованный ранее эпизод в новом — расширившемся — контексте при-

обретает несколько иную смысловую окраску, изменения персонажей заставляют иначе оценивать их прошлое), я все же стремился идти от начала к концу. (В частности, потому довольно подробно анализировал зачинную главу «Августа...», финальную — «Апреля...» и Пятый Эпилог, формально не включенную в состав «повествованья», но значимо в нем присутствующую трагедию «Пленники».) Такой подход не подразумевает предварительного общего взгляда на рассматриваемое (постигаемое) нами сочинение. Его неповторимая стать, его мировоззренческие основы, его поэтика, его органические связи с большой литературной традицией, целым солженицынского космоса и судьбой автора должны раскрываться читателю постепенно, становясь — по мере движения от Узла к Узлу — все более отчетливыми.

Ограничусь лишь двумя тезисами общего характер — оба будут не раз конкретизироваться и уточняться в дальнейшем. Во-первых, читая «Красное Колесо», в равной мере важно все время помнить и об *отдельности* и *особости* каждого из четырех Узлов (имею в виду не только и не столько самоочевидное различие исторического материала, но изменения художественного языка, жанровые модификации, сказывающиеся на колеблющемся балансе *личного* и *исторического*, а потому — на сюжетосложении и композиции), и о смысловом единстве целого, общей перспективе повествованья, его художественной завершенности.

Во-вторых, Солженицын твердо убежден, что революция разрушает не один государственный строй, но истинный миропорядок. Это бунт против Бога; главная цель революции —низвержение и унижение свободного человека, созданного по образу и подобию Божьему. Все остальное — сокрушение государства, хозяйства, общества, культуры — промежуточные этапы на пути к полному порабощению человека, уничтожению личности как таковой. Революция вершится людьми, забывшими Бога (и потому не ведающими, что творят, какую участь себе же выковывают), но и противостоят революции тоже люди. Те, в ком живы

нравственные начала, те, кто угадывает свое назначение, те, кто, оставаясь на своем месте, хранит верность долгу и высшим заветам. Борьба добра и зла идет не только в политической сфере, но и — прежде того — в человеческих сердцах. Завораживающе подробно реконструируя историческую реальность 1914—1917 годов и вписывая в нее многочисленные линии *личных* — вымышленных — сюжетов, Солженицын выстраивал единую книгу, ищущую ответы на три теснейшим образом связанных мучительных вопроса: почему революция победила Россию? Что значила победа революции для нашей страны и всего мира? Сумеем ли мы (или наши дети и внуки) остановить всесокрушающий безжалостный раскат Красного Колеса?

Дабы ответить на эти вопросы, дабы обрести вновь историю и Россию, дабы наметить путь в будущее (а об этом Солженицын думал всю жизнь), надо, не игнорируя сферу политической истории вовсе, над ней возвыситься. Что и происходит в «Красном Колесе», где человеческие истории постоянно сопрягаются с историей человечества, ибо разыгрываются в едином — не нами созданном — мире.

Мне кажется, что важными ориентирами при чтении «Красного Колеса» могут послужить два небольших фрагмента этого повествованья. В одном речь идет об истории как органической части истинной жизни, в другом — о самой жизни, которая никогда не может вполне подчиниться сколь угодно остервенелому злу.

> История растёт как дерево живое. И разум для неё топор, разумом вы её не вырастите. Или, если хотите, история — река, у неё свои законы течений, поворотов, завихрений. Но приходят умники и говорят, что она — загнивающий пруд, и надо перепустить её в другую, лучшую, яму, только правильно выбрать место, где канаву прокопать. Но реку, но струю прервать нельзя, её только на вершок разорви — уже нет струи. А нам предлагают рвать её на тысячу саженей. Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев — это и есть связь струи[2].
>
> (А-14: 42)

Так наставляет отправляющихся на войну юношей «звездочёт» Варсонофьев, чей голос здесь сливается с авторским. А вот о чем думают один из этих юношей (Саня Лаженицын) и десять дней назад впервые встреченная им девушка (Ксенья Томчак), сразу поверившие, что они — суженые. Так счастливо и полно поверившие, что их мысли (или речи?) нельзя разделить. Как и отделить от сплавившихся воедино голосов персонажей (чьи прототипы — родители автора) объемлющий их голос самого Солженицына:

Война, — но от любви, от веры в продолжение нашей жизни — такая крепость!

Есть ли что-нибудь на свете сильнее — линии жизни, просто жизни, как она сцепляется и вяжется от предков к потомкам?

(А-17: 156)

Примечания

1 В предлежащем издании список этот существенно расширен.

2 Здесь и далее «Красное Колесо» цитируется по последней авторской редакции: Солженицын Александр. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2006-2009. Т. 7—16, однако отсылки (в скобках) даются не к томам и страницам, а к *главам* Узлов. Кажется, это несколько облегчает процесс чтения и соответствует жанру «путеводителя». Для обозначения Узлов используются сокращения: А-14 — «Август Четырнадцатого»; 0-16 — «Октябрь Шестнадцатого»; М-17 — «Март Семнадцатого»; А-17 — «Апрель Семнадцатого». Если буквенное сокращение отсутствует (приведена только цифра), имеется в виду тот Узел, которому посвящена соответствующая глава. Например, в Главе I ссылка на эпизод беседы Сани и Коти с Варсонофьевым — (42), в Главе IV ссылка на тот же эпизод — (А-14: 42). Ссылки на иные сочинения Солженицына даются таким же образом, как в первой части предлежащей книги.

Глава I

ОНА УЖЕ ПРИШЛА: «АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО»

Четыре Узла «Красного Колеса» устроены весьма различно, но, выявляя и истолковывая неповторимость каждого из них, мы не должны игнорировать общность смыслового рисунка «повествованья в отмеренных сроках», единство организующих всю десятитомную эпопею художественных принципов. Принципы эти естественным образом обнаруживаются в Узле Первом — «Августе Четырнадцатого». Здесь Солженицын не только завязывает главный исторический сюжет (утверждая необходимость именно такой завязки!), но и вводит нас в свой поэтический мир, предлагает те правила, руководствуясь которыми мы сможем приблизиться к его заветной мысли, понять, с какой вестью писатель к нам обращается. Приступая к знакомству с «Августом Четырнадцатого», едва ли не всякий читатель испытывает разом два противоборствующих чувства, которые в той или иной степени сохраняются (должны сохраняться!) и при дальнейшем чтении «Красного Колеса». С одной стороны, могучий напор крайне разнообразного и сложно организованного материала рождает мысль о хаотичности истории; с другой — ощутимо властное (хотя порой и скрытое) присутствие воли художника стимулирует наше стремление к поискам общего смысла множества «разбегающихся» историй.

В «Августе Четырнадцатого» (как и в «Красном Колесе» в целом) нет случайностей, как нет самодостаточных персонажей, эпизодов, деталей, символов. Каждый фрагмент текста не раз отзовется в иных точках повествования, иногда отделенных от него десятками глав и сотнями страниц. Солженицын противостоит энтропии не только как историк и философ, но и как художник — самим строем своей книги о судьбе сорвавшейся в хаос России. Важно понять, однако, что писатель сознательно избегает легких путей, мнимо выигрышного упрощения постигаемой им (и нами) реальности, навязывания однозначных концепций. Солженицын строит свой поэтический мир, рассчитывая на внимательного, памятливого и думающего читателя. В такого читателя он верит, а вера эта подразумевает высокую требовательность.

Обилие весьма подробно охарактеризованных персонажей; невозможность с ходу (пожалуй, не только с ходу) отделить сквозных героев от эпизодических; резкие пространственные переносы действия; экскурсы в прошлое (как в индивидуальные или семейные предыстории, так и в историю России; особенно важно здесь огромное отступление «Из Узлов предыдущих», посвященное Столыпину и императору Николаю II (63—74)); предположения о будущем (например, мысли Самсонова о возможности новых поражений и возобновлении после них революционной смуты (48)); переходы от привычного романного повествования (как правило, осложненного несобственно-прямой речью, что втягивает читателя в душевно-идеологическое поле того или иного персонажа, заставляет на время в большей или меньшей мере признать его частичную правоту) к главам экранным и построенным на коллаже документов; случайные (не предполагающие сюжетного развития, но с мощной психологической и обобщающе символической нагрузкой!) встречи героев (например, Саши Ленартовича с генералом Самсоновым, которому вскоре предстоит умереть (45)) — все эти (и многие иные) зри-

мые знаки «хаотичности» на самом деле сигнализируют вовсе не о бессмысленности происходящего, но о скрытом от обыденного сознания большом смысле как национальной (и мировой) истории, так и всякой человеческой судьбы.

Об иррациональности истории говорит уходящим на войну юношам «звездочёт» Варсонофьев, предостерегая от наивных и опасных попыток вмешательства в ее таинственный ход (который сравнивается с ростом дерева и течением реки), но он же, в том же самом разговоре утверждает: «Законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей. В замысле мироздания. И в назначении человека». Если так, то «порядок мировых вещей» (отнюдь не равный бушующему хаосу, страшное высвобождение которого и описывает Солженицын в «Красном Колесе»!) существует. И ставит перед каждым человеком некую задачу, таинственно указывает на его назначение, разгадать которое, однако, еще сложнее, чем загадку, ответ на которую не дается Сане и Коте, хотя синоним искомого слова был произнесен всего несколькими минутами раньше («Всякий истинный путь очень труден <...>. Да почти и незрим»). Будущим воинам только кажется, что Варсонофьев меняет темы беседы, на самом деле он все время ведет речь об одном и том же. И свое назначение, и ту «справедливость, дух которой существует до нас, без нас и сам по себе», и мерцающий в народной загадке поэтический образ (назван он будет лишь в завершающем Узле (А-17: 180)); на его особую значимость указывает итожащая главу, уже не Варсонофьевым произнесенная пословица — «КОРОТКА РАЗГАДКА, ДА СЕМЬ ВЁРСТ ПРАВДЫ В НЕЙ») необходимо «*угадать*». И это позволит хоть в какой-то мере приблизиться к «главному вопросу», о котором так печется Котя и на который, по слову Варсонофьева, «и никто никогда не ответит».

Не ответит — лично, ибо «на главные вопросы — и ответы круговые» (42). Что не отменяет, а предполагает поиск своего назначения в мире, противостояние

искушениям (легким и лгущим ответам как на ежедневно встающие вопросы, так и на вопросы всемирно-исторического объема), обретение и сохранение душевного строя. Все это возможно лишь в том случае, если иррациональность истории (непостижимость ее хода для отдельного ума, способность истории опровергать, отвергать или видимо принимать навязываемые рецепты, дабы потом отмщать за них сторицей) не отождествляется с фатальной бессмысленностью. Если хаос (в частности, тот, что охватил в XX веке не одну только Россию) не приравнивается к естественному состоянию мира. Если осознание сложности бытия («Кто мало развит — тот заносчив, кто развился глубоко — становится смиренен» (42) — еще одна реплика Варсонофьева) и способность слышать «разные правды»[1] не приводит к отказу от стремления к собственно правде, от нравственного выбора, требующего реализации в конкретном действии.

Такое понимание истории и человека не могло не сказаться на художественной логике «повествованья в отмеренных сроках». Многогеройность необходима Солженицыну не только для того, чтобы представить как можно больше социокультурных типажей, обретавшихся в Российской империи накануне ее катастрофы (хотя эта задача, разумеется, важна[2]), но в первую очередь для того, чтобы выявить разнообразие человеческих *личностей*, оказавшихся втянутыми в исторический процесс, разнообразие их реакций на страшные вызовы времени, обнаружить несходство в сходном (человек зависит от своего происхождения, семьи, воспитания, рода деятельности, образования, но изображенные Солженицыным крестьяне, генералы или революционеры думают, чувствуют и действуют отнюдь не по каким-то общим крестьянским, генеральским или революционерским схемам) и неожиданное внутреннее тождество при наглядней-ших различиях (разнонаправленные действия либо бездействия всех участников исторической трагедии — от Государя до Ленина, от генералитета до мужиков и фабричных — обеспечивают ее чудовищный финал). Лич-

ные истории персонажей не дополняют большую историю (и тем более — не отвлекают от нее), но объясняют, почему она в итоге приняла именно такое течение.

Хаотичность и *мозаичность* запечатлеваемых Солженицыным событий подчинена скрытой мощной логике. Каждый из Узлов «Красного Колеса» — тщательно и точно выстроенная книга, где сцепления случайных событий и переклички подчас далеко друг от друга отстоящих мотивов образуют концептуально нагруженный, допускающий в Узлах последующих (в частности, ненаписанных) развитие, усложнение и переосмысление, но художественно завершенный сюжет. Обдумывая и выстраивая «Красное Колесо», Солженицын знал, почему его заветный труд должен открыться изображением первых дней Первой мировой, а завершиться событиями 1945 года (согласно конспекту «На обрыве повествования» — Эпилог Пятый).

Все события (как личные, так и исторические) «Августа Четырнадцатого» должно видеть в тройной перспективе: во-первых, собственно Первого Узла; во-вторых, четырех Узлов (то есть осуществленного «повествованья в отмеренных сроках»); в-третьих, первоначального (двадцать Узлов) замысла, отблески которого не раз возникают в тексте. С особой отчетливостью эта тройная перспектива прорисовывается в разговоре, который ведут в Грюнфлисском лесу выходящие из окружения Воротынцев и Ярик Харитонов. Разговору предшествуют грустные воспоминания Воротынцева о прежней жизни с Алиной и предположения о ее безутешном горе в случае гибели мужа.

Впрочем, всё проплывало и было действительно лишь на случай, если умрёшь. А я...

— ...Я-то ничем не рискую, мне обезпечено остаться в живых, — усмехнулся Воротынцев Харитонову, лёжа с ним рядом на животах, на одной шинели.

— Да? Почему? — серьёзно верил и радовался веснушчатый мальчик.

— А мне в Маньчжурии старый китаец гадал.

— И что же? — впитывал Ярослав, влюбленно глядя на полковника.

— Нагадал, что на той войне меня не убьют, и на сколько бы войн ни пошёл — не убьют. А умру всё равно военной смертью, в шестьдесят девять лет. Для профессионального военного — разве не счастливое предсказание?

— Великолепное! И, подождите, в каком же это будет году? — Да даже не выговоришь: в тысяча-девятьсот-сорок-пятом.

(55)

И персонажи, и читатели, естественно, сосредоточены на конкретной (весьма опасной) ситуации — в этом контексте предсказание китайца указывает на благополучный финал описываемого эпизода: герои предпочитают надеяться на лучшее (Воротынцев и рассказывает о гадании, кроме прочего, для того, чтобы ободрить юного офицера), а читатели, обладающие некоторым литературным опытом, справедливо полагают, что введение в текст ложного пророчества куда менее функционально (а потому и куда менее вероятно), чем появление предсказания истинного (и многопланового). Глава завершается рывком окруженцев, как выяснится — удачным. Читатель, впрочем, узнает о том, лишь миновав еще 25 глав, при описании встречи Воротынцева с великим князем Николаем Николаевичем; здесь мимоходом упомянуты вышедшие с Воротынцевым к своим Благодарёв и Харитонов (80). Разумеется, предсказание и применительно к грюнфлисской ситуации могло оказаться не столь счастливым. В живых мог остаться один Воротынцев, окруженцы могли попасть в плен[3] (ни сохранения жизни спутников, ни невозможности пленения китаец не гарантировал!) — эти сюжетные альтернативы могут (и пожалуй, должны) возникнуть в поле первочитательских ожиданий, но вряд ли окажутся там доминирующими. Именно потому, что одновременно с перспективой эпизода (и Пер-

вого Узла) прорисовывается перспектива «большой истории» (и судьбы Воротынцева) — отнюдь не для героев, но для нас, воспринимающих 1945-й не как будущее, но как доподлинно известное прошлое.

Здесь-то в предсказании и проступают дополнительные — страшные — смыслы. Сегодняшний читатель может знать, что полковник Воротынцев появлялся в трагедии «Пленники» (1952—1953; первая публикация — 1980). Действие ее происходит 9 июля 1945 года в одной из контрразведок СМЕРШ. В 11-й (предпоследней) картине чекист Рублёв сообщает 69-летнему Воротынцеву, что тот будет даже не расстрелян, а повешен, и предлагает ему спастись самоубийством (Воротынцев может выпить яд — вместе со смертельно больным Рублёвым). Полковник императорской армии отвергает предложение, рассказывает (как в 55-й главе «Августа Четырнадцатого») о давнем предсказании китайца и объясняет: «смерть от врага после войны — тоже военная смерть. Но — от врага. А — от себя? Некрасиво. Не военная. Вот именно трусость. И зачем же снимать с ваших рук хоть одно убийство? брать на себя? Нет, пусть будет и это — на вас!» (XIX, 254—255). Существенно, что ранее, перечисляя выпавшие на его долю «российские отступления» (самым страшным из которых стал уход белых из Крыма, оставление России), Воротынцев упоминает отступления мукденское и описанное в «Августе Четырнадцатого» найденбургское (картина 2-я) (XIX, 173).

Перекличка «Пленников» и «Августа Четырнадцатого» входит в авторские намерения (подробнее об этом будет сказано в главе V), но и незнакомый с трагедией читатель поймет зловещую иронию «счастливого предсказания»: Воротынцев погибнет не на войне, но в победном 1945 году. Догадаться, почему и как это случится, совсем нетрудно: мысль о развязке в духе «Пленников» приходит сама собой. В принципе, читатель может выстроить другие — на мой взгляд, гораздо менее правдоподобные — гипотезы. Например,

Воротынцев, не покинувший после Гражданской войны Россию, тихо доживает до немецкого вторжения, сражается на стороне Германии и по окончании войны попадает в СМЕРШ. Или, приняв — рано или поздно — сторону большевиков (как поступило не столь уж мало царских генералов и полковников), служит в Красной Армии, воюет до победы, а затем становится жертвой чекистов. Возможны и еще более фантастические версии. Но любые варианты судьбы героя (повторяю, куда менее вероятные, чем запечатленный в «Пленниках») не меняют сути дела. Гибель достойного русского офицера (а к 55-й главе «Августа...» читатель уже проникся огромной симпатией к Воротынцеву) сразу после победы его страны в Великой войне — не только личная трагедия (что не отменяет героизма — потому восторг Воротынцева и Харитонова от «великолепного» пророчества разом и опровергается, и оправдывается автором), но и знак трагедии общероссийской. Страшная двусмысленность победы 1945 года (одновременно победы России и победы над Россией большевистской власти) — следствие тех событий, что описаны в «Августе Четырнадцатого». Выигрыш героев, сумевших уйти из окружения, — выигрыш временный: миновать общей беды не удастся никому.

Разбираемый эпизод открывает, однако, наряду с *краткосрочной* (рамки Первого Узла) и *общей* (рамки замысленного и в итоге контурно намеченного повествования) перспективами и еще одну — так сказать, *среднесрочную*. Это *личный* сюжет Воротынцева (болезненно, но крепко сцепленный с сюжетом его служения, а стало быть, и с *общим* — историей национальной катастрофы, которую полковник, как и прочие персонажи, не смог одолеть), развивающийся в пространстве четырех завершенных Узлов. Мысли Воротынцева о былой вине перед женой и намеком представленные надежды на светлое послевоенное будущее (их можно соотнести с прожектами Романа Томчака о совместном с женой путешествии по ее «заветному маршруту» — 9) вводятся

в текст после того, как мы узнали о наметившемся в семье полковника тихом разладе, который придал легкости его отъезду на войну (13), после вещего сна в Уздау, в котором Воротынцев обретает свою будущую любовь («о н а! точно она! та самая невыразимо близкая, заменяющая весь женский мир!») и осознает жену «помехой» (25). Читателю (если он не забыл 13-ю и 25-ю главы!) дается сигнал: семейного счастья у Воротынцева не будет.

О том, что же будет в личной жизни полковника, «Август Четырнадцатого» умалчивает. Лишь в следующем Узле (0-16: 21—29) мы (вместе с героем) медленно (но верно ли?) распознаем в неведомой и безымянной женщине, которая приснилась Воротынцеву в Уздау, Ольду Андозерскую, появляющуюся на страницах «Августа...» лишь однажды и вовсе не в воротынцевском контексте (75)[4].

Сходным образом в рамках «Августа...» читатель не может осознать всю значимость скрещения лаженицынской и томчаковской линий в самом начале Узла. Проезжая мимо экономии, Саня замечает:

> ...на угловом резном балконе — явная фигурка женщины в белом, — в безпечном белом, нетрудовом.
>
> Наверно, молодой. Наверно, прелестной.
>
> И закрылось опять тополями. И не увидеть её никогда.
>
> (2)

Саня Лаженицын увидел Ирину Томчак, которая «перешла на солнечную сторону, на балкон-веранду, сощурилась на поезд...» (3). При первом чтении мы можем оценить лишь эффект монтажа, мотивирующего переход от одного персонажа к другим, но и намека на будущую, произошедшую в Четвертом Узле судьбоносную встречу Сани Лаженицына и Ксении Томчак (А-17: 91) здесь нет. Аккуратный сигнал подан только в пояснениях к Первому Узлу: «Отец автора выведен почти под собственным именем, а семья матери доподлинно». Герои,

даже обретя друг друга, не узнают об этом опосредованном соприкосновении — они могут только вдвоем его домыслить и осознать символичность этой случайности (такие намеки в тексте «Апреля...» есть и будут ниже рассмотрены). Саня видит не свою суженую, а жену ее брата, с которой действительно не встретится. (Понятно, что речь идет о персонажах, а не об их прототипах.)

Здесь (как отчасти и в истории Воротынцева и Андозерской) Солженицын тонко корректирует глубоко традиционные принципы романного сюжетосложения, замечательно явленные в «Войне и мире». В книге Толстого постоянно происходят случайные встречи (спасение княжны Марьи Николаем Ростовым от взбунтовавшихся богучаровцев; князь Андрей, видящий после Бородинского сражения тяжело раненного Анатоля Курагина; князь Андрей, оказывающийся в одном обозе с Ростовыми по оставлении Москвы; освобождение Пьера из плена отрядом Денисова и Долохова, совпадающее с гибелью Пети Ростова), символический смысл которых автором не педалируется, но и не утаивается. Толстому важно создать картину хаотического движения персонажей, но не менее важно обнаружить тайную логику, строящую их судьбы (и общую судьбу людского рода). Противоборство этих авторских устремлений приметно в эпизоде первой встречи Пьера и Наташи, случившейся в тот же день (чуть раньше), что и превращение незаконного сына, человека без состояния, статуса и определенных жизненных планов в богача и графа Безухова. Обычно читатель фиксирует лишь контраст праздника у Ростовых и агонии старого Безухова, всеобщей взаимной доброжелательности на балу и борьбы (войны) за портфель с завещанием. О том, что именно в точке внешнего поворота Пьер увидел (но еще не угадал) свою истинную жену, помнят реже. И еще реже — о том, что встреча произошла в Натальин день (именины графини Ростовой и ее младшей дочери), то есть в день будущего Бородинского сражения, в котором участвуют как «ложные» претенденты на руку Наташи (Борис Друбецкой,

Денисов, Анатоль Курагин, Андрей Болконский), так и тот, кому она предназначена. Скрытость символики не отменяет ее весомости. В «мире» Толстого случайностей на самом деле нет (потому автор и может прийти на выручку любимым героям: смерть Элен оказывается и воздаянием за ее грехи, и необходимым условием для земного воплощения прежде свершившегося на небесах брака Наташи и Пьера). Эта тенденция еще более настойчиво проводится в «Докторе Живаго», последовательно строящемся на «скрещеньях» судеб: если иные персонажи не понимают, что с ними происходит, не распознают в новых знакомцах знакомцев старых, просто не замечают друг друга, то об этом прямо напоминает автор[5].

Мир, изображаемый Солженицыным в «Красном Колесе», менее *плотен*. Встречи героев далеко не всегда отыгрываются в их дальнейших судьбах или даже предполагают встречи новые. Укажем, например, на краткие соприкосновения Харитонова и Чернеги (19), Нечволодова и Смысловского (20—21), курсисток и Андозерской (75); после совместного выхода из окружения расходятся пути Воротынцева, Благодарёва, Харитонова и Ленартовича, хотя все четверо будут появляться на страницах следующих Узлов. Герои Солженицына часто не знают о своем сюжетном соседстве, о том, что у них есть общие знакомые; их судьбы не перекрещиваются, но мягко, иногда — опосредованно, соприкасаются. Так выстраиваются цепи, неведомые персонажам, но ощутимые читателю: например, Воротынцев—Ленартович — Вероня и Ликоня — Андозерская; или Воротынцев — Харитонов — Ксенья Томчак; или Воротынцев — Благодарёв — Саня Лаженицын, во взводе которого окажется (уже во Втором Узле) Арсений, перешедший по протекции Воротынцева в артиллерию. Эта неосведомленность персонажей о былых «почти встречах» (или незамеченных встречах?) иронически запечатлена в шутливой перебранке Чернеги и Благодарёва, касающейся как раз событий «Августа...»: Чернега спрашивает:

...Если ты там был, в самсоновском окружении, — почему ж я тебя не видел? Где ты ходил?

— Так и я же вас не видел, — осклабился Благодарёв посмелей. — Сколько прошли — а вас не видали. Вы-то — были, что ль?

(0-16: 4)

Видели *обоих* (и конечно, не только их) автор и читатель. Ограниченность знания всякого отдельного персонажа указывает на неохватный масштаб случившихся событий (и тем более — жизни вообще); тайная *зарифмованность* судеб — на смысловое единство исторического процесса, человеческого бытия. Мир одновременно огромен и предельно мал. Совсем не случайно Смысловский «под звёздами» размышляет о постоянной угрозе гибели Земли и человечества по «естественным» — или все же, если отрешиться от точки зрения персонажа, мистическим? — причинам, при свете которых «мелочами» видятся военные и революционные катаклизмы (21).

Многогеройность повествования Солженицына, не раз оговоренные писателем установки на изображение всякого персонажа как *главного* (в рамках соответствующего эпизода) и отказ от традиционного романного протагониста, безусловно, развивают и усиливают повествовательную стратегию Толстого. В «Войне и мире» мы тоже перемещаемся от героя к герою и, находясь в смысловом пространстве, например, Николая Ростова, воспринимаем его как *равного* остальным значительным персонажам (о которых можем на время забыть). Это иногда распространяется и на персонажей эпизодических (вспомним, например, эпизоды посещения Алпатычем оставляемого Смоленска или встречи Лаврушки с Наполеоном, в которых лица, чей сюжетный вес минимален, описаны — не только извне, но и изнутри — с тем же тщанием, что и избранники автора). Различить в Пьере Безухове главного героя гораздо труднее, чем, скажем, в Гринёве, Печорине или

князе Мышкине. Однако от того Пьер не утрачивает своего особого статуса. Он единственный герой, который проходит сквозь весь роман (буквально от первой сцены, в салоне Анны Павловны Шерер, до последней, сна Николеньки Болконского, которым завершается первая, сюжетная, часть эпилога). Личность и жизненные блуждания Пьера сопрягают три несхожих семьи (Болконских, Ростовых, Курагиных), за судьбами членов которых следит Толстой. Пьер, человек подчеркнуто мирный (и тем противопоставленный абсолютному большинству остальных персонажей-мужчин, профессиональных военных), оказывается в самой гуще войны (Бородинское сражение, занятая французами Москва, плен). Наконец, именно он приобщается к бытию и сознанию народа: общение Пьера с Платоном Каратаевым обладает куда большей значимостью (и для самого героя, и для автора и читателя), чем привычные контакты персонажей-офицеров с нижними чинами.

Солженицын прячет протагонистов «Красного Колеса» еще тщательнее, чем Толстой. Персонажи, попадающие в поле нашего зрения, действительно равномасштабны. Так обстоит дело, покуда речь идет о человеческих историях (иногда — с глубокими ретроспективными ходами) и характерах, семейных и сословных чертах персонажей, их восприятии и оценке происходящего (как конкретных, сиюминутных обстоятельств, в которых им выпало нечто решать и как-то действовать, так и событий глобальных, о которых они, включая как бы и не озабоченных историей и политикой мужиков в шинелях, так или иначе думают). Каждый из описанных в «Августе...» людей, в принципе, мог бы стать главным героем некоего романа (и это Солженицын дает нам почувствовать), но ни одно из этих гипотетических повествований не было бы равно тому, которое мы читаем. Для того чтобы запечатлеть смысловое единство происходящего, необходима не только постоянная смена точек зрения (один герой не может находиться всюду одновременно), но и особый пункт

обзора. Картина, увиденная (и истолкованная) с этой позиции, не превышает и не перекрывает все прочие, но позволяет (заставляет) соотносить их между собой. Отсюда качественное отличие от всех прочих двух героев. Это — Воротынцев, которому выпало прожить, прочувствовать и осмыслить всю самсоновскую катастрофу: от его приезда в штаб вроде бы еще успешно наступающей Второй армии (10) до «взрывного» доклада Верховному о причинах поражения (82). Это — Саня Лаженицын, пока еще не добравшийся до фронта, то есть впрямую не соприкоснувшийся с главными историческими происшествиями тех дней, и формально присутствующий в повествовании совсем мало — в двух первых главах, само зачинное положение которых, однако, предполагает особый смысловой ранг героя, и в главе 42-й, посвященной прощанию с Москвой и мирной жизнью и загадкам мудрого Варсонофьева (следует она непосредственно за обзором военных действий 15 августа, когда и произошел разгром армии Самсонова).

В «Августе...» Воротынцев — наиболее активный персонаж, пытающийся творить историю, быть ее субъектом. Сане здесь отводится роль одного из многочисленных «объектов» истории (что, впрочем, не предполагает пассивности — свой личный выбор Лаженицын проговаривает уже в самом начале Узла, при встрече с Варей, и остается верным ему до конца). Это соотношение сохранится на протяжении всей эпопеи, и понятно почему. Саня воплощает юную Россию, то поколение, что было застигнуто катастрофой 1914—1917 годов в миг становления и просто еще не могло принять на себя основную ответственность за судьбу страны. Воротынцев — поколение зрелое, подошедшее к жизненному зениту и полное сил (для Солженицына тут важна параллель с мощным экономическим, промышленным, культурным, духовным ростом России на рубеже XIX—XX столетий), выстоявшее в первый революционный натиск, но не нашедшее должного ответа на новый, сокрушительный, вызов истории.

Предполагаемая случайная «невоенная» смерть Сани в самом начале Гражданской войны (прототип героя, отец автора, погиб от полученной на охоте раны в 1918 году, до рождения сына) может быть прочитана как милость судьбы, избавление если не вовсе безвинного, то минимально ответственного за российские беды обычного благородного человека от ужасов братоубийства, поражения и окончательной потери либо свободы (подсоветское существование с постоянной лагерной перспективой), либо отечества (изгнание). В то же время этот, продиктованный семейной историей, сюжетный ход (не прописанный Солженицыным, но предчувствуемый его читателем) символизирует судьбу несостоявшейся «молодой России». Воротынцеву, воплощающему «несущее» поколение, то есть отвечающему за все, надлежит испить свою чашу до дна. Ключевое значение его фигуры в рамках общего замысла Солженицына явствует из проговоренного выше (предсказание китайца о смерти в 1945 году). Что до «Красного Колеса» как завершенного сочинения, то сейчас преждевременно обсуждать по-прежнему доминирующую (хотя и иначе, чем в Первом Узле) сюжетную роль Воротынцева в «Октябре Шестнадцатого» и «Марте Семнадцатого», равно как и значимо *фоновое*, ослабленное присутствие в них Лаженицына. В «Апреле Семнадцатого» резко акцентировано особое положение обоих героев (подробнее об этом будет говориться в главе IV).

Наряду с поколенческими различиями для понимания взаимодополнительности героев в структуре «Красного Колеса» (и его Первого Узла) весьма существенно, что Воротынцев и Лаженицын обретаются в разных жизненных сферах. Речь идет не о сословной принадлежности. То, что Воротынцев — потомственный дворянин, а Лаженицын — крестьянский сын, конечно, как-то на их личностях сказывается, но отнюдь не определяющим образом. (Не зря Варсонофьев рассуждает об условности в XX веке понятий «народ» и «интеллигенция» — 42.) Не слишком весомы и идеологические

предпочтения героев. У Воротынцева, строго говоря, никакой идеологии нет, его верность «столыпинскому духу» основана на здравом смысле и нравственном чувстве; Санино книжное правдоискательство характерно для любого мыслящего юноши и, по сути, не затрагивает его душевного центра — потому и стал возможен отказ от толстовства. По-настоящему важно, что Воротынцев — профессиональный военный, а Саня — человек подчеркнуто мирного склада. Вполне резонен вопрос, который задает ему в самом начале повествования Варя: «Да разве у вас характер — для войны?» (1); увлечение Толстым тоже для Сани не случайно. Поставив Воротынцева и Лаженицына (лучших выразителей двух поколений и двух жизненных сфер) в особые сюжетные позиции, автор постоянно скрыто соотносит их с другими персонажами. «Молодые» и «взрослые», профессиональные и сторонние реакции на начало Первой мировой, прихотливо распределенные меж многочисленными участниками и наблюдателями исторических событий, складываются в объемную трагическую картину, единство которой придают два центральных героя. Воротынцев выходит из августовского ада с ясным сознанием: если мы будем так воевать, Россия погибнет. Лаженицын идет на войну, не представляя, что его там ждет. Горькая (и оказавшаяся ненужной) умудренность одного и светлая наивность другого, взаимно отражаясь и дробясь в отражениях дополнительных, заставляют читателя понять, что же все-таки случилось в Восточной Пруссии и почему поражение одной армии (формально рассуждая, отнюдь не фатальное для России — да и воевали мы потом с переменным успехом больше трех лет) избрано писателем в качестве отправного пункта. Иначе говоря, почему «красное колесо» — колесо паровоза, на которое завороженно смотрит Ленин (22), горящая мельница в Уздау, вид которой изумляет Благодарёва и Воротынцева (25), отскочившее колесо телеги (30) — начало свое всеразрушающее и, как выяснилось, неудержимое движение уже в августе 1914 года.

Как известно от самого автора, уже задуманный им в 1936 году «большой роман о русской революции» должен был открываться описанием начальных событий Первой мировой войны — самсоновской катастрофы. Мысль о том, что роковые злосчастья России коренятся именно в ненужной войне, оборвавшей течение сложной и конфликтной, но органичной жизни, стала для писателя заветной. Вполне отчетливо она обозначена в рассказе «Матрёнин двор»:

— ...Война германская началась. Взяли Фаддея на войну.

Она уронила это — и вспыхнул передо мной голубой, белый и жёлтый июль четырнадцатого года: ещё мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; её, румяную, обнявшую сноп. И песню, песню под небом, какие уже давно отстала деревня петь, да и не споёшь при механизмах.

(I, 133)

Рассказчик видит *других* Матрёну и Фаддея, не просто молодых и здоровых, но для другой — счастливой — жизни предназначенных. Эту жизнь у них отняла война. Рассказчик видит *другую* — истинную — Россию, совсем непохожую на искореженную лагерно-колхозную страну, где одинокая праведница становится объектом снисходительного презрения, а былой чудо-богатырь обращается в озлобленного и корыстного мстителя, многие годы спустя воздающего за единственный Матрёнин грех. Заметим, что обусловлен тот грех «германской войной» — Матрёна не дождалась попавшего в плен Фаддея, о судьбе которого никто из близких ничего не знал. Конечно, и старая Россия ввязывалась в войны (зачастую вовсе ненужные)[6]; и там рушились судьбы, черствели души, а праведник далеко не всегда был почтен любовью ближних. Рая на земле не было никогда. Но и того ада, в котором прошла почти вся жизнь незлобивой Матрёны и утратившего свои лучшие начала

Фаддея (а они были — иначе не вспоминала бы Матрёна с такой нежностью о своей пропавшей любви), того ада, что за долгие советские годы стал единственной нормой бытия, в России прежде не было. Покуда не сорвалась она в бессмысленную войну. Потому так важна в «Матрёнином дворе» несколькими строками запечатленная картина привольной и обильной жизни, утраченной гармонии природы и человека.

Эта же картина возникает в первых — *мирных*, включенных в сюжетную сферу Лаженицына — главах «Августа...». И важны здесь не только частности, не только подробные, изобилующие колоритными деталями, «державинские» описания «правильной» жизни крестьян Лаженицыных, которые могут позволить «странному» сыну учиться в университете (1), богатых землевладельцев Томчаков (3—6, 9), купца Саратовкина, в пятигорском магазине которого «приказчики считали позором ответ “у нас нету-с”» (8). Все эти картины «довольства и труда» мы воспринимаем при свете открывающего повествование символического пейзажа:

Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, когда при первом солнце весь Хребет, ярко-белый и в синих углубинах, стоял доступно близкий, видный каждым своим изрезом, до того близкий, что человеку непривычному помнёлось бы докатить к нему за два часа.

Высился он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. За тысячи лет все люди, сколько жили, — доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми грудами складывай всё сработанное ими или даже задуманное, — не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта.

(1)

Человеческий труд может и должен быть осмысленным, творческим, требующим самоотдачи и за то награждающим работника сторицей. Как и в зачинных главах, на протяжении всего повествования Солжени-

цын будет тщательно и восхищенно описывать тружеников-мастеров — крестьян, рабочих, инженеров, ученых, мыслителей, даже администраторов, политиков, военных, если они действительно мастера и труженики, если заняты делом, а не пустой либо корыстной говорильней. Человек обязан трудиться, по труду (физическому и духовному) он на земле оценивается. Но всякий труд (даже в самых высших его проявлениях) есть слабое подражание и продолжение сотворения мира, а всякое создание ума и рук человеческих — малость перед лицом этого, Богом однажды сотворенного мира. Его-то величие и явлено в зачине «Августа...».

Горы — традиционный символ совершенства, сверхчеловеческой красоты и мощи. Само их присутствие в мире — напоминание о Боге, о вечности, о небесной отчизне, к которой тянутся снеговые, словно из чистого света составленные вершины, к которой вольно или невольно стремится человеческая душа. Горы напоминают человеку о его малости (что прямо сказано Солженицыным), но и зовут его в высь. Не случайно мотив горной выси и восхождения к ней звучит и в Священном Писании, и в молитвах, и в мирской словесности (устной и письменной) многих народов. И разумеется, в русской литературе Нового времени.

Обычно речь идет о движении *к* горам, неожиданное появление которых ошеломляет странствователя и наполняет его душу каким-то особым чувством. В том числе в русской литературе Нового времени. Так у Пушкина («Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»), убирающего эмоции в подтекст: «В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры, ровно за девять лет. Они были всё те же, всё на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи»[7]. Так в толстовских «Казаках»:

> Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту,

чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же.

— Что это? Что это такое? — спросил он у ямщика.

— А горы, — отвечал равнодушно ногаец[8].

В присутствии гор мир для Оленина радикально меняется. Это относится не только к первым впечатлениям героя («С этой минуты всё, что он видел, всё, что он думал, всё, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор»), но и — при понятных оговорках — ко всей кавказской истории Оленина.

Несколько иначе мотив этот представлен у Лермонтова. В записи, открывающей «Княжну Мери», Печорин запечатлевает грандиозную картину:

На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее <...> амфитеатром громоздятся горы всё синее и гуманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом. — Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё, — чего бы, кажется, больше? — зачем тут страсти, желания, сожаления?

Горы напоминают человеку о его первоначальной чистоте, однако их присутствие не отменяет тех «страстей, желаний, сожалений», что владеют Печориным и обусловливают весь ход истории, случившейся на кавказских водах. Дуэль, в ходе которой Печорин становится убийцей, происходит в горах. Прямо перед поедин-

ком, уже предложив страшные его условия, Печорин вновь (не в первый раз за это утро) обращает внимание на пейзаж, причем взгляд его направлен сперва вверх, к горам, а затем вниз, в ту бездну, куда низвергнется Грушницкий:

> Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уже бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась: там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.

На таком фоне жалкими выглядят как интриги Грушницкого и драгунского капитана, так и гордыня Печорина. Эффектная фраза, произнесенная им после гибели противника — «Finita la comedia», — не только свидетельствует о демоническом цинизме героя, но и, не отменяя трагизма развязки, характеризует всю случившуюся историю. Характерно, что запись о дуэли (сделанная уже в крепости N) открывается пейзажной зарисовкой, главное в которой — отсутствие гор (хотя формально Печорин, переместившись в Чечню, к ним приблизился): «Я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы...»[9]

Кавказские вершины у Лермонтова становятся свидетелями и другой, куда более масштабной трагедии — войны, жестокая нелепость которой очевидна в присутствии величественных гор, соединяющих землю с ясным небом. Это — ключевая мысль стихотворения «Я к вам пишу случайно, — право...» (неоднократно отмечалось, что здесь Лермонтов *предсказывает* толстовское понимание войны). Вечные горы, однако, могут не только равнодушно взирать на безумие человеческой вражды и ее следствие — смерть (так в стихотво-

рении «Сон», где смертельно раненного героя окружают «уступы гор»), но и вкупе со всем природным миром (скрыто противопоставленным миру социальному) одаривать умирающего освобождающим просветленным покоем (или его обещать). Так в стихотворении «Памяти А. И. О<доевско>го»: «И вкруг твоей могилы неизвестной / Всё, чем при жизни радовался ты, / Судьба соединила так чудесно: / Немая степь синеет, и венцом / Серебряным Кавказ её объемлет; / Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, / Как великан склонившись над щитом»; так в поэме «Мцыри», где герой просит перед смертью перенести его в сад: «Оттуда виден и Кавказ! / Быть может, он с своих высот / Привет прощальный мне пришлет, / Пришлет с прохладным ветерком...»; так в стихотворении «Горные вершины...»[10].

У Солженицына горы не возникают (Пушкин, Толстой) и не присутствуют как неизменный фон жизни и смерти (Лермонтов), а обнаружившись в зачине повествования, затем исчезают. Реальный маршрут (Саня Лаженицын едет от гор) обретает символическую окраску — из мира уходит вертикаль, связывающая землю с небом.

Все идет вроде бы по-прежнему. Война в курортном Пятигорске почти незаметна, как будет потом незаметна и в Москве, прощание с которой отзовется сомнением Сани и Коти: «Естественно уходить в Действующую армию из Москвы рыдающей, траурной, гневной, — а из такой живой и весёлой не поторопились ли?» (42). Но уже свербит в Саниной душе от мелькнувшего за окном поезда видения прежней жизни (2). А прогулка Вари Матвеевой, изначально окрашенная в траурные тона (прощание с умирающим благодетелем, которого надо бы презирать, а почему-то не получается; грусть от вымоленной, но оказавшейся пустой встречи с Сашей; вдруг еще раз осознанное собственное сиротство) завершается низвержением в ад (антитеза горной выси). Причем происходит это в присутствие лермонтовских

гор («На юг, поверх сниженного города, синели отодвинутые, размытые, ненастойчивые линии гор»), где Варя из-за собственной наивности (она хочет послужить революции и поддержать человека, в котором видит героя-страдальца) становится жертвой анархиста-насильника. Войдя в мастерскую жестянщика, а затем в «скрытый задний чулан» (убывает свет, сужается пространство, нарастает звуковая какофония):

...она — если и начала понимать, то не хотела понять!

А он — страшно молчал!

Она задыхалась от страха и жара в этом чёрном неповоротливом капкане! колодце!

И ощутила на плечах неумолимое давленье его нагибающих рук.

Вниз.

(8)

Сюжетно эта — 8-я — глава продолжает 1-ю (оказавшаяся бессмысленной встреча с Саней), мотивно же сопрягается с томчаковскими. В 6-й главе рассказывается, как в первую революцию Роман отдавал деньги террористам («наставникам» коммуниста-анархиста, «подземного кузнеца», тоже вспоминающего эксы); в 9-й возникает — внешне в совершенно иной связи — мотив страшного колодца: «А жалко стало ей (Ирине Томчак. — *А. Н.*) своей прошлой отдельной ночи и даже сегодняшнего томительного одинокого, но и свободного дня. Если стянуть покрывало — обнажится шахта, высохший колодец, на дне которого в ночную безсонницу ей лежать на спине, размозжённой, — и нет горла крикнуть, и нет наверх веревки».

Напомним, что 8-я глава появилась лишь во второй — двухтомной — редакции «Августа...», что эта единственная из новых глав, посвященная не историческому персонажу, и что именно в ней впервые вспыхивает роковой красный цвет. Заглавный символ повествованья задан пока намеком:

В дешёвой соломенной шляпке она шла по безтеневому жаркому тротуару — и вдруг оказался перед её ногами, поперёк тротуара — ковёр! Расстеленный роскошный текинский, тёмно-красный с оранжевыми огоньками.

<...>

Кто — всё-таки миновал, кто — смеялся и шёл. И Варя — пошла, наслаждаясь стопами от этой роскоши, — необычайный какой-то счастливый знак.

И далее в ходе разговора с анархистом «не покидало чувство, что к чему-то же сегодня счастливо лёг ей под ноги ковёр».

Вводя главу о Варе и анархисте, Солженицын усилил тревожное (знаменующее будущие беды) звучание всей «северокавказской увертюры»[11]: вступление России в войну подразумевает пробуждение (возрождение) революции, что и символизирует утрата вертикали. И хотя «Варя пятигорская» выйдет из чулана живой (мы слышим ее вздорный щебет в стайке столичных курсисток (75)), встречи ее с «героическим» (нацеленным только на насилие ради самого насилия) анархистом читатель не забудет. Здесь задан вектор — не вверх (горы растаяли), а вниз.

Или в пустоту. Избавленный отцом от еще недавно дамокловым мечом нависавшего призыва, Роман Томчак вдруг «ощутил весь... горячий интерес и смысл» газетных известий. И принялся двигать по карте флажки. «От него самого зависело, захватить или не захватить лишних десять-двадцать вёрст Пруссии». Последняя фраза зачинных глав: «Корпуса шагали!» (9).

Шагали, как выяснится вскоре, — в мешок будущего окружения, на гибель. Вязли в песках и болотах. Меняли маршруты по прихотям или оплошностям высшего начальства. Жарились под солнцем. Изматывали себя безостановочным движением. Полегоньку мародерствовали. И день за днем не видели умело отходящего противника. То есть шагали в пустоту.

Уже в первой восточнопрусской главе (10) командующий обреченной Второй армии Самсонов догады-

вается, что его войско идет не туда и не так. И сходное чувство смутно возникает у только что прибывшего в самсоновский штаб Воротынцева. Но и ближнее начальство (командующий фронтом Жилинский), и начальство дальнее (Верховный и его окружение) смотрят не на крупномасштабные карты, с их утомляющими подробностями, что принуждают помнить о мерящих версты солдатах, но на карты общеевропейские. Почти как Роман Томчак, вспомнивший, что со времен Венского конгресса «эта прусская культяпка, выставленная к нам как бы для отсечения, никогда еще не испытывалась» (9)[12]. Они гонят живых солдат вперед — совершенно в духе Романа Томчака. (Стык глав заставляет и неосведомленного в истории самсоновской катастрофы читателя встревожиться еще до того, как зловещая неразбериха будет представлена во всей полноте.) Они руководствуются высшими политическими соображениями, в которые не дает себе воли вникать верный царский слуга Самсонов. «Семипудовый агнец», разумный, достойный, опытный, но не готовый к новой войне — по-новому стремительной, жестокой и не прощающий малейших ошибок. И, лишь ощутив на собственной шкуре весь ужас новой войны, которую Россия ведет по старинке, Воротынцев, в принципе гораздо более, чем Самсонов, готовый к вызовам современности[13], до конца понимает, что катастрофа разразилась не из-за медлительности и осмотрительности командующего Второй армии (Самсонов сделал все, что мог, и об этом Воротынцев говорит на совещании у Верховного (82)), не из-за трусости и бездарности трех корпусных командиров (были ведь и энергичные удачные действия «блистательного генерала Мартоса», достойные «войти в хрестоматию» подвиги многих полков — о них Воротынцев тоже не забыл сказать в Ставке) и уж никак не по вине солдат, чье терпение и мужество пересиливали их же усталость, недоумение от заведомо бессмысленных перемещений, невольно рождающуюся неприязнь к неведомо что вытворяющему начальству (потом

это глухое чувство обиды, рождающее нелепые толки о генеральских и придворных «изменах», еще как отзовется — не только агитация революционеров в конце концов разложит русскую армию). «Р а з г р о м» (слово это Воротынцев произносит вперекор Верховному, уже им круша собственную карьеру) случился потому, что весь план ведения войны бездарен, что «решительная помощь» союзникам (без которой тоже лучше бы обойтись) превратилась в «самоубийство», что армией (и страной) управляют люди, в «лучшем» случае — всего лишь непригодные к делу, некомпетентные, отжившие свой век, а зачастую — трусливые, жадные только до государевых милостей, угодливые, безответственные, лишенные чувства собственного достоинства, мелкие. Всех этих слов герой не выговаривает, но именно их слышат (и наливаются ненавистью) виновники гибели Второй армии и грядущих сходных катастроф, те «живые трупы», из-за которых, по прозвучавшему слову Воротынцева, «мы рискуем проиграть в с ю в о й - н у». Их слышит Верховный, который рад был пугнуть отчаянным офицером навязанную штабную челядь, но вовсе не ожидал, что допущенная им на совещание мелкая сошка (даже не генерал!) переступит «дозволенные границы», произнесет непроизносимое. Слышит, что-то даже понимает (явно больше, чем скопище холуев) — и именно потому жестко осаживает зарвавшегося полковника.

Решение сказать Верховному всю правду абсолютно логично продолжает тот ряд действий, что был совершен Воротынцевым во Второй армии. Здесь то же соединение безрассудного «взрыва» и рациональности (да и тактического расчета — возник же поначалу «молчаливый сговор» меж великим князем и полковником, была же у совсем не наивного героя на чем-то основанная надежда «направить» Николая Николаевича должным образом), которое просматривается во всех движениях героя, энергично, умно, смело, но тщетно пытавшегося выиграть безнадежное дело. То дело, за

которое он не должен (и не может!) нести ответственность. Воротынцев знает, как надлежит действовать, — и действует: в штабе Самсонова, в корпусе Артамонова, под невиданным прежде огнем противника (25), выстраивая заслон Найденбурга (36), проводя разведку с казаками (37), выходя из окружения по Грюнфлисскому лесу (47, 50, 55). Но реального успеха достигает лишь в последнем случае — спасает не армию (ради помощи которой он сорвался из штаба), а нескольких солдат и офицеров да себя самого. Деятельный, уверенный в себе, не сидящий на месте Воротынцев кажется антагонистом генерала Самсонова — тяжелодумного, трудно принимающего решения, не ищущего новизны и не дерзающего судить о том, что выходит за пределы доверенной ему сферы. Однако при этом Самсонов пусть медленно, пусть осторожно, но понимает, что происходит и как было бы разумно поступить. Не приспособленный к новой войне генерал прилагает все силы, чтобы спасти свою армию. Только не хватает рук, чтобы совладать и с бездарным начальством, и со строптивыми (тоже бездарными) подчиненными, и с незнакомыми правилами войны. Самсонов и Воротынцев, *медлитель* и *деятель*, пожилой генерал и полковник, которому надлежало бы в генералы выйти, приходят к одному и тому же печальному итогу. Обстоятельно «отстоявшиеся» мысли Самсонова о случившейся беде и очень возможных будущих поражениях (48), в сущности, тождественны инвективам Воротынцева, хотя нет в них ни той формулировочной точности, ни того азарта, ни того гнева, что окрасили «взрывную» речь полковника.

Воротынцев еще надеется переменить течение событий — и потому, выйдя из Грюнфлисского леса со своей случайно сложившейся группой (армией в миниатюре), дает бой в Ставке, пытается раскрыть глаза тем, кто губит Россию. Самсонов осознает свою личную беспомощность перед лицом грозной «силы вещей» — и потому винит в первую очередь себя:

Он хотел только хорошего, а совершилось — крайне худо, некуда хуже. <...>

Страшно и больно было, что он, генерал Самсонов, так худо сослужил Государю и России.

И потом он вполне логично отрешается от прежних обид и поиска виновных[14] и кончает с собой в том же самом Грюнфлисском лесу (48).

Самоубийство Самсонова *рифмуется* с «самоубийственной» речью Воротынцева, которая становится смысловым итогом Первого Узла и предваряющим объяснением дальнейших событий. Закономерно, что самоубийство Самсонова приходится на композиционную вершину «Августа Четырнадцатого», точную середину текста (при двухтомном издании — а иначе печатать «Август...» едва ли целесообразно — это последняя глава Первой книги)[15].

Трагический конец Самсонова не может быть истолкован однозначно. Описывая прощание генерала с разгромленными войсками, Солженицын говорит о его нравственной высоте, которую чувствуют и солдаты, и Воротынцев: «Голос Командующего был добр, и все, кого миновал он, прощаясь и благодаря, смотрели вослед ему добро, не было взглядов злых. Эта обнажённая голова с возвышенной печалью; это опознаваемо-русское, несмешанно-русское волосатое лицо, чернедь густой бороды, простые крупные уши и нос; эти плечи богатыря, придавленные невидимой тяжестью; этот проезд медленный, царский, допетровский, — не подвержены были проклятью».

Воротынцев распознает в Самсонове жертву и чувствует, что такой жертвой может стать сама Россия: «А за четверо с половиной суток (когда Воротынцев метался по фронту, а не оберегал командующего. —*А. Н.*) совершилась вся катастрофа Второй армии. Вообще — русской Армии. Если (на торжественно-отпускающее лицо Самсонова глядя), если не (на это прощание допетровское, домосковское), если... не вообще...»

Воротынцев догадывается, что Самсонову открылось нечто, обычному человеку недоступное: «...Нет, не облако вины, но облако непонятого величия проплывало по челу Командующего: может быть, по внешности он и сделал что противоречащее обычной земной стратегии и тактике, но с его новой точки зрения всё было глубоко верно» (44).

Отрешенность, осознание себя жертвой (не отменяющее, однако, для самого генерала чувства вины) слиты в Самсонове с ощущением провиденциальности случившегося, подчиненности исторических событий Божьей воле. Чувство это приходит с вещим сном, когда после долгих молитв (как и позднее, перед смертью, готовые молитвы переходят в молитвы почти без слов (31, 48)). Самсонов слышит загадочное «Ты — успишь...» (не «успеешь» и не «уснешь», а «успишь»), а очнувшись, понимает, что «у с п и ш ь — это от Успения, это значит: умрёшь» и что «Успение — сегодня. День смерти Богоматери, покровительницы России» (31). Глава эта, в начале которой Самсонов вспоминает немецкую фразу о Наполеоне в горящей Москве («Es war die höchste Zeit sich zu retten» — «Было крайнее время спасаться»; подчеркнута двусмысленность эпитета — höchste буквально значит «высшее»), следует непосредственно за третьим видением «красного колеса», колеса, отлетевшего от телеги. В телеге этой задним числом распознаешь символическую телегу российского государства из переписки грамотного крестьянина с Толстым, о которой Саня рассказывает Варсонофьеву. В отличие от Толстого, Саня полагает, что телегу должно не бросить, но поставить на колеса (42). Именно это и не удается сделать решившемуся было на спасительный «отважный удар» Самсонову, что подчеркнуто монтажным стыком 30-й (экранной, рисующей кошмарный разгром войска и срыв «красного колеса») и 31-й глав и пожарно-наполеоновской отсылкой к «Войне и миру». Сознание обреченности у Самсонова достигает апогея в День Нерукотворного Образа:

До последней минуты исчерпался, минул, канул день Успения — и не протянула Божья Матерь своей сострадательной руки к русской армии. И уже мало было похоже, что протянет Христос.

Как будто и Христос и Божья Матерь отказались от России.

(44)

Голоса автора и Самсонова сливаются, и мы, как чуть позже Воротынцев, проникаемся правдой самсоновского смирения, хотя главы предшествующие (42-я — оправданность ухода Сани и Коти на войну; 43-я — умный героизм отступающих) настраивали на иной лад. Где кончается покорность Божьей воле и начинается непротивление злу, невольно споспешествующее его преумножению? Где смирение переходит в нравственную капитуляцию, а высота духа — в бегство от ответственности? Рациональных ответов на эти вопросы нет. Видя в последний раз Самсонова, Воротынцев не анализирует его действия, а переполняется состраданием к командующему.

Смертью Самсонов освобождается. По сути, он умер раньше, чем выстрелил в себя: сперва — внутренне отодвинув все здешнее (и в первую очередь — своих спутников), потом — потерявшись в лесу, который вдруг волшебно изменился: «Повсюду было тихо. Полная мировая тишина, никакого армейского сражения. Лишь подвевал свежий ночной ветерок. Пошумливали вершины».

Тишина, свежесть, ночь, высь — трудно не расслышать здесь ключевых слов того восьмистишья о скором и счастливом успокоении, что было написано по-немецки Гёте и по-русски — Лермонтовым. Горы, возникшие и исчезнувшие в зачинной главе, появляются вновь — хотя речь идет о «вершинах» деревьев, контекст и лермонтовское слово рождают ясную ассоциацию: «Лес этот не был враждебен: не немецкий, не русский, а Божий, всякую тварь приючал в себе». Самсонов и растворяется в лесу, как «всякая тварь», как

«всякое умирающее лесное». Земного суда ему больше нет. Об ином же Суде нам знать не дано. Заметим, однако, что, сказав о самом страшном («Только вот почисляется грехом самоубийство» — и герой, и автор, и читатель знают: не просто грехом, а тяжелейшим), Солженицын *не* описывает рокового выстрела — главу заключает молитва: «Господи! Если можешь — прости меня и прийми меня. Ты видишь: ничего я не мог иначе и ничего не могу» (48).

В трагической сцене ухода Самсонова возникает та вертикаль, которую писатель явил нам в зачине Первого Узла. О том, что вертикаль эта в мире есть (хотя люди перестали ее замечать), напоминают еще три эпизода «Августа...», тесно связанных системой мотивных перекличек с самсоновским. Это — разговор полковника Смысловского и генерала Нечволодова (21), похороны полковника Кабанова (50) и ночное бдение Воротынцева, породившее те раздумья героя, которыми он делится со Свечиным (81).

В Восточной Пруссии, где разворачивается самсоновская катастрофа, гор, разумеется, нет. Но есть то, что выше и величественнее гор, то, что старше, *первичнее,* а потому ближе к вечности, даже чем грандиозные хребты, то, к чему обычно влекут горы взор человека, — небо, покрытое звездами.

До чего было тихо! Поверить нельзя, как только что гремело здесь. Да вообще в войну поверить. Военные таились, скрывали свои движения и звуки, а обычных мирных — не было, и огней не было, вымерло всё. Густо-чёрная неразличимая мёртвая земля лежала под живым, переливчатым небом, где всё было на месте, всё знало себе предел и закон.

Смысловский откинулся спиной <...> и смотрел на небо. Как лежал он — как раз перед ним протянулась ожерельная цепь Андромеды к пяти раскинутым ярким звёздам Пегаса.

И постепенно этот вечный чистый блеск умирил в командире дивизиона тот порыв, с которым он сюда пришёл: что нельзя его отличным тяжёлым батареям оставаться на огневых

позициях без снарядов и почти без прикрытия. Были какие-то и незримые законы.

Звезды существовали до появления человека и его грехопадения. Звезды останутся и после того, как пройдет земное время. Сама Земля (и уж тем более — человечество) видится сейчас Смысловскому «блудным сыном царственного светила». «Придёт час — наше тёплое одеяло износится, и всякая жизнь на Земле погибнет... Если б это непрерывно все помнили — что б нам тогда Восточная Пруссия?.. Сербия?..»

Упомянув Сербию, Смысловский имеет в виду причину вступления России в войну летом 1914 года, что вызывает несогласие у его собеседника («Сербия была давима хищным и сильным, и защита её не могла умалиться даже перед звёздами. Нечволодов не мог тут не возразить...» (21)). Однако имя балканской страны (а затем и весь спор Смысловского и Нечволодова, большей частью — ведущийся не вслух: «Но как вся война, действительно, ничтожнела перед величием неба, так и рознь их отступала в этот вечер») вызывает ассоциации с другим — более ранним и, безусловно, известным как героям Солженицына, так и его читателям — мировоззренческим столкновением: толстовская скептическая оценка участия русских добровольцев в войне на Балканах (защите Сербии) выражена в восьмой части «Анны Карениной» (где позиция Левина максимально сближена с авторской), возражения Достоевского представлены в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год[16].

Существенно и то, что космогонические размышления Смысловского в известной мере захватывают его оппонента (не случайно сквозь естественно-научные рассуждения полковника проступает евангельская притча о блудном сыне), и то, что ни взгляд на земные дела с космической точки зрения, ни несогласие с политической позицией Нечволодова («Эх, мог бы, мог бы Смысловский ответить. Слишком много дурной эк-

зальтации в этой славянской идее — и откуда придумали? зачем натащили? И всех этих балканских ходов не разочтёшь») не мешают Смысловскому оставаться патриотом («как раз отечество он очень понимал») и безукоризненно воюющим офицером. Непримиримые доктрины двух великих писателей здесь обнаруживают не только свои изъяны, но и ту глубинную правду, одна часть которой явлена Толстым, а другая — Достоевским. Характерно, что это преодоление непреодолимого противоречия ясно скорее читателю, чем героям. Впрочем, и они легко обходятся без тех резкостей, которые непременно бы окрасили (и измельчили) спор, происходи он в другой обстановке. Но Смысловский с Нечволодовым беседуют «под звёздами» (так именуется фрагмент 21-й главы в «Содержании»), при восстановленной вертикали, — и потому здесь утишается собственно идеологическое противостояние и намечается (для читателя) важная смысловая перспектива, которая вполне раскроется в монологе вышедшего из окружения Воротынцева.

Смысловая связь диалога Смысловского с Нечволодовым и «успения» Самсонова поддерживается мотивами абсолютной тишины и звезд. Многочисленных — над станцией Ротфлис, «одной-единственной звёздочки», на которую, «не зная востока», молится Самсонов. (В лермонтовских стихах о блаженном успокоении звезды могут заменять горы; всем памятный пример: «Выхожу один я на дорогу...») Перекличку между самсоновским и кабановским эпизодами обеспечивает не только мотив смерти, но и преображение Грюнфлисского леса, в большинстве посвященных ему фрагментов — отчетливо немецкого, враждебного русским воинам, зловещего. Как помним, приючая Самсонова, лес стал ничьим, Божьим. Так происходит и в сцене похорон Кабанова.

Приняв неизбежное решение (с мертвым телом на прорыв идти немыслимо), Воротынцев объясняет дорогобужцам: «...немцы — не нехристи». Речь идет о чем-то

большем, чем конфессиональная принадлежность неприятеля. Перед лицом вечности (прощание с ушедшим в небытие) война словно бы исчезает:

Такой был цельный обширный лес, что война, бушуя вокруг, сюда, в эту глубь, за всю неделю не заглянула ничем: ни окопчиком, ни воронкой, ни колёсным следом (обратим внимание на эту деталь, отсылающую к заглавному символу «повествованья в отмеренных сроках». — *А. Н.*), ни брошенной гильзой. Разгоралось мирное утро (как в зачине Узла. — *А. Н.*), сильнел смоляной разогрев, приглушённо перещебетывались, молча перелетали августовские успокоенные птицы. Обнимало и людей безопасное, вольное чувство: будто и окружения никакого нет, вот похоронят — и по домам разойдутся.

(50)

Уходят и привычные социальные различия (дорогобужцы не знают, как звали их командира, «солдатам — “ваше высокоблагородие” сунуто») — отпевает Кабанова мирянин Благодарёв.

Наконец, обе сцены «лесных уходов» напоминают о том лесе, который в мирную пору открылся юному Сане Лаженицыну:

...В росе молочной, а потом радужной, лес этот звал не пройти себя, а бродить, сидеть, лежать, остаться тут, никогда из него не выбираться, — а ещё особенным казался оттого, что дух пророка носился здесь: ведь Толстой же ходил или ездил на станцию, он здесь не мог не бывать, этот лес был уже началом его поместья!

(2)

Хотя Саня ошибся (яснополянский парк начинается лишь за большаком), связь Толстого, каким его пишет Солженицын, и его возвышающегося над суетой социальной реальности (людскими злобой и недомыслием) учения о любви с прекрасным и безлюдным, словно бы

первозданным, лесом сомнению не подлежит. Отсюда приглушенные, но ощутимые толстовские обертоны в грюнфлисских эпизодах, особенно — в утреннем, кабановском.

Расхождения Солженицына с Толстым в специальных комментариях не нуждаются (обнаруживаются они уже в «Августе Четырнадцатого», а последовательно и систематично представлены в рассуждениях о. Северьяна во Втором Узле — 0-16: 5, 6), но и присутствие толстовских (и лермонтовских, предсказывающих Толстого) мотивов в Первом Узле никак нельзя счесть случайным. Солженицын не только опровергает мифологию Толстого (как, впрочем, и Достоевского), но и свидетельствует (самим повествованием своим) о глубинной правде Толстого, без которой невозможен разговор о «войне и мире» и назначении человека. Однако сближения с Толстым (с отсылками к предтолстовским, но не столь, как у Толстого, идеологически жестким текстам Лермонтова) вовсе не предполагают подчинения его «частичной» правде. Характерно, что в главе о прощании с Москвой (где говорится о разочаровании Сани в толстовском учении) Варсонофьев, которого юные персонажи прозвали «звездочётом» (вспомним, что откровение «под звёздами» переживает сперва Смысловский, а потом и Воротынцев), произносит то самое слово, стоящая за которым символическая реалия доминировала в начальных абзацах повествования, означала вертикаль, с удалением от которой рушится изначальный божественный строй мира: «Когда трубит труба — мужчина должен быть мужчиной. Хотя бы — для самого себя. Это тоже неисповедимо. Зачем-то надо, чтобы России не перешибли *хребет* (курсив мой. — *А. Н.*). И для этого молодые люди должны идти на войну» (42).

Здесь, не упуская из виду проанализированной сложной системы горных, звездных, лесных символических мотивов, резонно вернуться к сопоставлению двух героев-воинов, по-разному, но угадавших трагический смысл августовских событий. Самсонов досягнул своего предела. Воротынцеву суждено держаться

дольше. И, помня о том, почему и как умер Самсонов, не имея права высокомерно признать постигшее его откровение — заблуждением и наваждением, а уход — непростительным грехом, мы — при глубоком сочувствии к Воротынцеву и другим героям-деятелям — принуждены постоянно задумываться: а есть ли в их поступках реальный смысл? а не заведомо ли обречены энергичные борцы на поражение? а не ждет ли каждого из них участь Самсонова?

Нет, не каждого. Но кого-то — ждет. В этом плане огромную смысловую нагрузку несет появление в «Августе Четырнадцатого» полковника Крымова (16, 28), который, на первый взгляд, может показаться персонажем излишним, так сказать дублером Воротынцева. Не случайно, однако, уделив Крымову совсем немного места, автор указывает на его личную близость Самсонову и их взаимную приязнь. Крымов присутствует в «Августе Четырнадцатого» не только потому, что он сражался в Восточной Пруссии, но и с учетом будущего этого человека, что, несомненно, был бы подробно обрисован на страницах солженицынского повествования, доведи его автор до августа 1917 года. Тогда генерал-майор А. М. Крымов стал наиболее решительным участником действий Корнилова по спасению России от большевиков. Он был обвинен Керенским в измене и передан под следствие. «Отправив Корнилову предсмертное письмо с офицером (Россия погибла, и не стоит больше жить!), Крымов застреливается в канцелярии военного министра» («На обрыве повествования», Узел VI — «Август Семнадцатого»). В пространстве эпопеи Солженицына самоубийство Крымова — повторение самсоновского. Читатель подготовлен к нему впечатлением Воротынцева от встречи с Крымовым осенью 1916 года: «не убит, но — истратился Крымов. Был кремень, а посочилась влага из него. У всего живого есть рубеж. Есть барьер неудач, выше которого уже ноги не тягают» (0-16: 42)[17].

Но если есть такой барьер, если рано или поздно всякому борцу станет ясно, что усилия его тщетны, то зачем

тогда совершать какие-либо резкие действия? Видим же их тщету: наблюдая хоть за Воротынцевым в «Августе Четырнадцатого», хоть за полковником Кутеповым, когда он 27 февраля 1917 года пытается (толково, энергично, умно) придавить в зачатке петроградское возмущение, ставшее революцией (М-17: 76, 79, 88, 108, 116), хоть за Корниловым и Крымовым в августе того же проклятого года. Есть ведь резоны у Свечина, когда он корит Воротынцева за его поездку во Вторую армию и уговаривает друга держать при себе выстраданную правду: «Безсмысленно с властями воевать, надо их аккуратно направлять» (81). Предположим, Воротынцеву разумнее было не ездить во Вторую армию вовсе, а готовить в Ставке грамотные приказы (прав Свечин — вдвоем бы больше пользы принесли); если уж приехал — ни на шаг не отходить от Самсонова, советовать, благо, «новую войну» глубже понимает, подбадривать, давить авторитетом человека, причастного верхам, на непутевое окружение командующего; если уж вернулся — не бесить начальство, упрочить карьеру (можно было, можно!) и как-то да влиять на великого князя (во вменяемость которого, впрочем, и Свечин не верит). Ну а что было делать Кутепову в феврале, а Крымову в августе 1917-го? Кому и что советовать? Сдержанность и лояльность Свечина сделают для него невозможным участие в заговоре Гучкова (к чему склоняется Воротынцев (0-16: 42)), но не они ли позже превратят генерала в «спеца» при большевиках, в итоге ими расстрелянного? (Изменив имя этого не слишком известного исторического лица, Солженицын счел нужным сообщить о его судьбе в «Авторских замечаниях к Узлу Второму».) Мы не смеем осуждать уходящего в небытие Самсонова. Но точно так же не смеем упрекать тех, кто, терпя поражение за поражением, продолжал борьбу.

Во всяком случае, пока мы говорим о социально-политической истории. Но у истории, по Солженицыну, есть и иное — мистическое — измерение. Когда Самсонову мнится, что Господь оставил Россию, мож-

но (и хочется) счесть, что уставший генерал впадает в соблазн. Но в соблазне этом страшно преломляется высшая правда. Вот что сказано Солженицыным в «Темплтоновской лекции» (1983; два Узла «Красного Колеса» уже написаны, в разгаре работа над «Мартом Семнадцатого»):

Больше полувека назад, ещё ребёнком, я слышал от разных пожилых людей в объяснение великих сотрясений, постигших Россию: «Люди забыли Бога, оттого и всё» <...> Если бы от меня потребовали назвать кратко главную черту в с е г о XX века, то и тут я не найду ничего точнее и содержательнее, чем: «Люди — забыли — Бога». Пороками человеческого сознания, лишённого божественной вершины, определились и все главные преступления этого века. И первое из них — Первая мировая война, многое наше сегодняшнее — из неё. Ту, уже как будто забываемую, войну, когда изобильная, полнокровная, цветущая Европа как безумная кинулась грызть сама себя, и подорвала себя может быть больше чем на одно столетие, а может быть — навсегда, — ту войну нельзя объяснить иначе как всеобщим помрачением разума правящих, от потери сознания Высшей силы над собой[18].

Забыли Бога те, кто позволили России сорваться в войну. Что случилось, конечно, не в одночасье лета 1914 года. Ответственность за вступление России в войну несет власть — «помрачение разума правящих» детально описано Солженицыным в специально выделенном разделе («Июль 1914») главы, посвященной императору Николаю II (74). Государь не способен оценить масштаб и перспективы вершащихся событий, которым по-человечески он вовсе не рад. (Солженицын настойчиво подчеркивает миролюбие императора, прямо связанное с его простодушным идеализмом.) Роковое решение царя стимулировано частью благородными, но расплывчатыми общими соображениями о славянском братстве и нравственной необходимости защищать слабых, частью — опрометчивыми союзническими обяза-

тельствами (рабствование которым удобно трактовать в высоком плане — как рыцарскую верность слову), частью — привычкой мыслить политику делом семейным. Родственная приязнь к императору Вильгельму, полное к нему доверие, завороженность его личностью и многолетними «братскими» отношениями превращаются в едва ли не детскую обиду, желание отомстить и «доказать» свою силу и самостоятельность. Далеко не в первый (ср. проведенный Солженицыным в той же главе подробный анализ действий Государя в 1905 году) и, увы, не в последний раз (об этом «Октябрь Шестнадцатого» и особенно «Март Семнадцатого») Николай II оказывается слабым и близоруким политиком, оставаясь при этом добрым, трогательным и вызывающим (наряду с недоумением и раздражением) сочувствие человеком. Государя жалко не только потерпевшему страшное поражение и внутренне готовящемуся оставить сей мир Самсонову, но и читателю. Покуда не вспоминаешь, что именно царь должен был уберечь Россию от «красного колеса».

Это хорошо понимает (хотя и не договаривает до конца) кормящий Россию Захар Томчак, который войну против Германии считает «бисовой дуростью»: «Сейчас, когда годы такие пошли, что Россия соками наливается, не воевать надо было, а по тому Ерцгерцогу панихиду отслужить да на поминках трём императорам выпить горилки» (9).

Старый крестьянин, ставший богатым хозяином, но не переставший быть истовым работником, не только человечнее, но государственно мудрее и богобоязненнее «трёх императоров»[19]. Бытовой, приправленный самоиронией тон вовсе не дискредитирует суждение Томчака. Только не нашлось человека, который сумел бы приобщить русского царя (а зависит-то все от него, потому он и его царственные собратья-враги Томчаку припомнились!) к правде крепкого русского мужика. Уже здесь Солженицын готовит читателя к принципиально важным для всего «Красного Колеса» столыпин-

ским главам. Как энергичное хозяйствование Томчака (заслуженно принесшее ему богатство) практически воплощает социально-экономические идеи Столыпина, доказывает их правоту и в какой-то мере предстает их следствием, так его мысли о войне и мире невольно отражают внешнеполитическую доктрину министра-реформатора: «...только избегать международных осложнений, вот и вся политика. России война совершенно не нужна, и во всяком случае нужно 10—20 лет внешнего и внутреннего покоя, а после реформ — не узнать будет нынешней России, и никакие внешние враги нам уже не будут страшны» (65').

Ровно об этом говорит Воротынцев Свечину: «...мы всю жизнь учимся как будто только воевать, а на самом деле не просто же воевать, а как верней послужить России? Приходит война — мы принимаем её как жребий, только б знания применить, кидаемся. Но выгода России может не совпадать с честью нашего мундира. Ну подумай, ведь последняя неизбежная и всем понятная война была — Крымская. А с тех пор...» (81)

Свечину эти мысли Воротынцева, его противопоставление службы «войной» и службы «одной силой стоящей армии» кажутся доходящими «до бессвязности». Это точно соответствует его несогласию с порывом Воротынцева высказать всю правду; квалифицированный, умный и честный военный, Свечин не желает выходить за положенные ему пределы — он знает и хочет знать только свой шесток. И потому не может понять, с чего это Воротынцев «вспомнил Столыпина».

Между тем ход мысли Воротынцева строго логичен. Мысль о Столыпине вместе с вопросом «а почему мы здесь? Не на полянке этой, не в окружении здесь, а... вообще на этой войне?..» настигли полковника, когда он «ходил на полянке часовым, под звёздами» (81). То, что открылось здесь герою, должно быть истолковано на трех уровнях. Высший — война вообще есть «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» (зачин третьего тома «Войны и мира»[20]).

Воротынцев чувствует эту высшую правду примерно так же, как лежащий на поле Аустерлица князь Андрей или герой лермонтовского стихотворения «Я к вам пишу случайно, — право...». Упоминание «звёзд» отсылает читателя к рассмотренным выше эпизодам ухода Самсонова — он молился на «единственную звёздочку» в том же Грюнфлисском лесу, где бодрствует Воротынцев (48), — и диалога Смысловского с Нечволодовым (21).

Следующий уровень — общеполитический. Сегодняшней России (не решившей множества экономических и социальных задач, не изжившей до конца язву революции, не сумевшей достигнуть общественного согласия и правильно выстроить отношения власти, народа и образованного сословия) война не нужна и опасна, и тем более губительно для нее стремительное вступление в войну.

Наконец уровень третий — собственно военный. Русская армия воюет плохо — не только из-за того, что план кампании составлен бездарно, а среди генералов немало трусов и карьеристов, но и потому, что к *новой* войне она вообще не готова (явно недостаточно вооружена, экипирована, обучена).

Может показаться, что к Столыпину имеет отношение лишь средний — политический — уровень мысли Воротынцева. Но это не так. Столыпин понимал, что именно сильная, профессиональная, свободная от придворных и политических вмешательств армия, где генеральский чин не может быть достигнут интригами и протекциями, офицеры по-настоящему образованны, а солдаты не мыслятся безликой массой, которую не жалко бросить в любую мясорубку, — только такая армия способна уберечь страну от войны. И равным образом он понимал, что мирное развитие России (как и любой страны) на разумных социально-экономических началах не только «выгодно», но и соответствует назначению человечества. (Рай на земле невозможен, но человек обязан, сколько возможно, землю беречь и благоустраивать.)

Для того чтобы «вспомнить Столыпина», Воротынцеву нужно было пройти сквозь всю катастрофу Второй армии. Для того же необходимо Солженицыну детальное (по корпусам, дивизиям, полкам и ниже) изображение всего, что случилось в Восточной Пруссии. Едва ли не в каждом эпизоде мы ощущаем и бесчеловечность войны как таковой, ее глубинную враждебность человеку, и политическую нецелесообразность этой войны (с первых дней растет отчуждение солдат даже и от лучших — верных долгу, мужественных и знающих «свой маневр» — офицеров), и роковую неподготовленность к происходящему и мужиков в шинелях, и многих офицеров. Попав на войну, Ярик Харитонов теряется: «Великая война, первая война подпоручика Харитонова, начиналась так на каждом шагу, что в училище можно было бы за эти промахи лепить и лепить гауптвахту: всё, как в насмешку, шло в нарушение всех уставов» (14).

Уставы Ярик, сознательно избравший военную службу, знает превосходно; мужества ему не занимать; держится он все время наилучшим образом — только готовили его не к такой войне.

Залихватская «русская солдатская песня» про объевшегося белены и полезшего в драку немца следует за главой о превосходно просчитанных действиях германцев (24) и предшествует главе, в которой Выборгский полк (еще недавно полк Вильгельма Второго — того усатого Васьки-кота из песни с открытки, что ведет объевшихся белены немцев в драку) стоит под истребительным огнем неприятеля (25). «Т а к о г о и сам Воротынцев ещё не испытывал никогда в жизни! *Такой* густоты на Японской не бывало!» Выделенное разрядкой местоимение (нет для «такого» имени) аукнется через страницу, когда Воротынцеву в словах Благодарёва послышится «Как-зна-току!!» Не о знатоке речь (Воротынцеву кажется, что Благодарёв говорит о себе, «хвастается, что на часы смотреть тоже знаток») — солдат выкрикивает: «Как-на-току!!» Ослышка Воротынцева характерна: нет на току войны, где каждый человек становится колосом, жду-

щим, что его расколотят, никаких «знатоков». Полковник Воротынцев — такой же безымянный колос. Разумеется, в этой страшной сцене ощутимо дыхание Толстого (Выборгский полк в бездействии стоит под огнем, как полк Андрея Болконского, с которым читатель и прежде соотносил деятельного жаждущего направить историю Воротынцева; ослышка Воротынцева похожа на ту, что выпала уснувшему после Бородинского сражения Пьеру, который принял бытовое «запрягать» за сакральное «сопрягать»; игрушечный лев, с которым забавляются солдаты, — типично толстовская деталь, вроде шляпы Пьера, дивящей и веселящей защитников батареи Раевского), но не менее важна другая литературная реминисценция.

Отождествление битвы с сельским трудом восходит к фольклору и не раз отозвалось в русской словесности, но кажется, всего отчетливее проведено в стихотворении Гумилева «Война»:

> А «ура» вдали как будто пенье
> Трудный день окончивших жнецов.
> Скажешь: это мирное селенье
> В самый благостный из вечеров.
> <...>
> Тружеников, медленно идущих
> На полях, омоченных в крови,
> Подвиг сеющих и славу жнущих,
> Ныне, Господи, благослови[21].

Солженицын решительно оспаривает патетичную риторику Гумилева — он не может видеть в войне светлое, святое и величавое дело. Солдаты сравниваются не со жнецами и пахарями, но с колосьями. Образ этот прежде возник в рассказе «Захар-Калита», где грамматическая конструкция заставляет читателя на миг ощутить себя воином на Куликовом поле: «И мы ложимся, как скошенный хлеб. И гибнем под копытами» (I, 250). Но если в рассказе доминировал мотив жерт-

венной святости подвига, то в «Августе...» упор сделан на безжалостности войны. Гумилевское «Серафимы ясны и крылаты / За плечами воинов видны» отзывается ритуальными расспросами и наставлениями («Святой — это ж как ангел твой, он тебя защитит и охранит. А ты не знаешь!») генерала Артамонова, заранее фактически слагающего с себя ответственность за участь солдат: «Утром начнёт немец бить —- а вы молитесь!» Не даром на крик Воротынцева перед началом «молотьбы» («Ну! Святых своих все помните? <...> Ма-литесь!»)

последним смешком, вспоминая вчерашнего генерала, отозвались ему справа и слева:

— Богу молись, а к берегу гребись!

— Николай Угодник один всех покроет!

и Арсений взревел:

— Прощай, белый свет — и наша деревня!

Война не может поэтизироваться. В словах большого поэта (и мужественного офицера) звучит та же фальшь, которую распознали солдаты в речах труса и пустосвята Артамонова. Прекрасные стихи не способны передать того, что выпадает на долю обычным людям, которым «оставалось только ждать своей очереди». За упоминаниями ангелов и святых теряются ужас, страх и действительный подвиг солдата, который под огнем перестает быть отдельным человеком, теряет личность, судьбу, имя (что и слышно в солдатских выкриках), но все же этот ад выдерживает. Потому и нащупывает «в тесноте секунд» Воротынцев главное, то, что подведет его к мыслям, оформившимся в Грюнфлисском лесу и выговоренным Свечину: «...умирать не может быть жалко, кому война профессия — у него профессия, но этим мужикам?! — какая награда солдату? только остаться живым. В чём же *его* опора?» (25).

В верности отечеству? Но вспомним сетования Нечволодова (21) о том, что у солдата нет понимания отечества (по разумению высшего начальства, оно и не

нужно). В царе? Но, не чувствуя царского попечения, не понимая, почему надлежит гибнуть «как-на-току», то и дело интуитивно угадывая «дурь» начальства, которое царь почему-то терпит, которому дозволяет бездарно распоряжаться тысячами жизней, солдат медленно, но неуклонно утрачивает привычную, инстинктивную веру в помазанника. В Боге? Но если о Боге забыли власть предержащие (забыли не о молитвах, обрядах, чаянии Чуда, но о своем долге и положенном человеку пределе), то эта зараза рано или поздно перекинется и на тех, чьи сердца еще вчера были чисты.

Война не только ежедневно грозит гибелью тем, кто не по своей воле стал воином. Ежедневно же она человека развращает, ибо делает допустимым то, что в мирное время считается преступлением, — убийство, жестокость, присвоение чужого добра. Оказавшись в Восточной Пруссии, Ярослав Харитонов испытывает тревожное изумление:

...Не только странные крутые крыши в половину высоты дома, сразу очужавшие весь вид, — но деревни из кирпичных двухэтажных домов! но каменные хлевы! но бетонированные колодцы! но электрическое освещение (оно и в Ростове-то лишь на нескольких улицах)! но электричество, проведенное в хозяйство! но телефоны в крестьянских домах! но в знойный день — чистота от навозного запаха и мух! <...>

Почтительный страх вызывало одно только это устройство нерусское. А то, что оно было опустошено, грозно брошено мёртвой добычей, вызывало жуть: будто наши войска мальчишками-озорниками ворвались в чужой притаившийся дом, и не могла их за то не ждать расплата.

(14)

Поначалу чувство это уравновешивается искренним восхищением солдатами. Столкнувшись с мародерами, юный офицер убеждает себя, что его-то подопечные такого себе не позволят. И ошибется. Взвод

Харитонова не упустил случая поживиться. Грабеж не предполагает злобы: не пропадать же брошенным вещам и припасам. Солдаты веселы и умиротворены, на их лицах — «доброжелательность пасхального разговения». Подобие преступного пира и пира пасхального, вершащегося во славу победы над смертью, грехом, тленной природой человека, особенно страшно. Солдаты, недавно казавшиеся Харитонову чудесными праведниками, не различают добра и зла, а вразумить их невозможно (это Ярик, только что намеревавшийся «разнести их, прочесть им та-кое внушение», понимает вдруг, но прочно):

— Испейте какаву, ваше благородие! Вот ведь чем немец подкрепляется, стервец!

И... — не кричать. Не распекать. Не строить в наказание. Даже не отклонить протянутое от изумлённого сердца.

Булькнул Харитонов горлом пустым. Потом уж и глотком какао.

(29)

Этот эпизод пророчит череду все более унизительных испытаний Ярика в Третьем Узле: растерянность от первых дней революции в Ростове (М-17: 439); изумление солдатскими вольностями в Москве (М-17: 545); неразбериха с местами в железнодорожном вагоне (М-17: 574); наблюдение за поручиком, который «не замечает» лускающего семечки солдата в смоленском станционном буфете, и невозможность дать отпор безобразничающим солдатам в поезде (М-17: 580); нападение в тамбуре, едва не стоившее Харитонову жизни (М-17: 589); спасителем поручика оказывается «увалистый кабанок» Аверьян Качкин, выходивший вместе с Харитоновым в группе Воротынцева из окружения (50); вспомнившиеся Ярику дурашливые слова солдата, копающего могилу полковнику Кабанову то сноровисто, то с показной ленью («Качкин, вашвысбродь, по всякому может»), наливаются в Третьем Узле зловещим смыслом; солдат-

ский митинг в лесу, на котором нижние чины спешат поручкаться с офицером: «Это пожатье в черёд он ощутил как новый вид беззащитности, хоть и обратный позавчерашнему. Не приложиться стояли к нему в рядок, а — приложить, как становится взвод в очередь к насилуемой девке» (М-17: 611). Концовка этой главы (и всей линии Харитонова в «Марте Семнадцатого»; больше он на страницах Третьего Узла не появится) прямо отсылает к *квазипасхальному* (по сути — *антипасхальному*) эпизоду с «какавой» «Августа Четырнадцатого».

«Частный случай» тут же вырастает в обобщающий символ. Город горит (не может не гореть город, покинутый жителями и занятый вражеским войском, — снова тень «Войны и мира»):

> Видели, но никто не бежал тушить.
>
> Дым и пламена с треском выбрасывали, выносили вверх чужой ненужный материал, чужой ненужный труд — и огненными голосами шуршали, стонали, что всё теперь кончено, что ни примирения, ни жизни не будет больше.
>
> (29)

Ясно, что не только (и не столько) харитоновскому взводу пророчит беду этот пожар.

Сколь бы коварной ни была германская политика, сколь бы целесообразным ни было вторжение в Восточную Пруссию (на миг отвлечемся от нашего знания о бессмысленности и неподготовленности этого военного решения), сколь бы велико ни было сочувствие русского писателя (и русского читателя) к своим (усугубленное тем, что теперь мы знаем: операция закончилась крахом) — в «Августе Четырнадцатого» горят немецкие города, деревни, усадьбы, разграбляются и рушатся немецкие дома и магазины, страдает мирное немецкое население. Только что перенесший чудовищную «молотьбу» Арсений Благодарёв попадает в разгромленное имение (племенной скот бродит по саду, пусты идеальные конюшни, вытащены из дому диваны и кресла,

в доме перевернута и переломана мебель, разбито зеркало, расколота мраморная доска с родословной хозяев — символически низвергнут их род, поруганы предки). Приходит весть об атаке петровцев и нейшлотцев, и Благодарёв чувствует страстное желание вдарить немцам: «...Пригожий, разгарный денёк и земля чужая раздольная, топчи — не жалко. Мало сладкого, конечно, если б так вот у них в Каменке воевали. В Каменской волости, сла-Богу, сроду так не воевали» (25).

Сроду не воевали — будут. На вопрос Н. А. Струве (телеинтервью на литературные темы, 1976) о будущем, безусловно, привлекательного героя: «Но Благодарёв не соблазнится?» — Солженицын ответил уклончиво: «Ну, там, знаете, в “Августе” уже есть намёки, кем он будет, но я не хочу расшифровывать раньше времени»[22]. Благодарёв, как мы знаем из позднего рассказа «Эго», станет одним из «начинателей» антибольшевистского крестьянского (Антоновского) восстания. Но меж войной и восстанием случится революция, прямо ведущая к власти большевиков и новому крепостному праву. Не умеющие угадать будущее, соблазненные посулами земли и мира солдаты — в том числе лучшие из лучших, в том числе будущие повстанцы, борцы за крестьянскую волю — рванут домой и примутся захватывать чужое, а для того придется и убивать. Мы не знаем (и видимо, никогда не узнаем), сколь сильно нагрешил в те роковые месяцы Арсений, не знаем, что он делал в годы Гражданской войны, но остаться вовсе безгрешным ему было едва ли возможно (ср. о начале «нестроения» в Каменке (А-17: 106); подробно этот сюжет рассматривается в главе IV).

Зато мы знаем путь другого персонажа «Августа Четырнадцатого» и «Эго» — Терентия Чернеги, о котором в рассказе говорится, что в Семнадцатом примкнул он к большевикам, «два года служил им, даже и в ЧОНе, а всего насмотрясь — перешёл на крестьянскую сторону» (I, 277). Удивляться тут нечему. В «Августе...» Чернега сметливостью и хваткой пленяет Ярика Харитонова,

но в словах его «А як в кобуре ще и гусь жареный — о то война!» (19) слышится не одна бравада, но и своего рода удовольствие от войны. При отступлении он действует смело и толково, сильно способствуя спасению многих окруженцев (43, 51). Естественно, что и дальше на войне Чернега, уже выйдя в офицеры, чувствует себя как рыба в воде (0-16: 3). В самом начале революции он «пошёл в гору» (М-17: 614), а затем быстро учуял настоящую «силу». В его рассказе о минском съезде делегатов Западного фронта отчетливо звучит презрение к наступившему безвластью (А-17: 31). На еще более высоком съезде в Петрограде Чернега заинтересованно приглядывается к большевикам и брезгливо реагирует на речь эсера Сватикова:

> Во имя любви к великой матери-Родине, я умоляю вас, мне плакать хочется: поддержите Временное правительство! спасите Россию! Иначе у нас будет новое самодержавие какого-нибудь Иванова 13-го...
>
> И отмахнулся Чернега: не-е-е... Коли плакать вам хочется, пехтери, так никакой вы каши не сварите.
>
> (А-17: 142)

Удачливый человек войны, Чернега закономерно становится человеком революции.

Иным образом война ведет к революции совсем не похожего на Чернегу Сашу Ленартовича — потомственного врага власти (о дяде-революционере — 59), руководствующегося принципом «чем хуже, тем лучше» («Частные случаи так называемого милосердия только затемняют и отдаляют общее решение вопроса», — разъясняет он спасающему раненых доктору Федонину) и презирающего солдат, которые «попёрли как бараны за нашим полковым, за мракобесом... Нашли за что драться — за тряпку. Потом уже — за одну палку» (15). «Тряпку» — полковое знамя — вынесет из вновь занятого немцами городка Таня Белобрагина (56; ср. также 50, 51). Бессмысленность, с которой ведется война, лишь укреп-

ляет Ленартовича в его ненависти к государству, а урок, который невольно дает ему Воротынцев, спасая покинувшего полк офицера от гибели или желанного (но мы, увидевшие первый концентрационный лагерь, знаем — страшного) плена, оказывается невоспринятым.

Чернега и Ленартович попали на военную службу не по своей воле. Но и в кадровом офицере подпоручике Козеко война выявляет худшее. Нормальные человеческие чувства (любовь к жене, желание жить спокойно и уютно) в контексте войны воспринимаются иначе, чем в мирное время. Тогда Козеко был обычным мелким чиновником военного ведомства, не задумываясь, какие обязательства предполагает избранный им род службы. На вопрос Харитонова, зачем же он стал военным, Козеко отвечает: «Это — тайна... Вот когда будет у вас ненаглядное солнышко да любимое гнёздышко... Пусть это непатриотично, но я без жены жить не могу. И потому желаю мира. Я вам скажу: лучше быть не офицером, а конюхом, но подальше от этой войны» (14).

Тайна не велика: служба обеспечивает достаток, особых знаний не требует (речь не о том, нужны ли они кадровому офицеру, — разумеется, весьма нужны, а об обычае, укоренившемся в русской армии), возможно предопределена семейной традицией и не воспринимается серьезно — о том, что придется воевать, Козеко, вероятно, не думал. До войны трусость и безответственность Козеко были неприметны. Его нельзя назвать дурным человеком; он просто человек не на своем месте. Как слишком многие в России. Козеко кажется пародийным двойником несопоставимо более значительного персонажа, что предстанет читателю позже, — самого императора Николая II. Оба всепоглощающе любят своих жен, которых и зовут одинаково — «солнышко»; оба постоянно ведут дневники; оба вне семьи крайне одиноки. Разумеется, характер Государя много сложнее. У подпоручика нет ни высокой религиозности императора, ни его теоретического, но искреннего народолюбия, ни его вкуса к военной службе. Если Николая II можно

представить себе хорошим полковым командиром, то и Козеко, наверно, был бы не худшим почтмейстером, чиновником железнодорожного ведомства или банковским служащим. Но когда в роковые дни революции царь покидает Ставку и устремляется к Петрограду (по сути — к жене), невольно вспоминаешь сентиментального и «домашнего» подпоручика из «Августа...».

Дав в большей или меньшей мере развернутые портреты четырех младших офицеров (Харитонов, Ленартович, Козеко, Чернега, которому недолго оставаться фельдфебелем), уже принимающих участие в боевых действиях, автор заставляет нас серьезнее отнестись к выбору Сани Лаженицына. Мы, зная о войне больше, чем доброволец, ощущаем его наивность. Саня не вполне понимает, сколь страшно и тяжело на фронте. Из четырех соотнесенных с Лаженицыным персонажей двое (Ленартович и Козеко) не только мучаются и проклинают свою участь, но и не выполняют своих прямых обязанностей (грубо говоря, лучше бы таких офицеров не было). Третьего — Чернегу, с которым Сане потом выпадет служить (0-16: 3), — война подчиняет себе (позволяет жить вне моральных норм, дает развиться его плотскому эгоизму). Четвертый же — сам избравший эту стезю и изо всех сил старающийся быть образцовым офицером — сразу оказывается жертвой. Тут важны и растерянность «правильного» Ярика при первых же столкновениях с хаосом, и то, что его — единственного из четырех поданных крупно младших офицеров — война настигает физически, контузией. Не случайно в Третьем Узле Ксенья, прощаясь с отбывающим из Москвы Ярославом, видит «на его юном простодушном лице — свет жертвы» (М-17: 549); не зная судьбы прототипа, предполагаешь, что героя ждет скорый и страшный конец, обусловленный не только общей трагедией, но и характером этого «стойкого оловянного солдатика». Но в то же время читатель не воспринимает решение Сани как ошибочное и соглашается с цитированным выше утверждением Варсонофьева, одобряющим выбор

Сани и Коти: «Когда трубит труба — мужчина должен быть мужчиной. <...> Зачем-то надо, чтобы России не перешибли хребет. И для этого молодые люди должны идти на войну» (42).

Но ведь, дочитав «Август...», мы проникаемся догадкой Воротынцева: хребет России ломает именно война. Более того — знаем: война его и перешибет. Однако не только Лаженицын, но и несоизмеримо больше увидевший и понявший Воротынцев не мыслят себя вне строя. Эти герои идут своими путями, конечно надеясь на лучшее (здесь показательны заключительные — варсонофьевско-лаженицынский и воротынцевский — эпизоды «Апреля Семнадцатого», которые будут подробно проанализированы в главе IV), но в первую очередь ощущая эти пути именно *своими*, единственно возможными, единственно соответствующими строю своих душ и тому высшему заданию, которое Воротынцев и Саня стремятся расслышать сквозь демонический гул времени.

Яснее всех многочисленных персонажей «Красного Колеса» это высшее задание (нераздельно — свое и России) слышит тот герой, чья смерть, случившаяся за три (без малого) года до начала Первой мировой войны, во многом предопределила трагедию России, — Пётр Аркадьевич Столыпин. Жизнь Столыпина, его идеалы, убеждения, социально-экономическая и политическая программы, работа по их воплощению, планы будущих преобразований, отношения с императором, двором, бюрократией, общественностью, Государственными думами разных созывов, политическими партиями и их вождями, характер человека и свойства государственного мужа описаны Солженицыным с впечатляющей даже на фоне других портретных глав «Красного Колеса» обстоятельностью, предельной ясностью и горячей любовью. Сама по себе столыпинская глава (65') в толкованиях не нуждается.

В принципе допуская, что профессиональный историк может предложить отличную от солженицынской трактовку тех или иных эпизодов деятельности Столы-

пина и его роли в истории (то же касается всех прочих описанных в «Красном Колесе» исторических событий и личностей), замечу, что частные фактические уточнения (буде они обнаружатся) не изменят (и тем более не отменят) общего творческого (научного, философского и художественного) решения писателя. Даже если нам докажут (чего пока не произошло), что исторический Столыпин тем-то и тем-то отличался от Столыпина, изображенного Солженицыным, это не поколеблет внутренней логики «повествованья в отмеренных сроках», той согласованности всех составляющих, что и делает высказывание художника убедительным, заставляет воспринимать его как аналог реальности. Что же до различных идеологических суждений о личности и деятельности Столыпина (и всей истории русской революции), то появление их неизбежно, пока существуют интеллектуалы, наследующие оппонентам и врагам Столыпина (условно говоря, новые черносотенцы, кадеты, большевики). Если некто убежден, к примеру, в том, что крестьянская община — величайшая ценность русского народа, или что царь всегда прав, потому что он царь, или что Февральская революция явила торжество истинных свободы и демократии, а большевики урвали власть случаем, или что «великий октябрь» и власть советов принесли в Россию благоденствие (а без них мы бы по сей день в лаптях ходили), то неприятие подобными идеологами «Красного Колеса» гарантировано. Существенно, однако, что их полемические стрелы направлены прежде всего в Столыпина (и тех исторических деятелей, которые как-то поддерживали и продолжали столыпинскую стратегию) и лишь во вторую очередь — в автора «Красного Колеса». Вольно кому-то до сих пор восхищаться Лениным (Милюковым, Пуришкевичем, Керенским, великим князем Николаем Николаевичем), но требовать подобных чувств от всех и каждого, включая Солженицына, по меньшей мере, странно. Интеллектуально честный идеолог должен признать главное: «Красное Колесо» — цельное сочинение с единой, последо-

вательно развиваемой концепцией действительности, основанной на огромном множестве «разноречивых», но поддерживающих друг друга фактов.

Должно, однако, объяснить, почему Солженицыну понадобился огромный экскурс в прошлое (60—74), как он связан с судьбами вымышленных персонажей и почему его нельзя вынуть из повествования.

Последний тезис формально противоречит замечанию Солженицына в начале столыпинской главы: «Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была грубо изломана сама история России, вся память её, и перебиты историки». Думается, слова эти, как и предваряющее их приглашение «лишь самых неутомимых любознательных читателей» прочитать, что написано петитом («Остальные без труда перешагнут в ближайший крупный шрифт»), нельзя понимать буквально. Между тем именно так они и были восприняты многими читателями, но, как водится, с точностью до наоборот. Слишком часто доводилось слышать и читать, что интересны (познавательны) в «Красном Колесе» лишь *исторические* главы, а *романные* рассеивают внимание и отвлекают от хроники революции. Поневоле вспомнишь анекдот о двух помещиках, один из которых избирал в эпопее Толстого фрагменты *про войну*, а другой — *про ми*р. Солженицын (пожалуй, даже в больше мере, чем Толстой) стремится показать, сколь по-разному история воздействует на разных людей, а люди эти, в свою очередь, по-разному осуществляются в истории. Оттого и требуется писателю дать крупным планом портреты многих непохожих персонажей, фиксируя мельчайшие психологические детали, непредсказуемые извороты судеб, выпадения героев из присущих им социально-исторических амплуа. Читая в первый раз столыпинскую (богровско-столыпинско-царскую) сплотку глав, мы воспринимаем запечатленные в ней события на фоне только что явленной нам самсоновской катастрофы, но не ведая, что произойдет с несколькими отнюдь не *проходными* персонажами. Важны оба обстоятельства.

Восточнопрусская часть «Августа...» завершается уже упоминавшейся экранной картиной концентрационного лагеря (58) и заявлением штаба Верховного главнокомандующего (Документы — 7). Самсоновской армии больше нет, последние часы ее остатков обрисованы в трех главах (56—58). Перед тем из нашего поля зрения исчезает группа Воротынцева, причем в момент прорыва к своим, и пока неизвестно — будет ли он удачным для всех окруженцев (55). Собственно историческим главам предшествуют петроградские, посвященные семье Ленартовичей, теткам и сестре идущего сквозь Грюнфлисский лес Саши. Рассуждения теток Саши о текущей политической жизни и индифферентности современной молодежи (племянницы Верони и ее подруги Ликони, в которую Саша влюблен) перетекают в их восторженные воспоминания об эпохе террора (начиная с охоты за Александром II, увенчавшейся первомартовским убийством) и ее «героях-мучениках» (59—62). Так мы приближаемся к убийце Столыпина (жизнь и личность Богрова (63); собственно убийство (64)). Тетушки Ленартовича прославляют (отмывают от «клеветы») террориста, «акция» которого и обеспечила их племяннику тяготы войны, кошмар окружения, смертельную опасность. Как явствует из следующей главы (65'), Столыпин, даже если ему пришлось бы на время оставить пост премьер-министра, сумел бы не допустить вступления России в войну. Потому так важно Солженицыну не просто очертить путь своего любимого героя и поведать о его простой, но спасительной внешнеполитической доктрине, но и показать, как решительно и точно он действовал в критических ситуациях, как умел «подкладывать» и внушать свои мысли императору. Потому так подробно анализируются отношения Столыпина и царя: Николай много раз бывал к Столыпину несправедлив, далеко не всегда слушал и понимал своего министра, то и дело его «подставлял», если не сказать — предавал, но при этом в глубине души знал Столыпину цену, знал, что в крайнем случае придется действовать по его советам.

Потому царь, отступившийся от Столыпина и после богровского выстрела (не пришедший к умирающему, который напряженно ждет последней встречи со своим Государем (69); равнодушно отнесшийся к судебному разбирательству; покровительствовавший тем, кто всеми силами препятствовал раскрытию преступления, оберегал лопоухих и корыстных невольных пособников убийцы; допустивший распространение слухов, что порочили память убитого; в конце концов помиловавший тех, кто, пренебрегая долгом, не умел и не хотел защитить Столыпина (71—73)), царь, пренебрегший всеми уроками, которые он получил от министра, царь, действовавший наихудшим — можно сказать, антистолыпинским — образом и летом 1914 года, и в военную пору, и при начале революции, царь этот в повествовании Солженицына вспоминает Столыпина. Приведу два выразительных примера. В 1916 году Государь посещает Киев, где погиб его министр: «И вдруг, сейчас, через пять осеней, так близко и сильно проступил Столыпин к царскому сердцу, как ни разу ещё от смерти. Нужно было пройти пустыню перемен и поисков министров, чтобы сегодня очнуться и поразиться: а ведь с тех пор не было сравнимого министра. И в эту войну, в это безлюдье руководства, какое бы решение был — Столыпин» (0-16: 69).

Во втором случае имя Столыпина не звучит, да и звучать не может. Уже согласившись на отречение, император думает, кому же теперь возглавлять кабинет: «Государю не хотелось — Родзянке. Вот кого бы назначить: Кривошеина» (то есть наиболее близкого и доверенного столыпинского сотрудника-единомышленника (М-17: 349)). В этот момент император и дальновиднее, и вернее памяти своего министра, чем считающий себя продолжателем дела Столыпина и высоко ценившийся Столыпиным Гучков, который только что вырвал отречение, а прежде согласился поставить безликого князя Львова во главе временного правительства.

Выстрел Богрова был действительно выстрелом во всю Россию. Включая тех поджигателей революции

и их подголосков, которым не удалось укрыться от военного лихолетья в уютном швейцарском далеке. Этого не может уразуметь вся пылкая оппозиционная интеллигенция и достойно ее представляющие говорливые тетушки Адалия и Агнесса, что скорбят по Саше, которого «заглотнула прожорливая машина армии». Был бы жив Столыпин, не заглотнула бы. Не пришлось бы пестрой группе Воротынцева мучительно брести сквозь Грюнфлисский лес.

Символично, что под командой опытного полковника (одного из не столь многих столыпинцев, которые и в мирные и в военные дни никак не могут соединиться) из окружения выходит словно бы вся Россия: рядом идут «левый» Ленартович и вопреки семейным традициям избравший государеву службу Харитонов, воплощающий лучшие крестьянские черты Благодарёв и ушлый, ловкий, сильный, ситуативно верный (он вскинет на плечи раненого поручика перед решающим броском), но двусмысленный и страшноватый Качкин (тут значима внешне не мотивированная, но совершенно явная взаимная неприязнь земляков Благодарёва и Качкина (50)). Символично и то, что в то время, когда они пропадают из виду, читатель, которому уже явлены жизнь и дело Столыпина, движется через главы о не сберегших (сгубивших) лучшего русского министра полицейских чинах (66), о злорадной (в лучшем случае — пошлой) общественной реакции на убийство (67, 70), о настроениях и маневрах убийцы (68), о последних днях Столыпина, небрежении Государя и предсмертной (увы, обоснованной и сбывшейся) тревоге Столыпина за будущее страны, которой достался в такие времена такой властитель (69), о похоронах, на которых России не было (70), об увертливых, опасающихся открыть правду следствии и суде над Богровым (71), о царском милосердии и к тем, кто старательно противодействовал Столыпину, всяко ему вредил, сделал его убийство возможным (72), и к тем, кто прямо отвечал за жизнь погибшего премьера (73), — движется к рассказу о Госу-

даре, который, оставшись без зоркого и мужественного слуги, пусть невольно, но бросил свою страну под «красное колесо» (74).

Финальная часть рассказа о монархе («Июль 1914») прямо выводит читателя к срыву русской истории, к началу войны, первый акт которой мы уже видели. А теперь видим по-новому. Теперь мы понимаем, что дело не в отдельных трусах и тупицах (и в германской армии «тесно» талантливому генералу Франсуа, воплощению планов которого мешает начальство (38, 41)), не в обычной неразберихе, не в превосходстве противника, не в дипломатических промахах, а в чем-то гораздо большем. После столыпинской главы становится ясно: России нельзя было ни так худо готовиться к войне, ни таким стародедовским способом воевать, ни — что всего важнее — вообще влезать в войну.

После глав о том, как государственные структуры и общество (не одни боевики, но и умеренные оппозиционеры, интеллигенция, пресса) обошлись со Столыпиным, как мешали ему вести «среднюю линию», сберегать народ, сохранять мир и порядок, приумножать общественное богатство, помогать естественному росту страны, как позволили его убить и не смогли оценить содеянное (и тем паче раскаяться), становится столь же ясно: неготовая к войне Россия обречена была в нее рухнуть, растратить в ней остатки накопленного Столыпиным (не только и не столько о материальных ценностях речь) и в итоге получить революцию. Ее предчувствует Самсонов (48), о ее угрозе позднее (в «Октябре Шестнадцатого») под впечатлением от петроградских встреч и разговора с Нечволодовым начинает задумываться Воротынцев, пока занятый другой опасностью — возможностью проиграть не операцию или кампанию, а всю войну (82).

На выходе из 74-й главы Солженицын побуждает нас если не перечитать все, что предшествовало главе 59-й, то прочитанное вспомнить и по-новому обдумать. Нужно выдержать какую-то внутреннюю паузу, чтобы уразу-

меть: мы вернулись к той же петроградской точке в повествовании, в то же пространство Верони и Ликони, откуда после россказней тетушек отправлялись в близкое (для героев) прошлое. И мы по-прежнему не знаем, что происходит с группой Воротынцева, — как не знают этого сестра и возлюбленная Ленартовича и еще не встретившая Воротынцева Ольда Андозерская (общение курсисток с женщиной-профессором (75)), как не знают мать и сестра Ярика Харитонова, которых навещает Ксенья Томчак. В Ростове обычно несгибаемая Аглаида Федосеевна переживает тихое отчаяние: последнее письмо сына было отправлено из Остроленки, где квартировал штаб Второй (мы знаем — уничтоженной) армии пятого августа. «А сегодня — двадцатое. А сегодня — “от штаба Верховного Главнокомандующего”» (76). В газетах пропечатан тот самый уклончивый, но дающий понять, что случилась катастрофа, документ от 19 августа, которым Солженицын замкнул собственно военную часть Узла, тот документ, что был предъявлен читателям семнадцать глав назад, — оказывается, всего один день прошел! За «самой простой каплей», которая падает на семерку червей из глаз матери Ярика, видятся дожди материнских слез, которые льются по всей России, слез о погибших, попавших в плен, пропавших без вести. И слезы эти вновь заставляют нас вспомнить погибшего Столыпина.

Но не только они. После газетной перебивки (от «ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!» сквозь бодрящие вести о немецких бедах, зазывы на «БЕГА», краткую информацию о потерях «южного нашего отряда», графоманские вирши «Памяти А. В. Самсонова», победные реляции и осмотрительные словеса о понятных трудностях до заклинаний о «всемирно-моральном смысле» и «рыцарской верности трёх правительств» (77)) читатель остается в Ростове, где инженеры — приезжий Ободовский (бывший революционер) и местный Архангородский (пожилой еврей) — ведут долгий разговор, буквально пропитанный столыпинским духом:

— ...Вы знаете расчёт Менделеева? — к середине XX века население России будет много больше трёхсот миллионов, а один француз предсказывает нам к 1950 году — триста пятьдесят миллионов! <...>

— Это в том случае, Пётр Акимович, если мы не возьмёмся выпускать друг другу кишки.

(78)

Возьмемся. Что пророчит следующая глава, где дочь Архангородского и молодой социалист-революционер вовсю славят грядущую революцию и клеймят эксплуататоров, монархию, манифестацию ростовских евреев в поддержку правительства и... страну, в которой якобы всем заправляет «Союз русского народа». И зря Ободовский пытается противопоставить этому Союзу другой — «Союз русских инженеров», — его не слышат и не хотят слушать. Как не хотят видеть России, которая не может отождествляться с партиями и кланами. России, у которой был великий столыпинский шанс — двигаться по пути мирного строительства. Такой России для Сони Архангородской нет. Доведись ей узнать подробности самсоновской катастрофы, она, пожалуй, и в ней обвинит Столыпина. И тут же возрадуется, потому что проклятый режим трещит по швам. А он и впрямь трещит.

...Дрожа голосом, двумя ладонями, на рёбра поставленными, Илья Исаакович показал:

— С этой стороны — чёрная сотня! С этой стороны — красная сотня! А посредине... — килем корабля ладони сложил, — десяток работников хотят пробиться — нельзя! — Раздвинул и схлопнул ладони: — Раздавят! Расплющат!

(79)

Как тут вновь не вспомнить Столыпина. Не только «среднюю линию», которую он держал, но и судьбу самого реформатора. Выстрел Богрова в Россию смог грянуть не только и не столько потому, что убийца был наделен

демонической энергией и изобретательностью (что, на мой взгляд, не отменяет его — и всех прочих «темных гениев» — глубинной посредственности, зависимости от страшного, но пошлого духа времени). Выстрел удался, потому что «красная сотня» (всех оттенков) жаждала этого выстрела, потому что молодые представители образованного общества воспитывались в недоверии и ненависти к власти, потому что антигосударственничество было разлито в воздухе, потому что сочувствие террору стало нормой, потому что стремительно сходили на нет здравый толк, ответственность за собственные поступки, простая (не отравленная идеологическими фантазмами) человечность, которая не позволяет убивать политических противников и желать гражданской войны. Выстрел удался, потому что «чёрная сотня» (всех оттенков) ненавидела Столыпина не меньше, чем «красная». Ненавидела, если угодно, *за дело*: столыпинские реформы предполагали если не полное освобождение высших сфер от бездарей, пролаз и интриганов — этого, увы, никогда никому добиться не удавалось, — то капитальное их сокращение. Курловы, Спиридовичи и иже с ними боролись за себя, за свои места, награды, доходы, за свою «нужность». Выстрел удался, потому что важные места занимались проходимцами, которые, даже если б и относились к Столыпину лучше, не умели квалифицированно делать доверенное им дело (в данном случае — обеспечивать безопасность первых лиц государства), потому что в мире административном правили бал связи и протекции, потому что ответственных исполнителей (а тем более достойных сотрудников, способных мыслить государственно) катастрофически не хватало, а тех, что были, далеко не всегда удавалось использовать по назначению, потому что высшие сословия видели в Столыпине «чужака» и «временщика», от которого лучше избавиться, а идущие сверху «веяния» превосходно усваивались на всех ступенях чиновничьей лестницы. Выстрел удался по той же причине, что обусловила вступление России в войну, самсоновскую

катастрофу, борьбу общественности и народных представителей (Государственной думы) с собственным правительством во время войны, господские заговоры и бунты тыловых — не желающих идти на фронт — полков, революцию с последующим «народоправством», весь бег «красного колеса». Все это случилось потому, что — повторим еще раз ключевые слова «Темплтоновской лекции» — «люди — забыли — Бога».

Когда Солженицына упрекают за преувеличение роли Столыпина в истории (мол, если б и промахнулся Богров, не сумел бы Столыпин предотвратить войну и революцию), из виду упускается сложность и объемность мысли писателя. История действительно не знает сослагательного наклонения, но это не означает железной предопределенности событий. Если бы в России нашлось достаточное число людей, понимающих Столыпина, работающих в самых разных сферах в соответствии не с директивами премьера (на всякий случай инструкцию не напишешь), но в русле его замыслов, относящихся к стране, государственному устройству, обществу и своему делу, как Столыпин, осознающих, что Столыпин, как и всякий администратор, политик, государственный муж, нуждается в постоянной поддержке и защите (в том числе защите от возможных покушений, которую тоже можно и нужно строить профессионально), — если бы подобных людей было не так мало и они не были так разобщены, не была бы в Киевском театре смертельно ранена Россия. Невозможно снять вину с Богровых и Курловых, с «красной» и «чёрной» сотен (увы, тысяч — и многих), но ответственность за гибель Столыпина и последующие наши беды несут не только революционеры и придворная камарилья, заливистые сочувственники бомбистов и старцы из Государственного Совета, мелкие полицейские сошки и добродетельный, но безвольный царь. Доля ответственности (и немалая!) лежит на тех, кто мог бы стоять рядом со Столыпиным, но почему-то занял иную позицию, на тех, кто после смерти реформатора не оценил масштаба случившего-

ся, не нашел в себе сил составить «коллективного Столыпина» и держать столыпинскую линию, осуществлять его замыслы, сохранять суть (а не детали) его жизненного дела. Не в последнюю очередь это означало — строить сильную армию, избегать конфронтации с другими державами, не допускать войны.

Ободовский и Архангородский — персонажи, к которым автор (и внемлющий ему читатель) испытывает глубокую симпатию. Их деятельность бесспорно весьма полезна, их суждения здравы, надежды Ободовского на будущую могучую Россию отзываются смешанным чувством восхищения (ведь не прекраснодушно хвастает, а широко мыслит и готов планы воплощать) и тяжелой тоски (всё прахом пошло), упрекнуть инженеров не в чем. Кроме одного. Их разговор идет так, будто на дворе стоит мир, будто не влезла уже Россия в европейскую бойню, будто не покатилось еще «красное колесо». Дочь клеймит Архангородского за то, что он участвовал в патриотической манифестации (как почти вся страна — вспомним негодование тетушек Ленартовича в связи со вспышкой «позорного патриотизма» (59); картину счастливого единения царя и народа, собравшегося на Дворцовой площади (74); толки курсисток о народном единодушии (75)). Ясно, что коли война началась, патриотические собрания и шествия естественнее, чем пораженческие. Но ведь именно этот аффектированный подъем патриотизма (тут же отзывающийся шапкозакидательством, газетной трескотней, демагогией, залихватскими песнями про Ваську-кота) убеждает власть: беды не случилось, все происходит правильно, весь народ нас одобряет и готов положить сыновей на алтарь отечества. А значит, гнать неподготовленные части в Восточную Пруссию не только можно — нужно!

Но мы-то уже знаем, что там случилось. Мы-то уже видели, как несется «красное колесо», которое раздавит экономию Томчака, магазин Саратовкина, гимназию Харитоновой, Московский университет, женские курсы, мельницы Архангородского, наработки «младотурков»-

генштабистов, планы освоения Северо-Востока, крепкие крестьянские хозяйства в Каменке, тонкие книги Варсонофьева, приличную пивную у Никитских ворот и многое иное — все то, чем по праву гордилась Россия. Мы — видели. Мы знаем, что случится потом. Как именно — можем и не знать, коли не добрались до следующих Узлов, но общий итог — знаем. И изумляемся, почему приближения «красного колеса» никто не замечает. Почему катастрофической опасности, которую несет война, никто, кроме Воротынцева, не чувствует — ни «звездочёт» Варсонофьев, ни инженеры-«делатели», ни превосходно понимающий, насколько *не так* воюет русская армия, генштабист Свечин. Что уж спрашивать с чистых мальчиков — выведенного из окружения Ярика Харитонова и идущего воевать Сани Лаженицына — или солдата Арсения Благодарёва? И тем более с ненавистников режима, ведомых принципом «чем хуже, тем лучше», радующихся любой беде больного государства, азартно смакующих и преувеличивающих его действительные (немалые) и вымышляемые пороки. Или с тех, кто свято уверен, что всё и всегда идет в стране должным образом, что возможны лишь незначительные погрешности (вроде гибели Второй армии), что бабы новых солдат нарожают, царское величие неколебимо, а Бог все устроит к вящей славе Государя, отечества и их верных слуг. Все они — от министров до террористов — убеждены: никакая война мира и России не изменит. Все они не видят «красного колеса».

Видит его, как помним, Ленин. И не потому, что политически проницателен, — проглядел за мелкой партийной колготней начало войны (и в октябре 1916-го не будет чувствовать, что через год возглавит — шутка ли — правительство России, и готовить будет революцию в Швейцарии, и весть о Феврале встретит с изумлением). Видит — потому что мистически ненавидит этот мир (и прежде всего — проклятую Россию), потому что носит войну в себе, потому что инстинктивно чувствует: всякое зло (а тем более такое масштабное) ему на по-

требу, потому что счастлив любому намеку на грядущую вселенскую смуту.

Крутится тяжёлое разгонистое колесо — как красное колесо паровоза, — и надо не потерять его могучего кручения. Ещё ни разу не стоявший перед толпой, ещё ни разу не показавший рукой движения массам (в этой позе — предсказывающей апрельскую 1917 года, что будет воспроизведена тысячами идолов, иные из которых по сей день позорно торчат на русской земле, — Ленин застывает в конце главы, еще не перед готовой крушить старый мир солдатней, а то ли перед пустотой, то ли перед не замечающими будущего вождя мировой революции, а потому не упомянутыми, краковскими обывателями. — *А. Н.*), — какими ремнями от этого колеса, от своего крутящегося сердца, их всех завертеть, но — не как увлекает их сейчас, а — в обратную сторону.

Намек понят. Зло, ворвавшееся в мир по человеческому попущению («Люди — забыли — Бога», и значит: люди дали дорогу злу), нашло своего вернейшего служителя. Воротынцева и Благодарёва видение «красного колеса» потрясает и страшит, но они его вскоре забудут; оторвавшееся тележное колесо на наших глазах становится колесом обычным; Ленин разгадывает символ и преисполняется ликованием — «красное колесо» буквально вошло в него, стало ленинским сердцем.

Просветлялась в динамичном уме радостная догадка — из самых сильных, стремительных и безошибочных решений за всю жизнь! Воспаряется типографский запах от газетных страниц, воспаряется кровяной и лекарственный запах от площади — и, как с орлиного полёта, вдруг услеживаешь эту маленькую единственную золотистую ящерку истины, и заколачивается сердце (вновь сердце. — *А. Н.*) и орлино рухаешься за ней, выхватываешь её за дрожащий хвост у последней каменной щели — и назад, и назад, назад и вверх разворачиваешь её как ленту, как полотнище с лозунгом:

— и на этой войне, и на этой войне — погибнут все правительства Европы!!!

(22)

Так и будет (те, что не погибнут, выйдут из войны сильно покореженными, но не шибко поумневшими — доведут свои народы до следующей, еще более истребительной). Будет не по воле Ленина — этот «великий практик» придет на готовенькое, созданное общими усилиями противоборствующих держав Европы и противоборствующих групп в России. Будет, потому что в пустоту канет речь Воротынцева перед Верховным, потому что затянется (и затянет Воротынцева) война, от которой никак не избавиться, потому что толчок расчеловечиванию уже дан и с каждым новым оборотом движение дьявольского колеса становится не медленнее, а быстрее, свирепей, неудержимей.

Ненавидя революцию или захлебно ею восторгаясь, имея о ней самые примитивные или весьма обстоятельные и детализированные представления, полагая ее великим торжеством России или ее тяжелейшей бедой, все мы с детства были убеждены: тогда началась новая эра. Началась. Но не в Октябре-Ноябре Семнадцатого (этим — Седьмым — Узлом по замыслу Солженицына открывается Действие Третье — «Переворот»), а в Августе Четырнадцатого, где поднимается занавес «повествованья в отмеренных сроках»: Действие Первое — «Революция». Она уже пришла[23].

Примечания

[1] Вспомним о переходе Сани Лаженицына от первоначальной захваченности всякой новой философской или социально-исторической концепцией к растерянности: «И стал брать его от книг — страх, не прежняя почтительная радость: что никак он не научится автору противостоять, что увлекает и подчиняет его каждая последняя читанная книга» (2). Цитируется здесь характеристика ложного героя поэмы Некрасова «Саша», уподобиться которому страшится Саня: «Что ему книга последняя скажет, / То на душе его сверху и ляжет: // Верить, не верить — ему всё равно, / Лишь бы доказано было умно!» *(Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1982. Т. 4. С. 25).

[2] Тут уместно напомнить, как Герасимович рассказывает Бобынину о «ещё не написанной» картине «Русь уходящая»: «Тут — название, идея. На Руси были консерваторы, реформаторы, государственные деятели — их нет. На Руси были священники, проповедники, самозваные домашние богословы, еретики, раскольники — их нет. На Руси были писатели, философы, историки, социологи, экономисты — их нет. Наконец, были революционеры, конспираторы, бомбометатели, бунтари — нет и их. Были мастеровые с ремешками в волосах, сеятели с бородой по пояс, крестьяне на тройках, лихие казаки, вольные бродяги — никого, никого их нет! Мохнатая чёрная лапа сгребла их всех за первую дюжину лет» (II, 243—244).

[3] Сдаться в плен опрометчиво мечтал (и для того дезертировал) случайно ставший спутником Воротынцева Саша Ленартович (45). Попадет в плен и испытает весь его кошмар военный врач Федонин. В этом плане важен его спор с Ленартовичем о войне и офицерском долге (15). В главе о судьбе русского госпиталя в Найденбурге, следующей непосредственно за главой о прорыве группы Воротынцева, то есть об избавлении Ленартовича от плена, Федонин только бегло упомянут (56): значимо, что он оставался на своем месте до конца. О том, что Федонин попал в плен — причем именно в августе 1914 года, — мы узнаем в Чет-

вертом Узле, когда военный врач возвращается в Россию: «Тридцать два месяца, даже и с лишним, девятьсот восемьдесят дней пробыл доктор Федонин в германском плену» (А-17: 176; там же говорится о бесчеловечности в обращении немцев с военнопленными; подробнее этот эпизод будет рассмотрен в главе IV). Заметим, что собственно военная часть «Августа Четырнадцатого» завершается экранной главой, в финале которой возникает: «= Новинка! кон-цен-трационный лагерь!» (58). Обратим внимание на соседство (56-я и 57-я главы коротки) и теснейшую смысловую связь (наглядные итоги самсоновской катастрофы) главы 55-й (с упоминанием 1945 года) и главы 58-й.

4 Это отождествление в дальнейшем становится все более сомнительным. Мы обманываемся и прозреваем вместе с героем. Подойдя к «открытому» финалу «Красного Колеса», внимательный читатель должен усомниться в том, что Андозерская — истинная суженая Воротынцева.

5 Приведем лишь один, но очень показательный пример: «Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазетдин, кричавший в лесу офицер — его сын, подпоручик Галиуллин, сестра была Лара, Гордон и Живаго — свидетели, все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой встречи» (*Пастернак Б.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1990. Т. 3. С. 120).

6 Еще в лагерном 1948 году будущий автор «Красного Колеса» отчеканил: «Когда я горестно листаю / Российской летопись земли, / Я — тех царей благословляю, / При ком войны мы не вели» (XVIII, 222).

7 *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 6. С. 436. На протяжении «Путешествия в Арзрум» Пушкин, разумеется, сложно варьирует «горную» символику (что уже становилось и еще может стать предметом изучения); здесь важно отметить наличие «рамки». Увидев горы после долгой разлуки, повествователь констатирует их неизменность (подразумевается сравнение с теми переменами, которые произошли и в жизни страны, и в жизни самого

поэта). Покидающему Кавказ (на последнюю ночь пришлась буря) странствователю близ Казбека открывается прощальное «чудное зрелище»: «Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками». Готовя «Путешествие в Арзрум» к печати, Пушкин, несомненно, предполагал, что читатель распознает в процитированном фрагменте отсылку к уже опубликованному стихотворению «Монастырь на Казбеке», что резко усиливает контраст мира дольнего, куда поэт возвращается, и влекущего, но пока недостижимого мира горнего: «Далекий, вожделенный брег! / Туда б, сказав прости ущелью, / Подняться к вольной вышине! / Туда б, в заоблачную келью, / В соседство Бога скрыться мне!..» (Там же. Т. 6. С. 476; Т. 3. С. 134).

[8] *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1961. Т. 3. С. 174. Заметим, что у Толстого горы открываются Оленину ясным утром (ср. «зорное утро» Солженицына) и возникает мотив оптического обмана (мнимой близости гор), также Солженицыным повторенный.

[9] *Лермонтов М. Ю.* Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 261, 327, 331, 322.

[10] *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л., 1989. Т. 2. С. 61, 76, 39, 489, 54.

[11] Газетные фрагменты, представленные в главе 7', фиксируют общий переход от мира к войне. Разумеется, рекламные объявления, с которых начинается коллаж, не приурочены к какому-либо локусу, а исторические события, освещаемые далее, происходят преимущественно в столицах и на открывшемся театре военных действий. Важно, однако, что читает эти самые газеты (и проникается их оптимизмом) Роман Томчак (9), — газетная глава встроена в контекст сплотки глав дофронтовых, северокавказских. Примечательно, что открывается газетный монтаж объявлением «ЖИВОЙ ТРУП тот, кто не знает волшебного действия лециталя...». В рекламе используется вульгарно вывернутое речение Толстого (название его трагической пьесы о грешном, но живом человеке в мертвом казенном

мире). Тот же оксюморон (опять-таки со значением сдвинутым, но зловеще) служит прозвищем одного из главных виновников самсоновской катастрофы — генерала Жилинского. На совещании у великого князя (заключительная глава Первого Узла) «Воротынцева крутило и жгло. Во всей России, во всей воюющей Европе никто ему не был так ненавистен сейчас, как этот *Живой Труп*» (82).

12 Ср. в навеянном эйфорией начала войны стихотворении Мандельштама «Европа»: «Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта / Гусиное перо направил Меттерних, — / Впервые за сто лет и на глазах моих / Меняется твоя таинственная карта!» (*Мандельштам О.* Полн. собр. стихотворений. СПб., 1995. С. 121).

13 «Лишь это узкое братство генштабистов (к которому принадлежит Воротынцев. — *А. Н.*) да ещё, может быть, кучка инженеров знали, что весь мир и с ним Россия невидимо, неслышимо, незамечаемо перекатились в Новое Время, как бы сменив атмосферу планеты, кислород её, темп горения и все часовые пружины. Вся Россия, от императорской фамилии до революционеров, наивно думала, что дышит прежним воздухом и живёт на прежней Земле, — и только кучке инженеров и военных дано было ощущать сменённый Зодиак» (12). Здесь автор словно бы договаривает за героя, делая логичные выводы (по контрасту и с учетом реальностей XX века, которые Воротынцев предчувствует, а автор знает доподлинно) из грустных размышлений полковника о штабной дури, профессиональной слабости генералитета, общем презрении к военной науке, правиле старшинства при чинопроизводстве и прочей привычной и губящей армию рутине. Генерал Артамонов, в корпус которого скачет Воротынцев, очень скоро «проиллюстрирует» действиями «общие соображения» генштабиста — зловеще выразительно и, увы, неоспоримо.

14 Здесь не могут не вспомниться размышления толстовского Кутузова после Бородинского сражения: «Но этот вопрос интриги (Бенигсена, настаивающего на новом сражении под Москвой. — *А. Н.*) не занимал теперь старого человека. Один страшный вопрос занимал его <...> “Неужели это я

допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал?"» И далее, отдав приказ об отступлении («властью, врученной мне моим государем и отечеством»), Кутузов думает «все о том же страшном вопросе: "Когда же, когда же наконец решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?"

— Этого, этого я не ждал, — сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру, — этого я не ждал! Этого не думал!» (*Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1962. Т. 6. С. 309, 314).

Разница в том, что Кутузов уверен в своей правоте и будущей победе («Да нет же! Будут они лошадиное мясо жрать, как турки...»), а Самсонов — в будущих поражениях. Как рисующий Кутузова Толстой не может отвлечься от своего (и общего) знания об итогах Отечественной войны, так и Солженицын строит образ уходящего Самсонова с учетом печального (и тоже известного) будущего. Следует отметить, что Самсонов отнюдь не играет в толстовского Кутузова, как оправдывающий красивой «аналогией» свои трусость и карьеризм генерал Благовещенский (53).

15 Солженицын всегда придает *центральной*, делящей повествование пополам, главе особое значение. В других Узлах «Красного Колеса» такую позицию занимают эпизоды, посвященные: отчаянию, охватывающему Ленина («А буржуазный мир — стоит невзорванный») ровно за год до того дня, что войдет в историю как день октябрьского — большевистского переворота (0-16: 37); одиночеству Государя после отречения и его тщетной надежде на «вызволяющее всех Чудо» (М-17: 353); встрече Сани Лаженицына и Ксеньи Томчак (А-17: 91). Прежде этот композиционный принцип использовался в романе «В круге первом» (52-я глава, завершающаяся тостом Щагова «з а в о с к р е с е н и е м ё р т в ы х!») и в «Раковом корпусе» (последняя глава первой части — 21-я, «Тени расходятся» — предшествует временному перерыву действия; заканчивается она «литературным» разговором Дёмки, Авиеты и Вадима, в котором косвенно манифестируется авторская позиция и задается «код» прочтения повести).

[16] См. *Толстой Л. Н.* Указ. соч. Т. 9. С. 390—445 (в особенности — 430—437); *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1983. Т. 25. С. 193—223.

[17] Впрочем, в «Марте Семнадцатого» Крымов действует достаточно энергично; подробнее об этом см. в главе III.

[18] *Солженицын А.* Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995. Т. 1. С. 447.

[19] «Красное Колесо» — книга о России. Ни один писатель не смог бы в равной мере запечатлеть судьбу (вину и трагедию) всех держав, развязавших бойню 1914—1918 годов либо в нее втянувшихся. Первая мировая война покоя и благополучия не принесла ни одной стране, включая те, что в Версале торжествовали победу. И это куда существеннее, чем вопросы о том, кто первый начал, кто больше виноват и кто кого обманул.

[20] *Толстой Л. Н.* Указ. соч. Т. 6. С. 7.

[21] *Гумилев Николай.* Соч.: В 3 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 1, С. 172.

[22] *Солженицын А.* Публицистика. Т. 2. С. 441.

[23] Сама эта формулировка, вложенная в уста генерала Нечволодова, прозвучит лишь под занавес Второго Узла (0-16: 68).

Глава II

ЗЕМНОЙ УДЕЛ: «ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО»

Из четырех Узлов «Красного Колеса» «Октябрь Шестнадцатого» более всех близок тому литературному жанру, что обычно именуется романом. Во избежание недоразумений оговорюсь: речь идет не о той или иной литературоведческой концепции, в рамках каждой из которых термин получает свое толкование, и не о солженицынской «поэтике жанра», согласно которой «повесть — это то, что чаще всего у нас гонятся назвать романом: где несколько сюжетных линий и даже почти обязательная протяжённость во времени. А роман (мерзкое слово! нельзя ли иначе?) отличается от повести не столько объёмом, и не столько протяжённостью во времени (ему даже пристала сжатость и динамичность), сколько захватом множества судеб, горизонтом огляда и вертикалью мысли»[1]. Хотя воззрения Солженицына (как и всякого большого писателя) на природу литературы вообще и собственных сочинений в особенности весьма интересны (но, к сожалению, практически не изучены), просто «отменить» бытовое словоупотребление они не могут. Меж тем в обыденном читательском сознании слово «роман» ассоциируется с частными, в первую очередь любовно-семейными, коллизиями, в большей или меньшей мере сопряженными с проблематикой социально-исторической и/или философской.

Сразу подчеркну: основной темой «Октября Шестнадцатого», как и всего «повествованья в отмеренных сроках», остается судьба России, настигнутой и растерзанной революцией. О ее пришествии (случившемся, по разумению автора, как я стремился доказать в главе I, задолго до февральско-мартовского бунта в Петрограде — по сути, в тот роковой миг, когда Россия вверзилась в ненужную и бесперспективную, обрекающую народ на истребление, Первую мировую войну) Солженицын не дает читателю забыть ни в одной главе «Октября...». Глухой устрашающий гул истории, почти неслышный одним персонажам, ставший для других привычным и даже тешащим душу, но, по сути, остающийся незначимым, никаких реальных перемен не сулящим, всерьез тревожащий третьих и зовущий их к каким-то действиям (по большей части — опрометчивым), ощущается читателем буквально в любой точке Второго Узла. Именно что в любой, а не только в главах обзорных (7’ — история полувекового нарастающего противоборства власти и общества; 19' — политическая хроника 1915 года; 62' — очерк о Прогрессивном блоке и последней причине катастрофы, продовольственной петле, стянувшейся на горле России; сравни главу 3' следующего Узла, которая так и называется — «Хлебная петля»), посвященных наиболее приметным событиям сонной осени 1916 года (беспорядки на грани погрома на Выборгской стороне (26); снятие локаута и отмена воинского набора рабочих (63); заседания Государственной думы первого и третьего-четвертого ноября (65', 71’) или конкретным политикам, общественным деятелям и революционерам (Козьма Гвоздев и «рабочая группа» (31); Гучков (40—42); Ленин (37, 43—44); Ленин и Парвус (47—50); Шляпников (63); царская чета (64, 69, 72)). «Октябрь...» строится не на чередовании интимно-психологических и историко-политических эпизодов, но на постоянном взаимопроникновении двух основных, то почти сливающихся, то резко контрастирующих мелодий — личностной (а суть человека всего

яснее проступает в любовно-семейной сфере) и исторической, предрекающей торжество революции (и отрицание всего человеческого). Даже в обзорных главах мы не раз видим конкретные лица (так, например, в «Кадетских истоках» дан объемный психологический портрет Шипова — 7'); даже при описании думских прений Солженицын успевает — иногда несколькими беглыми штрихами — выявить человеческую индивидуальность сменяющихся ораторов, намекнуть на особенности их судеб, выделить ноты человеческой искренности, реальной озабоченности делом, вдруг возникающих горьких предчувствий в потоках партийной (то есть безличной) болтовни. Такого слияния *интимных* и *исторических* сюжетов в двух следующих Узлах будет существенно меньше — лавинообразный ход событий потребует совсем другой архитектоники. Люди не перестанут любить, ревновать, мучиться и ликовать от счастья и в те катастрофические дни, но грохот истории чем дальше, тем больше станет приглушать личные мелодии персонажей, но сверхбыстрая смена картин (одна другой неожиданнее) в калейдоскопе взвихренной истории будет закрывать и оттеснять *частные* сюжеты. В «Марте...» и «Апреле Семнадцатого» лица персонажей и их индивидуальные истории то ярко (но всегда коротко) вспыхивают, то пропадают из виду в бушующем революционном океане — в «Октябре Шестнадцатого» сложно переплетенный узор человеческих историй все время присутствует в поле читательского зрения.

Да, революция уже пришла (и сказалась на душевном строе многих персонажей), но еще не продемонстрировала всей своей мощи, еще не отменила вполне прежнюю, при всех ее грехах и бедах — нормальную, жизнь. Даже те, кто угадывают скорые тектонические сдвиги и всей душой стремятся их предотвратить, одновременно «просто живут» — не догадываясь или страшась себе отчетливо признаться в том, что жизнь их подошла к последней черте. Автор (и читатель) знают, как быстро и как страшно все кончится. Это знание придает всем интимным

сюжетам «Октября...» особую — осенне-печальную — окраску, но и заставляет с особым вниманием отнестись к последним историям любви. Потому и стал «Октябрь...» самым *романным* Узлом «Красного Колеса». Потому и я позволю себе сосредоточиться на любовно-семейных сюжетных линиях. Надеюсь, в тех случаях, где об их сплетении с мотивами национальной трагедии будет сказано недостаточно подробно, читатель, несомненно помнящий, что главная боль Солженицына — победа революции над Россией, восполнит недоговорки моего, как всегда это бывает, поневоле частичного прочтения.

Если «Август Четырнадцатого» строится автором и воспринимается читателем при свете «Войны и мира», то Второй Узел «повествованья в отмеренных сроках» не менее тесно и многопланово соотнесен с другой книгой Толстого — самым *романным* из трех его больших сочинений — «Анной Карениной».

Героиня Толстого прямо упомянута в «Октябре Шестнадцатого» дважды. В какой-то миг, меж упоенными объятьями и политическими наставлениями, Ольда Андозерская успевает сказать Воротынцеву, «что теперь по столицам стали очень часты разводы, во многих парах один из супругов — разведенец, что сейчас бы Анна Каренина не кидалась под поезд, а спокойно развелась бы через консисторию и вышла бы за Вронского» (29). Об Ирине Томчак говорится, что она «Анну Каренину ненавидит как самую гадкую из женщин» (60). Два противоположных, но в равной мере банальных, игнорирующих трагическую суть толстовского романа суждения об Анне Карениной (и «Анне Карениной») введены не только для того, чтобы объемнее очертить характеры Ольды и Ирины. Анна бросилась под поезд не потому, что развестись с мужем в 1870-е годы было много труднее, чем в 1910-е (и не потому, что Вронский якобы вознамерился ее оставить, и не потому, что свет отвергал ее беззаконное чувство, — все это, как и прочие внешние причины, либо болезненные домыслы героини, либо следствия ее обдуманных поступ-

ков), а потому, что в ней неуклонно росло ощущение собственной греховности, одержимости, проклятости. Этого не может и не хочет понимать самостоятельная и самодостаточная Андозерская, политический традиционализм и философский идеализм которой бесконфликтно уживаются с этической раскрепощенностью женщины эпохи модерна. Анна вовсе не «самая гадкая из женщин» (если, конечно, мы не руководствуемся аморальным кодексом Бетси Тверской и прочих мастериц забрасывать чепец за мельницу в надлежащей манере), но лишь одна из самых несчастных женщин. Это знает сердцем Долли, чьи любовь и сочувствие Анне формально противоречат характеру, принципам и всему жизненному строю этой идеальной жены неверного мужа. И этого не может и не хочет понимать Ирина Томчак, изо всех сил старающаяся жить, как Долли, далекая от любых греховных мыслей, осуждающая разврат, но, в отличие от Долли, бездетная, свободная от материальных забот и не чувствующая подлинной любви к мужу, а потому рвущаяся из реальной и постылой жизни в теософские либо патриотические мифы, общественную деятельность, на войну. Как ни странно, у столичного профессора и томящейся в степной глухомани «мужниной жены» есть общие черты: чуть аффектированный и стилизованный монархизм-патриотизм-консерватизм, изысканный вкус, сильная воля, желание направлять мужчину — это Ирина подсказывает Роману Томчаку мысль о докладе на совещании соседей-экономистов (60). Легкое сходство (при бросающихся в глаза различиях!) Солженицын придал двум женщинам не случайно — оно коренится во времени, в эпохе, которая высвободила личность, зримо ослабив традиционные нормы и дав человеку возможность (а точнее — навязав необходимость) совершать выбор далеко не однажды. Для сколько-нибудь неординарной личности даже отказ от выбора (следование обычаю, подчинение принятому за тебя решению) теперь стал выбором. Начало этой эпохи было запечатлено Толстым в «Анне Карениной» —

романе, многообразные частные интимные конфликты которого предстают следствиями грандиозного общего переворота всей русской жизни. Герои Солженицына (как женщины, так и мужчины) живут *после* «Анны Карениной» — на самом излете того исторического периода, который открылся Великими реформами Александра II и был уничтожен революцией.

Катастрофичность исторических событий, прямо или косвенно сказывающихся на существовании героев и их самоощущении (идет третий год страшной и ненужной войны, резко понизившей цену человеческой жизни, отменившей привычный уклад, раздробившей — может, на время, а может, навсегда — множество семей), не могут изменить природу человека. Напротив, приглушенные личные чувства тех, кто занят делом (на фронте или в тылу, где законам войны подчинено все — от извечного хозяйствования на земле до высшей политики), ищут выхода, прежние болезненные сюжеты приобретают дополнительную остроту, а устойчивые (или только казавшиеся таковыми) союзы проходят проверку на прочность (не обязательно с дурным результатом).

В свой последний петроградский день Воротынцев, сорвавшийся с фронта в столицу, дабы решить задачу, которая виделась (да и видится) ему наиважнейшей, и променявший «дело» на нежданно свалившуюся любовь, «упрекал себя разумом, а телом — был благодарен. Утекали единственные месяцы или недели спасать положение, но и он же, Воротынцев, жил жизнь единственную и тоже, может быть, последний месяц, — и как же он мог отклонить, если судьба придвинула такое? Он был бедняк без этого, он просто — жизни бы так и не узнал без этих восьми дней» (38). Не нужно угадывать, в какой именно день героя переполнило это смешанное чувство, — он назван в зачине главы, размещенной в самом центре Узла (ею открывается Книга 2): «Двадцать пятого октября...», ровно за год до большевистского переворота. Читатель должен почувствовать здесь зловещую иронию истории (Воротынцеву пока невнятную — в остав-

шемся за пределами повествования будущем он, должно быть, не раз вспомнит 25 октября 1916 года), но столь же необходимо отступить в недавнее прошлое, всего на девять дней назад, когда странный рассказ случайного вагонного попутчика направил мысли полковника по непривычному руслу:

А Воротынцев слышал из этой истории больше, чем склонен был и привык. Он невольно сманился от своего напряжённого строя мыслей — и слушал — и удивлялся.

Не — Феде, это был ещё один распространённый пример человека, напутавшего в простом вопросе женитьбы. А впрочем, уже не было к нему снисходительной жалости, но слушать его было — страшновато. (Вернувшись в Москву, Воротынцев на собственной шкуре поймет, чего стоит этот «простой вопрос», с которым ему предстоит разбираться до тех пор, пока не оборвется повествование. И сам будет нуждаться хотя бы в «снисходительной жалости». И не страшновато ему будет, а по-настоящему страшно. — *А. Н.*)

Поразила — эта женщина. Как прыгала на одной ноге... Не приведи, конечно, Бог, с такою крученою связаться, но неужели так бывает? Такие — бывают? (Бывают. Ольда тоже будет «прыгать». И Воротынцев резонно подумает, что не с ним первым. А решительности, готовности менять и направлять жизнь возлюбленного у Андозерской не меньше, а больше, чем у Зины Алтайской. — *А. Н.*). И если ещё с ребёнком чужим — и так бы притягивала? Вот эта жгучесть под бытейской коркой — она изумляла.

И вызывала зависть.

И глухое чувство упущенного.

(17)

Тогда Воротынцев и вымолил у судьбы (или накликал?) свою — не менее «жгучую» — любовь. Верно говорила «крученая» женщина своему избраннику: «Это слово — расхожее, им пользуются все и по пустякам. А бывает оно, а бывает она, Феденька, — не часто...» (17).

Случайный разговор в поезде, бегущем по Николаевской железной дороге (в таком же поезде, на том же маршруте окончательно стала явью страсть Анны и Вронского!), ясно пророчит будущее Воротынцева. (Как соблазненный Зиной инженер, он расскажет жене о своей измене. Гораздо существеннее, однако, здесь иное схождение — абсолютная захваченность чувством, которое оказывается сильнее вроде бы неколебимых привычек и жизненных принципов отнюдь не юного персонажа.) Но к воротынцевской линии роль этого вагонного разговора не сводится — он служит ключом ко всему романному Узлу.

В середине рассказа попутчика «...полковник размял папиросу двумя пальцами, вышел покурить в коридор. (Всё-таки, не могут люди без любовных историй, с чего другого поважней — а всё на это переползут.)» (17).

Фрагмент организован так, что мы не можем однозначно ответить, чья беглая мысль упрятана в скобки. Возможно, Воротынцева, который еще не втянулся в сюжет и раздражен, что от серьезных тем (транспортные трудности, неразбериха со всевозможными уполномоченными, товарный голод и администрирование, рождающее спекуляцию, проклятье «твердых цен», тыловое міродёрство, всеобщее недовольство правительством, казачья жизнь) его странный спутник перешел к болезненной исповеди. Но может быть, и его собеседника, стесняющегося собственной откровенности и предугадывающего скептическую реакцию полковника. Это *двоение* предлагает третий — не отменяющий двух первых — ответ. Тут звучит голос автора, объясняющего свой замысел: без любовных историй невозможно обойтись и в тех случаях, когда речь идет о том, что видится (не без оснований) самым важным. Не вглядевшись в человеческие чувства, не осмыслив, как (очень по-разному!) любили, сходились и расходились, мучились и переживали высшее счастье люди 1910-х годов, невозможно понять, почему и как революция победила Россию.

Но прежде, чем обсуждать многообразие любовно-семейных мотивов «Октября Шестнадцатого», следует вернуться к вагонному эпизоду и ответить на вопрос, который несколько раз задает себе (и интеллигентным обиняком — попутчику) Воротынцев, пока разговор идет об актуальных общих проблемах. Вопрос этот Солженицын выносит даже в Содержание: «Кто же он такой?» (14). Для читателя здесь важен и скрытый план: почему именно этому персонажу доверено рассказать историю, невольно предсказавшую крутой поворот в судьбе Воротынцева? Идет медленный перебор версий. Не «по железнодорожной части». Не уполномоченный, «...что-то совсем не городское было в этом человеке. А — образованное мужицкое». Помянул Брянск, но не оттуда. Был гимназическим учителем. С санитарными поездами ездит. Но не из Земгора. Называет себя «выборжанином», но вовсе не из Выборга родом (Воротынцев и забыл — если знал когда-то, что подписывали депутаты распущенной Первой Думы Выборгское воззвание, о котором, впрочем, читателю уже обстоятельно рассказано в обзорной главе 7'). Был думским депутатом, но теперь совсем не политический деятель — да и тогда «так, попал». И к тому же еще казак, но на Дону не живет. Сплошное недоразумение. Воротынцева спутник сперва слегка раздражает, частью потому, что думает полковник то об оставленной Алине, то о своем главном деле — войне (даже к мирному заоконному пейзажу прилагая боевую меру — «хорошо оборону держать, вон по той гряде, например»), частью своей тягомотной манерой говорить. Потом возникает жалость (с легким привкусом презрения) к незадачливому штатскому. И упоминание о «политической деятельности» вызывает скрытую, но насмешку. Так что понятна реакция боевого офицера, брезгающего газетами-журналами и так долго выслушивавшего неприятные новости о тыловой жизни (вроде умно говорил попутчик, но ведь наверняка преувеличивал), на запинающееся смущенное признание скосившегося на записную книжку (она значимо

появляется раньше, чем герой обозначит свой литераторский статус):

— ...Я теперь... в общем... так сказать... очеркист.

Ах вот кто! Ах из тех как раз, кто и пишет все эти Слова и Богатства!..

(14)

«Очеркистом» Фёдор Ковынёв для Воротынцева и останется, но мы внимаем его «любовной истории» (17) иначе, чем полковник. Мы уже знаем, кто он такой, так как рассказу о мучительных и счастливых отношениях героя с Зиной Алтайской предшествуют глава «Из записных книжек Фёдора Ковынёва» (15) и смятенная внутренняя речь персонажа: «Он сказал о себе “очеркист”, постеснявшись как истинно думал: “писатель”» (16). Не просто литератор, но писатель, обретающий большое дыхание, приблизившийся к своей главной книге:

...Странное дрожащее предчувствие: как высоко ты способен подняться, как душезадевательно когда-нибудь написать. И вот уже в последние годы что-то, кубыть, переливается из заготовок в формы: главные лица, и эпизоды, и целые главы — так ли? хорошо ли? Границы точной нет, всё колышется, не застынет: роман не роман, а может Поэма в прозе, и с названьем, наверно, самым простым — «Тихий Дон», потому что черезо всё растекаются — Дон да кормящие запахи любушки-земли. Да первая часть и готова, но Федя по робости не осмеливается предложить публике: ведь ещё что из того выйдет? И сразу укажут дружно, что слишком много безцельного быта, слишком много пейзажа — а как же со свободолюбием?

(16)

Упомянув название «Поэмы» Ковынёва (заметим, что персонаж, подобно автору, не хочет именовать свое сочинение романом), Солженицын намекает на возможность ее отождествления с общеизвестным многотомным повествованием о трагической судьбе казаче-

ства. Но это лишь мерцающий намек, а не однозначное утверждение. Фольклорный по происхождению оборот «тихий Дон» постоянно использовался многими прозаиками и публицистами начала XX века, касавшимися казачьей темы. Читателю предлагается загадка без ответа: *тот* или *иной* «Тихий Дон» пишется Ковынёвым в 1916 году? Если все-таки тот, то сквозь предчувствия Фёдора вероятной реакции на публикацию его Поэмы (упрекать будут за недостаток «свободолюбия») проступает дополнительный смысл — дискредитация большевистских эпизодов первой части «Тихого Дона», принадлежащих, по мнению Солженицына, перу не подлинного автора, а советских редакторов. Если Ковынёв пишет *иной* «Тихий Дон», то существенно, что в этой — неведомой нам — книге революционным мотивам места не было. Взгляды Солженицына на проблему авторства «Тихого Дона» изложены в предисловии к книге Д* (И. Н. Медведевой) «Стремя “Тихого Дона”» — «Невырванная тайна» и статье «По донскому разбору»[2]. Одно время писатель склонялся к версии, что искаженный и вышедший под именем Шолохова «Тихий Дон» был написан Ф. Д. Крюковым (прототип Ковынёва, о чем сообщено в «Замечаниях автора к Узлу Второму»), позднее отказался от этой гипотезы. Следует, однако, учитывать, что персонаж «Красного Колеса» не равен своему прототипу, а специально оговоренное изменение фамилии это обстоятельство подчеркивает. Парадоксальным образом тот факт, что Солженицын счел крюковскую версию авторства «Тихого Дона» маловероятной (или даже неверной), вовсе не означает, что его *персонаж* Фёдор Ковынёв работает как раз над той самой книгой о казачьих разломах, что прочно вошла в историю русской литературы.

История любви Ковынёва (Крюкова) подлинная, восстановленная по сохранившимся письмам его возлюбленной. Важна она, однако, не сама по себе, но в сопряжении с линией вымышленного героя — Воротынцева. Именно дорожный рассказ Ковынёва вводит

в «Октябрь...» тему испытания любовью, что указывает на закономерность (а в какой-то мере и символичность) воротынцевского сюжета. Другим «зеркалом» — впрочем, зримым лишь читателю, а не персонажу, — станет экскурс в мучительную личную жизнь Гучкова (42; М-17: 39, 66), также основанный на строго документальных свидетельствах. Едва ли случайно смутное будущее Воротынцева невольно предсказывает (разумеется, сам того в виду не имея!) не кто-нибудь, а *писатель*, то есть тот, кому и положено глубже других чувствовать общечеловеческие коллизии в оркестровке своей эпохи. Весьма соблазнительно было бы выстроить здесь систему аналогий, связав сюжет «беззаконной любви» в «Тихом Доне» с историями Ковынёва и Воротынцева, но поскольку о ковынёвском «Тихом Доне» у Солженицына говорится туманно, эту напрашивающуюся ассоциацию лучше оставить. Стоит, однако, подчеркнуть, что в следующем Узле возникает намек на любовный сюжет «Поэмы» Ковынёва: «Сколько видено и пережито казаков, и сам же казак, — а один вот выдвинулся, видится всё время, — черночубый, высокий, мало доброжелательный, — как он подъезжает к водопою и встречается с женой соседа. А казачка та — соединённая из нескольких станичных баб, которых Феде самому досталось повалять в шалашах, у плетней, под подводами, или только поласкать глазами» (М-17: 16).

Смысловая весомость «дорожной истории» становится до конца понятной в финале «Октября...». Надолго выведя Ковынёва из поля читательского зрения (вновь он появится лишь в «Марте...»), Солженицын завершает Второй Узел главой об отчаянии Зинаиды Алтайской, страшной цене, которой она заплатила за то самое свидание, о котором вспоминал Ковынёв, и исповеди героини. После которой отпустивший Зинаиде грехи священник отвечает на все еще клокочущий в женской душе вопрос: «Нет в мире болей больнее семейных, струпья от них — на самом сердце. Пока мы живы — наш удел

земной. Редко можно за другого определить: “вот так — делай, вот так — не делай”». Как велеть тебе “не люби”, если сказал Христос: ничего нет выше любви. И не исключил любви — никакой» (75).

Подобных (единственно нужных) слов не слышит Воротынцев, мучающийся в могилевской ночи, как Зина (в те же часы) — в ночи тамбовской. Сходство душевных состояний персонажей подчеркнуто почти тождественным рисунком городских пейзажей.

Вот Могилёв:

Небо без звёзд, без луны. Кое-где фонари на углах. Все окна тёмные. И прохожих нет.

(74)

А вот Тамбов:

Темнота.

Тишина.

<...>

По всей Араповской — ни души. Если где засветились, то — ещё за ставнями.

(75)

Воротынцев, потрясенный письмом жены, которая грозит самоубийством (а Зина получила письмо Ковынёва, в котором он сообщает ей — всем для него пожертвовавшей: «у меня другая есть, и это серьёзно»), спешит дать Алине «смягчительную, ласковую телеграмму» и вдруг замечает распахнутую монастырскую калитку.

...Мелькнуло тёплым светом (в полной тьме. — *А. Н.*) — и он шагнул назад, задержался против проёма.

Полотнище было распахнуто — и дальше были распахнуты церковные двери — и виделись внутренние остеклённые: там, дальше, было немало огня, различались столпы подсвечников со свечами, служба уже началась или готовилась.

Но ни звука не было слышно сюда и даже не видно фигур внутри — священника, или монастырских, или прихожан.

Если служба шла — то как будто сама, без людей, ночная.

(74)

Храм, в котором служба идет «будто сама», Божьей волей, буквально зовет под свою сень Воротынцева, но он, поколебавшись, спешит на телеграф — слать депешу, которая лишь крепче затянет петлю, не поможет Алине, не успокоит сердце Георгия. (Тягостным и, в сущности, бессмысленным, выяснениям отношений меж супругами посвящены главы 51—54, 57—59; этот изматывающий и никуда не ведущий сюжет, в котором важны именно предсказуемость и монотонность эмоциональных колебаний Алины, то «прощающей» мужа, то вновь его обличающей, то смиренной, то самоутверждающейся, вновь вспыхнет в раскаленном «Марте...» и будет всё так же изматывающе тянуться сквозь «Апрель Семнадцатого».) Воротынцев не слышит того, что отец Алоний говорит Зине, но слова священника замыкают книгу (что придает им особую значимость) и тем самым заставляют читателя вновь вспомнить все любовные (семейные) лабиринты «Октября...».

Любви (или не-любви, утраченной любви, ожидания любви) здесь мало кто миновал. По обилию и разнообразию любовно-семейных сюжетов (каждый из которых, впрочем, тесно сплетен с сюжетом неуклонно наступающей революции) «Октябрь Шестнадцатого» сопоставим только с «Анной Карениной», где едва ли не все персонажи даны при свете «мысли семейной»[3]. Словно скрыто корректируя общеизвестный зачин толстовского романа, Солженицын во Втором Узле убеждает нас: не только «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»[4], но и счастливые семьи не так уж похожи друг на друга. Видимо, поэтому автор не только описывает, опираясь на мемуары и документы, действительно существовавшие семьи (Шингарёвы, Смысловские, чета Пальчинских, представленная в «Красном Колесе»

с фамилией Ободовские), но и считает необходимым специально указать в «Замечаниях... к Узлу Второму» на реальность, невымышленность этих семей.

Солженицыну важно показать как многоликость любви (каждое чувство, связывающее двух людей, неповторимо; каждая семья живет совершенно особенной жизнью), так и ее всеобщность и всевластность. В разных общественных слоях господствуют разные поведенческие правила, традиции, нормы, но они сказываются только на *формах* главного человеческого чувства, а не на его сути. Потому в «Октябре...» любовные коллизии (и испытания, которые выпадают любящим в злую военную пору) представлены на всех уровнях российской сословной вертикали (кажется, только о духовенстве в этой связи не сказано) — от избы до царского дворца. И точка отсчета здесь — именно изба. Хотя личные чувства мужика (ставшего солдатом или ждущего призыва) и крестьянки (хранящей верность ушедшему воевать мужу или жениху; пустившейся во все тяжкие; оставшейся из-за войны навсегда в девках; вышедшей в конце концов без любви замуж за того, кто уберегся от смерти, — как хозяйка «Матрёнина двора»), на первый взгляд, не так важны для судьбы страны, как переживания императора, крупного политика, военачальника (да хоть бы и полковника Воротынцева, который из-за вспыхнувшей любви и желания загладить вину перед обманутой женой временно уклонился от участия в гучковском заговоре и тем самым прикрыл один из альтернативных вариантов движения отечественной истории), хотя, если оглянуться на литературную традицию, описаны и исследованы *мужицкие* чувства меньше, чем чувства *господские*, по сложности, напряженности, запутанности, яркости они нимало всем прочим не уступают. Да и открывается (совсем не случайно!) солженицынская «энциклопедия любви» как раз *крестьянско-солдатской* страницей.

Первое происходящее в «Октябре...» *событие* (ранее — описание неизменного положения батареи, проч-

но завязшей в белорусских лесах, утра Сани Лаженицына, ничем не отличимого от прочих, да воспоминания героя о недавнем легком бое) — Санино ходатайство об отпуске Арсению Благодарёву, которое, вопреки секретному бездумному и бессердечному приказу, сработало (2)[5]. Первое серьезное чувство, о котором заходит речь, — любовь Арсения к Катёне, больше, чем что-либо, влекущая его домой[6]. Арсений тоскует, потому что даже выговориться в письме (этим смиряют печаль господа офицеры) ему не дано. На сверху спущенном бланке с уже отпечатанным «правильным» текстом оставлено «местечко для нескольких слов, и можешь... А что можешь? Мол, жёнке моей Катерине велю свёкра и свекровь слушаться и маленьких блюсти, и ждать меня с надеждой. Хоть бы и место было, а законы, по которым письма пишутся, не дозволяют прямо открыто Катёне писать как главному человеку. Что завечаешь — о том не пишет никто, срам» (4). Уже здесь Катёна названа «главным человеком», и здесь же вслед за приливом любви, полнящимся чувственной энергией, возникает ревнивое подозрение:

> Ночи теперь холодные, и спит Катёна в избе со всеми, да и к дитю же вставать. А вдруг увидал её поздней осенью в холодных сенях спящую по-молодому, скрытую полушубком с головой, она под полушубок спрячется — не найдёшь. И — шаг бы к ней! шаг!
>
> Да кто-нибудь там ли и не шагает? Каково бабёнышке-ядрышку столько вылежать, высидеть, выждать?
>
> Не-е. Не.
>
> (4)

Этот сжато намеченный во фронтовых главах психологический комплекс (нежная любовь; напряжение истомившейся плоти; смущенное сознание того, что ты своим чувством к жене нарушаешь исконные — отцовские-дедовские — установления; память об армейской, и не только армейской, привычке видеть во всякой жен-

щине потаскуху; ревность, переходящая в дикую ярость; доверие и любовь к своей единственной избраннице) подробно разворачивается в Каменке. Арсений — истинный сын Елисея Благодарёва, но живет и чувствует он иначе. Отец обзавелся семьей, когда было ему уже за тридцать, и считал, что не дотерпел сроку (должно — в тридцать шесть), сын — много раньше и взял почти сверстницу (мать Арсения моложе мужа на четырнадцать лет). Отец «бранил Сеньку, не пускал в двадцать четыре жениться. Бою выдержано». В первый Великий пост по свадьбе молодожены «сшептались: будем грешить, може Бог простит» (тогда был зачат Савоська, что заставило священника хмуриться над святцами, а Катёну лукавить с батюшкой: «...лишнего переносила. Чего-й-то он никак не выкатывался!»). Придя домой, Арсений страстно хочет увидеть жену:

А где ж Катёна? Катёнушка — где? Сама мать не сказала, Сеньке спросить не личит.

<...>

Да где ж Катёна моя, что ж она не вспрянет? Про Катёну-то что ж ни слова никто?

А спросить неловко, не личит.

И еще около двух страниц тормозится желанная встреча, а при появлении Катёны («влетела в избу, как бомба в землянку») вновь должно блюсти приличия: «Подкинул бы тебя сейчас, как Савоську, да не при родителях же». И снова торможение — приход односельчан, хозяйственные беседы с отцом. Супруги не могут уединиться и толком перемолвиться, хотя Арсению только того и нужно: «Тебе — дров? водицы? — Сенька сунулся помочь. Да дрова-то у батьки неуж не заготовлены, и вода из колодца с банею рядом — а погуторить с жёнкой пяток минут где-тось на переходе».

Разрядка происходит в бане («Хэ-э-э! — раздался Сенька голосом, — до ночи не дождаться!»), но ей предшествует жутковатая кульминация. После того

как Катёна во второй раз, играя, спрашивает: «А веником — не засечешь?» (35), раздаётся Сенькино (в первый раз он довольно протянул «Не засеку-у-у!») «Да за что ж? Да ты рази...? Да ты уж ли не...?». Крикнул Арсений один раз, воспроизведен его угрожающий рёв дважды (35, 36). За время, которое нужно для произнесения пяти односложных слов, писатель переступает в новую главу и рассказывает: о мягкости Арсения к жене; их короткой довоенной жизни, «как под солнышком тёплым»; тоске Катёны по Арсению и ее внутреннем изменении («ещё и иное что-то разгоралось в ней»); реплике уже «удовольствованной» (ее немолодого, но крепкого мужа на войну не послали) Агаши Плужниковой («Ты с мужем, что ж? И не жила, поди, почти. Вот поживёшь, во вкус войдёт, да пригнетёт — тогда и ты переменишься»); жажде «обновленного» Сеньки («воротился бы... не прежним лишь милым, а — грозным, что ль?»); давнем странном состоянии, когда Катёна, еще незамужняя, тайно грезила почуять над собой мужскую власть, почти соглашаясь на участь опозоренных девок:

> ...а вдруг бы то — он был сразу? <...> и не для посрамища на деревню, а только — власть пришёл заявить? <...> воли нет, так и рухнешь?..
>
> Сласть дрожащая...

Как видим, внутренний мир Катёны совсем не прост, а ее шутливый (провокационный) вопрос не случаен. Она, как грезила, ощутила «грозного» Сеньку: «От поясницы до подколенок жгло её и рвало — за вины небывшие, за будущие, чтоб их не было, за никакие вины. В покор».

Измена, которая привиделась Арсению и за которую он воздал поркой, — ход ложный. Но появление его закономерно — множество солдаток не сумели снести одинокую долю, множество семей было порушено или изломано именно так. Да, за Катёной вины нет, а Арсений, освободившись от томивших душу подозрений, жене

поверил (и полюбил ее пуще прежнего), а «она, поплакивая, ещё доплакивая, улыбнулась» своему господину: «Буду волю твою знать» (36).

Катёна с Арсением действительно счастливы, что подтверждает вершащая главу пословица: «КАК ЛЮБОВЬ ДА СОВЕТ, ТАК И НУЖДОЧКИ НЕТ». Но, во-первых, игра Катёны была своевольно рискованной, что знаменует сдвиги в традиционном укладе. Во-вторых же, ложный ход все-таки срабатывает. Тени других — искалеченных войной — судеб ощутимы и в каменской идиллии. Разумеется, есть верные жены и хоть «грозные» (горячие, измотанные разлукой и похабными разговорчиками, готовые вспыхнуть), но справедливые и добрые мужья. Но есть и другие. В таких же деревнях. Да и в самой Каменке.

Во втором блоке каменских глав благополучная и основательная Агаша Плужникова (вышла замуж за крепкого во всех смыслах немолодого мужика, «Солдаткиной» доли избежала, на опасные выдумки, вроде Катёниной, едва ли пускается, справно ведет роль хозяйки, в нужный миг напускается на «городского», словно тот один в росте цен виноват, чем удачно подыгрывает мужу) изобличает четырнадцатилетнего купеческого сынка Колю Бруякина: «со взрослыми бабами спознался». Для Колиного отца это — новость, но смотрит он на сыновние выходки снисходительно. И даже не без одобрения. Рановато, конечно, но «пусть скорей мужиком станет, скорей и помощником». Да и сам Бруякин-старший «близ этого возраста стал шарить по бабам». Понятно, что распутство на деревне не в 1914 году завелось, но есть какое-то неуловимое различие между прежним и новым греховодничеством. Не случайно, «шалости», которым научила Колю Маруся-смуглянка, томящаяся, «как все солдатки»[7], названы «адскими», описание их любовных игр («Она и раздеваться ему не давала самому, всё снимала сама и целовала, где хотела, и повелевала им, как только ей желательно, и без устали теребила, и всячески наслаждалась») кажется свернутой цитатой из Фёдора Сологуба (эпизоды Саши Пыльникова и Люд-

милы в «Мелком бесе»), а демоническая энергия Маруси передается ее избраннику («как будто и девки в нём что-то почуяли»), которому захотелось «лихой, заблудной дороги»[8]. По этой дороге уже двинулась компания Мишки Руля, «первого дикого озорника, драчуна и героя», история о похабной проделке которого заключает главу. Не важно, действительно ли потешился Мишка с Липушкой в бане или попусту бахвалится. Важно, что брёх вызывает восхищение, что парни усваивают «поучение» Руля, перекликающееся с болтовней Чернеги: «Вот так, ребята, когда женитесь — своим бабам не верьте. Холостой всегда близ них поживится» (45).

Стародавняя дикость (забавы парней над девками, помянутые в связи с переживаниями Катёны, (36)) «обогащается» новыми «городскими» мерзостями, а война, обезмужичившая деревню и сделавшая всякого парня потенциальным смертником (рекруту и в старину дозволялось и даже полагалось куражиться), тому сильно способствует. Череда праздников в Каменке (Арсений пришел домой под Казанскую) обрывается указом от 23 октября о призыве «ратников второго разряда в возрасте от 37 до 40 лет, и всех пропущенных предыдущими призывами. И первый день призыва — завтра, 25 октября» (вновь роковая дата). А

...на днях... будет указ о призыве 98-го года рождения. Брать будут к весне (как раз революция объявится. — *А. Н.*), а распубликуют ноне.

Это что ж, и до девятнадцати годков не допустят, ране того?

Если мужики могут слабо утешиться тем, что загребут вместе с путными парнями Мишку Руля, то читатель с печалью догадывается, как этот прохвост «повоюет» в пору стремительного пореволюционного развала армии, каких чудес натворит в надвигающейся гражданской войне (хоть у красных окажется, хоть у белых, хоть у зеленых). Короткая счастливая побывка Арсения пройдет под бабье голошенье, и он, пощаженный пулей,

дважды Георгиевский кавалер, изрядный хозяин, добравшийся наконец-то до своей ненаглядной Катёны, одним словом — счастливец, чувствует вместе со всеми: «Нету жизни. Не дают устояться» (46).

Не случись революции, может, вырос бы Арсений в хозяина не хуже, чем Захар Томчак. Оставаясь в мужицкой сфере, поднимемся на ступень выше — к селянам, основательно разбогатевшим (сцены в доме Плужникова и в экономии Томчака взаимоориентированы и в ином плане, о чем будет сказано ниже). О неудовлетворенности Ирины жизнью уже говорилось, но и Романа тяготит его «образцовая» жена: «И умна Ирина. И преданна. И молода. И красива. Для представительства, для показа, для путешествий — лучшей жены не придумать, — все любуются, все завидуют. Но до чего обманчива бывает эта показная красота — а чего-то, чего-то нет нутряного, живого, задевающего, какое бывает и в дурнушке в затрёпанной юбке. И если б этим одним владела ты, голубушка, — не надо бы ни всех твоих мудростей, ни винчестера, ни Общества Четырнадцатого Года» (60).

Брак заключен правильно, о возможной неверности жены можно говорить только в шутку, мечтательные причуды Ирины должны бы вносить в размеренное существование толику пикантности, но любовью в семье и не пахнет. (Только ли потому, что Роман — человек неприятный? Или в его невысказанных укорах жене есть какое-то зернышко правды? Слышится ведь тут что-то, похожее на сетования Феди Протасова, который не чувствовал в своей добродетельной жене «изюминки».) Формальное соблюдение старого порядка счастья не дарит. Да и трещит этот самый порядок. Овдовевший сын властной старухи Дарьи Мордаренки (перед которой вроде бы все трепещут) взял да

> ...привёз себе вместо жены — шансонетку, с тех пор к нему в гости семейные не ездили, а та принимала гостей в кружевах шантиль, под которыми одно трико.

Была ли она именно шансонетка, пела ли когда где песенки, Ирина не знала точно (опять несущественно, правда или пакостный слушок; может, тут настоящее чувство к «чужачке», которая ни в чем не грешна, а просто не по обычаю одевается. —*А. Н.*), но этим собирательным отвратительным словом «шансонетка» она обозначала и припечатывала всю категорию непорядочных женщин, разбивавших семейные устои.

(60)

Было б в своем доме ладно, не занимала б Ирину «шансонетка». Но в доме, где свекор со свекровью на невестушку не надышатся, где всего в изобилии, где есть досуг читать теософские книги и фантазировать о переселении душ, где и муж формально ничего дурного жене не делает, в роскошном этом доме — неладно. И потому (а не только из-за где-то гремящей войны, уберечься от которой изо всех сил, к стыду Ирины, стремится ее муж) степные костры (жгут бодылья подсолнуха) оборачиваются устрашающим видением: «будто это стали на ночлег несчётные кочевники, саранчой идущие на Русь» (60).

Плохо, когда нет семейного тепла. Но когда устоявшаяся жизнь (в которой это тепло было — и сейчас слабо дышит) сминается военным укладом, еще хуже. Самая больная точка неспешного и тоскливого разговора стариков в литейке Обуховского завода — взбесившиеся цены, искорежившие жизнь их жен:

...Те денежки на прилавок выкатывать реберком — бабам, не им. Вот иде сердце отрывается.

— <...> Выкатывать! Ещё до того до прилавка достойся. Мы вот пошли на работу, и тут в суше, в тепле, в кооперативной столовой пообедали. Называется лишь — работа, а всё ладом. А бабе — платок обматывай потеплей да иди под морозгою стой — и два часа, и три, и ещё дождёшься ли. За свои деньги. А малые — с кем? И дом разорён.

Говорил Евдоким Иваныч с той сроднённой сочувственностью к жене, какая только к старости приходит, когда сам в её шкуру влезаешь.

(32)

Впервые увидев в Москве, как, «загораживая проход по тротуару, скопились и стоят странно выстроенные в затылок друг другу люди разных возрастов, больше женщины», и получив объяснение извозчика («хвосты»), Воротынцев сокрушается: «Это и Алине так достаётся?» (13). Полковничьей жене достаётся, конечно, меньше, чем бабе Евдокима Иваныча и прочим рабочим женкам. У нее прислуга есть («Са-ма? Ещё б я стояла! Что бы мне тогда оставалось в жизни! Мне — пять часов ежедневно надо просидеть за роялем!» — знала бы она, что ждет в уже недалеком, но зато очень долгом будущем почти всех российских женщин, включая пианисток!), но на бешеный рост цен Алина жалуется (11). И ведь не только цены и очереди. Заметил в Москве Воротынцев «чего никогда не бывало: женщины — трамвайные стрелочницы. Вагоновожатые, кондукторы. И вместо дворников. И промелькнула девушка в красной шапке посыльного» (13). Нам, с детства привыкшим видеть не только кондукторш, дворничих и почтальонш, но женщин, вкалывающих — гробящих себя — на земляных или железнодорожных работах (в мирное время, не в лагерной зоне!), необходимо усилие, чтобы понять, чему изумляется Воротынцев.

Обида за мерзнущих в очередях баб, которым, может, и хлеба не достанется (да, разогретая демагогической ложью агитаторов, да, вырвавшая из треклятых хвостов далеко не всех обывателей, да, подстегнутая привычкой рабочих безнаказанно бастовать), стала толчком к разгрому хлебных и мелочных лавок на Петербургской стороне 23 и 24 февраля 1917 года. Рабочие повалили на улицу. Фабричные девки принялись заговаривать зубы солдатам. Подростки ринулись озоровать — уж если взрослые буянят, то как этим, давно без догляда живущим, стекла не бить? Именно так в Петрограде нача-

лись события, вскоре названные Февральской революцией (М-17: 7, 10).

Но и в мире пролетариев интимные чувства не сводятся к домашним (жалости к бабам и досаде от нарастающего бытового разлада). Когда Кеша Кокушкин срывает наметившееся взаимопонимание между рабочими и инженером Дмитриевым (рассказ о траншейной пушке, просьба работать сверхурочно), крикнув (по наводке манипулятора-большевика): «А кто начинал — тот пусть кровь и облегчает! А нам — Рига не нужна, пущай её немцы заберут!!» (33), главной наградой за «подвиг» стали не похвалы «товарищей», а рукопожатие «товарища Марии»: «Да бережно как пожала, или нежно как — зашлось Кешино сердце, голова закружилась. Барышня такая ему и издали не снилась, не то что прикоснуться» (34).

Для такой барышни и в другой раз инженера отбреешь, и бастовать с охотой будешь, и на митинг побежишь. Барышня, стесняющаяся дорогой шубки, отнюдь не «соблазняет» Кешу по партийному долгу. Напротив, она восхищена «героем». Сама бы в него втюрилась, если б не было рядом еще более героического «товарища Вадима» (Матвея Рысса), «настоящего» революционера, составляющего огненные листовки, ставшего совсем своим в рабочей массе, связанного аж с БЦК, вдохновенно рассказывающего, как двигаться в светлое завтра и каким прекрасным оно будет. «Товарищ Мария» — «в миру» Вероня Ленартович, та самая, чья «бессознательность» выводила из себя ее тетушек-радикалок в предыдущем Узле (А-14: 59). За два года девушка переменилась, вышла на «правильную дорогу» (в отличие от своей отрешенной декадентской подруги Ликони). Взяли свое наставления говорливых старушек и общая интеллигентская атмосфера. А может быть, и что-то еще. «Она касалась этих честных рабочих труженых рук почтительно-благоговейно, а ей пожали крепко, железно, больно — и радостно». Конечно, Вероня искренне хочет быть «хоть немного полезной и достойной этих людей и этого благородного движения: кончать войну! Кончать все войны на земле, раз и навсег-

да! И все смертные казни! Никого не угнетать! Всех освободить от покорения!» Но есть тут и девичье восхищение «железностью», решительностью, силой: «...замкнутость партийной тайны и собственная неуклонная твёрдость Матвея сливались для Вероники в одну единую мужественность. Эта партия — не шутила, не болтала, лясы не точила, и так сильно отличалась от того расслабленного, бездейственного окружения, где Вероника прозябала до сих пор».

И не разберешь, кого любит Вероня — большевистскую партию или Матвея Рысса. Партия — это Матвей, а Матвей — партия. Как Вероня стала манком для рабочего юнца (сколько же таких сюжетов было!), так и Матвей — для барышни в изящной шубке (и таких историй не меньше). Когда Матвей неожиданно начинает жадно целовать Веронику, не обязательно предполагать, что студент-агитатор хочет крепче привязать уловленную курсистку «к делу» или вульгарно «попользоваться» заболтанной прежде красоткой. Его напряженность на возвратном пути может объясняться и смущением, понятной юношеской зажатостью, стремлением «выдержать марку», не рассиропиться. Писатель не дает однозначных мотивировок, ибо и чувства персонажей — путаные. Существенно, однако, что Вероне «...не было... ни холодно, ни изогнуто, ни колко. Счастливо» (34).

Сцена напоминает не действительно страшный эпизод падения, нисхождения в «чёрный колодец» Вари (А-14: 8), а раскрытие друг другу Воротынцева и Ольды, которому тоже предшествовал долгий разговор о политике (Андозерская ведь тоже «улавливает» и наставляет полковника): «И он стал её просто целовать, в губы, в губы, которых насмотрелся в этот вечер, всё более запрокидывая, всё более запрокидывая на качельной доске — и шляпка её свалилась, покатилась, а тут ещё ветер» (27).

Даже шляпка Ольды ведет себя почти как сбившийся платок Верони.

Две мельком очерченные любовные (скорее — предлюбовные) истории, связанные с «классовой борьбой»

на Обуховском заводе, корреспондируют с другими интимными сюжетами «Октября...». Эпизод «Вероня — Матвей» заставляет вспомнить историю жизни Нины Ободовской, урожденной Бобрищевой-Пушкиной, которая раз и навсегда решила: «Замужество — это судьба». Полюбив Петра Ободовского, Нуся порвала со своим кругом, оставила аристократические привычки, отказалась от каких-либо житейских радостей. Ее не смущает ни бедность, ни ссылка, ни эмиграция, ни то, что мужа она видит мало, а «просвещать» жену Ободовский считает лишним («Я слишком уважаю тебя как личность, чтобы навязывать тебе свои взгляды. Вырабатывай сама»), ни даже отсутствие детей. Нуся бесконечно любит Петра (и он платит ей тем же: «Ты моя жена, это всё равно что я сам») и следует за ним до конца. Предчувствуя, «что ожидает их обоих на родине страшный конец» (24)[9].

Другой вариант счастливого супружества (и тоже с революционным отсветом) — большая (пятеро детей) семья Шингарёвых, с их подчеркнуто скромным бытом, квартирой на пятом этаже без лифта (думский депутат, один из лидеров влиятельной партии), помощью из скудных средств трем племянникам, капустой со школьного огорода («и квасили сами»), хутором, на котором вся семья (кроме Андрея Ивановича) не только грибы собирает, но и сад с огородом обрабатывает своими руками каждый год с весны до осени (20, 21). И здесь муж с женой живут душа в душу. Прямо это не декларируется, но весь уклад дома, радость, с которой Шингарёв смотрит на вышедших к столу дочек, естественность, с какой хозяйка принимает многочисленных и не слишком-то нужных гостей, свидетельствуют о подлинной любви, без которой народному заступнику было бы куда труднее тащить свой воз. Да и человеческая широта Шингарёва, обнаружившаяся в его рассказе о Столыпине (политическом враге, в котором Андрей Иванович, несмотря на свою партийность, увидел много доброго и память эту сохранил (21)), его непоказное народолюбие, не позволяющее забыть Ново-Животинное,

о бедах которого он рассказывает Воротынцеву (20), его открытость и сердечность неотделимы от общего духа задавшейся семьи, настоящего живого и теплого дома. А женские чувства и домашние заботы Ефросиньи Максимовны не противоречат ее «общественному» складу: «У Фрони — дети, у Фрони — хозяйство, у Фрони — гости пересидевшие, но Фроня — жена своего мужа и знает вместе с ним: увы, *Это* неизбежно, Это — будет всё равно, к Этому идёт, Это — у всех на уме. Была же и Фроня когда-то курсисткой, и помнит давнее-давнее-давнее, ещё — как ожидали Ту» (26).

«Это» здесь не любовь (как во многих других случаях), а революция. Страшная (для нас, в какой-то мере для Воротынцева и Андозерской, но не для остального общества, собравшегося в квартире Шингарёва) ретроспектива Той — революции 1905 года — разворачивается в томительные минуты ожидания инженера Дмитриева, сообщившего по телефону Ободовскому смутную весть. «Вы знаете, господа... Как бы не... Кажется... Началось!» (25). И не только младшая из околокадетских дам-активисток, шепотом декламирующая экстатические стихи Волошина, старшая дама, уверенная — «поезд не опоздает, билет у неё в кармане», приват-доцент, озабоченно, но оптимистично просчитывающий варианты «движения» (не поезд движется — катит красное колесо!), Ободовский, в котором инстинкт революционера сейчас переиграл опыт инженера, Нуся, неколебимо спокойная (вопреки прежним предчувствиям), ибо «все невзгоды уже в прошлом видены. Как Ту переплыли, переплывём и эту», взвихренная (не столько «вестью», сколько приближением «вестника») Вера Воротынцева, но и домовитая хозяйка, горячо любящая своих детей мать, просто немолодая и неглупая женщина, не видит (не помнит, знать не хочет) того — в деталях представленного — ужаса, который и назвать можно лишь всеохватным местоимением — *Это.* О возвращении которого (пока — «черновом», до Февраля — еще четыре месяца, до захвата власти большевиками — целый год) повеству-

ет добравшийся наконец до шингарёвской квартиры инженер, чей рассказ переходит в экранный показ октябрьской «репетиции» Февраля[10]. Погрома, остервенения, злобы, хлынувшей на улицы дикости никто не видит.

Вечер в квартире Шингарёва — вершинная *романная* точка. Здесь завязывается чувство Георгия и Ольды, здесь проясняется сюжет несбыточной любви Веры и Дмитриева, а истории состоявшихся (хотя и глубинно различных) семей Шингарёвых и Ободовских оттеняют те нарушающие обычный ход жизни и требующие нравственного выбора «особенные случаи», что выпали на долю и сестре и брату Воротынцевым. Но сложно организованная система запечатленных в этой сплотке глав (20—26) любовных коллизий и семейных историй ни на миг не позволяет читателю отвлечься от войны. Именно у Шингарёва Воротынцев, вдохновленный присутствием странной и уже влекущей «профессорши», решается выговорить — почти сполна — свою страшную правду о том, что творится на фронте (22), и о революции, ожиданием которой захвачены хозяева и большинство гостей. И не только в описываемый вечер, но многие уже годы. Потому Шингарёв (лучший из кадетов!) не может не «нагонять параллелей» меж современностью и французской ситуацией конца XVIII века (эта вошедшая в общественную привычку игра аналогиями настраивает на единственный, вообще-то не радующий и самого Шингарёва революционный исход). Потому Родичев упоенно пересказывает легенду о Сивилле и скудоумном царе Тарквинии, который не хотел «читать Книгу Судеб в её естественном порядке», а потому был обречен *дорого* платить «за страницы развязки» (20). «Дорого платить» совсем скоро придется не только «ца-арю» (понятно, почему Родичев с таким наслаждением растягивает титул Тарквиния), но и тем, кто полагает себя и своих единомышленников сегодняшними аналогами Сивиллы. Общество (символический сгусток которого и представлен гостями Шингарёва) тоже не хочет и не может читать Книгу Судеб в естественном порядке. Потому так

будоражит (в общем-то — весело) собравшихся еще невнятное (но желанное!) известие о каких-то беспорядках. Призраков 1905 года, которые фактически врываются в мирную квартиру, здесь не замечают. Не могут угадать, что нахлынувшие воспоминания (в том числе смутные, те, которые спрятать от себя хочется) сигнализируют о близящемся будущем. Короткое (на сей раз) «торжество улицы» дано в «Октябре Шестнадцатого» не самостоятельным эпизодом, но в «уютном» контексте неустанного интеллигентского словоговорения — того самого, что год за годом раскачивало страну.

Вечеру у Шингарёва предшествует обзорная глава «Общество, правительство и царь — 1915» (19'), в которой подробнейшим образом описан один из последних эпизодов многолетнего противостояния, в итоге погубившего Россию. Сюжет 1915 года сложно отзывается в ключевом политическом эпизоде Второго Узла — рассказе о заседании Государственной думы 1 ноября 1916 года, где Милюков произносит свою афористически провокационную сентенцию «Глупость или измена?» (65'). Осенью 1915 года Государь сумел проявить необходимую твердость, но сделал это излишне резко, вновь оттолкнув общество, что тоже отмечено Солженицыным: «Нельзя отсекать пути доверия с обществом — все до последнего» (19'). Год с небольшим спустя высшая власть позволила себе *не заметить* милюковскую дутую инвективу, которая тут же стала предметом всеобщих толков, большей частью — одобрительных, а если и раздраженных, то не на одного лишь зарвавшегося оппозиционера, а и на пришипившиеся, словно и впрямь виноватые верха. Ужас случившегося не только в том, что Милюков опирается на большевистскую фальшивку, а все его выступление, по слову Варсонофьева, «не речь государственного человека, а какой-то перебор сплетен» (73). Былой союзник Милюкова, ставший его убежденным оппонентом, Варсонофьев отмечает ничтожность речи, в которой нет глубины (тут же переходя к общей — в том же ключе строящейся — оценке кадетского лидера[11]), но даже он —

настоящий мыслитель, яснее всех персонажей «Красного Колеса» слышащий таинственный ход истории, — не думает о том, что сам факт произнесения милюковской инвективы (при всей ее бездоказательности и мелочности) — симптом чудовищной опасности, что «если под основание трона вмесили глину *измены*, а молния не ударяет, — то трон уже и поплыл» (65'). Не замечает и когда переходит от презренной «газетной» суеты к размышлениям о самом главном: «Пять десятков? шесть десятков? семь десятков лет? надо прожить, чтобы понять, что жизнь общества не сводится к политике и не исчерпывается государственным строем» (73).

В высшем смысле Варсонофьев, бесспорно, прав. Но правота его оказывается парадоксальным образом сопряженной со слабостью «звездочёта», а смирение перед таинственным ходом истории в октябре 1916 года свидетельствует не только об умудренности, но и о губительной усталости. Усталости от жизни общероссийской. И видимо, незадавшейся личной, на что есть приглушенные намеки в зачине главы.

Особая значимость обзорной главы «Общество, правительство и царь» (19') для всей конструкции Второго Узла не отменяет ее частной функции — глава эта объясняет, что же происходит в главах, непосредственно за ней следующих, действие которых разворачивается октябрьским вечером в квартире Шингарёва, что объединяет большинство новых случайных знакомцев Воротынцева, в чем смысл и каков генезис тех установок, которые — поверх личных особенностей совсем несхожих людей — определяют общее мировосприятие (около)кадетской интеллигенции. Сходно самое начало воротынцевской линии (полковник срывается с фронта, ощутив необходимость вмешаться в «большую политику») предварено обзорной главой «Кадетские истоки», повествующей о том, как «российская власть и российское общество, с тех пор как меж ними поселилось и всё разрасталось роковое недоверие, озлобление, ненависть, — разгоняли и несли Россию в бездну» (7'). Со-

держание этих очерков неуступчивого противоборства (общего, полувекового, и частного, характеризующего лишь один эпизод) позволяет почувствовать символическую суть «обычного вечера» у Шингарёва и понять, почему идеализированный фантом «спасительной» революции закрывает для совсем не дурных и не глупых людей ее подлинный — уже явленный в 1905 году — неистовый и безжалостный лик. Что ж, если интеллигенция и в дни собственно революции способна отрицать ее свирепость, подлость и бесчеловечность, полуоправдывая отдельные — все-таки неприятные, но что ж поделать? — «эксцессы» (все это мы многажды увидим в «Марте Семнадцатого»), то в относительно, хоть и обманчиво «спокойном» октябре 1916 года еще легче не видеть того ужаса, который несет восстание городской массы — разозленной войной, растравленной агитацией, чутко улавливающей и тут же переиначивающей на свой салтык веяния, господствующие в «цензовых кругах». Его и не видят гости и хозяева квартиры на Большой Монетной. Не только иронично обрисованные типовые персонажи, но и наделенные человеческой неповторимостью самые лучшие на свете жены, которые смотрят на мир глазами своих супругов[12].

В семейном единстве — счастье этих прекрасных (при всех заблуждениях!) женщин и их мужей. Счастье, которое скоро будет разрушено — во многом тщанием самих счастливцев (что тоже сказано в шингарёвских главах), но пока — сущее и полновесное. Счастье, которого лишены тоже достойные, порядочные и умные люди — генерал Свечин и лидер октябристов Гучков.

Свечин специально приезжает в столицу из Ставки, чтобы порвать с женой, с которой даже встречаться не стал. На разрыв «и дня много», — заявляет он Воротынцеву, который будет тянуть свои мучительные отношения (разъяснения, успокаивания, попытки перемолчать беду или спрятаться от неразрешимого), по крайней мере полгода[13]. Правда, Свечин не меняет «шило на мыло» (бабу на бабу). Он запретил жене принимать Рас-

путина, та не послушалась. Поскольку «женщина — или понимает с первого предупреждения, или безнадёжна», вопрос исчерпан. «Написал записку, сложил вот этот чемоданчик (выше сказано: «настолько маленький, что <...> даже генерал мог нести его, не противореча уставу. — *А. Н.*), всё остальное — ей. <...> Сыновья — оба в кадетском. Дальше в училище пойдут» (38).

Решимость, конечно, впечатляет, но какой же глубокой была пропасть между мужем и женой, как же мало должен был ценить эту — даже по имени не названную — женщину, мать этих — тоже оставшихся безымянными — мальчиков Свечин, чтобы так резко обрубить концы? Экскурса в семейное прошлое нет, сам по себе склад характера «бешеного муллы» (как прозвали Свечина сослуживцы) ничего не объясняет (для гнева должны быть внутренние причины, тем более у человека, который отменно умеет нрав свой сдерживать). В том ли дело, что жена и прежде жила своей жизнью, а генерал, сжав зубы, терпел ее? Или, напротив, никогда не любил и рад поводу избавиться? Гадательность предыстории делает поступок Свечина еще более жутким. Персонаж, может быть, и считает, что ему теперь будет легче жить и служить царю с отечеством (хотя предстает нам мрачным и раздраженным, а не освободившимся), — читателю в это плохо верится. Какой-то надрыв произошел и со Свечиным. Очень похоже, что его «упёртость» в войну, его уверенность в том, что тыловые неурядицы — вздор, победа точно будет за нами, а тревоги Воротынцева о выдохшемся народе, корень которого подрублен (39), стоят не дороже кадетской антиправительственной истерии (да и выросли из старой обиды и закисания на румынском фронте), — обусловлены отсутствием душевного покоя и семейного тыла.

Во всяком случае, примерно так объясняется состояние Гучкова, встреча с которым Воротынцева (и читателя) прямо следует за ресторанным разговором генерала и полковника. Гучков как раз не может — прежде всего в силу своего общественного статуса — порвать с «жен-

щиной чужой души». «От постоянного семейного разорения — тем отчаянней он занимался и общественной борьбой, даже с лишнею резкостью, лишь бы вырваться куда-нибудь».

Из-за непереносимости жизни с женой под одной крышей рванулся в Маньчжурию и «не оказался близ Столыпина в его последние, загнанные месяцы, не протянул руки, когда, Бог ведает, и помогла бы она».

И «...в другие поры — веригами отягощала злополучная женитьба, не давая сил вовсе двигаться. Но самое страшное — когда умирал в январе, а жена, оттолкнувши всех сиделок, наконец-то несомненная перед лицом всей общественной России, в смерче почти радостной суеты владела отходящим» (42).

Взаимная неприязнь с женой, не отмененная даже смертью сына, давит Гучкова не меньше болезни, разогревает его ненависть к царице (что-то метафорическое тут мерцает; если у меня дурная жена, то и у царя — «ведьма»), пришпоривает азарт заговорщика, у которого, в частности из-за того же многолетнего семейного раздрая, сил больше нет. («Он и себя-то на этот заговор волок через болезни и слабость».) Потому и не осудил Гучков Воротынцева, который из-за дня рождения жены (впрочем, не только потому, но Гучков скрытых сомнений частично разагитированного Андозерской полковника не приметил) отказался задержаться в столице, хотя, вообще-то, обещал содействие в готовящемся дворцовом перевороте. «Чтобы мелкие семейные обстоятельства презреть — ещё надо знать глубину той скользкой ямы, по краям которой не всегда и выбраться». Сколько таких полудоговоренностей ни к чему не привели? В скольких случаях именно из-за *личных* обстоятельств потенциальных переворотчиков, спешащих упредить (и тем остановить) революцию? Да и самому «главному заговорщику» Воротынцев нужен прямо сейчас, «потому что до Кавказского фронта ему ещё надо было в Кисловодск — лечиться» (действительно — надо, действительно — болен). Так и сложилось: «Толк о заго-

воре (по всей России. — *А. Н.*) был — год, а заговора — не было»[14] (42).

Выходит, прав резко решивший семейный вопрос Свечин? Не выходит. То есть лично Свечину, может быть, полегчает (здесь, как и во многих других случаях, Солженицын не ставит точки над i, заставляя читателя колебаться меж «мерцающими» версиями), но оснований для вывода о целительности бесповоротного разрыва, который, дескать, обязательно позволит человеку внутренне распрямиться, «Октябрь Шестнадцатого» не дает. Простых решений в сердечных делах нет и не может быть, хотя люди о том предпочитают не думать. Воротынцев искренне изумляется, услышав от Андозерской суждение, перекликающееся с раздумьями Варсонофьева о смысле жизни:

— ...в делах сердечных нужна твёрдость и решительность несравненно большая, чем в государственных.

— Что-о-о?..

Ну, сморозила!

(29)

Полковник просто еще не понял, какой груз на него уже обрушился. Скоро уразумеет. Но он-то не профессиональный политик, а потому судит о делах политических вчуже. Меж тем люди, всю жизнь свою подчинившие борьбе за власть и на том загубившие душу, тоже мучаются по неподобающим *личным* причинам. Страдает без Сашеньки Коллонтай Шляпников, которого она и сделала пламенным революционером (63). Тоска Шляпникова по все пребывающей за границей Сашеньке (а ведь революция началась — приехать можно) продолжится в «Марте Семнадцатого». Там же — к исходу Узла — возникнет въяве эта сексуал-революционерка (вовсе не намеренная длить отношения с околдованным ею партийцем из рабочих). Задним числом понимаешь, что отсвет Коллонтай уже в «Октябре...» окрасил ряд женских персонажей. Тех, что так или иначе хотят

направлять, «огранять» и подчинять мужчин. Желание это присуще столь разным женщинам, как императрица, постоянно наставляющая Государя, Андозерская, не только влекущаяся к Воротынцеву, но и не без любопытства пробующая на нем свои чары (полковник для нее — «камень весомый, но не изошедший падений. Камень нерасщеплённый, но и необработанный» (25)), Ирина Томчак (стесненно, но руководящая мужем), Инесса Арманд (как и Коллонтай, теоретик «свободной любви»), жестоко играющая с Лениным. В несколько ином плане возникают ассоциации с женщинами, ищущими *своего* пути, — будь то Ликоня (в «Августе...» и «Октябре...», но не в «Марте...» и «Апреле...»!) и даже Алина Воротынцева с ее — уже в начале Второго Узла обнаружившимся — стремлением к самоутверждению (8, 11). Все они — при различии социальных статусов, убеждений, характеров, истинных целей, типов отношения к мужьям или любовникам, будущих судеб — существуют «после “Анны Карениной”». Потому так много разъясняет в случившемся с ними (и не только с ними) выход Коллонтай на сцену. Мартовская глава о ней начинается словами: «В мире выковалась Новая Женщина», а заканчивается репликой арестованной издательницы «Русского знамени» Полубояриновой, посмотреть на которую (дабы ощутить свое торжество над «женщиной из враждебного класса») направляется большевичка: «Ну, что пришла, потаскуха? Кто такая?» (М-17: 631).

Страдает от любви даже лишенный остальных человеческих свойств сидящий в Цюрихе несгибаемый вождь крохотной, но самой радикальной российской партии: «Во всех отношениях, со всеми людьми, Ленин всегда добирал свою высоту, занимал достойную. А здесь — не мог, здесь — не было высоты. Он мог только — скрывать за шутками смущение. Просить» (43).

Он сумел на семь лет наладить «тройственный союз»: Надя (извращенный и несчастный вариант Нуси Ободовской) — для домашнего комфорта и сбережения нервов, Инесса — мотовка, причудница, своевольница — для

иного. Идеальная партийная жена притерпелась к «жизни втроем», в письмах свекрови тактично о происходящем утаивала, с подругой мужа сердечно сошлась (или умно притворилась). Из игры вышла Инесса—даром, что ли, развивала она теорию свободной любви, с партийной точки зрения весьма сомнительную? «Что-то сломалось в Кинтале? Он не заметил тогда». Еще бы! «В Кинтале был такой замечательный шестидневный бой!» (Европа охвачена настоящей войной, которую Ленин мечтает превратить в гражданскую. Упоенно проектируется будущая революция в Швейцарии. Тем отвратительнее и циничнее звучит стертая метафора — «бой — политический спор». Скоро Ленин приступит к ее реализации.) Автор не объясняет, что же именно случилось (если случилось) в Кинтале — просто наскучила Арманд связь с Лениным, дразнит она любовника ради самого процесса или сошлась с кем-то другим. Колебание версий не отменяет смыслового ядра — Инесса жестоко мучает Ленина. И отчаяние, которое набирает силу в сознании Ленина с утра 25 октября (день, как и в воротынцевско-свечинской главе прямо назван, причем и будущим «советско-праздничным» именем: «Даже по глупому российскому календарю уже 25 октября, по-европейски 7 ноября» (43)), отчаяние, которое мешает Ленину работать в библиотеке и заставляет «заморенно-заморенно» сказать Крупской: «Кончится война — уедем в Америку», — и добавить: «В России ясно к чему идёт. К кадетскому правительству. Царь — с кадетами сговорится. И будет пошлое, нудное буржуазное развитие на двадцать-тридцать лет. И никаких надежд революционерам. Мы — уже не доживем» (44), отчаяние, которое развеивает фантасмагорический соблазн Парвуса и заставляет самому себе признаться, что нет у него ничего в России, то есть нет сильной и боеспособной партии (50), — отчаяние это вырастает не только из анализа объективной политической реальности». (Тут-то Ленин как раз крупно промахнулся, именно потому, что «практик» этот судил обо всем «теоретически» и недооценивал как безумия ненавистных ему «верхов», так и усталости

измолоченного войной народа.) Но и из уязвленности брошенного возлюбленной человека.

Другое дело, что Ленин устроен иначе, чем все прочие люди. Ни иррациональное (любовь к Инессе), ни рациональное (собственное знание о состоянии большевистских дел в России, собственный анализ политической ситуации) над ним до конца не властны. Он ждет, «чтобы какая-нибудь попутная материальная волна перекинула бы его челночок — в уже сделанное». И дождется — революция в Россию уже пришла, хотя будущий диктатор этого не чувствует, а, собравши волю в кулак (убедив себя, что он умнее и дальновиднее Парвуса, одолев тоску по Инессе), утешается надеждой на революцию в Швейцарии. «И отсюда зажжётся — всеевропейская!» (50). Цюрихская сплотка кончается этим одновременно комическим (все будет не так), трагическим (этот близорукий, себялюбивый и озлобленный на весь мир доктринер станет хозяином России) и победительным — в плане персонажа — выкриком (пусть и про себя произнесенным). Но вовсе забыть утреннее состояние взывающего к Инессе Ленина тоже невозможно.

Так обстоит дело с людьми зрелыми, уже вкусившими любви (и не-любви). Меньше во Втором Узле говорится о молодых, о тех, кто подобно персонажам, появившимся в обуховских главах (Вероня, Кеша, Матвей), стоит на пороге любви, ее ждет и ищет. (Связано это с доминированием в «Октябре...» воротынцевской линии. Напомним сказанное в главе I: именно на сорока-пятидесятилетних людей в любую эпоху ложится главная историческая ответственность; именно поколения Гучкова и Воротынцева не смогли остановить революцию. Говорится о молодых меньше, но вовсе они не обойдены. Предвкушая встречу с другом, Саня Лаженицын думает: «Кажется, дороже, чем повидать бы любимую женщину. (Бы любимую, нет её ни у тебя, ни у меня...)» (55).

Нет, потому что идет война, и вчерашние студенты стали боевыми офицерами. Нет, но должна появиться. И появится — в Четвертом Узле произойдет судьбонос-

ная встреча Сани с Ксеньей (А-17: 91). В «Октябре...» же Ксенья значимо отсутствует («нет её») — появляется она только в мыслях Захара Томчака, строящего относительно дочери «старозаветные» и несбыточные планы: «Уступил он невестке Ксенью, алэ на тот год кончит и Ксенья, тут её и замуж скрутить. Да за двадцать лет вырастить внука, якого трэба. О тогда и Жития Святых читать» (60).

Зато возникает Ликоня, случайно увиденная Воротынцевым при входе в ресторан и словно бы немотивированно притягивающая его внимание. Воротынцеву, разумеется, неведомо ни то, что в эту девушку влюблен Ленартович (А-14: 33), которого он выводил из окружения в Восточной Пруссии (А-14: 47, 50, 55). Ни то, что Ликоня — бестужевская курсистка, знающая Андозерскую, прямо с ней сопоставленная («Андозерская — совсем невысокая, а если выше Ликони, то из-за высокого накрута волос») и по-своему очарованная женщиной-профессором: «Мне очень понравилась. Особенно голос. Как будто арию ведёт. Такую сложную, мелодию не различишь», хотя смысл высокой речи Ольды Орестовны Ликоня «пропустила» (А-14: 75). Какой тут смысл, если есть тайное родство двух женщин. Его-то бессознательно ощутил Воротынцев (и он ведь заслушался «сирены» у Шингарёва, а на следующее утро для него «мелодичный голос» Ольды «оказался в телефоне и вовсе пением нежным» (27)).

> И что ему эта девица, которую он никогда не увидит больше? — но что-то встромчивое от неё вошло, её присутствие почему-то всё время ощущалось. Разной женственности, оказывается, бывают женщины. Эта изгибистая девушка виделась как концентрация всего, что так густо в эти дни захлебнул Воротынцев. Но уже по тому, как она с извозчика соскочила в обнимку, и у гардероба была вся повадка отданная, привязанная, досадно убеждался и самый безкорыстный наблюдатель, что эта Ликоня со внимательно-медленными глазами и двойным водопадом волос...
>
> (38)

Мысль не доведена до конца, синтаксическая конструкция изломана и оборвана. Воротынцев почти подумал о Ликоне дурно. Вся тыловая декадентско-жульническая атмосфера ресторана («Такие барышни разве ходили сюда раньше? Кюба ведь был для деловых встреч? — Вернемся —многого не узнаем,—мрачно отозвался Свечин»), где расслабляются изысканные юноши (почему они не в окопах?) и обмывают гешефты «непойманные мародёры или провизоры, нажившиеся на опиуме или кокаине», где подожженное официантами трехцветное (как национальный флаг) колесо становится (просчет пиротехников) красным и пылает, как мельница в Уздау (38; ср. А-14: 25), настраивает на эту волну. Но злое слово не произносится Воротынцевым — он почуял (и верно) Ольдин дух. Стиль, что царит в квартире Андозерской (репродукция врубелевского Пана и не детям предназначенные «народные» игрушки (28)), в ее пристрастиях (декадентские стихи, Скрябин и экзальтированная преданность монархии), в ее поведении (внешняя строгость и свободный взгляд на отношения мужчины и женщины: «...по одному тому, как Ольда, когда он брал её на руки, всегда отыгранным ловким движением в точный момент отталкивалась от пола, можно было догадаться, что она прыгала так не с первым с ним. <...> Он наслаждённо вверялся её опытности, а если кто-то помог этой опытности создаться, то и спасибо» (29)), в ее жизненных приоритетах (полупрезрение к «мужниным женам», вроде Ободовской, и скромным девушкам, вроде Веры (25); бездетность и равнодушие к детям при «детской захваченности» птенчиками и животными, вера в астрологию, гадания и приметы 29)), — стиль этот называется «модерном». Как и стиль возникающей в ресторане девушки (да и — в сниженной версии — самого преобразившегося за годы войны ресторана). И в любовной сцене «скачки» Ольды с Воротынцевым, и в ресторанном эпизоде (единственное появление Ликони в «Октябре...») слышны приглушенные, сдвинутые отзвуки модернистской поэзии, прежде всего — Блока. Но у блоковской Незнакомки, которую напоминает Ликоня (не Воротынцеву, скорее

всего Блока не читавшего, а нам), есть другая — русская и светлая — ипостась. Такой (поверившей в спасителя-жениха и напрасно его ждущей) Ликоня предстанет в череде очень коротких (похожих на стихотворения в прозе) глав, пунктир которых проходит сквозь революционную хронику Третьего и Четвертого Узлов.

Саня смутно надеется на любовь (и будет вознагражден). Ликоня сомнамбулически любовь (и саму себя) ищет (в Первом Узле она отвечает на вопросы надоедливых тётушек подруги о «задачах» и «цели» одним словом: «Жить» — А-14: 59). Вера Воротынцева от любви отказывается, ибо любовь (в которой Вера пока не хочет признаться даже себе самой) может осуществиться только в том случае, если будет обижена другая (к тому же слабая) женщина. Решится все в следующих Узлах (М-17: 35, 556; А-17: 2), но обозначено уже в «Октябре...». Вера знает, как трудно ее избраннику (сперва он назван лишь по имени-отчеству, позднее мы поймем, что это инженер Дмитриев):

...Его силы никогда не могли проявиться во всю полноту — и видно же отчего: от женитьбы (связи), как железной сетки, накинутой на него.

Самонакинутой. Такой крупный, здоровый, естественный человек — и полубезумная эфироманка. Ещё и с девочкой от кого-то. И — любит?.. И любит.

Как судить, сама не перейдя порога?..

А перейдя — уже будет поздно.

Но пока видишь таких, как брат или Михаил Дмитрич, нельзя не верить, что и других же таких по земле насеяно. И как можно «лишь бы», «а, как-нибудь!» — отдать свою жизнь? В один раз — навсегда? Не настоящему?

<...>

«Лишь бы» — это последнее малодушие.

<...>

Лучшая судьба женщины — тихо работать для тех, кто ведёт.

<...>

И даже с братом черта: *об этом* — никогда вслух.

(18)

Вера заставляет себя считать, что Дмитриев любит свою «эфироманку». Приравнивание Михаила Дмитрича к брату (то есть для Веры лучшему из людей) свидетельствует о том, что в душе она выбор сделала, а надежда на встречу с кем-то еще «таким же» — самообман. Как и признание «работы для других» «лучшей судьбой женщины». (Мыслям о Дмитриеве предшествует восхищение Веры семейной жизнью Шингарёвых. Значит, не только служению отвлеченным «другим» можно себя отдать. Значит, семья и дети для Веры высокая ценность.)

Неожиданная весть о том, что Дмитриев зайдет к Шингарёвым, проявляет Верины чувства. «Взгляд сестры показался брату тревожным, каким-то нововнимательным» (23) — и это связано не только с намечающимся романом Воротынцева и Андозерской, которую Вера раздражает («А сегодня лучшее, что могла эта девица сделать, — не так тревожно мелькать бы и не так пристально всматриваться, как будто она не сестра этого полковника, а жена» (25)). Чутьем влюбленной женщины Вера распознает, что происходит с братом, раньше, чем он сам. После телефонного звонка Дмитриева «ударило алым по лицу Веры. (Андозерская не видела её — а видела.)» (25). Но понимала, впрочем, лишь одну грань Вериного состояния. Когда Вера, как мы знаем, не любящая Алины, считающая женитьбу брата оплошной (18), пытается без слов его предостеречь, она борется и со своей страстью (которую по мужскому эгоцентризму Воротынцев не заметил). Когда она, опередив жадных до вестей о начавшейся революции дам, успеет открыть Дмитриеву, станет ясно, что и для него библиограф из Публички важнее всех исторических катаклизмов.

— Вы??

Что он там принёс — лицо его не пылало, не кричало, не раздиралось, длинноватое крупно-упрощённое лицо. А увидел Веру — удивился:

— Здесь??

И сняв кепку с гладких тёмных волос на пробор, приподнял узкую белую руку, открывшую ему.

Поцеловал.

Но дальше сразу много нахлынуло дам...

(26)

Ничего впрямую не сказано, но понятно все[15].

Анализируя многообразные любовно-семейные сюжеты «Октября...», я не всякий раз указывал на возникающие переклички ситуаций. Они, как правило, либо не замечаются героями (так Воротынцев не вспоминает историю Ковынёва и Зины и свое опрометчивое суждение о «простом вопросе» женитьбы), либо просто им неведомы (так Вера Воротынцева не может соотнести домашнюю ситуацию Дмитриева с историей, которую выслушал в поезде ее брат). Иные *смысловые рифмы* ускользают даже от очень внимательного читателя. Но то, что все романные сюжеты (и сама их сгущенность) так или иначе соотносятся с повествованием о главном любовном треугольнике (Воротынцев — Алина — Ольда), заставляют расслышать его обертоны, открывают в банальном случае — сложность и глубину, указывают на закономерность неожиданного (для Воротынцева) происшествия, вряд ли может быть проигнорировано. Есть, однако, семья, домашние коллизии которой актуальны не только для всех читателей, но и практически для всех персонажей Второго Узла.

Здесь снова уместно вспомнить Толстого. Прообраз второй (памятной не хуже, чем первая — о счастливых и несчастливых семьях) фразы «Анны Карениной» возник в романе о Петре I, над которым Толстой работал перед тем, как полностью отдаться истории о неверной жене (и переворотившейся России): «Всё смешалось в царской семье»[16]. Толстой не смог бы (даже если бы того хотел) ввести в свою «семейную энциклопедию» (одновременно книгу о русском пореформенном разброде и возможных путях его преодоления) царскую ли-

нию («Анна Каренина» писалась для печати). Солженицын не мог повествовать о последней поре Российской империи, обходя домашние проблемы императорской фамилии.

О том, что во дворце неладно, говорят буквально все. Окопные толки (до того простодушные, что уже словно бы и не похабные) отзываются в реплике Чернеги, которому надо не столько о «высших сферах» поболтать, сколько еще раз поддеть целомудренного Лаженицына (в том и ужас, что брех автоматичен): «А думаешь, Григорий чем возвысился? Да слухала б она его иначе? Давно б уже в Сибирь шибанула. Значит, мужик справный. Бабе чуть послабься — сразу она брыкается» (3).

Слухи о Распутине смакуются на вечере у Мумы, и здесь рядом с «целует всех женщин даже при мужьях...» и «так подчиняет, что женщины даже гордятся своим позором, не скрывают...», звучит слух: «А царь разводится с царицей из-за Распутина» (13).

Много поездивший по России Ковынёв рассказывает Воротынцеву: «И честят министров и, простите, августейших особ — просто последними словами. Потом ещё этот Распутин: да, мол, простой мужик у себя в доме такого похабства бы не потерпел, как терпит Сам...» (14).

Сказки про царицыну измену, которая за целебные германские травы передает наши военные планы врагу через Распутника и состоящего при нем жидка Рувима Штейна (Рубинштейна), владеющего «невидимым» конем, что в один скок долетает до Вильгельма, рассказываются в обуховской литейке (32). Свечин рвет с женой из-за того, что она (как и другие столичные дамы) оказалась в окружении Распутина (38), — значит, и этого слугу государства до мозга костей (он и большевикам станет служить в надежде на «крепкую державу») коробит непотребство (и не считает его генерал выдумкой). Оба Благодарёвы (и видимо, другие мужики) сердиты на Гришку: «ведь из мужиков, как же он это? Вот так на нашего брата надейся. Пусти мужика наверх — захленётся тут же, своих забудет, и хуже всякого барина станет.

Что ж, до такой выси добраться, саму, может, и царицу покрыл, и за мужика не заступиться?» (46).

Когда Воротынцев говорит Нечволодову почти то же, что услышал от Ковынёва («А возиться трону с Распутиным — это не помутнение? Разве может Государь так свободно распоряжаться своей частной жизнью? Где же ореол?»), генерал возмущается: «Вся распутинская легенда раздута врагами монархии» (68).

Разумеется, газеты гонятся за сенсациями, в народном сознании слухи трансформируются, прирастая чертами то сказки, то анекдота, эксплуатируют выигрышные сюжеты в своих целях политические партии (в том числе большевики; ходко идут в Питере изготовленные зятем Шляпникова карточки — «Распутин и царица», «Распутин и Вырубова», позоря власть, а заодно пополняя партийную кассу (63)), великие князья своекорыстно интригуют... Но солдаты, мужики, старые рабочие, офицеры (вроде Свечина и Воротынцева), чьи голоса мы слышим, вовсе не противники существующего порядка. И не патологически внушаемые идиоты. Бывает, что дым сплетни вьется совсем без огня, но здесь все же не тот случай. Порукой тому — голос императрицы, истово верящей «святому человеку» и столь же истово ненавидящей его противников, внимающей любым распутинским советам и почитающей врагами царя и отечества тех, кто неприязненно (или равнодушно) относится к «старцу». Ни разврата, ни измены, ни даже германофильства во дворце, конечно, нет, но встающая из внутренних монологов Александры Фёдоровны картина (64, 72) свидетельствует о том, что всеобщее раздражение возникло совсем не на пустом месте. Сам Государь ощущает «чрезмерность» Распутина, слишком часто и ретиво встревающего в большую политику, слишком сильно давящего на монарха да и действующего иногда не по установленным законам (69). Император воспринимает Григория иначе, чем жена (с уважением и приязнью, но без исступленного восторга), смутно ощущает, что недовольству Распутиным есть причины, но не хочет и не может огорчать императрицу. Он привык руководствоваться советами жены,

он высоко ценит ее ум и волю, он знает, что Аликс почти всегда права, — и «немного» угнетен ее всегдашней правотой. Он понимает, что большинство значимых назначений произошло не по его воле. Его раздражает необходимость постоянно отменять недавно принятые решения. Он знает, что военные планы должны оставаться в строжайшем секрете (царица настоятельно требует точных сведений, ибо Распутин в день наступления сможет молиться «особо истово»). Но, любя жену, Государь приглушает эти мысли, подчиняется ее наставлениям-просьбам, делает не совсем то, что почитает должным (а ему и без того трудно принимать окончательные решения), и вновь чувствует раздражение от ласковой и гнетущей опеки: «Уезжал в Ставку или провожал её из Ставки—и испытывал муку от разлуки и одновременно — облегчение военного человека, что попадает в свободный мужской мир. (Чувство, присущее длинному ряду персонажей «Красного Колеса» — не обязательно военным. Едва ли не общемужское чувство. — *А. Н.*) Но и тотчас начинал в письмах снова приглашать её и ускорял сроки, чем приезд ближе — тем нетерпеливей ожидание её милого присутствия, и одобрения, и сладких ласк...» (69).

Сходно двоится и чувство императрицы, нежно и преданно любящей мужа, всей душой желающей ему (и России) добра, но удрученной мягкостью и уклончивостью Государя (все не становится Петром Великим, Иоанном Грозным!), его недостаточной верой в «Святого Человека», тем, что муж не может защитить должным образом жену от враждебно настроенной «большой» семьи (вдовствующей императрицы, многих великих князей), мерзкого светского общества, думских болтунов, ставшего личным врагом царицы Гучкова. Гадая об участи дочерей, государыня задается вопросом: «...дано ли им будет найти такую безоглядную, непрерывную любовь и такое счастье, какое Александра сама испытывала с ангелом Ники уже 22 года?» (64).

Императрица не лукавит. Николай и Александра — замечательная семейная пара. Они не могут долго оставаться порознь, они взаимно трогательно заботливы,

они разумно воспитывают дочерей, они мужественно несут крест тяжелой болезни сына — вместе им действительно хорошо. И они, сами этого не всегда замечая, мучают друг друга. Попутно губя страну. Слишком уверена в себе и высоте своего духа *правильная* во всем Александра Фёдоровна, постоянно предъявляющая миру сверхстрогие требования, живущая сказочно идеальными представлениями, не желающая снизойти до пестрой и сложной реальности. Слишком мягок (и внутренне обидчив) Государь, которому порядочность достойного офицера и теплота человеческих (прежде всего — семейных) чувств заменяют широту взгляда на события, умение слышать «гул времени» и подлинную ответственность. Их недостатки (более чем извинительные, будь то просто полковник Романов с женой, а не венценосцы) не погашают, но взаимно обогащают друг друга. Так почти идеальная семья оказывается семьей больной, с женой — «ведьмой», мужем — «подкаблучником», друзьями дома — корыстными и нечистоплотными манипуляторами (слухи о Распутине гиперболичны, а о Вырубовой — по большей части просто лживы, но в домашнее нестроение царской семьи «Святой Человек» и доверенная подруга внесли весомую лепту, и это не осталось закрытым домашним сюжетом). Огонек тлеет, а охотников раздувать зловонный дым (для своих надобностей или по душевной пошлости, ликующей от обнаружения любых изъянов у крупных либо облеченных властью людей) всегда хватает. В пору общественных бедствий — особенно.

Будь в царском доме порядок, не ветвились бы сплетни (а если бы все же появлялись, пресечь их было бы проще), не сплеталась бы правда с полуправдой и заведомой ложью, не плавал бы в воздухе жутковатый фантом — «немецкое засилье», «разврат», «взятки», «бездарные назначения», «мракобесие», «безволие», «сепаратный мир», «измена»... Не будь реальных двусмысленностей и оплошностей и разогретой ими общественной — близкой к сладострастию — жажды разоблачений, не смог бы Милю-

ков бросить с думской трибуны обвинение трону в измене. И Радек, чья «игровая» провокационная статейка была использована лидером кадетов как сокрушительное свидетельство, изобретал бы в своем швейцарском далеке какие-нибудь другие байки. Придумка эмигранта-революционера и обличительная тирада кадетского вождя были плодами не их личных «творческих» усилий, но общественного нестроения, неотделимого от нестроения в царской семье. Не трон поплыл из-за того, что Милюков произнес публично то, о чем в голос толковали в избах, цехах, окопах, редакциях и салонах, — Милюкова понесло, потому что трон поплыл. Уже давно.

Формально рассуждая, следует признать: громокипящее обличение Милюкова и октябрьские забастовки в Петрограде (которых почти не заметили занятые любовью Ольда и Воротынцев) не стали детонаторами явной революции. Она, уже пришедшая, помедлила назваться собой и раскатиться сперва по столице, а там и по России еще четыре месяца. В «Октябре...» царит затишье. Кажется, что ничего не происходит. Очень многих персонажей можно охарактеризовать той пословицей, которая следует за двумя первыми главами, посвященными изматывающей, но привычной, словно бы всегда идущей войне: «СЖИЛСЯ С БЕДОЮ, КАК СО СВОЕЙ ГОЛОВОЮ» (2). «Сжились» те, кому, как Сане Лаженицыну, пока, в общем, везет. Те, кто пока не прошел сквозь нечто, подобное Скроботовскому бою, после которого стал совсем другим Котя. «Так и разделилась Европейская всемирная война: до этого полу-дня и после этого полу-дня. После — начиналось только сейчас». Для кого-то оно началось раньше, кому-то еще предстоит. Прошедший ад Котя втолковывает другу: «Сами мы с тобой дураки. Какой леший нас добровольно тянул на войну в первые же дни? Прекрасно бы мы сейчас уже кончили Московский университет, теперь бы и в училище! Вот это и обидней всего: сами полезли».

И в ответ на Санин пересказ статьи Трубецкого о возможности Царства Божьего на земле и рожденные ею

соображения друга: «Бросай ты, Санька, все эти бредни, какое ещё Царствие Божье? Можно было об этом лепетать в студенчестве, пока мы были щенки и войны не видели. А теперь третий год вся Европа друг друга месит в крови и мясе, травит газами, плюёт огнём, — неужели похоже на приближение Царства Божьего? Смотри, н а с ухлопают раньше, нас с тобой!» (55).

Даже минуй Россия чудом революцию, получили бы мы то, что на Западе называется потерянным поколением.

Совсем не случайно лаженицынский зачин «Октября...» подчинен той смысловой мелодии, что звучит в названии романа Ремарка — «На западном фронте ничего нового». Как не случайно и то, что открывается Узел именно военными главами. Тут и напоминание об «Августе Четырнадцатого», то есть о «начале конца», и предвестье воротынцевского броска в Петроград. Перед тем как говорить о воротынцевском понимании войны, должно показать саму *обычную* войну — и без Воротынцева, ибо вовсе не из-за особо неприятного положения дел на румынском фронте понял умный полковник: спасти Россию может только мир.

По ходу войны изменяется сам *состав* всего народа, что может привести к изменению всей русской жизни, — начала этим жутким метаморфозам незаметно кладутся при старом режиме. Потому-то, а не просто из-за засилья «левых» и бездарности-безвольности «правых», революция уже пришла. Потому-то так трудно ее остановить. Но, повторюсь, и не случись катастрофа, выкарабкиваться из-под войны, изживать ее дух, залечивать раны было бы очень трудно.

Вынужденная *сродненность* с тягучей войной сопровождается противонаправленными, но сосуществующими чувствами. С одной стороны, война кажется едва ли не нормой (и это ощущение деформирует человеческие души). С другой, набирают силу страх гибели и жажда жизни (отсюда — при общей установке на победу — скрытое желание хоть как-то да покончить с этой бедой, иногда бессознательная воля к «замирению»). С тре-

тьей, растет недовольство происходящим (вина может возлагаться на верховную власть, дурных генералов, изменников, союзников, масонов, черносотенцев, «городских», спекулянтов и т. д.), предполагающее, что когда-нибудь виновникам воздастся, а послевоенная жизнь (которая возникнет неведомым образом) устроится совсем иначе — и тут уж *мы* своего не упустим. А раз все должно когда-нибудь измениться, то почему бы не приступить к делу сейчас? Почему бы не выправить несправедливости, не дожидаясь конца войны?

К примеру, город обдирает деревню — значит, надо ответить городу тем же. Григорий Плужников судит о сложившемся положении дел весьма здраво. И проекты его не назовешь легковесными или несправедливыми. Ну а настоящую, не метафорическую, войну деревни и города (к которой планы Плужникова подводят вплотную) мы как-нибудь да минуем. Испугаются власти, опомнятся — все встанет по должным местам, крестьянина наконец признают главным человеком. Но, внимательно выслушав Плужникова и не вступив с ним в спор, старый Елисей Благодарёв говорит сыну: «Нужный мужик. Однако, Сенька, вот замечай: в которой посудине дёготь бывал — уже и огнём не выжжешь» (46).

Какое дело Елисею до революционного прошлого Плужникова, давно отставшего от прежних товарищей, заслужившего уважение хозяйственных мужиков и обстоятельно рассуждающего о том, что волнует и его гостей (цены, торговля, вмешательство государства в крестьянскую жизнь, сословная неправда)? Елисей ведь не профессиональный моралист. Но будь он согласен с Плужниковым до конца, не вспомнил бы обидную пословицу. Значит, старший Благодарёв расслышал в апологии крестьянского свободного мира какую-то неправду. И понятно какую — ту, что бросит летом 1917 года мужиков на захват чужой земли, создаст иллюзию торжества землероба и поможет укрепиться новой власти, куда более свирепой и ненасытной, чем старая. Против этой треклятой власти придется поднимать мужиц-

кое восстание, одним из вождей которого совершенно логично окажется Плужников. Война деревни и города примет самое зверское обличье. Ну а пойди русская история иначе, была ли бы эта война лучше? Да и успешнее для крестьянства?

В отличие от Плужникова, Роман Томчак у автора и читателей никаких симпатий не вызывает. Программа действий, изложенная в его докладе, надиктована корыстолюбием. Но ведь не им одним. Разве нет в соображениях Романа резонов? Разве должны настоящие хозяева разоряться? Разве и здесь не всплывает проклятая проблема города, который хочет все «надармачка»? Если б Роман говорил только неправду, если б не шла в других главах «Октября...» речь о бездарности продовольственной, торговой, заготовительной политики, если б нападки на аграриев не были так агрессивны и демагогичны, если б в городах поменьше бастовали, если б сочувственно слушали доклад Романа карикатурные «эксплуататоры» из советских учебников, а не люди, своим горбом достигшие богатства и много лет кормившие Россию, — тогда и толковать было бы не о чем. Но все ведь обстоит иначе: и Роман не дурак, и слушают его не дураки. А старый Захар Томчак, цену труду и деньгам знающий не хуже прочих, все же решительно отметает экономические расчеты говорливого сына простыми вопросами: «...як же вона («вийна набрыдлая». — *А. Н.*) кинчыця, хто б мэни насампэрэд сказав? Нэ прыйдэ ли Герман до Армавира?.. Як мы ось зараз сговорюемось та хлиба нэ посиемо (чтоб наказать власть и город, чтоб взять на другом барыш. — *А. Н.*) — то шо наша армия будэ на той год у рот пхаты?» (61).

Старики Благодарёв и Томчак инстинктивно ощущают, что в российском организме все связано со всем, что утверждение одной *правды* (или обогащение одной социальной группы) происходит за счет ущемления и принижения другой, а это не может не вести к надрыву целого. Особенно в военное лихолетье, когда силы страны и так каждодневно убывают. Они готовы и дальше терпеть беду, не только потому, что помнят о Боге,

но и потому, что с основанием боятся накликать худшую. Но таких людей всегда мало, и не им дано влиять на ход истории. Они будут жить «по старине» (что для них значит — по совести) до тех пор, пока чудовищная «новизна» не вломится в их дома.

Порядочный человек обычно убежден, что если он честно, грамотно и с полной самоотдачей выполняет свою работу (а заодно чужую, которую на него рады навалить и которую он тут же начинает считать своей), то и общее дело так или иначе наладится. Идет война, значит Томчак должен растить хлеб, Ободовский и Дмитриев обеспечивать производство траншейной пушки, Свечин планировать боевые операции, а Саня Лаженицын овладевать навыками офицера, выполнять приказы, сберегать и обучать солдат. Что они (и подобные им люди) и делают. Таких людей в России не так уж мало. (Всего обиднее, когда они оказываются не на своем месте, как описанный с явной симпатией большевик-рабочий Шляпников, вся глава о котором (63) криком кричит: он мог бы стать совсем другим человеком, не только отличным мастером — каким, несмотря на партийность, остался! — но и полезнейшим работником в широком смысле.) Они трудятся не покладая рук. Страна по-прежнему богата. Военное производство налаживается. Крестьяне собирают урожаи, которым завидуют другие воюющие державы. Кажется, стоит еще чуть-чуть потерпеть да поднапрячься, и все само собой образуется. Но почему-то результаты гораздо скуднее, чем предполагалось. Почему-то личные усилия работников оказываются недостаточными и не суммируются. Почему-то вместо победы, в которой совершенно уверен не склонный к шапкозакидательству и хорошо знающий реальное положение дел Свечин, Россию настигает революция. Ибо военные годы ничему не научили ни власть, ни общество (потому так важны обзорные главы 19' и 62'), а изрядную часть молчаливого большинства либо выбили, либо развратили.

Умные политики из разных лагерей угадывают приближение революции и понимают, что подобный раз-

ворот событий во время войны — тот еще подарок. Даже кадеты сейчас революцию не кличут — откладывают на после войны. Гучков — с одной стороны, московские монархисты, о проекте которых Нечволодов рассказывает Воротынцеву, — с другой, намереваются предотвратить катастрофу локальными переворотами (отрешив Государя от власти или, напротив, власть царя усилив, а Думу распустив). Неудачным течением войны озабочены все. Все более или менее вменяемые политические деятели видят тыловую неразбериху, расцвет мародерства и спекуляции, тяжелое положение городских низов, оскудение крестьянства, рост недовольства в низах. Да и гибнущих солдат тоже всем жалко. Обвиняют в происходящем друг друга и власть — это давно вошло в привычку. Но — и это еще страшнее — никто не хочет признать, что губят Россию не военные неудачи (которые, вообще-то, не так велики, которые — по грамотным расчетам — могут смениться успехами), а сама война. Сепаратного мира боятся чуть ли не больше, чем поражения. Измену видят именно в поисках мира (которых нет). И пожалуй, только в этом единодушны власть и общество, во всем остальном по-прежнему рвущиеся друг от друга.

Единственный, кто понимает, что войну надо кончать, что, даже выиграв ее, Россия проиграет свой народ, перестанет быть Россией, — полковник Воротынцев. Он многое угадал еще в дни самсоновской катастрофы. Выйдя из окружения, Воротынцев говорил Свечину не только о том, что война ведется бездарно (это Свечин и сам знает), но и о том, что она не нужна (А-14: 81). Потерпев поражение в «высших сферах» (тщетная попытка обратить внимание великого князя на суть случившегося, на причины гибели армии Самсонова — А-14: 82), Воротынцев «обрёк себя полку» (12), то есть стал одним из работников, чьи частные усилия должны (но не могут) обеспечить общий успех. И чем дольше воевал, видя, как изничтожаются солдаты, как не идут командованию впрок тяжелые уроки первых поражений, как во имя загадоч-

ных политических (союзнических) соображений совершаются нелепые и губительные операции, тем больше убеждался — «*не та* война» (12). Не карьерная неудача, а нарастающая день ото дня уверенность в том, что совершена роковая ошибка, давит душу Воротынцева, заставляет его все больше погрязать в службе (надо же делать хоть что-то), готовит его разлад с женой. (Алина не умеет понять драму мужа, а ему, привыкшему жену ласкать и щадить, да и не нуждавшемуся прежде в единодушии и сочувствии, в голову не приходит Алине открыться.) В «Октябре...» Воротынцев, почувствовав, что тревожно уже не ему одному, бросается в Петроград, надеясь найти там единомышленника — только более умного, того, кто знает, что теперь должно делать, и даст полковнику надлежащую команду. Но такого человека в России нет. Все, до кого Воротынцев пытается донести свою боль (Шингарёв и его «кадетствующие» гости, Свечин, Гучков), боли этой почувствовать не умеют.

Воротынцев производит сильное впечатление на Андозерскую, но как потенциальный рыцарь трона, а не как человек, убежденный в губительности войны и необходимости кончить ее как можно скорее. Страсть, на которую ушли петроградские дни Воротынцева, помешала ему вовремя встретиться с Гучковым. Монархистские монологи возлюбленной поколебали (но не отменили вовсе) неприязнь полковника к царю, недостойному своей миссии. Необходимость поспеть на день рождения жены, перед которой Воротынцев чувствует себя виноватым, тоже работает против вхождения полковника в гучковский заговор. Но двух женщин тут было бы мало. Проблема в том, что Гучков хочет добиться царского отречения для того, чтобы дальше вести войну — до теперь (если все пройдет по плану) уж точно скорого победного конца. Как кадеты. Как Свечин, предлагающий Воротынцеву вернуться в Ставку, то есть на позиции 1914 года. Как сам Государь, и не помышляющий о сепаратном мире. Даже в плане монархистов, резко недоброжелательных к демократическим союзни-

кам России, нет и намека на поиск путей к заключению мира. Воротынцев, вслушиваясь в рассуждения Нечволодова о неестественности союза, в который оказалась включенной Россия, думает: «Центральные державы боятся, что мы будем объединять славян, и потому вынуждены воевать против нас. Зачем мы о славянах так нерасчётливо кричали десятилетиями? И зачем мы это тянем непосильно и сегодня?» (68).

И понимает, что рыцарственному защитнику самодержавия (и всякого самодержца, и этого царя, который не в силах даже услышать своих верных слуг) ответить здесь нечего.

Война — неотменяема. Вопрос только в том, как ее вести дальше: по-прежнему (Свечин), укрепив венценосца (Нечволодов), сменив его другим (Гучков), введя «ответственное министерство» (кадеты). Ни одна из стратегий (кроме, быть может, свечинской, основанной на доверии к естественному порядку вещей, который, впрочем, давно стал противоестественным) не додумана до конца, не просчитана в деталях, не готова к осуществлению на практике. А революция — готова.

Отречение Государя, которое Гучков примет 2 марта 1917 года, — следствие не гучковского заговора (так толком и не составившегося), что должен был переиграть революцию, а самой революции. Заговор монархистов тоже должен был одолеть революцию, которая, по слову Нечволодова, «уже пришла», но все же может быть разгромлена, коли найдется триста «верных». Не нашлось. Штюрмер (а кто вернее? на остальных приближенных императора даже не надеялись) побоялся подать царю письмо защитников трона. Побоялся, потому что, как замечает Воротынцев, самому пришлось бы «клятву смерти давать» (68). Два заговора, в которые зовут Воротынцева уважаемые им и бесспорно достойные люди, одинаково фантомны и бессмысленны. Не нашлось в России настоящего государственника, готового жертвовать собой, наделенного твердой волей и широким миропониманием (вот и вспоминает Воротынцев в раз-

говоре с Нечволодовым убитого Столыпина и ненависть к нему «правых»). Не нашлось политика, который расслышал бы в речах Воротынцева единое чувство молчаливой России, — *нужен ми*р. Не нашлось ни среди бюрократов, ни среди общественных деятелей, ни среди генералов человека, который бы догадался, что времена заговоров, комплотов, комбинаций, закулисных интриг уходят в прошлое, что и раньше они не слишком сильно влияли на ход истории, а в XX веке — тем паче. Мы и сейчас принимаем эту мысль с великим трудом.

Революция в России произошла не потому, что Парвус стакнулся с германскими властями. Это «прозорливые» (на шаг вперед считающие, как жестоко показала история — не дальше) германские политические игроки позволили Парвусу наживаться на «русском революционном проекте», потому что почуяли: революция уже подготовлена (войной, давним разладом власти и общества, еще более давним отпадением господ от народа[17]), и ее роды имеет смысл простимулировать. В фантастическом цюрихском диалоге (болезненной галлюцинации Ленина, после которой он, вроде бы загнанный в угол, вновь обретает пошатнувшуюся днем уверенность) каждый из монстров-собеседников сохраняет верность себе.

Парвус не Сатана, вдохновляющий-соблазняющий Антихриста, и не ночной гость Ивана Карамазова, предъявляющий измученному совестью герою его собственные мысли, только в самом гадком и пошлом виде. У Парвуса *свои* мысли. Ленин не зря задается вопросом, социалист ли его союзник-соперник, и верно решает: нет, не социалист. Грандиозные аферы, конструирование циничных и захватывающих планов, готовность действовать заодно с кем угодно, фанфаронское хвастовство (да кто же сможет разобраться, по чьей команде шли забастовки и был взорван линкор «Императрица Мария», — на то и смута, чтобы каждый мог приписать успех себе), даже аффектированная ненависть к России (без которой не уловишь германский Генштаб) — все это служит одной цели: обогащению. Конечно Парву-

са веселит и сам лихо раскручиваемый процесс, конечно он авантюрист высшей марки, конечно разваливать Россию ему отрадно (и очень похоже, что мстительное чувство к «бывшей родине» свою роль здесь играет), но все это вторично. Первичны — деньги. Деньги, которые будут служить не мировой революции, а ему, Парвусу. Потому и нечего стыдиться ни собственного неведомыми путями обретенного капитала (как бы ни вертели носами чистоплюи, в итоге и их можно купить), ни связей с германским государственным аппаратом. Революция в России уже приносит солидные дивиденды, а принесет еще большие. Вот пусть Ленин, у которого есть железная партия и не менее железная воля к власти, ее и раскочегаривает (как Троцкий в 1905 году), а не киснет в скучном Цюрихе, где никакой революции не разожжешь и, стало быть, никак не обогатишься. (Стезя обычного буржуя Парвусу скучна и тесна.) Парвус действительно не социалист, а... мошенник. Так самоаттестуется в «Бесах» Петруша Верховенский, тоже обещавший поджечь всю Россию в твердо установленные сроки и тоже превыше всего ставивший личный комфорт. Революция и Ленин нужны Парвусу как «орудия». Он соблазняет будущего председателя Совнаркома не для того, чтобы завладеть его душой, а потому, что без Ленина гешефт получается не таким масштабным, как хотелось бы.

А Ленин не желает служить кому-либо. Он понимает, что без денег революции не сделаешь, он готов их брать (только скрытно), но подчиняться никому не намерен. Его стремление к расколам принципиально — лидерство важнее всего, а вождем может и должен быть только он. Ленин убежден, что идея рано или поздно станет властью. Революция сделается сама собой (пусть Парвус трудится в России, а швейцарские левые социалисты раскачивают свою игрушечную республику) — тогда придет он. Ничем не замаранный. Всегда отвергавший и сейчас отвергающий любые компромиссы. Вооруженный самым передовым учением. Поговорка «ПО МНЕ ХОТЬ ПЁС, ЛИШЬ БЫ ЯЙЦА НЁС» (44) в равной мере может

считаться девизом Парвуса и Ленина. Только Парвус, верящий в одни лишь деньги, произносит ее во весь голос, а Ленин, верящий исключительно во власть, слитную с «единственно верной» идеологией, — про себя. Не только потому Ленин отвергает фантастическое предложение Парвуса, что на самом деле нет у него в России настоящей организации (какова ленинская партия, хорошо видно по шляпниковской главе 63), но и потому, что не желает вождь мирового пролетариата валяться в «гинденбурговой грязи» (50), быть явно обязанным хоть германскому Генштабу, хоть роскошному международному аферисту. Вот почему его поражение в фантастическом споре становится победой. Яйца будет нести пёс Парвус. Выгорит — хорошо, нет — не сошелся клин на России. Есть Швейцария. (Еще и Швеция чуть позже в ленинские планы войдет.) Нельзя делать одну ставку, нельзя отказываться от европейских вариантов разжигания мировой революции. Царь может заключить сепаратный мир с Германией и тем угробить весь план Парвуса (50).

Мысль о возможном заключении сепаратного мира приходит к Ленину еще до фантастической встречи (мысленного спора) с Парвусом, в библиотеке, где он вспоминает лживую заметку Радека в «Бернер тагвахт» о якобы уже тайно идущих российско-германских переговорах:

...для царя это действительно верный выход! Именно так и надо бы ему!

И поэтому надо — ударить! Ещё ударить в это место! Бить тревогу! Остановить! Предупредить! Не дать ему вытащить из капкана все лапы целыми!

Конечно, от Николая II и его правительства следует ждать всего самого глупого. Ведь и этой войны нельзя было ждать от них, если б сколько-нибудь были разумны, — а начали! а — сделали нам такой подарок!

<...>

Сепаратный мир! Конечно, исключительно ловкий выход. Но всё-таки: не по их уму.

(44)

Ленин, увы, прав, хотя сам в данном случае в правоту свою верит не до конца. Что тоже работает против Парвуса. Конечно, если сепаратный мир будет заключен, то и швейцарским планам конец. «Тогда проиграно — всё» (44). Но так думалось утром, а сейчас — после одоления Парвуса, после утверждения своей самодостаточности — эту пораженческую мыслишку можно откинуть. Какая-нибудь лазейка найдется — для того, кто использовал мошенника, но сам остался революционером.

Ленин действительно переигрывает своего визитера. Парвус строит заговор, в котором реальность мешается с химерой. Ленин, проглядевший нарастание революции в России, сумеет ее в нужный момент оседлать. Работать будут другие (включая Парвуса). Ленин придет на готовое — и возьмет власть. Ленин победит потому, что о мире как мощном препятствии для революции, о мире как ступени к преодолению затяжного национального кризиса, о мире, который может сберечь народ и страну, никто из вершителей российской судьбы не думает.

Думает частный человек (хоть и на государственной службе состоящий) — полковник Воротынцев. Думает — и ничего не может сделать. Он нужен всем (Свечину, Гучкову, Нечволодову, да и Шингарёву глянулся); его прозрение — никому. Воротынцев обречен выслушивать полуправды своих собеседников, частично принимать их резоны (а они есть у всех), фиксировать слабые места (это еще проще) и оставаться в одиночестве. Разные политические силы тянут его в разные стороны — как две женщины, которых Воротынцев, как ему кажется, любит. Быть может, Ольда Андозерская преувеличивала, говоря, что «в делах сердечных нужна твёрдость и решительность несравненно большая, чем в государственных» (29), но что нужна немалая — Воротынцев начинает догадываться. Только нет у него твёрдости и решительности. Нет мира с самим собой. Нет ясного видения будущих действий. Личная драма Воротынцева организует повествование, доминируя над остальными, так или иначе с ней соотнесенными любовно-семейны-

ми историями, и описывается детальнее и обстоятельнее прочих потому, что неожиданно обнаружившийся внутренний разлад этого персонажа — лучшего человека своего времени, цельного, благородного, мужественного, свободно и ясно мыслящего, не скованного партийными пристрастиями и сословными предрассудками, — рифмуется с общим разладом русской жизни начала XX века.

Конечно, семейные драмы происходили всегда — вне зависимости от социальных потрясений. Конечно и на страницах «Октября...» мы видим картины семейного счастья. Конечно, революция в России случилась совсем не из-за того, что полковник Воротынцев пленился Ольдой Андозерской, изменил жене, признался ей в содеянном и принялся выяснять отношения. Тут не банальная аллегория, а сложная, мерцающая, сама себя оспаривающая метафора. Возлагать вину за революцию на одного запутавшегося в чувствах Воротынцева было бы попросту смешно. В том и дело, что виноваты все, в первую голову — высшая власть и общественные лидеры, в чем убеждают не только обзорные главы, но и целое Второго Узла. *Общее* и *личное* не причинно-следственными отношениями связаны, но растут из одного корня. Нельзя объяснить торжество революции отдельными ошибками отдельных исторических деятелей. (Но и снисходительно махнуть рукой на эти ошибки, списать все на *силу вещей*, то есть признать неизбежность нашего низвержения тоже невозможно.) И точно так же нельзя *вывести* личную историю Воротынцева только из войны, которая разлучила его с женой, нагрузила тяжелыми думами, изменила прежнего — в общем довольного жизнью — человека. (Благодарёву война тоже не в радость, а Катёну он любит.) Или — из бездетности. (Детей нет и у Ободовских, а счастливы.) Или — из семейной традиции (печальный закат ставших друг другу чужими родителей). Или из общей *свободы нравов* интеллигенции. (Какое до нее дело живущим душа в душу Шингарёвым?) Судьбу человека выковывают не только внешние обсто-

ятельства, но прежде всего он сам. Его верность свободе. Его способность любить и доверяться своему чувству. Его ответственность за совершаемые поступки. Тот «с т р о й д у ш и», «нич-чего дороже» которого, по словам Варсонофьева, «для человека нет» — «даже блага через-будущих поколений» (А-14: 42). Судьбу страны определяют живущие в ней люди, и не в последнюю очередь она зависит от того, как каждый из этих людей обходится со строем своей души.

Души большинства персонажей «Октября...» расстроены. Как и страна, в которой они родились, выросли, предполагали жить, страна, которую не сумели сберечь. Не в том беда, что Воротынцев предпочел *личное общественному*. (Да он и не предпочел. Само вышло. Не нашлось знамени, под которое можно было бы встать.) И не в том, что он увидел в Ольде суженую, женщину из сна в Уздау (очень похоже, что ошибочно, — этот мотив аккуратно, отнюдь не безоговорочно, проводится в Третьем и Четвертом Узлах), и забыл (на несколько дней) о законной Алине. Беда в том, что он хочет примирить то, что примирить невозможно. В том, что день за днем утрачивает цельность. В том, что не может отдаться нахлынувшему счастью или от него навсегда отказаться. В том, что не умеет спросить себя: «Кого я люблю? И люблю ли?»

До этого вопроса Воротынцев додумается только в Четвертом Узле (А-17: 173). Революция разразится раньше.

Ее не сумеют предотвратить ни Государь, нежно и верно любящий жену, но не умеющий обустроить свой дом, ни истерзанный семейными неурядицами Гучков, ни одинокий Нечволодов, ни образцовый семьянин Шингарёв, ни всегда поддерживаемый своей Нусей вечный труженик Ободовский, ни уверенный в неизбежной победе, лихо решивший *личную проблему* Свечин. Никто. Включая Воротынцева, которому было дано дважды — в Уздау и в фешенебельном столичном ресторане — увидеть Красное Колесо и если не вполне

разгадать, то почувствовать роковое значение этого страшного символа. Он, глубже других видящий суть происходящего, тверже других готовый действовать (и в силу того особенно любимый автором и читателем), в роковые дни оказался *одним из многих*, а не *единственным*, которого, увы, не нашлось. И сходно получилось в *личной* истории Воротынцева, пока никак не разрешившейся, но уже оставившей, по слову исповедовавшего Зину Алтанскую священника, «струпья на сердце» (75). Истории едва ли не самой обыкновенной в нашем земном уделе.

Примечания

1 Вероятно, не в последнюю очередь, писатель хотел здесь обратить внимание на жанровые (а соответственно и общепоэтические, и смысловые) различия меж его крупными сочинениями — «Раковым корпусом» (повесть) и «В круге первом» (роман, если уж нет другого слова). Напомню, что «жанровый экскурс» возникает в связи с эпизодом в редакции «Нового мира»: автору предлагают «для весу назвать рассказ («Один день Ивана Денисовича»; вернее, еще «Щ-854». — *А. Н.*) повестью». Тогда Солженицын согласился, но задним числом счел редакторское решение и свое согласие ошибочными: «Зря я уступил. У нас смываются границы между жанрами и происходит обесценение форм».

2 *Солженицын А.* Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1997. Т. 3. С. 489—495 (особенно 492—493); 210—224 (особенно — 220—224).

3 Не говоря о двух главных линиях (Анна — Вронский и Кити — Левин) и служащей связующим звеном семье Облонских, напомним, что в романе Толстого представлены: несостоявшееся соединение «бесполых» Кознышева и Вареньки; преданность «дурной» сожительницы беспутному и несчастному Николаю Левину; духовные утешения Каренина с графиней Лидией Ивановной; узаконенный велико-

светский разврат; «женский вопрос» (обсуждается в доме Щербацких); молодайка, встреченная Долли на постоялом дворе, что без печали говорит о смерти своей дочери; ревность Левина к Васеньке Весловскому; обыкновенная счастливая жизнь в замужестве за Львовым средней из сестер Щербацких (она не описана подробно, но отчетливо обозначена); семейные заботы художника Михайлова... — список может быть продолжен.

4 *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1963. Т. 8. С. 7.

5 Благодетелем Арсения стал, как явствует из реплики подполковника Бойе, заменивший командира бригады полковник Смысловский, который «может отпустить (и отпустит. — *А. Н.*), на свой риск» (2). Смысловский — один из братьев, семью которых посещают Воротынцев с Алиной; в этом эпизоде упомянут и командир Лаженицына и Благодарёва: «Вот, Михаила жалко нет» — ансамбля без него, виолончелиста, не составить. «Так это сказал — “Нет Михаила” — будто не шла Великая война и Михаил не командовал сейчас Гренадерской артиллерийской бригадой, а лишь вот на час отлучился» (58). Перед нами пример незаметного соприкосновения судеб персонажей: Воротынцев был с Благодарёвым в дни самсоновской катастрофы и помог солдату перейти в артиллерию, Благодарёв служит под началом Лаженицына, но сами главные герои «Красного Колеса» не знакомы; Благодарёву невдомек, что полковник, с которым он выходил из окружения, приятельствует с братьями полковника, который отпустил его домой. Этот — принципиальный для «повествованья в отмеренных сроках» — художественный прием подробно охарактеризован в главе I.

6 Главой раньше жизнелюб Чернега размышляет, идти или не идти ему к сударке, выдает как общее суждение о женском поле («Да у баб рази — как у нас? А отчего, ты думаешь, они весёлые или хмурые? да всё от этого, было или не было»), так и частное — похабщину о царице и Распутине (3). Ниже тот же Чернега полушутливо соблазняет Благодарёва не мечтать об отпуске, а перейти в его взвод («Будем до баб вместе ходить») и посмеивается над жела-

нием Арсения увидеть детей: «Фу-у, добра! Да новых сделаем, старых забудешь» (4). Эти мотивы отзовутся в каменских эпизодах.

[7] Томятся все (если не касаться патологических случаев), но ведут себя солдатки неодинаково. Тут уместно вспомнить историю няни Воротынцевых, у которой после кончины мужа (вдруг стал солдат Иван Тихонов «не жив», хотя «войны никакой не было») вся «личная жизнь» кончилась. Совсем молодой была, легко могла бы выйти замуж, родить сына, взамен Архипушке, который вскоре последовал за отцом, а провековала весь свой век в людях, при чужих детях (18).

[8] Впрочем, декадентский рисунок эпизода (соотносящий его с рядом петроградских сцен) заземлен другой скрытой цитатой. Сквозь «Уже очень ему досаждало, что отец всё слал его в земскую школу, и переростком. И никак он там не справлялся кончить науки» (45) отчетливо слышится чистосердечное признание «героя на все времена» Митрофанушки Простакова: «Не хочу учиться, хочу жениться».

[9] Страшный конец — участь многих персонажей «Красного Колеса», но Солженицын далеко не всегда сообщает о нем читателю. Иногда в том нет необходимости — кто же не знает, что сталось с царской семьей. Потому тревожные раздумья государыни о будущей участи дочерей (64) воспринимаются в двойном свете. С одной стороны, читатель, узнавая о действительно сложных — и редко обмысливаемых — матримониальных проблемах царского дома, сочувствует Александре Фёдоровне, а еще больше — великим княжнам, которым труднее, чем кому-либо, достичь человеческого счастья. С другой — помня о екатеринбургском убийстве, невольно воспринимает предреволюционные раздумья царицы как мелкие, недальновидные, барские. Об этом ли думать надо было? Но ведь и об этом — тоже. Материнские чувства невозможно отменить, даже если страна катится в пропасть, а политического ума Бог не дал! Ничего не говорится и о страшном конце Шингарёва, убитого пьяной матросней в больничной палате ночью с 7 на 8 января 1918 года. Меж тем, хотя дикая расправа с бывшими министрами Временного правительства (вместе с Шингарёвым

погиб Ф. Ф. Кокошкин) потрясла Россию, в 1970-е годы, когда шла работа над «Октябрем...», факт этот был известен немногим. (Да и сейчас так.) Правда, описывая думское заседание (23 февраля 1917), Солженицын называет выступавшего там Шингарёва «закланцем нашей истории» (М-17: 3'), но намек его далеко не всем внятен. И о самоубийстве генерала Крымова (в пору так называемого Корниловского мятежа) сообщено только в конспективном изложении Узла Шестого («Август Семнадцатого»), но не там, где Крымов появляется (А-14: 16) или значимо упоминается (42). А вот о гибели удивительного инженера-оборонца-революционера сказано не только в «Замечаниях автора к Узлу Второму» (здесь назван прототип — Пётр Акимович Пальчинский), но и в тексте: «и расстреляли чекисты Ободовского» (31). Это (в скобках данное) сообщение введено в гвоздевскую главу, входящую в ту «сплотку», которая начинается на рабочем месте Ободовского (Дмитриев обсуждает с ним отказ обуховцев от сверхурочных), а завершается поцелуями Матвея и Верони.

10 Эпизод ожидания революции (в октябре 1916 года — не выявившейся) отзовется в следующем Узле. 26 февраля в квартире Шингарёва нежданно появится Струве и скажет: «Надо идти». Ибо что-то начинается. Шингарёв двинется с ним пешком (трамваи уже не работают, извозчиков нет). Оглянет с Троицкого моста великолепную (тщательно прописанную) панораму города, празднично освещенного зимним солнцем. Выслушает монолог Струве о свободе, в которой должна звучать вся русская история. «Иначе это не свобода будет, а нашествие гуннов на русскую культуру». Почувствует что-то особенное. «Однако — нигде ничего не происходило <...> Нигде ничего не происходило — и жаль. И — жаль было Шингарёву: опять победила власть, и опять потащит Россию по старой колее» (М-17: 44; эпизод подробно рассмотрен в главе III). Знал бы он, как страшно ошибается. Куда сильнее, чем его преждевременно обрадовавшиеся гости четыре месяца назад.

11 Презрительная оценка Милюкова-историка звучит и из уст Андозерской (29); есть основания полагать, что суж-

дения эти близки автору, но все же следует учитывать, что высказывают их *персонажи*, наделенные определенным идеологическим кругозором и конкретными человеческими чувствами. Андозерская и Варсонофьев не могут не проецировать Милюкова-политика на Милюкова-историка (все же не случайно бывшего любимым учеником Ключевского), не могут не испытывать толики ревности «неудачников» к успешливому «карьеристу». Укажу еще на две сходные ситуации. Когда Государь иронично оценивает исторические труды великого князя Николая Михайловича, нельзя игнорировать личные мотивы этого мнения. Во-первых, император предчувствует неприятный разговор и давно дядюшкой раздражен (не без причины); во-вторых, он сам увлечен русской историей. Но не иметь «лучшего предмета для чтения и размышления» и заниматься наукой суть разные вещи. Николай Михайлович ведет разговор не лучшим образом (впрочем, видим мы его глазами Государя), но и в этой беседе обнаруживает чутье историка. Его сравнение безукоризненно умеющего себя вести и располагать к себе людей, но мнительного, склонного менять решения и откладывать важнейшие проблемы на потом Николая II с другим «великим шармёром», Александром I (69), совсем не бессмысленно. (Напомню, что «уклончивая» политика Александра Благословенного — как в отношении тайных обществ, так и в вопросе о престолонаследии — поставила Россию на грань смуты. Великий князь Николай Михайлович занимался преимущественно Александровской эпохой. И довольно успешно.)

Когда отец Северьян (высказывающий немало глубоких мыслей) утверждает, что Толстой «никогда в православии *не был*», — это тезис спорный, но его ссылка на «Войну и мир» просто неверна: «Уж такую быль богомольного народа поднимать, как Восемьсот Двенадцатый, — и кто и где у него молится в тяжёлый час? Одна княжна Марья?» (5). Пережив курагинскую историю и длительную болезнь, говеет и молится Наташа; причастившись, «она в первый раз после многих месяцев почувствовала себя спокойной и не тяготящеюся жизнью, которая предстояла ей». Следующая

глава посвящена обедне в домовой церкви Разумовских, где, слыша возглас священника «Міром Господу помолимся», Наташа думает: «Міром, — все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью — будем молиться». Перед Бородинским сражением поднимают икону Смоленской Божьей Матери, на которую «одинообразно жадно» смотрят солдаты и ополченцы, серьезное выражение чьих лиц поглощает все внимание Пьера. Молится с детской страстностью в Воронеже Николай Ростов, пусть и «умиленный воспоминаньями о княжне Марье», — и его молитва действительно не о пустяках, он просит Бога (сам того не вполне понимая) не столько о разрешении своих отношений с Соней, сколько о счастье всей будущей жизни. Денисов, возглавив партизанскую партию, не только надевает чекмень и отпускает бороду, но и носит на груди образ Николая Чудотворца — и это не кажется барским маскарадом, подыгрывающим народным чувствам. Услышав об оставлении Москвы французами, Кутузов «повернулся <...> к красному углу избы, черневшему от образов.

— Господи, Создатель мой! Внял Ты молитве нашей... — дрожащим голосом сказал он, сложив руки. — Спасена Россия. Благодарю Тебя, Господи! — И он заплакал» (*Толстой Л. Н.* Указ. соч. Т. 6. С. 84, 87, 222—223; Т. 7. С. 35, 160, 131). Не касаюсь здесь более сложных ходов (вера Платона Каратаева и ее воздействие на Пьера). Захваченный полемикой с действительно антицерковным учением Толстого, отец Северьян читает (помнит) «Войну и мир» весьма пристрастно.

12 Еще одна версия семейного счастья представлена домом Смысловских, куда Воротынцевы приходят, дабы отвлечься от ворвавшегося в их жизнь разлада (узнавшая об измене мужа Алина не может провести вечер в своем «гнёздышке»). Удивителен (слово то ли Воротынцева, то ли автора) состав дружного семейства, обретающегося, как положено хорошему московскому дворянству, в одном из арбатских переулков («близ Сивцева Вражка, прямо против церковушки Афанасия и Кирилла»): «тут не было ни одной брачной пары, ни одного ребёнка, а — незамужняя сестра и, млад-

ше её, трое холостых, совсем не молодых братьев», но трое остальных (женатых) «приезживали гостить с внуками» (58). Здесь политические убеждения значат много меньше, чем профессиональная общность (артиллеристы и математики), музицирование, всякого рода увлечения (от кулинарии до фотографирования) и, разумеется, семейственная приязнь. Да, об *общественных вопросах* за столом говорят, явно левую курсистку принимают приветливо, но уже при первом появлении Алексея Смысловского (в Первом Узле) сказано, что покойного тестя своего, генерала Малахова, подавившего в 1905 году московское восстание, он «очень уважал» (А-14: 21). Теперь же выясняется, что сын Алексея «и монархист, и националист (как вспомнившийся Смысловскому Нечволодов, «вояка — замечательный». — *А. Н.*), и недоволен отцом» (58), но почему-то это недовольство не кажется слишком горячим. Странная, обаятельно хаотичная, но счастливая семья Смысловских ненавязчиво сопоставлена с обаятельно правильной (и совершенно единой) семьей Шингарёвых. У «чужих» (кадетских интеллигентов) Воротынцев приметил живое и доброе (в самом Шингарёве, в славных девочках); у «своих» столкнулся с неожиданностями (офицеры подтрунивают над монархизмом и сочувствуют «общественности»). Следствием ознакомительно-делового визита и напряженно-тревожного вечера (внутренний спор с собравшимися во время рассказа о войне, обманчивый сигнал о начале смуты) стала неодолимая и поднимающая дух любовь к Ольде. Вечер, который должен был успокоить Алину (и вроде бы удался), в итоге только растравил ее душевную рану, после него она и сорвалась в Петроград: «посмотреть на твою красавицу-интриганку» (59). По-другому семейство Смысловских (круг Воротынцева) соотнесено с окружением Алины. Предшествовавший отъезду Воротынцева в Петроград музыкальный вечер у Мумы лишен семейной теплоты, пропитан «политическими» сплетнями, аффектированно современен и претендует на изыск (11). Мы знаем, что Сусанна Корзнер замужем за известным адвокатом, что у них есть восемнадцатилетний сын, что у Корзнеров

роскошная квартира, автомобиль, ложа в Большом театре, что здесь придерживаются левокадетских (если не еще более радикальных) взглядов, что Корзнер грозит «абсолютно безнадёжной» власти, которая ничего другого понять не может, «кулаком» (8), а Сусанна остро переживает «еврейский вопрос» и гордится своим народом (9), но о личных отношениях супругов не говорится ни слова — это «никакая» семья, хотя Сусанна упоена своим положением и поминает легенду о кольце Поликрата. Сопоставив дом Смысловских и близкий круг Алины, понимаешь, что расхождение Воротынцевых и до роковой встречи Георгия с Ольдой было достаточно серьезным. Более глубоким, чем казалось что-то смутно угадывающей Алине.

13 Воротынцев прощается с женой на могилёвском вокзале 5 мая 1917 года. Судя по некоторым намекам — навсегда. Но намеки эти сознательно затуманены автором. Нельзя понять, по воле ли Воротынцева расставание окажется окончательным, доведет ли дело до конца Алина (Георгий вспоминает ее слова *«Нам не жить»* и соглашается: «она угадала») или за супругов все решит судьба, то есть бушующая вовсю революция.

«Со всем, со всем нам придётся расстаться: и друг с другом, и с этим последним солнцем, и с этим городом, и с этой страной.

И может быть — скоро...» (А-17: 173). В завершающей «Красное Колесо» главе Воротынцев, пытающийся с могилёвского Вала разглядеть грядущее, Алину не вспоминает (А-17: 186).

14 Мотивы болезни Гучкова, семейного разлада, толкающего его на резкие действия, и необдуманности заговора будут развернуты в Третьем Узле. В самый канун событий оставшийся один дома Гучков вспоминает о своей упущенной любви — к великой актрисе Вере Комиссаржевской (Гучков любил ее, но «...велеть — “иди за мной!” — никогда не мог. Не смел» — слишком уважал творческую личность, идущую своей дорогой). Она и сосватала Гучкову (понимая, что у него тоже великий путь, движению по которому решающая свои задачи женщина только помешает) люби-

мую подругу — Машу Зилоти, ставшую крестом Александра Ивановича (М-17: 39). Вымогать у царя отречение Гучков бросается еще и потому (конечно, это не единственная причина!), что нет сил переносить мрачную жену (М-17: 326). Уже в вагоне, обсуждая предстоящее нешуточное дело с Шульгиным, он спохватывается: год намереваясь добиться отречения, не выяснил, что говорится о том в «династических правилах», не задумался о прецедентах, не выстроил в уме самой процедуры (М-17: 326). Нездоровье Гучкова — лейтмотив и «Марта...», и «Апреля...».

15 В связи с Верой подробно разрабатывается мотив тихого разлада Воротынцевых-родителей в старости, бегло упомянутый в Первом Узле: «...что ж это было между мамой и папой? Как будто не взрыв, не ссора, не раскол — но стали обособляться, разделяться душевный мир того и другого, сосредоточиваться каждый отдельно. Как будто и поцелуи, как будто и ласковые обращения, но что-то из них ушло? — вероятно, им двоим очень заметно, но не названо» (18; ср. А-14: 13). Трудно дается любовь этой семье.

16 *Толстой Л. Н.* Указ. соч. Т. 10. С. 433.

17 Потому, рассказывая о «кадетских истоках», Солженицын находит должным напомнить и о ломавших национальный уклад преобразованиях Петра, и о трагедии церковного раскола (7').

Глава III

ТОРЖЕСТВО СОБЛАЗНЕНИЯ: «МАРТ СЕМНАДЦАТОГО»

«Мартом Семнадцатого» Солженицын завершает Первое Действие «повествованья в отмеренных сроках». Почему? Ведь формально «революция» (а Первое Действие названо именно так) только началась, многим политическим игрокам кажется, что стихию можно остановить или направить в должное русло, будущие хозяева страны не вышли на первые роли, Ленин только готовится совершить бросок из Швейцарии, весы истории вроде бы колеблются, обычные люди пытаются жить и чувствовать по-старому. И все же оказавшийся последним Узлом «Апрель Семнадцатого» отнесен автором к Действию Второму, к «народоправству». Да и обрыв повествования на апрельских событиях 1917 года стал для автора «Красного Колеса» оправданным художественно потому, что главное уже произошло и описано. Как *пришла* революция в Россию во второй раз — после репетиции 1905 года — с началом мировой войны (об этом «Август Четырнадцатого», не увертюра или пролог, но полновесный зачин Первого Действия), так и *победила* она (жестко определив дальнейший страшный ход событий) на рубеже февраля и марта. Как явление революции, ее прикровенное, но мощное вторжение в российское бытие, осталось для большинства современников (и персонажей «Красного Колеса») незамеченным, так и ее торжество, отменяющее не один только порядок правления,

но весь жизненный уклад, почти никем не было осознано. Не только тогда, но и сейчас, век спустя.

Мы привыкли считать точкой перелома Октябрьский переворот. Такая трактовка новейшей русской истории объединяет убежденных идеологических противников. Ей привержены те, кто поднимал и поднимает на щит коммунистическую доктрину и «невиданный эксперимент» Ленина. Из нее же исходят те, кто видят в Феврале символ загубленной русской свободы, а в промежутке между свержением монархии и большевистской узурпацией власти — едва ли не лучший период отечественной истории, попутно сокрушаясь об «упущенных возможностях» и сетуя на якобы извечную предрасположенность России к тирании и рабству. Историческая концепция «Красного Колеса» в равной мере противостоит обоим изводам этой мифологии, ложность которой Солженицын вполне осознал в ходе работы над «повествованьем в отмеренных сроках». В том романе о русской революции, ее причинах и следствиях, который юный Солженицын задумал в 1936 году, Октябрь предполагался пунктом кульминационным. Сходно обстояло дело и в 60-х, когда писатель смог вновь обратиться к своему заветному замыслу. В это время у автора «Архипелага...», разумеется, не было и малейших иллюзий относительно большевиков и совершенного ими захвата власти, но переоценка всего исторического процесса второй половины XIX — начала XX века тогда еще не произошла. Гражданская война и становление-укрепление бесчеловечного тоталитарного государства (о которых Солженицын намеревался рассказывать весьма подробно) должны были предстать продолжением *октябрьской* революции, а участие России в Первой мировой и крушение самодержавия — ее предысторией. Двухтомная редакция «Августа Четырнадцатого» (разросшегося за счет принципиально значимых ретроспективных глав, посвященных Столыпину и Николаю II) и «Октябрь Шестнадцатого» существенно изменили перспективу — глубинные причины национальной катастрофы

отодвинулись в прошлое (причем не только ближнее; не случайно в главе о «кадетских истоках» Солженицын упоминает «немецкие переодевания Петра» и «соборы Никона» — О-16: 7’), а предыстория революции обернулась ее незримой историей.

Затишье «Октября...» чревато гибельным срывом, который предчувствуют и надеются (каждый по-своему) предотвратить столь разные персонажи, как готовящий дворцовый переворот Гучков (О-16: 40—42) и грезящий о сплочении монархистов вокруг Государя (по сути, о другом спасительном заговоре) генерал Нечволодов (О-16: 68). Утверждение Нечволодова о том, что революция уже пришла, произнесено не слишком рано, а слишком поздно.

В отличие от персонажей Второго Узла, доверяющий автору читатель ясно понимает, что все главные силы будущих событий уже к ним готовы. В народе (на фронте, в деревнях, в городах), истомленном тягучей войной и сопутствующими ей несправедливостями, растет чувство обиды на господ (а заодно в деревне — на город, в городе — на верховную власть). Общество негодует на бездарное (а оно и впрямь таково) правительство и дурной ход войны, изощряется в вымыслах об «измене» (которые, падая на народную почву, дают непредвиденно ядовитые всходы) и мечтает о часе, когда его кумиры обретут власть, устранят тупых бюрократов с циничными проходимцами (а коли придется, то и незадачливого царя) и поведут свободную Россию в светлое будущее. Облеченные властью сановники не умеют ни расслышать тех здравых соображений, что иногда исходят от оппозиции, ни приструнить зарвавшихся, изо всех сил стремятся одновременно не удручить императора и не рассориться с общественностью, худо-бедно исполняют свои прямые обязанности и почти не думают о том, что же — на третьем году жестокой войны — происходит с тем самым народом, который почитается главной опорой престола (словно не было грозной бури 1905—1907 годов). Государь полагается на преданных слуг (а если

кто-то из них поступает недолжным образом, сетует на человеческую слабость и собственную доверчивость), презирает чуждых народу (и он прав!) интеллигентных смутьянов и верит, что простые русские люди бесконечно любят своего монарха, а ничего непоправимо страшного с его страной случиться не может. При таком раскладе грандиозный пожар может полыхнуть и от копеечной свечи. Вернее — от свечи, которая кажется копеечной.

И вовсе не жалкой (тогда!) кучке ленинцев выпадет ее зажечь. На второй день петроградских хлебных волнений Шляпников изумленно думает: «Полфевраля большевики звали рабочих на Невский — те не шли. И вдруг вот — сами попёрли, незваные. Нет, стихия народа — как море, не предскажешь, не управишь» (22).

Теоретик Гиммер, который вскоре с азартом примется изобретать политические комбинации («строить» революцию по марксистским схемам), пока думает, что «эти волнения могут плохо кончиться» (4), предполагает провокацию правительства, которая обернется террором. Сходно мыслят и другие «товарищи» («мол, нарочно запускают движение, дают разрастись, чтобы потом потопить в крови» (22)), но Шляпников, тёртый практик-подпольщик, нутром чует бессилие властей и не зря вспоминает удачу 31 октября, когда вдруг был снят локаут, когда отступил «перед рабочей силой тот царишка Николай II». Смекнул тогда Шляпников: «и мы, конечно, гнём, — но падает оно уже с а м о» (0-16: 63). Падать-то «оно» падало, но почему-то удержалось. Ничего существенного из той осенней бучи не вышло, а потому вечером 24 февраля, хотя все вроде бы идет как надо («дух буржуазного Невского был сломлен», какой-то оратор посреди столицы бойко кроет «насильника на троне» и сулит погибель «царским прихвостням», казаки не разгоняют толпу, а толпа их весело приветствует), Шляпников все-таки не ощущает «полной, настоящей» радости, а двумя днями позже (накануне поворотного 27 февраля) обреченно ворочает грустные соображения:

Чего дальше можно было ждать от движения? И как его направлять? Вот постреляло правительство — а ответить нам нечем.

Плохо мы организованы. В который раз пролетариат не готов ни к какому бою. Зря эти дни метались, толкались...

(49)

Все как раньше, как в октябре...

Действительно зачинная часть «Марта...» (до 27 февраля) кажется не только развитием, но и варьированным повторением Второго Узла. Шляпниковский сюжет встроен в систему сходных дежавю. Начало уличных хлебных волнений заставляет вспомнить разговоры стариков-рабочих о нынешней бабьей доле, дороговизне, домашнем нестроении, распустившихся без присмотра мальчишках (О-16: 32). Бестолковость и демагогичность думских прений по продовольственному вопросу (который и стал детонатором революции), близорукость политиков, не замечающих, как сжимается «хлебная петля» (3'), предсказаны обзорной главой о Прогрессивном блоке (О-16: 62'), тесно связанной с крестьянскими эпизодами «Октября...» (собрание в экономии Томчака — О-16: 61; разговоры в Каменке — О-16: 45, 46): уже там появляется формула «петля на горле России». Предчувствия Струве, которыми он заражает утром 26 марта Шингарёва, их диалог по пути с Петроградской стороны, ощущение незыблемости миропорядка, которое приходит к героям, увидевшим величественную панораму города с Троицкого моста (44), отсылают к сцене в квартире Шингарёва, когда на сведенных там случаем интеллигентных персонажей обрушивается весть о «начале событий», в тот раз оказавшаяся ложной (О-16: 25, 26). Неожиданный приезд Воротынцева в Петроград, его объяснения с Ольдой, возвратный порыв к узнавшей о новом витке супружеской измены Алине, душевная сумятица героя, скрытая напряженность в отношениях с сестрой, временное выпадение из *большой истории* (петроградских волнений Воротынцев, как и в ок-

тябрьские дни, по сути, не заметил) даны в *романной* тональности «Октября...». Героям кажется, что все идет по-прежнему, что если ничего не сдвинулось раньше, то и дальше пойдет по накатанной колее. Читатель же на переходе от Второго Узла к Третьему чувствует иное: странно не то, что сейчас непременно рванет, странно, что четырьмя месяцами раньше почему-то обошлось...

И причина такого эмоционального настроя не только в том, что мы в общих чертах знаем, *чем дело кончится*. (От такого знания при чтении «Красного Колеса» — как и любого серьезного сочинения на историческую тему — следует хоть в какой-то мере отрешиться.) Узнаваемая *неизменность* жизни и равенство персонажей своим прежним амплуа парадоксально свидетельствуют об усилении революции — остановить бег Красного Колеса могло бы только явление какой-то действительно новой силы, но ее-то мы и не видим в первых «почти мирных» главах «Марта...». Зато сразу чувствуем, как стали отяжелевать отдельные эпизоды, как монтажный (часто предполагающий ассоциативные соответствия) принцип потеснил линейный рассказ (случаи, когда глава продолжает предшествующую, крайне редки), как сменился повествовательный ритм.

Три особенности строения «Марта...» бросаются в глаза даже при самом поверхностном знакомстве с этим Узлом. Во-первых, резко возрастает объем: в «Августе...» — 60,8 листа, в «Октябре...» — 69, в «Марте...» — 191. Этого не объяснишь расширением «отмеренных сроков». Если Первый Узел охватывает всего 12 дней (при этом изрядная часть текста занята экскурсами в прошлое), то Второй — 22, что совсем немногим меньше, чем 24 дня «Марта...». Рассказ стал гораздо более подробным: в воссоздаваемых автором экстремальных ситуациях все персонажи, поступки, случаи, детали, жесты обретают повышенное значение, а потому должны быть прописаны с предельной конкретностью. Во-вторых, установка на подробность отзывается дробностью, отдельностью эпизодов, каждый из которых, обладая самодостаточ-

ностью, вступает в сложные отношения со всеми прочими. Смысловое единство происходящего возникает в результате столкновения множества частностей. Если бы Солженицын сохранил в Третьем Узле композиционные принципы «Августа...» (82 главы) и «Октября...» (75; при большем, чем в «Августе...» объеме; Второй Узел знаково неспешен, что обусловлено как его *романностью*, внешним доминированием семейно-любовных сюжетных линий, так и пограничным положением — война деформировала, но еще не разрушила вовсе привычное бытие), то (исходя из соотношения объемов) в Третьем Узле должно было быть около 250 глав. Их там в два с лишком раза больше — 655, не говоря о том, что иные (газетные и коллажные) распадаются на десятки микроэпизодов. В-третьих, дробности противостоит ужесточение хронометража. В отличие от двух первых Узлов действие строго распределено по суткам (о чем неустанно напоминают колонтитулы), а при рассказе о наиболее насыщенной событиями, собственно переломной, пятидневке (с 27 февраля по 3 марта, тогда революция и побеждает окончательно) вводится дополнительное членение: утро, день, вечер, ночь.

В начале повествования каждый следующий день *объемнее* и *пестрее* предшествующего: растет как число приходящихся на сутки глав (23 февраля — восемь, 24-го — четырнадцать, 25-го—двадцать, 26-го—двадцать пять), так и глав коллажных, составленных из зарисовок революционизирующегося Петрограда (23 февраля — две; 24-го — три, но и в главах о Вероне и Фанечке, Ленартовиче, Ковынёве, Ободовском, Шляпникове (11, 15, 16, 17, 22) на первый план выходят впечатления персонажей от вздыбливающегося города; 25-го — четыре, при мощной революционной оркестровке глав о волынцах на Знаменской площади, встрече социалистов, Ковынёве, Вере Воротынцевой, заседании городской думы (27, 33, 34, 35, 38); 26-го — три, но революция дышит и во всех прочих, исключая посвященную разговору Алины с Сусанной — 50). Наметившиеся было продолжения частных

сюжетов (Воротынцев между двух женщин, Ленартович и Ликоня) меркнут и почти исчезают в кипящем разливе уличных сцен и рождаемых ими сомнительных слухов, предчувствий, опасений и надежд. Истерика Алины (50) кажется, прежде всего, неуместной, хотя обманутая жена Воротынцева знать не знает (да и не может знать!) ни о каких общественных потрясениях. И такое же недоумение вызывают три воротынцевских (71, 95, 126) главы в контексте 27 февраля: да как он может возиться с переживаниями (и превращать губительный любовный треугольник в еще более замысловатую фигуру), когда в Петрограде творится такое? Дивиться должно не Воротынцеву. Он в Москве, куда вести с берегов Невы придут лишь к вечеру. Угадай полковник, что в столице вспыхнет солдатский бунт, наверняка плюнул бы на обеих дам, остался в Петрограде и выполнял офицерский долг — так же мужественно и грамотно, как Кутепов. (И с тем же, коли не худшим, результатом.) Дивиться должно нам, невольно принявшим логику революции, согласно которой все человеческие чувства отменяются — то ли временно, то ли навсегда.

27 февраля — самый *длинный* день Третьего Узла. Можно сказать, что в структуре «Марта...» он занимает ту же позицию, что сам «Март...» в структуре «Красного Колеса». И то, что из ста трех глав о 27 февраля только три воротынцевских посвящены нормальной (путаной, трудной, грешной, но предполагающей выбор, может и несчастливой, но свободной) человеческой жизни, четко указывает читателю: хотя главные политические свершения еще впереди, бунт не шагнул за пределы столицы (многим персонажам кажется, что подавить его не так уж трудно), жестокость не стала господствующей нормой, именно этот день делит историю страны на *до* и *после*.

На этот же вывод работают обрамляющие 27 февраля главы. Вслед за пробуждением волынцев (68), уже решившихся нарушить приказ (сговор унтеров отнесен к 26 февраля (67)), но еще не совершивших первого преступления — убийства штабс-капитана Лашкевича,

после которого бунт снежным комом покатится по Петрограду (70), помещен пророческий сон Козьмы Гвоздева. Столетний святой (лишь сперва показавшийся «простым деревенским») дед неудержимо рыдает. Сновидец, несправедливо посаженный в тюрьму рабочий активист, пытается утешить старика («За меня не плачь, меня скоро выпустят»), но, взглянув в его мудрые очи, понимает:

...нет, не скоро. <...> Долже человеческой жизни.

Так ни слова и не вымолвил дед столетний. Обронил голову — да как рыдал, как рыдал!

И тогда ещё ледяней запало Козьме: да может он— и н е п о м н е? По мне одному никак столько слёз быть не может.

А — по ком же?..

Такого и сердце не вмещает.

(69)

Символика сна пояснений не требует. Важно, однако, что сон этот введен в повествование не после катастрофы, а на ее пороге. Не менее важно, что сон не мотивирован характером персонажа или только что испытанными им потрясениями. Практичный, погруженный в жизненные заботы рабочий Козьма совсем не похож на чуткого к таинственным сигналам из «другой жизни» и постоянно размышляющего о «всеобщей тайной связи вещей» (532) Варсонофьева, чей страшный сон о мальчике-Христе с бомбой, которая через секунду взорвет весь мир, открывает последний день Третьего Узла — 18 марта (640). Пророчество угличского старика Евсея Макарыча («Сначала будет плохо одним, потом плохо другим, потом плохо всем. И только седьмое поколение будет снова жить хорошо») офицер-московец Всеволод Некрасов вспоминает, пережив два кошмарных дня и чудом избежав смерти от самосуда бунтовщиков (236). Ничего подобного Гвоздеву пока не выпало. Мистическое откровение дано Козьме как одному из многих чистых душой, разумных, совестливых обыкно-

венных русских людей, по которым безжалостно прокатится Красное Колесо. (Немаловажно, что читатель «повествованья в отмеренных сроках» должен помнить Козьму Гвоздева по «Архипелагу...», где кратко и страшно рассказано о его судьбе[1].)

Завершается же 27 февраля (а с ним и первая книга «Марта...») уходом великого князя Михаила Александровича из Зимнего:

> Он — разумно перекрывался? Или — бежал? Или — ушёл из-под крова семи поколений Романовых — последним из них?
>
> Правнук жившего здесь императора (Николая I, воплощающего могущество, но и надрыв державы. — *А. Н.*), внук убитого здесь императора (Государь-Освободитель Александр II был смертельно ранен на Екатерининском канале, но расстался с жизнью в своем царском доме. — *А. Н.*) — он бежал как за всех за них, унося с собою и их?
>
> И не заметил, на каком же это пороге произошло. На каком переступе?
>
> Беря военный шаг, пошёл последним коридором.
>
> (170)

Концовки всех четырех книг «Марта...» (как и все солженицынские «рубежные» главы) акцентированно символичны. (О сложной «рифмовке» финалов речь пойдет ниже.) Бегство Михаила (не столько сам исторический факт, сколько его трактовка) предсказывает и отречение Николая, и отказ Михаила занять престол, и захват дворца, обращенного в резиденцию Временного правительства, большевиками как символическую кульминацию октябрьского переворота, и бессудные убийства обоих уклонившихся от царской миссии братьев, и конец империи. «Последним коридором» движется не только великий князь по родовому дому, но и все русское царство. После 27 февраля остановить Красное Колесо невозможно: безуспешность продуманных и четких действий кутеповского отряда (79, 88, 108, 116),

тщетность сопротивления бунту верных долгу офицеров, «Фермопилы четырёх прапорщиков» (91), истории Нелидова (86, 134) и братьев Некрасовых (99, 141) суть предвестья поражений, которые станут уделом людей чести, нежданно оказавшихся одинокими и теряющих друг друга в разгуле стихии (день за днем, месяц за месяцем, год за годом).

После поворотного дня время становится менее плотным. 28 февраля и 1 марта — по 67 глав. 2 марта — 49. Именно в этот день — самый *короткий* из *длинных*, разделенных по времени суток, собственно революционных, судьбоносных, — Государь подписывает отречение (349), а главу об оставшемся наедине с собой уже бывшем императоре — и всю вторую книгу — вершит беспросветное речение: «ЦАРЬ И НАРОД — ВСЁ В ЗЕМЛЮ ПОЙДЁТ» (353). 3 марта — 54 главы. Далее повествование возвращается к докатастрофному ритму. Количество приходящихся на день глав сразу же падает больше чем вдвое, а затем (с небольшими колебаниями) последовательно убывает: от 24 глав на день (4 марта) до 9 (17 марта). В последний день (18 марта) автор вновь выводит на сцену многих основных участников событий, дабы показать, в каком состоянии разные социальные группы и несхожие персонажи переходят из эры революции в период народоправства, — потому число глав опять возрастает, но несильно (их здесь 16).

Такое композиционное решение обусловлено не только необходимостью представить дни, когда происходило собственно крушение старого порядка, особенно подробно. Переход к менее динамичному и детализированному повествованию (таким оно кажется лишь на фоне пяти немыслимо взвихренных дней!) показывает, что все персонажи (настигнутые революцией раньше или позже, встретившие ее с восторгом или негодованием, принимающие непосредственное участие в происходящем или пытающиеся от истории дистанцироваться) теперь вынуждены жить по неведомым раньше правилам, что бушевавшая пять дней буря не затихла (как

хотят уверить себя некоторые — и разные — герои), но стала нормой. Пусть для кого-то отвратительной, пугающей, ненавистной, подлежащей исправлению или устранению, «временной», но все равно — нормой. Это и означает, что революция действительно победила, что имперский — петербургский — период русской истории ушел в небытие, утянув с собой надолго (будем вместе с автором «Красного Колеса» надеяться, что не навсегда) всю Россию с ее многовековой, великой и отнюдь не однолинейной историей.

«Март...» — книга о расплате не только за противостояние власти и общества в пореформенной России, но и за весь «петербургский период». Сказано об этом уже в самом начале Узла. После отчета о думских прениях по продовольственному вопросу (который, повторим, и ввергнет избывающую хлебом страну в революцию), после не расслышанного думцами предупреждения министра земледелия Риттиха («*Может быть, последний раз рука судьбы подняла те весы, на которых взвешивается будущее России*»), после разудалых восклицаний Чхеидзе («Как можно продовольственный вопрос в смысле чёрного хлеба поставить на рельсы?.. Единственный исход — борьба, которая нас привела бы к упразднению этого правительства! Единственное, что остаётся в наших силах, — дать улице здоровое русло!» — левый оратор оказывается пророком, хотя сам едва ли верит собственным словам) раздается голос автора:

Так заканчивался двухсотлетний отечественный процесс, по которому всю Россию начал выражать город, насильственно построенный петровскою палкой и итальянскими архитекторами на северных болотах, НА БОЛОТЕ, ГДЕ ХЛЕБА НЕ МОЛОТЯТ, А БЕЛЕЕ НАШЕГО ЕДЯТ, а сам этот город выражался уже и не мыслителями с полок сумрачной Публичной библиотеки, уже и не быстрословыми депутатами Государственной Думы, но — уличными забияками, бьющими магазинные стёкла оттого, что к этому болоту не успели подвезти взаваль хлеба.

(3')

Как крушат булочные («Бей по белому! бей по сладостям! Мы не жрём — и вы не жрите! Не доводите, дьяволы!!..»), мы уже видели. И как силком тащат на улицу степенных рабочих «идейные» и «фулюганы», как весело вливается в потешный бунт «чистая невская публика», как соблюдают «правила игры» драгуны и казаки («Никто ни на кого не сердится. Смеются»), как теряется перед толпой городская власть — тоже видели (2). И знаем, что Государь, просидевший два месяца «в замкнутой тихости Царского села» (первые слова Узла), отбыл в Ставку, «к немудрёной, непринуждённой жизни <...> к тому ж и без министерских докладов».

Отбыл — не покарав по закону убийц Распутина, не распустив Думу, не приняв во внимание вестей о готовящемся заговоре, не прислушавшись к очередным просьбам о введении ответственного министерства, не уволив вызывающего общее раздражение Протопопова — то есть не совершив ни одного значимого действия. «После петербургских государственных забот и без противных официальных бумаг очень славно было лежать в милом поездном подрагивании» (1).

Император стремится прочь от своей столицы, вовсе не думая о том, сколько ржаного хлеба туда ежедневно поступает и как на петроградских улицах должен поддерживаться порядок, — на то есть чиновники соответствующих министерств. Не веря в заговор «образованных» («во время войны никакой русский не пойдёт на переворот, ни даже Государственная Дума, в глубине-то все любят Россию»), Николай еще меньше ждет удара от простого люда. Меж тем его изрядная часть (особенно — в больших городах, прежде всего — в столице) уже совсем не похожа на тот «отдалённый, немой, незримый православный народ» (1), который Государь почитает своей главной опорой. Если мерзнущие в хвостах у хлебных лавок бабы запросто разъясняют, куда подевалась мука: *«Да царица немцам гонит, им жрать нечего»* (2), то, значит, мистической связи царя и народа, в которую всей душой верит последний самодержец, подходит ко-

нец. Да, это петроградский разговор, но в том и трагедия России, что за два имперских столетия страна привыкла смиренно оглядываться на этот величественный и завораживающий город, принимать его нормы, следовать его примеру. Кто бы ни выражал волю Петербурга. Хоть бы и шальная толпа.

Имперская столица — главная сценическая площадка Третьего Узла: из 655 глав «Марта...» 420 (почти две трети) — петроградские (и едва ли не во всех остальных ждут, обсуждают, переживают петроградские новости). Начавшись в столице (воплощении империи), революция почти без сопротивления разливается по стране. Пушкинская формула «Красуйся, град Петров, и стой / Неколебимо, как Россия» обнаруживает свою обратимость: Россия неколебима, покуда высится в своем торжественном величии Петербург. Меж тем устойчивость города вызывала сомнения с самого его основания. Герой романа Достоевского «Подросток» задумывался:

«А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли и вместе с ним и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне?»[2]

Когда Шингарёв и Струве останавливаются на Троицком мосту, завороженные открывшейся оттуда торжественной картиной, их посещают совсем иные мысли: «Всё, всё видимое было беззвучно, глубоко погружено в какой-то неназначенный, неизвестный праздник, когда свыше и очищено небо, и все земные движения запрещены, замерли в затянувшемся утре долгого льготного дня» (44).

Персонажам неведомо, что это последний день прежней России, что «неназначенный праздник» — прощальный. Дворцы, мосты, набережные, колонны, скульптуры не прячутся в тумане, но при слепящем свете зимнего солнца (лейтмотив главы) выглядят прекраснее, чем когда-либо.

Волшебный город не исчезнет ни завтра (когда солдаты повалят из казарм, а оскорбленные перерывом в занятиях думцы превратят Таврический дворец в штаб революции), ни через четыре дня (когда Государь перестанет быть Государем), ни позднее (когда изменится весь миропорядок), но удручившая Шингарёва и успокоившая Струве «архитектурная несомненность настоящего» окажется дурным наваждением. Здания сохранятся — страна исчезнет. Петербург еще раз подтвердит свою — угаданную Пушкиным, Гоголем и Достоевским, ставшую мифом — миражную суть, которой уже заражена вся страна. Еще хранящая форму, но потерявшая дух.

Петербургское прощальное видение через три дня повторится в первопрестольной, прямо перед тем, как революция наконец догонит Воротынцева: «Рассвет был туманный. Набережная была видна повсюду, а через реку, ещё разделённую островом, туман уплотнялся так, что Кремль не был виден, только знакомому глазу мог угадаться».

Нет ничего противоестественного в том, что на грани зимы и весны утренняя Москва покрыта туманом, но, вспомнив о солнечном блеске в знаково туманном Петербурге, понимаешь, что эта погодная деталь символична. А панорама, открывшаяся с Троицкого моста (и весь клубок рожденных ею ассоциаций), не может не всплыть в памяти, когда Воротынцев, встревоженный разговором с уличной торговкой (трамваи не ходят, потому в Питере, по слухам, «большой бунт», а «московские» его переняли), вступает на Большой Каменный мост:

> Теперь, хотя морозный туманец не ослаб, но вполне рассвело, и сам он ближе, — стала выступать кирпичная кремлёвская стена, и завиделись купола соборов, свеча Ивана Великого.
>
> Что же с ним, в этот приезд он даже не заметил самой Москвы, ни одного любимого места, — всё отбил внутренний мрак. (Начавшейся революции Воротынцев не разглядел из-за этого же мрака и попытки его развеять, на что ушел день в доме Калисы. — *А. Н.*)

Зато теперь, пересекая к Пречистенским воротам, он внимчиво, освобождённо смотрел на громаду Храма Христа.

Стоит! Стоят! Всё — на местах, Москва — на месте, мир на месте, нельзя же так ослабляться.

(241)

Кремль, символ московской (и общей русской) незыблемости, едва не будет разрушен октябрьским варварским обстрелом большевиков. Громаду храма Христа Спасителя новые хозяева страны взорвут в 1933 году. Впрочем, это когда еще будет, но мир с места уже стронулся. Через час с малым зря успокоившийся Воротынцев увидит из окна «толпу человек в двести», весело движущуюся «с красным вроде флагом на палке», услышит от привратницы, что «никаких газет нет второй день, а в городе — “бушують”», прочтет (на надорванном одним из демонстрантов листе) приказ командующего войсками округа о введении «осадного положения» и запрете «сходбищ, собраний и уличных демонстраций» (241). Через несколько часов, наглядевшись на запруженный народом, кипящий митингами, расцвеченный красными тряпками город, он узнает из странной газетенки, что в Петрограде войска переходят на сторону революции (той самой, которую до сих пор считает то ли мнимой, то ли бессильной, — «один хороший полк может овладеть этой расшатанной Москвой»), а поезд с царем, зачем-то покинувшим Ставку, неизвестно кем задержан. Вскоре ужаснется рассказам выскользнувших из Петрограда офицеров о том, в какой ад превратилась столица уже 27 февраля (потрясение для героя, но не для читателя). И наконец, позвонив в штаб округа, получит убийственные новости: «Кремль, Арсенал, все последние части — перешли на сторону революции» (272).

В Петрограде солдатский мятеж за один день — при поддержке городской толпы, пылкой интеллигенции и претендующих на верховенство политиков — сводит на нет всю старую власть. Арестованных сановников, в том числе председателя Государственного Совета, доставляют в Думу (113); министры направляют Государю

телеграмму с просьбой о коллективной отставке (114); покинутый правительством Мариинский дворец захвачен без намека на сопротивление (152); офицеры Преображенского полка переходят на сторону Думы, то есть революции (155); хабаловскому отряду нет места ни в Адмиралтействе, ни в Зимнем (154, 163, 164). День этот описан исчерпывающе подробно. Мы видим (слышим, чувствуем), как хлынувший из волынских казарм бунт прирастает новыми и новыми частями. Как пьянят солдат пролитая кровь и безудержная воля. Как походя убивают офицеров и верных присяге нижних чинов. Как захватываются тюрьмы, заводы, административные здания. Как вспыхивают пожары. Как громят и грабят магазины. Как воздух дрожит от неистовой пальбы («Винтовки так часто, много везде стреляют — будто сами собой» (111)) и рева беспрестанно несущихся во все стороны автомобилей. Как разливается по городу красный цвет — прущий со знамен, лент, бантов. Как отнимают у офицеров шашки и револьверы — не только потому, что нужно оружие, но и чтобы унизить господ. Как ликуют студенты и курсистки. Как настороженно (а кто с удовольствием, а кто и со злорадством) поглядывают на бесчинства мирные обыватели. Мы, как сформулировал еще поутру (когда все только начиналось) умудренный государственный муж, бывший министр Кривошеин, видим революцию. Но не видим контрреволюции (85).

Первомартовское падение старой власти в Москве представлено куда более бегло — только глазами недоумевающего Воротынцева (241, 261, 272) да несколькими строками, итожащими этот день в обзорной — в основном петроградской — главе:

> К вечеру Кремль сдался, и солдаты валили в Никольские ворота.
>
> Ночью из Бутырской тюрьмы освободилось две тысячи уголовников — и пошли гулять по городу.
>
> (277)

Крови на московском «празднике свободы» почти не пролилось, погромный разгул был слабее питерского (хотя охранное отделение разнесли): митинги, похожие на гуляния, красные тряпки на опекушинском Пушкине (в Петрограде флаг пристроили Александру III (249)), зеваки, толпящиеся «вокруг цепной обвески памятника».

...Несколько солдат, несколько — типа прислуги.

Эти — глядели. И через цепи, на ту сторону, лускали семячки на снег.

(261)

Парность символических панорам, открывшихся с Троицкого и Большого Каменного мостов, пророчит тождественность судеб двух столиц. Прежний, казавшийся вечным, мир рушится сам собой. И там, где по питерскому почину и питерской модели разгораются военные мятежи: так происходит в Луге (254, 274; к ночи на 2 марта гарнизон, замаранный офицерской кровью, полностью во власти «военного комитета», а его представители рискованным «игровым» маневром обезоруживают двигавшийся на подавление Петрограда лейб-Бородинский полк (304)) и на Балтийском флоте (первые расправы с офицерами в Кронштадте и отчаянные телеграммы адмирала Непенина в Ставку о бунте «почти на всех судах» разделяют двое суток (243—401); следующим утром, 4 марта, прежде любимый матросами и по убеждению принявший сторону революции Непенин будет смещен, арестован, зверски убит (408, 415, 418)). И там, где новый порядок устанавливается без потрясений и зверств.

В Киеве, «самой верноподданной из трёх столиц» (379), где с ходу упразднены жандармское и охранное управления, а «офицерам гарнизона... разрешено создавать городскую милицию и войти в Исполнительный комитет» (371), Воротынцева встречают знакомые по Москве «красные банты в петлицах, красные ленточки, приколотые к пальто или шапке». И напрасно герой, гля-

дя на подтянутых солдат, козыряющих офицерам («все при оружии»), надеется, что «столичное безобразие в *той* форме сюда и не докатит». Добравшись до центра, он увидит не только идущие своим чередом трамваи, бурные митинги, огромные красные флаги, радость на лицах гуляющих («И неужели же все текущие сейчас по улицам — так довольны? <...> Сколько может быть тут сейчас врагов переворота — но быстро установилось, что недовольства выражать нельзя»), но и кое-что пострашнее: под чтение телеграмм с балкона городской думы толпа валит памятник Столыпину (379).

В Ростове, где, кроме веселого уличного бурления, ничего не происходит, где у горожан нет даже точных известий о событиях в Петрограде, градоначальник сам приглашает четырех ключевых общественных деятелей, чтобы исполнить все их указания и отдать власть еще даже не сформированному Гражданскому комитету. Старый инженер-еврей Архангородский, человек либеральных взглядов, никак не монархист (он, в общем, понимает радость своих радикально настроенных детей и хочет вместе с ними надеяться на лучшее), печально замечает: «Но что меня в этом всём покоробило — это градоначальник Мейер. Не так меня удивили петербургские события, как генерал-майор Мейер. Всё-таки, если б это я был градоначальником, на таком высоком доверенном посту, — я бы стоял до последнего. А он так торопится. Некрасиво» (343).

Читатель уже знает, что «торопливо» и «некрасиво», ведет себя далеко не один Мейер. И должен понимать, что подлаживание к «духу времени» (хоть сдающих города высоких чинов администрации, хоть простых питерских, московских, киевских, ростовских и прочих обывателей, которые боятся выразить неприязнь к наступившей неурядице) как нельзя лучше помогает революции раскатываться — чего и страшится мудрый Архангородский. Она и раскатывается, повергая в растерянность прибывшего с фронта в отпуск Ярика Харитонова:

...в 200-тысячном городе не выставился вообще ни один недовольный, ни один противник переворота! То существовали какие-то «правые» и казались сильными — и вдруг они исчезли все в один день, как сдунуло! — и их газета, заняли их типографию, а «Русский клуб» поспешил признать новое правительство. <...> И вот уже, приветствуя революцию, шагал строем гарнизон, части — во главе с офицерами, оркестры играли марсельезу <...> Начали сдирать гербы и двуглавых орлов. <...>

Но даже и в Новочеркасске, уж на что царском городе, противники переворота даже не высунулись, а ликовали такие же, как в Ростове, студенты, интеллигенты.

(439)

Странности новочеркасского переворота («составлявшее дух города важное казачество и казачье чиновничество — враз куда-то заглубилось <...> Атаманом Дона! — стал заведующий портняжными и сапожными мастерскими военно-промышленного комитета») даны ретроспективно, при рассказе о начавшемся двумя неделями позже противоборстве казаков с «солдатским конвентом» — Военным отделом (600).

Хроника победного хода революции по провинции представлена двумя обзорными главами, составленными из беглых зарисовок пестрых (но в то же время однообразных) происшествий, случившихся в разных городах и весях — страшных, нелепых, постыдных, а иногда и свидетельствующих о мужестве и верности долгу (446, 458).

Вся губернская и уездная Россия узнала о перевороте сперва по железнодорожному телеграфу за подписью неведомого Бубликова. Потом — обычным телеграфом, за подписью Родзянки. Телеграммам этим везде поверили сразу, имя Родзянки внушало уверенность.

Прежде этих телеграмм ни в одном городе никаких событий не произошло.

(446, начальный фрагмент)

В Каменке, где о перевороте еще не знает «ни волостное правление, ни урядник», крепкий хозяин, радетель мужицких интересов, бывший революционер (и будущий вождь тамбовских крестьян-повстанцев) Плужников за полчаса «в себе уже переработал» свалившуюся новость и двинул срывать в школе царские портреты. «Мы теперь и без Владимира Мефодьевича! — резким насмешливым голосом, как он умел, отозвался Судроглаз», поспешающий за Плужниковым щуплый и злой учитель Скобенников (459). Он быстро объявит себя «волостным комиссаром» («таких и не бывает» (609)) и организует арест («как за непризнание нового режима» — 564) этого самого Владимира Мефодьевича, попечителя земской школы, перед которым прежде «просто лакейничал» (609) почуявший свой час пакостник. Мужики и бабы, ошеломленные манифестом о царском отречении («Без царя нам не прожить... <...> Царя — господа предали. <...> А кто это новое начальство поставил? Ох, не нажить бы с ним беды»), тут же принимаются толковать о возможном облегчении крестьянской жизни («А ведь теперь война должна осотановиться... <...> Теперь нам грамоту вышлют насчёт всей помещицкой земли. Разделить по душам, и баста»). Укор старой Домахи («Не в том одном, буде ли лучше-хуже, а: не было бы перед Богом неправды») остается нерасслышанным — за благодетеля села, выстроившего школу и больницу, не вступается никто: «Не шутят... Да ведь и каждого могут...» (564). Смирения перед лезущей наверх «всякой шабаршей» хватит ненадолго. Три каменско-тамбовских главы пророчат будущий «чёрный передел» (не зря томят дурные предчувствия интеллигентного помещика Вышеславцева, отдающего мужикам на льготных условиях пахотную землю, покосы, лишних лошадей и с поклоном просящего «не обижать родных» (609)) и крестьянскую борьбу за землю и волю (кончившуюся кровавым усмирением и установлением большевистского крепостного права). Но страшное будущее вырастет из того, что происходит в первые недели марта, — деревенская глубинка, пусть не так весело, как города, но так же быстро подчиняется революции.

Каменка в «Марте...» (с некоторыми оговорками) представительствует за всю деревенскую Россию. Впрочем, «...в глуши губерний, не то что Казанской, а даже во Псковской, почти весь март ничего не знали. В таких местах держались и урядники, становые, а священники продолжали возглашать в службах царя» (624).

Эта обзорная глава заканчивается внешне анекдотическим, а по существу — символическим фрагментом:

> В мелких деревнях Феодосийского уезда после переворота говорили крестьяне:
>
> — Ото, мабуть, нас опять отдадут панам у неволю.
>
> И этот слух, что восстановится крепостное право, широко раздался по Югу.

Офицеры, на которых революция обрушивается в тылу (Кутепов, Воротынцев, Харитонов), устремляются на фронт, полагая, что зараза не охватит действующую армию, но беспорядки буквально гонятся за ними по пятам. Здесь особенно выразительна череда глав о Ярике Харитонове, где каждый новый эпизод *революционнее* (и оскорбительней для героя), чем предыдущий: неприятные впечатления от Москвы, подтверждающие тревогу, что овладела поручиком в Ростове (545); «сдваивание» билетов в поезде на Смоленск («Просто никогда не случалось, никто такого безобразия не помнил» (574)); разгул на вокзале в Смоленске и солдаты, самовольно заполняющие купе (580); нападение в поезде, едва не стоившее офицеру жизни (589); солдатский митинг в лесу, развеивающий всякую надежду на устойчивость армейского уклада (611)[3]. Даже в тех боевых частях, где пока обходится без крови и привычный порядок вроде бы держится, жизнь радикально изменилась. Циркулирует (и делает свое дело) «Приказ № 1», проходят митинги, где звучат подстрекательские речи, визиты представителей новой власти не умиротворяют, а будоражат солдат, ползут (как и в тылу) самые невероятные слухи, формируются «комитеты», нижние чины дерзят офицерам и предъявляют дикие требования (627), начинается брата-

ние с немцами (593) и дезертирство (638). Война, которой никто не отменял и отменить не в силах, сама собой отходит на задний план.

Чувство это овладевает и *лучшими* солдатами и младшими офицерами, в том числе — самыми дорогими для Солженицына героями. Не кто-нибудь, а Арсений Благодарёв уверенно представляет себе скорое возвращение домой: «Воротиться бы — да зажить на своей земле. Да еще добрать бы землицы — от Вышеславцевых али от Давыдова. Простору бы!» Да как же иначе, если царя, который направлял войну, больше нет, а в царицыной комнате «нашли секретный прямой кабель в Берлин. И по нему она Вильгельму все наши тайны выговаривала». Коли так, то «не иначе замирение будет. Некуда деваться» (471).

Опасения Вышеславцева, которыми он делится со своим зятем Давыдовым (те самые помещики, чьей землицей не прочь разжиться Арсений), прозвучат позднее, но уже здесь становится ясно, что они вполне обоснованны. Как и предчувствие гибели старинных усадеб, которое владеет Вышеславцевым и отливается его монологом, выдержанным в тональности, заставляющей вспомнить позднюю — ностальгическую — прозу Бунина:

> ...А дальний колокольный звон над полями? А летом на рессорной коляске из именья в именье? — остывающий сухой полевой воздух, стрекочут кузнечики, ровный звук бегущих лошадей, спокойное пофыркивание, мягкий постук по просёлку. Среди ржи. Вальки упряжки задевают за дорожную траву. Или от речки — запах мяты: там, на костре, у шалаша, гонят её...
>
> — Да если мы потеряем даже этот дряхлеющий быт, эту зелёную заглушь — куда привезём мы детей летом? И в знойный день — никогда не увидим, как находит туча без дождя — и перепела опадают в рожь?
>
> (609)

Предоставленный самому себе, освобожденный от долга перед той единственной властью, которая суще-

ствовала всегда (и потому принималась как данность), но вдруг сменилась невесть чем, солдат-крестьянин перестает быть солдатом, становится просто крестьянином, человеком земли, причем земли — своей:

Эх, вся земля — чья-то, везде своё родное, — да приведи Бог к нашему вернуться. И — куда мы запёрлись? И чего третий год сидим, из пушек рыгаем?

<...>

Так вот, зажмурясь в тишине, и не знаешь: где ты? кто ты? Одно и то же солнце всем светит — и немцам тоже.

(554)

Раздумья млеющего на солнышке Благодарёва напоминают о литературно-философской традиции понимания войны как абсолютного зла, искажающего естественный миропорядок. В главе I было показано, что хотя Солженицын весьма далек от таких — «руссоистско-толстовских» — взглядов (спор с Толстым ведется в двух первых Узлах: разговор Варсонофьева с Саней и Котей, разговор Сани с отцом Северьяном — А-14: 42, О-16: 5, 6), он глубоко чувствует и их частичную правду, и их связь с патриархальным сознанием, на которое ориентировались Толстой, а прежде (предсказывая Толстого) Лермонтов, строки которого прямо варьируются во внутреннем монологе Благодарёва: «А там, вдали, грядой нестройной, / Но вечно гордой и спокойной, / Тянулись горы — и Казбек / Сверкал главой остроконечной. / И с грустью тайной и сердечной / Я думал: “Жалкий человек. / Чего он хочет!.. Небо ясно, / Под небом места много всем, / Но беспрестанно и напрасно / Один враждует он — зачем?”» («Я к вам пишу случайно,—право...»[4]). Напомним, что «Красное Колесо» начинается с вида Кавказского хребта (символ первозданного и вечного Божьего мира), от которого удаляется уже решивший идти на войну Саня (А-14: 1; семантика этого мотива подробно рассматривалась в главе I). Скрытая цитата из Лермонтова оживляет в памяти предшествующие ей (и приведенные

здесь) *горные* строки. Таким образом отпадение от войны в «Марте...» сопрягается с ее злосчастным началом.

Связь эта поддержана другой перекличкой двух Узлов. Благодарёв осознаёт родство «чужой» и «своей» земли: «И правда, смотрим на эту землю как на бабу пьяную, поруганную, ничью, как только в ней ни копаемся, как только её ни полосуем. А она ведь — чья-то же родная, да вот Улезьки и Гормотуна. Им-то каково смотреть? С нашей бы вот так, под Каменкой?! — вот так бы лес валили, да так бы окопами изрывали, да так бы ездили наискосок — да разве это стерпно перенесть?» (554).

Только малый намек на это чувство посетил Благодарёва в первые дни войны при виде разгромленного немецкого имения, но все же и тогда он подумал: «Мало сладкого, конечно, если б так вот у них в Каменке воевали» (А-14: 25). В главе I указывалось на значение этого эпизода, пророчащего разорение русской земли в ходе Гражданской войны. Возрастание естественных, «мирных» и «мірных», чувств Благодарёва парадоксально ведет его к еще более страшной — гражданской — войне (в точном соответствии с известным ленинским лозунгом).

Дополнительный свет на «весеннее мление» бросает сцена братания. Наблюдая за веселым общением наших и германских солдат («Боже мой! Что ж осталось от войны? В несколько минут смыло всю неискоренимую войну, всю условность условной ничейной запретной непроходимой полосы. И — хорошо!»), Саня Лаженицын вдруг задумывается:

> ...одинаков ли результат такой встречи? Наши после этого — воевать не будут, а немцы? Отлично будут и дальше стоять. И — почему их настолько меньше? И почему их начальство, хоть революции у них нет, легко на это всё смотрит, отпускает?
>
> Да уж — не приказывает ли им так?
>
> (593)

Дело не в том, что все немцы коварны, — дело в том, что при любых личных чувствах немцы остаются солда-

тами, они не нарушают присягу, а выполняют приказ (не важно, прямо ли он отдан или угадан, как не важно, что кто-то из немцев хитрит, а кто-то движим искренними добрыми чувствами).

Подпоручик Лаженицын, разумеется, знает о революции больше и судит о ней глубже, чем служащий под его началом Арсений. Он ведь понимает (хотя и не вполне) черные чувства подполковника Бойе, который не может «своим горлом» прочесть манифесты об отречениях (434), замечает растерянность солдат, узнавших, что никакого царя больше нет (435), изумляется нелепостям «приказа № 1» (486). Он тяжело переживает газетное известие о том, что «жертвой революции пал заслуженный профессор по кафедре баллистики», тот самый, не похожий на военного, генерал-профессор, что так вдумчиво и тепло беседовал с Саней об артиллерийском деле несколько месяцев назад (О-16: 56):

Все эти дни воспринимал Саня события через какую-то пелену непонятливости. А тут вдруг зинуло: увидел он светлого умного старичка с раздробленной кровоточащей головой — где-нибудь на улице? Или на лестнице?

И Саня — отшатнулся.

Вот т а к приходит свобода?

(494)

И будет смущать подпоручика разноголосица приказов (506)... Но, забредя в лес весенним днем (здесь царит тот же ласковый солнечный свет, что и в более поздних благодарёвских главах), Саня осознает то, что все последние дни смутно клубилось в душе:

Если у войны была (вообще бывает?) душа — то она отлетела.

Ну и пусть. Ну и лучше.

Именно — к лучшему, может быть, это всё и происходит? Это общее тяготение к миру — разве оно не есть стремление к добру?

Бог посылает — расстаться с войной.

Саня вовсе не пленен революцией, напротив:

...Всё писали о грандиозности событий — но не видел он в том никакой грандиозности, а обезумелую суету. <...>

Он хотел вернуться в ту жизнь, какую знал раньше, когда совсем нет войны, и никакого ей оправдания.

Хотелось — этого мира! Размышлений. Уединения.

(537)

В главном настроения Благодарёва и Лаженицына тождественны — за несколько дней они перестали ощущать войну своим делом. И это не прихоть, случайно обуявшая двух любимцев автора, это общее чувство всех, условно говоря, Благодарёвых и Лаженицыных, прежде старательно и честно исполнявших свой долг. Они и теперь — в отличие от трусов, сметливых любителей ловить рыбку в мутной воде, циников, ненавистников царского режима — не намерены самовольно бросать службу, но и нести ее бремя с прежней самоотдачей уже не могут. Между тем именно на них до недавних пор держалась армия: для большой войны кадровых офицеров и унтеров (тех, кто сознательно избрал судьбу воина и не мыслит себя вне службы) не хватало даже в ее начале, а тем более — после тяжелых потерь двух с лишним лет.

Да, не все они полегли на поле брани: есть Преображенский полк, где и молодой, всего несколько месяцев провоевавший, подпоручик после «постыдной присяги» Временному правительству приводит себя в норму, упрямо наговаривая слова полкового марша (573), есть поручик Харитонов, артиллерийский капитан Клементьев, фельдфебель Никита Максимович, есть, конечно, и другие. Только осталось их мало, и приходится им худо. Фельдфебеля солдаты пока еще слушаются и после его команды наводят на батарее порядок, но это не мешает им тут же выдвинуть бестолковые и оскорбительные требования (626, 627). Никита Максимович расправляется с двумя дезертирами, но сюжет этот свидетельствует: скорый и безжалостный самосуд остался

единственным средством борьбы с разложением армии, способов законных больше нет. Что подтверждает описанная в той же главе стычка Клементьева с мерзавцем фельдшером, когда капитан оказывается бессильным (638). Сплотки клементьевских и харитоновских глав (каждая из них могла бы стать самодостаточной повестью) — это истории о том, как революция, навалившись на «стойких оловянных солдатиков», неуклонно наращивает свое давление, дабы их расплющить. Не физически, так нравственно. То, что развиваются две «повести» параллельно (Ярик приезжает в Москву 10 марта, на следующий день читатель знакомится с Клементьевым (545, 548); с Яриком мы расстаемся 15 марта, с Клементьевым — 17-го (611, 638)), а герои глубоко разнятся и социальным происхождением, и душевным складом, усиливает трагический эффект.

Командир Преображенского полка не мыслит службы без императорских вензелей на мундире, а потому намеревается уйти в отставку, передав полк Кутепову:

> Я... ещё раз, вот, может быть увижу царственный Петербург... (сохранивший лишь внешнюю царственность, превратившийся в рассадник революции. — *А. Н.*) Да если буду жив — поеду в Италию... Там знаете: на самом морском берегу — цветут и благоухают померанцевые деревья...
>
> (573)

Заслуженный и мужественный генерал теперь грезит о «мирной» жизни (как Благодарёв или Лаженицын), а чуть ироничная реминисценция гётевской «Песни Миньоны» показывает, что цену своему порыву «Dahin, dahin...» он знает и во встречу с волшебным краем не слишком верит. (Мерцает тут и намек на горькую участь будущих русских изгнанников.)

Оставляют или готовы оставить армию и другие славные генералы, отнюдь не грезящие о мире. Да ведь и командир преображенцев раньше в отставку не собирался, а командовал полком, несмотря на плохо сросшуюся

после ранения ногу. Граф Келлер ломает саблю со словами «Никому, кроме Государя императора, служить не могу!» (427). Подает «самоубийственный» рапорт дивизионный начальник Савицкий, хотя и в надежде быть услышанным Ставкой (и даже помочь ей своим честным суждением о всеобщем распаде), но вполне допуская, что ответом станет увольнение (601). Отказывается возглавить Западный фронт генерал Лечицкий («Не время сейчас возвышаться»), а на недоумения Воротынцева твердо отвечает: «Кто требует исполнения долга неуклонно — тот готовься из армии уходить». Потому что «войны — скоро не будет», рожденная ею революция уже обеспечила поражение: «Ошибкой было бы думать, что с революцией можно повести игру и её перехитрить». Лечицкий не совершает отчаянно красивого жеста, как Келлер, не мечтает о тихом отступлении в сторону, как Дрентельн, не стремится переиграть революцию, как Савицкий, — он остается на посту, зная, что будет скоро уволен. И додумывает то, что не укладывается в далеко не худших головах — того же Савицкого, Колчака, Корнилова, Крымова, Кутепова. Их сюжетные линии подтверждают правоту не столь блестящего, но умудренно зоркого Лечицкого (630).

Начальные дни революционного раската в Севастополе и на Черноморском флоте проходят без убийств и погромов. Адмирал Колчак распознает «первые звонки» (требование убрать с линейного корабля «Императрица Екатерина II» офицеров с немецкими фамилиями, самоубийство мичмана Фока, обвиненного матросами в намерении взорвать судно) и вступает в борьбу, которая не может вестись без компромиссов. Проводя встречу с представителями кораблей и гарнизона, он вроде бы выигрывает. Но чувствует, что не вполне. Располагает матросов — и слышит: «Вот, ваше превосходительство, в кой век проняли вы нас своим вниманием! А что вы нас раньше так не приглашали? А заведёмте, чтоб мы всегда вот так собирались!» — на что может лишь улыбнуться: «На военной службе — не положено», хотя

организованная адмиралом встреча уже была неуставной (438). На навязанном ему митинге Колчак вселяет в толпу мысль о единстве, благоговейно внимает вместе с ней оркестру, играющему «Коль славен» (другого музыкального символа единения не нашлось — царский гимн упразднен вместе с царем), но после того, как пришлось, «сжав челюсти», выслушать похоронный марш в память мятежника лейтенанта Шмидта (492). Для энергичной работы Колчака с флотом, полыхавшим двенадцать лет назад революционным огнем (не зря помянут лейтенант Шмидт!) и готовым воспламениться сейчас (и читатели помнят, как влился в революцию флот Балтийский, и черноморцы про тамошнюю резню и гибель Непенина знают), Солженицын находит яркое *морское* сравнение: «Живая, сильная, скользкая рыба билась в руках адмирала. Удержит ли?» (492). Не удержит. Не удержится. Первая строка Пятого (первого из ненаписанных) Узла, охватывающего срок с 9 июня по 12 июля, и всего конспекта «На обрыве повествованья»: «Адмирал Колчак изгнан матросами из Севастополя».

Не удержится Корнилов, которому в марте приходится закрывать глаза на превращение петроградского гарнизона в распущенную банду, получать бессмысленные приказы, входить в сношения с в конец обнаглевшим Советом и давать потом уклончивое интервью (540), принимать под «пакостную ихнюю марсельезу» парады, которых он не назначал, в том числе возжелавших представиться новому командующему зачинателей бунта — волынцев и павловцев (571, 599). И утешаться тем, что солдаты — как дети и не может иссякнуть в них русский дух.

Не удержится Крымов, 4 марта в далеких от столицы Унгенах обдающий Воротынцева могучим спокойствием Ильи Муромца:

— А что ж царю было делать, если не отрекаться? За гриву не удержался — на хвосте не удержишься.

<...>

— <...> Чем их правительство хуже другого? Вот Гучков сейчас за дело возьмётся, поразгонит разную бездарь из армии...

<...>

— Два дня побегают (воинские части с красными флагами. — *А. Н.*) — уложится.

(427)

Совсем скоро он будет предлагать Гучкову «одной Уссурийской дивизией в два дня» (опять «два дня»!) расчистить Петроград «от всей этой депутатской сволочи», а получив отказ военного министра («Да у тебя представление о демократии есть?»), отвергнет предложенный им пост начальника штаба Верховного и даст язвительный совет: «Тебе — демократического генерала? Так возьми Деникина. У него мозги — в аккурат такие, как у вас» (585). Другой совет Крымов даст Корнилову: коли нет здоровых частей, а казаки красуются перед толпой и метят уйти на Дон, так собрать юнкеров и кадетов да разогнать «этот Совет собачьих депутатов» (599). И тоже безрезультатно. Когда Корнилов, став Верховным, попытается осуществить мартовские замыслы Крымова в ослабленной форме (предполагается очистить Петроград от враждебных Временному правительству большевиков, Корнилов убежден, что действует в согласии с возглавившим Временное правительство Керенским), корпус Крымова двинется к столице. Попытка спасти Россию (да и не слишком любезную Крымову «демократию»), получившая клеветническую кличку Корниловского мятежа, будет сорвана предательством и ложью Керенского. (Крымов после разговора с Керенским покончит с собой.) Здесь не место анализировать причины этой катастрофы (ее детальная хроника представлена в конспекте Шестого Узла), но одну все-таки назвать нужно. Крымов жестоко ошибался, когда заверял Гучкова, что в его Третий Конный «оно» (революционное разложение) не придет (585). В августе выяснилось: пришло.

Так что зря успокаивает себя Кутепов:

Если думать о Петрограде, о Ставке, — всё казалось потерянным.

Но если думать о гвардии, о Преображенском полке, — это потеряно быть не могло. Это было — цельное, отдельное, мощное, сильное.

(573)

Не может никакой сколь угодно цельный и мощный полк существовать отдельно. Ни на войне, ни в том кровавом безумии, которое страшную, но все-таки честную войну сменяет. Так или иначе, не желающие смириться с революцией генералы и офицеры переходят от брезгливой лояльности к все-таки «приемлемой» новой власти и скрытой борьбы с ее возвышающимся красным спутником-конкурентом к прямому противостоянию. Все перечисленные персонажи (кроме рано погибшего Крымова, павшего «предварительной» жертвой просыпающейся гражданской войны) станут вождями Белого движения (можно уверенно сказать, что «белым» окажется и Воротынцев[5]), но не смогут вновь сделать Россию — Россией. В какой-то мере потому, что не могли воевать на своей земле, как на чужой; в какой-то потому, что слишком долго пытались перехитрить революцию, ввести ее в рамки, найти в ней свое — честное — место.

Выиграют (себе на позор, а часто и на погибель) гражданскую войну для большевиков генералы и офицеры, любившие военное дело больше, чем Отечество, и потому готовые служить любой власти (чем та железней, тем, пожалуй, лучше), люди складки стратега Свечина, который в марте по-человечески сочувствует Государю (403), строит планы (489), подбирает кадры, зовет в Ставку Воротынцева (644), брезгливо глядит на министров Временного правительства, но принимает и такую власть, если нет другой (643). Напомню, что прототип этого персонажа был расстрелян в 1938 году.

Здесь-то и пора вернуться к эпизоду с Лечицким. Внемлющий генералу Воротынцев обожжен «неповто-

римостью» и «неразрешимостью» открывающегося ему расклада:

...Погибала армия? Может быть. Погублена война? Может быть.

— Но, ваше высокопревосходительство! <...> Что же будет с Россией? Россия же! — не может погибнуть??

И получает в ответ прерывистый, ужасающий самого старого генерала, непереносимый ответ:

Может быть... Может быть, и не сумеем мы... Передать потомкам Россию, унаследованную от отцов.

(630)

На исходе первого революционного месяца Воротынцев слышит от Лечицкого ровно то, что во второй день катастрофы услышала его возлюбленная на беснующейся петроградской улице от незнакомой «высокой сухой дамы с беличьей муфтой»:

— Умирает Россия...

<...>

Андозерская поддержала её твёрдо за локоть:

— *Dum spiro, spero.* Пока дышу — надеюсь.

Но — сражена была её словом. <...> крайне выражено. И — неверно! Но и — очень верно.

(209)

Ни Андозерская с ее идеологическим складом мысли, ни человек действия Воротынцев не могут до конца поверить услышанному. Впитав душащий опыт уже не дней, а недель нового порядка, ни на миг не поддавшись его соблазнам, Андозерская (это ее последнее появление на страницах «Марта...») все же думает точь-в-точь как Воротынцев: «И Россия: погибает, да. Но: и не может же вовсе погибнуть такая огромная страна с недряхлым народом!» (619).

Даже Варсонофьев, много лет пытающийся постигнуть таинственную связь событий, представить сумбур текущей истории при свете вечности, не в силах прочесть доставленную ему во сне *астральную* телеграмму и увидеть то, что сулит (в новом, тут же последовавшем сне) «предупреждающее сочувственное сжатие». Жажде «увидеть» сопутствует страх. Проснувшись в первый раз, Варсонофьев понимает, «что это путает нечистая сила: не хочет, чтобы люди узнали важное глубинное известие». После второго сна («между обоими <...> была несомненная связь») вновь чувствует: «Какие-то знаки посылались, но — неразгадаемые» (532).

Дистанцируясь от замешанного на злорадстве восторга юной родственницы, пожилая еврейка говорит: «...всё это прошло не при слишком хороших знаках». И на смущенный вопрос: «Каких знаках?» — «отрешённо <...> не опасаясь, что кто-то улыбнётся», отвечает: «Небесных». Старая Ханна хранит верность религиозной традиции и памяти ушедших (она приезжает к Сусанне по окончании субботы, для нее еврейский митинг — прежде всего встреча с «нашими умершими»), а потому знает, что трагедия всяких людей (будь то царская семья с больными детьми или петроградские городовые, которых топили в прорубях) «есть трагедия» (560). Человечность, сопряженная с религиозным чувством, и позволяет ей разглядеть зловещие «небесные знаки». Мало кому это дается.

Когда Гучков примечает на косынке императрицы красный крест (символ милосердия), он, чья «жизнь была часто переплетена именно с красным крестом», чувствует, как крест этот посылает ему «смущающий привет», излучает «странный сигнал», и многолетняя ненависть к «заносчивой женщине» отступает. Гучков говорит императрице совсем не то, что собирался: «Какая нужна вам помощь? Может быть — детям лекарств?» И эти человеческие слова отзываются в душе государыни:

> ...этот ужасный человек в эти ужасные дни приехал не позлорадствовать, но предложить детям лекарств?

Детям — лекарств? В этом не могло быть ни насмешки, ни лицемерия.

На полминуты императрица и Гучков перестают быть фигурантами политического процесса, становятся просто людьми.

...Но кого же ненавидеть — этого ли мешковатого, совсем не военного министра, негрозно предложившего лекарств? Эту ли примученную, приниженную сорокапятилетнюю женщину с пятью больными детьми?

<...>

Неугаданным видением пронеслось между ними, что всё прошлое могло быть и ошибкой — и по дворцу не бродили бы сейчас с красными лоскутами дикари.

Но человечность торжествует недолго: Гучков обещает позаботиться о госпитале царицы, но ее просьба освободить «невинно арестованных» вызывает раздражение («Ого! Чуть покажи мягкость — и уже она требовала?») и остается без ответа. Оставляя дворец, недовольный «дурацким» визитом Гучков думает, что «надо готовить обстановку для возможного ареста» (452). Красный крест не просто исчезает, но превращается в Красное Колесо — следующая короткая символическая глава (453) являет эту чудовищную метаморфозу читателю, но не вернувшемуся к политике, а потому «расчеловечившемуся» Гучкову. Знак был, но не был понят.

Как не был понят знак полубольным генералом Алексеевым (одним из главных виновников отречения Государя):

...Голова покруживалась.

Покруживалась...

...покруживалась колесом красная сургучная печать, почти круглая, так что могла вращаться и катиться.

Вращалась. И — отдавлина резала как лемех, а выбрызг захватывал как лопасть.

(567)

Для Алексеева это только симптом переутомления и недуга, для нас — Красное Колесо. Грандиозный разлив красного (кровавого и огненного) цвета (знамена, лозунги, перевязи, ленточки, бутоньерки и проч.) вызывает разные чувства — эйфорию, циничную или трусливую готовность заявить о признании новых порядков (красный бант цепляет рядом с орденами великий князь Кирилл), омерзение (развеселая швейка — не глумясь, а из лучших побуждений — хочет приколоть красный бант капитану Нелидову; таящийся от бунтовщиков офицер не позволяет унизить таким соседством свой гвардейский значок — дивящий дурочку-певунью Андреевский крест с «не нашими буквочками» — «красный бант был ему как жаба» (204)), но почти никто не видит за навязчивым мельканием бутоньерок шальное и страшное кружение Красного Колеса (299). Видим мы, держа в памяти вдохновившее ленинские замыслы колесо паровоза (А-14: 22), горящую мельницу в Уздау (А-14: 25), эффектно украшенный бенгальскими огнями торт в фешенебельном ресторане (О-16: 38).

Видения Варсонофьева намекают на нечто большее, чем каждодневная явь:

> ...Пока он сидел невылазно в своём дряхлом домике, глубоко размышлял, видел тайные сны, слушал через форточку обезумелый колокольный звон — он и сам был богаче и предполагал богаче мир вне себя. Но если всё это великое свершение только-то и сводилось к сносу Охотного ряда, послаблению оперному хору, политической очистке профессорских рядов и ежедневному заседанию нескольких собраний в разных залах, из которых правильней всех смотрит Совет рабочих депутатов, — то стоило ли Варсонофьеву выходить? <...>
>
> Ход революции оказался и пошлей — но и таинственней, чем он думал.
>
> (532)

Тот ряд событий, что иронически припоминает одинокий мыслитель, должно сильно расширить: все *гран-*

диозные политические сюжеты февральско-мартовской революции, в сущности, ничтожны. Даже если мы — в порядке эксперимента — отбросим сегодняшнее знание о ходе русской истории в XX веке, то есть закроем глаза на грозные перспективы, которые открывает сразу сложившееся двоевластие, и примем оптимистические воззрения либеральных интеллигентов на уличную стихию и квазидемократию Советов, факт останется фактом: смена правительства и прочих властных структур не отменила ни одного серьезного практического вопроса, стоявшего перед страной в 1917 году, и лишь затруднила пути их решения. Война и продовольственный кризис никуда не делись, а волшебные слова («свобода», «революция», «новая эра») не упразднили необходимость поддерживать элементарный порядок. Лучшие из призванных революцией «новых людей» вынуждены заниматься ровно тем, над чем колотились их «неумелые» предшественники[6]. Так, кинутый из-за политической комбинаторики на продовольствие и земледелие Шингарёв (323, 448) оказывается продолжателем дела того самого Риттиха, которому он сурово оппонировал (мешал работать) накануне революции (3'). Только идти ему придется по невеселому пути гораздо дальше: от развёрстки — к *государственной монополии* на хлеб. И идти, руководствуясь теми «наилучшими советами», которые он обнаруживает в кипе министерских бумаг, в самом воздухе кабинета прозорливого Риттиха (535). А народному социалисту Пешехонову, ставшему комиссаром Петербургской стороны, приходится хоть как-то да обеспечивать нормальное существование обывателей, что раньше делалось само собой. И это для него, человека совестливого, не менее важно, чем решать рожденную революцией дикую «жилищную проблему» озверевшей орды пулеметчиков (270, 315, 378, 507).

И так повсюду. Революция не ликвидирует, но болезненно обостряет старые проблемы, а тем, кто взял бразды правления, кроме прочего, просто не хватает опыта. Умный и наблюдательный Станкевич, революционер,

которого военная служба приучила к ответственной оценке событий, безнадежно роняет в разговоре с рвущимся к министерскому портфелю Керенским: «Всё идёт — инерцией старого порядка, а не новым. Всё, что мы видим, что ещё держится, — это от старого. Но надолго ли этой инерции хватит?» (314).

Пошлость, которую ощущает в ходе революции Варсонофьев, и есть мнимая «новизна» (смена лиц, вывесок, эмблем, лозунгов и т. п.) при отсутствии широкого ответственного взгляда на историю и по-настоящему созидательной политической воли. Вопреки демагогическим разглагольствованиям о «творчестве демократических масс» и «освобождении личности», проявить такую волю (да и найти конкретное, точное политическое решение) в разрушительном хаосе революции не может никто. Революция устраняет не *частности*, а *целое*, в котором все со всем связано. *Частности* как раз удерживаются (даже пестуются, ибо любая власть нуждается в неких организующих формах, а новых взять негде), но при распаде всеобщей связи становятся *мнимостями*. Сохраняются кажущиеся лишь подновленными формы, но государство перестает быть государством, армия — армией, производство — производством, торговля — торговлей, общество (внешне как никогда высоко взорлившее) — обществом. Инерционность существования (прежде всего — его самых дурных составляющих) парадоксальным образом работает не на сохранение того, что еще вчера было данностью, а на его окончательное разрушение[7].

Пошлость замечают все, кому прежний душевный и/или интеллектуальный опыт помогает не подпасть под лживое обаяние революции. От пошлости (и не отделимых от нее лжи, глумления над поверженными, льстивого заискивания перед толпой и новой властью, добровольного попрания самого духа «свободы слова») задыхается Андозерская, читая возобновившиеся газеты («Впрочем, они не стеснялись ложью и до революции»). К газетам дело, однако, не сводится, их угод-

ливая фальшь не только искажает действительность (к примеру, умалчивая об убийствах и погромах) и формирует выгодный образ «бескровной» революции, но и точно отражает господствующее умонастроение общества (это видно из постоянной переклички газетных и собственно повествовательных глав «Марта...»). Ложь по-своему правдива. Андозерская задается вопросами о том, куда подевались верные слуги трона, что сталось с аристократией, епископами и самой Церковью, великими князьями, не только (и не столько) потому, что печать умалчивает об их противостоянии революции, но в первую очередь потому, что такого сопротивления не было. «Какой представительный гигант казался на фотографиях генерал Эверт, вот слуга царя! — и что же он?» (504).

Читатель про Эверта знает гораздо больше, чем Андозерская. Знает, как трусливо и мелко — вопреки своей картинной (карикатурной) громадности — вел себя главнокомандующий Западным фронтом в решающие дни. Как ждал указаний сверху («Не может генерал-солдат вести свою политику» (246)) и останавливал беспрепятственно двигавшиеся на Петроград полки (297). Как, присоединившись к большинству (по сути — к генеральскому заговору), дал телеграмму Государю о необходимости отречения (320), как, узнав о Манифесте, отправил «примирительную» телеграмму Родзянке (надо же избавляться от репутации «реакционера»), как перепугался, когда Манифест приказали задержать (359). Как не решался даже с пустоватым «отеческим наставлением» обратиться к своим войскам (392). Как, опровергая ложь о намерении открыть немцам Западный фронт, изящно перевел стрелку на оклеветанного императора («И если бы даже был отдан такой приказ, и даже с *самого* верха, — ни генерал Эверт и ни один из военачальников никогда бы...»), а вслед за тем попросил о переводе на другую должность, но, получив указание военного министра сдать дела, стал ждать приказа нового Верховного, в глубине души надеясь, что великий

князь поймет, защитит и сохранит на посту «верного солдата» (499).

Эверт не рвется навстречу «общественным чаяниям», как будущий слуга большевиков Брусилов (этого восславленного советской пропагандой «правильного генерала» Солженицын презирает настолько, что даже не выпускает на сцену; Брусилов аттестуется только убийственно брезгливыми репликами других военных) или циничный карьерист Рузский, сыгравший в мытарствах императора ключевую роль (285, 291, 337, 351). Он действительно монархист (потому и переживает, направив царю злосчастную телеграмму, не только из опасений, что события могут пойти вспять, но и от проснувшегося стыда). Он уверен, что бунт должно усмирить. Едва ли он законченный трус. Солженицын на то не указывает, хотя, вообще-то, дурных генералов не щадит. Трусость — доминирующая черта личности несостоявшегося диктатора и усмирителя Петрограда, благообразного дедушки генерала Иванова. Неукоснительное выполнение приказов и отказ от своевольных действий — безусловные воинские нормы, но лишь при обыкновенном положении вещей. Эверт — обыкновенный (наверно, не худший) генерал. Первоначальное (догоголевское) значение слова «пошлый» — «обыкновенный». В «минуты роковые», когда требуются воля, мудрость и готовность принять ответственность на себя, обыкновенный человек оборачивается изменником, его типовые добродетели — губительными слабостями, «пошлость» в первоначальном смысле — губительной пошлостью утраты человеческого достоинства, омертвения души, исчезновения лица.

И эта история далеко не про одного Эверта. Исключая Протопопова (у которого просто психика не в порядке), такими «мертвыми душами» в первые дни революции предстают все, на кого Государь оставил Петроград: премьер Голицын, военный министр Беляев, командующий войсками округа Хабалов. Это «омертвение» (опошление) стремительно охватывает изрядную

часть сановников и аристократов, генералов и офицеров. Речь не о тех, кто ждал революции или упреждающего ее дворцового переворота. И не о тех, кто пытался остановить бунт. Речь о тех, кто, одолевая омерзение, защищался от толпы или собственных солдат красными бантами, предусмотрительно отстегивал шашку или отдавал ее по первому требованию.

Их пошлость бросается в глаза — ее (и только ее) видит вникающая в газеты Андозерская. Даже для Государя истовая монархистка не делает исключения: «Как же мог он — как с м е л отказаться от помазания? (Вспоминалась кислая усмешка Георгия — в чём-то он был и прав?..) Государь-то — первый и признал это теперешнее правительство».

Андозерская потрясена скорой капитуляцией потенциальных защитников трона. Мысль героини естественно обращается к Воротынцеву: «Нашла она, дама, рыцаря и героя, — почему ж он не бился за её цвета?» Это эстетизированное и экзальтированное видение катастрофы (пошлость против оказавшегося несостоятельным рыцарства) возникает и раньше: «всё же французская монархия сопротивлялась три года, а наша — всего три дня. <...> Когда умирал старый строй во Франции — находились люди, открыто шедшие за него на эшафот. Там были свои легенды, свои рыцари...»

Тоскуя о «пропавшем» героизме, Ольда (профессиональный историк, хоть и специализирующийся на Средних веках, но, безусловно, в принципе знающий, как в реальности шла революция, позднее названная Великой) невольно забывает, что Париж 14 июля заходился восторгом, что поначалу и там никто не дерзал защищать старый режим, что первые — уже зверские — расправы с аристократами общество старалось не замечать, что Людовик XVI, прежде чем попытался вернуть трон, прицепил к шляпе трехцветную кокарду, признал революцию и потом долго отступал перед ее напором, что восходили на эшафот (или бежали за границу) не столько малочисленные убежденные защитники коро-

левской власти, сколько «первенцы свободы». Всё это — с некоторыми вариациями, привнесенными не столько национальной спецификой, сколько резко возросшим к началу XX века мировым опытом расчеловечивания, — повторится в России.

Мифологизируя французскую революцию, Андозерская невольно смыкается с чуждой ей интеллигенцией, захваченной игрой в аналогии. Разумеется, когда Ольда видит в великом князе Николае Николаевиче повторение «другого дяди другого короля», Филиппа Эгалите, «голосовавшего за казнь племянника, но не спасённого тем от гильотины» (504), она мыслит острее и точнее московского говоруна, восклицающего за еще по-прежнему превосходным ужином: «Наши головы кружатся, как кружилась голова у Камиля Демулена, когда он приколол к своей шляпе каштановый листок и крикнул: “В Бастилию!” Господа, мы слишком видим похожесть наших двух революций...» (470).

Головы оратора и разделяющих его пылкие чувства гостей семейства Корзнеров действительно кружатся. Ведь все они люди просвещенные и если даже не читали Тьера или Карлейля, то из других книг знают, что случилось с закружившейся в Июле Восемьдесят Девятого головой адвоката (как многие гости Сусанны) Камиля Демулена в Апреле Девяносто Четвертого. Знают, но радуются сходству двух революций, будучи уверенными, что потом эффектная параллель нарушится и шеи наших демуленов не перережет нож гильотины. Все революции действительно похожи — прежде всего тем, что, раскатываясь, множат свои жертвы. А также тем, что, гордясь сходством с прообразами, одновременно обещают стать исключением, свершиться без крови или малой — как бы незаметной, а потому извинительной — кровью.

Меж тем само равнение на «великие образцы» предполагает повторение деталей. Утром 28 февраля монархист Шульгин спешит взять нашу Бастилию — Петропавловскую крепость. Он хочет опередить озверелую толпу, которая по логике революции должна туда хлы-

нуть («он живо узнавал, что всё это уже видел, читал об этом, но не участвовал сердцем: ведь это и было во Франции 128 лет назад»; в нестройной «рабочей марсельезе» Шульгин слышал «*ту*, первую, истинную марсельезу и её ужасные слова»). Шульгин мчится к крепости в автомобиле под красным флагом, дабы выпустить политических заключенных «на глазах толпы и показать ей пустые камеры». Но политических в крепости нет, все камеры пусты, а комендант и офицеры боятся не штурма (которым пока и не пахнет), а собственных солдат. Шульгин вроде бы и спас крепость (пережил «великий миг»), но, по сути, его акция ничего не изменила (гарнизон в дальнейшем будет разлагаться вместе со всем солдатским Петроградом), но — вопреки прямым намерениям ненавидящего охлос монархиста — внесла еще один символический штрих в картину торжествующей революции. И когда за день резко полевевший кадет Некрасов предлагает из Петропавловки запалить Адмиралтейство, спаситель русской Бастилии вскидывается, «как укушенный»: «Как? Мы, Дума, слава Богу, ведь не делаем революции?» И слышит встречный вопрос с подобающим разъяснением: «А — что же мы делаем? Мы и захватили власть» (177).

Это «мы» включает любителя исторических аналогий, провоцирующих бессмысленные попытки перехитрить революцию.

Когда члены Исполнительного Комитета узнают о намерении Временного правительства отправить царскую семью в Англию, их испуг и мстительность подпитываются памятью о французском прецеденте (522). Реальные обстоятельства оснований для тревоги не дают. Правительство не слишком озабочено эвакуацией монарха, план действий не выработан, император только что прибыл в Царское Село, литерные поезда к Торнео не движутся. Вскоре выяснится: министры легко в этом вопросе уступят — благостный премьер Львов объяснит Милюкову, что «перед Советом мы должны быть безукоризненно лояльны», и будет правильно понят:

«Да собственно, Павлу Николаевичу что ж? Ему с Николаем Вторым детей не крестить. Конечно, неприятны напряжения с послами. Но их не сравнить с ожесточением Совета». Милюков согласится и с проникновенным шепотом «безкрайне доброго князя»: «Я боюсь, что Совет прав — и по сути». Не пристало кадетскому лидеру «обличье защитника кровавого тирана» (525). Руководствуйся члены Исполкома «политической целесообразностью» (сколь угодно гнусной), угадали бы они позицию своих «партнеров» и не стали бы снаряжать в Царское Село эмиссара со взрывоопасными указаниями (выполнить которые все равно не удалось). Но бал правит сомнительная (если задуматься) историческая аналогия:

Тень вареннского бегства, королевской ночной кареты, — великие тени колыхались призрачно над неровным кружком исполкомовцев, в неполном кворуме вместо трёх дюжин.

Они чувствовали себя — Конвентом, и ещё больше и ответственней того прежнего Конвента!

(522)

Та же патетическая тональность (просвеченная жесткой авторской иронией) окрашивает внутренний монолог эсера (и сочинителя) Масловского, которому поручено исполнить туманную воли Исполкома (то ли переправить царя в Петропавловскую крепость, то ли проверить надежность охраны — пламенный литератор угадывает и третий, становящийся для него главным и желанным вариант):

Так! Настал. Настал великий час. Тот миг, для которого он и жил всегда <...>

Так! Революция подошла к своему роковому неизбежному повороту — бегству короля! Взлетающий миг! (Нотабене: однако и не споткнуться, тут — прямая конфронтация с правительством.)

<...>

...Зачем полунамёки, полупризнания и полуклятвы? Всё революционное нутро Масловского встрепенулось навстречу прямому ответу: ц а р е у б и й с т в о !

(524)

Исполкомовцы *не* планируют ликвидацию императора, Масловскому не отряжают каких-либо частей (да и нет их в наличии), чтобы захватить дворец. Оговорка в скобках показывает, что комиссар-литератор хоть и плавает в романтических мечтаниях, но по сторонам оглядывается. Экспедиция в Царское Село сведется к унижению Государя, что с практической точки зрения не нужно даже Исполкому, — «предъявление» царя (531) лишь тешит разозленного срывом своей «героической миссии» тщеславного Масловского. При этом, однако, вся история «предотвращенного бегства» балансирует на грани зримого фарса и потенциальной трагедии. Ликвидация императора сорвалась, но могла и *не* сорваться, «предъявление» же (человек превращается в автомат, полностью подвластный чужой воле) предсказывает страшный конец царской семьи. Тот самый, о котором грезит Масловский. Тот самый, что предписан французской моделью. Новация в том, что наши последыши якобинцев не станут тратить время на имитацию суда.

Наряду с мифологией французской, революционно настроенная публика охотно использует мифологию декабристскую. Декабристами видят себя морские офицеры из окружения Непенина (131), подталкивающие адмирала к признанию революции (что не спасает его от пароксизма бессмысленной «классовой ненависти»); объявляется подписка на памятник декабристам (619); сочинением о декабристах занят писатель-символист, автор запрещенной «цареубийственной» пьесы о Павле I, неназванный, но легко угадываемый Мережковский, вместе с женой и другом (Гиппиус и Философовым) привечающий «наследников» первых русских революционеров — от с особенным восхищением встречаемого

Керенского (633) до начинающего литератора (и несостоявшегося цареубийцы) Масловского (524).

Любование *своей* революцией неизбежно ведет к поэтизации революции всякой. И наоборот, апелляции (не важно сколь осмысленные) к былым переворотам поднимают престиж сегодняшних событий. Так, гости Пухначевич-Коногреевой с удовольствием исчисляют сперва «мартовские» революции, а потом революции XX века, и никто не задается простым вопросом: что же светлого принесли в мир убийства Цезаря, Павла Первого, Александра Второго, не говоря уж о Парижской коммуне и новейших потрясениях (582).

Победа революции не останавливает, а разгоняет бег Красного Колеса, обрекая страну на превращение в поле битвы всех против всех. Сочувствуя Андозерской, можно и должно понять овладевшие ею надрывные чувства, но нельзя признать ее трактовку революции как исключительно торжества пошлости (осложненную, впрочем, признанием прежней вины не одной лишь интеллигенции, но и давно утратившей дух и волю власти). Хотя о «рыцарях» молчит лживая пресса, они отнюдь не исчезли: мы видели, как действовал Кутепов во взъярившемся Петрограде и как метался по Москве в жажде немедленного действия Воротынцев. Да, таких людей мало (рыцарская стать всегда удел редких), но личную честь, верность долгу, готовность умереть за правое дело они сохранили в марте и пронесут сквозь будущие потрясения. Больше того, лучшие из «людей революции», те, что ошибочно мыслили ее средством достижения общего блага, а не трамплином для прыжка во власть или иной самореализации, рано или поздно станут противниками былой «возлюбленной». Даже если, продолжая себя обманывать, будут искренне полагать, что сражаются с узурпаторами-большевиками за возвращение «украденной» или «искаженной» революции. Но в том и дьявольская сила революции, что она обеспечивает разъединение достойных, вынуждает «рыцарей» к сотрудничеству с честолюбивыми «игроками», навязывает тактические ходы

и компромиссы, делает — при всеобщем распаде — бесперспективным всякий единичный героический акт.

Все, что развернется в месяцы большевистского движения к власти и годы Гражданской войны, Солженицын позволяет нам увидеть уже в мартовские дни. В том и ужас, что пошлость, на которой замыкается Андозерская, соединена с не замечаемой ею тайной, присутствие которой ощущает (и мучительно пытается истолковать хотя бы себе) сновидец Варсонофьев. Тайна приоткрывается в его последнем мартовском сне — о мальчике «с дивно светящимся лицом» («Варсонофьев понимает, что этот мальчик — Христос»), держащем в руках бомбу, которая сейчас и неминуемо взорвет весь мир (640). Человечество подошло к порогу — ему суждено погибнуть, а то, что происходит в России, — предвестье всемирной катастрофы. В переводе с языка мистического на язык политической истории, социологии, исторической антропологии это значит: вошедшая в мир вместе с прежде невиданной войной и напитавшаяся ее убийственной силой русская революция страшно отозвалась на судьбе всей планеты, сделала мир и человека, которые при всех предшествующих изменениях оставались равными себе, качественно «другими». Сон о близящемся конце света позволяет Варсонофьеву нащупать смысл прежде посетившего его сна о «запечатлении» церкви. «И понятно ему, что церковь эта — в России, но вся Россия — под властью каких-то страшных врагов» (640). Понятно и больше: церковь и есть сама Россия, захваченная врагами. Услышав двумя неделями раньше неурядный и неурочный «охальный революционный звон», Варсонофьев чувствовал: «Это были удары — как если бы татары залезли на русские колокольни и ну бы дёргать» (362). Сроки исполнились — сохранить живую Россию нельзя, ее можно лишь спрятать, «как запечатывались храмы старообрядцев» (640), веривших в пору никонианского торжества и безжалостных гонений, что конец света пришел, что завладел Сатана Святой Русью. Варсонофьеву важно, что обряд видит его дочь, с которой, по-

сле долгих лет разделенности, «они снова были душами слитно, всё иное вмиг отшелушилось как случайное»: дочь теперь сможет сберечь память об исчезнувшей России и отце, который тоже исчезнет. А если так, то, быть может, когда-то запечатленная Россия выйдет на свет.

Но это если и случится, то в неразличимом будущем. А сейчас — упущено, как смекают в тот же самый день собравшиеся в Москве купцы, не только готовясь противостоять надвигающейся хлебной монополии (с хлебных неурядиц революция началась, они же, крепко усилившись, властвуют на исходе революционного месяца), но и невольно характеризуя суть всего, что произошло (648). Упущено. И напрасно Государь после отречения, наконец оставшись один, успокоив душу истовой молитвой, укорив себя за многое, решившись выразить в дневнике свои боль и обиду («...и он снова раскрыл тетрадь и добавил ещё одной строчкой: “Кругом измена и трусость”. И опять — кончил. Но не кончил. Главное-то самое: “...и обман!”»), воззвав к матери («почувствовал себя маленьким, слабым мальчиком, неокрепшим»), напрасно он, уступивший революции император, обычный слабый человек, которому — как всем — «завтра начинать снова жить», надеется на лучшее: «А может — Чудо какое-нибудь ещё произойдёт? Бог пошлёт вызволяющее всех Чудо??» (353).

Упущено. Государю «ответит» не ведающий о его скрытых мыслях Варсонофьев — в Четвертом Узле, давая заветные наставления не родной дочери (с ней выпало соединиться только во сне), а отыскавшим «звездочёта» Сане и Ксенье: «...Для Небес чудо всегда возможно. Но, сколько доносит предание, не посылается чудо тем, кто не трудится навстречу. Или скудно верит. Боюсь, что мы нырнём — глубоко и надолго» (А-17: 180).

Последнее суждение продолжает мысли, рожденные мартовским сном о «запечатлении» России — о ее уходе:

> Все удивлялись, как сразу, без мрака, разразилось всеобщее ликование.

И не видели, что ликование — только одежды великого Горя, и так и приличествует ему входить.

Все удивлялись, что для колоссального переворота никому не пришлось приложить совсем никаких сил.

Да, земных.

(640)

Вывод Варсонофьева вовсе не противоречит тому, что к революции Россия шла земными путями (долгое, от десятилетия к десятилетию нарастающее противостояние власти и общества при отдельном бытии народа). Вывод этот не предлагает счесть несущественным то сложное взаимодействие разноплановых и разномасштабных событий, которое с предельной дотошливостью воссоздано на страницах «Марта...». Напротив, вывод этот позволяет понять, почему «поправимые мелочи» привели к апокалипсическому итогу. Вполне могли власти нормализовать хлебную торговлю в Петрограде, не прерывать в опасный момент занятия Государственной думы, разумнее обращаться с расквартированными в столице солдатами, решительнее и жестче действовать в первый день бунта. Мог Родзянко не слать «набатных телеграмм», могли думские лидеры не составлять Временный Комитет, а уж коли составили, не входить в контакты с Советом. Могли главнокомандующие не останавливать двигавшиеся к столице войска и не слать телеграммы о пользе отречения. Мог Государь не покидать Ставки, не поддаваться напору Рузского, не отказываться от трона. Могли Алексеев, Николай Николаевич, Родзянко, Гучков, Милюков, князь Львов, думские златоусты, генералы, высшие офицеры, администраторы, железнодорожники, связисты, адвокаты, интеллектуалы, даже Керенский и лидеры левых партий действовать иначе — осмотрительней, последовательней, думая хотя бы о своем будущем?[8] Могли. Но не стали.

Никто из политических (или втянутых в политику) деятелей, сыгравших в февральско-мартовских событиях важную роль, не желает своей стране зла. Но из столкновения

поступков отчетливо разных людей (индивидуальность каждого прописана сверхтщательно, сколько-нибудь похожих друг на друга персонажей в «Красном Колесе» вообще нет[9]), движимых разными чувствами и помыслами, ставящих перед собой разные задачи, то и дело вступающих в конфликты, следует такой потрясающий результат, какого не добилась бы и сплоченная группа сверхпрофессиональных заговорщиков, если б такая существовала и ставила себе целью уничтожение России.

В подсказанных таинственными снами размышлениях Варсонофьева проступает символическое определение революции: это — горе в одеждах радости; это — ликование, мотивированное слепотой; это — невозможное в нормальной жизни, где интересы и идеалы разных людей и общественных групп всегда различны (что совсем не обязательно подразумевает озлобленную вражду), всеобщее (конечно, лишь стремящееся таким предстать) *единение*. Революция, если свести воедино символы, мерцающие в раздумьях Варсонофьева, — это *ложный праздник*.

Революция начинается с отмены привычных общественных барьеров: «чистая публика», весело играючи, поддерживает вываливших на Невский рабочих:

> ...И придумали такую забаву, сияют лица курсисток, студентов: толпа ничего не нарушает, слитно плывёт по тротуару, лица довольные и озорные, а голоса заунывные, будто хоронят, как подземный стон:
>
> — *Хле-е-еба... Хле-е-еба...*
>
> (2)

В эту игру вовлекаются казаки и солдаты. Попытки ее пресечь (отменить праздник) вызывают все большее сопротивление. На третий день волнений «стала чувствоваться власть улицы», стражи порядка, еще пытающиеся исполнять свои обязанности, обретают статус врагов, с которыми не должно церемониться, — начинаются нападения на полицейских. Когда казак предательски уби-

вает ротмистра Крылова, толпа приветствует преступление — пристава добивают, казака качают (29). Гибель Крылова не вызывает у толпы ужаса, воспринимается как должное. Улица экспроприирует у власти право на насилие. Бунт волынцев (как и предшествующий ему, но захлебнувшийся бунт павловцев) происходит потому, что солдаты не хотят стрелять в демонстрантов — они присоединяются к «празднику», который уже никак не может обойтись без кровопролития. Свобода требует жертв (убийство Лашкевича, за которым последуют расправы с другими офицерами (70)). Для того чтобы преступление перестало быть преступлением, необходимо сделать преступниками (борцами за свободу) как можно больше народу: поэтому Орлов «по-рабочему», «кулаком по шее» поднимает не намеревавшихся бунтовать солдат, поэтому волынцы устремляются к другим полкам: «Если преображенцев сейчас не подымем — это нам конец!!» (74). Страх от содеянного маскируется благородными восклицаниями. Нарастание насилия оказывается одновременным расширением праздника — в поворотный понедельник рабочие, солдаты и чистая публика сливаются воедино, ликование охватывает «весь Петроград». Те, кто сохраняет верность долгу, исключаются из *народного целого:* если кто-то не желает радоваться вместе со всеми, то с этим «отщепенцем», «врагом», «палачом» можно делать все что угодно. Чем более всеобщим становится революционное движение, тем больше оно нуждается во врагах: параллельно стихийным расправам с офицерами и полицейскими идут аресты «реакционных» сановников. Низами движения (солдаты и городская толпа) и его верхами (думцы, либеральные интеллигенты, социалисты) владеет одно и то же чувство: эйфория, отягченная страхом возмездия за переход Рубикона. Страх требует продолжения революции (пусть и называемого ее «обузданием», «введением в рамки»), которому неизбежно сопутствуют новые жертвы, новые пароксизмы жестокости, новые разрушения тех общежитейских норм, на которые никто сперва и не собирался посягать. Стремление

вытеснить из сознания ужас происходящего (свести его к случайным эксцессам, неприятным, но исторически объяснимым и не отменяющим «величия» и «благотворности» революции) усиливает лихорадочное — «праздничное» — веселье, в котором отдельный человек вместе со способностью суждения утрачивает собственную личность, становится частицей опьяненного целого.

Архаический праздник предполагает, с одной стороны, всеобщее единение (исключение делается для специально назначенных *игровых* врагов, козлов отпущения), с другой же — ритуальные нарушения привычных границ, мену социальных позиций (например, святочное ряжение господ в мужицкое платье, а простолюдинов — в господское), особый характер бытового и речевого поведения. Эти черты в той или иной мере присущи и праздникам нового времени — как церковным (достаточно часто генетически связанным с прежними языческими праздниками и сохраняющим в трансформированном виде их ритуальные особенности), так и государственным. Однако любому празднику в годовом цикле отведено определенное и жестко ограниченное время. Революция (которую образованное общество ожидало десятилетиями, которую уставший от войны и обусловленных войной незнакомыми прежде несправедливостями народ воспринимает как избавление от бед) двояко разрушает календарные установления: она происходит внезапно и не предполагает завершения. Напротив, ее возможный конец воспринимается инициаторами и деятельными участниками событий не как закономерное возвращение в будни, но как страшное наказание.

Характерно, что узаконенные, предписанные календарем (и соответственно работающие на государственную стабильность) швейцарские празднества вызывают резкую неприязнь Ленина:

Три недели назад ликовал этот город на своём дурацком карнавале <...> сколько засидевшихся бездельников к тому

готовились, шили костюмы, репетировали, сколько сытых сил не пожалели, освобождённых от войны! — половину бы тех сил да двинуть на всеобщую забастовку!

А через месяц, уже после Пасхи, будет праздник прощания с зимой <...> да можно б и похвастаться этим всем трудом (на празднике ремесленники и крестьяне шествуют с выразительными символами своей успешной работы. — *А. Н.*), если б это не выродилось в буржуазность и не заявляло б так настойчиво о своём консерватизме, если б это не было цепляние за прошлое, которое надо начисто разрушать. <...> И опять сотни трубачей и десятки оркестров, алебардисты и пехота наполеоновского времени, их последней войны, — до чего ж резвы они играть в войну, когда не надо шагать на убойную (ср. самочинные парады, которыми изо дня в день тешатся в Петрограде революционные части, желающие избежать отправки на фронт. — *А. Н.*), а предатели социалпатриоты не зовут их обернуться и начать гражданскую!

(338)

В дальнейших рассуждениях Ленина швейцарские праздники увязываются с общим ненавистным ему размеренно буржуазным укладом этой страны. Ленин, в чьем внутреннем монологе закономерно возникает сюжет «образцовой» революции (на роскошных аристократов, которых весело изображают в ходе праздника цюрихские ремесленники, «не хватило <...> гильотины Великой Французской»), мечтает о совсем другом карнавале, том самом, что уже вовсю развернулся в российской столице.

В разговоре с Андозерской историк Кареев винит во всем случившемся «якобы извечную русскую праздность, изобилие религиозных праздников прежде, которые всегда и мешали нам накоплять культурные и материальные ценности. И вот эти навыки рабских времен России теперь, мол, механически переносятся в Россию новую». Западнические суждения Кареева удручают его собеседницу и, разумеется, не разделяются автором, но определенный резон должно усмотреть и в них. В той же

главе (несколько выше) сама Ольда размышляет об оскудении монархического чувства: «...А кто мог серьёзно праздновать — 4 дня рождения (Государя, наследника и двух императриц), 4 тезоименитства, день вступления на престол да день чудесного спасения — 10 дней в году?» (619).

Привычка к праздникам в сочетании с *девальвацией* (смысловым оскудением) официальных торжеств по-своему послужила февральско-мартовскому срыву в безумие.

Парадоксальным образом чем больше революционный праздник подчиняет себе реальность (становясь все страшнее, кровавей и необратимей), тем сильнее он обнаруживает свою игровую (отчего вовсе не менее зловещую) природу. Не одному павловскому прапорщику Андрусову все, что творится вокруг, кажется «каким-то головоломным спектаклем» (121). В повествовании постоянно возникают карнавальные, маскарадные, театральные, цирковые метафоры, не столько измысленные автором, сколько предложенные ему самой историей.

Так, рассказывая о самом начале петроградских волнений, Солженицын знаково упоминает о событии иного сорта, что притягивало 24 февраля рафинированную публику:

> ...в Александринке среди бела дня, в будни, когда весь трудящийся народ на работе, — там собирался весь театральный, и это бы ладно, но и весь притеатральный мир, какой-то сбор ночных призраков днём, — присутствовать на генеральной репетиции какого-то, будто бы небывало особенного, четыре года готовимого спектакля режиссёра Мейерхольда по лермонтовскому «Маскараду», — так можно было понять, что Мейерхольд сделал там больше и важнее Лермонтова.
>
> (15)

Внутренний монолог потомственного революционера Саши Ленартовича, презирающего светско-декадентские забавы и раздраженного очередным «ускользанием»

возлюбленной, что отправилась на модное «безыдейное» действо, писатель приправляет жесткой иронией. Представление, которое кажется герою оскорбительной несуразицей (ночь обращена в день, режиссер доминирует над автором, собирается в Александринке ненавистное — «призрачное» — общество), происходит одновременно с не менее абсурдным спектаклем уличным, в котором вместе с покинувшим работу «трудящимся народом» азартно «играют» как сверстники-сочувственники Ленартовича, так и иные из «призрачных» (богатых, светских, изысканных) поклонников нового искусства. Хотя Солженицын умалчивает о будущей карьере постановщика «Маскарада», имя Мейерхольда говорит само за себя. «Автор спектакля» (это гордое самоопределение Мейерхольда здесь уже уместно, хотя в оборот оно будет введено позднее), продемонстрировавшего все внешнее великолепие императорского театра (косвенно — самой империи), совсем скоро станет одним из главных «художников революции». Когда ближе к финалу (17 марта — предпоследний день Узла) тройственный союз литераторов-символистов возмущается роскошной «бредовой фантазией» вообще и «безвкусным спуском траурного флёра с розовым венком» в особенности, собеседники не могут уразуметь, что очередное «па» былого «обласканца директора императорских театров», ныне клеймящего с революционных позиций «Мир искусства», вовсе не случайно. Доводя в «Маскараде» до предела изыски имперской культуры и тем самым хороня (быть может, бессознательно) «петербургский период», Мейерхольд уже готов, отдавшись новой силе, «творить новую жизнь» (633). Его «Маскарад» (а не новые революционные пьесы, что обдумываются символистами) парадоксально, но крепко связан с тем грандиозным площадным действом, начало которого совпало с генеральной репетицией в главном театре умирающей империи. Новый — кровавый — маскарад-карнавал-спектакль приходит как мнимое преодоление (но и продолжение) маскарада старого.

Приняв роль штаба революции, Таврический дворец в одночасье утрачивает былое великолепие. Дело не в том, что солдатские толпы просто не умеют вести себя пристойно (хотя это и так): барские покои нужно изгадить именно потому, что они барские. Нужно не только опустошить буфет (тут есть какая-никакая мотивировка — есть и в революцию хочется), но и надымить цигарками, затоптать паркет, порушить мебель, разодрать занавеси и, наконец, надругаться над портретом Государя (символическая репетиция еще не поставленного в повестку дня цареубийства). И не важно, что здешние господа изначально мыслились частью восставших как союзники-защитники. Как не важно и то, что сами оставшиеся в Таврическом думцы (и прибывшие сюда дружественные им интеллигенты), по сути, соучаствуют в глумлении над цитаделью российского парламентаризма. Как не важно, что еще вчера для абсолютного большинства бунтовщиков царь был неколебимой святыней, а о низвержении монархии они не думают и сейчас. Важно само по себе нарушение извечных границ, утверждение своей (на самом деле — массовой) воли, которое и творит праздник.

Убивают, избивают, разоружают офицеров и полицейских, врываются с обысками в прежде недоступные господские квартиры, арестовывают кого ни попадя, точно так же, как режут шашкой окорок, палят в воздух, плюют на пол шелуху семечек, неуставно расстегивают шинели, цепляют красные банты — знаковая составляющая этих акций неизменно выше практической. Конечно, рассупонившись ходить вольготнее, но гораздо важнее показать всем и каждому, что ты теперь свободен. Большинство петроградских бунтовщиков в шинелях тем поначалу и ограничиваются. Преображенский унтер Круглов, свирепо выгонявший солдат на бунт, предложивший себя в начальники караула Таврического, а позднее измывавшийся над арестованными сановниками, — персонаж особой, авантюрной и садистской, складки (77, 103, 227, 396). Потому так принципиальны для лидеров Совета пункты «Приказа № 1» об отме-

не титулования офицеров и отдания чести. Немногие из вдруг вознесшихся демагогов точно просчитывают перспективу разложения армии и сознательно решают эту задачу: необходимо польстить солдатам (вы теперь «граждане») и навязать им (не только взбунтовавшимся, но и тем, кто о революции еще не слыхал) *новую* поведенческую норму (бесовскую «без-образность»).

Опьяненная безнаказанностью (и первой кровью) низовая масса революции инстинктивно стремится всяким новым разнузданным жестом закрепить воцарившийся хаос как порядок. Утопия провозглашаемого равенства в реальности приводит к «карнавальной» мене верха и низа. Прогрессивная молодежь, весело разъезжавшая в начале «праздника» с солдатней на реквизированных автомобилях, добровольно (либо подчиняясь общему настроению) обращается в прислугу *«младших братьев»*. В аристократическом особняке устроена столовая для солдат: «...молодые Сабуровы и гимназистки, курсистки и студенты дружеских семей подносили, услуживали, накладывали, бежали на кухню за сменой — и были веселы, громки, в большом оживлении от своей деятельности» (381).

В Москве курсистки «чистили овощи, варили щи и макароны в невероятных количествах», дабы кормить солдат и толпу, что довольно быстро надоедает Ксенье — на второй день она чистить картошку не пошла (316).

С энтузиазмом заведует солдатской чайной на Петербургской стороне и прежде революционно настроенная Варя, но и ей не удается закрыть глаза на происки примазавшихся к революции мошенников и хамство «некоторых типов», которые «регулярно ели у них по три-четыре раза в день, и оставались тут вот уже на четвёртую ночь, без винтовок» (395).

С другой стороны, прислуга громогласно заявляет о своих правах, не щадя ни монархистки Андозерской (504), ни московских либеральных евреек, уверенных, что «революция прислуги — это и есть из первых актов черносотенства» (560). В торжествующем хаосе невоз-

можно отличить революционеров, врывающихся для обысков в квартиры (и заодно там кое-какие вещички прихватывающих) от налетчиков, смекнувших, что пришло время поживиться. Распахнув двери тюрем (тут низовая жажда воли и справедливости взаимодействует с идеологическими концептами либеральных верхов), революция дарует свободу уголовникам, которые отнюдь не намерены оставлять свой промысел. Зато циркулируют трогательные слухи о благородстве мошенников: «...на Хитровом рынке полицейские обещали ворам водку, чтобы помогли скрыться; а хитрованцы хотя водку и взяли, но привели полицейских в городскую думу: “Поверьте, господа, что и мы, хитрованцы, не нарушим порядка в такие святые дни”. И будто на Хитровом рынке, действительно, поразительный порядок...» (316).

Гуляют и слухи зловещие — о носящемся по всему Петрограду загадочном черном автомобиле, из которого ведется стрельба, о приспешниках старого режима, палящих в народ из окон, о грандиозном заговоре черносотенцев, о погромах, о том, что царь намеревался открыть фронт немцам. Врагом можно назначить кого угодно, именно потому, что настоящих противников у революции нет, а мифология требует их выявления. В равной мере бессмысленны аресты бывших министров, сановников, генералов и захваченного дома юного офицера:

— За что вас арестовали?

<...>

— Наверно за то, что фамилия немецкая. И что стрелял с чердака.

— А какая именно фамилия?

— Кривошеин.

— Позвольте, какая ж это немецкая? — улыбался тот. — Такая ж, как стрельба с чердака.

(192)

Не больше толку в штурме покинутого Мариинского дворца (152) или атаке на Инженерный замок (194), кото-

рые проводит Ленартович, — оба боевых маневра продиктованы мифологией революции и подчеркнуто театральны. Но только в таком хаосе, где знаки начисто съедают значения, и возможны «шутовские» проделки с большими практическими последствиями. Так ротмистр Воронович, не располагая какими-либо реальными силами, наглым розыгрышем (который может в любую минуту сорваться, но не срывается) обезоруживает Лейб-Бородинский полк (304). Так никому неизвестный Бубликов становится организатором охоты за царским поездом (231, 239), которая в конечном итоге приведет к отречению.

Можно ли счесть Вороновича и Бубликова главными виновниками победы революции? Нет, нельзя. Напротив, революция привела этих рисковых авантюристов (людей безусловно ярких и изобретательных, которые в других ситуациях могли бы принести немало пользы отечеству) к их «счастливым находкам». Все принципиально значимые события роковых дней — от сговора волынских унтеров до формирования двух самозваных властных центров (Временного Комитета Государственной Думы и Совета), составления генеральского комплота, отречений императора и его брата—следствия того хаоса, который занимает место давно утратившей всякую силу государственной власти. Громокипящая риторика Родзянки, политическое конструирование Милюкова, давняя идея Гучкова упредить революцию дворцовым (поездным) переворотом, честолюбивые затеи играющего разом за «цензовиков» и социалистов Керенского, теоретические построения Гиммера могут обрести (и обретают!) плоть только после того, как петроградский опыт последних дней февраля наглядно показал: власти больше нет — праздник свободы уже наступил.

Нельзя сказать, что на рубеже февраля и марта ведущие политические игроки не чувствуют страха: они как раз очень боятся и контрреволюции, и торжества охлократии, то есть хаоса, и пытаются противостоять обеим опасностям. Они не могут понять другого — что первой опасности нет вовсе, а борьба с этим фантомом (не допустить

гражданской войны!), на которую кладутся незаурядные усилия, споспешествует размыванию и без того жалких остатков государственного целого. Родзянко в своих переговорах со Ставкой то резко преувеличивает масштабы петроградского бунта, то рисует картину всеобщего успокоения, то пугает, то успокаивает, то вновь пугает генерала Алексеева, потому что сам не способен увидеть события в их страшной конкретности, потому что, искренне полагая себя сдерживателем революции, он уже стал ее слугой. И дело тут не сводится к личным чертам (честолюбию, самовлюбленности, пылкости, склонности к патетическим речам) председателя последней Государственной думы. Разразившись и не встретив сопротивления (действия Кутепова не только безуспешны, но и просто неизвестны обитателям Таврического дворца), революция подчиняет себе буквально всех политиков. Ибо даже те из них, что революции обоснованно страшились, давно прониклись убеждением: при этой странной власти катастрофа рано или поздно должна разразиться. Алексеев доверяет информации Родзянки (которую позднее сочтет вульгарным обманом), ибо внутренне к революции готов. Примерно то же происходит с главнокомандующими. Переиграть (обуздать) революцию пытаются — всяк по-своему — и Родзянко, и Гучков, и Милюков, и Алексеев, но их попытки обречены на провал. Признание революции (в любой форме) только ее усиливает. Пока политики ведут переговоры, строят планы, согласовывают интересы, вырабатывают компромиссы, буквально из пустоты (безвластие уже наступило) выныривают Воронович или Бубликов и лихо перенаправляют ход истории, о чем вожди общества, метящие в лидеры государства, узнают, когда свершившегося уже не поправишь.

Революция живет враждой и постоянно ее множит. Это верно не только для улиц и ставших беззащитными частных квартир, но и для стана «победителей» — Таврического дворца. «Цензовики» обоснованно боятся левых интеллигентов, представляющих народные массы, а те отвечают им взаимностью. Левых лидеров,

сформировавших советский Исполком, пугает стоящее за ними плохо управляемое многоголовое чудище самого Совета. Меж тем почуявшие силушку рабочий Петроград и запасные полки не вполне подчиняются и вроде бы представляющему их Совету. Хотя этой клокочущей массой удобно стращать буржуазные круги, но страх она вселяет и в тех, кто пытается ею манипулировать. Думский Комитет вместе со своим громокипящим председателем быстро утрачивает какое-либо значение: бюро Прогрессивного блока не пускает Родзянку во власть. Но и Милюков вынужден уступить премьерство бесцветному (не только с точки зрения лидера кадетов) князю Львову, терпеть в правительстве сомнительных персонажей, жертвовать товарищами по партии. Многих коллег Милюков почти нескрываемо презирает (примерно так же относится к своим, навязанным ситуацией, союзникам социалист-интернационалист Гиммер). Алчущий власти и популярности Керенский мечется между думцами и Советом, вымогая здесь и там право взять министерский портфель, войдя же в правительство, вскоре начинает примериваться к посту Гучкова. Отречение Михаила (нежданный конец монархии) вызывает в новорожденном Временном правительстве первый (далеко не последний) кризис: Гучков и Милюков едва удерживаются от выхода в отставку. Никакого единства нет ни в Совете, ни в его Исполкоме: всякий сколько-нибудь приметный умник и любая партия тянут одеяло на себя — что уж говорить о всегда держащихся наособицу и противостоящих всем и вся большевиках. Но и в тесной кучке ленинцев нет ни единства, ни согласия (Шляпников постоянно недоволен своим окружением), а возвращение из ссылки склоняющихся к соглашательству большевиков-сибирцев только добавляет сумбуру. То здесь, то там появляются самозванцы, предъявляющие мандаты Думского Комитета, Временного правительства, Совета, Исполкома — когда подлинные (но неизвестно почему выданные), а когда и фальшивые. Обе ветви петроградской власти

плохо понимают, как выстраивать отношения с армией. Армейское командование не может уяснить, кому должно подчиняться. За назначением Николая Николаевича на пост Верховного стремительно следует его отставка. Гучков начинает чистку генералитета, но его собственные позиции никак не назовешь сильными. Родзянко интригует против генерала Алексеева. Политическая путаница растет и усложняется не по дням, а по часам — никто вполне не доверяет никому, включая ближайших сотрудников. (Исключение — вечные трудяги вроде Шингарёва, Ободовского или Гвоздева, но они-то как раз серьезно повлиять на ситуацию не могут, ибо заняты неотложными практическими делами.)

Даже беглый конспект того собственно политического сюжета, что развернут Солженицыным с исчерпывающей полнотой (детально воссоздано множество ситуаций, как кризисных, так и рутинных; обрисованы постоянно меняющиеся позиции десятков «творцов истории» с непременным погружением во внутренний мир того или иного персонажа), подводит стороннего наблюдателя к выводу: да на второй-третий день проклясть эту самую революцию должны были если не все ее творцы, то изрядная их часть. Вывод глубоко ложный. Тревога, опасения за будущее, взаимное раздражение, физическая усталость (ведь не только для эффекта падает в обмороки — при всех его артистических склонностях — Керенский; ведь смаривают дикие ночевки в Таврическом и «железного» Милюкова), частные поражения не отменяют эйфорического настроя.

В этом плане *верхи* и *низы* (где тоже недовольства хватает) различаются не по существу, а по форме. *Низам* (но и студенчеству, и многим городским обывателям) нужны уличные гуляния и митинги (солдатам, кроме того, самостийные парады), *верхам* — съезды, торжественные заседания, банкеты. Нужны не только для поддержания тонуса (одоления внутренней тревоги), но и потому, что многие сердца действительно полнятся счастьем и надеждой, а чувства эти хочется про-

демонстрировать миру и разделить со всеми. Не одна лишь тактика заставляет политических противников вместе выходить к толпе и в революционных речах обходить разногласия (что удается далеко не всегда, подчас «левые», настраиваясь на волну масс, нарушают правила игры) — пусть истинного единства нет, пусть проснувшийся народ порой являет звериную дикость, пусть не все у нас сразу получается (в этих и иных неприятных казусах виноват в первую очередь проклятый царский режим), но ведь дальше-то все будет хорошо! А значит, и сейчас должно закрывать глаза на «эксцессы» (полегоньку ошибки исправляя), не преувеличивать «левой опасности», игнорировать клевету и оскорбления, искать вожделенного согласия, сносить бытовые неудобства, работать на благо нераздельных — отныне и навсегда — отечества и революции. Так, не только в патетических речах, но и в общественном сознании, происходит грандиозная подмена: антонимы становятся синонимами, революция, вся суть которой в разрушении России (как и любой страны, охваченной этим недугом), революция, которая Россию с ее вековыми религиозными и культурными традициями уничтожит (насколько это возможно), революция, из-под корежащего воздействий которой мы не можем выбраться почти столетие, эта самая революция для начала с Россией отождествляется.

Никогда Вера не видела — вне пасхальной заутрени — столько счастливых людей вместе зараз. Бывает, лучатся глаза у одного-двух — но чтобы сразу у всех?

И это многие подметили, кто и церкви не знавал: пасхальное настроение. А кто так и шутил, входя: Христос Воскресе! Говорят, на улицах — христосуются незнакомые люди.

Дело происходит не на митинге или съезде — в Публичной библиотеке. Читатели пришли сюда по устойчивой привычке, но заниматься с книгами они не могут — вдруг нахлынувшее счастье не позволяет.

Как будто был долгий не пост, не воздержание, но чёрный кошмар, но совсем безпросветная какая-то жизнь, — и вдруг залило всех нечто светлее солнца. Все люди — братья, и хочется обнять и любить весь мир. <...> Дожили они, счастливцы, до такого времени, что на жизнь почти нельзя глядеть не зажмурясь[10]. Отныне всё будет строиться на любви и правде! <...>

И Вера думала: может быть, действительно, начала братства — вот этого, уже ощущаемого между совсем чужими людьми, — теперь законно вступят в жизнь, разольются — и люди начнут безкорыстно делать друг для друга? И таким неожиданным путём победит христианство?

(271)

Пасхальная трактовка происходящего навязана самой революцией, кощунственно пародирующей — в дни Великого поста — праздник праздников. Пасха о Великом посту случиться *не может*. И только зловещая подмена способна превратить дни покаяния, воздержания, внутреннего сосредоточения в наконец-то избытый «чёрный кошмар». Характерно, что «одна с собою Вера не так уж и испытывала чёрный кошмар прежнего, но когда вот так собирались — то этот кошмар всё явственней клубился над ними»: без лживо очерненного образа прошлого, как и без придуманных врагов, революции быть не может. Пасхальные эпизоды (в полном согласии с исторической реальностью) возникают на страницах «Марта...» несколько раз и всегда обнаруживают свою *квазипасхальную* — фальшивую и кощунственную — суть.

Благовест, раздавшийся в Москве утром 3 марта (первый день по отречении, хотя о том, что Россия осталась без царя, еще мало кто знает), повергает в ужас мистически чуткого Варсонофьева:

Но этот был — не только неурочный, не объяснимый церковным календарём, — утром в пятницу на третьей неделе поста, — он был как охальник среди порядочных людей, как

пьяный среди трезвых. Много, и безтолково, и шибко, и хлипко было ударов — да безо всякой стройности, без лепости, без умелости. <...>

Как в насмешку над всеми его раскаяниями, обдумываниями, взвешиваниями, — хохотал охальный революционный звон.

(362)

Ксенья Томчак не была «блюстительница постов» (и тем более не обладала духовной интуицией Варсонофьева), но странный звон и ей показался неуместным и даже обидным, хотя признаться в этом она постеснялась. Московская толпа не знает, как на это диво реагировать: «Некоторые шли смеялись, а другие крестились по привычке. Правда, слышали, что этот звон — подменный какой-то: не только не все церкви, но и полезли на колокольни ненастоящие, видимо, звонари: сбивались и перебивались нестройно» (416).

Злоключения Ярика Харитонова заканчиваются (в рамках Третьего Узла) на лесном солдатском митинге, где нижние чины один за другим ручкаются с офицером, сперва не подозревающим, что таким образом его намерены унизить:

Уже не вид, не выражения их различал Ярослав — а только их ладони жёсткие, бугорчатые, плоские, да крепкие схваты, иные как клещи.

И — жали, и — жали. Больше — молча, а кто приговаривал «господин поручик», а кто бормотал «ваше благородие».

И — шли, и — шли, как в церкви к кресту прикладываются, все по порядку. <...>

...Не приложиться стояли к нему в рядок, а — приложить, как становится взвод в очередь к насилуемой девке?

(611)

Солженицын не говорит здесь о пасхальном христосовании (оно упомянуто в главе о Публичной библиотеке), но контекст (как главы, так и всей *квазипас-*

хальной линии «Марта...») подсказывает, что не только подход за благословением к священнику, но и поцелуи Светлого воскресенья (действительно отменяющие сословные, имущественные, культурные и прочие различия, действительно преображающие незнакомых людей в братьев) зловеще пародируют «насилующие» Ярика наши добрые мужики, которым «так долго было отказываемо во всём» (611). Квазипасхальная семантика этого эпизода становится очевидной, если вспомнить о первом неприятном потрясении Харитонова — в самом начале войны — от своих солдат, вдруг оказавшихся мародёрами: «Нет, хмельность лиц была не пьяная, а благодушная — доброжелательность пасхального разговения» (А-14: 29, подробнее см. в главе I).

Наконец, в той же Публичной библиотеке происходит разговор Веры с кадетом-интеллектуалом Кокошкиным, занятым среди прочего церковными делами. (Заметим, что глава эта следует прямо за рассказом о лесном митинге.) Выясняется, что новое государство намерено навести в Церкви порядок, а точнее — поставить ее на место: «Хватит! Церковь — слишком долго не могла существовать без полиции. Теперь упразднена полиция — будет упразднена и полицейская церковность».

Однако и отделить Церковь от государства, дать ей полную свободу Кокошкин и его единомышленники не собираются: «Пока мы не достигли полной религиозной свободы — наш долг очистить церковь от негодных элементов. А если уж и нынешний переворот не обновит церкви — ну тогда, знаете, она безнадёжна».

В начале главы (до разговора с Верой) Кокошкин бросает реплику: «Хотя мой род записан в Шестой Книге, но я ещё поискал бы человека, которого революция сделала счастливее, чем меня» (612)[11].

Слова эти отчетливо корреспондируют с *квазипасхальным* настроением посетителей Публичной библиотеки (271), что заставляет расслышать в рассуждениях Кокошкина нечто большее, чем типовое небрежение

интеллигента прогнившей синодальной структурой или столь же типовое равнодушие к религии.

Новое царство любви и правды будет возводиться без Церкви, остающейся, впрочем, под жестким контролем светского государства. Да и сейчас с Церковью разбираются не только обер-прокурор Владимир Львов и рафинированный Кокошкин, но «простые» носители революционного духа: «В одной церкви на Лиговке священник произнёс скорбное слово об отречении царя. Зашедшие в церковь солдаты прервали проповедь и повели его вон. “Что ж, убивайте за правду”, — сказал священник» (612).

Этого священника и этих солдат Кокошкин не замечает (а Вера не решается ему о них рассказать), он посмеивается над воззванием Синода и, вероятно, над изменениями, внесенными в ектенью, которые повергают в ужас Верину няню: «Она — верить такому не могла. Там в городе пусть чертобучатся как хотят—но как же это т у т подменили? что ж, нас и в храме хотят облиховать? да куда ж душе деться, не из храма же вон? Что это, и церковь отпала? Теперь и церковь будет ненастоящая?..» (430).

Именно такой — ненастоящей — хотят видеть Церковь солдаты, прервавшие неугодную им проповедь, с одной стороны, и просвещенный свободолюбец Кокошкин — с другой. Закономерно, что вести о том, как действует в церковной сфере новая власть, сильно тревожат долгие годы мечтавшего о реформе отца Северьяна. Он угадывает подступающие опасности:

> От нас требуют признать «новый строй» совершенным? Но Евангелие — не разрешает нам так. Но ни в какие временные общественные формы — глубины Церкви не вмещаются.
>
> В этих быстрых решительных жестах — издали не угадываешь молитвы.
>
> Если мы ещё усилим наши церковные болезни? — да в этом общем урагане по стране ещё увеличим наши заблуждения? — то к чему придём?
>
> Какая ещё новая расплата будет за это?
>
> (578)

Няня может рыкнуть на солдат, заявившихся в храм с красными лоскутами, и сорвать подколотый к иконе Преображения красный бант, но вернуть привычные слова в ектенью («Да царь же — живой, как могут за него не молиться?..») не в ее силах (430). Весь эпизод всенощной с выносом Креста Господня строится на напряженном противоборстве Церкви и обезумевшего мира, а последний ее фрагмент о действительно «братственной, взаимоуступчивой толчее», которая выливается «в струйку к аналою», и венчающие эту главу (430) слова молитвы — «Твоим Крестом разрушится смерти держава» — вселяют надежду. Но не отменяют тревоги за будущее Церкви (нам хорошо ведомое). И — в совокупности с теми эпизодами, о которых шла речь выше, — позволяют ответить на вопрос, какая Пасха может случиться во время Великого поста?

Истинный праздник знаменует Воскресение Христово. Праздник подменный, Пасху имитирующий и невольно пародирующий, по сути ее отрицающий, свидетельствует о появлении если не самого Антихриста, то его предшественников-приспешников, торящих путь своему господину. Антихрист жесток лишь с теми, кто живет верой и любовью к Спасителю и обличает самозванца, — ко всем остальным он поперву безмерно снисходителен и добр. Дело Антихриста—соблазнение: дабы прельстить малых сих, он сулит каждому исполнение его заветных желаний, нимало не заботясь об их противонаправленности, да и не собираясь когда-либо исполнять обещанное. Так представший ревизором Хлестаков не мечет громы и молнии на головы погрязших в грехах чиновников и прочих обитателей заштатного города (чего все они, прекрасно зная о своих скверностях, со страхом ждут), но обещает удовлетворить любые их просьбы. Так и революция открывает перед всеми, кто согласился ее признать (ей так или иначе поклониться), грандиозные перспективы (разумеется, лживые). И соблазняет очень многих, тонко играя на разных (не только и далеко не всегда — дурных) душевных свойствах

своих жертв. В *новом* прекрасном мире (а чтобы он виделся только таким, надо прежде как можно сильнее опорочить мир *старый*) все будет по-новому — почему же ты должен упустить свой шанс?

Понятно, что сулит революция честолюбивым политикам. Дабы именоваться Николаем III, великий князь готов присягнуть «конституционному образу правления» со «свободой и сознательностью» (391). Назначенный Верховным главнокомандующим, он отвергнет предложение Колчака, надеявшегося, что популярный в армии Николай Николаевич провозгласит себя диктатором и заставит считаться с собой петроградских мятежников (417). А получив от князя Львова предписание уйти в отставку, немедленно его выполнит и присягнет Временному правительству:

> Неудобно отказаться.
> Отказаться — невозможно.
>
> (547)

И не тронется просьбой депутации могилевских фабричных и железнодорожников («с красными наколками — никого») вопреки правительству и якобы народному мнению остаться на посту Верховного: «Ваше Императорское Высочество! Да нас тут — сила, вся дорога в наших руках. Да вы только прикажите — мы чичас рельсы хоть до самой Орши снимем — и посмотрим, как этот *народ* к нам сунется!»

И разобрали бы. И взыграло в несостоявшемся Николае Третьем «боевое, ретивое»:

> Ах, как бы сейчас он правда им приказал! <...>
>
> Но с разобранными рельсами — что же дальше? Начинать войну внутри России? — нельзя было этого взять на себя <...>
>
> Да ведь уже — и сдал он командование Алексееву. И — пылко ответил Львову. И — присягнул Временному правительству. И — вся Ставка присягнула.

И — разве можно теперь это всё повернуть?

(572)

Корону (или хотя бы высокую должность) принять от революции было можно, а противостоять ей — нельзя. Во-первых, страшно. А во-вторых, может, еще призовет революция великого князя, которого так любит армия и *настоящий* народ?

Во главе государства видят себя и Родзянко, и Гучков, и Милюков, и более всех выражающий самую суть революции, соблазненный соблазнитель, сверхподвижный и сверхпластичный «артист» Керенский. Пусть не сейчас, пусть после Учредительного собрания, пусть пройдя сквозь череду компромиссов, пусть отдавшись до времени черной работе на менее высоком (но ведь тоже нешуточном) посту. Не может же революция обойти лучшего, а каждый из претендентов мнит себя таковым. Персонажи меньшего ранга метят всего лишь в министры — как организатор охоты за царем Бубликов, которого после всех его подвигов неблагодарно обошли должностью (280), или генералы — как лихо комбинирующий полковник Половцов, верный ироничному девизу: «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе» (251).

Да кто же не хочет сделать карьеру?! Ненавидящий (и глубже многих понимающий) революцию Воротынцев тоже призадумался, получив от Гучкова вызов:

Воротынцеву, в его разряде командира полка, повышением было бы — получить дивизию и генеральский чин. А — *большим* повышением? Сразу корпус?..

<...>

Головокружительный соблазн.

Выбор — целой жизни...

Какой выбор? Да, конечно, я согласен! Кто может быть не согласен?

А Лечицкий сказал: не время сейчас возвышаться (об этом разговоре (630), речь шла выше. — *А. Н.*).

Но и именно — время! Но и важней всего — управлять событиями *сейчас!* <...>

Но революция — это событие слишком огромного масштаба, чтоб его безошибочно разглядеть изблизи. И из революций тоже выходили могучие государства, на века.

(644)

Воротынцев соблазн преодолевает, но колебания его, в которых главную роль играет не честолюбие (вообще-то, нормальное для профессионала качество), а желание принести пользу отечеству, весьма показательны.

Так и соблазняются достойные люди. Шингарёв предельно искренен, когда говорит Струве в канун рокового дня: «Я лично — ни к какой власти не рвусь, я хочу только, чтобы было хорошо России. Но если наши глаза видят лучше, а *их* глаза отказали...» (44).

Ободовский, не оставляющий из-за начавшихся потрясений своих чертежей и радующийся, что Дмитриеву удалось сговорить хоть двух рабочих продолжать бронзовые отливки, размышляет: «Ужасно, что это во время войны! Но чего не простишь революции за её ослепительность! Революция — как эпидемия, она не выбирает момента, не спрашивает нас» (110).

Оба будут служить революции не за страх, а за совесть — и отгонять дурные мысли, закрывая глаза на творящийся кошмар, благо «ослепительность» революции тому весьма способствует. Кривошеин, наверно лучший из былых царских министров, некогда ближайший сотрудник Столыпина, отнюдь не поклонник мятежей, и тот при начале петроградского возмущения клянется себе, «что сейчас, если предложат — уже не будет страшиться, а — возмёт» должность премьер-министра. Возьмёт, чтобы «соединить наконец “мы” и “они”». Он решился, когда «дым и отсветы огня страшно отдавали по Сергиевской» (117), — решился, дабы противостоять революции, но и используя «момент». Зря решился — опытный государственный работник теперь уже не нужен.

Безусловно честный, лично преданный царю, не рвущийся в «творцы истории» и равнодушный к власти генерал Алексеев составляет заговор главнокомандующих (не чувствуя себя заговорщиком!), результатом которого станет отречение, ибо убежден, что эта жертва позволит вернуть в страну порядок и размеренно продолжать войну. Ему и славы спасителя отечества не надо — лишь бы все шло своим чередом.

Когда Гучков заявляет Думскому Комитету, что он едет во Псков, дабы спасти династию, юридически окончить революцию, то есть вытребовать у Государя отречение («приблизился к вершинному моменту своей жизни»), сопровождать его вызывается Шульгин:

> ...Какое неповторимое историческое событие — присутствовать при отречении всероссийского императора, даже брать самому это отречение!
>
> Можно бы удивиться, что вызвался такой отъявленный монархист? Но — некому удивляться, устали удивляться, устали запредельно.
>
> (303)

Читатель, хоть и не уставший, понимает, что удивляться и впрямь не стоит: участвовать в столь важном акте (непродуманном, юридически не подготовленном — манифест, противоречащий российским законам, Шульгин будет набрасывать в поезде — но, безусловно, символическом) — перед таким искушением устоять куда как трудно.

Как и перед другими, что завладевают не отдельными людьми, но большими социальными (и национальными) общностями. Кто только не верит в скорое и безоговорочное исполнение желании. Есть мечта едва ли не всеобщая — победно закончить войну. Но солдаты-фронтовики толкуют о замирении и братаются с немцами, петроградские запасники хотят избежать отправки на позиции, одни офицеры и генералы надеются, что Гучков не сегодня, так завтра разгонит всю начальственную

бездарь, а другие радуются, что теперь-то и можно будет вести войну, ничего не меняя (чудесная революция, оказывается, может способствовать и сохранению status quo!). Крестьяне ждут, когда же им раздадут помещичьи, монастырские и прочие чужие земли. Рабочие — сокращения трудового дня и повышения расценок. Предприниматели — промышленного подъема и свободной торговли. Часть духовенства и религиозно настроенная интеллигенция — реформы, освобождающей Церковь от контроля мирской власти. (Но другая, не меньшая, часть общественности, да и некоторые священники ждут иной реформы — ограничивающей права Церкви, освобождающей ее от «реакционеров», ставящей на службу свободному государству.) Евреи хотят равноправия. Журналисты — полной свободы печати (хотя запретных и полузапретных для прессы сюжетов в дни революции стало куда больше, чем при проклятом старом режиме). Писатели, художники, артисты — невиданного взлета всех искусств (кто же раньше-то мешал?). Горничные — гулять целыми днями с красными бантами и устраивать в барских квартирах посиделки с солдатами. Грабители и воры — заниматься без помех всегдашним любимым делом. Их мечта — в связи с ликвидацией полицейских служб — фактически уже исполнилась. В отличие от чаяний остальных граждан, сделать которые явью (а не объявить на бумаге уже сбывшимися) едва ли возможно и при отлаженном порядке. Но революцию для того и звали (приближали, вскармливали), чтобы она творила чудеса. И она их непременно сотворит. А мы ей (и себе) поможем.

Соблазны революции оказываются столь действенными потому, что общество давным-давно привыкло мыслить ее избавлением от всех реальных и мнимых зол, а ненужная война, принесшая народу великое множество несчастий, заразила и его жаждой (и идеализацией) перемен. Не польститься на посулы революции способны немногие. Это старики, твердо держащиеся религиозно-нравственных устоев (Доманя Благодарёва,

няня Воротынцевых, генерал Лечицкий, пожилой рабочий, который прячет в день бунта капитана Нелидова (134), Архангородский, тетка Сусанны; в этот ряд естественно вписывается Захар Томчак, хотя в Третьем Узле он не появляется). Это незаурядные мыслители-идеологи (Варсонофьев, Андозерская[12]). Это некоторые кадровые военные (Кутепов, Ярик Харитонов, юный подпоручик, скандирующий марш Преображенского полка). Офицеры, сохранившие верность долгу 27 февраля, были застигнуты бунтом врасплох и, кроме прочего, защищали себя. Как они будут действовать, когда прямая угроза жизни сменится соблазном, мы не знаем — вероятно, устоят не все. Наконец, это молодые люди особого душевного склада.

Попав на пир солдатни в особняке Сабуровых, оскорбленный наглостью «*младших братьев*» и лакейской услужливостью барышень и студентов гимназист Коля Станюкович обращается к раньше неизвестной ему девушке (знакомой читателю Ликоне), которая, как он видит, играет «навязанную роль», явно выпадая из согласованного ансамбля:

— Позор какой. Как мы унижаемся. Ох, отольётся это нам.

Она подарила его чёрным взором, сделала лёгкое-лёгкое полубоковое изгибистое движение — головой ли, плечами — и уже этим одним выразила больше, чем он мог собраться выразить. Но еще и ответила:

— Да. Никогда нельзя терять себя.

(381)

Мальчик чувствует так же, но лишь нащупывает то, что с полным правом произносит загадочная красавица. Ликоня не потеряла себя ни в студенческом клублении (А-14: 59, 75), ни в фешенебельных ресторанах (О-16: 38), ни в карнавале революции. За ее модным декадентским обличьем таится глубокая душевная отрешенность от той суеты, в которой она словно бы и участвует, но всегда (а не только в особняке Сабуровых) отстраненно.

Ликоня годами жила как во сне, от которого ее пробуждает неохватное чувство — втайне давно ожидаемое, но ударившее молнией и безраздельно подчинившее душу. Череда лирических (на грани стихотворений в прозе) глав (37, 63, 335, 363, 475, 496, 563, 591, 620) изобилует ускользающими намеками и недоговорками. О том, что избранником Ликони стал волжский купец и пароходчик Гордей Польщиков, мы узнаем в самом конце Узла и, что существенно, не в ее, а в единственной *его* главе (648). Лишь дважды нарушается пунктирный мерцающий ритм этой затемненной «несказанной» истории — в особняке Сабуровых и при неудачном сватовстве Саши Ленартовича (618): в обоих случаях Ликоня решительно отвергает революцию. Ликоня и прежде не любила Сашу, ибо угадывала (не важно, сколь сознательно) в нем человека революции (потому нет обмана в словах «Я к тебе — не переменилась»). Ей был нужен другой. В Четвертом Узле, услышав, что большевик Ленартович комендантствует в особняке Ксешинской, Ликоня резко его оборвет: «Ну знаешь, и разговаривать не хочется… Зачем же в людей стреляете?..» (А-17: 133). Казалось бы, ей, захваченной любовью, не должно быть дела до политики, но негодование Ликони естественно и закономерно. Любовь и насилие несовместимы.

Ленартович, рванувшись на штурм Мариинского дворца, вспоминает о недоступной возлюбленной с новым чувством: «не в том унизительном уговаривании, как проходили их последние встречи, но с властным чувством права: он выбрал её — и будет она его! по его воле, а не по своей!» (144). Он заблуждается: *так* точно не будет. И напрасно после непроизнесенного, но тем более страшного и оскорбительного отказа (Саша понял, что Ликоня любит другого) он, вдохновившись «Краснокрылым Смыслом, который носился над улицами, над городами», то ли уговаривает, то ли угрожает: «Ох, ещё я тебе понадоблюсь. В тихий уголок тебя не уведут — потому что тихих уголков не будет скоро. Я — так предчувствую, что я тебе понадоблюсь. Что ты ещё…» (618).

Непроизнесенное слово угадать легко — «пожалеешь». Не пожалеет. Даже если предсказание Ленартовича сбудется (вероятность того весьма велика). Революция может швырнуть беззащитную Ликоню к ногам победителя, может принудить ее просить о помощи, может сделать былую гордячку Комиссаровой наложницей (да хоть бы и законной женой)... Но изменить ее чувства, заставить полюбить насильника подлый, жестокий и не знающий на себя управы «Краснокрылый Смысл» не сумеет[13]. Потому что любовь остается любовью и в кошмаре революции.

Даже если это любовь греховная. Ликоня становится любовницей женатого человека. Похоже, хотя точных авторских указаний на то нет, что, в отличие от читателя, героиня не знает о семейном статусе Польщикова. Но и расскажи волжанин «Зореньке» о своей жене, («близко к ровеснице»), которую «ощущал чуть не как мать» (648), едва ли бы это Ликоню остановило. Роман разворачивается в дни Великого поста. Начинается он после той самой генеральной репетиции «Маскарада», которая неслышно пророчит катастрофу. Ликоня сама подходит к незнакомому мужчине, то есть нарушает элементарные приличия (30, 648). (Тут нельзя не вспомнить о ее «сомнительном» появлении у Кюба — О-16: 38.) На именинах она говорит Ленартовичу: «Я—плохая! так и знай: я могу изменять!» (618). И все это не отменяет той чистоты и высоты, что царят в каждом фрагменте ее любовной истории. Если бы чувство Ликони было только плотским (сексуальным), если б ставила она «дерзкий эксперимент», если б играла в «новую женщину» (все эти мотивы развернуты в главе об идеологе и практике «эмансипации плоти» и «свободной любви» Александре Коллонтай — 631), не могла бы она сказать того, что сказала незнакомому гимназисту: «Никогда нельзя терять себя». Она и остается собой. Именно потому, что хочет не столько брать, сколько отдавать: «Что бы Вам ни было нужно от меня — я счастлива буду Вам дать. Может быть, когда-нибудь я понадоблюсь Вам для чего-то большего, чем была в эти дни» (620).

Эти строки Ликониного письма внешне близки, а по смыслу прямо противоположны обращенным к ней словам Саши. Ленартович предполагает получить за будущую услугу вознаграждение, Ликоня надеется исполнить волю любимого; Ленартович хочет завладеть ускользающей красавицей и подчинить ее себе, Ликоня — соединиться с тем, кому безраздельно принадлежит (и, как сказано в том же письме, принадлежала всегда). Он хочет быть господином, она — женой (не смея этого вымолвить).

Так одна грешная любовь (Ликоня — Польщиков) рифмуется с другой (Калиса — Воротынцев). Вечер, ночь, полный день, еще одна ночь и прощальное утро в доме Калисы возвращают Воротынцеву душевный покой. По расставании с ней прежде непрестанно мучившийся из-за двух женщин герой начисто забывает не только об Алине (покуда та в Четвертом Узле не нагрянет в Могилёв), но и об Ольде. И если мытарства с женой протянутся сквозь весь «Апрель Семнадцатого», то об Ольде, оказавшейся — коли вдуматься — лишь поводом для семейной катастрофы, Воротынцев почти не думает. Провожая Алину из Могилёва, он обреченно признается себе:

> ...Алина никогда его не любила.
>
> Но страшней: и он её не любил.
>
> А Ольду — разве любил?
>
> И какую ж тогда женщину он в жизни любил? Никакую? Ещё никогда?
>
> (А-17: 173)

Так что едва ли новая встреча с Ольдой должна Воротынцева сильно обрадовать. В ряду его вопросов к себе опущен напрашивающийся: «*А какая женщина любила меня?*» Воротынцев прячет от себя этот вопрос, потому что знает ответ. Его любила и любит Калиса. Не потому, что он офицер и дворянин хорошей фамилии, который может сделать карьеру (таким видела его когда-то Али-

на), не потому, что он благородный рыцарь, который будет восхищенно внимать Прекрасной Даме и биться за ее цвета (таким увидела его Ольда), а просто — любит. Потому и помнит много лет, как он, зайдя на пирог с вязигой, попытался сокрушить ее супружескую верность: «Ах, грех какой, Георгий Михалыч: ведь оба раза — на посту, на третьей неделе...» (126). Потому и уступает Воротынцеву — понимая, что берет на душу тяжкий грех. (Калиса не Ольда: для нее, воспитанной в строгих правилах и пожившей за стариком-купцом, к которому она смогла прикипеть душой, святость брака и Великий пост отнюдь не легко отбрасываемые условности.) Потому и провожает Воротынцева (только потом выяснится, что на революцию), как не провожала его на войну (тут все известно было) оставшаяся нежиться в постели Алина, когда «по всей России бабы бежали за телегами, за поездами, и голосили».

...Калиса кормила и охаживала его со всей привязанностью, и угадывала, что бы ему ещё.

Как жена. Нет, не как жена. Нет, именно как жена! — он только теперь узнавал.

(241)

Это чувство может на время выпасть из светлого поля сознания, но не может вовсе сойти на нет. Ольда, не числя за собой греха, надеется, что проклятый революционный ураган примчит ей Георгия. После проводов Воротынцева Калиса на страницах «Красного Колеса» больше не появляется, а Георгий о вдовой купчихе не вспоминает. Но логика повествования подсказывает, что новая встреча (возможно, не одна) Воротынцева с Калисой Солженицыным планировалась. А чем она должна была обернуться, читателю знать не дано.

Нельзя не заметить, что грешат не худшие (поддающиеся соблазнам), а лучшие, отвергающие революцию, герои «Марта...». Третья пара в этом ряду — Ярик Харитонов (удержавшийся от «кровосмесительного» порыва

к Ксенье и неожиданно двинувшийся по «лёгкому» пути) и Вильма. Мы не можем понять, действительно ли она проститутка (скорее всего — так) или, как мнится Ярику, вышла на бульвар в первый раз и от безысходности произнесла решившее дело: «Пятнадцать» (цена «сеанса»). Мы вместе с Яриком ощущаем ее удивительную красоту и хотим верить, что на прощальные слова потерявшего невинность мальчика: «А я тебя — запомню, Вильма!» — она искренне отвечает: «И я тебя» (561). То, что Харитонов не сумел на следующий день найти дом пленившей его беженки с Двины (574), кажется символичным — у волшебного свидания (не случайно же в нищей комнатке пунцовая шаль загорелась жар-птицей!), пусть стимулированного грубым позывом плоти, пусть оплаченного пятнадцатью рублями, не должно быть пошлого продолжения. «Повторный сеанс» невозможен. Возможна другая встреча в другом месте и при других обстоятельствах — случись она, стало бы ясно, кто же на самом деле Вильма и только ли «профессиональная вежливость» побудила ее отозваться на прощальное признание незнакомого офицера. Но даже если автор не предполагал нового скрещения судеб Ярика и Вильмы, если волшебство (с толикой достоевщины) их свидания только воспаленная греза мальчика из хорошей семьи, который жить не может без «возвышающего обмана», если ночь он провел с заурядной бульварной девицей, у которой таких офицериков было без счета, — даже и тогда мы не имеем права назвать приключение Ярика глупым и грязным. Ходить к проституткам грешно в любую пору, а не только о Великом посту, а обвинить поручика не получается. Текст противится. Слишком страшное будущее ждет этого мальчика — стойкого, но хрупкого, из тех, кого никогда не согнут, но запросто и раньше многих сломают. (Как чуть и не произошло в поезде.) Если его первая ночь с женщиной окажется и последней (а ведь очень на то похоже), то не оплакивать невинность ему (и нам) должно, а благодарить судьбу за странный подарок. Этой ночью он любил. Как любят

только чистые душой люди. И потому московское происшествие (вопреки нормам типового пролитературенного интеллигентского сознания) не толкнет его в объятия революции. «Возвышающий обман» не позволяет Ярику счесть Вильму проституткой, а потому мысль об отмщении «страшному миру» ни на миг его не прельщает. Он согрешил, но не потерял себя.

Как не теряют себя пока еще не нашедшие друг друга, но неведомым образом угадывающие будущую встречу особенно любимые молодые герои Солженицына. Революция не может подчинить себе Ксенью и Саню. Да, солнечным днем в лесу Саня внутренне расстается с войной и мечтает об иной жизни, «но если душа отлетела от войны — то и не в революцию она вселилась» (537). Охватившая Саню жажда любви возрастает на офицерской вечеринке:

> Полюбить — по-настоящему. Полюбить пока не поздно. Ведь ещё велика война впереди, и немало сложится голов.
>
> Если уж и судьба в эту войну умереть — то хоть оставить позади себя любимую женщину. С сыном бы.
>
> (577)

И точно так же в Москве, куда Саня отправится в апреле, мечтает о любви и сыне его будущая избранница, вглядываясь в резвящихся детишек (416) и завидуя каждой беременной женщине (545). Ксенья не слишком вдумывается в смысл происходящего (хотя замечает и странность «пьяного» благовеста, и покорных пленных городовых), но ее чистая радость только внешне совпадает с общей эйфорией: «...наглотавшись этой революционной весны, так приятно: в неурочное время принять душ да прикорнуть на кушетке с томиком Стриндберга» (316); отрадно получить неожиданный подарок — море свободного времени (что ж поделать, если занятия толком не возобновились — не Ксенья тому виной) и гулять по весеннему городу; весело сознавать, что хорошо не одной тебе, а всем вокруг:

...Никакой весной не веселились так сразу все люди.

Ксенья с уверенностью угадала свою лучшую и заречённую весну!

(545)

Героиня радуется весне, которая совпала с революцией, весне, которую революция стремится поставить себе на службу. Но проигрывает. Как бы ни хотелось Сане дотянуться в «зовущую, невыразимую, загадочную красоту», открывшуюся ему под молодым месяцем (577), пренебрегать долгом он не станет. Как бы ни жаждала любви Ксенья, она будет ждать своего суженого и угадает сердцем, что это не трогательный Ярик Харитонов (549). Счастье апрельской встречи (А-17: 91) не заставит героев ни полюбить революцию, ни отодвинуть ее в сторону. Понимая, что любовь не избавит их от серьезных испытаний, они будут искать надежной опоры — потому и вспомнит Саня о «звездочёте» Варсонофьеве, потому и отыщет его счастливая чета, дабы спросить о самом главном.

Детальный анализ этого чрезвычайно важного для всего «Красного Колеса» эпизода будет проведен в главе IV, сейчас же обратим внимание лишь на один его пункт. Звучит извечный вопрос русской интеллигенции: «Что делать?» — и Варсонофьев, уходя от наставительности, предлагает Сане ответить на него самому:

— Я думаю... я думаю... Простой человек ничего не может большего, чем... выполнять свой долг. На своём месте.

— Это б — хорошо было. Через это бы мы спаслись. Но сегодня не любят таких слов, как «долг», «обязанность», «жертва».

(А-17: 180)

В том и проблема, что немногие (избежавшие соблазна, не потерявшие себя) готовы оставаться на своих местах и выполнять свой долг. Свои места опостылели, не выполнять долг хочется, а взимать долги, уплату ко-

торых обещала революция. С выплатами же получается скверно, во всех смыслах, включая прямой; не случайно революция сопровождается инфляцией. «На всех митингах: “Товарищи, требуйте!” По всей России клич — “подай!”» (А-17: 180).

То, о чем Варсонофьев говорит в начале мая, вовсю клокочет уже к исходу марта.

Требуют крестьяне земли, «многолетне обещанной кадетами», и ничего с этим поделать не может печальник горя народного Шингарёв, ставший министром земледелия:

...Начни сейчас передел — и остановится последнее снабжение городов. Но не только не время им заняться и сил нет, а вот изумление: самой этой необъятной земли для раздачи в России не обнаружилось! Оказывается, даже всю казённую и помещичью землю разделив, — в иных губерниях нельзя добавить крестьянину и одной десятины. <...> после революции, когда пришло практически делить, и оказалось: три четверти земли и так уже у крестьян. А *оно* уже само не ждёт: оно грозное, уже первыми дымами подожжённых помещичьих усадеб завиднелось то в одной губернии, то в другой.

(637)

А — рабочие? Оглянулись, что из свободы можно и больше выколотить (чем утвержденный уже восьмичасовой день с сохранением прежней заработной платы. — *А. Н.),* мало взяли, — и ну выколачивать! Почему у буржуазии барыши, а нам не вырвать? Распахнулась воля — так можно рвать! <...>

...А чернорабочие (подстрекаемые большевиками) требуют и себе такую же оплату, как получают высшие разряды. <...>

А вот мы какие рыла вылезли. Попрекали образованных, что они своекорыстны, — а мы? Попрекали фабрикантов, что они жадны, никак не насытятся, — а мы? Да мы жадней и дичей!

Да, «требование повышать зарплату — не выдуманное, сама жизнь гонит, всё повышается. Но и должен

же человек всегда знать себе границы, но и опамятоваться: не один же ты! Давайте всё ж попридержимся, да сделаем обдуманно». Не услышат Козьму Гвоздева «свои же рабочие, самый родной его люд, кто умел всё в мире сделать своими руками, и кем Козьма гордился всю жизнь, что и он из них». Как не услышат те же питерские рабочие укоров фронтовых делегаций «за 8-часовой день и что снарядов не дают» (649). И не почувствуют, сколько злобы накопилось в тех самых запасных батальонах, которые три недели назад запалили костер революции.

Об этом — заключительная глава Третьего Узла, сбивчивый, путаный и яростный монолог (то внутренний, то обращенный к закадычному другу) Тимофея Кирпичникова, того самого унтера, что подбил волынцев воспротивиться начальству, вовсе не предполагая ни убийства офицера, ни рывка из казармы на улицу, ни тем более страшного дальнейшего раската незримого ему Красного Колеса.

Три первых части «Марта...» завершают главы царские: будущий незадавшийся император, великий князь Михаил, покидает Зимний дворец, наследственный царский дом, куда уже никогда не вернуться Романовым (170), всеми обманутый Государь после отречения остается один (353), развенчанного императора «предъявляют» (как вещь) эмиссару Совета Масловскому, сгустку злобы в «змейчатой папахе» и с еще более «змейными», жгущими ненавистью глазами (531). В трех композиционно маркированных точках звучит, обретая все больший трагизм, тема одиночества и обреченности. Та же безнадежная тема растерянного и обманутого, не видящего пути и глубоко несчастного человека организует финал. Только теперь речь идет не о побежденном и низвергнутом властителе, а о победившем (себе на беду) мужике в солдатской шинели.

Сбывается пророчество, заключавшее главу о молитве Государя и напрасном уповании на чудо: «ЦАРЬ И НАРОД — ВСЁ В ЗЕМЛЮ ПОЙДЁТ» (353). В содержании

глава эта называется «Государь остался один». Сходную конструкцию и как раз применительно к волынскому унтеру Солженицын использует и прежде: «Взятие Крестов. — Кирпичников остался один». Он остался один еще в первый день возмущения, когда несомый революционным водоворотом полк слился с городской толпой и в ней рассеялся. Утренний «неоспоренный вожак» теперь то ли вел эту ватагу, то ли «сама она шла — не разобрать». Шла, чтобы рассыпаться от выстрелов обороняющихся московцев (прежние победы того дня «были достигнуты без боя»).

Разбежались, попрятались. Пустой проспект.

Нашёл и себя Кирпичников на снегу у забора. И — никого не видно близко.

(100)

По прошествии трех революционных недель Кирпичникова настигает куда более глубокое и безысходное одиночество. Он негодует на воцарившуюся в запасном батальоне распущенность, прекращение занятий, исчезновение и робость офицеров, на горланов из солдатского комитета, на угадываемый (и верно) общевойсковой упадок: «Как же она (армия. — *А. Н.*) нанесёт («последний сокрушительный удар», о котором произносят речи навещавшие волынцев иностранцы-союзники. — *А. Н.*), ежели всю армию развинчивают? <...> Война там как не должись — а мы к ней боком? — а паёк прежний. Так так нас Вильгельм и завоюет».

Ему жалко бродящих по городу раненых и калечных, лежачих больных, которых санитары ради митинга в цирке бросают без помощи, тех, кто уже погиб на фронте, и себя, тоже там кровь оставившего («А теперь всё отдай, и русские города отдай?»). Всё кругом не так (и не поспоришь), а дерущая душу обида все больше подчиняет себе вроде бы мерцавшие проблески раскаяния: «Город Питер из внезапного дружного восстания опять обращался в свой прежний самостный, чужой обычай.

В этом городе люди ведь копились не для какой прямой работы, а для весёлой жизни».

Кончился наш праздник, а те, кто всегда жировал и веселился, гуляют как ни в чем не бывало. Сверкание огней, мелькание экипажей с дамочками в «полястых» шляпках, недоступная, но зримая барская жизнь за толстыми стёклами («И чем позже вечер, когда солдату уже спать, — тем больше их туда, за стёкла, набивается. И сидят за белыми столами, и пьют и лакомятся часами, и всякую всячину едят, чуть де не лягушек, тьфу!»), витрины, дразнящие цветами, «каких в России и не растёт сроду», диковинными фруктами, блестящими «финтифлюшками для барских баб», зазывные афиши кинематографов и театров с чудными названиями — весь этот блистательный и лживый, сытый, веселый и словно бы глумящийся над солдатами Петербург (вся роскошь на виду, свобода дозволяет зайти в любой ресторан, да вот только нет денежек «у смирных волынских унтеров») провоцирует нарастание ярости. Не случайно в картине этой чужой великолепной жизни мерцают реминисценции не только «Невского проспекта» (который «лжет во всякое время <...> но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою належет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде»[14]), но и «Повести о капитане Копейкине» («Проходит мимо эдакого какого-нибудь ресторана — повар там, можете себе представить, иностранец, француз эдакой с открытой физиогномией, белье на нем голландское, фартук белизною равный снегам, работает там фензерв какой-нибудь, котлетки с трюфелями, — словом рассупеделикатес такой, что просто себя, то есть, съел бы от аппетита. Проходит мимо Милютинских лавок: там из окна выглядывает, в некотором роде, семга эдакая, вишенки по пяти рублей штучка, арбуз-громадище, дили-

жанс эдакой, высунулся из окна, и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил сто рублей...»). Обиженный Петербургом безногий и безрукий капитан Копейкин, как известно, решил сам найти «средств помочь себе»[15] и стал разбойничьим атаманом. Обманувшая Кирпичникова революция толкает его на тот же путь. Он не знает, с кого спросить и кому отомстить, но скоро примется и спрашивать, и мстить. Бунтовать Кирпичников уже навострился, а личную угрюмую обиду усиливает тоска от общей неправды, которую опять кто-то навязал мужику — в награду за свершившуюся (но не ту!) революцию:

А в деревне, пишут, — ни керосина, ни мыла, ни гвоздей, ни соли. А калек войны — и никому не жаль, кроме сродственников.

А и нас с тобой покалечат — так и тоже.

А в окопах — там сидят, сидят во тьме и сырости.

И теперь — всё немцу отдадим?

Виноватый в измене и неправде сыщется. Не мы же такое разорение учинили. Ясно, не мы. Потому и глушит Кирпичников недоуменный вопрос Маркова (и свою совесть) :

— И как это мы, Тимофей, решились? Как это нас понесло в то утро?

Самим дивно.

Давно бы в петле жизнь кончили.

(655)

Нет, как бы худо ни было, а от «завоеваний революции» Кирпичников не отступится. И стоящие за ним сотни тысяч соблазненных и обиженных тоже[16]. Коли уж начали, надо взять свое. Иначе — петля. Как в то утро, когда первое убийство бросило волынцев в город.

Они (и вся Россия) действительно в петле. «Хлебной петлей» революция начинается — о петле виселичной,

о расплате за учиненный и продолжающийся бунт, которой надо избежать любой ценой (а для того разгонять и разгонять революцию), в финале «Марта...» вспоминает не один Кирпичников.

«В общем так, Владимир Ильич: через шесть месяцев или будем министрами — или будем висеть» (654). Это развеселый Радек подбадривает Ленина после выработки самого надежного (да еще и оскорбляющего гнилых швейцарских социалистов) плана по перемещению большевистской группы из Швейцарии в Россию — через ведущую с Россией войну Германию. (Не сильно ошибся: министрами, по-большевистски — наркомами, ленинцы станут через семь месяцев. Только Радеку портфеля не достанется. А убьют — «незаконно репрессируют» — остроумца товарищи по партии еще не скоро, только в 1939 году.)

Вовремя Ленин едет в Россию. Не зря три недели он в Цюрихе просчитывал комбинации и перебирал варианты. Не зря брезговал первыми сомнительными вестями из Петрограда: «Возвращаться, когда неизвестно, что там делается. Может быть, уже у всех стен расстреливают революционеров» (338).

Не зря, уже налаживая связи с компанией Парвуса, раздражаясь амнистии всем левым партиям («Это плохо. Теперь легальный Чхеидзе со своими меньшевиками развернётся — и займёт все позиции, все позиции раньше нас»), громогласно заявляя, что «если понадобится, то мы не испугаемся повесить на столбах восемьсот буржуев и помещиков», он сдерживал свой кипучий азарт, хоть и «начинала нажигать эта мысль: ехать? Поехать?..» (449). Не зря, уже уверившись, что реставрации не будет, изобретая для случившейся без него революции теоретические обоснования, захлебываясь нетерпением, ждал, чтобы кто-то другой выдвинул давно взлелеянный план проезда через Германию: «Что за удача! Какая удача! Предложил — Юлик, не мы! Так и назовём — п л а н М а р т о в а! А мы — только присоединяемся» (474).

Не зря дерзко отказался взять привезенные Скларцем документы («Таким документам сам канцлер должен был сказать “да”, чтоб их изготовили») и затребовал (хоть бежало время) «изолированный, экстерриториальный вагон» на группу в человек сорок (604). Не только чистотой своей репутации был он озабочен: обвинения Ленина в сотрудничестве с германским генштабом все равно прозвучали, да толку от них уже не было — слишком широко к тому времени уже раскатилась революция. И как раз на это лидер химерной партии большевиков мог рассчитывать. Пока революция не развернулась во всю, риск оказаться повешенным слишком велик. А вот когда все скрепы распадутся, когда как на дрожжах станут расти требования освобожденных трудящихся масс, когда буржуазные партии и всяческие соглашатели-квазисоциалисты продемонстрируют свое бессилие (и перегрызутся между собой), вот тогда-то и надо направлять революцию по единственно верному руслу, забирать в железные руки «пропавшую» власть. Тут-то и случится настоящий праздник! (Ленин прибудет в Петроград 3 апреля — на второй день православной Пасхи.) Риск, конечно, остается, но и упускать момент тоже нельзя. Что у Ленина на уме, то у крутящегося, как юноша, Радека на языке: «Руки чешутся, язык чешется! — скорей на русский простор, на агитационную работу!» (654).

Слово «простор» в этой реплике обретает зловещее звучание. (Радек постоянно именуется «плутом», «шутом», «весельчаком»; в главе говорится о придуманной им «первоапрельской шутке», которой ленинцы под занавес своего пребывания в Швейцарии пакостят социалисту Гриму. Как тут не вспомнить, что главу о ловкой проделке ротмистра Вороновича Солженицын замкнул пословицей «ВСЯКОМУ ВОРУ — МНОГО ПРОСТОРУ» — 304). Россия для большевиков не страна, у которой есть история и культура, но пустое пространство, на котором можно ставить любые эксперименты, дабы в итоге получить нечто невиданное, ослепительно прекрасное

и полностью подвластное тем, кто в экспериментировании преуспеет. В такое «чистое поле», на месте которого большевики устроят свой гигантский каторжный лагерь, и обращает Россию революция[17].

Обещая счастье всем, революция не приносит его никому. Суля общее братство (пародируя соборность), она работает на разобщенность, выпячивая как групповые (классовые, национальные, профессиональные, партийные), так и личные (карьерные) интересы. Провозглашая новизну во всем, не может не использовать «старое» (в искаженном и ухудшенном виде). Твердя о гуманизме, льет и льет кровь врагов и случайных жертв. Маня безграничной свободой, готовит невиданное рабство. В ряду этих обманок должна быть отмечена и еще одна. Праздничная, ослепительная, театрализованная, патетичная революция по сути своей однообразна. Читая обзорные и газетные главы «Марта...», видишь, как сквозь внешнюю пестроту проступает один и тот же утомительный рисунок событий (и не по воле писателя, он-то целенаправленно отбирает наиболее колоритные и характерные случаи). Переворот всюду происходит по одному и тому же сценарию — красный цвет одинаково вытесняет остальные полосы радуги по всем городам и весям:

> И ничего такого ярославский доктор не рассказал, чего б они уже не прочли в газетах — о всяких вообще городах: как сперва несколько дней ничего не знали, а потом узнали, и сперва поверить не могли, а потом ликовали, создали общественный комитет и ходили с красными знамёнами — такие люди, которые никогда раньше под красным не ходили. И как губернатор и полицмейстер пытались скрыться, но их схватили. И как, и как...
>
> (582)

Унылая повторяемость революционных перемен может привести только к унификации того самого мира, что прежде был сложным, неоднородным, многоцветным и многозвучным. История о том, как приехавший из Яро-

лавля доктор бесцветно и вдохновенно рассказывал петроградским литераторам о том, как совершенно особенно (ровно так, как везде) проходила его революция в Ярославле, корреспондирует с зачином главы о Воротынцеве в Киеве. Именно там, в древнейшей из трех русских столиц, своем особо любимом городе, Воротынцев осознает, что же происходит со страной и с ним самим. «Зажатый безпомощной чуркой, ощутил, что эту революцию, ошеломившую его в Москве, вот он в Киеве уже ненавидит». Осознает потому, что именно там (хотя формального порядка в Киеве пока больше, чем в Москве) он видит революцию воочию — видит однообразное веселье толпы, прущей куда-то под красными флагами и низвергающей памятник тому, кто посмел сказать первой революции: «Не запугаете!» («За-вяжем столыпинский галстук!») Начинается же глава эта с рассуждения (голоса автора и героя сливаются) о своеобычности каждого из больших русских городов: «...Да кроме деревенской, что ж Россия и есть, как не два сорока таких городов? В разнообразии их ликов — соединённый лик России» (379).

Это-то разнообразие и отменяет революция, открывая широкую дорогу к «простору» Ленину и ленинцам. Так происходит то самое нашествие варваров, которое предрекает Струве (не только и не столько Шингарёву). В последний «обычный» (хотя волнения уже идут), прощально-праздничный день, глядя с Троицкого моста на торжественную панораму прекрасного города, который уже завтра превратится в ад:

— В нашей свободе, — медленно говорил Струве, щурясь, — мы должны услышать и плач Ярославны, всю Киевскую Русь. И московские думы. И новгородскую волю. И ополченцев Пожарского. И Азовское сидение. И свободных архангельских крестьян. Народ — живёт сразу: и в настоящем, и в прошлом, и в будущем. И перед своим великим прошлым — мы обязаны. А иначе... Иначе это не свобода будет, а нашествие гуннов на русскую культуру.

(44)

Мощное разноголосье русской истории не расслышали — и гунны пришли. Чем обернулось в конечном счете их нашествие? Навсегда ли покончило оно с Россией? Что станется со всем миром, допустившим такую катастрофу? Какой из двух снов Варсонофьева — о мальчике-Христе со всеистребляющей бомбой в руках или о «запечатлении» церкви (России, которая когда-то должна выйти из невидимости, обрести прежние красоту и величие) — сбудется? Солженицын не дает ответа. Он знает, что миновавшие годы — срок исторически ничтожный и что пути истории неисповедимы. Он не позволяет читателю бездумно уповать на светлое будущее, не скрывает от него тех страшных опасностей, что взошли и по сей день всходят из лона русской революции, но и не отнимает надежды.

В заключительных главах «Марта...», когда иным персонажам кажется, что революция утихомирилась и вошла в рамки, мрак отчетливо сгущается. Генерал Иванов, трусливо и подобострастно оправдывающийся перед новой властью, так же отвратителен, как в дни его предательского промедления (642). Немцы, как и прежде, ведут войну профессионально, и никакого облегчения от побед союзников на Западном фронте не будет (643). Колебания Воротынцева (Ставка или повышение) вновь обращают нас к трагедии распадающейся армии (644). Бессмысленна поездка министров в Ставку (643, 646, 652). Захлестывают Таврический очередные депутации, и Родзянко бестолково чередует высокопарные приветственные речи с копеечными интригами (645). Отвергает предложение смелого казачьего старшины покончить со второй властью сахарно-улыбчивый премьер Львов (647). Нет разворота купечеству, над которым виснет неизбежная хлебная монополия (648). Душит производство «рабочая жадность» (649). Произносят звонкие спичи и упоенно обнимаются на банкете у Винавера кадетские лидеры (651). В раскаленном от раздоров Совете только что вернувшийся из ссылки Церетели витийствует

о «буржуазной революции», тут же грозит при надобности свергнуть правительство и наконец выдыхает: «Мы больше не будем раскалываться на меньшевиков и большевиков, мы будем — единая социал-демократия!..» (653).

И едет на русский простор Ленин, и сумрачно ходит по Петрограду наливающийся злобой Кирпичников. Революция свое дело сделала. Все уже решено.

Если бы этот приговор был окончательным, Солженицын замкнул бы «Красное Колесо» «Мартом Семнадцатого». Но он написал Четвертый Узел, заканчивающийся — вопреки точно воссозданному безжалостному движению истории, близящему окончательное торжество Ленина и ленинцев, — существенно иной нотой.

Примечания

1 «Гвоздев стал одним из мучеников-долгосидчиков ГУЛАГа. Первый раз чекисты хватали его в 1919, но он сумел ускользнуть (а семью его долго держали в осаде, как под арестом, и детей не пускали в школу). Потом арест отменили, но в 1928 взяли окончательно, и с тех пор он непрерывно сидел до 1957 года. В этом году вернулся тяжело больной и вскоре умер» (IV, 287—288).

2 *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1975. Т. 13. С. 113.

3 Об этой череде эпизодов см. также в главе I.

4 *Лермонтов М. Ю.* Полн. Собр. стихотворений: В 2 т. Л., 1989. Т. 2. С. 60.

5 О «закадровой» судьбе Воротынцева см. в главах I и V. В трагедии «Пленники» (которую автор мыслил Пятым Эпилогом «Красного Колеса») Воротынцев, кроме прочего, говорит чекисту-соблазнителю: «...вы украли Кутепова — и что с ним сделали? Может, и повесили. (В 1930 году агенты ОГПУ во Франции захватили Кутепова, возглавлявшего в ту пору «Русский общевоинский союз», дабы доставить

его в СССР; считается, что похищенный умер в пути. — *А. Н.) А* Кутепов был мой друг. Так вешайте и меня» (XIX, 254). В «Красном Колесе» пути Воротынцева и Кутепова не скрещиваются, но их едва ли случайное сходство (на грани двойничества) кажется предвестьем будущей встречи (всего вероятнее — после большевистского переворота) и дружбы.

6 Недальновидные самолюбцы только упиваются своим — недолго ему длиться — часом, с удовольствием ворошат старые обиды и заранее радуются тем скорым триумфам, что никогда не осуществятся. Едва ли не самый выразительный пример — назначенный Верховным главнокомандующим великий князь Николай Николаевич (391, 417, 457, 491).

7 Когда большевики примутся строить свое невиданное государство, они (чем дальше, тем больше) будут использовать вывернутые, искореженные, лишенные подлинного содержания *формы* прежнего государственного (общественного, культурного) уклада, имитируя (зловеще пародируя) как империю, так и демократию (сталинская конституция, как известно, была самой демократической в мире). Поскольку до конца *формы* выхолощены не были, эта — накопленная веками российской истории — инерция (в жутком сочетании с мощной системой тотального принуждения) до поры обеспечивала те самые наглядные и бесспорные успехи (в промышленном производстве, науке, образовании, медицине, культуре), которые почитатели Ленина-Сталина по сей день ставят их партии в заслугу. Инерция эта иссякала от десятилетия к десятилетию, поневоле уступая место накапливаемой инерции советчины. Ее же *последействие* отчетливо и тягостно сказывается на протяжении всего новейшего периода нашей истории.

8 Ни одному из главных «движителей» русской революции она ничего хорошего не принесла. В лучшем случае — изгнание. И это касается не только «цензовиков» и генералов, но и левых социалистов, включая демона-теоретика Гиммера. Урожай достанется двум статистам: несколько раз

иронично упомянутому туповатому петроградскому подручному Шляпникова и вернувшемуся в середине марта из сибирской ссылки молчуну с трубкой («И за что его, такого несамостоятельного, сделал Ленин членом ЦК?» (569)) — это будущий многолетний глава правительства и милюковского министерства и будущий хозяин страны, Молотов и Сталин.

9 Тем значимей кажется отмеченное выше исключение — сходство Воротынцева и Кутепова. Вероятно, это объясняется тем, что Солженицын счел должным сделать протагонистом (а Воротынцев, при всех оговорках о принципиальной установке автора на полифонию, все же главный герой повествованья) персонажа вымышленного, в которого вложил некоторые черты исторического Кутепова. С другой же стороны, он не мог (не хотел) приписать героические действия Кутепова в Петрограде Воротынцеву. И ради исторической (и этической!) точности (нельзя не воздать долг мужеству реального человека), и потому, что эпизод с Калисой (весьма значимый для сюжетной линии Воротынцева) мог произойти только в Москве и только в роковые дни.

10 Мотив «слепоты», то реальной, то метафорической, сопрягаясь с близкими ему мотивами «глухоты», «путаницы», «маскарада», «обмана», проходит сквозь весь Третий Узел. Сущность многолетней деятельности оппозиционных партий идеально точно описывает вопросительная реплика Струве: «Все мы Россию любим — да зряче ли?» (44). Обычные люди (не только радикальные интеллигенты и угодливые газетчики) не хотят видеть революционных зверств. Ложная информация становится одним из важнейших средств давления на императора и генералитет: они действуют вслепую, не видя, что же происходит в столице. «Шутка» ротмистра Вороновича может быть провернута только в темноте: «Вот-вот забрезжит, и увидят бородинцы (уже разоруженные. — *А. Н.*) единственную пушку без замка, два пулемёта без лент и никакой силы при вокзале» (304). Удивительно, но один раз слепота (сопряженная с карнавальным блеском) оказывается спасительной. Ожи-

дая в комнате с двумя зеркалами неминуемой расправы, Кутепов «увидел в каждое из зеркал, как по каждой из анфилад бежал, приближался рабочий с револьвером в руке. Они настолько были похожи, сходностью роста, типа, и чернотою одежды, и красной розеткой на левой стороне груди, что сперва ему померещилось, что один есть отражение другого, потом сообразил, так быть не может.

Ещё потом сообразил, что если он их видит из угла, то и они каждый уже видят его в углу. <...>

А случилось иначе: они не видели. Верней, они были, наверное, заворожены своим собственным страшным видом, вряд ли они имели привычку к большим зеркалам. И ещё было яркое солнце в окна.

<...> Удалились — Кутепов перекрестился. Это было то, что называется простое Божье чудо. Бог просто отвёл им глаза» (180).

[11] Депутат Учредительного собрания от кадетской партии Фёдор Фёдорович Кокошкин (как и Андрей Иванович Шингарёв) будет беззаконно арестован большевиками. Оба зверски убиты в больнице, где содержались после ареста, ворвавшимися туда пьяными матросами.

[12] Здесь, однако, не обойтись без оговорок. Варсонофьев обрел мудрость после того, как прошел сквозь революционные искушения, «начинал вместе с ними со всеми — с Петрункевичем, Шаховским, Вернадским. <...>

Да всего десять лет назад Варсонофьев был в их крикливой мелочной толпе, с Родичевым, Винавером, Милюковым. Вполне искренно был горячим депутатом Второй Думы — и ещё не усумнялся в жаре борьбы» (О-16: 73).

Что же до Андозерской, то, чувствуя к революции лишь презрительную ненависть, она почему-то верит, «что именно этот гибельный ход, передвижка, перестановка всего сущего, — именно этот ход и принесёт ей Георгия. Сами события в нарастающем хаосе — соединят их. Прочно, и без борьбы» (619). И кажется, ошибается. Свести-то революция может кого угодно, да вот счастье не при всякой горячо желанной встрече обретается. Не только для того, чтобы умиротворить Алину, Воротынцев сорвался из Петрограда

в Москву (35); не было у него полной радости при втором соединении с Ольдой. Прочитав по возвращении домой «разрывное» письмо Алины, Воротынцев рефлектирует: «Если бы сейчас Ольда была в Москве — ринулся бы к ней?

Ох, нет.

Что-то и с Ольдой — не так...» Было бы «так» — не послал бы записку к Калисе (95), не пошел бы к ней — уже зная зачем — ужинать (126).

[13] Выстраивая треугольник Ленартович — Ликоня — Польщиков, Солженицын переосмысливает сюжет о юноше, идущем в революцию, дабы отмстить за поруганную представителем «старого мира» красоту (так в «Докторе Живаго» поступает Антипов, ставший Стрельниковым). Автор «Красного Колеса» радикально меняет акценты: Ликоня не соблазнена Польщиковым, но всей душой его любит; Ленартович сполна отдается революции независимо от чувства к Ликоне и до ее «грехопадения»; Польщиков обрисован с симпатией, хотя, скорее всего, ему не удастся защитить Ликоню от ворвавшегося в мир зла. Стать «новым Мининым», то есть спасителем России, ему точно не удастся. Поэтому звучащий в финале польщиковской главы вопрос: «Да не упущено ли уже, православные?..» (648) — оказывается *двупланным.* Сквозь его конкретный экономический смысл (который очень скоро станет политическим) просвечивает смысл *романный*: достоин ли гордый и удачливый волжанин такой всепоглощающей страсти? Не упустит ли он за крупными, привычными и новыми, принесенными революцией, хозяйскими делами свою любовь? На что своим отъездом он обрекает Ликоню? В Четвертом Узле Польщиков и его «Зоренька» отодвинуты на периферию повествования, но не исчезают, а письмо Ликони к возлюбленному полнится неподдельной болью:

«Что же с нами будет? В этих бурях я боюсь и совсем потерять к вам последнюю ниточку.

Ой, не кончится это всё добром. Это — худо кончится...» (А-17: 162).

В письме Ликони ее беда сливается с бедой общей — «не кончится добром» как ее истаивающая связь с Поль-

щиковым, так и все, что творится кругом. Символическое (блоковское) отождествление Ликони и России проводится ненавязчиво, но последовательно. Другой — польщиковский — аспект этого сюжета рассмотрен в главе IV.

[14] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: <В 14 т.>. <Л.>, 1938. Т. 3. С. 45.

[15] Там же. Т. 6. С. 203, 204.

[16] Потому не так уж и важно, что в Четвертом Узле Кирпичников и другие волынцы, словно бы искупая свою старую вину, намереваются арестовать Ленина, впрочем, безуспешно (А-17: 29, 75). Дело не в одном унтере, но в той обиженной солдатской массе, которую он воплощает.

[17] Здесь невозможно обсуждать сложный, весьма болезненный и породивший великое множество противоречащих друг другу концепций вопрос о том, какую роль в русской истории (в том числе новейшей) сыграл географический фактор — пространственная огромность и неисчислимые природные богатства нашей страны.

Глава IV

И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ: «АПРЕЛЬ СЕМНАДЦАТОГО»

Переход от «Марта Семнадцатого» к «Апрелю...» кажется почти незаметным. Интервал между Третьим и Четвертым Узлами совсем невелик (18 марта — 12 апреля)[1]. Ключевые события, случившиеся в этот временной промежуток (поражение на Стоходе, вступление Соединенных Штатов в войну, проезд ленинской группы из Швейцарии через Германию и Швецию в Россию, возвращение других эмигрантов), названы в предваряющем Узел (прежде такого не было) «Календаре революции»[2] и будут не раз всплывать в апрельском повествовании. Эта «вязкость» исторического процесса фиксируется автором целенаправленно: «Апрель...» открывается главой о Церетели с отступлением к началу революции, когда политический ссыльный «в два дня» стал «хозяином Иркутска» (1), хотя возвращение меньшевистского лидера в Петроград и его первая столичная речь уже были запечатлены в Третьем Узле (М-17: 653). Дело в том, что триумф Церетели, быстро занявшего одну из ключевых позиций в Совете и вроде бы «повернувшего» Исполнительный Комитет (1, 6), только мнится (ему самому, его подельникам и ревнивым конкурентам) значимым событием, но, по сути, ничего не решает. Как ничего не решают прибытие в Петроград Плеханова (3, 6, 40)

и Чернова (6, 67), интриганские ходы пытающегося переиграть соперников Стеклова (3, 5), борьба Исполнительного Комитета с Временным правительством за «мирные» поправки к Декларации, вышедшей 27 марта. Уже казалось исполкомовцам, что из-за упорства Милюкова нечто роковое произошло:

> Наступал — великий необратимый разрыв. Раскол бессмертной Февральской революции!
>
> И в этот самый момент позвонил телефон — и князь Львов сообщил, что правительство приняло поправку, высылает.
>
> <...>
>
> Вырвали!
>
> Во взглядах мировой фанатично-империалистической буржуазии — какой же это будет поворот! — 27 марта — первый отказ воюющей державы от всяких захватных завоеваний!
>
> (1)

Социалисты (как, впрочем, и большинство их соперников-партнеров из Временного правительства) одинаково обманываются как до принятия Декларации, так и после него. Те и другие не способны различить значимое и незначимое, собственные звонкие словеса и хитроумные политические комбинации, и словно бы неслышную угрожающую поступь истории. Приезд в Россию Ленина и его первые акции в Петрограде, в том числе провозглашение «апрельских тезисов», размыты по нескольким главам (5 — появление Ленина с Зурабовым и Зиновьевым на ИК, предшествующее описанию их прибытия; 6 — встреча на Финляндском вокзале глазами Гиммера; 7 — глазами Саши Ленартовича; 11 — через спор либеральных профессоров Гессена и Гредескула и их реакции на антиленинский поход гимназистов к особняку Кшесинской; 12 — глазами Керенского; 15 — самоощущение Ленина), утоплены в череде других происшествий. Царит все та же слепота, что овладела обществом в февральско-мартовские дни. Зря «Ленин, в поезде через Финляндию, не в шутку думал: вот сейчас пересечём границу, всех

нас схватят — да в Петропавловку». Почва подготовлена: «...когда в Белоострове под моросящим дождём, при электрических фонарях, увидели толпу встречающих сестрорецких рабочих — Ленин вмиг понял, что — уже победил! Трудности ещё будут — а уже победил!» (15).

Ленину выпадет путаться еще не раз — и в апреле (несильно, после обвинения красногвардейцев в стрельбе по буржуазным демонстрантам (84, 87)), и позднее (из конспекта Пятого Узла: «5 июля утром Ленин Троцкому: “Теперь они нас всех перестреляют”». Ленин и Зиновьев скрываются прочь»). Но это лишь частные (и преодолимые) неудачи — набирающее скорость Красное Колесо несет вперед большевиков, чего в апреле (да и позднее) не могут и не хотят понять всевозможные политические деятели, занятые своими сомнительными играми, добивающиеся решения сиюминутных задач, одерживающие победы, после которых все должно пойти правильно, а идет — по-ленински.

Социалисты могут истерически возмущаться нотой Милюкова, но плоды этого гнева пожнут не они, а ленинцы (вообще-то, к восстанию еще не готовые — 46), воспользовавшиеся шальным, спровоцированным общей неразберихой, протестным выступлением Финляндского батальона[3] и едва не раскочегарившие вторую революцию. Милюков, почувствовавший в дни противостояния демонстраций поддержку обычных жителей столицы (они оказались сильнее большевиков), может гордиться своей неуступчивостью, проявленным в минуту опасности мужеством и ясным пониманием ситуации («...пусть помрачатся хоть все головы — а моя да останется непомрачённой»). Он чувствует себя вправе «торжественно» сказать Альберу Тома: *«J’ai trap vaincu!* Я — слишком победил!» — но победа его (вроде бы столь наглядная — нам детально показано, что творилось на петроградских улицах в кризисные дни) тут же оказывается фикцией.

...И правильно было сейчас: дать продолжение боя!

Но — кто это понимал?! Даже кадетский ЦК не понял. (Как не поймет Милюкова большинство его маститых однопартийцев несколько дней спустя, когда лидер кадетов уйдет с министерского поста в отставку — 163. — *А. Н.*) <...>

Но уж совсем не понимало ситуации оробевшее правительство: что в Петрограде его сторонников больше, чем противников, что оно — владеет положением. <...> Напротив, в сегодняшнем заседании Милюков застал правительство в паническом настроении, что надо искать коалицию с социалистами, а сами не справимся.

(88)

Фикцией оборачивается торжество Милюкова, но столь же фиктивна победа его противников, принудивших «империалистически» настроенного министра иностранных дел покинуть правительство:

А Милюков, всё сжимая тяжелеющую голову руками, не в первый раз подумал, но в первый раз так ясно и окончательно: они — в заговоре! Они — давно в скрытом тайном заговоре, может быть масонском, может быть личном, ещё от первых дней марта, и даже ещё прежде. Заговорно они тянули друг друга во Временное правительство, а Павел Николаевич, формируя кабинет, свалял большого дурака. Заговорно они все недели и подпиливали свалить Милюкова, и они же лансируют кандидатуры взамен. Керенский с Терещенкой, видно, давно согласились захватить себе министерство военное и иностранных дел. А князь Львов — и исконный предатель, он предал и в Выборге, — и как можно было простить ему то? И вот — повторяется снова.

(157)

Заговорщики переигрывают Милюкова, потому что они мельче, своекорыстнее, «пластичнее» (то есть прислушливее к голосу толпы) да и бессовестнее сохранившего государственное мышление отца русской революции. Но их тактика продолжает (усугубляет) ту, которой обильную дань отдали в марте (и раньше) не

только вызывавший у автора (во Втором и Третьем Узлах, да в какой-то мере и в «Апреле...») стойкую иронично антипатию Милюков, но и человечески привлекательный для Солженицына Гучков. Заговоры приводят к успеху лишь в тех случаях, когда они подлаживаются к не заговорщиками направляемому ходу истории. Гучкову не удалось опередить революцию, а когда он (в комплоте с генералами) вырывал у Государя отречение, акт этот предстал жалкой и бессмысленной пародией прежнего замысла, воплощение которого должно было спасти страну. Милюков формировал революционную власть «заговорно» — изысканно хитро, оглядчиво, по-профессорски просчитывая возможные тонкие следствия, — и получил кабинет, в котором ему не на кого опереться[4].

И проклинал себя Павел Николаевич (еще до кризиса! — *А. Н.*), где же были его глаза и разум, когда он единовластно составлял правительство? Мог взять больше кадетов, и кадетов настоящих, не предателей, как Некрасов, да Набокову первому дать важное министерство, и Винаверу, да насколько Бубликов энергичный был бы тут хорош. Да и премьером — во сто раз было бы лучше иметь тут громового патриота Родзянку, чем мямлю Львова. Не предвидел, что так сразу покатит налево. Чего тогда опасался? какие-то дутые вздорности преувеличил, переуступил и перелавировал. Его лучшее качество — компромисса и лавирования — и подвело в те дни.

(20)

Милюков интриговал не для себя, а, как казалось ему, для дела. (Спасение России может обеспечить только долгожданная революция, а потому Россия и революция сливаются в сознании Милюкова и других ревнителей свободы воедино — отречься от этой химеры Милюков, как и очень многие русские интеллигенты разных оттенков, не мог ни в апреле, ни много позднее.) Но, во-первых, мыслимые задним числом альтернативы не так уж хороши (много ли толку было бы от размашистого

говоруна, вечно кипящего «самовара» Родзянки? — ведь неспроста отодвигал его Милюков в сторону), а во-вторых, именно Милюков проторил дорогу тем, кто избавляется от него в апреле[5]. Разными побуждениями руководствуясь. Если Терещенко, Некрасов и Керенский предстают у Солженицына едва ли не стопроцентными карьеристами, то князь Львов — не больше симпатий вызывающий — отнюдь не о себе заботится. Он словно бы искренне хочет всех примирить (невольно пародируя толстовского царя Фёдора Иоанновича и князя Мышкина), из-за чего и предает «упрямого», уже не способного на губительные компромиссы Милюкова. Он ведь зла лидеру кадетов не желает и заслуги его ценит.

Улыбка князя была прелести неизъяснимой, но и печали:

— Как раз в эти дни... в Исполнительном Комитете... Они теперь в процессе принятия решения, и мы должны им облегчить. (Замечательна недоговорка, даже многоточием не развитая. «Облегчить» — и всё. — *А. Н.*)

<...>

— Помогите, — ласково просил князь и смотрел из низкого кресла безгрешными глазами.

И после взрыва Милюкова, которому обида и ярость не помешали с азбучной четкостью растолковать, что коалиция, сооруженная «в угоду безответственному Совету», будет означать «распад власти и распад государства», льется тот же елей:

Слабым нежным голосом возразил не такой-то и хиленький, совсем не щуплый князь (мгновенно меняется точка зрения, мы видим теперь Львова глазами прозревшего Милюкова. — *А. Н.*):

— Павел Николаевич. (Нет восклицательного знака. Львов уже не просит, но отбывает номер «просьба». — *А. Н.*) Но отчего бы вам не согласиться пойти навстречу демократии? Поменять портфель?

(128)

И та же слащавая фальшь после «окончательной победы» — заседания правительства, когда преданный, выпихнутый наконец в отставку Милюков, блюдя норму интеллигентного поведения, обходит «всех коллег с рукопожатиями, в том числе и мерзавцев»:

Когда дошла очередь до князя Львова — тот удерживал руку Павла Николаевича и бессвязно лопотал что-то вроде:

— Да как же?.. Да что же?.. Нет, не уходите!.. Да нет, вы к нам вернётесь.

(157; здесь, когда дело сделано, все эмоционально слезливые многоточия проставлены)

Главу о поражении Милюкова (еще не осознанном вполне, но уже, по сути, случившемся) итожит пословица: «САМ РЫБАК В МЕРЕЖУ ПОПАЛ» (128), более раннюю главу о Гучкове, уразумевающем, что все идет прахом, — другая: «РОДИШЬСЯ В ЧИСТОМ ПОЛЕ, А УМИРАЕШЬ В ТЁМНОМ ЛЕСЕ» (34). Сколь ни различны интонации этих паремий (иронично-усмешливая — в случае Милюкова, скорбно-отчаянная — в случае Гучкова), личности министров (Милюков сохраняет изысканно ледяную корректность и твердую рассудительность даже в те мгновения, когда он — неожиданно для ближайших соратников вроде Набокова — оказывается способным ощутить человеческую боль; Гучков, истомленный болезнью, семейными неурядицами, общим распадом, который видит яснее и раньше Милюкова, и скрытым сознанием собственной вины за происходящее, утрачивает свою природную мужскую стать и тоскливо думает о подступающей совсем негероической смерти), чувства, с которыми пишет своих героев Солженицын, — общее в обрисовке былых соперников важнее этих достаточно весомых частностей. Они предельно одиноки, им не дано составить союз (к этому мотиву мы еще вернемся) или принять действительно сильное решение — ни вместе, ни порознь они не могут остановить ими же некогда подтолкнутое Красное Колесо.

Не в конкретных изгибах политической кривой суть. Едва ли российская история пошла бы иначе, если б Милюков в апреле «пережал» Львова с Керенским и сохранил за собой министерство иностранных дел (и тем паче — пересел в кресло министра просвещения). И, действуй Гучков тверже, заставь он министров — «отполированного» артиста-демагога Терещенко, ласкового соглашателя Львова, робко понурившихся, кроме Милюкова, прочих коллег — принять предложение Корнилова о призвании верных войск 20 апреля (56), тоже мало бы что изменилось. (Ведь и без того Милюков «с л и ш к о м победил» — с известными печальными последствиями.) Гучков размышляет:

Сейчас — только новый военный переворот — уже против Совета — и был спасением революции.

Но министры — ни один, ни за что — не пойдут на это. Вот если б устроилось как-нибудь само собой, без них. Чтоб им ни за что не нести ответственности!

Как говорил Столыпин: я жажду ответственности!

Ergo, пришлось бы устранять и правительство. Сразу всех.

Да и на это бы Гучков пошёл, отчего же? Но не только болезнь его подкосила, — Армия! Если так пойдёт — через 3-4 недели её вообще не будет.

(112)

Но коли так чётко (и верно) видишь угрозу, не отступать надо, не предлагать коллегам общий уход (разумеется, благородный, но никак не противодействующий энтропии), а наступать. Ведь именно об этом «спустя много лет, в эмиграции, пошутил Милюков Гучкову: “В одном только я вас, Александр Иваныч, виню: что вы тогда не арестовали нас всех, министров, вместо того чтобы подавать в отставку”» (131). Кажется, всё — просто, а новый заговор не может сложиться (как, впрочем, не состаивался старый осенью Шестнадцатого, зимой Семнадцатого), хотя думает о необходимости жестких действий не один Гучков.

Так, еще раньше Воротынцев замысливает тайный «твёрдый союз военных людей», который смог бы вывести страну одновременно из войны и революции:

Кто же бы? кто бы стал во главе?

Алексеев? Нет. Нет, не решится никогда.

Гурко! — несомненно, вот кто может возглавить! Острый, мгновенный, крутой!

Надо поехать к нему — и предложить откровенно.

(23)

Будто расслышав призывы полковника, в следующей главе рефлектирует славный генерал, новый Главнокомандующий Западного фронта, уже наглядевшийся и на творцов революции, и на разгул фронтового съезда:

И вот в такой ничтожности — состояло его призвание сыграть роль спасителя России?

Упускал он какое-то большее движение? решительней? Но — какое?

(24)

Нужна диктатура. Всероссийская.

Да откуда её теперь взять? —

(77)

безответно спрашивает себя адмирал Колчак.

Ну а если б удалось Воротынцеву слетать к Гучкову «стрелой» и пробудить его к прежней активности, как предлагается в разговоре с Марковым (111)? Если бы Гучков все-таки арестовал Совет вкупе с львовским правительством? Дальше-то что? Даже «близкого Сергея Маркова» Воротынцеву очень трудно убедить, что мир надо заключать во что бы то ни стало. Как не мог он объяснить губительности войны Свечину ни при ее начале, ни в разгаре, при подступании революции (А-14: 81; О-16: 38, 39). Марков не холодный службист, как Свечин, он человек вдумчивый, готовый обсуждать

рискованные (на грани государственной измены) предложения, в конце концов он даже проникается идеями Воротынцева, но его первоначальные возражения (не только о неотменимом принципе чести, но и о предполагаемых действиях союзников, о возможности замирения Антанты с Центральными державами и их совместном выступлении против России) никак не легковесны.

И сабля остра — но и шея толста. Как, правда, всё предвидеть?

Но хоть бы и сто раз был прав Марков, а я бы не нашел аргументов, — а всё равно из войны надо выходить, выходить, выходить.

(111)

Только понимает это один Воротынцев. Солженицын и одарил своей заветной исторической идеей (Россию надорвало и низвергло в хаос революции участие в Первой мировой войне, сепаратный мир мог бы ее спасти) вымышленного персонажа, потому что не видел ее серьезного приверженца среди действовавших в 1910-е годы политиков. В том и трагедия России 1917 года, что любое выправление частных ошибок подразумевает продолжение ставшей ненавистной народу войны и требующую новых и новых жертв борьбу за победу. Остановить войну действительно крайне трудно — и практически, и морально-психологически. Противостояние Гучкова и Милюкова Совету завязано на их «оборончестве» (которое противники именуют «империализмом»); петроградское население, поддержавшее Временное правительство в дни апрельского кризиса, выходит на улицы с провоенными лозунгами; мы не можем не сочувствовать солдатам и офицерам, прошедшим войну и возмущенным пацифистскими призывами ленинцев (здесь особенно впечатляет демонстрация инвалидов, которую стремятся сорвать большевики, оскорбляя увечных, грозя им физической

расправой и прямо пуская в ход руки (27)). У Маркова есть основания мрачно шутить о «ловушечном положении»: «Да в какую компанию вы попадаете и меня тянете? Вместе с Лениным?» (111).

Эта — до конца очень мало кем осознаваемая — безвыходность и лишает воли тех, кто должен принимать решения. Положение столь запутано, проход между равно опасными *пораженчеством* и *оборончеством* столь узок, что действовать могут лишь те, кто либо не способны сколько-нибудь трезво оценивать происходящее, либо безоглядно ставят свою *идею* (полное разрушение *старого мира* и овладение опустевшим пространством, на месте которого должно возникнуть царство справедливости) выше любой исторической (человеческой) реальности, а потому не знают жалости вовсе. О последних — Ленине и его приспешниках — речь пойдет позднее, пока же обратим внимание на тех, кто справляет свой короткий праздник в апреле.

Их немного. Ибо для того, чтобы с оптимизмом воспринимать весенние события и рваться об эту пору наверх, необходим совершенно особый склад, так сказать, резко повышенная душевная близорукость.

Продвигаясь по тексту Четвертого Узла, мы постепенно понимаем, почему при отмеченной уже (подчеркнутой Солженицыным) сцепленности апрельских событий с мартовскими (та же суета и слепота, то же непрестанное речеговорение, то же хаотическое движение толп и прихотливые, но наивные расчеты политиков разного калибра) мир незаметно изменился — не количественно, а качественно. На то, что «скачок», обсуждавшийся в давней беседе Варсонофьева с уходящими на войну мальчиками (А-14: 42) и вспомненный при визите к нему Ксеньи и Сани (180), уже произошел, отчетливо указывает композиция «Красного Колеса»: «Апрель Семнадцатого» включен не в Первое Действие («Революция»), а во Второе («Народоправство»). Как в «Августе Четырнадцатого» революция «уже пришла» (хотя факт этот констатирован Нечволодовым только во Втором

Узле — О-16: 68), так в «Апреле...» она *уже победила*[6]. И закончилась. Атмосфера стала другой.

Март был ложным и обольщающим праздником, когда бесовский разгул виделся истинно свободным весельем (мотив ложной Пасхи подробно рассмотрен в главе III), возникающие по ходу дела страхи и трудности казались легко преодолеваемыми, а настоящее и тем более будущее — прекрасным. В марте, разумеется, никакой *единящей* любви не было (куда там, когда льется кровь, идут бессудные аресты, рушатся привычные устои, вершатся кощунства), но зачарованные свободой люди (от ведущих политиков до обывателей) верили, что если не сегодня, то завтра эта самая единящая всех любовь восторжествует. В апреле доминируют взаимное раздраженное недоверие (на самом что ни на есть бытовом уровне: прислуга недовольна господами, господа — прислугой; и так всюду — на заводах, в деревне, в армии, в высших политических сферах) и плохо подавляемая тревога о будущем.

Истинный праздник теряется в общей колготе. Даже для глубоко верующей Веры Воротынцевой пасхальные переживания (соотнесенные с ее тяжелым выбором — отказом от соединения с женатым возлюбленным) сплавляются с впечатлениями от прошедшего на Страстной неделе иного праздника — кадетского съезда, куда Вера получила гостевой билет. В той же — одной из первых, а потому задающей тон повествованью — главе читаем: «Уже ворчали ответственные люди и газеты, что слишком много времени потеряно после революции, теперь ещё эта Пасха не вовремя, сбивает темп, необходимый повсюду, и “Речь” призывала сограждан самим сокращать себе неуместный сейчас праздник» (2).

Праздник столь неуместен, что может оказаться забытым, а напомнив о себе — устрашить: «И как-то ночью совсем замученных Чхеидзе, Дана и Гиммера развозил по квартирам автомобиль — и вдруг все разом увидели, и все трое испугались: шла большая ночная толпа, и у всех зажжённые свечи, и все поют! Что ещё

за демонстрация? — ИК не назначал её, и не был информирован, чего они хотят?? А шофёр сказал: да Пасха завтра. Ах, Па-асха... Ну, совсем из головы» (6).

В общем, социалисты испугались правильно. Крестный ход, на который пока еще не требуется испрашивать дозволения у властей предержащих, который пока еще привычен и не подвергается поношениям, действительно противостоит измучившему вождей Совета безумию. Движущийся, как должно, по ночному городу крестный ход должен напомнить и о таинственном, словно без людей творящемся, богослужении, которое замечает и минует спешащий к телеграфу Воротынцев (О-16: 74), и о службе с выносом Креста Господня, на которой молятся Вера Воротынцева и няня (М-17: 430), и о сне Варсонофьева о «запечатлении» церкви (М-17: 640).

Но и новый — навязанный победителями — неурочный праздник радости не приносит. «Интернациональное 1-е мая» Совет указал «праздновать по новому стилю <...> чтобы в один день со всем Западом (хотя в этом году на Западе его не праздновали, воюя посерьёзному)». Глава, посвященная петроградским торжествам, открывается рассказом о тревогах Милюкова (первые слухи о его возможной отставке, транжирство правительства, резко обострившиеся национальные вопросы — «требования автономии разносятся как эпидемия!») и продолжается историей борьбы за роковую ноту (которая и будет помечена «праздничным» днем). «18-го погода была совсем не праздничная — серое небо, резкий пронзительный ветер, ни весна, ни зима». Вести, доходящие до оставшегося дома Милюкова, скорее приятны: «порядок идеальный: колонны послушно маневрируют, пересекаются, отступают, идут параллельно, ни одного несчастного случая», речи звучат всякие, но «против Ленина многие резко говорят, об остальном — миролюбиво». Правда, идут «отдельно украинцы, поляки, литовцы, белорусы. У всех свои хоры. (Опять, опять разделяются по нациям, это

тревожно.)». Приободренный рассказами Милюков отправляется в город и, будучи человеком здравомыслящим, быстро начинает догадываться, что идиллией и не пахнет:

После схода снега никем не поправленные петербургские мостовые — сплошь в ухабах <...>.

А поют плохо — нет ни своих песен, ни гимнов. Несут красные флаги — а поют пошленькую песенку немецких гусаров. <...>

Юнкера. И что ж несут? «В борьбе обретёшь ты право своё» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Ну, навоюем мы с такими юнкерами.

Министр фиксирует и отрадные моменты, да и всегда была присуща Милюкову некоторая брюзгливость, но кособокость, болезненность, вывихнутость праздника только на дурной характер воспринимающего не спишешь, она явственно ощущается еще до того, как толпа солдат останавливает автомобиль.

Недружелюбно кричали:

— Милюков!.. Вот он!.. Попался!

Столкновение, из которого министр выйдет достойно, — предвестье близящихся кризисных дней, когда Милюков, сумевший, кроме прочего, уверенно говорить с толпой, тоже — как при первомайской уличной стычке — окажется победителем. И тоже — формальным. Именно в праздник обнаруживается будущее жесткое противостояние:

А маленький юркий штатский с грузовика, не смущаясь, сразу взялся за речь:

— Буду говорить о министрах. Двенадцать министров — как двенадцать апостолов. Но среди них же есть Иуда.

Милюков охолодел.

— ...Кадеты говорят, нам некем заменить их? Но мы и из народной среды наберём двенадцать...

Так похолодел, что не слышал его речи дальше.

(36)

Хотя был Милюков, как сказано и показано чуть выше и будет еще нагляднее представлено в дни кризиса, «десятка неробкого». Тут важен не испуг за себя здесь и сейчас, а промелькнувшее (прямо даже не названное, но явное читателю) в сознании министра предчувствие будущих потрясений.

Понятно, что первомайский Петроград оскорбляет и устрашает и без того удрученную Андозерскую:

Кажется — мирные улицы, уже отошедшая революция, сплошной радостный праздник.

А — страшно.

(39)

Ольда — убежденная монархистка; она никогда не ждала от революции ничего хорошего. Новизна ситуации в том, что холодеют давно презираемый идейный противник Андозерской[7] и другие энтузиасты февраля. Так, дурные предчувствия испытывает Сусанна Корзнер, наблюдая первомайские торжества в Москве: «Руфь — нашла во всём много ободряющего. А Сусанна Иосифовна ответила, не отрывая глаз от шествия», начальным двустишием брюсовских «Грядущих гуннов» (93). Стихи эти в устах Сусанны читатель должен соотнести как с декламацией младшей «дамы-активистки» на вечере у Шингарёва волошинского «Ангела Мщенья» (О-16: 26)[8], так и с раздумьями вслух, которыми Струве делится с Шингарёвым в последний предреволюционный день на Троицком мосту: «...И перед своим великим прошлым — мы обязаны. А иначе... Иначе это не свобода будет, а нашествие гуннов на русскую культуру» (М-17: 44).

Первомай в первопрестольной стоит Первомая на Неве:

А может быть, все эти демонстрации кажутся страшными только с непривычки?

Да нет, вот и Леонид Андреев, а ведь он чуткий. О петроградской демонстрации, которой все так восхищались, напечатал: «Невесел был наш первый свободный праздник...» (93)

Не менее Леонида Андреева чутка сама Сусанна. Вспомним ее темпераментное — и искреннее! — «оборончество» в «Октябре...» и национально окрашенный восторг от революции в «Марте...». Сусанна по-женски улавливает то, что игнорируют (тревожась, но стремясь заглушить опасения интеллектуальным конструированием) ее муж и гости Корзнеров, Мандельштам и Игельзон, во второй (постпервомайской) части той же главы. Сусанна угадывает злой смысл веселых праздничных лозунгов, вроде «долой рабство домашней прислуги». (Ниже говорится о неурядицах в быту Корзнеров — возможном уходе безупречной, но «отсталой» горничной, для которой весь охваченный революцией город «стал безбожным», и растущей наглости никуда не собирающейся уходить и умеющей постоять за свои права кухарки.) «А у подростков — “подростки Москвы объединяйтесь”. (Ох, не будет ли от этого битых стёкол...) Шествие дворников несло впереди метлу, повязанную красными лентами. (Видно, что она останется без употребления.)». Сусанна, при всех ее увлечениях и заблуждениях, нутром ощущает то, что прямо формулирует на обеде у Корзнеров старый адвокат Шрейдер: «Где закон и порядок — вот там воздух еврея».

Потому уличные и бытовые впечатления Сусанны и подводят ее к печальному выводу, до которого не может додуматься пусть и «похолодевший» от первомайских митингов Милюков: «По-моему... боюсь сказать... будет жестокая гражданская война» (93).

Еврейская огласовка эпизода не отменяет его наднационального, общего, смысла: обычные люди порядка могут соблазниться революцией, но не могут

переносить дикого народоправства, безвластия, прикидывающегося «творчеством масс», разгула, бездарно выдающего себя за праздник. «Сусанне приходилось видывать западные масленичные карнавалы. И сегодняшнее чем-то походило на те — что все были как будто ряженые, что ли, не сами собой?» (93). Недоумения героини, колебания ее оценки (то, да не то) указывают не только на сходство, но и на отличие. На карнавале и положено играть, надевать личины, нарушать порядок, там это не смущает. Там, кроме прочего, торжественно демонстрируют произведенные товары и продукты (следствия ненавистного союза *труда* и *капитала*)[9] — здесь эмблематичная метла отбрасывает свое прямое назначение; там праздник — продолжение упорядоченных и достойных будней, здесь — их подмена, уже не эйфорическая (как в феврале-марте), а навязанная, принуждающая к веселью, зримо (для обычных людей — потому и нужно дать Первомай глазами Сусанны) зловещая.

Этот карнавал по-настоящему радостен только для «карнавального короля», роль которого упоенно играет Керенский. Если комбинации прочих политических игроков разваливаются, то Керенский в апрельские дни уверенно идет вверх. Ему по-прежнему удается лавировать между Временным правительством и Исполнительным Комитетом, он элегантно предает любых союзников, набирает все большую популярность, выдает великое множество распоряжений, провоцирует правительственный кризис, расчетливо исчезает со сцены в опасные дни противоборства демонстраций, извлекает пользу из любого конфликта и в конце концов достигает поставленной еще в марте цели — становится военным и морским министром. Жажда власти у Керенского неотделима от стремления привлекать и покорять сердца, от простодушного упоения собой (и веры в произносимые им слова), хлестаковской легкости и своеобразного артистизма: он дает спектакли на заседаниях правительства,

совещаниях, митингах, приемах, парадах — буквально всегда и везде. Мотивы вездесущести, «пластичности», актерского обаяния Керенского были выразительно проведены уже в «Марте...», но там он был одним из многих «соблазнившихся соблазнителей». В «Апреле...» Керенский остается единственным не знающим тревог и сомнений персонажем.

Терещенко и Некрасов обрисованы Солженицыным в первую очередь как союзники Керенского, если не его ассистенты. Что отчасти превращает их в пародийных двойников пародийного «революционного вождя». В определенной мере дублирует Керенского и его старший соперник Чернов, тщетно пытающийся перещеголять выскочку и остро ему завидующий.

...Выступали (на съезде крестьянских депутатов, который Чернов намеревался покорить блестящей речью. — *А. Н.*) приехавшие из эмиграции и здешние социалисты, длинная была череда. Чернов сидел в президиуме, недовольный их жалкими речами (так и Керенский презирает всех своих «партнеров». — *А. Н.*), *да* недовольный и собой. Успех Керенского ранил его. Хотя тот и произнес дважды комплимент о «старых учителях», но это было пустое расшаркивание — а на самом деле Керенский, упиваясь, летел на крыльях почитания этого зала, и всех залов, и всей слушающей России, это приходится заметить.

Мы же заметим, что Чернов (как и Керенский) бессознательно отождествляет внемлющие ораторам залы и Россию (*неслушающей* как бы и нет вовсе). Для обоих политика — это риторика (и только риторика). Потому и печалится проигравший в ораторском состязании Чернов: «И вот — сегодняшняя речь Чернова вовсе смазана Керенским. А именно здесь, как нигде в другом месте, перед лицом российского крестьянства место единственного вождя было за Черновым. Он должен был отечески направлять российское крестьянство,

пренебрежённое социал-демократами, — то было его *profession de foi!*»

«Литературность» Чернова (не только его речи, но и всего поведения, и его политической стратегии) примечает на съезде коллега по реформированному правительству: «Литературный, конечно, был и Пешехонов, но воспитан на зорком Глебе Успенском, а Чернов — на красных крыльях Интернационала и Циммервальда, — и как вот он сейчас практически вывернется с землёй?»

Да так же, как «военмор» с армией. И когда разобиженный на Керенского Чернов прикидывает, как он под видом ответов на вопросы выдаст речь-реванш, старый эсер опять почти дублирует переплюнувшего его «мальчишку» — подобно Керенскому, он думает лишь о том, как выигрышнее себя подать. Потому и итожащая главу пословица — «ИГРАЙ, ДУДКА, ПЛЯШИ, ДУРЕНЬ!» (178) — указывает не только на Чернова, но и на его самозваного ученика.

На «великом международном пролетарском празднике» Керенский «великолепно» дирижирует «Марсельезой» и «Интернационалом» (38). Последняя глава, в которой появляется Керенский, посвящена первому рабочему дню нового — получившего уже и официальное назначение — военного и морского министра, облетающего «все-все запасные батальоны Петрограда»:

> Ничего нет в мире могущественнее Слова! Слово — это всё! Если вложить всю силу нашего сердца, всю нашу горячую веру — неужели мы не увлечём доверчивого русского воина? Ещё сегодня приходится смотреть на многие безпорядки сквозь пальцы, — но Словом мы всё восстановим!

Внутренний монолог переходит в очередную речь, финал которой оказывается пророческим — сквозь «великолепные» фразы Керенского проступает иной, не входящий в намерения персонажа, но внятный автору (и читателю) смысл:

Россия сейчас засевается семенами равенства, свободы и братства — и я уверен, что этой осенью мы соберём обильную жатву.

(182)

Соберут — точно по «Ангелу Мщенья».

Урожай достанется Ленину и Троцкому. О Ленине Керенский размышляет вскоре после того, как тот с «ненужным грохотом <...> прокатил через Германию — а зачем? только подорвал свой авторитет в массах». Керенский успокаивает себя (как успокаивает себя, а не только публику Чернов в рассудительной статье об «однолинейном», фанатичном, «преданном революционному делу», но никак не опасном и даже смешном Ленине, как успокаивают себя, ухватившись за «комизм» Ленина другие социалисты[10]). И в то же время Керенский словно благодарит Ленина за то, что при обсуждении вопроса о реэмигрантах удалось нанести удар Милюкову, пытавшемуся не пустить радикальных революционеров в Россию (Керенский отводит эти «потуги» министра иностранных дел не только из страха перед левым флангом демократии, но и дабы повысить собственную популярность). И надеется очаровать и просветить «фанатика», получить его признание («Да вот что: посетить бы самому Ленина там, в логове, разъяснить ему, — ведь он оторвался от России <...> около него нет никого, кто помог бы ему ориентироваться. Да как два выдающихся социалиста — разве они не нашли бы общего языка?» — и далее о том, что Ленин «в своей циммервальдской глубине прав», и о земляческих — по Симбирску — связях; Хлестакову не чужды мечтательные настроения Манилова). Но главное его чувство — подавленный (а все же мерцающий) страх. «Но нет, постеснялся поехать: во-первых, всё-таки унизиться, а во-вторых — как бы не оскорбил публично, с него станет» (12).

Этот страх, страх не только перед «демократической» братией, петроградской толпой, революционизировав-

шимися солдатами, но и перед самим Лениным, определит линию поведения Керенского после кризиса, когда он — министр юстиции — фактически сорвет расследование случившихся преступлений. И страх этот, что никогда не отпустит Керенского (при всей самоослепленности своей чующего ленинскую силу), принципиально отличается от тактической осторожности Ленина, с ходу принявшегося громить всех и вся, но до поры не трогающего министра юстиции: «(Керенский — тоже русский Луи Блан, и опаснейший агент империалистической буржуазии, и классический образец измены делу революции, и балалайка, — но по нему пока не бить: слишком популярен в массах.)» (15). Пассаж о Керенском дан в скобках: то ли Ленин этими соображениями не делится даже с ближайшими подручными, то ли акцентирует особую секретность сюжета. Пройдут без малого три недели, и Троцкий, обращаясь к Совету, второй заповедью революции назовет «строжайший контроль над собственными вашими вождями» (184). Всеми вождями — без оговорки о Керенском. И хотя в тот раз (он первый день в России) Совет покорить ему не удалось, очень скоро его обжигающая риторика станет пьянить и подчинять революционные массы куда сильнее, чем слишком логичные, слишком красивые, слишком культурные речи Керенского. Силу ораторского дара Троцкого Солженицын дает нам ощутить в посвященных ему главах, сгруппированных в конце Четвертого Узла (176, 179, 184), в контексте которых бессилие неиссякаемых речей Керенского и его грядущий проигрыш совершенно очевидны. Как устоять Керенскому с его рассиропленными ламентациями: «И мы пойдём к новой цели железными батальонами, скованными дисциплиной! Я зову вас к вере, без которой мёртв разум» (182), если заговорил Троцкий, «содрогаясь сам от взрыва внутреннего снаряда: Бр-рошен факел революции в пор-роховой погреб капитализма!! Наша революция открывает новую эпоху к р о в и и ж е л е з а!» (184)[11].

«Железом и кровью» объединял, как известно, Германию Бисмарк. Цитируя «железного канцлера», Троцкий вновь обнаруживает свои прогерманские настроения, что были подробны охарактеризованы Солженицыным выше — в вагонном споре Троцкого с доктором Федониным, возвращающимся из плена, где он познал бесчеловечность немецких порядков (176), и в биографической главе (179). Важно здесь, однако, не столько еще одно указание на временный союз крайне левых и германских властей — Ленин уже убежден, что в конце концов переиграет немцев (15), сколько глубинное содержание мысли Троцкого, готового строить невиданными способами невиданное государство.

Для становления тоталитаризма равно необходимы революционный беспредел и *железная* организация, одинаково брезгующие отдельным человеком и от веку сущими ценностями, в первую очередь — различением добра и зла. Потому и формулирует Троцкий — в полном согласии с Лениным: «Да никуда не годился бы тот революционер, который не стремился бы поставить на службу своей программе — государственный аппарат принуждения» (176).

Потому и готов он брать уроки у той державы, которая этот аппарат наилучшим образом наладила. Истоки «звериной» и «машинной» неправд XX века в войне «нового типа», стимулировавшей и личную жестокость, и жестокость организованную, государственную. Сделав собеседником Троцкого бывшего военнопленного, Солженицын обращает читателя к Первому Узлу, где мы видим Федонина в найденбургском госпитале (А-14: 15, 34) и где предсказана горькая участь русских солдат и офицеров, на которых впервые ставится опыт, вошедший в обиход XX столетия. Напомню финал экранной главы о сдаче в плен:

= Новинка! как содержать столько людей в голом поле, и чтоб не разбежались!

А куда ж их девать?

= Новинка! кон-цен-тра-ционный лагерь!

(А-14: 58)

Важно, что Федонин — врач, то есть представитель самой человечной профессии, тот, кому назначено бороться за жизнь других и облегчать их страдания. Не менее важно, что при первом своем появлении Федонин спорит с социалистом — Сашей Ленартовичем, уверенным, что «частные случаи так называемого милосердия только затемняют и отдаляют общее решение вопроса. <...> К страданиям рабочих и крестьян пусть добавляются страдания раненых. Безобразия в деле раненых — тоже хорошо. Ближе конец. Чем хуже, тем лучше!» (А-14: 15).

Разговор с Троцким — на новом, еще более страшном витке — повторяет спор в Найденбурге. (Сделав Федонина врачом, Солженицын, кроме прочего, ставит его в один ряд с двумя докторами, которым выпала участь пройти сквозь Первую мировую и Гражданскую войны, — Алексеем Турбиным и Юрием Живаго; напомним здесь о спорах Живаго со Стрельниковым и Ливерием Микулицыным.) Сопрягая в федонинской главе Первый и Четвертый Узлы, начало и конец «повествованья в отмеренных сроках», Солженицын вновь говорит о том, что общеевропейская катастрофа пришла со срывом великих держав в большую войну. Не менее существен здесь заход в лагерное будущее: «Тридцать два месяца, даже и с лишним, девятьсот восемьдесят дней пробыл доктор Федонин в германском плену. А с нынешней возвратной дорогой стало 994, чуть не до тысячи. Из 32 лет жизни — 32 месяца в плену, из каждого года жизни вырвано по месяцу» (176).

Зачин этой главы, строящийся на повторе и насыщении отвлеченно звучащих числительных конкретным, осязаемо тяжким смыслом, естественно ассоциируется с финалом рассказа, которым Солженицын вошел в литературу (даже печальные уточнения повторяются):

Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три.

Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...

(I, 114)

Так доктор Федонин обретает еще одного литературного родственника — Ивана Денисовича Шухова. Не случайно Троцкий в этом же разговоре объяснит ему, что ждет русского мужика:

...Мужицкий ум лишён размаха и синтеза. Они улавливают только элементарное. Крестьяне изорвали на онучи знамя Желябова. Они поймут, когда по ним пройдутся калёным утюгом.

И, видя, как Федонин отшатнулся (то же изумление, что при, наверно, забытых уже героем чеканных репликах Ленартовича. — *А. Н.*), ещё утвердил:

— Да, в школе великих исторических потрясений надо уметь учиться. А по слабым — жизнь бьёт!

(176)

По Троцкому она тоже еще как ударит. И это в тексте Солженицына можно расслышать. Ошибочно Троцкий пророчествует: «Всё будет решать не голос партий, а голос классов» (176). Скоро придется ему признать силу главного партийного организатора и примкнуть к его партии. Позднее эта самая партия (жестко подчиненная новому «бесцветному» вождю, чья неприметность в «Марте...» и «Апреле...» не только исторически мотивированна, но и художественно значима) разберется со сделавшим дело мавром. И потому на внутренний монолог Троцкого, склоняющегося к союзу с Лениным, ложится густая тень иронии автора, знающего, какой урок преподнесет зловеще блестящему персонажу история:

Революция — это смирительная рубашка на противящееся меньшинство.

И уже сегодня проступает её стальной натяг.

(181)

Керенского Троцкий по степени «железности» легко превзойдет, но шаг-то у истории — «стальной», сталинский[12].

Но Троцкий (и в этом он близок Керенскому) слишком захвачен собой, чтобы такое предчувствовать. Он убежден, что действует заодно с историей и смело глядит в близкое будущее. «И русская революция — не закончена и сегодня <…> У этой революции будет вторая стадия, и пролетариат возьмёт власть и установит свою диктатуру <…> Россия уже перешагнула через формальную демократию, она нам не нужна», — внушает Троцкий Федонину (176), а позже для себя формулирует:

> Апрельские уличные схватки — уже были репетициями будущих боёв. Расщепленность власти сегодня — предвещает неизбежность гражданской войны. Желанной войны! И надо быть готовыми к любому подвигу в ней. И к любой твёрдости.
>
> Революционные правительства тем великодушней, чем мельче их программа. И наоборот: чем грандиозней у них задача — тем обнажённей диктатура. И только так движется История. Марат потому и оклеветан, что чувствовал жестокую изнанку переворотов.
>
> (181)

Фрагмент насыщен отсылками к уже знакомым читателям эпизодам. Мысль о превращении войны в гражданскую вспыхивает у Ленина на вокзале в Кракове, после того как он распознает в колесе паровоза Красное Колесо (А-14: 22). О Марате вспоминает, увидев Ленина, Андозерская (39). Гильотину и «калёный утюг», что вразумит мужичье, славит Троцкий в вагонном разговоре, прежде насмешливо высказавшись о кадетах и их лидере, «прозаическом сером клерке» Милюкове: «…На вопросах о земле и войне кадеты свернут себе шею. Их зависимость от старого правящего класса давно торчит как пружина из старого дивана. Да Победоносцев понимал

народную жизнь трезвее и глубже их. Он понимал, что если ослабить гайки, то всю крышку сорвёт целиком» (176)[13].

Эти *классовые* антикадетские тезисы, вкупе с позднейшими, цитированными выше (о «мелкости» великодушия и грандиозности желанной диктатуры), обращают нас к явленному ранее примечательному разговору, в котором ни один из собеседников в принципе не может понять другого:

...в перерыве заседаний Контактной комиссии сказал Гиммер Милюкову: «Революция развернулась так широко, как хотели мы и не хотели вы. Закрепить политическую диктатуру капитала вам не удалось. У вас — нет реальной силы против демократии, и армия к вам не пойдёт». А Милюков с совершенно искренней печалью на лице возразил: «Да разве можно так ставить вопрос! Армия должна не идти к нам, а сражаться на фронте. Неужели же вы в самом деле думаете, что мы ведём какую-то буржуазную классовую политику? Мы просто стараемся, чтобы всё не расползлось окончательно». И Гиммер был поражён: вот так номер, Милюков, кажется искренно, *не знает,* что ведёт классовую политику! — и это глава русского империализма, вдохновитель Мировой войны!

(6)

А Милюков и его однопартийцы действительно не знают, не могут понять, что ведут «классовую политику». Да и не ведут ее. Об этом же говорит на заседании четырех Дум Родичев: «Та партия, к которой я принадлежу, всегда стояла выше классовых интересов и не считается с ними в настоящую минуту...»

И автор, выговоривший столько жестких укоризн партии народной свободы, ее лидерам, ее патентованному златоусту (некогда оскорбившему Столыпина), тут же комментирует эту тираду с неподдельным сочувствием: «И правду сказать, перебрать кадетских вождей — Петрункевича, братьев Долгоруких, Дмитрия Шаховского, графиню Панину, Шингарёва, Кокош-

кина, Милюкова и ещё многих, — нет, не денежному мешку они служили, чтоб ни кидали им социалисты» (116).

Ни главные политические заблуждения русских либералов, ни честолюбивые амбиции иных из их вождей, ни роковая роль, сыгранная кадетской верхушкой в дни марта, ни апрельское попустительство левым (ЦК партии фактически предает Милюкова, защищает государственническую позицию которого только давний противник, «веховец» Изгоев (163)) — не отменяют их стремления к общему благу, народолюбия, преданности культуре, верности высоким идеалам свободы и справедливости. Они любили Россию, хоть и, по слову Струве, далеко не всегда зряче (М-17: 44), они неразумно представляли себе революцию (потому и приближали ее, потому и обрадовались ее первому торжеству), но не мыслили ее самоцелью или ступенью к диктатуре. Они хотели избежать гражданской войны, страшась «железа и крови». И потому не могли противостоять ни разгулу «народоправства», ни напору большевиков, «стальным шагом» идущих к захвату власти и установлению диктатуры.

В эпилоге «Войны и мира» Пьер повторяет Наташе то, что он говорил в Петербурге будущим декабристам: «Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собою и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь так просто»[14]. Отвлекаясь от весьма сложных вопросов о том, что значит эта мысль в лабиринте сцеплений романа и как относится к ней Толстой, заметим: в *революционизированном* пространстве «Красного Колеса» (и особенно «Апреля Семнадцатого») «простая» мысль Пьера не может стать явью. Соединяться дано только людям порочным. И чем они порочнее (бесчеловечнее), тем крепче (до поры) их комплот. Ленин прибывает в Россию ни с чем, партия его почти химера, соратников можно по пальцам перечесть (да и тех в большинстве вождь считает мелкотравчатыми фигурами), для видных социалистов (вклю-

чая однопартийцев) он странный, бесперспективный доктринер. Но все противоленинские начинания — от статей в буржуазных газетах до намерения солдат-волынцев арестовать Ленина (29, 75) — урона ему не наносят. Но к особняку Кшесинской тянется все больше народу (и не только из праздного любопытства, хотя и оно Ленину на пользу). И те, кто в начале апреля спорил с Лениным, дивился его оголтелости, благодушно предрекал, что тот успокоится («Каменев сказал конфиденциально: убеждён, что Ленин три дня в России пробудет — и мнения свои переменит» (7)), так или иначе подчиняются его воле.

Так происходит с Сашей Ленартовичем: «Ленин был — конечно сверхчеловек. Хотя, может быть, это и не в похвалу. Но — в загадку. <...> Это был вождь — не как первый среди других, а как — формирующий их всех, иногда необъяснимыми путями».

И хотя в этой главе у Саши еще остались некоторые недоумения, ясно, что недолго они продержатся: Ленин, «три недели назад отвергнутый собственной партией <...> уверенно вёл её, и партия была наглядно едина» (133).

Так происходит с Каменевым, который еще и 24 апреля вальяжно полемизирует с Лениным и брезгливо раздражается на перебежчика Сталина («Все эти недели смирно шёл вслед Каменеву — а сегодня выступил коротко и, как обычно, без единой стройной мысли, — лишь открыто заявить, что он — за Ленина», — уж Сталин-то понимает, где настоящая сила и настоящее зло), но, в сущности, уже капитулировал. Ленин в заключительном слове «вдруг с поразительной оборотливостью объявил, что с Каменевым они во всём согласны! <...> Этим шедевром уклончивости Каменев был просто ошеломлён. Но из такта он не мог указать вслух» (101) — что Ленину и требуется.

Так происходит с пытавшимся вести свою линию и кичащимся внефракционностью Стекловым: «Он не имел ещё решения и последней крайности прямо идти на поклон в особняк Кшесинской — но уже смирился, что, наверно, придётся так» (90).

И — что всего важнее — так происходит с Троцким. Впрочем, здесь наблюдается встречное движение.

Вот Троцкий, обдумывая свое одинокое положение, перебирая и отвергая возможные планы, осознает: «Нет, наплывает форштевнем корабля неизбежный: Ленин. Какую взять линию к Ленину?» (181).

Припоминаются давние обиды (их тени мелькали и раньше (179)), а за ними и общий отталкивающий образ вечного конкурента: «Да, у Ленина — бешеный организационный напор и кабанье упрямство. А культурное развитие — ведь совсем малое, не начитан. Лишён образности, яркости. Да поразительно необъёмен: как будто истолакивает весь сочный мир в сухую плоскость. А в решающие часы — да и трусоват».

Но, перебирая болезненные размолвки и мелкие «негероические» свойства Ленина, Троцкий все больше ощущает его победительную правоту, не только свое с соперником единомыслие, но и готовность подчиниться:

> Что Ленин весь всегда только в организации, в размежевании, в обмежевании своих — долго казалось Троцкому скучно, даже отвратительно: где же яркая личность? личный успех? Как может в великом революционере жить педантичный нотариус?
>
> А опять-таки верно: вот — у него послушная партия. А Троцкий — всё в одиночках.
>
> <...>
>
> Да сейчас, в самый острый момент, — ведь сходство по всем пунктам. Прочёл тезисы, оглашённые Лениным, — согласен с каждым! <...> Классовая борьба, доведённая до конца, — это и есть борьба за государственную власть.
>
> И парадоксально: сперва — вся партия взбунтовалась против тезисов Ленина. Никто не согласен был с ним отначала и слитно — так, как Троцкий.
>
> И — как же теперь им не соединиться?
>
> Упоительно тянет — соединиться. Зачем — конкуренция? Нет, Ленина не миновать.
>
> (181)

Разом логичному и взвинченному монологу Троцкого («Он был горяч — но был и холоден одновременно», — примечает за своим попутчиком доктор Федонин (176)) откликается еще более злой и еще более расчетливый монолог Ленина. Словно оттягивая самую болезненную и насущную проблему, Ленин проводит мысленный смотр уже обнаружившихся и намечающихся сторонников («Новожизненцы — Суханов, Стеклов, Гольденберг, эти почти в кармане, да Гольденберг и много лет был наш. Горький, как всегда в политике, архибезхарактерен, да чёрт с ним»), обдумывает, как вернуть «бесценного» Красина («К нему единственному Ленин готов пойти мириться и первый. <...> Месяц прождал Ленин — не идёт Красин. Значит, идти самому. Подошлём Коллонтаиху для разведки в Царское Село. И вдруг сегодня прислал в “Правду” — стишок. Стишок, может, и копейки не стоит, но — сигнал! Завтра же напечатаем»), вспоминает Инессу, с которой в очередной ссоре («Но — и она вернётся. Некуда ей будет деться»). И здесь, после самого интимного пункта вырывается наконец то, что всего более заботит:

А самый важный — Троцкий. Ни молчать, ни бездействовать он не будет. Опасен.

Очень наглый.

В коротких, пульсирующих абзацах ненависть борется с целесообразностью. И проигрывает. За отчаянным «Людей — нет» (хотя ведь скольких только что вспомнил, хотя умнейший Красин уже уловлен, а все не то — и Ленин это отлично понимает) следует переполненный желчной бранью пассаж, захлебывающийся на вроде бы окончательном вердикте: «В сущности, он и есть — балалайка».

И с абзаца, будто дух переведя, вроде бы продолжая поносить, но готовясь к резкому развороту:

И мастер подтасовок. Профессиональный лгун.

Но — и какой же оратор! Как эффектно было бы сейчас его использовать. Динамичная сила.

И — свободен от всяких предрассудков.

Кажется, переходы от абзаца к абзацу и тире после союзов передают паузы, в которых формируются тезисы и антитезисы. Все плюсы и минусы давно ясны:

Во врагах — он опасно остр.

А в союзниках — непереносим.

Деваться некуда — остается успокоить себя рассудительным, тягучим, словно не в голове мелькнувшим, а записываемым на бумаге «синтезом» и сбросить пар, выдав злобный почти афоризм:

Но, хорошо представляя его слабости, его безпредельную амбицию, можно умело им руководить, так что он не будет этого и понимать: всё время на первом плане и упиваясь собой.

Умные негодяи всегда очень нужны и полезны.

(183)

Ради привлечения к делу Троцкого Ленин до известной степени преодолел себя. И Троцкий ради революции (власти, диктатуры) с собой тоже справился — в общем уступив больше, чем Ленин. Дуэт, которому предстоит совершить Октябрьский переворот, развязать гражданскую войну и одержать в ней победу, уже составился. Способностью действовать заодно с «умными негодяями» порочные люди и отличаются от людей порядочных, что не умеют меж собой договариваться.

Проанализированная пара глав (181, 183 — между ними помещена глава о Керенском, уверяющем, что «осенью мы соберём обильную жатву») отражает другую пару, появляющуюся в тексте раньше, посвященную лидерам двух «буржуазных» партий, которые на заседаниях Временного правительства с глубокой тоской друг

на друга смотрят. И разделяет те две главы (гучковскую и милюковскую) тоже одна — обзорная, о народоправстве на железных дорогах, близящемся транспортном параличе, одной из самых больших и зримых бед весны 1917 года (35).

Щурился Гучков на Милюкова и думал: чужая каменная душа. Ведь вот — понимает же он государственные интересы России, но с какой-то внешней позиции. И ничего не хочется делать с ним заодно, хотя обстоятельства так и загоняют их в содружество: вместе их поносит Совет, общие у них враги и вне и внутри правительства, — а союза между ними, и даже простой откровенности, никак не возникает. Непереходимая издавняя чужесть. Западный профессор. Даже водки с ним выпить не хочется.

(34)

Смотрел Павел Николаевич на его тяжёлое хмурое лицо с сожалением и глубоким неодобрением. Никогда Гучков не был друг, никогда союзник. <...> Но в такие-то недели, на таких-то вершинах — могли бы объединиться. Только Гучков тут ещё и понимал как следует, что такое Проливы. Как бы они выстояли вдвоём! — совсем иначе направили бы правительство. Да только не поддержал Гучков союза — он и своего-то места не удерживал.

(36)

Напомнив двоицей взаимоориентированных глав (Ленин и Троцкий) о другой (Гучков и Милюков), резко обозначив контраст (внутренние монологи разрушителей взрывчаты, напряжены в поиске, «разворотливы» — размышления министров пропитаны усталостью, сползающей к безнадежности, Милюков лишь до поры «устойчивее» Гучкова), обрамив этой системой зеркал Четвертый Узел, Солженицын дает нам ощутить то, что будет категорически проговорено во вступлении к «На обрыве повествования»: «Уже и “Апрель Семнад-

цатого" выявляет вполне ясную картину обречённости февральского режима — и нет другой решительной собранной динамичной силы в России, как только большевики...»

Вялость двух прежде столь энергичных министров, их взаимное недоверие и отсутствие общего языка, невозможность их действенного союза отражает общий упадок воли и конструктивной мысли, в большей или меньшей мере присущий всем всерьез озабоченным положением дел (зрячим и прозревающим) историческим персонажам — Алексееву, Гурко, Корнилову, Колчаку. Что, наряду с уже отмечавшейся выше слепотой в главном — вопросе о мире, обусловливает их апрельские отступления (зачем Колчак приезжал в Петроград? почему растерян решительный Гурко? чего добился своей отставкой Корнилов?) и будущие (в 1917 году и позднее) поражения. Растерянность овладевает большинством персонажей обычных, тех, кто мог бы действовать, но ждет команды (отсюда тоска Воротынцева о вожде, отражающая сходные чаяния облеченного куда большей властью Колчака: «Нужна диктатура. / Всероссийская. / Да откуда её теперь взять?» (77); косая черта здесь передает солженицынскую разбивку внутреннего монолога на сжатые абзацы), тех, кто, подобно Ярику Харитонову в разложившемся полку, задаётся вопросом с убийственным ответом: «Куда идти?.. Разве, в одиночку, — на немецкую проволоку?» (104).

Разумеется, чувство потерянности настигло многих героев повествованья уже в «Марте...» (особенно к концу Узла; повторим: Солженицын переходит от Третьего Узла к Четвертому плавно), но в «Апреле...» оно оказывается и более ощутимым, и более общим. Дело в том, что, обернувшись народоправством, революция становится разом и всеохватнее, а потому — ужаснее (с каждым днем нарастает разруха, истаивает устойчивый быт, множатся жестокости — особенно в деревне) и привычнее. Эта двуединость тоже проступала в заключительных главах «Марта...».

Ход революции Варсонофьев сравнивает с плавлением кристалла (180)[15], но прежде Солженицын последовательно проводит другую природную метафору — вскрытие и разлив рек.

Нева вскрылась на Страстной. Проходили льдины со снежными бахромами, левый берег очистился, у правого лёд ещё держался. При резком ветре с моря ещё подступала вода на прибыль, ломая лёд. Становились и заморозки по ночам. А как раз на Пасху провеяли тёплые дни, быстро изникал снег, дружно сливала с погрязневших улиц вода. (И впервые во время таянья вода в водопроводе стала мутна, что-то на главной станции мешало очищать.)

(2)

Уже в этой главе обнаруживается пучок сложно переплетенных мотивов. Стихия берет свое (вода словно отступает при заморозках, но, разумеется, их одолеет). Ожидаемое очищение оборачивается разливом мути и грязи (испорченный водопровод — природное сцеплено с социальным; рядом возникает картина «неметенного <...> неубранного Петрограда» со «слоями мусора» и «невывезенными кучами»). Движение воды прикровенно сопоставлено с людским своеволием: «Вместе с долгожданной безкрайней радостью Революции ворвалось <...> безпорядочное, безоглядное, вседозволенное, бесстыдное — т е п е р ь в с ё м о ж н о». (И почему же?)

Подразумевается тут и своеволие эротическое, противопоставленное отказу Веры от Дмитриева. Норма (река должна вскрыться, приход весны радостен, весна не зря почитается порой любви) исподволь искажается, незаметно выворачивается в антинорму. Эти мотивы, варьируясь и развиваясь, возникают и в других «речных» фрагментах.

Юрик Харитонов заворожен донским наводнением:

...А не подорвёт ли вода и огромный ростовский мост? (Вот бы рухнул, только без поезда.) <...>

...Уже никак не речная, не озёрная — истинно морская ширь, прикатившая в Ростов! — как грудь дышала! как на моторке нестись!

Ясно, что ничего хорошего во всём этом не было, а какая-то колотилась радость. <...> В катастрофе — что-то сладкое есть.

(17)

Бодрит Юрика, однако, не столько само торжество могучей стихии, сколько открывшаяся наконец-то возможность вырваться из уютного детства, стать не просто взрослым, но героем, подобно языковскому пловцу «поспорить и помужествовать» с бурей. Наводнение замещает войну, на которую младший Харитонов в отличие от брата не успел, спасательные работы — боевые операции. Всякая серьезная напасть хороша тем, что может быть преодолена подвигом. Не утратив наивной детской мечты о лаврах полководца, Юрик и отроком ведет воображаемые военные кампании, в которых любит «доводить своих до отчаянного положения, а потом героически спасать в последнюю минуту». Войны эти всегда разыгрываются «на теле России, и даже особенно ближней, южной. Почему-то именно такая и здесь война влекла его и была осмысленна» (17). Здесь читатель должен вспомнить эпизод Первого Узла, в котором Ксенья случайно видит атлас Юрика с обозначением линий фронта гипотетической войны:

— Так это что ж — Южная Россия, ты что? Немцы у тебя и Харьков взяли? И Луганск?! <...> Ты бы другую карту, тут войны никогда не будет, Юрик!

Юк покосился на неё с сожалением и превосходством: — Не безпокойся. Ростова мы никогда не отдадим!

(А-14: 76)

В «Августе...» о внутреннем мире Юрика и психологической мотивации его игр еще не говорится. Но уже здесь на повествование ложится густая тень будущих

национальных трагедий. Ксенья, как и большинство взрослых, ошибается: мальчишеская выдумка обернется явью. Даже более страшной, чем в игре: чудесного спасителя не найдется, в Гражданскую войну Ростов сдадут красным, а в Отечественную — немцам[16]. В «Апреле...» «опоздавший» к битвам Первой мировой Юрик опрометчиво печалится: «Но после такой кровопролитной какая же другая вскорости могла прийти на Землю, чтобы стать его войной? Невероятно» (17).

Увы, «невероятное» и случилось. Первый раз мы видим отступающие войска Юрика ровно в те дни, когда его старший брат после самсоновской катастрофы выходит из германского окружения, дабы спастись от плена; во второй — когда поручик Харитонов оказывается пленным в своем полку (104). Перекличка ростовско-мальчишеских глав «Августа...» и «Апреля...» вновь (как и в случае глав о докторе Федонине), сопрягая начало и конец повествованья, обращает нас к пороговому пункту истории XX века — проклятому 1914 году.

Юрик не станет спасителем отечества (его романтические чаяния соотносятся с одной из самых важных проблем, над которой мучаются взрослые герои «Апреля...», — поисками вождя, обрести которого так и не удастся), но участь солдата, твердо выполняющего свой тяжкий долг, его едва ли минует. Мы не знаем, выпадет ли младшему Харитонову идти Ледяным походом (Узел Десятый — «Февраль Восемнадцатого»), до которого осталось меньше года (очень вероятно), погибнет он на Гражданской или сбережет жизнь в ее мясорубке, а если так, то где застигнет повзрослевшего мальчика Вторая мировая, в приход которой он не верил... Вариантов немало, хотя счастливого нет (здесь не важно, как сложилась судьба прототипа и/или как планировал развивать сюжетную линию Юрика автор в «ненаписанных Узлах») — сущностный выбор героем-отроком сделан. Проговорен он будет позднее, во второй и последней из Юриковых глав «Апреля...», когда новообретенный друг Виталий Кочармин откроет Юрику горькую правду («Не осталось нам с тобой

времени»), а тот—«не в лад <...> а вроде и в лад» ответит: «Если уж мужчины не хотят воевать — так кому ж, значит нам идти?» И предложит поклясться, «что вот мы — будем против всякой мерзости биться!» (174).

Мы верим этой клятве потому, что высота и чистота духа были явлены Юриком прежде — при разливе Дона (отозвавшемся порывом к подвигу), разливе революции (Юрик инстинктивно отторгает «новый беспорядок» — в училище, дома, во всем городе, хотя осмыслить его он не может, да и не пытается), разливе подростковой чувственности. Охваченный нестерпимой тоской по девочкам, Юрик одолевает искушение. Увидев раздевающуюся за перегородкой в женской купальне Милу Рождественскую, он «тотчас смекнул, что по этой перегородке сумеет взлезть <...> а там — хоть спрыгнуть, спуститься внезапно перед ней — и будь что будет! Заднюю дверь её раздевалки она, наверное, заперла, не войдут — и <...> открыто просить, умолять её о ласке. Они — довольно близко знакомы, она не должна слишком испугаться. <...> Но уже под самым потолком, при перелазе, вдруг подумал: а неблагородно! она же беззащитна; и — может, она не заперлась? и оттуда, сзади, ещё войдёт кто-нибудь? Не за себя испугался, за неё: что о ней тогда подумают?» (17).

Благородство важнее и сильнее распирающего тело желания. Никакое половодье не может и не должно освобождать человека от чести, самое *мягкое* и *просящее* насилие остается насилием, не поддаться искушению трудно всегда, а когда обычный порядок утратил скрепы, еще труднее. Не случайно, подводя повествование к клятве обретших друг друга «русских мальчиков», Солженицын говорит и о «радостной лихости» наводнения, и об от недели к неделе все наглеющих грабежах («каких и отчаянный Ростов прежде не знал»), и о растущем недоумении Юрика от все более властно заявляющих о себе нестроении и людском озлоблении (ощеривающийся на «тилигенцию» базар) — как не случайно описывает он новую (казалось бы, избыточную) встречу

устоявшего «солдатика» с прекрасной купальщицей, по-прежнему влекущей и невольно подростка мучающей: «всего кипятком обдало. <...> смотрел на неё безумными глазами: ведь ты никогда, никогда не узнаешь! Я *видел* тебя!..» (174). В веселом кипении вседозволенности Юрику удается сохранить себя. Как Вере Воротынцевой, преодолевшей иной (но и схожий) соблазн.

Другой свидетель своенравия Дона, Фёдор Ковынёв, по пути из Петрограда видит охватившую страну сумятицу, разгул митингов, тысячи людей, неведомо почему бросивших работу и сгустившихся близ вокзалов, — следствия вдруг свалившейся, много посулившей и давшей мало утехи свободы. Потому для него «сливаются образы наводнения и революции. И как наводнение, сколько же обломков и мусора нанесёт, сколько оставит ям развороченных». Разгул стихии в ковынёвском случае со страстью не сравнивается. Напротив, он препятствует встрече любящих, не внося новой ноты в их отношения, а позволяя Ковынёву тянуть старую (и дурную) линию: Фёдор телеграммой просит Зину не выезжать из Тамбова до спада воды. Однако половодье, революция и любовь соединены и здесь («Да одна ли вода? Сколько тут взбухло и распирало — уже и Зинуша не помещалась»)[17], что не может не отразиться на лелеемом Ковынёвом замысле, о котором он вспоминает тут же: «Необыкновенные донские дни весны Семнадцатого года! — и на них бы тоже растянулся донской роман, включить бы тоже и их?» (97)[18].

Иную огласовку мотив половодья получает в главе о тамбовском селе — как представляется, дающей главный ключ к крестьянской проблематике «Апреля...»: «За эти семь революционных недель, пережитых Каменкой, только одна была спокойная — пасхальная: сошёлся и великий праздник, и разлив, <...> низины заливало, прерывая дороги, отрезало от Каменки весь мир вместе с революцией, — а тут тихо, тепло, празднично, и жаворонков слышно».

Но превращение села в блаженный остров коротко: с отступлением природной стихии начинается как на-

ступление стихии революционной, так и прорыв темных мужичьих чувств — с выраженной эротической окраской. Учительница Юлия Аникеевна сталкивается не только с недоверием к своей просветительской работе (которую и вести-то ей приходится по чужой воле — сама она прежде «ничего революционного не читала»), не только с вдруг обнаружившимся презрением (на грани ненависти) к интеллигентной «дуре», которая детей не тому и не так учила и учит, но и с прямой опасностью. Юля смущается от «открыто похотливых взглядов» вернувшегося в село «явным дезертиром» Мишки Руля, которого боится вся Каменка («ещё подожжёт») и перед наглостью которого теряется сам Плужников (столько лет ждавший свободы, готовившийся направить верным путем крестьянство). «Да не только Руля, она стала бояться уже и своего недоучки переростка Кольки Бруякина, — уже и он осмелел смотреть на неё так же» (106).

Разложение деревенского мира подстегнуто революцией, но возможность такого поворота событий обнаружилась раньше. Хулиганящая каменская молодежь, ее вожак, циничный развратник и насильник Мишка Руль, его рано оформившийся последыш Колька Бруякин изображены во Втором Узле (О-16: 45). В каменских главах «Октября...» предсказан и будущий выброс крестьянского (веками копившегося) озлобления на господ и городских[19].

В «Апреле...» тема эта организует главы о Вяземских, где привычно мирные отношения господ с мужиками (37) быстро уступают место вражде. Явно пришлый матрос запрещает хоронить Дмитрия Вяземского (смирявшего революцию в 1905 году, погибшего за нее в 1917-м) в фамильном склепе, и никто из кучки слышащих угрозы крестьян ему не возражает. Лиц в сумерках не видно, *свои* сливаются с *чужими*, потемки позволяют не смотреть в глаза, прятать совесть. Но и при свете дед Пахом говорит барину: «...довольны мы покойным князем (выстроившим церковь, больницу, школу. — *А. Н.*) премного, а благодарны — за что бы? Ведь он же не для нас делал, а для спасенья своей души» (96).

Похоронить брата Вяземские хоть с ухищрениями, но сумеют (99), достигнуть компромисса при первом бунте смогут (подняв поденную плату работникам, уволив добросовестного управляющего, отступив от той твердости, в которую недавно — выдержав бой за похороны брата — уверовал князь Борис), но предварительный итог ясен:

А самим бы с Лили — уехать к осени. В Ессентуки, к родителям Лили? В Алупку к Воронцовым? За границу?.. Совсем бы куда-нибудь.

Э т о г о — уже не спасёшь.

(170)

Тут закономерно возникают бунинские обертоны, звучавшие прежде в растерянном монологе другого помещика, Александра Вышеславцева, рано почувствовавшего обреченность «дворянских гнёзд» (М-17: 609). Теперь перспектива утраты открылась (гораздо определеннее) Вяземскому. Но и она иллюзорно радужна. В конспекте Шестого Узла читаем: «Бунт крестьян в усадьбе Вяземских Лотарёво; кн. Борис отвезен на ст. Грязи, там растерзан солдатами и доколот собственным конюхом». Это случится в августе.

В следующем месяце сходно завершится другой сельский сюжет «Апреля...». Изнуренный введением хлебной монополии (непонятной крестьянам и их озлобляющей), заботами о срываемом посеве, подготовкой вожделенной земельной реформы Шингарёв отправляет семью в родную Грачёвку обрабатывать отцовскую землю, чтобы это «крохотное пятнышко» не осталось сирым, как множество иных огромных пространств России.

Не сказал Фроне, как сердце сжато, но по её суженным напряжённым глазам видел то же.

Целовал детишек. А после второго звонка — лицо её ненаглядное, каждая морщинка родная, а вот уже 22 года. Скоро серебряная свадьба.

(32)

Конспект Узла Седьмого: «Жена Шингарёва убита крестьянами, их Грачёвка разграблена». Имения Шингарёвых и Вяземских в одном уезде — Усманском, Воронежской губернии. В апреле Шингарёв (прямо перед отбытием жены в Грачёвку, как выяснится — на гибель) получает письмо, в котором князь Борис упрекает министра за то, что он насаждает в России социализм.

В хлебной монополии и всевластных «комитетах из охлократии» (32), конечно, ничего доброго нет. Скверно, что мужицкие интересы представляют «интеллигентные товарищи». Министры и исполкомовцы напрасно испугались делегации от Крестьянского съезда: «А-а-а! Хозяина-то земли Русской — забыли?.. <...> На каком языке с ними разговаривать? Доставайте буквари» (164).

Не нужно, тут переводчики не потребуются. Плохо, что разумные мужики (хоть крестьяне, хоть крестьяне в солдатских шинелях), оказавшись делегатами всевозможных съездов, пребывают там статистами, даже если угадывают, что кривда давит правду (Иван Кожедров и Фрол Горовой на совещании в Питере (120, 137)). Еще страшнее, что деревню мутят городские агитаторы. Хотя дезертиры, вроде Мишки Руля, свои, деревенские — а грозят поджогами односельчанам и примериваются к барским хоромам в первую очередь они. И если пока фронт бросают худшие (а обычные мужики в шинелях только отказываются наступать да с дорогой душой братаются с немцами), то ведь летом побегут домой почти все[20]. Все это ужасно. Но едва ли смогла бы революция так вывихнуть крестьянский мир, если б не долгая злосчастная история России пахарей: «Посев жестокости прошлого века, и драньё взрослых мужиков розгами — они не прошли без следа, нет» (106).

Не только князь Евгений Трубецкой помнит, как его дедушка, совершенно потрясенный отменой крепостного права, в престольный праздник «устраивал высочайший выход на большое парадное крыльцо», как оделяли подарками бывших своих крепостных («а чужих — в сто-

рону, прочь»), а барчата «с крыльца швыряли пряники в народ и забавлялись, как мальчишки барахтаются на песке, ловя их». И что рассказчик, ставший незаурядным философом и видным членом кадетской партии, «нарочно метил так, чтобы попадать им в головы...» (2), те мальчишки не забыли.

Грядет возмездие. Ему будут ужасаться и его будут стараться оправдать совестливые русские интеллигенты — надеясь на лучшее и не желая подумать о том, что же в итоге обретут пробудившиеся мстители. Известно что — новое крепостное право. Тамбовские повстанцы, яростно боровшиеся за землю и волю, а потом жестоко и цинично раздавленные большевистскими карателями, прежде захватывали помещичьи земли, жгли усадьбы, убивали господ — вершили то самое возмездие, которое искренне и вдохновенно славил в 1918 году Блок. В «Апреле Семнадцатого» (разумеется, развивая обозначенное в предшествующих Узлах) Солженицын показывает, как трагически связаны прошлое и будущее крестьянской страны, как мужицкая правда сплетается с мужицким грехом, как при утрате ориентиров (привычные ценностные вешки сбила либо исказила революция) растерянность оборачивается яростным (но коротким, беспочвенным, обреченным) народоправством, как исчезают личности (к счастью, не все и не навсегда) и традиционная общность, как прошедшее (со всеми его кривдами, но к ним не сводимое) и грядущее (которое могло бы быть иным) приносятся в жертву безумию настоящего (жизни «одним днём»). Одаривший Каменку неделей тепла и покоя разлив естественно сходит на нет, иной разлив (здесь природа не олицетворяет социальную стихию, но ей противополагается) будет бушевать долго. Несколько месяцев без сторонней сдержки, потом — в неравном противоборстве с железным новым порядком.

Последний *речной* сюжет привносит еще один смысловой обертон в соположение стихии и социального катаклизма. «Кончилось волжское судоплаванье. И месяца

не пробегали по вольной воде». Грузят зерном гнилые баржи, не справляются со штормами, пароход налетает на устои моста, пристани залиты водой, гниет рыба, которую теперь дозволено ловить и сдавать оптовикам кому угодно («за отказ принимать — уголовное наказание, а за порчу рыбы — пятикратный штраф»).

Волга, разумеется оставаясь собой (шторма и в прежние годы бушевали, и крушения случались), оказывается по-новому опасной и враждебной. Гордей Польщиков, невольно используя древнюю метафору «государство — корабль, правитель — кормчий», рассуждает:

При крупном повороте корабля есть такая команда: «Одерживай!» <...> А если не одерживать — пароход будет кружиться на месте или идти по ломаной.

Вот так и в политике. Эти два месяца — никто не одерживал.

Понятно, что не реку винит купец и судовладелец в то и дело случающихся бедствиях, но все пореволюционное бытие воспринимается им как бушующая стихия, свирепо играющая кораблем без капитана. Нет надежды на правительство, но нет и того единения деловых людей, что могло бы выправить ход корабля. Кто-то вроде бы соглашается, но «как-то нехотя», кто-то переводит капитал за границу, и с ними у русского купца Польщикова дружбы быть не может. «Или — опять нам в оппозицию? Или спасать Россию помимо правительства, — так кому ж это по силам?»

Но если позволить кораблю державы пойти ко дну (как баржам на Волге), то в тлен уйдет и твое дело. Твое богатство.

По-русски, конечно, и так: засвистит судьба Соловьём-разбойником (которого Андозерская разглядела в Ленине. — *А. Н.*), погибать — так и погибать!

А — сын? дочь? жена?

Всегда, сколько помнил, жил Польщиков с ощущением своей силы: силы тела, силы соображения, знаний и силы денег.

Солженицын наделил волжанина именем с отчетливой семантикой, да еще и напоминающим о двух по-разному «зарвавшихся» купцах — самодуре Гордее Торцове и выламывающемся из своего сословия Фоме Гордееве. Гордость Польщикова была законной (и даже достойной), пока было на что опереться, пока настоящий шторм не налетел. Теперь гордиться нечем:

...началась такая подвижка — такая подвижка всего — уже ощущал Польщиков недохват силы — на всё, на всё.

Стал — не хозяин своей жизни.

Тряска пойдёт — и эту девочку тоже он не удержит.

(109)

Девочка — Ликоня. Их с женатым Польщиковым беззаконная любовь мерцающими лирическими миниатюрами освещает всю круговерть «Марта...», а в «Апреле...» обреченно истаивает. Для Польщикова загадочная утонченная красавица становится избыточной роскошью, а верная своему всепоглощающему, все установления рушащему чувству Ликоня и прежде прав на возлюбленного не предъявляла. В «Марте...» — тринадцать глав, так или иначе (большей частью — полностью) посвященных Ликоне; в «Апреле...» — лишь две (25, 162). (Кроме того, Ликоня возникает в главе о Ленартовиче, где отказывается разговаривать с многолетним поклонником, который стал большевиком (133), и в цитированных выше раздумьях Польщикова (109). И в этих главах она именно *возникает* на несколько мгновений, чтобы — пусть по противоположным причинам — тут же исчезнуть.) Последние строки письма Ликони Польщикову (последняя ее «нота» в «Красном Колесе») таинственно вторит выводу, к которому уже пришел адресат (и которым «Зореньку» пока пугать не стал):

Что же с нами будет? В этих бурях (вспомним волжские шторма. —*А. Н.*) я боюсь и совсем потерять к вам последнюю ниточку.

Ой, не кончится это всё добром. Это — худо кончится...

(162)

Может показаться, что именно разгулявшаяся историческая стихия разметывает героев. Варсонофьев напоминает только что нашедшим друг друга Ксенье и Сане об опасности, которой грозит любви центробежная энергия революция:

...Дай Бог, чтоб обстоятельства вас не разъединили.

И это была — холодная правда, о которой они и знали, и боялись, и хотели бы не знать.

(180)

Но это не вся правда. Обстоятельства, безусловно, могут развести любящих (даже если те напряженно сопротивляются), но могут их и *не* развести. Люди вправе не подыгрывать обстоятельствам, не принимать их как непреодолимую данность — им не заказано вести себя иначе, чем Ковынёв и Польщиков. (А уж что из того получится — иная история.) При всех различиях «сильного» купца и «слабого» писателя оба и прежде были не достойны (если угодно — не вполне достойны) женщин, которые их полюбили. Минимализируя в «Апреле...» эти *романические* линии, намекая, что два любовных сюжета приблизились к обрыву (хотя кто знает, какие нежданные встречи и разлуки выпадут персонажам «Красного Колеса» в последние дооктябрьские месяцы, в пору Гражданской войны и многие годы спустя), Солженицын отнюдь не хочет сказать, что в пору исторических потрясений всякая личная жизнь сходит на нет. Напротив. Порукой тому апрельские истории двух главных (интимно дорогих автору) героев повествованья — Георгия Воротынцева и Сани Лаженицына.

После того как Воротынцев уходит от Калисы «на революцию» (сам о том еще не догадываясь), как некогда на войну (М-17: 241), его сюжетная линия в Третьем Узле ведется так, будто и не было семей-

ной драмы, метания меж двумя женщинами, нечаянного короткого успокоения с третьей: Воротынцев думает только о настигшей страну беде и своем долге. В «Апреле...» же, когда общая ситуация стала еще опасней, поиск выхода — еще мучительней, необходимость действия — еще насущней, жизнь буквально отбрасывает героя в прошлое, уныло и оскорбительно воспроизводя в могилёвских интерьерах томительные октябрьские объяснения с женой — ссоры, примирения, срывы, укоризны, требования любви и поклонения. Каждый раз ни к чему не приводящие и всегда угрожающие скорыми повторениями старых ходов. Тех же по сути, но все более непереносимых. Воротынцевский сюжет в Четвертом Узле развернут в *пятнадцати главах*[21]. И только в одной — заключающей Узел (и в известной мере все повествованье) — Воротынцев свободен от того, что он называет «кишкомотательством» и «тягомотиной» (136).

Алине нет дела ни до войны, ни до революции, ни до надвигающейся гибели России. Она ведет себя так, будто ничего, кроме семейной драмы, во всем мире не происходит. Но и Воротынцев, отчетливее большинства персонажей «Красного Колеса» (если не всех, может быть за исключением Варсонофьева) понимающий роковой ход событий, неустанно обдумывающий планы спасения страны и жаждущий битвы, не может отрешиться от своей домашней печали, не может ни порвать с Алиной, ни равнодушно отодвинуть (хоть на день забыть) изнурительный конфликт.

Суть дела не в том, что истерики жены не дают Воротынцеву сполна отдаться борьбе, мешают ему думать и действовать. Все это, конечно, так, и будь Георгий в браке счастлив, чувствовал бы он себя в эти тревожные дни бодрее и тверже. Но ведь и при «крепком тыле» и душевном покое не изобрел бы волшебного тормоза для Красного Колеса.

Как ни жутки выходки несчастной разлюбленной женщины, но не из-за ее ломаного характера, себялю-

бия, душевной бестактности революция победила Россию. Ужас в том, что общая и личная трагедии развиваются параллельно, что одна беда не выбивает клином другую, что мраком затягивается все бытие.

Потому в прощальном грустном (и, как чувствует герой, продуманном, не истерическом) признании Алины («Знаешь... Иногда мне кажется... что никто из нас... никого... уже давно не любит... Ни ты меня, ни я тебя...») Воротынцев слышит нечто большее, чем печальную и верную догадку о причине его измены и невозможности восстановить отношения с женой. Мало того, что «Алина никогда его не любила» (эту обиду он долго от себя таил), что «и он её не любил» (в этом признаться еще труднее), что и «никакую» женщину он «ещё никогда» не любил (то есть прожил долгие годы без настоящей радости, принимая за нее ту или иную подделку). Все это только присказка, подступ к действительно страшному (совершенно обыденному, всем теоретически известному) выводу:

Нет, его прокололо какой-то ещё новой неотвратимостью, ещё глубже.

Смертностью всего на земле. Обрываемостью всех чувств на земле. (Всех — а не только чувств Воротынцева. Или Ковынёва, Польщикова, еще кого-то, кто не сумел найти, распознать, удержать свою любовь. — *А. Н.*) <...>

Со всем, со всем нам придётся расстаться: и друг с другом, и с этим последним солнцем (Воротынцев, проводив Алину, видит «последнюю печальную красоту заката на тополевых вершинах», но в его — и читательском — сознании конкретная пейзажная деталь обретает значение символическое, прочно укорененное в мифологии и поэзии: и каждому из нас суждено когда-нибудь взглянуть на солнце в последний раз, и само солнце некогда погаснет, о чем и напоминает ежедневный закат. — *А. Н.*), и с этим городом, и с этой страной.

И может быть — скоро...

(173)

Жизнь без любви перестает быть жизнью («*Нам не жить*, она угадала», — думает чуть выше Воротынцев). Но если разверзлась тютчевская «всепоглощающая бездна», если жжет «неостановимой тоской» (173) чувство конечности всего земного, то при чем здесь война, революция, история? Однако, двинувшись от *личного* и пройдя по метафизическому маршруту (характерно двоящееся значение местоимения первого лица множественного числа: «мы» в косвенных падежах — это и чета Воротынцевых, и «мы все»), мысль героя упирается в злободневную конкретику. Прощаться с «этой страной» («и может быть — скоро...») придется не только потому, что всякий человек смертен. Любые исторические потрясения ничтожны по сравнению с тем, что происходит при переходе от бытия к небытию, но сознание своей малости и конечности не выводит человека из той единственной жизни, которая ему дана и за которую он несет ответственность[22]. В последний раз мы видим Воротынцева не на вокзале, когда, расставшись с Алиной, он прощается со всей жизнью[23], но на могилёвском Валу, где раздумья героя о близящейся битве хоть и сцеплены с мыслью о смерти, но отнюдь ей не подчинены.

Революция не отменяет прежних личных злосчастий, но и одолеть человеческое стремление к счастью ей не всегда по силам. В центральной главе «Апреля...» (финал Первой книги) происходит неожиданная встреча Ксеньи и Сани, которые сразу и навсегда понимают, что они друг другу — суженые. Не революция переносит Саню в Москву — просто пришло время положенного отпуска, а в родной Сабле Сане делать нечего (31). На вечеринку к подруге Ксенья отправляется «вдруг», прежде обоснованно отказавшись: «Ой, не могу, ноги не идут» — после дня работы на земле и нескорого возвращения в город из Петровско-Разумовского (91). Все обстоятельства «против», даже найти вечером извозчика в пореволюционной Москве труднее, чем раньше, — а встреча происходит. Это не простое сцепление случайностей, а судьба.

Сольный (адресованный одному новому знакомцу) танец Ксеньи напоминает о неудачной пробе, танце для Ярика Харитонова (М-17: 545), многодневные хождения с Саней по Москве (156) — о единственной прогулке с Яриком (М-17: 549). В марте Ксенья, ждущая любви, сердцем поняла, что Ярик — не тот, кто ей предназначен, и при всех своих сестринских чувствах к строгому, печальному и так нуждающемуся в женском тепле поручику ласково, но твердо его отвергла. Она ждала «своего» — и дождалась. И Саня, который не мог, «как Чернега, пойти к случайной тут крестьянке, лишь потому что хата её оказалась рядом», на офицерской вечеринке проникается правотой Краева: «Воюющему мужчине естественно знать ту женщину, к которой он должен вернуться, и весь его военный путь должен быть — к ней» (М-17: 577). Этот фронтовой разговор он вспомнит в счастливые московские дни (156). Наверняка вспоминает и о том, как в тот же вечер мечтал «полюбить — по-настоящему». Как думал о предстоящей поездке в Москву — «ни к кому определенному», но туда, где «сами тёплые стены московских переулков — помогут. В чём-то. Встретить кого-то. Ведь каждому это обещано». Как глядел на молодой месяц, свет которого превращал ледяшки в драгоценности и устремлял душу в «зовущую, невыразимую, загадочную красоту» звездного неба (М-17: 577). Когда Саня провожает Ксенью после первой встречи, «при поворотах извозчика полная луна с большой высоты щедро светила им то слева, то приветственно спереди, то снова слева, иногда скрываясь за близкими высокими зданиями, а то через реку напротив, — и всё это осталось как единое плавное счастливое проплытие под луной» (91). То, что было обещано под молодым месяцем, сбылось при полной луне.

Вглядимся попристальнее в историю молодой четы. Ксенья и Саня близкие земляки, но в родном краю не встретились, «...наш дом из поезда видно, когда проез-

жаешь, короткий миг» (91), — и Саня, отправляясь на войну, его не упустил:

А вот <...> показался верхний этаж кирпичного дома с жалюзными ставнями на окнах, а на угловом резном балконе — явная фигурка женщины в белом <...>

Наверно, молодой. Наверно, прелестной.

И закрылось опять тополями. И не увидеть её никогда.

(А-14: 2)

Другую обитательницу этого дома (с балкона на поезд смотрела Ирина — А-14: 3) — лучшую, «свою» — Саня увидел и обрел.

Они «год перед войной учились тут оба в Москве — и не встретились» (91). Но нашли друг друга, хотя тому не было никаких внешних причин. Только внутренняя — вера в единственную любовь, опровергающая новомодные представления о легкости соединений и страсти как мучительной борьбе.

Переполненная наконец ставшим явью чувством, Ксенья вступает в спор с самим Гамсуном:

...Как будто: счастливой взаимной любви на земле вообще не бывает?

Но это — не так! Это было бы невозможно и чудовищно!

(91)

Любовь дается тем, кто сердцем знает: счастливы браки, что заключаются на небесах.

Они двое составили словно маленький челночок, безстрашно взявшийся переплыть море, и в самое неподходящее время. (Корабельная метафора памятна нам по главе о вдруг потерявшем силу прежде столь самодостаточном Польщикове — 109. — *А. Н.*)

Выбились из толпы (как во всем выбиваются. — *А. Н.)* направо — и как раз к Иверской часовне.

Влюбленных ведет Высшая сила, и они это чувствуют. Потому и молятся вместе: «Соедини нас, Матерь Божья, прочно и навсегда» (156).

Нет, взаимообретение Ксеньи Томчак и Исаакия Лаженицына не результат игры случая, но чудо. Единственное истинное чудо в «Красном Колесе».

Именно потому, что чудо действительно свершилось, Солженицын целомудренно не вводит этого слова в историю любви. (Оно прозвучит позднее — в начале рассказа о визите к Варсонофьеву — 180.) Хотя, вообще-то, слово «чудо» много раз уже возникало на страницах повествованья и вновь звучит в главе о прогулках Сани и Ксеньи. Но не в их интимном контексте.

Герои попадают на митинг у городской думы, где держит темпераментную «революционно-оборонческую» речь черноморец Баткин.

> Толпа ревела, аплодировала, и даже со слезами: ах, как он говорит! что за матрос! Как сердце укрепляет!
>
> Рядом хорошо одетый плотный господин, задыхаясь:
>
> — Это чудо, наши марсельцы! Народная душа возрождается на наших глазах.
>
> Молодая дама под сеткой:
>
> — А Керенский — разве не чудо?
>
> (156)

Баткин говорит, в общем, вполне разумные вещи, но речь его, как и прославляемая оратором «железная дисциплина» Черноморского флота, гроша ломаного не стоит. Как и все «севастопольское чудо», зыбкость которого остро чувствует его главный архитектор — адмирал Колчак, ответивший Гучкову на предложение возглавить уже разложившийся Балтийский флот: «...боюсь, что в Балтийском ничего не изменю. А Черноморский — совсем не так благополучен, как кажется. Я не уверен, что и мой престиж сдержит. Кончится и там, как в Балтийском» (41).

И если в апреле воли, харизмы и дипломатичности адмирала хватит на поддержание (и даже на разогрев) патриотического единения черноморцев (127), то уже в начале июня Колчак будет «изгнан матросами из Севастополя» (первая фраза конспекта Узла Пятого). Таково чудо «наших марсельцев». Что уж говорить о «чуде» рвущегося в короли шута-самозванца Керенского! Меж тем именно упование на чудо, невероятный поворот событий, появление «героя-вождя», пробуждение (возрождение) народной души, таинственное вмешательство Высшей силы в земные дела — главное умонастроение апреля, сменившее энтузиазм марта, когда столь многим казалось, что дальше все пойдет само собой.

Впрочем, один персонаж уповает на чудо уже в поворотный день России — это оставшийся после отречения в одиночестве Государь.

Лежал.

А может — Чудо какое-нибудь ещё произойдёт? Бог пошлёт вызволяющее всех Чудо??

Покачивалось, постукивало.

Постепенно отходили все жгучие мысли, пропущенные через себя, изживаемые думаньем и покорностью, и покорностью воле Божьей.

(М-17: 353)

Надежда на чудо (предполагающая самооправдание и отказ от ответственности за случившееся) — мартовский соблазн не только императора, но и императрицы, объясняющей Лили Ден: «Мы, которым дано видеть всё и с *другой* стороны, — мы всё должны воспринимать как Божью руку. Мы молимся — а всё недостаточно. (То есть, если будем молиться больше и проникновеннее, то Господь всё наилучшим образом устроит. — *А. Н.*) Из *другого* мира, потом, мы всё это увидим совсем иначе. С отречением Государя всё кончено для России. Но мы не

должны винить ни русский народ, ни солдат — они не виноваты».

И тут же императрица радуется вести о том, что «сводный гвардейский полк отказался сдать караулы пришедшим стрелкам! <...> Да ещё может быть с этого начнётся и весь великий поворот войск??» (М-17: 514).

Закономерно, что жена успокаивает наконец-то добравшегося до Царскосельского дворца (вернувшегося домой, в покой семьи) императора: «О Ники, предадимся воле Божьей! О Ники, Господь видит своих правых! Значит, зачем-то нужно, чтоб это всё так случилось. Я верю, я знаю: свершится чудо! будет явлено чудо над Россией и всеми нами! Народ очнётся от заблуждений и вновь вознесёт тебя на высоту!» (М-17: 526).

Чудо не должно торопить или вымогать: «Он (Государь. — *А. Н.*) оттого был внутренне спокоен, что твёрдо верил: и судьба России, и судьба его семьи находятся в руках Господа. Господь поставил его так, как он стоит. И что бы ни случилось — надо преклониться перед Его волей» (М-17: 639).

Для отошедшего от «первого ожога развенчанности» императора самообманное чувство своей правоты и радости обычной семейной жизни (занятия с сыном, посещение церковных служб, домашние торжества, физический труд на воздухе) даже важнее, чем скрытая надежда на чудо. Логика его такова: если я прав (а я прав), то Бог меня не оставит. Неполное согласие Государя и императрицы обусловлено различием их темпераментов, в сущности же они воспринимают свое новое положение (и положение страны) сходно:

> Ещё весь март Аликс надеялась и молилась, что сплотятся верные смельчаки, разгонят эту банду и вернут власть царю. И только медленно примирялась она со взглядом Николая, что отречься — было, несомненно, правильно, это избавило Россию от гражданской войны при войне внешней.

Николай всё время умягчал её смириться: всё равно мы ничего больше сделать не можем. Надо на всё происходящее смотреть с т о й стороны, как и она любила говорить.

(134)

Николай остается в том же просветленном состоянии, в каком предстал читателю в последний раз на страницах Третьего Узла, в лучезарный мартовский день за расчисткой от снега дорожки в парке: «Ничего в мире больше не видишь, кроме этого, Богом созданного, бело-сверкающего моря» (М-17: 639). Только теперь пришла пора огородничества:

...Какая это благородная, возвышающая и вразумляющая работа — копка земли под посадку, под посев. <...> Со вниманием освобождать плодородие ото всего, что выросло бы сорняками и заглушило бы доброе дело. Смотреть, как шевелятся дождевые черви, и радоваться, что их не разрезал. <...> Древнее занятие! Ещё когда не было ни Византии, ни Греции, ни Вавилона — а уже так копали.

Масштабы тысячелетий! И что в них мы? и что наша история?

(134)

Глубокая правда пропитана успокоительной ложью. Бурно прущие сорняки заглушат посев. Сострадательность к червям не отменит самоуничтожения страны в гражданской войне. Грядущие бедствия России (и царской семьи) рождают ужас и при свете тысячелетий. Сегодняшняя пассивность не искупит многолетних вопиющих ошибок, приведших к преступному отречению (Николай так и не может понять, что отрекся от России), и не избавит от кровавого завтра. Когда же его зловещей поступи уже нельзя не слышать, остается только вновь адресоваться к Создателю:

Господи, Господи, что же готовит Твоё Провидение нашей бедной России?..

Да будет воля Божья над нами!

Записал так в дневник, и после восклицательного поставил Крест.

(134)

Так сосуществуют в сознании императора ложная надежда на чудо, стремление укрыться от истории (переложив ответственность на кого-то другого, не столько спасти душу, сколько утишить муки совести) и прорывающееся отчаяние. И примерно такое же смешение чувств владеет Гучковым, многолетним противником царя, кажется ни в чем с ним не схожим. Только разные грани душевного состояния министра открываются в ином порядке, чем у низвергнутого самодержца.

Сперва — отчаяние в богоборческих тонах:

Да если бы Бог в самом деле был где в мире — как же мог бы Он распоряжаться так безжалостно и безмысленно? На самом важном посту России и в самые отчаянные недели — как же бы рассудил Он отнимать силы? В чём тут замысел? что за рок?

Или: это уже и смерть подкатила?

Потом — мечта о благородном выходе из игры:

...Гучков сказал министрам: а давайте уйдём все сразу, вместе? Вот это будет — достойный шаг. И по-русски, не цепляться за власть: мы вам не нравимся — мы уходим, справляйтесь сами.

(112)

Так ведь этим и Николай, оставляя трон, руководствовался. И в апреле он старается думать, что отречением уберег страну от гражданской войны. Гучкову же — свободному от прекраснодушия венценосца — совершенно ясно, что отставка (коллективная или личная) не остановит развала армии и России. И все равно, объявляя о своей отставке (снятии с себя ответственности) на со-

вещании фронтовых делегатов, выговорив почти всю правду об охватившем страну безумии безвластия («Кто из народов не создал власти — их путь пошёл через кровавую анархию к деспотизму. Хотя трудно уже найти выход: наш путь ведёт нас к гибели!»), Гучков сбивается на знакомое — царское — «заклинание» (всего две главы отделяют отставку Гучкова от последнего появления Николая в «Апреле...»): «Иногда кажется: только чудо может нас спасти. Но я — верю в чудеса. Я верю, что светлое озарение проникнет в народные умы — и даровитый русский народ, прозревший народ, выведет Россию на светлый путь» (137).

Не желающий уступать кому-либо дипломатическое ведомство Милюков презрительно думает о предотставочной речи военного министра: «Гучков сболтнул напоследок, что верит в чудо. Какое чудо? — надо бороться. Всегда — надо бороться, и проиграв — тоже бороться».

Он и борется — целое заседание правительства, с каждой минутой все отчетливее понимая, что его участь уже решена. Проиграв же, гордо (упреждая нависающий ультиматум коллег) заявляет об уходе из правительства и покидает заседание, сохранив лицо, стуком двери отметив «конец первой эпохи Российской Революции».

И вспомнил гучковскую веру в чудо. А если — случится чудо? И — вернут?

Лакей подавал ему пальто, шляпу, — скользнула вдруг мысль: а может, была какая-то ошибка в его аргументах о проливах? Может быть, не надо было ему уж так настойчиво держаться за Константинополь? Как ни аргументируй — а идея-то не кадетская, не либеральная, это у него от обильных балканских связей. И от панславизма.

(157)

Психологический рисунок, вместившийся в два абзаца, чрезвычайно сложен: здесь и честолюбие Милюкова (но все-таки честолюбие, неотрывное от понятия

о чести), и его страсть к политическим комбинациям, и способность анализировать собственные принципы, и почти детская обида (столь неожиданная в холодном «немецком» профессоре), и упрямая неуступчивость (дернулся от новой мысли, но не вернулся к «мерзавцам»)... Но всего неожиданнее внешне и всего естественнее по сути эта царско-гучковская надежда на чудо. И не то важно, что она может показаться *сниженной*. (Что, дескать, за чудо в возвращении министерского портфеля?) Милюков печется не только и не столько о должности, он убежден в своей правоте, в том, что нужен России в качестве министра иностранных дел. Выше сказано — не без иронии, но и всерьез: «Неожиданно и невидимо — мантия имперского наследия тяжело осенила плечи либерального профессора Милюкова» (36). Важно, что в разливе народоправства, кроме как на чудо, уповать больше не на что. Потому и отзывается речь Гучкова долгим эхом. Потому и готова не одна московская «молодая дама под сеткой» (156) увидеть «чудо» в Керенском, который и раньше щедро обещал всевозможные чудеса, а уж дорвавшись до военного министерства — тем паче (182). Потому и Троцкий кидает ходкую приманку пленуму Совета: «И мы убеждены, что все немцы, и все народы восстанут — и произойдет чудо освобождения». А затем, заклеймив вступление социалистов в правительство, снова гипнотизирует зал волшебным словом: «Конечно, и этот опыт не погубит страну, ибо революция слишком сильна! Я — верю в чудо! — но не сверху (какой тут может быть Бог! Не зря Церетели резала глаза «лихо чертовская манера» Троцкого. — *А. Н.*), а *снизу*. От пролетарских масс» (184).

Ну да, Гучков, призвав отмести «тот лживый фимиам, которым нас окружают», апеллировал именно к солдатской массе, предлагая ей совершить чудо: «Как русский человек, обращаюсь к вам с горячей мольбой: помогите» (137). Вот Троцкий и взял на вооружение (вывернув наизнанку) его наработку. А за ним Церете-

ли, точно так же, стараясь переиграть Троцкого, льстящий толпе и предлагающий ей поспоспешествовать желанному чуду: «Если вы поддержите нас — то мы войдём во Временное правительство и спасём Россию. А без вас — мы только щепки на гребне революционной волны...» (184).

Апрельская одержимость чудом проявляется независимо от личных свойств отдельных людей. Случай Милюкова, весь склад которого должен отвергать (и до поры отвергает) любой мистицизм, особенно показателен. Потому и ставит Солженицын историю отставки первого министра иностранных дел сразу за рассказом о счастливых днях Сани и Ксеньи (156, 157), сталкивая чудо истинное с чудом незаслуженным и оттого несбыточным. Так готовится короткий диалог Ксеньи и Варсонофьева, завершающий главу 180, что вкупе с еще одной — последней в «Апреле...» (186) — замыкает общий сюжет Четвертого Узла и всего «повествованья в отмеренных сроках».

Жизненные дороги Воротынцева и Лаженицына не пересекаются ни разу. Меж тем общие знакомые у них есть (Воротынцева с Саней *соединяет* Благодарёв, с Ксеньей — Ярик), что еще раз свидетельствует о единстве огромного мира «Красного Колеса». Учитывая броуновское движение персонажей «Красного Колеса», многочисленность неожиданных их соприкосновений (вовсе необязательно отыгрываемых далее на уровне сюжета), должно счесть, что автору была необходима именно не-встреча главных героев повествованья. Если писатель даже и планировал скрещение воротынцевской и лаженицынской линий в оставшихся ненаписанными Узлах, это дела не меняет. Работая над «Апрелем Семнадцатого», Солженицын знал, что этот Узел станет финальным. Пожелай он под занавес свести героев (что соответствовало бы романному стереотипу), измыслить и мотивировать соответствующий ход (например, появление Воротынцева в Москве) не составило бы большого труда. Обычного (в хронотопе

исторической реальности) диалога между Саней и Воротынцевым не происходит, но заочный метафизический диалог их судеб играет в «Красном Колесе» весьма значительную роль. При очевидных возрастных, сословных, психологических различиях именно эти герои наиболее полно воплощают ту немалую (и разноликую) общность обычных, не облеченных властью и не наделенных незаурядным творческим даром, просвещенных русских людей, с которыми автор связывает и утраченную, но бывшую реальной возможность естественного, без социально-политических потрясении, движения страны в XX веке, и убежденное противостояние революции, со всеми ее долгими и страшными следствиями, и надежду на наше выздоровление в грядущем. Солженицын подчеркивает особый статус этих героев, ясно давая понять, кто был прототипом Сани («Отец автора выведен почти под собственным именем» — сказано в «Кратких пояснениях» к Первому Узлу, дабы у читателя, и так догадывающегося о *родовом* характере фамилии Лаженицын, не осталось и малых сомнений), и одаривая Воротынцева своими заветными идеями и автопортретными чертами, вводя в его историю некоторые (неизбежно трансформированные иным историческим контекстом) эпизоды собственной биографии[24]. Отсюда густота мотивных связей двух глав, в которых автор и читатели расстаются с героями, их взаимодополнительность и равная важность для подведения итогов.

Саня вспоминает о Варсонофьеве, оказавшись с Ксеньей у Никитских ворот (156), где в последний свой мирный день они с Котей дерзнули поздороваться со «звездочётом», что и привело к долгой беседе о главных (безответных) вопросах в пивной под «Унионом» (А-14: 42). Визит (без предупреждения) к пожилому человеку, с которым Саня общался единожды, больше двух лет назад, не менее безрассуден (формально — неприличен), чем уличное обращение к странноватому посетителю Румянцевского музея. Но эта вторая встреча необходи-

ма Сане, ибо он вновь стоит на пороге. Тогда — уходил на войну: сейчас — обретя любовь и предполагая скорую женитьбу, вступает в новую жизнь, одновременно чувствуя, что и общая прежняя жизнь с победой революции кончилась. Вновь сопрягаются начало и конец повествованья — незаметный почти никому новый приход революции в Россию и ее абсолютное (теперь уже неостановимое) торжество. Напомним о двух — августовском и апрельском — появлениях доктора Федонина, военных играх Юрика Харитонова в «Августе...» и внутреннем выборе, который он делает в «Апреле»; клятва, которую дают младший Харитонов и Кочармин в «Апреле...», отражает решение Сани и Коти добровольно идти на фронт в «Августе...». В тот же ряд встают два прощания с Москвой (Сани и Коти, а теперь — Сани и Ксеньи, не знающих наверняка, что им никогда больше не пройти по этим улицам, площадям, бульварам, надеющихся на лучшее, но чувствующих, что может статься и так[25]) и второй разговор с Варсонофьевым, в котором повторяются как темы, так и загадочные интонации разговора первого. Все, что говорит Варсонофьев об истории и трагедии «перерыва постепенности» (зле любой революции), он — чуть приглушеннее, щадя юных собеседников, по-сократовски будя их мысль, — говорил и в пивной. И тогда он не столько утверждал (хотя понимал несравнимо больше, чем мальчики), сколько спрашивал, и сейчас на вопрос Сани отвечает вопросом:

— Что же — делать, Павел Иванович?
— А вот — вы мне скажите, что делать?

(180)

Все, что говорит Варсонофьев о делах сегодняшних (плавлении кристаллической решетки, несоответствии результатов целям, нехватке ума у добросовестных интеллигентов, засилии пустых слов, истовой лести, соблазняющей младенческий народ и превращающей его

в чернь и зверя, страшном кличе «подай!», страшном грузе власти), прямо следует из его старых намеков. Особенно для читателя, которому революция и начало народоправства были явлены во всей их красе. Сане открыто меньше, чем нам. Но он готов пожертвовать временем, которое можно было провести вдвоем с возлюбленной (отпуск кончается; перспективы туманны), на странный визит, потому что догадывается: в давнем разговоре со «звездочётом» было нечто, что должно объяснить сегодняшний (виденный им воочию) развал армии и те тревожные события, о которых знает по газетам и слухам. Было — но тогда не до конца расслышалось. Вот и идет с невестой дослышать, допонять. Слышит — страшное, худшее из того, что можно предположить. Варсонофьев не дает успокаивающего ответа на Ксеньино «Но ещё, может быть, — уляжется?», не соглашается выдать вершителям революции индульгенцию за «идею любви к народу», предупреждает своих посетителей о грозящей им разлуке, не предлагает целительной программы действий.

Решать, как жить дальше, может лишь сам человек — хоть в Августе Четырнадцатого, хоть в Апреле Семнадцатого, хоть месяцы, годы, десятилетия спустя. Не кончившие курса студенты шли на войну добровольцами не по совету незнакомого им тогда «звездочёта» — он лишь понял и одобрил их выбор (который потом казался опрометчивым не только резко ударенному войной Коте, но и Сане). Почему они действовали тогда «правильно»? Не ошибался ли Варсонофьев? Именно война, по мысли Солженицына, торила путь революции. Воротынцев о ненужности этой войны думает уже в Первом Узле. Едва ли Варсонофьеву (не говоря об авторе) близка немудрящая аргументация Коти («Ведь не мы напали, на нас! На Сербию напали!» — А-14: 42). Всё так. Политика, приведшая к вступлению в войну, была бездарна. Армия не готова. Во всеобщем энтузиазме хватало дури и фальши. Сам Варсонофьев не может доказать правоты добровольцев. Но: «Когда трубит труба — мужчина

должен быть мужчиной. Хотя бы — для самого себя. Это тоже неисповедимо. Зачем-то надо, чтобы России не перешибли хребет. И для этого молодые люди должны идти на войну» (А-14: 42).

И не умудренный Варсонофьев, а простодушный Саня находит ответ (свой и Варсонофьева) на их общий вопрос: «Я думаю... я думаю... Простой человек ничего не может большего, чем... выполнять свой долг. На своём месте» (180).

Ровно это чувствует Воротынцев с особенной предбоевой ясностью—в тот же самый день, на могилёвском Валу (186). Варсонофьев не скроет от гостей, что, по его суждению, так думающих и чувствующих людей слишком мало, чтобы спасти Россию. Но грандиозность беды не может служить оправданием тем, кто уклонится от битвы. Потому Варсонофьев оспаривает самого себя, сказавшего добровольцам, что «строй отдельной человеческой души важнее государственного строя» (180; А-14: 42). Проблема не в том, что мудрое правило это пригодно для «мирных эпох», но утрачивает силу, когда государство разваливается. Мирные эпохи срываются в революции (с наследующими им диктатурами), когда люди (не только стоящие у власти, но и простые) перестают угадывать иррациональный (но имеющий тайный смысл) ход истории. «Обязанности перед родиной — это и есть обязанности перед самими собой», — говорит Варсонофьев чуть раньше. Разгадка августовской загадки, которую Саня не мог найти до второй встречи со «звездочётом», сопровождается пояснением:

— А-а... Это — дорога. <...> Дорога, что есть жизнь каждого. И вся наша История. Самое каждодневное — и из наибольших премудростей. На один-два шага, на малый поворот каждого хватает. А вот прокати верно всю Дорогу. На то — нужны верные, неуклончивые колёса.

— Но колёса могут катиться и без Дороги, — возразил Саня.

— Вот это-то самое и страшное, — тяжело кивнул Варсонофьев.

(180)

Тут вновь всплывает расхождение Сани с Толстым, о котором он рассказывал Варсонофьеву. Толстой не согласился с грамотным крестьянином, который предлагал поставить «перекувырнутую телегу» российского государства на колеса («на колёса поставите — и сразу в неё переворачиватели же и налезут, и заставят себя везти, и легче вам не станет» — отрицающему государство как таковое Толстому равно чужды революция и реформирование), а для Сани было немыслимо и обычную телегу бросить. Тем более телегу-государство (А-14: 42). Толстой не был так наивен и отрешен от жизни (в частности, русской), как видится многим его оппонентам. С «переворачивателями» стало только хуже. Но и после переворота принять правоту Толстого Солженицын и его любимые герои не могут. Стало хуже, потому что телегу еще раз перекувырнули, потому что надежных колес не нашлось, потому что дороге (по которой и должно верным колесам катить) предпочли бездорожье, где и разгоняется Красное Колесо (Ленину оно является раньше, чем происходит разговор Сани и Коти с Варсонофьевым).

«Колесо» и «Дорога» — символы взаимосвязанные. «Красное Колесо» создано тем писателем, первая законченная большая вещь которого — поэма «Дороженька», поэма автобиографическая, то есть глубоко личная, и в то же время историческая (подобно символу Дороги в толковании Варсонофьевым). Скрытое соотнесение двух (первого и последнего) эпосов Солженицына и вся система колесно-дорожных мотивов отсылают к одному из ключевых для русской культуры сочинений — к «Мертвым душам». Поэма Гоголя начинается толками двух русских мужиков о колесе (до Москвы доедет, а до Казани — нет), а заканчивается (суля величественное продолжение) превращением обычной дороги в ме-

тафорический (если не сказать — мистический) путь, по которому мчит Русь-тройка. (В земной ипостаси — бричка Чичикова, изведавшая бездорожье, не раз сбивавшаяся с намеченного маршрута, повредившая то самое колесо, о котором беседовали мужики, и тем крепко осложнившая положение своего владельца.)

Проступив в варсонофьевско-лаженицынской главе, гоголевские реминисценции отчетливо окрашивают главу финальную, воротынцевскую. Более того, именно при ее свете проясняется и гоголевский пласт разговора «звездочёта» с юными гостями, и его глубинная семантика.

Картина, что открывается стоящему на могилёвском Валу герою (и читателю), прямо восходит к грандиозным панорамам, развернутым Гоголем:

> Видишь — так много России сразу, как не бывает повседневно.
>
> Если взять чуть левей, восток-северо-восток, и перевалить через леса, взлететь и дальше — расстелется сперва Смоленская. Потом Московская. Потом Владимирская. А там — и наша Костромская. Всего-то — вёрст семьсот, куда покороче фронта. Недалеко.
>
> Милая, печальная, обделённая сторонушка костромская. Что же я не был в тебе так давно, давно, давно?
>
> А во взрослые уже наезды — та щемливая тоска, какая почему-то всегда зацепляла его в Застружьи, — от скудных ли полей; от изгиба дороги — вот тут была, и увильнула, и напрочь; от ветряной ли мельницы дальней? И та тоска достигла и сюда, и здесь крючком потянула за сердце.
>
> Или — чувство, что никогда уже туда не вернуться?..
>
> (186)

Внутренний монолог Воротынцева варьирует известнейший лирический фрагмент «Мертвых душ» — обращение автора к родине:

> Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросано и неприютно в тебе <...> От-

крыто-пустынно и ровно всё в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря и до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце?[26]

И автор «Мертвых душ», и герой «Красного Колеса» смотрят на Россию с запада. Русь для них — огромная равнина, лишенная выразительных красот (при цитировании опущен фрагмент, где Гоголь сравнивает Россию со зримо прекрасной Италией). Для Гоголя «невысокие города» — это лишь «точки» и «значки» (как на карте), взор солженицынского персонажа их вовсе минует. Повторяются опорные мотивы — бедности и тоски. У Солженицына нет слова «песня», но песенной (и гоголевской) становится интонация. По-гоголевски множатся вопросительные (музыкально повторяющиеся) конструкции, по-гоголевски неприметная обыденность окутывается тайной. Снижение пафоса (деловито-военное — «вёрст семьсот, куда покороче фронта») не отменяет доминирования памятной гоголевской мелодии. И без изгибающейся, ускользающей, исчезающей дороги — символического мотива очень важного для поэтического мира Гоголя и уже истолкованного Варсонофьевым — здесь тоже не обошлось.

Видение Воротынцева, безусловно, сверхреально (психологическая мотивация — герой видит всю Россию мысленным взором — не колеблет сакральной семантики эпизода). Не произнесенное здесь слово «чудо» угадывается читателем, помнящим другую — более раннюю — гоголевскую фантастическую трансформацию пространства: «За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света». В «Страшной мести» — первом апокалипсическом сочинении Гоголя — пространственное чудо предваряет раз-

вязку, где возмездие настигает не только величайшего грешника, колдуна, всех его предков и первопреступника Иуду Петра, но и мстителя Ивана, а вместе с ним весь людской род.

«Страшна казнь, тобою выдуманная, человече! — сказал Бог. — Пусть будет всё так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своем!» И то всё так сбылось, как было сказано: и доныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь, и видит, как в бездонном провале мертвецы грызут мертвеца, и чует, как лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю...

Преступление Петра — братоубийство, страшная месть его побратима не кладет предел злу (низвергнутый злодей трясет землю «по всему миру», «от одного конца до другого» — «и много поопрокидывалось везде хат, и много задавило народу»[27]). Видение Воротынцева предшествует долгой, невероятно жестокой братоубийственной гражданской войне, разрушительная энергия которой не иссякла вполне и по сей день.

Разумеется, здесь нет прямой аналогии, в последней главе «Апреля...» отсылка к «Мертвым душам» и считывается четче, и значит больше, чем реминисценция «Страшной мести», но тень этой гоголевской повести все же ложится на финал «Красного Колеса».

Неслучайность появления гоголевских мотивов в финале «Апреля...» подтверждает зачин главы о пребывании Воротынцева в Киеве (городе, близ которого у Гоголя «показалось неслыханное чудо»):

К каждому русскому городу, где побывал (а во многих), Воротынцев испытывал отдельное чувство, отличал этот город — и людьми, которых там успел узнать, и видом улиц, бульваров, обрывов над реками, церквами на юру, и ещё многими особенностями <...> И ещё везде — теми излюбленными

местами, Венцами, Валами, где жители привычно собираются, узнают, говорят. Да кроме деревенской, что ж Россия и есть, как не два сорока таких городов? В разнообразии их ликов — соединённый лик России.

А тем более отдельное чувство — к Киеву. <...> Безсмертно высится этот кусок древней Руси, на самом деле не третья столица, а первая.

(М-17: 379)

Рассуждение это заставляет вспомнить о Гоголе. Во-первых, оно строится сходно с еще одной гоголевской панорамой, где разнообразие России сравнивается с разнообразием всего Божьего мира:

Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами рассыпано по святой благочестивой Руси, так несметное множество племен, поколений, народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли[28].

Развернутые, но вмещенные в один сложный синтаксический период описания разноликих городов у Солженицына тоже ассоциируются с гоголевской поэтикой. Как и претворение многообразия в единство. Процитированные строки входят в апологию русского слова, выражения души России: поводом для гоголевского восторга послужило «неупотребительное в светском разговоре» существительное, а архитектурная (но всегда священная — мирские здания не упомянуты) многоликость страны предстает аналогом ее словесного (душевного) богатства. Во-вторых, многоликая, единая и великая Россия в гоголевской поэме еще таится под покровом «открыто-пустынного» пространства, это не столько явь, сколько обещание — Россия ждет чудесного преображения. Солженицын такое видение России полагает ложным и опасным: в «Марте...» пустым (лишенным истории и полноценной жизни) «простором» мыслят Россию большевики, рвущиеся творить здесь свои эксперименты (М-17: 654; этот смысловой комплекс рас-

смотрен в главе III). Солженицын то сближается, то расходится с Гоголем — что будет происходить и в последней главе «Апреля...», мизансцена которой подготовлена в «гоголевско-киевском» периоде: там упоминались Валы и Венцы — с могилёвского Вала Воротынцеву и откроется вся Русь. Связь могилёвского эпизода с киевским актуализирует в памяти читателя не только «Мертвые души», но и «Страшную месть» — в древнейшей столице Воротынцев переживает первое откровение: «Зажатый безпомощной чуркой, ощутил, что эту революцию, ошеломившую его в Москве, вот он в Киеве уже ненавидит» (М-17: 379). Там он ничего сделать не мог («Не шашкой же размахивать» перед беснующейся толпой?) — теперь готовится к бою.

Увидев родину (и не только всю Россию, но и родину малую), Воротынцев не чает ее счастливого преображения и не задается вопросом о своем назначении. Он знает, чего Русь от него хочет.

> Родина моя! Нерадиво мы тебе служим. Дурно. И — дослужились.
>
> (186)

Не должно ждать появления «беспредельной мысли» и могучего «богатыря». «Благомужественный воин» (тот самый древнерусский богатырь) Нечволодов не сумел донести открывшуюся ему истину — «революция уже пришла» — не только до Государя[29], но и до Воротынцева, который теперь с горечью и раздражением договаривает еще один экзальтированный монолог Гоголя. Как же, запомнил полковник (как и все мы) со школьных лет:

> Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая

сила заключена в сих неведомых свету конях? <...> Русь, куда же несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, посторанивaются и дают ей дорогу другие народы и государства[30].

Воротынцев, игнорируя «чудный звон», дает ответ:

А вот уже: прославленная Тройка наша — скатилась, пьяная, в яр — и уткнулась оглоблями в глину[31].

Всё хвастали.

Что за обычай был у нас — превозноситься? Подбочениваться с этаким лихим превосходством.

(186)

Как ни обидно, но и гоголевский обычай[32].

Сходно сокрушается Варсонофьев: «А мы и Европу кинулись поучать свысока» (180).

Воротынцев будет стоять до последнего: «Сколь бы мало нас ни сплотилось, — ни это правительство, ни Совет — не отнимут у нас последнего права: ещё раз побиться» (186).

Он, не слыша московского разговора, не зная о существовании Варсонофьева, Ксеньи и Сани, мыслит и чувствует в унисон с ними. Тех, кто будет исполнять долг на своем месте, мало, но они есть. Честью поступиться нельзя. Теряя Россию, теряешь и себя. Пока ты есть, пока есть люди сходного душевного строя, есть и Россия. (Солженицын не сводит Воротынцева с Саней, дабы сильнее обозначить их сущностную близость, не зависящую от внешних обстоятельств; то же касается и других, не столь уж малочисленных, персонажей, которым не дано найти друг друга в хаосе, соединиться, победить, но дано сохранить свое достоинство и достоинство отчизны.) «Нет, впереди — что-то светит. Ещё не всё мы просадили» (186). Без этого чувства в бой идти бессмысленно. Как бессмысленно уповать на вмешатель-

ство Высшей силы в земную рукотворную катастрофу: не видит Воротынцев Божьего чуда в «наводящем ужас движении». Вслушиваясь в его спор с Гоголем, вспоминаешь о колесах, катящих без дороги. И о прощальных словах Варсонофьева:

— Но может случиться и чудо? — едва не умоляя, спросила Ксенья.

— Чудо? — сочувственно к ней. — Для Небес чудо всегда возможно. Но, сколько доносит предание, не посылается чудо тем, кто не трудится навстречу. Или скудно верит. Боюсь, что мы нырнём — глубоко и надолго.

(180)

Варсонофьев отвечает многим персонажам «Красного Колеса» — тем, кто устал трудиться навстречу чуду, чья вера ослабела, кто и о чуде говорит (молит) по инерции. Ксенью же этот грустный ответ, кажется, должен ободрить, а не удручить. Она трудится навстречу чуду и верит *не скудно*. В день, когда жених и невеста отправились на Малый Власьевский, весна отступила, едва не пошел снег.

...Она ёжилась от холода, но наперекор всей пасмурности была весела.

И правда же: чудо (вот и прозвучало наконец это слово применительно к юной чете. — *А. Н.*) их знакомства и сближения — был свет, свет десятикратный против всех (конечно, не только погодных и бытовых. — *А. Н.*) нескладностей.

(180)

Ксенью чудо посетило. И не последнее.

В Александровском саду Ксенья рассказывает Сане, как, гуляя здесь в дни революции, глядела она на играющих детей и мечтала о сыне (М-17: 416). «Но ведь и Саня хотел — именно! именно сына! И открылось говорить о нём — как уже о сущем. О непременном нашем...»

После молитвы у Иверской они

пошли — и опять мимо Александровского.
И опять — о том же, о нашем.
Как они будут жить — для него.
Как будут его воспитывать. Вкладывать всё лучшее. Доброе.
(156)

Сын родится[33] — сын станет тем самым писателем, что словом оживит своих родителей, их любовь, их Россию, которая, и сверзившись во тьму, останется для него единственной и родной Россией. Той Россией, чьи дочери и сыновья должны и смогут *нескудно* верить и трудиться навстречу чуду — выздоровлению своей страны.

Вернувшись от Воротынцева к молодым героям, понимаешь, что отнюдь не только полемика важна Солженицыну в его диалоге с Гоголем, писавшем поэму о грядущем воскресении мертвых. Совсем не случайно в монологе на могилёвском Валу голос героя слит с голосом автора «Красного Колеса». Тоже (как Гоголь) смотрящего на Россию (в отличие от Гоголя — не по своей воле) из западного далека. Тоже, как Воротынцев, в поворотную пору. В канун близкого падения коммунизма, когда Солженицын напряженно размышлял о том, «как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами» («Как нам обустроить Россию?»[34]). Неявный автопортрет писателя в главе последней соотнесен с темой его будущего рождения в главах лаженицынских.

Русская литература XX века одарила нас несколькими книгами о становлении писателя, его пути, его избранничестве, о том, как его слово, преодолевая мрак бытия, побеждает смерть: «Дар» Набокова, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Пушкин» Тынянова, «Доктор Живаго» Пастернака... В этот ряд входит роман «В круге первом», роман, автобиографический герой которого, для того чтобы стать писателем, покидает относительно

уютную шарашку и спускается в лагерный ад. Он вернется и расскажет о том, что видел. Центральная точка романа о Глебе Нержине (конец первого тома) — тост «з а в о с к р е с е н и е м ё р т в ы х!» (II, 373).

Соответствующая ей точка «Апреля...» — клокочущее в душе Ксеньи: «Радость! Радость! Радость!». «Дороженька» и «В круге первом» — вехи писательского пути, ведущего к замысленной прежде них большой книге о русской революции. Книге, повторим еще раз, воскрешающей Россию. Понятно, почему в ней необходимо появление будущего автора: «Есть ли что-нибудь на свете сильнее — линии жизни, просто жизни, как она сцепляется и вяжется от предков к потомкам?» (156).

Варсонофьев, разумеется, не знает, что станется с его молодыми посетителями. И тем более не может предположить, что у них родится сын, который напишет о русской революции так, как, наверно, написал бы сам московский «звездочёт». Но именно после неожиданного визита затворник, с основанием презирающий политическую возню и убежденный (справедливо), что «история создаётся не на митингах», признается себе: «только через земные события мы можем вести и космические битвы». Он думает о том, что ему предстоит покидать обжитый дом, куда-то ехать, искать свою дорогу, действовать. «Эта жизнерадостная молодая чета даже кстати сегодня пришлась Варсонофьеву. Поддала и веры. И сочувствия. И решимости» (185). Читатель тут должен вспомнить сон о запечатлении церкви, в котором Варсонофьев видит свою — давно отдалившуюся от него — дочь и чувствует, что «они снова были душами слитно, всё иное вмиг отшелушилось как случайное» (М-17: 640).

В разговоре с уходящими на войну мальчиками Варсонофьев сравнивает историю с рекой — «у неё свои законы течений, поворотов, завихрений», не подвластные умникам. «Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев — это и есть связь струи» (А-14: 42).

В «Апреле...» реки, словно соответствуя революции, буйствуют. Но Солженицын не был бы собой, если б не ввел в Четвертый Узел два совсем иных речных пейзажа, напоминающих о вечности и таинственно сопряженной с ней большой человеческой истории.

Сегодня, слышала Вера, пошёл по Неве ладожский лёд. Он — всегда позже невского, с перерывом, и огромные бело-зелёные глыбы. У мостов и на загибах реки, говорят, заторы. Сходить посмотреть.

Осколок вечного величия — до нас, после нас.

(11)

И никаких сопутствующих больных современных мотивов, что лепятся к невскому ледоходу, разливу Дона, волжским штормам. Сходит наводнение и на Днепре, на который глядит с Вала брат Веры:

Что за радость — обширного взгляда с горы. На реку, на пойму, на даль. Как будто возносишься над своей жизнью.

Вот так бы похорониться: на крутом берегу русской реки, против широченной поймы. И на берегу западном, чтобы ноги к реке и с малым уклоном — как будто и лёжа всегда видеть и водную ширь, и восходы солнца за ней.

(186)

Видеть — значит не вполне умереть. Как взгляд Воротынцева охватывает всё большие пространства, так мысль его уходит от смерти к битве за будущую жизнь. Ту, за которую придется уложить себя под неведомо какой камень.

Исход боя известен. 5 мая, в тот день, когда Саня и Ксенья приходят к Варсонофьеву, а Воротынцев глядит далеко за Днепр, в Россию возвращается Троцкий (176). Финалы личных сюжетов вставлены в череду ленинско-троцковских глав, в хронику консолидации активного зла (176, 179, 181, 183, 184), на фоне кото-

рого столь жалки «блистательный» пустозвон Керенский (182) и усталый, уже робеющий перед Троцким Церетели (184). За текстом «Апреля...» помещен черный «Календарь революции», последняя строка которого — незабываемый для тех, кто жил при советской власти, выкрик Ленина на 1-м Всероссийском съезде советов: «Есть такая партия!» Есть. Она готова взять власть и ее возьмет. На без малого 74 года.

То, что началось в «Августе Четырнадцатого», закончилось «Апрелем Семнадцатого». Предваряя «На обрыве повествования», Солженицын пишет: «...нет другой решительной собранной динамичной силы в России как только большевики: октябрьский переворот уже с апреля вырисовывается как неизбежный».

Но история не равна политике. «Апрель...» — книга не только о распаде и растерянности, но и начале прозрения и сопротивления (на него не хватило сил, но оно было), о сохранении человеческого достоинства, без которого не сберечь веру, культуру, народ, страну. Потому так важны распыленные по тексту Четвертого Узла главы о вымышленных персонажах и личные мотивы в главах о персонажах исторических. Потому так важно узнать о встрече Сани и Ксеньи (и будущем рождении писателя) и увидеть Воротынцева (а сквозь него — Солженицына) на Валу истории.

Писатель не досказывает множества личных историй, а любимых героев оставляет в тот момент, когда будущее их туманно и предполагает новые тяжкие испытания. (Воротынцев не вспоминает в «Апреле...», что старый китаец нагадал ему «военную смерть» в 1945-м году (А-14: 55); Ксенья и Саня — в отличие от читателей, по необходимости отождествляющих героев с их прототипами, — не знают своего будущего.) Такой — открытый, что не противоречит художественной завершенности, — финал подсказан большой национальной традицией. «В минуту злую для него» расстается с Онегиным Пушкин; гадательны судьбы Веры

и Райского в «Обрыве»; Раскольникову и Соне предстоит трудный путь возрождения; в новую — совсем не простую — жизнь входит подросток Аркадий Долгорукий; предыстория Алеши Карамазова (и пестуемых им мальчиков) не получает продолжения; распахнуты в неведомое финалы трех романов Толстого, протагонистам которых (Пьеру, Левину, Нехлюдову) кажется, что они обрели правду...

Построить (придумать) *затекстовое бытие* вымышленных литературных персонажей невозможно (все сторонние продолжения шедевров комически нелепы и беспомощны), но мы знаем, что герои, которых автор, завершив книгу, отпускает в непредсказуемую жизнь, входят в нее, усвоив уроки прошлого. Мы предполагаем их духовный рост, мы надеемся, что они будут достойны полученного от их создателя прощального дара[35]. Те же чувства мы испытываем к Георгию и Вере Воротынцевым, Ксенье и Сане, Варсонофьеву, Андозерской, Ликоне, доктору Федонину, братьям Харитоновым, лишь однажды (совсем ненадолго) возникающим в Четвертом Узле Виталию Кочармину и журналисту Самойлову и к вовсе не появляющимся на страницах «Апреля...» (но памятным по предыдущим Узлам) Арсению Благодарёву и его семье, Калисе, генералу Нечволодову, инженеру Архангородскому, медицинской сестре Тане Белобрагиной, рабочему Агафангелу Диомидовичу, что спрятал от бушующей солдатни капитана Нелидова (М-17: 204), ко многим людям, чьи лица мелькают в огромном калейдоскопе, — иногда и по имени не названным. Хорошо никому из них не придется (многие погибнут), но своей человеческой красоты, достоинства, благородства, добрых чувств они потерять не должны — ни в мясорубке Гражданской войны, ни в железных большевистских тисках, ни (если кому-то выпадет участь изгнанника) на чужбине. Они не вымышленные герои (вне зависимости от наличия или отсутствия прототипов) — такие люди были.

Они менее виновны в разразившейся беде, чем даже самые совестливые, честные, стремящиеся к добру политики и идеологи[36]. Исходящий от них свет сильнее «бесспорного» выкрика чующего победу Ленина. Лучшими героями «повествованья в отмеренных сроках» и теми их потомками, что сумели стать настоящими детьми своих родителей, внуками своих дедов, наследниками своих пращуров, сохранилась Россия. Один из них совершил чудо — выстояв на войне, в лагерях и в поединке со смертельным недугом, создал эпос русского XX века, написал «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», «Красное Колесо».

Примечания

1 «Март Семнадцатого» отделяют от «Октября Шестнадцатого» три с половиной месяца (4 ноября — 23 февраля), «Октябрь...» от «Августа Четырнадцатого» — два года и почти два месяца (21 августа 1914 — 14 октября 1916); рассказ становится все более густым — эта тенденция продолжится в конспекте ненаписанных Узлов «На обрыве повествования», посвященных 1917 — началу 1918 г., где практически на каждый месяц приходится новый Узел. Затем (начиная с Узла Тринадцатого — «Ноябрь Семнадцатого») временные лакуны увеличиваются до нескольких месяцев; в некоторых случаях — до полугода, предпоследний и последний Узлы разделяет почти год («Май — Июнь Двадцать Первого» — «Весна Двадцать Второго»). «Заковка путей» (Пятое Действие «Красного Колеса»), кроме прочего, означает «заковку» (замедление) исторического времени.

2 Ср. также открывающие собственно текст «Апреля...» два документа — тайные письма британских политиков (от 24 и 31 марта), в которых ставится крест на возможности отъезда императорской фамилии в Англию. Царская семья уже

предана — брошена союзными родственниками на произвол судьбы (революции).

[3] Батальон поднимает (не имея на то никаких полномочий от ИК, членом которого он — вопреки мнению сослуживцев — не является) чудаковатый и восторженный путаник вольноопределяющийся Фёдор Линде. Поднимает «по святому наитию, импульсом великой Интуиции, которая бывает выше самой стройной Логики», заворожив нескольких «рассудочных» батальонных комитетчиков и после долгих прений выцарапав решение выступать с перевесом в два голоса (50). Откровенно комический персонаж оказывается зачинщиком апрельского противостояния толп (и большевистской стрельбы, возвещающей приближение гражданской войны). Он проигрывает эту «битву», но делает политическую карьеру, которая страшно обрывается через четыре месяца, 25 августа: «На ЮЗФ (Юго-Западном фронте. — *А. Н.*) комиссар Ф. Линде убит разъярёнными солдатами», — пишет Солженицын в конспекте «Августа Семнадцатого». Напомню, что гибель Линде, пытавшегося разагитировать взбунтовавшихся солдат, в зловеще гротескном ключе изображена в пятой части «Доктора Живаго» и играет важную роль в дальнейшем сюжетном и смысловом движении романа Пастернака (там этот исторический персонаж носит фамилию Гинц).

[4] Да и изначальный компромисс с самозваным Советом (впрочем, легитимность Думского комитета тоже куда как проблематична), порождением которого стала трясина двоевластия, погубившая как Россию, так и всех деятелей Февраля, был — при всех явленных на переговорах тактических ухищрениях — делом Милюкова.

[5] То, что Милюкова изничтожают его ученики, прямо проговорено в еще «предкризисной» главе о мечтательно конструирующем «единое социалистическое правительство, от трудовиков до большевиков» Чернове, который недавно разъяснил в газетной статье, как «не надо пугаться чрезмерностей Ленина», а теперь выносит приговор «изгадившему» ноту министру иностранных дел: «А Милюкова, конечно, убрать, переместить» (67). Как и будет позднее

предлагать Львов. Некоторое — смешанное с неприязнью — почтение к мэтру «культурные» социалисты совсем изжить пока еще не могут. Да и страх принять на себя всю ответственность за страну, тот страх, что будет терзать левые партии вплоть до октябрьского переворота, свое берет.

6 То, что в последней главе «Апреля...» мы застаем Воротынцева на том самом могилёвском Валу, где он беседовал с Нечволодовым, заметить нетрудно, тем более что автор сам напоминает о разговоре из «Октября Шестнадцатого»: «Вот тут, позади близко, за этими деревьями, впечатывал Нечволодов: революция у ж е п р и ш л а! <...> Тогда — не хотелось поверить» (186). Укажу еще одну значимую параллель к этому эпизоду. Нечволодов втолковывает Воротынцеву: «Россией по внешности управляет ещё как будто Государь. А на самом деле давно уже — левая саранча» (О-16: 68). В «Апреле...» профессиональный революционер Ободовский говорит жене: «Самое страшное, Нуся, даже не эти социалисты из Исполнительного Комитета. Они — саранча, да. Но за эти два месяца — и весь наш рабочий класс... И весь народ наш... показал себя тоже саранчой» (114).

7 Антагонизм Андозерской и Милюкова обозначен как сюжетно, так и ее прямыми аттестациями кадетского лидера. Воротынцев впервые видит Ольду у Шингарёва, куда пришел, чтобы познакомиться с ведущими кадетами. Гости Шингарёва ждут Милюкова, который в тот вечер так и не появляется. Как — тоже вопреки ожиданиям гостей Шингарёва — не начинается в тот вечер революция (О-16: 20—26). Андозерская буквально оттесняет Милюкова от Воротынцева. Как и Гучкова, для встречи с которым Воротынцев приехал в Петроград. Диалог о кадетском лидере («Скажи, а Милюков — действительно крупный историк? — Да какой там, — недовольно отвечала Ольда») близко соседствует с промелькнувшей мыслью Воротынцева: «...все эти счастливые (проведенные с Ольдой. — *А. Н.*) дни уже попали в новый месяц. А Гучкова — упустил» (О-16: 29). Не только Воротынцев, но и читатель воспринимает знаменитую думскую первоноябрьскую речь Ми-

люкова о «глупости или измене» правительства (О-16: 65'), будучи подготовлен противомилюковскими суждениями Андозерской. Заключающее эту главу авторское утверждение: «Но если под основание трона вмесили глину *измены*, а молния не ударяет, — то трон уже и поплыл» (О-16: 65') естественно соотносится с запомнившимися Воротынцеву словами Ольды: «Трон — только тронь» (О-16: 28). Заставляя нас увидеть первомайскую демонстрацию в Петрограде глазами как Милюкова, так и Андозерской (получаем мы неожиданно схожие картины), Солженицын еще раз напоминает о заочном споре этих персонажей, актуализирует «предсказывающие» эпизоды предшествующих «Апрелю...» Узлов.

[8] Под пробормотывание этой дамой стихов Волошина идет весь эпизод ожидания. При этом пламенная революционерка не понимает, сколь далека ее жажда возмездия от ужаса, владеющего поэтом. В финале «Ангела Мщенья» читаем: «Не сеятель сберет колючий колос сева. / Принявший меч погибнет от меча. / Кто раз испил хмельной отравы гнева, / Тот станет палачом иль жертвой палача» *(Волошин М.* Стихотворения и поэмы. СПб., 1995. С. 215). Нечто подобное и открывается Сусанне (женщине из, условно говоря, «кадетского» круга) на первомайской демонстрации. Отметим, что, как и петроградский, московский революционный праздник ассоциативно связан с вечером у Шингарёва.

[9] Напомню, что швейцарские карнавалы вызывают пароксизм ярости у Ленина, верно видящего их «буржуазную» суть (М-17: 338).

[10] В отличие от социалистов, Андозерская быстро понимает, каково истинное значение Ленина. «Всё было до того карикатурно-мерзко, что, когда вдруг появился Ленин и с балкона Кшесинской засвистел Соловьём-разбойником, этим свистом срывая фиговые листочки и с самого Исполнительного Комитета, — так хоть дохнуло чем-то грозно-настоящим: это, по крайней мере, не была карикатура, и не ползанье на брюхе. Это был — нескрываемо обнажённый кинжал. Ленин каждую мысль прямолинейно вёл на смерть России. <...>

Нет, карикатурен был не Ленин, а сам Исполнительный Комитет: против Ленина он предлагал бороться только словом» (39). Но в мире, где слова девальвированы и опошлены (всеми говорунами — от Родзянко до Керенского), а понятия о праве грубо нарушены, публицистика, как и юриспруденция, утрачивают всякий смысл. Что и демонстрируют Ленин и Козловский на шутовской репетиции судебного заседания по делу о захвате большевиками особняка Кшесинской. От изощренной игры словами и прежними юридическими нормами Козловский переходит к пародированию традиционной процедуры, а от него — к отрицанию самого суда как такового: «В разгар революции — кто думает о законности (известно кто — наслаждающийся ролью министра юстиции, грозного революционного прокурора, Керенский. — *А. Н.*), когда сама революция по существовавшим к тому моменту законам является беззаконием, караемым смертной казнью? Революция и закон — понятия несовместимые! Да ваш сегодняшний суд, воспривший свою власть от Временного правительства, тоже являлся судом беззаконным, если в духе законов царского времени! Да по тому старому закону и само Временное правительство подлежит виселице!!» (168). Вся главка оркестрована знаменитым ленинским смехом, почти непременной деталью многочисленных образчиков «ленинианы», с помощью которой происходило «очеловечивание» основателя коммунистической партии и советского государства. У Солженицына победительно-циничный смех Ленина — знак бесчеловечности и презрения к любым «смыслам». Противники (да и сторонники) Ленина изумляются нелогичности его писаний и выступлений, в которых соседствуют противоречащие друг другу тезисы. Изумляются легкости, с которой Ленин меняет лозунги. Но это не промахи, а «открытия» вождя большевиков, убежденного, что нахрап и апелляция к инстинктам сильнее способности суждения и памяти. «Как всегда: сила у того, кто нарушает общепринятые правила» (183). Даже ораторское мастерство и организаторские навыки тут менее значимы, — Троцкий, который захвату власти послужит словом

и делом больше, чем Ленин, принужден будет довольствоваться ролью «второго» (пока и ее не отнимет у него — сперва во власти, потом и в переписанной надлежащим образом «истории» — настоящий ленинец, Сталин). Сила Ленина (тут ему и Троцкий уступает) — в той самой таранной однолинейности, в той самой оторванности от реальности, которая кажется смешной. Это понимает умная Андозерская, увидев и услышав «Соловья-разбойника» въяве: «разочаровывающе мелкая фигура, картавость, безцветный, крикливый голос, — но ведь и Марат был не краше, а мысли на самом деле уже тем сильны, что за пределами повседневного разума, что предлагают опрокидывать и самое незыблемое» (39). Пройдет время, и ленинская «прямота», властность, жестокость много кому покажутся залогом спасения от засилья слов и разлива народоправства, гарантией установления хоть какого-то порядка. Этот мощный соблазн в Гражданскую войну (да и позднее) станет вторым важнейшим оружием большевиков, вторым — после их абсолютной (нескрываемой) безжалостности, замешанной на презрении к человеку и человечности.

11 Ораторский поединок Керенского и Троцкого завершает рассказ Бабеля «Линия и цвет» (1923). Здесь Керенский, с которым повествователь знакомится в декабре 1916 года в уютной финляндской санатории, наделен символической чертой: он близорук и счастлив своей немочью. Когда повествователь советует Керенскому обзавестись очками, тот отвечает: «Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность <...> Зачем мне линии — когда у меня есть цвета? Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульетте, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды... И вы хотите ослепить меня очками за полтинник...» В следующий раз мы видим Керенского в июне 1917 года — Верховный главнокомандующий выступает на митинге в Народном доме. «Александр Фёдорович произнес речь о России — матери и жене. Толпа удушала

его овчинами своих страстей. Что увидел в ощетинившихся овчинах он — единственный зритель без бинокля? Не знаю... Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставляющим надежды:

— Товарищи и братья...» (*Бабель И.* Собр. соч.: В 4 т. М., 2006. Т. 1. С. 265, 266).

Понятно, что Бабель восторгается Троцким, а Солженицына организатор октябрьского переворота ужасает, но совпадение антитезы «Керенский — Троцкий», театрально-литературная трактовка Керенского и общность мотива слепоты, весьма значимого для «Красного Колеса», кажутся достойными внимания. Именно (и только) в обрисовке Керенского Солженицын внешне сходится с советскими мастерами искусств, разрабатывавшими революционную тему: от авторов забытых опусов до Бабеля, Зощенко («Бесславный конец», 1937) и Маяковского (3-я главка поэмы «Хорошо!», 1927). Последний случай особенно выразителен; важно, что «октябрьская поэма» входила в официальный канон, изучалась в школе и потому большая часть выросших при советской власти читателей Солженицына хотя бы смутно помнила (помнит) строки: «Царям / дворец / построил Растрелли. / Цари рождались, / жили, / старели. / Дворец / не думал / о вертлявом пострелe, / не гадал, / что в кровати, / царицам вверенной, / раскинется / какой-то / присяжный поверенный. / От орлов, / от власти, / одеял / и кружевца / голова / присяжного поверенного / кружится». Сравним: «Где же забыться, если даже не на концерте? Минутами: о, где же забыться?.. В Зимнем дворце?..

Ах, как он полюбил Зимний дворец! Что-то есть покоряющее в его величественных залах, в его переходах, лестницах, в его отдельном стоянии между площадью и Невой. Александру Фёдоровичу постепенно стало казаться, будто ему и прежде в его петербургской жизни казалось, что его судьба — непременно пересечётся с этим дворцом, и с императором... И вот — сбывалось. С императором уже пересекалась (имеются в виду два апрельских посещения Керенским Царского села и его разговоры с нахо-

дящимся под арестом царем, которого очарованный министр юстиции «называл не “Николай Александрович”, а “государь”, а раза два и “ваше величество”» — как почти никто после отречения (12); ср. у Маяковского: «Их величество? / Знаю. / Ну да!.. / И руку жал. / Какая ерунда!» — *А. Н.*), а во дворец, если он станет премьер-министром — а он станет, он, видимо, станет, князь Львов не фигура для революционной России, — перенесёт он в этот дворец свою резиденцию и переведёт правительство» (38). Дворцовый сюжет Керенского Солженицын пунктирно проводит в конспектах Узла Пятого («Июнь — Июль Семнадцатого»): «В<ременное>П<равительство> готовится переехать в Зимний дворец. (В Петрограде слух, что Керенский, разведясь с женой, намерен жениться на одной из царских дочерей.)» и Узла Шестого («Август Семнадцатого»): «(Теперь при каждой его (министра-председателя Керенского. — *А. Н.*) отлучке из Зимнего — над дворцом красный флаг опускается, как в былое время императорский)». Вспоминаются при чтении «Апреля...» и такие строки из «Хорошо!»: «Забывши / и классы / и партии, / идет / на дежурную речь. / Глаза / у него / бонапартьи / и цвета / защитного / френч. / Слова и слова. / Огнесловная лава. / Болтает / сорокой радостной. / Он сам / опьянен / своею славой / пьяней, / чем сорокоградусной» *(Маяковский В. В.* Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1940. Т. 6. С. 241, 245, 242).

Важна близость не фактов (материал поставляет история), но иронично-презрительных интонаций. Солженицын целенаправленно избегает «одноцветности» при обрисовке исторических персонажей, наделяя и самых неприятных ему политических деятелей теми или иными привлекательными чертами. Даже Милюков в «Апреле...» обнаруживает человеческое достоинство и масштабность государственного мышления. Даже о Троцком доктор Федонин думает: «В нём было-таки что-то обольстительное, притягательное, невольно хотелось согласиться с ним, поддаться ему. Да вот что: если б не эти его громовые отсекающие фразы, в другие минуты их разговора — это был

вполне понятный, интеллигентный человек, притом незаурядно острый, очень интересно с ним говорить» (176). Даже Ленин в «Марте Семнадцатого» по-человечески мучается от головной боли и тоскует по Инессе Арманд. (Что уж говорить о Шляпникове? Несмотря на принадлежность к ленинской партии, обусловливающую его энергичную разрушительную деятельность, в «Красном Колесе» он предстает живым и ярким человеком, симпатии к которому автор не думает скрывать.) На таком фоне Керенский смотрится сознательно сделанным исключением. Кажется, ни один персонаж «Красного Колеса» не обрисован столь гротескно и столь безжалостно. (В какой-то мере этот подход применен к Стеклову, Чернову, Гиммеру, но все же не столь форсированно; да и места им уделено много меньше. Вероятно, не нашлось бы у Солженицына «утепляющих» тонов и для Сталина, если б были прописаны те Узлы, в которых будущий генсек выходит из тени. Тут полезно вспомнить «Этюд о великой жизни» и прочие сталинские главы романа «В круге первом».) Читая посвященные Керенскому главы «Красного Колеса», невольно вспоминаешь признание Алексея Турбина: «А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского» (*Булгаков М. А.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 246). Думается, Солженицына вело именно это чувство, присущее очень многим современникам любимого (наделенного автобиографическими чертами) булгаковского героя. Рисуя Керенского, Солженицын словно бы договаривал за автора «Белой гвардии» и его поколенческо-культурный круг. И тут его не могли смутить совпадения с советскими сочинителями.

12 Как тут не вспомнить вновь «Один день Ивана Денисовича», рассказ бригадира Тюрина о том, как, узнав о расстреле комполка и комиссара, что в 1930 году выкинули его, кулацкого сына, из армии, сказал он перекрестившись: «Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь» (I, 63).

13 Еще одно свидетельство глубинной тяги революционеров к диктатуре. Как монархистка Андозерская угады-

вает в «смешном» Ленине носителя силы и признает, что он серьезнее ненавистных, оскорбительно смешных болтунов (хоть кадетов, хоть социалистов), так поджигатель порохового погреба (мирового пожара) отдает своеобразную дань уважения «ледяному» государственнику. (Разумеется, речь здесь идет больше о весьма влиятельном «мифе Победоносцева», чем о практической деятельности этого политика.) Железная квазигосударственность большевиков в пору Гражданской войны и позднее станет мощнейшим соблазном для многих людей «старого мира». Они, уязвленные революцией и последовавшим за ней народоправством, оглядываясь на французский опыт (термидор, консулат, империя Наполеона), не предполагали, что при установленном большевиками «порядке» продолжатся уничтожение России и культуры, попрание не только гражданских свобод, но и естественных человеческих прав, неуклонное истребление народа и растление (увы, часто успешное) тех, кто не был убит или брошен в лагерь. Эта доктрина, принимавшая различные формы как в метрополии, так и в эмиграции, не сдает позиций и по сей день. С ней, в частности, связаны энергичные попытки противопоставить «Красное Колесо» (сводимое к порицанию собственно Февральской революции, но не ее — по Солженицыну единственно закономерного — продолжения в Октябрьском перевороте, диктатуре большевиков, Гражданской войне и сталинском государстве) аккуратно отодвигаемому в сторону «Архипелагу...». Между тем два солженицынских эпоса связаны неразрывно (что касается, впрочем, и других сочинений их автора): Солженицын смог писать (и написать) «Красное Колесо» лишь после того, как написал «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ».

[14] *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1963. Т. 7. С. 329.

[15] Заметим: при одновременной кристаллизации будущей — большевистской — власти.

[16] Немногим позже узнав из письма брата, что «*никто не хочет больше воевать!*», потрясенный Юрик задумывается:

«Что ж тогда будет с Россией, немцы придут? хоть и в Ростов? (Ну, не в Ростов, конечно.)» (174). В этой самоуспокаивающей мысленной (скобочной) поправке слышится многое. И детская наивность (я же только играл!). И естественная любовь к своему городу, которая вскоре будет подвергнута серьезным испытаниям. (Приехавший из Новочеркасска, а потому глядящий со стороны Виталий Кочармин говорит о Ростове: «...неприятный город. <...> Коммерческий. Крикливый. Души — нет. Все думают о наживе. <...> И с этой зажиточностью, развлекательностью — особенно вот сейчас придётся Ростову тяжело. Он — не готов» (174); Виталий угадывает будущее; в конспекте Узла Десятого («Февраль Восемнадцатого») читаем: «Богатый Ростов не жертвует добровольцам, не снабжает. Корнилов: Не буду защищать такой город».) Но и неуступчивость человека чести здесь тоже звучит.

17 Как не будет помещаться и неделю спустя, когда Ковынёв, переполненный впечатлениями (страшный шторм в Новочеркасске, кипение казачьего съезда, споры о земле, о старинных вольностях, об иногородних, об автономии), задумается о несовместимости возлюбленной и сестры (да и всей станичной жизни) и решит: «Надо валить — на общий разлом: тут — разладно сейчас, а вот на обратной дороге заеду к тебе в Тамбов» (146). Глава заканчивается телеграммой, оповещающей Ковынёва о том, что его брат «убит взбунтованными рабочими». Стихия подыгрывает Ковынёву в сюжете с Зиной («мотивировав» робость, переходящую в отступничество), революция (другая стихия) тут же жестоко ему мстит.

18 Сближение вновь сигнализирует: в романе Ковынёва намечалась любовная линия, что не может не вызвать ассоциаций с «Тихим Доном». Пропавший (ненаписанный? попавший в чужие руки и измененный?) роман Ковынёва словно двоится — то приближаясь к «Тихому Дону», то представая другой — неизвестной вовсе — книгой. Хотя Солженицын в конечном итоге пришел к выводу, что *не* Фёдор Крюков написал первоначальный текст казачьей эпопеи, обстоятельство это не отменя-

ет возможности видеть в Ковынёве (персонаж не равен прототипу!) автора «Тихого Дона». Намеки и недоговорки «Красного Колеса» придают сюжету о происхождении донского романа тот аромат тайны, который ощущал в нем Солженицын.

19 Подробнее об этом говорится в главе II.

20 Кажется, Солженицын пожалел одного из любимейших своих героев — Арсения Благодарёва, не выведя его на сцену в «Апреле...». Последний раз мы видим Благодарёва разомлевшим под весенним солнышком 11 марта (М-17: 554).

21 Столько места не уделено *ни одному* персонажу. Керенскому и Ленину отдано по десять глав, Милюкову — восемь, Гучкову и Церетели — по шесть, Троцкому — пять. Имеются в виду, конечно, лишь главы, *полностью* посвященные этим лицам (в них, как правило, доминирует несобственно-прямая речь персонажа, события даются в призме его восприятия и оценки). Разумеется, все исторические фигуры появляются и упоминаются не только в «своих» главах, но и в главах «чужих» (например, Ленин глазами Гиммера, Ленартовича, Керенского, Андозерской и др., Керенский в главах милюковских), общих (заседания ИК или Временного правительства, съезды, переговоры министров с вождями Совета), а также газетных и обзорных. Мир «Апреля...» крайне политизирован. Тем ощутимее в нем неожиданные, вновь и вновь сбивающие читательский настрой на «фактографию», весьма важные автору прорывы *личных* сюжетов (обычно представленных двумя-тремя далеко друг от друга отстоящими главами; наиболее прописана линия Вяземских (37, 96, 99, 170)). При такой композиции исключение, сделанное для Воротынцева, обретает особый смысловой вес.

22 Речь идет об *обычных* людях (как надеющихся на воскресение, так и уверенных в том, что человек умирает весь и навсегда). В ином положении либо святые отшельники, либо самоубийцы.

23 Рассуждать о том, встретятся ли когда-нибудь еще Воротынцев и Алина и как в таком случае будет развиваться их «тягомотина», так же бессмысленно, как решать вопрос

о том, выйдет ли Онегин (или муж Татьяны) на Сенатскую площадь, станет ли Алёша Карамазов революционером и как сложится судьба рано осиротевшего Серёжи Каренина. Из дневника Солженицына известно, что писатель планировал протянуть эту сюжетную линию еще через несколько Узлов. Эти абсолютно бесспорные сведения относятся, однако, к определенной стадии разработки замысла, но не к тому *завершенному* художественному тексту, которым мы сейчас располагаем. Завершенность «повествованья в отмеренных сроках» вовсе не отменяет его сюжетной открытости, то есть *возможности* самых разных вариантов продолжения историй того или иного героя, каждый из которых гадателен и, по сути, пребывает вне поэтического мира «Красного Колеса». (Ровно так дело обстоит и с «Евгением Онегиным», «Братьями Карамазовыми», «Даром», продолжение которого Набоков серьезно обдумывал, но не написал, или любым иным сочинением с открытым финалом.) Последняя встреча читателя с Алиной происходит на могилёвском вокзале — никаких намеков на то, что с ней случится дальше, Солженицын в тексте не дает. За указание на то, что герои расстаются навсегда, можно принять реплику Алины: «А когда мы последний раз так ходили? Когда ты ехал в Петербург» (173). Могилёвская вокзальная сцена действительно отражает московскую (О-16: 14). Алина узнает *начало* своих бед (для нее несчастья начались именно с поездки Воротынцева в столицу и его романа с Ольдой) в их *конце*, что психологически оправдано. Нечто подобное чувствует и Воротынцев. Но это — ощущения героев, которые не знают и не могут знать будущего, а не авторский знак завершения семейного сюжета. Можно предположить, что, развертывая в «Апреле...» «тягомотину» столь подробно, Солженицын свел сюда тот сюжетный материал, который согласно изначальному замыслу должен был «распылиться» по нескольким Узлам. Эта гипотеза (если она верна) в известной мере объясняет генезис сложившегося текста, но не дает никакой информации о том, что произойдет с Алиной за пределами «Апреля...». Мы в самых общих чертах знаем, что *потом* случится с Воро-

тынцевым и Ксеньей и Саней (о чем ниже), но не со всеми прочими вымышленными героями. Да и о будущем исторических персонажей Солженицын говорит редко. Сильные исключения — Ободовский (Пальчинский) и Гвоздев (О-16: 31, где в зачине сказано и о расстреле инженера чекистами, и о трех лагерных десятках активиста-рабочего) и Шингарёв, названный (впрочем, без пояснений) «закланцем нашей истории» (М-17: 3'). В конспекте «Узла Девятого» («Декабрь Семнадцатого») после цитаты из тюремного дневника Шингарёва дано горькое замечание в скобках: «Так и не поднялась в напуганном обществе кампания за освобождение Шингарёва, Кокошкина, Долгорукова: рев-демократы уклонились как чужие им; буржуазные круги и интеллигенция не решаются: мол, как бы не сделать арестованным хуже. И оставили на убийство».

[24] Разумеется, указаний на «автобиографизм» образа Воротынцева в самом тексте нет. Существенно, однако, что к моменту публикации «Октября Шестнадцатого» (1982—1983) некоторые (пусть неточные, «мифологизированные») сведения о личной жизни писателя стали достоянием определенной части читателей, чего автор не мог не учитывать. Тем более Солженицын должен был предполагать, что рано или поздно появится его обстоятельное жизнеописание, которое, кроме прочего, сделает явной автобиографическую основу семейной драмы Воротынцева.

[25] Уходящие воевать мальчики тоже теоретически предполагали, что могут больше никогда Москвы не увидеть. И тоже до конца в такой печальный итог не верили.

[26] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. <В 14 т.>. <Л.>, 1951. Т. 6. С. 220—221.

[27] Там же. Т. 1. С. 275, 282, 278.

[28] Там же. Т. 6. С. 109.

[29] Тут уместно напомнить о том, что сакральность венценосца — любимая мысль Гоголя, что предполагавшееся в третьем томе поэмы воскресение Чичикова («мертвых душ», России) должно было свершиться монаршей волей. Излишне, кажется, еще раз объяснять, сколь чужда монархическая мифология автору «Красного Колеса».

[30] *Гоголь Н. В.* Указ. соч. Т. 6. С. 247.

[31] Любопытно, что сходный образ обнаруживается в, кажется, первом опыте художественной полемики с поэмой Гоголя — заключительной главе повести графа В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845). Герой видит сон, в котором везущий его экипаж (символ устойчивости, традиции и консервативности) превращается в птицу и доставляет своего пассажира в чудесно изменившуюся Россию, где обретаются столь же чудесно изменившиеся его прежние недостойные знакомцы (двусмысленная игра с главной идеей гоголевской поэмы). Герой, воскликнув «Есть на земле счастье! <...> Есть цель жизни... и она заключается...», пробужден сильным ударом: «Кто бы мог подумать... тарантас опрокинулся. В самом деле, тарантас лежал во рву вверх колесами» (*Соллогуб В. А.* Повести и рассказы. М., 1988. С. 354).

[32] Разумеется, в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и эпистолярии Гоголя нетрудно отыскать призывы к самоограничению, неукоснительному исполнению всякой службы, терпению, равно как и порицания самохвальства. Только помнятся они много хуже, чем летящие строки о птице-тройке.

[33] Здесь приходится выйти за пределы повествованья и подключить к интерпретации текста факты биографии Солженицына, но иначе прочесть этот эпизод (и все, что из него следует) просто невозможно. Само место действия — Александровский сад — отзывается в имени писателя. «Домашняя» уменьшительная форма этого имени повторяет отцовскую: в «Красном Колесе» Исаакий Лаженицын, как правило, именуется Саней.

[34] *Солженицын А.* Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995. Т. 1. С. 538.

[35] Этим Онегин радикально отличается от Печорина или Ставрогина.

[36] Можно и должно сострадать тем, кто дорого (иные, как царская семья, Шингарёв, Кокошкин, — жизнью) заплатил за свои старые грехи. Можно и должно отличать Милюкова от Львова или Керенского. И даже Керенского — от Ленина. Но нельзя забыть, как старая власть и ее просвещенные

оппоненты влекли Россию к революции. И как творцы Февраля явили свое бессилие тоже нельзя. Не зря Солженицын приводит речь Василия Маклакова на частном совещании думцев: «Если же оно (коалиционное правительство, сформированное после апрельского кризиса. — *А. Н.*) не спасёт России, а, подчиняясь Ленину, побегут назад солдаты (так и вышло. — *А. Н.*), — то, господа, какие б слова мы ни говорили, где б ни искали виновных, как бы каждый из нас ни оправдывал себя — (это — Милюкову), — потомство проклянёт наше время, нашу революцию и всех тех, кто к ней приобщился...» (172).

Глава V

ДРУГАЯ ИСТОРИЯ: «НА ОБРЫВЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ. КОНСПЕКТ НЕНАПИСАННЫХ УЗЛОВ»

Перед всяким писателем-историком неизбежно встает вопрос о хронологических границах его труда. Проблема «начала» и «конца» — это проблема как сюжетной организации текста, так и его глубинного смысла, авторской трактовки истории. Солженицын мыслил исторический процесс текучим (потому Варсонофьев и сравнивает Историю с рекой), что не только подразумевало неприятие всех революций, но и затрудняло *выделение* и *членение* материала. Рано угадав роковую роль вступления России в Мировую войну (и соответственно необходимость *военного* зачина повествования о революции), Солженицын тем не менее вводит в «Август Четырнадцатого» сплотку «Из Узлов предыдущих» (12 глав), а в «Октябре Шестнадцатого», подробно рассказывая о полувековой распре власти и общества, не забывает заметить, что рознь началась много раньше (декабристы, заговор, приведший к убийству Павла I, «немецкие переодевания Петра», «соборы Никона»), «но будет с нас остановиться и на Александре II» (О-16: 7'). В «Красном Колесе» близкие автору герои вспоминают (и призывают помнить!) не только величественное прошлое Рос-

сии (генерал Нечволодов в обращенных к читателю из народа «Сказаниях о русской земле», где «православие <...> всегда право против католичества, московский трон против Новгорода, русские нравы мягче и чище западных» (А-14: 21); Струве на Троицком мосту в канун революции (М-17: 44)), но и темную составляющую национальной истории:

Это, может, до монголов было — нравственная высота, а мы как зачли, так и храним. А как стали народ чёртовой мешалкой мешать — хоть с Грозного считайте, хоть с Петра, хоть с Пугачёва — но до наших кабатчиков непременно, и Пятый год не упустите, — так что теперь на лике его (народа. — *А. Н.*) незримом? что там в сокрытом сердце?» —

втолковывает Сане и Коте Варсонофьев (А-14: 42).

И кто теперь объяснит: г д е ж это началось? к т о начал? В непрерывном потоке истории всегда будет неправ тот, кто разрежет его в одном поперечном сечении и скажет: вот здесь! всё началось — отсюда!

(О-16: 7')

Начал, однако, Солженицын «Красное Колесо» не с Грозного, декабристов или народовольцев, но с первого поражения в невиданной войне (ретроспективные главы, прямо или косвенно связанные с фигурой Столыпина, во многом строятся как исследование упущенного варианта мирного роста реформируемой страны). Потому что писал он не книгу обо всей русской истории, но о русской революции, для раската и победы которой принципиально значимы события лета 1914 года. Когда кропотливое изучение исторического материала (вкупе с собственным духовным, интеллектуальным, творческим движением) подвело писателя к выводу о том, что двух революций в 1917 году не было, а октябрьский государственный переворот есть логичное и неизбежное следствие февральско-мартовской насильственной

перемены власти (и мгновенно образовавшегося двоевластия), он почувствовал, что *повествование о революции* закончено, что дальше может писаться уже другая книга. Скорее всего, не менее масштабная и многоплановая, наверняка — дающая не меньший простор художнику, безусловно теснейшим образом сцепленная с предшествующей, но — другая.

«Узел» для Солженицына — это временная точка, из которой история может двигаться по разным траекториям. Первые три книги (употребляю нарочито расплывчатое слово, дабы уйти от тавтологии) «Красного Колеса» были именно «узлами», четвертая — грандиозным эпилогом (и прологом к ненаписанному), показывающим, что после включения в политическую борьбу Ленина и Троцкого (появившись лишь в последний день повествования, будущий организатор переворота играет в «Красном Колесе» исключительно важную роль) альтернативность сходит на нет. Большевики могут проигрывать ситуационно (что и показано в «Апреле...»), но историю они уже оседлали. Их дальнейшие неудачи (в июне 1917 года, в ходе Гражданской войны) — всегда временны и «поправимы». Их нацеленность на захват (потом — удержание) власти любой ценой и не укладывающаяся в привычные представления жесткость (которую уже в «Апреле...» Ленин и Троцкий не удостаивают скрывать) будут только возрастать. Называя Пятое Действие повествования (от «Октября Двадцатого» до «Весны Двадцать Второго») «Заковкой путей», Солженицын утверждает, что «пути» были проложены прежде, — как сказали бы герои «Красного Колеса», реку русской истории уже направили в другое — удушающее — русло, телегу государства уже перекувырнули, приладили к ней новые колеса и набили переворачивателями. В послеапрельской истории нет места «узлам» в прежнем значении слова, хотя безжалостное и часто хаотичное противоборство многих исторических сил продолжается. Смертным боем бьются «наши против своих» (Четвертое Действие, от «Ноября Восемнадцатого» до «Января Двадцатого») — нет единого антибольше-

вистского фронта, почти (за малыми исключениями) нет политических фигур, вовсе чуждых революции, так или иначе ей не поддавшихся, и — что самое чудовищное — это не в меньшей мере характеризует огромные крестьянские, солдатские, рабочие массы. Что понятно уже по «Апрелю...», где явлены развал воюющей армии, пандемия дезертирства, самоуправство тыловых частей, не желающих идти на фронт и чувствующих себя хозяевами городов их дислокации, мужицкое сведение старинных счетов с господами, дикий рост требований рабочих... Все решено; дальше не качественные, а количественные перемены. «Народоправство» (двоевластие, маскирующее безвластие) не может тянуться долго, а потому большевики совершают *переворот*, отзывающийся гражданской войной, победу в которой закономерно одерживает партия «крови и железа», и превращением временной (словно бы вынужденной обстоятельствами) диктатуры в идеократическо-тоталитарную (не оставляющую места человеку) систему, рассчитанную на вечность.

В том, что Солженицын остановил свое повествование в тот момент, когда русская история вошла в советскую тьму, ничего удивительного нет. Роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» написал Загоскин, а пьесу «Рука Всевышнего отечество спасла» — Кукольник. Хулить этих сочинителей (что делалось часто и грубо) едва ли резонно. Писали как могли (Загоскин так и неплохо), были, безусловно, искренни и руководствовались своим чувством не меньше, чем идеологическим заказом эпохи Николая I, но должно признать: именно средние литераторы были сосредоточены на выходе из Смуты, установлении священного порядка, обретении народного единства, выразителем которого оказывался всенародно избранный на царство основатель новой династии. (Когда великий Островский взялся за историю Минина, получилась далеко не лучшая его вещь, хотя работал драматург воодушевленно, возлагал на пьесу большие надежды, радикально — и тоже с увлечением — переделывал...) Пушкин написал «Бориса Годунова» о «настоя-

щей беде» — низвержении Руси в Смуту. (Так же поступил А. К. Толстой; сперва — в «Князе Серебряном», где знаки приближения Смуты не менее важны, чем тирания одержимого дьяволом царя, еще последовательнее эта линия проведена в драматической трилогии.) Счастливо (сказочно) завершающаяся «Капитанская дочка» пропитана тревогой о будущем — весьма вероятном грозном повторении пугачевщины при еще большем, чем в екатерининское царствование, унижении и оскудении старинных — верных чести — дворянских фамилий, опрометчивом вытеснении их в оппозицию. Декабристский сюжет (зерно великой книги) в эпилоге «Войны и мира» лишь намечен. Толстой дает понять, что одоление внешнего врага и семейное благоденствие обретшего Наташу Пьера вовсе не итог русской истории (и вплетенных в нее человеческих историй), но отказывается от рассказа о тайных обществах, восстании, следствии, годах каторги и ссылки, столкновении старых героев с эпохой реформ[1]. Можно уверенно сказать, что, завершая «Красное Колесо» «Апрелем Семнадцатого», Солженицын еще раз подтвердил свою укорененность в национальной литературной традиции.

Разумеется, писатель мог и продолжать работу над «повествованьем в отмеренных сроках» — инерция первоначального замысла была очень сильной, а «выпрямление» исторического процесса (утрата альтернатив) не отменяло (пожалуй, усиливало) его трагизм и уж точно не мешало развертыванию конкретных сюжетов шекспировского масштаба. (Так Солженицын в «Дневнике Р-17» говорит об августовских событиях 1917 года — героической попытке Корнилова остановить революционное безумие и провокаторско-предательском выверте Керенского.) Читая «На обрыве повествования», не раз сетуешь, что эта сверхгустая проза осталась неразвернутой. Жаль, что ярчайшие характеры исторических персонажей, как уже хорошо знакомых, но действующих в новых ситуациях (например, Пальчинский — Ободовский «Красного Колеса», возглавляющий 25 октября

оборону Зимнего дворца, или Шляпников в роли лидера «рабочей оппозиции», или Колчак, ставший Верховным правителем Сибири, а потом выданный большевикам), так и лишь теперь введенных в повествование (например, Савинков, Врангель, Антонов), очерчены бегло, а то и одним намеком. (О Врангеле в Крыму: «При непрерывных боевых действиях попытки строить модель новой России» — «Октябрь Двадцатого» — как хочется здесь увидеть живого человека!) Жаль, что большевистские мятежи (неудачный июльский и триумфальный октябрьский) представлены не так объемно, как февральско-мартовский бунт и апрельское столкновение демонстраций. (Хотя дорогого стоят и графически жесткий, предельно убедительный, начисто изничтожающий стопудовую советскую мифологию, «чертеж» ползучего октябрьского переворота и нагруженные огромным смыслом, включающие мощные ассоциации и сразу врезающиеся в память фразы и абзацы[2]. А что не явилась страшная и величественная картина тамбовского восстания («антоновщины») — разве не грустно? (Ну, тут утешаешься тем, что можно читать двучастные рассказы — «Эго» и потрясающее начало «На краях».)

А какой захватывающей (и жуткой) могла стать история несостоявшегося российского Бонапарта? «Этюд о поручике Тухачевском: возвратился из плена в свой Семёновский полк; солдаты запасного батальона за У<чредительное> С<обрание> и против большевиков, офицеры почти все устранены; наполеоновский замысел: поднять их, двинуть...» («Декабрь Семнадцатого»); «Поручик Тухачевский через своего старого знакомого получает высокое военное назначение у большевиков» («Февраль Восемнадцатого»); «Тухачевский (уже командующий армией) накануне взятия Симбирска» («Сентябрь Восемнадцатого»); «В Петроград прибыли на подавление Кронштадта Троцкий и Тухачевский» («Февраль Двадцать Первого»); «С начала мая в Тамбов прибывает возглавитель подавления Тухачевский с красными генштабистами, аэропланным отрядом и радиосвязью. Для карательных действий

вызваны кавалерийские бригады Котовского, Дмитриенко и Федько, полки ВЧК, ЧОН, интернациональные части (мадьярская конница, латышские стрелки), автоброневотряды и красные курсанты. — На тамбовском городском собрании коммунистов Тухачевский и Антонов-Овсеенко делают доклады о способах и плане подавления восстания. Среди мер: семьи восставших берутся заложниками в концлагеря, а имущество их тут же распределяется между верными Советской власти...» — и много еще столь же звериных распоряжений отдал в «Мае — Июне Двадцатого» бывший офицер старейшего гвардейского полка (на своей шкуре знавший, что такое лагерь, — правда, германский). Ну и Эпилог Третий — 1937 год. Впрочем, и в Четвертом — год 1941-й — имя расстрелянного маршала могло бы всплыть...

А голод в Поволжье и Крыму, изъятие церковных ценностей, ленинское (стыдливо не включавшееся в Полное собрание сочинений «самого человечного человека») письмо членам Политбюро о расправе с Церковью («подавить сопротивление с такой жестокостью, чтоб они не забыли этого несколько десятилетий; закончить не иначе как расстрелом самых опасных и влиятельных в Шуе, Москве и, по возможности, в других духовных центрах, чем больше расстрелять, тем лучше»), смещение Патриарха, Шемякин суд над обреченным к расстрелу митрополитом Вениамином... («Весна Двадцать Второго») — и в «Архипелаге...» (часть первая, глава 9 — «Закон мужает») о том не все рассказано.

А судьбы вымышленных персонажей, о которых Солженицын не говорит в конспекте вовсе (что понятно), но самим этим указанием на умолчание намекает: *обыкновенные* люди не исчезли из поля зрения писателя, если б повествование продолжилось, оно вместило бы истории старинных знакомых. Да и в конспекте они скрыто присутствуют. Вчитываясь в хронику недельного кровопролитного сражения за Москву, где не сработала неслышная метода Троцкого («Октябрь Семнадцатого»), мы ищем Воротынцева — должен он

быть в эти дни в городе своего небесного покровителя святого Георгия. При упоминании Корниловского похода («Февраль Восемнадцатого») вспоминаем не одного Юрика Харитонова, но и всех ростовских персонажей. Видим в гуще крестьянской войны на Тамбовщине Арсения Благодарёва (и не только потому, что он упомянут в рассказе «Эго»). Потому что как не сводилась история к политическим коловращениям и разгулу толп до «Апреля Семнадцатого», так не могла она в художественном мышлении Солженицына стать иной, о каких бы временах он писать ни стал[3].

В общем, хотя и перевешивает благодарность художнику за то, что он дал (ведь, в принципе, и конспекта могли мы не получить), но, читая «На обрыве повествования», очень часто испытываешь печаль по тому, что осталось ненаписанным. Чувство знакомое. Разве не грустно, что Пушкин не закончил роман о царском арапе, «Тазита», «Дубровского», «Египетские ночи», что о множестве его замыслов свидетельствуют только планы (часто — трудно понимаемые), а то и заглавья? А что Толстой (настоящий, а не «красный граф») о Петре не написал (и ведь сколько работал), не обидно? И роман Достоевского о заточенном императоре Иоанне Антоновиче никому никогда не прочесть. И можно, конечно, утешать себя *смысловой завершенностью* «Записок покойника», но ведь ясно, что Булгаков очень многого в романе о театре не договорил (имею в виду отнюдь не приращение новыми шаржами, анекдотами и остротами). Ничего не поделаешь—только художник знает, что ему нужно сказать и где остановиться[4]. Сочти Солженицын жизненно важным делом продолжение «Красного Колеса», писал бы он его, отодвинув все прочие литературные работы и земные заботы, до тех пор, покуда бы рука не остановилась.

Тем интереснее, что, закончив «Апрель Семнадцатого», сведя в нем все смысловые линии и расставив необходимые акценты, Солженицын счел необходимым пополнить «Красное Колесо» конспектом. Гипотеза о том, что писатель все же что-то в Четвертом Узле не досказал,

представляется абсурдной. Во-первых, я привык Солженицыну верить: обещал он, что коммунизм падет при его жизни, — и сбылось, утверждал, что вернется в Россию, — и жил в отечестве свои последние годы, говорил, что не будет баллотироваться ни на какую государственную должность, — и не стал. Коли так, то почему я должен предполагать, что, говоря о завершенности «Красного Колеса», его автор лукавит? Во-вторых, все предложенные в главе IV наблюдения над исторической концепцией и поэтикой «Апреля...» и его связями с предшествующими Узлами, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что повествование о революции Солженицыным закончено. Стало быть, причины создания конспекта надо искать не здесь.

Стало художнику жаль материала, который годами собирался и обдумывался, и уже сделанных набросков? Предположил он, что больше никто так подробно и разносторонне не станет (не сможет, не захочет) рассказывать о восхождении большевиков к власти и гражданской войне? Счел нужным представить свой первоначальный замысел? Решил попробовать себя в новом жанре?

Все эти обстоятельства, конечно, стимулировали работу. Богатейший материал (почерпнутый из разных, в том числе никому, кроме автора повествованья, не доступных источников) сложился в систему, обнаружились такие переклички и соответствия разноплановых фактов, которые мог проглядеть (или совсем иначе увидеть) и добросовестный квалифицированный историк, наверняка был уже уловлен ритм времени (требовавший адекватного словесного воплощения). Как же иначе, если освоение фактуры будущих Узлов и поиски литературных ключей к ним начались не только задолго до того, как в текст «Апреля...» легли последние штрихи, но и много раньше, чем Узел этот начал писаться.

На историков на рубеже 1980—1990-х рассчитывать Солженицын не мог — и в этом оказался прав. Хотя за два последних десятилетия опубликовано великое множество документов (републиковано не меньше, если не больше) и напечатано немало квалифицированных

исследований, они, во-первых, тонут в океане «популярной» халтуры самых разных идеологических окрасок (то просто компилятивной и бессмысленной, то агрессивно новаторской), а во-вторых (это о лучших), как правило, адресуются коллегам по цеху, но не более-менее широкому читателю. Быть может, дикость в вопросах истории (не только XX века) нашего общества и не усилилась сравнительно с эпохой перестройки, но явно и не ослабела.

Рассказывать, как развивался и менялся его замысел, что отлагалось и что прирастало, художнику естественно. Примеров тут тьма. Но одно дело сообщить с более или менее подробными пояснениями: *предполагалось — так, получилось — эдак,* а другое — показать въяве схему некогда открывшейся тебе книги. И экспериментировать Солженицын всегда любил, а *сжатие* материала, укладывание больших тематических массивов в емкий и плотный поэтически многозначный текст — один из основных принципов его творческой стратегии.

Отсюда художественная удача конспекта, в котором скорбная правда неотделима от свободной поэзии: резкость бросков от одного мини-сюжета к другому, прорывы голосов эпохи (часто гротескные), вкрапления авторских оценочных суждений, убыстренная мена «общих» и «крупных» планов, совсем неожиданные вроде бы для такого жанра лирические — погодные и пейзажные — миниатюры... Иные фрагменты можно счесть законченными стихотворениями в прозе. Например:

Долгие осенние ночи над деревнями России. Иноковка Тамбовского уезда; крестьянин Пётр Токмаков, офицер из унтеров, будущий командарм тамбовской повстанческой армии.

(«Сентябрь Семнадцатого»)

Или:

Какой угодно мир, только скорей! Массы разожжены, декрет о мире не может оставаться на бумаге. Разрыв с союзни-

ками и сепаратная капитуляция. Распахнут фронт, нет больше линии фронта. Страна — на милость победителя.

(«Октябрь — Ноябрь Семнадцатого»)

Попробуйте посчитать, сколько разных голосов слышится в этом абзаце.

Видим, что причин взяться за конспект хватало. Но все-таки самой весомой кажется пока не названная. Повторю: историческая концепция Солженицына сложилась не в ходе работы над «Апрелем Семнадцатого», а значительно раньше. При этом «центр тяжести сместился на Февральскую революцию» (другой и не было) под давлением не только февральско-апрельского материала, но и позднейшего (изучавшегося одновременно с работой над тремя первыми Узлами).

Соблазнение крестьянства (сперва общереволюционными посулами, потом — большевистской агитацией), чудовищные бесчинства лета 1917 года и героическое повстанческое сопротивление предсказаны Каменскими главами «Октября Шестнадцатого». Трагедия казачества (сцепленная с его сепаратизмом, отгороженностью от общероссийской беды, потачками красным в начале Гражданской войны) предначертана в донских эпизодах «Марта Семнадцатого». Постоянный дрейф кадетов налево (охарактеризованный в «Октябре...») объясняет не только оплошность милюковских комбинаций при формировании Временного правительства, становление двоевластия, апрельский кризис и предательство Кадетской партией ее собственного лидера, но и беспомощность тогдашних русских либералов в дальнейшем. Ничтожество верхушки социалистов (крайняя степень которого представлена Керенским) обнаруживается при первом же их появлении на исторической сцене и стопроцентно подтверждается как летом и осенью 1917 года (постоянный страх перед большевиками и оголтелыми массами), так и после октябрьского переворота. Разгром большевиками Кронштадтского восстания не только возмездие за то, что творили балтийские

матросы с первых дней революции (Кронштадт черной тенью висит над «буржуйским» Петроградом вплоть до переворота, которому яро споспешествует), но и прямое следствие прежних преступлений, кровавого своеволия, не знающего (и знать не желающего) никакого удержу «матросоправства».

Нет в послеапрельской хронике буквально ни одного сюжета, который поражал бы неожиданностью. Временные поражения большевиков и победы их противников картины не меняют. Героев сопротивления, в том числе — бравших на себя бремя власти (Колчак, Врангель), эпоха выдвинула; государственных деятелей, способных остановить Красное Колесо и предотвратить заковку ложных (каторжных) путей, — нет. Если не нашлось их в промежутке между гибелью Столыпина и вторым приходом революции (потрудилась старая власть на славу, бессознательно проводя *отрицательную селекцию*), то что могли сделать и лучшие из лучших (но не обретшие должного опыта) в разливе народоправства и пожаре Гражданской войны, когда решение и простых-то задач стало неимоверно труднее? Это и называется отсутствием альтернативы.

Предъявляя читателю «На обрыве повествования», Солженицын не досказывает «Красное Колесо», но с фактами в руках объясняет, почему Февральская революция не могла получить другого развития, а «Апрель Семнадцатого» должен был стать последним Узлом «повествованья в отмеренных сроках». Отсюда прямая дорога к «Весне Двадцать Второго», когда «Сталин как доверенный человек Ленина избран генеральным секретарем РКП <...> его власть пошла в быстрый рост».

Последние два абзаца конспекта:

В июне Ленин понемногу снова учится говорить и писать (после настигшего его 26 мая удара паралича. — *А. Н.*).

В тамбовском селе Нижний Шибряй чекистами обнаружены и застрелены Александр Антонов с братом. (Пётр Токмаков так никогда и не пойман.)

Это очень солженицынский финал. Согласно «Кратким пояснениям» к «Августу Четырнадцатого», Солженицын начал писать «Красное Колесо» с «поздних Узлов (1919—1920, тамбовские и ленинские главы)»[5]. Но дело тут не только в отсылке к истории замысла. Русские крестьяне (среди которых, конечно, не все похожи на Ивана Денисовича, Матрёну и Благодарёвых, но воплощают, по Солженицыну, сословие именно они) и Ленин (вкупе со слепо во всем следующей и подражающей вождю его партией) — полюса солженицынского мира: теплота и холод; органичность и идеологическое доктринерство; естественная расположенность к людям (способность понять каждого) и крайний (подозрительный и агрессивный) эгоцентризм; бессознательное отрицание всякой иерархии (не исключающее, но подразумевающее уважение к тем, кто старше, опытнее, умнее, умелее) и патологическое властолюбие; простодушие и цинизм; приятие данного тебе мира и страстное желание перекроить его по своим меркам; русскость и ненависть ко всему укладу страны, где выпало родиться; вера в высшее начало (не обязательно «оформленная») и отрицание самой возможности существования кого-то, кто превышает тебя (и даже «чего-то», каких-либо обязательных норм)... Если суммировать: добро и зло[6]. Добро, обманутое, подчиненное, расплющенное злом, и зло, одержавшее полную победу.

Так ведь сложились дела к «Весне Двадцать Второго». Хотя каток коллективизации еще не разогрет, но земля, брошенная в 1917-м мужичью ради успеха переворота, уже отобрана назад государством, только что (в мае) ставшим ее «верховным собственником и распределителем». «Антоновщину» уже год как раздавили: «Рубка партизанских голов в Туголукове. — В Каменке. Массовые расстрелы на выгоне; похороны без гробов. Отца Михаила Молчанова котовцы вывели с литургии и зарубили» («Май — Июнь Двадцать Первого»).

И если тогда «главный бандит» утек, то теперь-то ЧК свою службу спроворила.

Только и в самые черные годы нисходит на землю высшая справедливость.

Организатор невиданного (и вопреки бреху всех балалаек удавшегося) эксперимента, жалкий сектант-эмигрант (которого слушали кучка ущербных недоумков да нелюбимая жена), занявший место Ивана Грозного, Петра Великого, Николая Кровавого, ничем не ограниченный властитель огромной и богатейшей (сколько ни разоряй, изрядно останется) страны, вождь мирового пролетариата, с которым вынуждены считаться лидеры мировых держав и треклятые западные капиталисты, хозяин бесчисленных человеческих жизней («расширить применение расстрела») — беспомощнее малого дитяти. Существовать на земле ему осталось полтора года. То страдая от физических мук, то вовсе выпадая из жизни, то — при проблесках разума — задыхаясь от ужаса и тщетно пытаясь вернуть выпавшую из омертвелых рук власть. Потому что вернейшему ученику (вскоре после переворота подведенному к кормилу: «Негласно создано полновластное “бюро ЦК” большевиков, “четвёрка” для решения всех экстренных и важнейших дел: Ленин, Троцкий, Свердлов, Сталин» — «Декабрь Семнадцатого») никакой Ленин больше не нужен. Он сам теперь (и надолго, на тридцать с лишком лет) Ленин. И Ленин — когда возвращается к нему сознание — это понимает, но ничего поделать не может.

А мужик, выслуживший офицерский чин и возглавлявший крестьянскую армию, растворился в России. Вряд ли обрел он спокойную и достойную жизнь, но все-таки палачам не достался. Словно свидетельствуя исчезновением своим о неистребимости народного стремления к свободе. Даже когда всем приказано двигаться по единственному накрепко закованному маршруту, этапы которого размечены пятью Эпилогами.

Эпилог Первый — год 1928-й. Внутрипартийная оппозиция разгромлена; Троцкий из СССР выслан; первая пятилетка с индустриализацией объявлены; коллекти-

визация на пороге… И Шахтинское дело, после которого вовсю развернется изничтожение старой технической интеллигенции, инженеров, организаторов производства. Вскоре будет в третий раз при советской власти арестован Пётр Акимович Пальчинский (Ободовский «Красного Колеса»); выдержит следствие, не признает сфабрикованных обвинений, не даст выбиваемых ОГПУ показаний — расстреляют его в 1929-м. Допустимо предположить, что в этом Эпилоге отводилась ему важная (если не центральная) роль.

Эпилог Второй — год 1931-й. Загадочная точка. Быть может, Солженицын намеревался вновь, после «Архипелага…», показать процесс Союзного Бюро Меньшевиков, участники которого (выжившие члены давно сведенной на нет социалистической партии) оказались достойны своих былых вождей. Как те, страшась ленинцев в 1917 году, постоянно, вплоть до самого захвата власти, им уступали и подыгрывали, так эти вяло произносили надиктованные обвинителями словеса, признавая все, что им предъявлялось. К процессу был притянут свидетелем Козьма Антонович Гвоздев, «мученик-долгосидчик ГУЛАГа» (взят в 1928-м, отпущен умереть на воле в 1957-м), один из самых обаятельных персонажей «Красного Колеса». Это он в последнюю ночь перед революцией видит во сне святого деда, плачущего так горько, что ответа на вопрос, по ком же старик плачет, «и сердце не вмещает» (М-17: 69).

Эпилог Третий — год 1937-й. Большой террор. Миллионы брошенных в лагеря и убитых. Ликвидация партийной, чекистской, военной верхушки. В этом Эпилоге мог бы появиться еще один любимый (вопреки его партийной принадлежности и сыгранной им в истории роли) герой Солженицына — Александр Григорьевич Шляпников. Он из того самого простого народа, который изводят и унижают двадцать лет, а теперь давят с особым усердием. Он из той самой «ленинской гвардии», которая, установив чудовищную диктатуру, вы-

ковала себе гибель. Он живой, мыслящий, сильный человек. В «Архипелаге...» отмечено, что Шляпникова не выводили на показательные процессы-спектакли, — Солженицын предполагал, что бывший токарь высшего разряда, бывший нарком труда, бывший лидер «рабочей оппозиции» сохранил на следствии мужество. Что он тогда чувствовал? О чем вспоминал? Что думал о своей жизни и своих идеалах? Решения великого художника угадать нельзя, но и представить себе Третий Эпилог «Красного Колеса» без Шляпникова мне трудно.

Эпилог Четвертый — год 1941-й. Война. Небывалые в истории России отступления, потери, сдачи в плен. Расплата за безумие ленинско-сталинского насильнического эксперимента. Расплата тем самым народом, который гнобят без малого четверть века, который и эту войну вынесет. Победит.

Эпилог Пятый — год 1945-й. Победа. Победа СССР и его западных союзников над нацистской Германией. Победа Сталина над народом-победителем. Новые лагерные потоки — ГУЛАГ поглощает тех, кто попал в плен и был «освобожден» своими или выдан по ялтинским договоренностям американцами и англичанами. И тех, кто слишком глубоко вдохнул воздух военной свободы и задумался о прошлом и будущем своей страны. В их числе — капитан Солженицын.

Пятым Эпилогом Солженицын долго числил написанную в лагере и ссылке (1952—1953) пьесу «Декабристы без декабря», после переработки (1973) получившую новое название — «Пленники». Публикуя «Красное Колесо», Солженицын пьесы этой в приложении не дал. Однако она была напечатана (сперва в вермонтском Собрании сочинений, потом — в нескольких российских[7]). О колебаниях писателя свидетельствуют его записи 1980 года в «Дневнике Р-17»:

Написано очень тяжело, местами безвкусно, мало таланта. Еле удерживаюсь, чтоб вообще выкинуть эту пьесу вместо переделки (11 июня).

Ключевой трудности вопрос оказался: Воротынцев или не Воротынцев сидит в камере? <...> У меня с 1973 уже стоит Воротынцев, — но теперь, при готовых Узлах, это очень повышает мою ответственность. <...>

И очень свойственна мне такая перекидка через четверть века и замкнутие сюжета совсем в иных обстоятельствах. В «Августе» я написал о предсказании Воротынцеву, имея в виду уже готовых «Декабристов без декабря» (13 июня).

Герой остался Воротынцевым. Это он рассказывает чекисту Рублёву ту историю, что услышал от полковника Ярик Харитонов, когда выходили они из окружения (А-14: 55). Рассказывает, потому что от судьбы и сути своей Воротынцев отрекаться не намерен. Еще раз напомню ключевой эпизод трагедии, уже рассмотренный в главе I.

Мучающийся от рака чекист предлагает обреченному на виселицу давнему врагу легкий выход — совместное самоубийство (яд растворен в вине), которое должно избавить обоих от телесных страданий (Воротынцева и от позора) и доказать, что все люди одним миром мазаны, а «добро» и «зло» — пустые абстракции, верить в которые пристало наивным до смешного гимназистам. Выслушав отказ и отдав распоряжение забрать смертника, Рублёв говорит ему на прощание:

Были *вы,* были *мы,* и третьи придут, — и так же будут недовольные, и так же будут репрессированные, и нич-чего хорошего не будет никогда!

И получает отповедь:

Знаете, давно-давно, ещё в Маньчжурии, старый китаец так мне и предсказал: что я умру военною смертью в 1945 году. Я это всё время помнил. Это помогало мне быть смелее, в прошлых войнах. Но вот э т а кончалась, уже каждый день готов был, — не убивают. И — кончилась. А вот она: смерть от врага после войны — тоже военная смерть. Но — от врага. А — от себя? Некрасиво. Не военная. Вот именно трусость. И зачем

же снимать с ваших рук хоть одно убийство? брать на себя? Нет, пусть будет и это — на вас.

(XIX, 254—255)

Прежде чем соблазнять Воротынцева Рублёв язвительно перечисляет войны, в которых Воротынцев участвовал, всегда оказываясь потерпевшим поражение. Но полковник сам о том раньше говорил сокамернику, вписывая свои злосчастья в общую российскую катастрофу (словно сжимая в короткий монолог всё, что должно было вместиться в «Красное Колесо»):

Был немилостив алтарь, где головы мы клали. Мы в своей
стране своих не узнавали.
Встала в людях злоба, жадность, тьма, —
Будто наш народ сошёл тогда с ума,
Кинул душу чёрту в исступленьи.
Не ошибка лозунгов, не генеральские промашки:
Никому, ничем не задержать круговращенья, —
Так вот повернула, покатила — и пошла!.. Мне пришлось
изведать самых тяжких, Самых изнурительных российских
отступлений
От Мукдена, Найденбурга и к Ростову от Орла
Ход необоримый, —
Никогда мне эта чаша горше не была,
Чем из Крыма.

. . . . . .

Херсонесский воспалённый промелькнул маяк.
Скрылся в темноте.
Родина моя! Увидимся ли мы ещё? И как?
И когда? И где?..

И в ответ на грустное «свиделись» собеседника:

Не думал так зажить,
В отдалённость. Время, люди — всё сменилось.
Но, однако, ждали мы, что нам пошлётся милость

Перед смертью — Родину освободить!
Нет!! И двадцать пять прошло — и снова нет!!
И теперь ещё — на сколько лет?

(XIX, 173, 174)

Но, и ожидая неминуемую мучительную казнь, Воротынцев уверен, что путь его, «путь сплошных поражений» — правильный:

...я не ошибся, *на чьей* мне быть стороне, — кидает он истязателю-искусителю. — Всегда был на верной стороне: *против вас.* <...> Да, мы проиграли. Но не выиграли и вы! Потому сияют мои глаза, что они дожили и увидели: не выиграли и вы! <...> Никогда ещё за двадцать восемь лет Россия не была так далека от большевизма! В камере контрразведки я понял отчётливо: Россия — *не ваша,* товарищи! О, в этой камере совсем не те люди, которых вы хватали в восемнадцатом! У них нет перстней на белых пальцах, а на их пилотках — ещё не выгоревший пятиконечный след. Всё это молодёжь, воспитанная в *ваших* школах, не в наших, по вашим книгам, не по нашим, в вашей вере, не в нашей. <...> Довольно было одного дуновения свободы, чтобы с русской молодёжи спало ваше чёрное колдовство!

(XIX, 244)

Чекист отвечает сильными софизмами. У его человеконенавистнического цинизма есть основания. Мы воочию видим, что «чёрное колдовство» продолжит растлевать души и после падения коммунизма, формально отбросив ленинскую идеологию и набрав в свой арсенал хороших (только с вынутым или вывихнутым смыслом) слов. Но — крепко держась за Ленина-Сталина и всю большевистскую мифологию. Но — не изменив ненависти к свободе и презрению к человеческой личности. Путь к свободе оказался куда более долог, чем надеялся в 1945 году Воротынцев. Солженицын и это в 1973-м, 1980-м, 1990-м предчувствовал. И всё же, когда сокамерник вернувшегося от чекиста к своим Воротынце-

ва дерзает заглянуть в будущее («Но не верю я, что нам осталось в мире / Только гордое терпение да скорбный труд / В глубине сибирских руд! / Если прадеды кончали путь в Сибири, / — Может, правнуки в Сибири свой *начнут*?!!»), смертник его ободряет:

Этой верою вам крепнуть — надо б, да!
И, друзья, — не ждите помощи от Запада:
Силы нет и воли нет в благополучных странах,
Ни сознанья, ни понятья, ни — перед бедой открытых глаз.
Вся надежда мира — вся на каторжанах!
Вся теперь — на вас!!!
Что Россия в эти годы на себе перенесла —
Может быть, таких, как вы, она ждала.

(XIX, 261)

Таких и ждала. Один из прозревающих пленников (будущих каторжан) — великий русский писатель Александр Солженицын.

12 марта 1973 года автор «Пленников» констатировал: «Эта пьеса — не только последний эпилог Р-17 («Красного Колеса». — *А. Н.*), но и вход во все мои лагерные вещи. Это — главный мост между двумя половинами всего мною написанного. Центральный замок. Геометрический центр».

Ни позднейшая суровая авторская оценка, ни неровности пьесы (действительно своей высоты писатель в 1953 году еще не достиг), ни аккуратность стратегии при публикациях (читателю Солженицын прямо не сообщил, что такое «Пленники») не отменяют глубинной правоты этой дневниковой записи. Трагедия, рожденная в лагерной бездне, утверждающая незыблемость нравственных ценностей[8], полнящаяся духом свободы и верой в Россию, устремленная в будущее, действительно венчает заветную книгу Солженицына и скрепляет в единое целое его поэтический мир.

Примечания

[1] В этом отношении русские классики решительно расходятся с Вальтером Скоттом, в романах которого напряженное (иногда весьма жестокое) противостояние двух исторических сил, как правило, заканчивается примирением или компромиссом (и «награждением» главного героя — достойного джентльмена, чуждого фанатизму обеих противоборствующих сторон). Огрубленно очерченную здесь сюжетную схему Вальтер Скотт переносит из одной исторической ситуации в другую (иногда — не далеко отстоящую во времени), но никак не указывает на повторяемость коллизии — эпилоги его романов не предвещают будущих нешуточных бурь, они не воспринимаются как «прологи» тех сочинений шотландского чародея, что посвящены более поздним историческим катаклизмам. Отличие высших образцов русской исторической словесности от романистики Вальтера Скотта (незаслуженно выведенной в XX веке за пределы серьезной словесности) обусловлено, видимо, как несходством общих «формул» историй двух народов (и их ментальностей), так и тем, что на рубеже XVIII — XIX столетий (когда историзм стал важнейшей составляющей всей европейской культуры) социально-политические уклады (а следственно — насущные проблемы и перспективы) России и Англии рознились очень существенно.

[2] «На улицах повторяется Февраль, но толпа не в восторге, а в ужасе»; «После ливня — ранняя темная, совсем не “белая” ночь, и городской мятеж рассеялся» («Июнь — Июль Семнадцатого»); «24 октября — мрачный короткий петербургский день глубокой осени; по свинцовой реке уже и серые льдины; срываются малые снежинки»; «Город спал, не подозревая, что происходит, и проснулся при новой власти»; «Керенский, всю ночь не спавший, выпросил у американского посольства автомобиль с американским флажком и на нём устремился из города по гатчинскому шоссе: он поедет навстречу войскам! он сам их приведет сегодня же к вечеру! (Власть Февраля умирает без чести.)»; «А московские офицеры (их тысяч 30) откликаются плохо,

к юнкерам присоединились тысячи три, остальные сидят по домам. (Да за кого теперь сражаться? за Керенского? его презирают; зовут защищать не Россию, а революцию?)» («Октябрь — Ноябрь Семнадцатого»).

[3] Недоброжелателям *личных* линий «Красного Колеса», полагающим, что они отвлекают от «сути дела», стоит вспомнить «Архипелаг...» с его портретным изобилием, настойчивым стремлением показать неповторимые человеческие лица. Зэки ведь в большинстве своем отнюдь не исторические деятели, а вымышленные персонажи рисуются Солженицыным по тем же законам, что и имеющие прототипов.

[4] Не касаемся тех случаев, когда работу прерывает смерть автора.

[5] Возможно, когда-нибудь мы их узнаем. А не мы, так исследователи и читатели следующих поколений.

[6] Потому и разрезает во Втором Узле Солженицын сплотку ленинских глав (О-16: 44, 47—50) двумя каменскими (О-16: 45, 46), где Плужников (будущий «легендарный возглавитель самоуправления восставших тамбовских крестьян» — «Замечания автора к Узлу Второму») втолковывает пришедшим к нему в гости отцу и сыну Благодарёвым, что нужна «своя крестьянская власть».

[7] В 2004 году Солженицын пьесу сократил и внес в нее ряд исправлений; в этой редакции она опубликована в 19-м томе выходящего ныне тридцатитомного Собрания сочинений.

[8] 14 июня 1980 года, обдумывая, как поступить с «Пленниками» (и склоняясь к тому, чтобы сохранить пьесе жизнь), Солженицын записал в Дневнике: «Сцена с ядом — не просто личная: она метафизически указывает на неравенство нравственных весов». Стоит вспомнить о последнем появлении Ленина (с которого Рублёв, как и все коммунисты, «делал жизнь») в конспекте «На обрыве повествования».

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА О «КРАСНОМ КОЛЕСЕ»

Август Четырнадцатого читают на родине: Сборник статей и отзывов. Paris: YMCA-Press, 1973.

Аркатова А. Система ключевых женских образов в эпопее А. Солженицына «Красное Колесо» // Жизнь и творчество Александра Солженицына: На пути к «Красному Колесу»: Материалы Международной научной конференции. М.: Русский путь, 2013. С. 359—369 (далее: Жизнь и творчество...)

Бальзамо Е. «...Выполнять свой долг. На своём месте»: личность и исторический процесс в «Красном Колесе» // Жизнь и творчество... С. 28—39.

Бочаров С. Г. Россия и революция: от Тютчева к «Красному Колесу» // Жизнь и творчество... С. 235—240.

Вахтель Э. Б. Назад к летописям: Солженицынское «Красное колесо» // Солженицын: мыслитель, историк, художник: Западная критика. *1974*—2008. Сборник статей. М. М.: Русский путь, 2010. С. 615—626 / Перевод с английского Б. А. Ерхова.

Геллер М. Я. Вчера и сегодня в «Красном Колесе» А. Солженицына // Обозрение. Париж, 1985. Ноябрь. № 17. С. 11—19.

Геллер М. Я. Солженицын и Ленин // Вестник РХД. 1976. № 117. С. 170—177.

Дедков И. А. Любить? Ненавидеть? Что еще?.. А. Солженицын: от «Августа Четырнадцатого» — к «Марту Семнадцатого» // Свободная мысль (на обложке — Коммунист). 1991. № 13. С. 22—40.

Елисеев Н. Л. «Август Четырнадцатого» Александра Солженицына сквозь разные стекла // Звезда. 1994. № 6. С. 145—153.

Живов В. М. Как вращается «Красное Колесо» // Новый мир. 1992. № 3. С. 246—249.

Климов А. Введение к эпопее «Красное Колесо» // Солженицын: мыслитель, историк, художник: Западная критика. *1974*—2008. Сборник статей. М.: М.: Русский путь, 2010. С. 615—626 / Перевод с английского Б. А. Ерхова.

Кублановский Ю. М. «Март Семнадцатого»: Хроника исторической катастрофы // Грани. 1987. № 144. С. 183—189.

Кублановский Ю. М. Образ императрицы в «Красном Колесе» А. Солженицына // Вестник РХД. 1988. № 154. С. 150—174.

Кублановский Ю. М. Стиль и историософия «Красного Колеса» А. Солженицына // Стрелец. 1989. № 1. С. 283—293.

Лерт Р. Б. Этика и история в романе «Август Четырнадцатого» //Лерт Р. Б. На том стою: Публикации «самиздата». Московский рабочий, 1991. С. 136—165.

Лосев Л. В. Великолепное будущее России: Заметки при чтении «Августа Четырнадцатого» А. Солженицына; Солженицынские евреи // Лосев Лев. Солженицын и Бродский как соседи. СПб., 2010. С. 283—300; 323—343.

Лурье Я. С. Александр Солженицын — эволюция его исторических взглядов // Звезда. 1994. № 6. С. 117—125.

Любимов Б. Н. Март семнадцатого в «Марте Семнадцатого» // Любимов Б. Н. Действо и действие. М.: Языки русской культуры, 1997. Т. 1. С. 386—390.

Нива Ж. От одной «глыбы» к другой // Вестник РХД. 1988. № 154. С. 131—136.

Нива Ж. Солженицын. М.: Художественная литература, 1992 / Перевод с французского С. Маркиша.

Нива Ж. Антиэпопея «Красное Колесо» // Нива Ж. Возвращение в Европу: Статьи о русской литературе. М.: Высшая школа, 1999. С. 220—228 / Перевод с французского Е. Ляминой.

Орловская-Бальзамо Е. Г. Ипполит Тэн и Александр Солженицын: точки соприкосновения: Глава из неизданной книги

«Солженицын перед судом истории» // Новое литературное обозрение. 1995. № 13. С. 338—347 / Перевод с французского Г. Шумиловой.

Орловская-Бальзамо Е. Г. Человек в истории: Солженицын и Ипполит Тэн // Новый мир. 1996. № 7. С. 195—211 / Перевод с французского Д. Румянцевой.

Паламарчук П. Г. Александр Солженицын: путеводитель. М., 1991. С. 55—82.

Потапов В. Ю. Звезда, река, загадка... Заметки об «Августе Четырнадцатого» //Литературное обозрение. 1990. № 11. С. 18—22.

Роднянская И. Б. Уроки четвертого узла (Александр Солженицын) // Роднянская И. Б. Движение литературы: В 2 т. М., 2006. Т. 1. С. 657—666.

Роднянская И. Б. Ленин: художественно-исторический портрет за гранью идеологий // Путь Солженицына в контексте большого времени: Сборник памяти. 1918—2008. М., 2009. С. 265—276.

Роднянская И. Б. Лирико-патетическое начало в «Архипелаге ГУЛАГ» (К сравнению задач двух эпопей Александра Солженицына) // Жизнь и творчество... С. 337—346.

Рутыч Н. Н. От Воротынцева к Столыпину; Военная интеллигенция в творчестве Солженицына; Новая тотальная стратегия: По страницам книги А. Солженицына «Ленин в Цюрихе» // Рутыч Н. Н. Думская монархия. СПб.: Logos, 1993. С. 68—75; 76—84; 96—109.

Самойлов Д. С. Александр Исаевич // Самойлов Давид. Памятные записки. М.: Время, 2014. С. 514—546.

Сараскина Л. И. Неизбежность очерка о П. А. Столыпине в «Красном Колесе» А. И. Солженицына // Жизнь и творчество... С. 533—546.

Солженицына Н. Д. Картотека «Красного Колеса»: замысел и осуществление // Жизнь и творчество... С. 442—451.

Спиваковский П. Е. Полифония трансцендентальных миров: (Некоторые особенности художественной структуры эпопеи А. И. Солженицына «Красное Колесо») // Филологические науки. 1997. № 2. С. 34—46.

Спиваковский П. Е. Феномен А. И. Солженицына: новый взгляд. М.: ИНИОН РАН, 1999. С. 11—20, 28—34, 42—67, 84—93.

Спиваковский П. Е. Формы отражения жизненной реальности в эпопее А. И. Солженицына «Красное Колесо»: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 2000.

Спиваковский П. Е. Полифония у Ф. М. Достоевского и А. И. Солженицына // Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М., 2014. <Вып.> 3. С. 51—63.

Струве Н. А. Том за томом: заметки первоиздателя «Красного Колеса» // Жизнь и творчество... С. 549—553.

Темпест Р. Фермопилы Георгия Воротынцева: солженицынская концепция мужественности // Жизнь и творчество... С. 452—461.

Тюрина Г. А. Тема Москвы в «Красном Колесе» // Жизнь и творчество... С. 294—302.

Урманов А. В. «Радость простого называния вещи...» (Быт как форма воплощения устойчивых свойств национального бытия в «Красном Колесе»); «Ужь я семечки полущу, полущу...» (Образ «семечек» как бытовая подробность и символическое обобщение); «К топору зовите Русь...» (Мотив разрубания, рассечения, раскалывания); «Саранча из бездны...» (Библейская символика в «Красном Колесе»); «Тот самый Ахеронт...» (Мифологическая символика в исторической эпопее); Февральская революция, отраженная в слове (О важнейшем лексико-семантическом поле «повествованья в отмеренных сроках»); «Дивный храм свободы» или Вавилонская башня? (Отражение глобальных лексических процессов революционной эпохи в эпопее «Красное Колесо»); «Отчаянное вложение самого себя...» (Автор как нарративный и идейно-смысловой центр «Красного Колеса») // Урманов А. В. Художественное мироздание Александра Солженицына. М., 2014. С. 125—132; 196—241; 289—327; 352—363.

Шешунова С. В. Национальный образ мира в эпопее А. И. Солженицына «Красное Колесо». Дубна, 2005.

Шмеман Александр, протоиерей. Зрячая любовь; О духовности, церковности и мифах: Ответ на письмо о Солженицы-

не // Шмеман Александр, протоиерей. Собрание статей: 1947—1983. М.: Русский путь, 2009. С. 772—780, 787—789.

Шнеерсон М. Будущее в прошедшем: «Март Семнадцатого» А. Солженицына // Посев. 1987. № 11. С. 55—60.

Шнеерсон М. Главы, напечатанные петитом: Из наблюдений над «Красным Колесом» А. Солженицына // Грани. 1987. № 143. С. 86—108.

Шнеерсон М. Документальная правда и художественный вымысел: Из наблюдений над «Красным Колесом» А. Солженицына // Стрелец. 1987. № 1. С. 20—27.

Штурман Д. Остановимо ли Красное Колесо?: Размышления публициста над заключительными Узлами эпопеи А. Солженицына // Новый мир. 1993. № 2. С. 144—171.

Щедрина Н. М. Формы выражения авторского сознания в романе А. Солженицына «Красное Колесо» // Поэтика русской и зарубежной литературы: Сборник статей. Уфа, 1998. С. 193—206.

Щедрина Н. М. «Красное колесо» А. Солженицына и русская историческая проза второй половины XX века. М.: Памятники исторической мысли, 2010.

Эриксон Э., мл. «Ничего нет выше любви»: религиозная составляющая «Октября Шестнадцатого» // Жизнь и творчество.. С. 223—232 / Перевод с английского Н. П. Гринцера.

Якобсон Р. О. Заметки об «Августе Четырнадцатого» // Литературное обозрение. 1999. № 1. С. 19 / Перевод с английского Т. Т. Давыдовой; комментарий П. Е. Спиваковского.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора.....5

Часть первая. Рассказы. Роман. Повесть

ГЛАВА I

Вся правда. Три дебютных рассказа.....15

ГЛАВА II

Русская словесность на Матрёнином дворе.....55

ГЛАВА III

Рождество и Воскресение.
О романе «В круге первом».....109

ГЛАВА IV

Жизнь и Поэзия в романе «В круге первом».....139

ГЛАВА V

Колесо в Круге.....165

ГЛАВА VI

Девять этюдов к монографии о повести «Раковый корпус».....192

Часть вторая. «Красное Колесо»

Предварительные замечания.....273

ГЛАВА I

Она уже пришла: «Август Четырнадцатого».....282

ГЛАВА II

Земной удел: «Октябрь Шестнадцатого».....354

ГЛАВА III

Торжество соблазнения: «Март Семнадцатого» ...423

ГЛАВА IV

И свет во тьме светит: «Апрель Семнадцатого» ...520

ГЛАВА V

Другая история: «На обрыве повествования.
Конспект ненаписанных Узлов».....611

Основная литература о «Красном Колесе».....633

Литературно-художественное издание
Серия «Диалог»

Андрей Семенович Немзер

ПРОЗА АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА
Опыт прочтения

Редактор
Наталья Рагозина

Художественный редактор
Валерий Калныньш

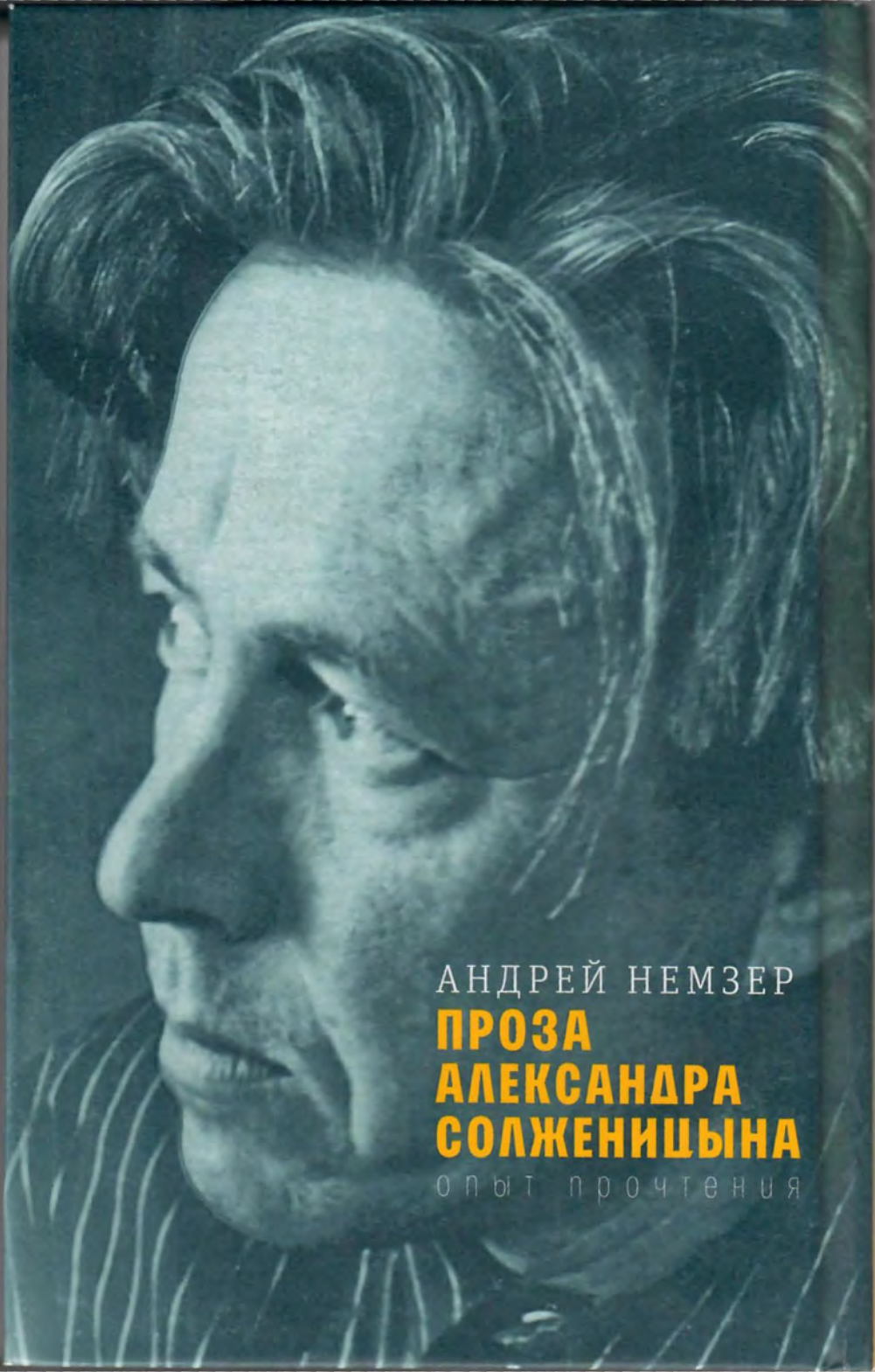
Верстка
Оксана Куракина

Корректор
Елена Плёнкина

Подписано в печать 6.11.2018.
Формат 84x108/32. Усл. печ. л. 33,6.
Тираж 1000 экз.
Заказ № 1101.

ООО «Время»
117105, Москва, Варшавское шоссе, 3
Телефон (495) 954 10 82
http://books.vremya.ru
e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
http://www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru



АНДРЕЙ НЕМЗЕР

ПРОЗА АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

опыт прочтения